

ЭРИХ КЕСТНЕР

ЛЕТАЮЩИЙ КЛАСС





ЭРИХ КЕСТНЕР

ЛЕТАЮЩИЙ КЛАСС



ПОВЕСТИ

Перевод с немецкого



Составитель А. А. Девель
Художник В. И. Боковня

Der kleine Mann
Emil und die Detektive
Pünktchen und Anton
Das doppelte Lottchen
Das fliegende Klassenzimmer
Als ich ein kleiner Junge war

© Перевод с немецкого: «Когда я был маленьким». М.: Детская литература, 1976.

© Состав, оформление, переводы с немецкого: «Кнопка и Антон», «Двойная Лоттхен», «Летающий класс». Лениздат, 1988.

К $\frac{4803020000-004}{M171(03)-88}$ 217—88

ISBN 5-289-00205-7

МАЛЬЧИК ИЗ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ





Глава 1

Моя первая встреча с Маленьким Человеком. Пихельштейн и Пихельштейнеры. Родители Максика отправляются в дальние странствия. Ву Фу и Чин Чин. Место рождения — Стокгольм. Похороны двух китайских косичек. Профессор Йокус фон Покус держит речь

Его называли Маленьким Человеком, и он спал в спичечной коробке. Но настоящее его имя было Макс Пихельштейнер. Правда, этого почти никто не знал. И я тоже, пока он мне сам не сказал. Это было, если не ошибаюсь, в Лондоне. В отеле «Гарленд». В кафе. Там с потолка свисали пестрые клетки с птицами. Птицы так громко чирикали, что с трудом можно было расслышать свои собственные слова.

А может быть, это случилось в Риме? В отеле «Амбассадоре» на виа Венето? Или в ресторане гостиницы «Эксцельсиор» в Амстердаме? Проклятая память! Она у меня похожа на ящик, битком набитый всевозможными игрушками.

Но уж одно-то я знаю твердо: и родители Максика, и его бабушки с дедушками, и абсолютно все его предки были родом из Богемского леса, из самой густой его чащи. Там есть высокая гора, а под нею — ма-

ленькая деревушка. Обе они называются Пихельштейн. На всякий случай я заглянул в свой старый справочник. В нем черным по белому сказано:

Пихельштейн. Деревня в Богемии. 412 жителей. Низкорослый тип людей. Максимальный рост — 51 сантиметр. Славится Гимнастическим союзом (Г. С. Пихельштейн, основан в 1872 году) и пихельштейновским мясом. (Подробнее см. том IV — статья «Обеды из одного блюда».) Все жители в течение многих столетий носят фамилию Пихельштейнер. Литература: Пастор Ремигиус Далмайр. Пихельштейн и Пихельштейнеры, 1908. Самиздат. (Распродано.)

«Ну и деревня!» — наверное, скажете вы. Что поделаешь! Ведь все, что говорится в моем справочнике, почти всегда истинная правда.

Через год после свадьбы родители Максика решили попытать счастья. Ростом они были низковаты, но метили высоко: их планы не уместались в деревушке Пихельштейн в Богемском лесу. И вот в один прекрасный день супруги захватили свои пожитки, а вернее пожиточки, и отправились в далекий путь. Куда бы они ни приезжали, всюду на них глазели как на чудо. Люди разевали рты и потом еле-еле могли их снова закрыть. Правда, мать Максика была изумительная красавица, а его отец отрастил пышные черные усы, но все же ростом они оба были не выше пятилетних детей. Ничего удивительного, что все удивлялись.

Чего же они хотели добиться? Оба они были великолепными гимнастами, но мечтали стать акробатами. И действительно, когда они показали господину Грозоветтеру, директору цирка «Стильке», несколько упражнений на турнике и кольцах, тот восторженно захлопал в свои белые лайковые перчатки и воскликнул:

— Браво, малыши! Я вас беру!

Это было в Копенгагене. Перед самым обедом. В цирке под огромным шатром, натянутым на четыре высоченные мачты. Максика тогда еще и на свете не было.

Хотя его родители были инструкторами по гимнастике у себя в Пихельштейне, им пришлось много учиться и упорно тренироваться. Только через три месяца их включили в китайскую акробатическую труппу «Семья Бамбусов». В сущности, семья Бамбусов не была настоящей семьей. В ней не было ни

одного взаправдашнего китайца. Даже искусно заплетенные косички, что болтались на затылке у каждого из них, тоже были поддельными. Но зато все Бамбусы до единого были истинными артистами, жонглерами и акробатами, каких еще свет не видывал. Они с такой скоростью вращали бьющиеся тарелки и чашки на кончиках тонких, дрожащих прутьев из желтого бамбука, что у зрителей дух захватывало. Самые большие и сильные Бамбусы держали на поднятых ладонях длиннющие бамбуковые прутья, а самые маленькие Бамбусики проворно, как белки, карабкались вверх по скользкому бамбуку и делали на кончике прута сначала стойку на руках, а потом — под приглушенную барабанную дробь — на голове. Они даже ухитрялись на десятиметровой высоте проделывать сальто! Перевернутая в воздухе, словно это для них сущий пустяк, встанут обеими ногами на качающиеся острия бамбуковых прутьев, улыбнутся и как ни в чем не бывало посылают публике воздушные поцелуи. Оркестр играет туш, а зрители хлопают, пока не отобьют ладоши.

Теперь родители Максика назывались на всех афишах и в программах Ву Фу и Чин Чин и носили фальшивые косы и вышитые пестрой гладью кимоно из шуршащего шелка. Вместе со скатанным брезентовым шатром, а также со слонами, хищниками, глотателями огня, клоунами, акробатами, арабскими жеребцами, конюхами, укротителями, балеринами, механиками, музыкантами и господином директором Грозоветтером они переезжали из одного большого города в другой, добывали цирку славу и деньги и по меньшей мере двадцать раз на дню радовались, что уехали из Пихельштейна.

Максик появился на свет в Стокгольме. Врач долго смотрел на него в лупу, а потом улыбнулся и сказал родителям:

— Да он же просто богатырь! Поздравляю вас!

Когда Максику исполнилось шесть лет, он потерял родителей. Это случилось в Париже. Родители Максика поднялись в лифте на Эйфелеву башню, чтобы оттуда полюбоваться прекрасным видом. Только они вышли на площадку, как налетел сильный вихрь и унес их. Остальные посетители, которые были гораздо выше ростом, удержались за поручни.

А Ву Фу и Чин Чин погибли. Всем было видно, как они летели, держась за руки, а потом исчезли вдали.

На следующий день газеты писали: «Ветер унес с Эйфелевой башни двух маленьких китайцев! Безуспешные поиски на вертолетах! Тяжелая потеря для цирка «Стильке»!»

Конечно, тяжелее всех перенес ее Максик: ведь он очень любил родителей. Сколько крошечных слезинок пролил он в свои крошечные носовые платочки! А когда через две недели на кладбище в маленькой шкатулке из слоновой кости хоронили пару черных китайских косичек — их за Канарскими островами выловил из океана португальский пароход, — Максику хотелось умереть от горя.

Удивительные это были похороны! В них участвовали: семья Бамбус в кимоно, укротитель львов и тигров с траурной повязкой на хлысте, наездник Галопинский верхом на вороном жеребце Нероне, глотатели огня с горящими факелами в руках, господин директор Грозоветтер в цилиндре и в черных лайковых перчатках, клоуны с мрачно разрисованными лицами, но прежде всего — в роли оратора — знаменитый профессор фокусных наук Йокус фон Покус. В конце своей торжественной речи профессор сказал:

— Двое наших коллег, которых мы сегодня оплакиваем, оставили нам в наследство маленького Максика. Незадолго до своего рокового восхождения на Эйфелеву башню они привели его ко мне в номер и попросили присмотреть за ним до их возвращения. Сегодня мы знаем, что они не вернутся. Поэтому, пока я жив, я буду с величайшим удовольствием заботиться о Максике. Согласен ли ты, мой мальчик?

Максик выглянул из бокового кармана его волшебного фрака и громко всхлипнул:

— Да, дорогой Йокус! Я согласен!

И все присутствовавшие тоже заплакали от горя и радости. Слезы смыли траур с лиц клоунов. А профессор извлек прямо из воздуха огромный букет цветов и положил их на могилку. Глотатели огня сунули в рот горящие факелы, и пламя тут же потухло. Оркестр исполнил марш гладиаторов. А потом все во главе с наездником Галопинским и его вороным жеребцом Нероном отправились назад, в цирк. Потому что была среда.

Ведь, как всем известно, по средам, субботам и воскресеньям в цирке дают дневные представления. Для детей. По сниженным ценам.

Глава 2

Спичечная коробка на ночном столике. Минна, Эмма и Альба. Шестьдесят граммов живого веса, но крепкое здоровье. Маленький Человек поступает в школу. Неприятности в Афинах и Брюсселе. Занятия на стремянке. Книги величиной с почтовую марку

Кажется, я уже говорил вам, что Максик спал в спичечной коробке. Вместо шестидесяти спичек в ней помещались ватный тюфячок, клочок одеяла из верблюжьей шерсти, подушка размером с ноготь на моем безымянном пальце и сам Максик. Коробка оставалась наполовину открытой, а то бы он задохнулся.

Спичечная коробка лежала на ночном столике рядом с кроватью фокусника. По вечерам, как только профессор Йокус фон Покус поворачивался к стенке и начинал похрапывать, Максик выключал настольную лампу и тоже засыпал. Вместе с ними в номере спали две голубки — Минна и Эмма, а в корзинке — крольчиха Альба. Голуби спали на шкафу. Они зарывались головками в перья и тихонько ворковали во сне.

Все трое служили у профессора и помогали ему выступать в цирке. Голуби ни с того ни с сего вылетали из рукавов его фрака, а крольчиху неожиданно обнаруживали в пустом цилиндре. Минна, Эмма и Альба очень любили фокусника, а от маленького Максика были просто без ума. Все пятеро завтракали вместе, а потом Максику иногда разрешалось садиться верхом на Эмму, и он совершал круговой полет по комнате.

Длина спичечной коробки — шесть сантиметров, ширина — четыре, высота — два. Именно то, что требовалось Максику! В свои десять и даже двенадцать лет он был не полных пяти сантиметров роста, и спичечная коробка была ему в самый раз. На почтовых весах у швейцара гостиницы он весил шестьдесят граммов. При этом у него всегда был хороший аппетит, и он никогда ничем не болел. Кроме кори. Но корь не считается. Корью болеет каждый второй ребенок.

В семь лет он, конечно, мечтал учиться в школе. Но уж слишком трудным оказалось для него учение. Во-первых, каждый раз при переезде цирка школу приходилось менять. А вместе со школой и язык. Потому что в Германии учили на немецком языке, в Анг-

лии — на английском, во Франции — на французском, в Италии — на итальянском, а в Норвегии — на норвежском. Но это было для Маленького Человека не самое трудное: он был очень смывленный мальчик. Главная же трудность заключалась в том, что все его сверстники были намного выше ростом. И все они воображали, что быть выше ростом — это очень важно. Поэтому бедняге Максику пришлось хлебнуть горюшка.

В Афинах, например, три маленькие гречанки как-то на перемене воткнули его в чернильницу. А в Брюсселе два бельгийских озорника посадили его на карниз, который держит шторы. Правда, Максик сам слез оттуда. Потому что лазить он уже и тогда умел лучше всех. Но, конечно, подобные глупости ему вовсе не нравились. И однажды фокусник объявил:

— Знаешь что? Я сам буду давать тебе уроки.

— Вот здорово! — воскликнул Максик. — Когда же мы начнем?

— Послезавтра в девять утра, — сказал профессор Йокус фон Покус. — Но только не радуйся заранее!

Прошло немало времени, прежде чем они придумали, как им заниматься. Кроме учебников и тетрадей для занятий понадобились стремянка с пятью перекладинами и сильная лупа. Перед тем как начать читать, Максик забирался на верхнюю ступеньку, потому что буквы были слишком велики для него. Лишь с верхней перекладины он мог обозревать всю страницу. К уроку письма он готовился совсем по-другому. Максик садился за свою крошечную парту. Крошечная парта стояла на огромном столе. А профессор, сидя за столом, в лупу разглядывал каракули Максика. Лупа в семь раз увеличивала написанное — только так профессору удавалось разглядеть слова и буковки. Без лупы и он, и официант, и горничная приняли бы их за чернильные брызги или за мушиные следы. Но в лупу было ясно видно, что это буквы, да к тому же красиво написанные.

На уроках арифметики происходило то же самое. Чтобы разглядеть цифры, опять требовалась лупа. А Максик, чем бы он ни занимался, всегда был в пути. Чтобы списать условия задачи, он то лез на стремянку, то спускался с нее и садился за парту. И так весь урок.

Однажды после завтрака официант, убравший посуду, сказал:

— Если бы я не знал точно, что у мальчика урок чистописания, я был бы уверен, что он занимается гимнастикой.

Все рассмеялись. И Эмма с Минной тоже, потому что они были из породы хохотуний.

Максику не пришлось долго читать по складам. Он очень скоро научился читать так быстро, словно всю жизнь только это и делал. Теперь его невозможно было оторвать от книги. Самой первой его книгой был подарок Йокуса фон Покуса — «Сказки братьев Гримм». Он наверняка прочел бы ее быстрее, чем за неделю, если бы не проклятая лестница.

Каждый раз, когда ему надо было перевернуть страницу, он волей-неволей должен был спускаться с лестницы, прыгать на стол, поворачивать страницу и опять взбираться по лестнице на самый верх. Лишь после этого он узнавал, что было дальше. А две страницы спустя ему снова надо было прыгать на стол и бежать к книге! Так продолжалось до бесконечности: от книги — вверх по лестнице, потом спустя две страницы — вниз по лестнице, вверх — вниз, вверх — вниз. Просто с ума сойти!

Однажды профессор вошел в комнату, когда мальчик, в двадцать третий раз поднявшись по лестнице, топал ногами и кричал:

— Безобразия! Почему на свете нет совсем маленьких книг с совсем маленькими буквами!

Профессор, увидев сердитого Максика, сначала рассмеялся. Но потом подумал и сказал:

— А ведь ты, пожалуй, прав. И если таких книг пока еще нет, мы их закажем специально для тебя.

— А есть такой человек, который может их напечатать?

— Понятия не имею, — ответил фокусник. — Но в марте наш цирк будет выступать в Мюнхене. А там живет часовой мастер по имени Унру. У него мы все выясним.

— А откуда это может знать часовой мастер Унру?

— Он может знать, потому что сам занимается подобными делами. Например, десять лет назад он написал «Песнь о колоколе» Шиллера на обратной стороне почтовой марки. А в этом стихотворении, что ни говори, четыреста двадцать пять строк!

— Здорово! — ахнул Максик. — Мне бы такую книгу!



Чтобы вас не задерживать, скажу сразу: часовщик Унру действительно знал типографию, где можно было отпечатать маленькие книжки. Прошло совсем немного времени, и мальчику удалось собрать целую библиотеку из таких книжек.

Теперь ему не надо было больше заниматься гимнастикой на стремянке. Он мог читать, устроившись поудобнее. Больше всего он любил читать по вечерам, лежа в спичечной коробке, когда профессор уже спал и только тихо похрапывал. Ах, как это было уютно! Под потолком на шкафу ворковали голуби. А Максим наслаждался какой-нибудь из своих любимых книг: «Карликом Носом», или «Мальчиком-с-пальчик», или «Нильсом Хольгерсоном», или своей самой любимой — «Гулливером».

Иногда профессор сквозь сон ворчал:

— Потуши свет, бессовестный!

А Максим шепотом просил:

— Ну еще только одну минуточку, Йокус!

Иногда эта «минуточка» длилась целых полчаса. В конце концов он все же гасил свет и засыпал. И ему снился Гулливер в стране лилипутов.

Разумеется, Гулливером, который спокойно перешагивал через высокие городские стены и один уводил в плен весь вражеский флот, был не кто иной, как Максик Пихельштейнер.

Глава 3

Он хочет стать артистом. Высокие люди и великие люди не одно и то же. Разговор в Страсбурге. О профессии переводчика. План профессора разбивается об упрямство Максика

Чем старше становился Маленький Человек, тем чаще у них с Йокусом заходили разговоры о том, кем же в конце концов он собирается стать. И Максик каждый раз заявлял:

— Я пойду в цирк. Я буду артистом.

А профессор каждый раз качал головой и возражал:

— Нет, малыш, это не годится. Ты слишком мал для артиста.

— Ты каждый раз по-другому говоришь! — ворчал Максик. — А кто мне рассказывал, что многие знаменитости были маленького роста? И Наполеон, и Юлий Цезарь, и Гете, и Эйнштейн, и еще другие. И потом, ты говорил, что высокие люди редко бывают великими, потому что у них вся сила уходит в рост.

Профессор почесал голову. Наконец он сказал:

— Все же и Цезарь, и Наполеон, и Гете, и Эйнштейн никогда не стали бы хорошими артистами. У Цезаря, например, были такие короткие ноги, что он с трудом влезал на коня.

— Но я ведь вовсе не собираюсь быть наездником, — возражал мальчик. — Разве мои родители были плохие артисты?

— Что ты! Чудесные!

— А они были большие?

— Нет. Маленькие, и даже очень.

— Значит, милый Йокус...

— Никаких «значит»! — сердился фокусник. — Они были маленькие, но ты в десять раз меньше. Ты слишком мал. И если ты встанешь посреди манежа, тебя никто из публики даже не заметит.

— Тогда пусть берут с собой бинокли, — заявил Маленький Человек.

— Знаешь, кто ты такой? — мрачно спросил профессор.— Ты большой упрямец!

— Нет, я совсем маленький упрямец! И...

— И? — переспросил профессор.

— ...и я буду артистом! — заорал Максик во все горло, так громко, что Альба от страха выронила изо рта листик зеленого салата.

Однажды вечером после очередного представления — это было в городе Страсбурге — они сидели в ресторане гостиницы, и господин профессор Йокус фон Покус уплетал гусиный паштет с трюфелями. Обычно он ел по-настоящему лишь после представления, иначе фрак ему становился тесен, а это мешало показывать фокусы. Потому что во фраке были спрятаны самые разные вещи. Например, четыре колоды игральных карт, пять букетов цветов, двадцать бритвенных лезвий и восемь горящих сигарет. А кроме того, еще и голуби Минна и Эмма, белая крольчиха Альба и вообще все, что нужно для фокусов. Поэтому с едой лучше было не торопиться.

Итак, Йокус сидел за столом, ел страсбургский паштет с поджаренным хлебом, а Максик сидел на столе рядом с тарелкой и лакомился крошками. Потом подали венский шницель, салат из фруктов и черный кофе. Мальчику досталось по кусочку от каждого блюда и целая четверть глотка кофе. Оба наелись и, довольные, вытянули ноги: профессор — под столом, а Маленький Человек — на столе.

— Теперь я знаю, кем ты будешь, — сказал Йокус, выпустив изо рта удивительно красивое белое кольцо дыма.

Мальчик восхищенно следил за этим кольцом, которое становилось чем больше, тем тоньше, пока не растаяло, ударившись о люстру. Потом он сказал:

— Ты только теперь узнал? А я всегда знал. Я буду артистом.

— Нет, — буркнул профессор.— Ты будешь переводчиком.

— Переводчиком?

— Это очень интересная работа. Ты ведь уже знаешь немецкий язык, порядочно владеешь английским и французским, немного итальянским и испанским...

— И голландским, и шведским, и датским, — продолжал Маленький Человек.

— Вот именно, — подхватил профессор.— Если мы и дальше будем кататься по Европе с нашим цирком, ты

эти языки выучишь еще лучше. Потом, в Женеве, ты сдашь экзамены в знаменитой Женевской школе переводчиков. Как только ты их сдашь, мы с тобой поедem в Бонн. Там у меня есть один знакомый.

— Тоже фокусник?

— Нет, подымай выше! Он чиновник. Он начальник службы печати при федеральном канцлере. Я покажу ему твой женевский диплом, и тогда ты, если все пойдет гладко, станешь переводчиком при министерстве иностранных дел или даже личным переводчиком канцлера. А канцлер — это самая главная и самая важная персона. И так как он часто бывает за границей, чтобы вести переговоры с другими канцлерами, то ему нужен хороший переводчик.

— Но ведь не Мальчик-с-пальчик ему нужен!

— Вот именно Мальчик-с-пальчик! Чем меньше рост, тем лучше,— пояснил профессор.— Например, берет он тебя в Париж, где ему надо что-то обсудить с президентом. Что-то очень секретное. Что-то ужасно важное. Но немецкий канцлер не очень-то понимает по-французски. Ему нужен переводчик, который бы ему объяснил, что именно говорит французский президент.

— И этим переводчиком обязательно должен быть я?

— Обязательно, мой мальчик,— подтвердил профессор. Он был очень увлечен своей идеей.— Ты садишься в ухо канцлеру и шепчешь ему по-немецки то, что президент говорит по-французски.

— А если я вывалюсь из уха? — спросил Максик.

— Не вывалишься. Во-первых, у него, наверное, такие большие уши, что ты сможешь уютно устроиться внутри.

— А во-вторых? А если у него маленькие ушки?

— Тогда он приделает к уху золотую цепочку вроде серьги, и ты будешь на ней висеть, и у тебя будет титул: «Тайный советник Макс Пихельштейнер», а чиновники будут тебя почтительно величать «лицом, близким уху канцлера». Разве это не здорово?

— Нет,— решительно отрезал Максик.— По-моему, даже очень противно. Я не буду сидеть в ухе. Ни во Франции, ни в Германии, ни на Северном полюсе. А главное, ты забыл главное...

— А что же главное?

— Главное — это то, что я стану артистом.

Глава 4

Маленький Человек хочет стать укротителем. Разве львы не кошки? Максик в стакане. Отчет о необыкновенном футбольном матче. Йокус прыгает сквозь горящий обруч

На третий день пребывания артистов в Милане, куда цирк «Стильке» вот уже в который раз приезжал на гастроли, Максик, не помня себя от волнения, сказал профессору:

— Йокус, важное сообщение! Кошка в гостинице окотилась. У нее четверо котят. Они живут в двести двадцать восьмом номере и все время прыгают с кресла на стол и со стола в кресло.

— Ну что ж,— заметил профессор,— это вполне разумно. Не могут же они постоянно сидеть на столе...

Но Маленькому Человеку сегодня было не до шуток.

— Мне горничная их показала,— продолжал он, волнуясь еще больше.— Они полосатые, совсем как маленькие тигрята.

— Они тебя не поцарапали?

— Ну что ты, конечно, нет,— уверял мальчик.— Мы даже очень подружались. Они мурлыкали, а я кормил их рубленным мясом.

Профессор посмотрел на мальчика исподлобья. Потом он спросил:

— Ты что это задумал? А ну-ка выкладывай поскорее!

Максик глубоко вздохнул и объявил:

— Я стану дрессировщиком, и мы вместе будем выступать в цирке.

— Кто это «мы»? Ты и горничная?

— Нет,— возмутился мальчик,— я и котята.

Потрясенный Йокус фон Покус упал на стул и целые две, а то и три минуты безмолвствовал. Потом он помотал головой, вздохнул и сказал:

— Кошки дрессировке не поддаются. Разве ты этого не знаешь?

Максик загадочно улыбнулся. Потом он спросил:

— А львы — это кошки?

— Да. Они относятся к семейству кошачьих. Ты прав.

— А тигры? А леопарды?

— Тоже. Ты и тут прав.

— А укротитель может их заставить сесть на тумбы или прыгнуть сквозь обруч?

— Даже сквозь горящий обруч! — подтвердил профессор.

Мальчик радостно потирал руки.

— Вот видишь! — торжествовал он. — Если можно выдрессировать таких огромных кошек, то уж котят и давно.

— Нет, — энергично возразил профессор, — этого сделать нельзя.

— Почему?

— Понятия не имею.

— А я знаю почему! — гордо заявил Максик.

— Почему же?

— Потому что никто никогда этого не пробовал.

— А ты собираешься попробовать?

— Да! И я даже придумал название номеру. На афишах будет сказано: «Захватывающее зрелище! Впервые на арене цирка! Максик и его четверо котят!» Может быть, я даже появлюсь в черной маске. А кроме того, мне понадобится хлыст, чтобы им щелкать. Он у меня уже есть. Я возьму кнут от своей старой игрушечной кареты.

— Ну что ж, в таком случае желаю успеха, мой юный друг, — сказал господин фон Покус и раскрыл газету.

Уже на следующее утро горничная принесла в 228-й номер четыре низенькие скамейки. Четверо котят с любопытством стали обнюхивать их, но скоро уползли назад в свою корзину и лениво свернулись в ней клубком.

Потом появился официант. В левой руке он нес тарелку с мясным фаршем, в правой — Максика. Максик, в свою очередь, держал в правой руке лакированный игрушечный хлыст, а в левой — острую зубочистку.

— Для самообороны, — объяснил он. — В случае нападения хищников на укротителя. А также для подачи пищи.

— Мне остаться? — любезно предложил официант.

— Нет, я прошу вас уйти, — сказал Маленький Человек. — Это лишь затруднит дрессировку и будет отвлекать животных.

Официант удалился. Укротитель остался наедине со своими четырьмя жертвами. Они подмигивали ему, бесшумно зевали, потягивались и облизывали друг друга, словно их неделю не купали.

— Внимание! — властно крикнул мальчик. — С ленью надо распрощаться. Начинаем работать!

Котята, притворяясь глухими, продолжали облизывать друг друга. Максик свистнул, щелкнул языком, сунул под мышку зубочистку, хлопнул в ладоши, щелкнул хлыстом, топнул ногой. Котята и ухом не повели.

И только когда Максик, подцепив зубочисткой несколько крошек мяса, положил их на скамейки, котята оживились. Они выпрыгнули из корзинки, вскочили на скамейки, проглотили мясо, облизнулись и выжидательно посмотрели на укротителя.

— Правильно! — воскликнул тот восторженно. — Молодцы! Теперь сделайте стойку! Гоп! Передние лапы вверх!

Он поднял хлыст.

Но котята, по-видимому, его не поняли. Или же они почуяли, что в 228-м номере есть еще мясо. Во всяком случае, они повскакали со скамеек на пол и побежали прямо к тарелке. Они с такой жадностью на нее набросились, словно помирали с голоду.

— Назад! — возмущенно заорал Маленький Человек. — Немедленно прекратить! Вы что, оглохли?

Но они не могли ему подчиниться. Даже если бы и захотели. Правда, они вовсе и не хотели этого. Они так чавкали, что даже тарелка задрожала.

И Максик тоже дрожал. От возмущения.

— Мясо получите потом! Сначала придется делать стойку. Потом бегать гуськом! Потом прыгать со скамейки на скамейку! Понятно?

Он ударил хлыстом по тарелке.

Но тут котенок выхватил у него красный лакированный кнутик и перегрыз его пополам.

Когда профессор Йокус фон Покус, о чем-то задумавшись, возвращался по коридору к себе в номер, из 228-й комнаты до него донесся жалобный писк. Он распахнул дверь, осмотрелся и захохотал.

Четверо котят сидели под умывальником и кровожадно глядели вверх. Усы у них ошетинились. Хвостики стучали по полу. А наверху, на самом краю умывальника, сидел в стакане Максик и горько плакал.

— Йокус, спаси меня! — хныкал он жалобно. — Они хотят меня съесть!

— Чепуха! — сказал профессор. — Ты ведь не мышь!

Он вынул мальчика из стакана и тщательно осмотрел его со всех сторон.

— Костюм немного порван, и на левой щеке царапина. Вот и все.

— Подлецы! — сердился Максик. — Сначала они сло-

мали хлыстик, а зубочистку всю изжевали. А потом стали играть в футбол.

— А где они взяли мяч?

— Мячом был я, дорогой Йокус. Они меня подбрасывали, ловили, загоняли под кровать, потом доставали оттуда, гоняли по паркету, опять бросали вверх, опять загоняли под кровать и вытаскивали из-под нее. Просто жуть! Не взберись я по полотенцу на умывальник, меня бы уже, наверное, не было в живых.

— Бедняжка,— пожалел его профессор.— Ну ничего. Самое страшное позади. Я тебя умою и уложу в постель.

Четверо котят раздосадованно смотрели вслед уходящему профессору. Им было обидно, что этот большой человек отнял у них мячик, который так смешно орал, когда с ним играли. Потом котята, потянувшись, заковыляли к тарелке и сунули в нее носы. Они уже успели забыть, что тарелка давным-давно пуста.

Самый умный котенок подумал: «Не повезло» — и свернулся калачиком на подстилке. «Есть можно, только когда кто-нибудь приносит еду,— думал он, засыпая.— А вот спать можно и без посторонней помощи».

Тем временем Максик печально сидел в своей спичечной коробке с пластырем на щеке и пил из малюсенькой фарфоровой чашечки горячий шоколад.

Профессор, вставив в глаз лупу, штопал мальчику костюм.

— Ты совершенно уверен, что кошки не поддаются дрессировке? — спросил Максик.

— Совершенно уверен.

— Разве они глупее львов и тигров?

— Ничуть,— убежденно ответил профессор.— Им это просто не нравится. Я их вполне понимаю. Мне бы тоже не нравилось прыгать сквозь горящие обручи.

Максик засмеялся.

— А жаль! Как было бы здорово: в зрительном зале одни тигры, кенгуру, медведи, морские львы, лошади и пеликаны. Только подумай! И объявление: «Все билеты проданы».— От восторга он даже дернул себя за чуб.— Ну а теперь ты дальше придумывай!

— Хорошо,— согласился профессор.— Слоны в оркестре играют туш. Потом на манеж выходит лев. В лапе он держит хлыст. На желтой гриве у него цилиндр. В зале полнейшая тишина. Четыре мрачных тигра выкатыва-

ют на манеж клетку. В клетке сидит господин во фраке и мурлычет.

— Здо́рово! — Максик потер руки.— Этот господин — ты!

— Так точно, я. Лев широким жестом снимает цилиндр, раскланивается и кричит: «Теперь, многоуважаемые господа звери, вы увидите главный номер нашей программы. Мне удалось выдрессировать человека. Его имя — профессор Йокус фон Покус. На ваших глазах он прыгнет сквозь горящий обруч. Дятлов попрошу пробить барабанную дробь.

Дятлы забарабанили. Клетка открывается. Два тигра держат на весу обруч. Лев щелкает хлыстом. Я медленно вылезая из клетки, громко чертыхаюсь. Лев еще раз щелкает хлыстом. Я залезаю на тумбу и чертыхаюсь еще сильнее. Светлячки поджигают обруч. Он вспыхивает. Лев шлепает меня хлыстом пониже спины. Я реву от бешенства. Лев еще раз ударяет меня хлыстом. И тогда я одним прыжком проскакиваю сквозь горящий обруч. Бумага с треском лопаается. Языки пламени вздрагивают. Дятлы выбивают барабанную дробь. Я поднимаюсь с песка, отряхиваю штаны и отвешиваю низкий поклон публике.

— И все звери в цирке как сумасшедшие хлопают в ладоши! — радостно воскликнул Маленький Человек.— А лев тебе в награду дает отбивную котлету.

— А ты, дружок, спи! — приказал профессор. Он взглянул на часы.— Сегодня среда, у меня дневное представление.

— Ни пуха ни пера! — пожелал Максик.— И еще я тебе должен сказать одну вещь.

— Какую именно?

— Я все равно буду артистом!

Глава 5

Прогулка мимо витрин с манекенами. Продавец падает в обморок. Магазин мужской одежды, в конце концов, не больница. Разница между государственным мужем и мужем молочницы

Однажды жарким июльским полднем профессор и Максик прогуливались по Западному Берлину, разглядывая витрины магазинов. Собственно, прогуливался-то один профессор. Максик не прогуливался, а стоял в на-

грудном кармане профессора и, облокотившись на его край, как на перила, разглядывал игрушки, сласти и книги. Но профессор с еще большим удовольствием рассматривал витрины с обувью, мужскими сорочками, галстуками, сигарами, зонтами, винами и прочими малоинтересными вещами.

— Пожалуйста, не стой так долго перед аптекой,— взмолился мальчик.— Пойдем дальше!

— Пойдем? — подхватил Йокус.— При чем тут «пойдем»? Насколько мне известно, идет только один из нас, а именно я. Что же касается тебя, то тебя везут, дорогой мой. Ты весь в моих руках.

— Не в руках, а в кармане,— возразил мальчик.

Оба рассмеялись. Люди стали оборачиваться. Один толстяк, толкнув в бок свою жену, шепнул ей:

— Чудеса, Рика! Мужчина смеется на два голоса!

— Пусть себе смеется,— ответила Рика.— Наверное, он чревоуещатель.

Профессор довольно долго стоял перед витриной с мужской одеждой, разглядывая манекены в нарядных костюмах. Наконец он отошел, но, пройдя несколько шагов, тут же вернулся обратно и, погрузившись в раздумье, уже не отходил от витрины. Потом он три раза кивнул головой и вслух сказал самому себе:

— Не так уж глупо!

— Что не так уж глупо? — полюбопытствовал Максик.

Но профессор, не отвечая, прямо пошел в магазин.

— Мне нужен синий костюм с витрины,— решительно заявил он щеголеватому продавцу,— однобортный, за двести девяносто пять марок.

— С удовольствием, сударь. Но я боюсь, что он вам не подойдет.

— А это и не требуется,— буркнул профессор.

— Может быть, понадобится подгонка,— вежливо предложил продавец.— Я попрошу нашего портного заняться вами.

— Пусть занимается своим делом.

— Но он очень скоро придет, уверяю вас.

— Без него дело пойдет еще быстрее.

— Наша фирма придает большое значение хорошему обслуживанию покупателя,— обиженно заметил продавец.

— Весьма похвально,— отозвался профессор,— но я вовсе не собираюсь надевать костюм. Я его хочу просто купить.

— В этом случае очень рекомендую, чтобы господин, для которого вы покупаете костюм, соблаговолил прийти к нам,— предложил продавец.— Или же дайте нам его адрес, и мы пошлем к нему портного. Он будет у него сегодня же во второй половине дня.

Продавец вынул блокнот, чтобы записать адрес.

Профессор отрицательно покачал головой.

— Костюм, который я собираюсь купить, не предназначен для живого человека.

Продавец побледнел, отступил на шаг и просто-на-просто:

— Значит, он умер? О, какое горе! — Он глубоко вздохнул.— Будьте добры, укажите размер вашего уважаемого покойника. Ведь и ему костюм должен быть по росту. Тогда я попрошу нашего портного...

— Что за бред! — грубо оборвал его профессор. Но тут же смягчился.— Вы, конечно, не можете знать, о чем идет речь.

— Конечно,— признался насмерть перепуганный продавец. Он ухватился за прилавок, потому что колени его дрожали. Бедный малый трясся как в лихорадке.

— Главное, чтобы костюм был впору манекену. Надеюсь, он ему годится?

— Разумеется, сударь.

— Дело в том, что я покупаю костюм вместе с манекеном,— объяснил профессор.— Костюм отдельно от манекена меня не интересует.

Не успел продавец немного прийти в себя, как чей-то тоненький голосок спросил:

— На что тебе эта большая кукла с усами?

Продавец осторожно взглянул на карман необычного покупателя. Максик приветливо кивнул продавцу и сказал:

— Пожалуйста, не пугайтесь.

— Как тут не испугаться...— дрожащим голосом пролепетал продавец.— Сначала костюм для покойника, а потом этот Мальчик-с-пальчик в кармане. Это уж слишком!

И, закатив глаза, продавец рухнул на ковер.

— Он умер? — осведомился малыш.

— Нет, у него просто обморок,— ответил Йокус и подозвал заведующего.

— А в самом деле, зачем нам понадобился манекен? — спросил малыш.

— Потом расскажу,— шепнул Йокус.



Прибежавший заведующий усадил продавца на стул, чтобы тот скорее пришел в себя. Профессор еще раз повторил свою просьбу:

— Мне нужен однобортный мужской костюм цвета морской волны вместе с манекеном, сорочка, галстук, подтяжки, ботинки и носки. Словом, все, что на манекене. Сколько все это будет стоить?

— Точно не помню, сударь,— промямлил заведующий.

Пошевелив бледными губами, продавец чуть слышно пролепетал:

— Пятьсот двенадцать марок. При уплате наличными — один процент скидки. Итого — пятьсот шесть марок восемьдесят восемь пфеннигов.

Было видно, что он прекрасно знал свое дело. И, сказав это, он снова съехал со стула.

— Опять обморок,— деловито отметил Максик.

Заведующий услышал новый голос, увидел маленького мальчика в кармане большого пиджака, вытаращил глаза и в ужасе схватился за спинку стула.

— Этот господин тоже упадет в обморок? — с надеждой в голосе спросил Максик.

— Надеюсь, что нет,— ответил профессор.— В конце концов, это не больница, а магазин мужской одежды.

Постепенно заведующий и продавец стали приходить в себя. Покупка состоялась. Профессор заказал такси. Верх машины пришлось откинуть, чтобы манекен мог стоять во весь рост. Профессор придерживал его за ноги.

— Этот тип похож на иностранного президента! — воскликнул один берлинец, увидев такси.

— Ничего подобного! — заметил другой.

— Почему же нет? — спросил первый. — Кто еще будет стоять во весь рост в машине?

— Хорош президент, ничего не скажешь, — упрямо повторил другой. — Почему он не улыбается и не приветствует публику? Ведь, как государственный муж, он обязан это делать. Он должен показать всем, что он счастлив прибыть в Берлин и что от восторга даже не может сесть. Если это, конечно, настоящий государственный муж!

На перекрестке машина остановилась, и оба берлинца побежали за ней рысцей. Но не успели они добежать, как зажегся зеленый свет, и они остались ни с чем.

— Кроме того, государственный муж никогда не ездит в такси, — заметил первый. — Ни стоя, ни сидя.

— Я тоже никогда не ездил в такси, — возразил другой.

— Ах вот как! А разве вы — государственный муж?

— Нет, я — муж молочницы!

Глава 6

Волнение в гостинице «Кемпинский». Кем был Йокус, прежде чем стал фокусником? И зачем он купил манекен?

В гостинице «Кемпинский», где проживал Йокус фон Покус, тоже царило волнение. К мальчику, спавшему на ночном столике в спичечной коробке, здесь постепенно привыкли. Но, увидев, как двое рабочих на глазах у изумленной публики тащат к лифту манекен, директор гостиницы и швейцар очень разволновались.

Только рабочие успели поставить куклу посреди комнаты, как в номер ворвался директор.

— Что все это значит? — грозно спросил он, укоризненно глядя сквозь роговые очки.

— Что «что значит»? — дружелюбно переспросил его профессор, словно не понимая причины такого волнения.

— Манекен с витрины!

— Он мне нужен для работы,— разъяснил Йокус.— Музыканты могут привезти в гостиницу даже рояль и греметь на нем целыми днями. Они артисты и должны упражняться. А я — фокусник, то есть тоже артист, и тоже должен упражняться. Причем я никогда не подымаю такого шума, как мои коллеги певцы и пианисты.— Он ухватил директора за фалду пиджака и дружески похлопал по плечу.— Что же вас так волнует, дорогой друг?

— Это становится просто невыносимым,— причитал директор.— Ваш Максик, два голубя и белый кролик, а теперь еще эта деревянная кукла в голубом костюме.

Профессор отечески прижал к груди совершенно подавленного директора и погладил его по волосам.

— Пусть это вас не беспокоит! В постели манекен не нуждается. Полотенца ему тоже не нужны. Сигаретами скатерть он не прожжет. Горничную не обругает.

— Все это прекрасно, господин профессор,— согласился директор.— Но, в конце концов, у вас номер на одного, а живут в нем, кроме вас, Маленький Человек, трое зверей да еще теперь эта кукла. Итого — пять персон.

— Ах вот к чему вы клоните! — рассмеялся фокусник.— Вы бы согласились с такой перенаселенностью этого очаровательного номера окнами на юг, если бы я увеличил суточную плату на пять марок?

— Об этом можно будет поговорить,— последовал неуверенный ответ.— Разрешите сообщить о вашем ценном предложении в бухгалтерию?

— Разрешаю,— ответил профессор и, долго пожимая его руку, добавил: — Лучше всего все оформить сразу. Вот вам моя авторучка.

— Спасибо. У меня всегда при себе шариковая ручка и блокнот. Без них я не могу работать. Это мои орудия производства.

Директор элегантно жестом сунул руку в карман. Но — увы! — он был пуст.

— Странно,— пробормотал директор.— Ни блокнота, ни ручки. Не мог же я их забыть у себя в кабинете! Первый раз в жизни со мной такое случается.

Он продолжал поиски. И вдруг побледнел как мел и прошептал:

— Бумажника тоже нет. В нем была куча денег.

— Прежде всего спокойствие,— сказал Йокус фон Покус.— Выкурите сначала сигарету. И меня угостите.

— С удовольствием,— сказал директор и с готовностью сунул руку в правый карман. Потом в левый. Потом в карманы брюк. Лицо его вытянулось.— То же забыл,— пробормотал он.— И портсигар, и золотую зажигалку.

— Я вам могу помочь,— сказал профессор, вынимая из кармана портсигар и золотую зажигалку.

Директор гостиницы посмотрел на профессора с изумлением.

— Что с вами? Вам нехорошо?

— Прошу прощения,— сказал директор нерешительно,— но можно ли предположить, что портсигар и зажигалка, господин профессор, принадлежат не вам? Что они мои?

Йокус внимательно осмотрел оба предмета и удивился:

— В самом деле?

— На портсигаре выгравирована моя монограмма «Г» и «Х» — Густав Хинкельдей. Это мое имя.

— «Г» и «Х»?— повторил профессор и снова посмотрел на портсигар.— Так оно и есть, господин Хинкельдей.

Он тут же вернул ему обе вещи.

— Простите, ради бога, за откровенность, с какою я указал вам на... — смущенно начал директор.

— Ну что вы, что вы, господин Хинкельдей! Если кому из нас и надо извиниться, так это мне. Из-за этой дурацкой рассеянности ко мне вечно попадают чужие вещи.

Профессор тщательно ощупал свои карманы.

— Вот те на! — воскликнул он удивленно и вытащил на свет божий записную книжку и шариковую ручку.— Это, случайно, не ваше добро?

— Да, конечно! — поспешил подтвердить директор, молниеносно выхватив их из рук профессора.— Я никак не мог себе объяснить пропажу записной книжки.

На мгновение он умолк и задумался. А потом недоверчиво спросил:

— Не прихватили ли вы по рассеянности и мой бумажник?

— Надеюсь, что нет,— ответил профессор, похлопы-



вая себя по карманам.— Хотя, впрочем... А это не он?

В его левой руке появился черный сафьяновый бумажник.

— Так и есть! — воскликнул директор и, вырвав бумажник из рук профессора, поспешил к дверям, словно опасаясь, как бы бумажник не исчез снова.

— Деньги еще в нем? — насмешливо спросил Йокус.

— Да.

— Лучше пересчитайте-ка их. Мне бы не хотелось, чтобы вы потом говорили, что у вас не хватило денег. Наденьте очки и пересчитайте бумажки!

— Очки? Но ведь они на мне! — сказал господин Хинкельдей.

Маленький Человек покотился со смеху, а Хинкельдей, совсем одурев, схватил себя за нос и в замешательстве опустил руку.

— Куда же они делись?

— Куда кладут очки, когда их по рассеянности снимают? — участливо спросил профессор. — Я-то ведь не знаю: никогда в жизни очков не носил. Может, они у вас в футляре?

Маленький Человек чуть не подавился от смеха.

— Йокус, милый, хватит! — кричал он, захлебываясь от восторга. — Я больше не могу. Я со смеху вывалюсь из кармана!

Директор мрачно посмотрел на него.

— Что тут смешного? — проворчал он.

Но вдруг обнаружил на носу у профессора свои очки. Одним прыжком директор очутился посреди комнаты, схватил очки, отскочил к двери и крикнул:

— Вы не человек, а дьявол!

— Нет, я — фокусник, господин Хинкельдей.

Но директор гостиницы решил, что дальнейшие разговоры бесполезны. Он распахнул дверь и тут же испарился (хотя в номере было не так уж жарко).

Насмеявшись вдоволь, Максик сказал, не скрывая восторга:

— Господин Хинкельдей совершенно прав: ты — сам дьявол! Я столько раз видел, как ты вызывал из публики двух-трех зрителей и очищал их карманы, а они совсем ничего не замечали.

— Пустяки! Нужно только завести приятную беседу, — объяснил профессор. — Дружески похлопать человека по плечу. Потянуть его за пуговицу. Сделать вид, что снимаешь с костюма крошку табака или нитку. Все остальное несложно, если этому научиться.

— А как ты научился? И где? Подсади меня, пожалуйста, поближе к уху, ладно? Я тебя спрошу по секрету.

Профессор осторожно вынул Маленького Человека из кармана и поднес его к уху.

— Миленький Йокус, — прошептал Максик. — Не бойся. Я никому не скажу. Ты когда-нибудь был карманным воришкой?

— Нет, — тихо ответил профессор. — Нет, мой Максик. — Он улыбнулся и поцеловал мальчика в кончик носа, а это было совсем не так уж просто. — Я никогда не был карманником. Но я изловил очень много карманников.

— Ого-го!

— Для этого мне пришлось выучиться их ремеслу.

— Да, да. Понятно. Но кому же ты их отдавал?

— Полиции.

— Вот это да!

— А что в этом удивительного? В юности я мечтал стать сыщиком и прославиться на весь мир.

— А дальше? — взмолился Максик.

— Дальше — в другой раз. А сегодня я расскажу тебе кое-что про манекен, который мы с тобой купили.

— Я уже и забыл о нем.

— Тебе часто придется о нем вспоминать, — заметил профессор. — Потому что купили мы его для тебя.

— Для меня? Зачем?

— Затем, что ты решил стать артистом. Не так ли? Маленький Человек удивился:

— И для этого нам понадобилась такая огромная кукла? Каким же артистом я должен стать, дорогой Йокус?

— Помощником фокусника! — ответил фокусник.

Глава 7

Об учениках булочников и мясников, об ананасном торте и об учениках фокусников. Манекен зовут Вольдемар Чурбанн. Песня о Невидимке Верхолазе

Итак, Маленький Человек стал учеником фокусника и, конечно, был этому очень рад. Но он радовался бы куда больше, если бы знал, что же это, собственно говоря, такое — быть учеником фокусника.

— Что такое ученик булочника, я знаю, — сказал он. — Ученик булочника учится тому, чему булочник уже выучился. Ученик булочника учится выпекать хлеб, булки, яблочные пирожки и ананасные торты.

— Правильно, — подтвердил профессор.

— А ученик мясника учится резать свиней, жарить колбасу и делать студень.

— Верно.

— А потом ученик, если он только прилежный, становится подмастерьем. Значит, и я когда-нибудь стану подмастерьем?

— Не исключено.

— А если я... — начал Максик.

— Стоп! — крикнул профессор. — А мастером ты хочешь стать?

Маленький Человек покачал головой:

— Я хочу кусочек ананасного торта. Пожалуй, это все, что мне нужно для счастья.

— Ты маленький обжора, — сказал профессор и

заказал по телефону порцию ананасного торта, а для себя — рюмку коньяка. Потом он сел в свое пестрое кресло и стал объяснять: — Случай действительно сложный. Ученик булочника учится делать то, что умеет делать его учитель — булочник. Ученик жестянщика учится делать то, что умеет делать жестянщик.

— А ученик мясника...

— О нем мы не будем говорить.

— Почему? — спросил Максик.

— А то тебе захочется жареной колбасы, — ответил Йокус. — Лучше остановимся на жестянщике.

— Хорошо. Значит, я буду учиться тому, что ты уже умеешь, — сказал Маленький Человек. — Но ведь этому я никак не смогу научиться! Ну как я смогу проглотить двадцать больших лезвий, а потом вытянуть их за нитку изо рта? Или, например, где мне взять такого маленького кролика, чтобы он уместился в моем цилиндре? Разве что в стране лилипутов, но ведь такой страны на самом деле нет! И потом, игральные карты, твоя волшебная палочка и букеты цветов и сигареты — все это для меня слишком большие вещи.

Профессор кивнул:

— Я тебе уже говорил: случай сложный. Все ученики в мире учатся тому, что умеет делать их учитель, — будь то ученик булочника, или жестянщика, или портного, или сапожника...

— Или мясника, — добавил Максик и захихикал.

— Да, и он тоже, — подтвердил Йокус. — Ты же будешь единственным в мире учеником, который будет учиться тому, что твой учитель не умеет и не может делать.

— Но ты можешь все!

— Разве я могу спать в спичечной коробке? Или летать верхом на Минне по комнате?

— Ты прав. Этого ты не можешь.

— Или могу я, например, — продолжал профессор, — высунуться из кармана? Могу я по занавеске взобраться на карниз? Или пролезть сквозь замочную скважину?

— Нет, не можешь! Ой, сколько ты всего, оказывается, не можешь! Вот здорово!

— Здорово или нет, — продолжал профессор, — но это так. Ты ученик фокусника, а я твой учитель, и я научу тебя вещам, которых сам делать не могу.

На этом месте их прервали. В комнату вошел официант. Он принес коньяк и порцию ананасного торта. При этом он чуть не сбил с ног манекен.

— Вот те на! — воскликнул он. — Это еще кто такой?

— Это красавец Вольдемар, — представил его Йокус. — Наш дальний родственник.

— Красивый малый! — сказал официант. — А фамилия у него есть?

— Фамилия его Чурбанн, — очень серьезно ответил Максик. — Вольдемар Чурбанн.

— Чего только не насмотришься в гостиницах! — заметил официант. Он отвесил манекену поклон и, сказав: «Желаю приятно провести время в Берлине, господин Чурбанн!» — вышел из номера.

Когда профессор выпил свой коньяк, а Максик, орудуя крошечной серебряной вилочкой, отломал кусочек ананасного торта, у них начались занятия.

— Недавно ты наблюдал, как я обвел вокруг пальца директора Хинкельдея, — начал урок профессор.

— Наблюдать-то я наблюдал, да ровным счетом ничего не видел. Даже вот номер с очками. Я их заметил уже на твоём носу.

— А хочешь знать, как я этому научился? Ведь когда-то я тоже был учеником и должен был долго-долго тренироваться.

— На чем?

— На манекене, одетом в синий костюм.

— Правда? И на таком же красивом, как Вольдемар?

— Вольдемар куда красивее, — признался профессор. — Но мы не позволим этой сногшибательной красоте сбить нас с толку. Кроме того, если ты каждый день будешь лазить по нему вверх и вниз, он, пожалуй, не покажется тебе таким прекрасным?

— Что ты сказал? — испуганно спросил Максик. — Каждый день лазить вверх и вниз?

— Да, сынок. От воротника до башмаков и от башмаков до галстука. Сверху вниз и снизу вверх, в карманы и из карманов. Проворно и быстро, как белка, и бесшумно, как муравей в тапочках. В общем, научись. Ведь вы, Пихельштейнеры, знаменитые гимнасты.

— Йокус, а для чего мне надо этому учиться?

— Для того, чтобы ты мог помогать мне в цирке. Я буду приглашать в манеж очень достойных

джентльменов и дурачить их еще искуснее, чем делал это до сих пор.

— Тогда ты и я... нет, тогда я и ты... нет, опять нет... тогда мы с тобой будем шайкой разбойников.

— Вот именно.

— Ты атаман. А я кто?

— А ты — Невидимка Верхолаз.

Маленький Человек потирал руки. Он это часто делал, когда чему-нибудь очень радовался.

— Это годится для песни! — крикнул он. И тут же запел: — «Я — Невидимка Верхолаз... на Вольдемара влез сейчас...»

— Ну, а дальше?

— А дальше твоя очередь.

— Хорошо, — сказал профессор и запел: — «А после я и Йокус покажем... в цирке...»

— «Фокус!» — заорал Максик. — Теперь давай еще раз с самого начала. Только как можно громче!

Профессор поднял руки, как дирижер, и взмахнул ими, давая знак вступить. Они заорали в обе глотки:

— Я — Невидимка Верхолаз...

На Вольдемара влез сейчас.

А после я и Йокус

Покажем в цирке фокус.

Маленький Человек восторженно захлопал в ладоши:

— Пожалуйста, споем еще три или четыре раза. Очень хорошая песня получилась!

И они пели и пели до тех пор, пока в комнату не постучал официант. Он спросил озабоченно, не заболел ли кто из них или, не дай бог, оба сразу.

— Нет, мы совсем здоровы! — крикнул Маленький Человек.

— Мы просто спятили, — объяснил профессор.

Они медленно пропели ему свою песню, а потом спели ее уже втроем.

Позднее в комнату вошла горничная. Она была еще больше взволнована, чем официант. Но ее тоже быстро успокоили. Теперь они уже пели вчетвером. Получилось что-то вроде концерта. Только немножечко хуже.

Вечером Максик, потягиваясь и зевая в своей спичечной коробке, сказал:

— Значит, это был первый день моего обучения.

— Да, и притом самый легкий,— добавил профессор.— С завтрашнего дня мы начнем работать. Потушите-ка свет, Невидимка Верхолаз.

— Слушаюсь, господин атаман!

Максик выключил свет. В окно светила луна. Красавец Вольдемар стоя спал посреди комнаты. Голубки Минна и Эмма устроились рядышком на его деревянной макушке. Конечно, это было не так удобно, как на шкафу, но зато что-то новое!

Профессор захрапел. А Маленький Человек тихонько напевал про себя:

А после я и Йокус
Покажем в цирке фокус.

На этом месте глаза его стали слипаться.

Глава 8

«Максик-альпинист». Перепутанные фраки. Три сестры Марципан. Что такое батут? Галопинский — фокусник на коне. Йокус фон Покус отказывается выступить

Каждое утро они несколько часов посвящали тренировкам. После занятий Маленький Человек купался в крышке от мыльницы. Они тренировались во всех городах, куда цирк «Стильке» приезжал на гастроли. В пути манекен лежал в багажной сетке, и нужно было следить за тем, чтобы Вольдемар из нее не вывалился.

Они никогда не ездили в вагонах, принадлежащих цирку, в вагонах, которые прицеплялись к одному или нескольким товарным составам: тут был вагон-ресторан, вагон с лошадьми и с клетками, в которых рычали хищники, вагон с шатром и с проводами для тысячи электрических лампочек, вагон с музыкальными инструментами, отопительной системой, трапециями, канатами, плакатами, вывесками, костюмами, коврами, стульями, тумбами, бамбуковыми штангами, кассами, сторожами, бухгалтершами и слесарями, монтерами и инструментами, сеном и соломой, а также вагон для директора Грозоветтера, и его жены, и его четырех дочерей, и двух сыновей, и зятьев, и невесток, и семи внуков, и... и... вот я и запутался... О чем, бишь, это я рассказывал?

Ах, вспомнил! Они путешествовали не с цирком, а только в скором поезде. И жили они не в вагонах, а в гостиницах.

— Я очень люблю цирк,— говорил Йокус.— Но только тогда, когда в нем полно зрителей. Кроме того, я люблю жизнь и хорошую погоду.

— И меня! — крикнул Максик во все горло.

— Тебя,— нежно сказал Йокус,— я люблю даже на целый сантиметр больше, чем хорошую погоду.

Полгода спустя Маленький Человек взбирался на красавца Вольдемара, как альпинист на Альпы или на горы Саксонской Швейцарии. Только с той разницей, что он не был привязан канатом. Это было опасно. Ведь по сравнению с ним манекен был таким же огромным, как для нас высотный дом.

К счастью, Максик совсем не боялся высоты. Так, например, он легко взбирался по брюкам вверх, потом нырял под пиджак, добегал по поясу до подтяжек, подтягивался на них до середины, потом одним прыжком перебирался к галстуку и по его изнанке, как по ущелью, карабкался до узла. После короткой передышки на галстучном узле он соскакивал на лацкан и с его петлицы съезжал прямо во внутренний карман пиджака.

Я рассказал вам лишь об одном из его удивительных восхождений. О других я вам не буду подробно рассказывать: вы ведь знаете, что каждое мое слово — чистейшая правда. Я не буду также уточнять, зачем и почему Максик каждый день взбирался на Вольдемара. Сам Максик хорошо знал зачем. Но ни с кем не говорил об этом. Что же касается красавца Вольдемара, то и тот, конечно, тоже знал, в чем дело. Но куклы, в том числе и большие куклы — манекены, умеют хранить секреты.

Во всяком случае, профессор был очень доволен успехами Максика. Иногда он даже называл его «Максик-альпинист». Это было очень большой похвалой. И глаза Максика сверкали от гордости.

Несмотря на такие успехи, учение продолжалось бы еще три, а то и целых четыре месяца, если бы однажды вечером в цирке не перепутали фраки. Какие фраки? Фрак профессора и фрак наездника Галопинского. Невероятный случай!

Господин директор Грозоветтер и по сей день еще верит в то, что все это произошло случайно. Но, кроме него, в цирке «Стильке» никто этому не верил. Ни

один из глотателей огня, ни один китаец, ни один продавец мороженого и ни один канатоходец. А «три сестры Марципан» и вовсе в это не верили. Роза Марципан, самая красивая из них, утверждала, что это была подлая месть. Я думаю, что она права. Здесь, наверное, сыграла свою роль ревность. Потому что Роза Марципан вскружила голову всем мужчинам в цирке. Хотя ей вовсе и не хотелось этого.

Уже одно появление трех сестер на манеже вызывало восторженный топот и аплодисменты публики.

А когда они вскакивали на туго натянутый батут, прыгали все выше, и выше, и еще гораздо выше, делали в воздухе сальто и парили, как птицы, восторгу публики не было предела. Можно было подумать, что эти три девушки весят не больше трех страусовых перьев. На самом же деле они весили втроем около полутора центнеров, то есть, как ни говори, сто пятьдесят (150) килограммов!

Роза Марципан, самая красивая, весила пятьдесят два (52) килограмма и пятьсот восемьдесят четыре (584) грамма. Это не очень много. Я сам, например, вешу семьдесят один (71) килограмм, что всего только на восемнадцать (18) килограммов и четыреста шестнадцать (416) граммов больше. Тем не менее никому не приходит в голову сравнивать меня со страусовым пером или опускаться передо мной на колени и утверждать, что я очарователен и прелестен. Со мною такого никогда не случалось. Разве это справедливо?

Для тех из вас, кто не знает, что такое батут, я замечу, что это штука вроде матраса. Вы тоже, наверное, не раз прыгали в кровати и радовались тому, как здорово пружинит матрас и как легко от него отталкиваться, потому что почти не чувствуешь своего веса. Батут только шире и длиннее матраса, и он очень туго натянут, как кожа на барабане.

Человек, который выучился на нем раскачиваться и прыгать, стрелой взвивается вверх и остается в воздухе целых пять, а то и шесть секунд, причем все это время он кружится и кувыркается в воздухе, словно весит не больше воздушного шарика. Вот что он может, человек! Но только в том случае, если может!

А падать на батут надо тоже умеючи. Потому что, если упадешь не на батут, а мимо, поломаешь все кости. Ну а три сестры Марципан умели падать. Дети-

ми они научились этому искусству у своих родителей, которые тоже были прыгунами.

Но вернемся к перепутанным фракам. Хоть доказать это было и невозможно, но, по всей вероятности, их обменял Фернандо — музыкальный клоун. Он играл в цирке на губной гармошке, вернее, на двух гармошках: одна была огромная, как доска от забора, другая — такая маленькая, что он ее каждый раз проглатывал, а она продолжала играть у него в животе. Публику это очень веселило. Сам же клоун с давних пор был очень мрачен. Дело в том, что он любил Розу Марципан, а она о нем и слышать не хотела. Потому что она любила профессора Йокуса фон Покуса.

И это бесило клоуна. Поэтому однажды за четверть часа до начала представления он обменял в гардеробе два фрака. Фрак наездника и его цилиндр он повесил на вешалку профессора, а волшебный фрак вместе с волшебным цилиндром — на вешалку наездника. А сам незаметно вышел из гардероба на цыпочках.

Маэстро Галопинский влетел на манеж верхом на своем вороном жеребце Нероне. Осадив коня, он приветственно помахал публике цилиндром. В этот момент из подкладки цилиндра вынырнула белоснежная крольчиха Альба, прыгнула на песок и испуганно завертелась по кругу. Лошадь встала на дыбы. Господин Галопинский ласково потрепал ее по шее, пытаясь успокоить. Внезапно из левого рукава его фрака вылетела голубка Минна и закружилась над ареной в поисках маленького стола с клеткой, в открытую дверь которой она должна была впорхнуть. Но ведь стола с клеткой вовсе и не было на манеже!

Жеребец, брыкаясь передними и задними ногами, дал козла. Оркестр заиграл вальс из оперетты «Летучая мышь» в надежде, что лошадь проделает под музыку свои знаменитые танцевальные па. Но она вовсе и не думала танцевать, а носилась по всей арене, будто за ней гнался пчелиный рой. Наездник с трудом ее сдерживал.

Публика в первых рядах повскакала с мест. Многие громко завопили от страха. Одна дама даже упала.

ла в обморок. Голубка Эмма вылетела из правого рукава. Галопинский еще сильнее натянул поводья. Тогда Нерон подскочил на всех четырех ногах одновременно и что есть силы заржал. Всадник решил успокоить коня хлыстом. Но в руке у него вместо хлыста оказалась волшебная палочка, которая при первом же взмахе превратилась в роскошный букет цветов. Нерон злобно вырвал цветы из его руки и принялся их жевать, но тут же с отвращением выплюнул: цветы-то были бумажные!

Публика хохотала до слез. Крольчиха сидела на задних лапках. Голуби растерянно порхали вокруг цилиндра. Оркестр играл марш. Наездник вонзил в жеребца шпоры, чтобы тот в конце концов пришел в себя и зашагал в такт. Но Нерон не привык, чтобы его пришпоривали при всем честном народе. Он лягался и тряс туловищем до тех пор, пока маэстро Галопинский — а ведь это был один из лучших наездников в мире! — не вылетел пулей из седла и не шлепнулся на песок!

Сделав свое дело, жеребец, громыхая подковами, убежал с манежа в конюшню. Всадник поднялся с земли и, кряхтя, заковылял вслед за лошадьёю. Публика словно с цепи сорвалась! Цирк содрогался от хохота. А ведь, что ни говори, в цирке было две тысячи человек. Фокусник верхом на коне, да к тому же выброшенный из седла, — такого здесь еще никогда не видели!

Господин директор Грозоветтер стоял в проходе, соединявшем арену с кулисами.

— Это катастрофа! Это катастрофа! — в отчаянии стонал он.

— Катастрофа, говорите вы? — злобно прошипел Галопинский. — А я бы назвал это просто свинством! Невероятным свинством! И кто только это сделал? Эх, попадись он мне в руки, я бы скормил его львам! Ай!

Он схватился за поясницу и скорчил гримасу от боли.

Профессор выскочил на манеж, поднял крольчиху за уши, приманил голубей и стремглав убежал назад. Он был вне себя от бешенства и с трудом переводил дух.

— Меня опозорили дальше некуда! — возмущался он. — Если об этом узнает президент Общества магов,

я погиб. Я предстану перед судом чести за то, что подорвал репутацию фокусника.

— Но вы-то не виноваты! — утешал его директор.

— Я требую возмещения! — рычал Галопинский. — Во-первых, меня высмеяли две тысячи человек, а во-вторых, я свалился с лошади!

— Через десять минут мой выход! — волновался профессор. — Но я и не подумаю выступать. После того как господин наездник сделал мой фрак посмешищем! Да никогда в жизни! К тому же его лошадь сожрала один из самых дорогих моих букетов!

— Не сожрала, а выплюнула она эту гадость! — скрежетал Галопинский. Он даже подскочил от злости, но тут же простонал: — Ай!

— Успокойтесь, господа! — молил директор Грозоветтер. — Нам надо продолжать программу. Господи, что же это со мной будет?!

— Я не выступлю ни при каких обстоятельствах! Даже если вы встанете передо мной на колени! — заявил профессор. — Я забираю своих зверей и еду в гостиницу пить коньяк. Выдую целую бутылку.

— Йокус, миленький, не надо! — слышался отчаянный возглас Маленького Человека из нагрудного кармана профессора. — У меня идея. Подсади-ка меня к уху! Это очень важно.

И когда Йокус его поднял, Максик стал что-то очень таинственно шептать ему на ухо.

Профессор слушал его с удивлением, потом покачал головой и сказал:

— Нет! Тебе надо, по крайней мере, три месяца тренироваться. Сейчас еще слишком рано.

Но Максик не успокаивался.

— Они тебя оскорбили, — шептал он, — и этого им нельзя спускать!

— Нет, Максик, сегодня рано!

— Нет, именно сегодня!

— Слишком рано!

— Ну, пожалуйста! Ну, скажи «да»! Ну, пусть это будет мне подарком ко дню рождения! Зато больше мне ничего не дари! Даже кукольной комнаты!

— Но твой день рождения ведь еще только через полгода!

— Ну все равно, Йокус, миленький!

В ту же секунду профессор почувствовал, как его большое ухо обожгли две совсем малюсенькие слезинки. Он глубоко вздохнул и сказал:

— Господин директор Грозоветтер. Я передумал. Коньяк я буду пить потом. Я выступаю. Объявите в микрофон. Сделайте это вы лично!

— С огромным удовольствием,— обрадовался директор.— А что мне сказать публике?

— Скажите, что сегодня я впервые выступаю вместе со своим учеником. Номер называется «Большой вор и Маленький Человек!».

Глава 9

Директор Грозоветтер успокаивает публику. «Большой вор и Маленький Человек». Ограбление толстого господина Тонки и доктора Горнбостеля. Коричневые и черные шнурки. Максик раскланивается перед двумя тысячами зрителей

Господин директор Грозоветтер сдержал слово. Когда знаменитые скороходы на роликах «2-Вихрь-2» под громкие аплодисменты публики покинули манеж, он натянул белые лайковые перчатки и сделал знак дирижеру. Оркестр сыграл туш.

Директор медленно и важно подошел к микрофону. В цирке стало тихо.

— Глубокоуважаемые зрители! — начал господин Грозоветтер.— Как вы знаете, по программе сейчас должен выступить профессор Йокус фон Покус. Он, если позволительно так выразиться, величайший из современных магов. Но хвалить его — значит ломиться в открытую дверь. А на это занятие нет времени ни у одного директора цирка.

— Очень жаль! — крикнул какой-то озорник из верхнего ряда.

Но на него зашикали, и в зале опять наступила тишина. Лишь где-то вдали, в конюшне, ржала лошадь. Вероятно, то был Нерон, которому Галопинский, расседлавая, давал взбучку.

— Вследствие таинственного недоразумения,— продолжал директор,— вместо хлыста маэстро Галопинский выхватил волшебную палочку. При этом он имел возможность убедиться, что верховая езда и магия так же мало подходят друг другу, как... маринованная селедка и шоколад или, скажем, Кельнский собор и Центральный вокзал.

В публике засмеялись.

— Результат,— разъясняя директор,— вдвойне огорчителен. Дело в том, что наш главный маг теперь решительно отказывается прикасаться к волшебной палочке. Я валялся перед ним на коленях, обещал подарить мой альбом марок. Увы, все тщетно. Он не хочет.

Публика заволновалась. Послышались свист и возгласы: «Долой!»

— Деньги назад! — крикнул кто-то.

Директор поднял руку.

— Дорогие друзья! Магии сегодня не будет, но он выступит!

Раздались аплодисменты.

— Сейчас вы увидите нечто невиданное. Даже я, директор цирка, не знаю этого номера. Словом, вам, и мне, и нам всем предстоит увидеть номер мирового класса.

Аплодисменты стали громче.

— Мне известно только название номера.

Директор Грозоветтер высоко взметнул руки в белых лайковых перчатках и крикнул во всю мощь своего голоса:

— Итак, Большой вор и Маленький Человек!

Потом он отвесил элегантный поклон публике и удалился. Оркестр снова исполнил туш. Все замерли в ожидании.

— Пора выходить,— сказал профессор.

— Ага,— шепнул Максик в нагрудном кармане.— Ни пуха ни пера, дорогой Йокус!

Профессор три раза плюнул через левое плечо и произнес:

— Той! Той! Той! И трижды черный кот!

Он медленно вышел на манеж. Дойдя до середины, он остановился, отвесил поклон публике и сказал, улыбаясь:

— Магия на сегодня отменяется, господа. Сегодня я буду воровать. Держите покрепче карманы! Берегитесь меня и моего юного помощника!

— Где он, ваш помощник? — крикнул толстый господин из второго ряда.

— Он здесь,— ответил профессор.

— Не вижу! — крикнул толстяк.

— А вы подойдите поближе,— приветливо пригласил его Йокус.— Может быть, тогда разглядите.

Толстый мужчина кряхтя поднялся с места и, тяжело ступая, вышел на манеж. Он протянул профессору руку и представился:

— Моя фамилия Тонки.

Публика оживилась. Толстый господин Тонки внимательно огляделся кругом.

— Я все еще его не вижу.

Профессор вплотную подошел к толстяку, долго смотрел ему в зрачки, наконец похлопал его по плечу и заметил:

— Дело, по-видимому, не в зрении, господин Тонки. Глаза у вас в порядке. Но тем не менее мой помощник здесь. Даю вам честное благородное слово.

Какой-то господин из первого ряда крикнул:

— Это совершенно исключено. Держу с вами пари на двадцать марок, что вы один.

— Всего на двадцать марок?

— На пятьдесят!

— Идет! — весело согласился Йокус. — И вы тоже подойдите поближе. Места хватит всем. Только деньги не забудьте!

Он взял под руку господина Тонки и, улыбаясь, стал поджидать господина из первого ряда, который поспорил с ним на пятьдесят марок. Господин Тонки тоже улыбался, сам не зная чему.

Господин из первого ряда подошел к ним и представился.

— Доктор Горнбостель, — произнес он важно. — Деньги при мне.

Они пожали друг другу руки.

— Ну, как дела? — спросил профессор. — Где же мой помощник?

— Да вздор, — заявил доктор Горнбостель. — Его здесь нет. В конце концов, я не слепой. Готов удвоить ставку. Сто марок?

Профессор кивнул.

— Сто марок. Как пожелаете. — Он похлопал его по груди. — Бумажник толстый. Я это чувствую сквозь пиджак.

Потом он двумя пальцами пощупал материю, отстегнул среднюю пуговицу пиджака и сказал:

— Превосходный материал, господин доктор, немнущийся, чистая шерсть, ни грамма бумаги. И великолепно на вас сидит. Наверное, дорогой портной?

— Даже очень, — гордо подтвердил доктор Горнбостель и повернулся вокруг собственной оси.

— Изумительно! — еще раз похвалил Йокус. — Простите, я только сниму ниточку.

Он снял нитку и тщательно пригладил пиджак.

Тут толстый господин Тонки нетерпеливо кашлянул и заметил раздраженно:

— Все это чудесно, профессор. Чистая шерсть, дорогой портной и так далее. Но когда же вы начнете меня грабить?

— Ровно через две минуты, господин Тонки. И ни секундой позже. Пожалуйста, засекайте время на ваших часах.

Толстый господин Тонки привычным жестом поднес руку к глазам и скорчил удивленную гримасу.

— Часов нет,— сообщил он.

Йокус стал помогать ему в поисках. Но часов не оказалось ни в карманах, ни на другой руке. Не было их и на полу.

— Очень, очень странно,— задумчиво произнес профессор.— Мы вдвоем собирались приступить к работе только через две минуты, а часов уже нет.

Йокус пристально посмотрел на другого господина.

— Господин доктор Горнбостель,— сказал он подозрительно,— я ничего не хочу сказать, но не взяли ли вы по ошибке часы господина Тонки?

— Что за чушь! — возмутился доктор Горнбостель.— Я не краду ни по ошибке, ни в шутку! Адвокат с именем не может себе этого позволить.

Зрители засмеялись. Но Йокус оставался серьезным.

— Можно мне посмотреть? — спросил он.

— Пожалуйста! — буркнул адвокат доктор Горнбостель и поднял вверх обе руки. Он походил на человека, которого грабят гангстеры.

Йокус быстро обшарил его карманы. Вдруг он что-то вынул: в руке его были часы.

— Вот они! — воскликнул толстый господин Тонки и подпрыгнул за часами, как мопс за колбасой. Потом он надел их на руку и, кинув косой взгляд на Горнбостеля, сказал: — Послушайте-ка, доктор... Это уж слишком!

— Клянусь честью, я тут ни при чем! Я их не брал! — обиженно оправдывался адвокат.— У меня есть свои. Он протянул руку, оголив запястье. Но тут лицо его вытянулось.— Часов нет! — крикнул он.

Публика смеялась и громко аплодировала.

— Золотые часы! На восьми рубиновых камнях! Настоящие швейцарские!



Йокус, смеясь, погрозил пальцем господину Тонки и обыскал его карманы. Вскоре он извлек из его правого внутреннего кармана золотые часы.

— Вот они! — закричал Горнбостель. — Вот они!

Йокус помог ему надеть на руку золотые часы на восьми рубиновых камнях. Потом он подмигнул публике:

— Нечего сказать: достойных джентльменов я себе подобрал! — И, обращаясь непосредственно к обоим достойным джентльменам, прибавил: — Не сердитесь больше друг на друга! Помиритесь, пожалуйста. Протяните друг-другу руки. Вот так. Большое спасибо... — Он взглянул на часы. — Ровно через минуту я приступаю со своим помощником к работе. Мы вас так обчистим, что только держитесь! Но потом, возможно, мы вернем вам часть вашего имущества. Вы же знаете поговорку: «Чужое добро впрок не идет!»

— Вы с вашим помощником, которого нет в природе! — крикнул доктор Горнбостель. — Кстати, мне очень пригодятся ваши сто марок!

— Только терпение! Всею свой черед, господин доктор! — ответил Йокус. — Через минуту мы начнем!

Итак, взгляните на часы. На моих — семь минут десятого. Сравните с вашими!

Горнбостель и толстый господин Тонки одновременно взглянули на часы и ахнули:

— Часов нет!

Действительно, часы исчезли. У обоих!

Зрители ликовали.

Но вот Йокус поднял вверх руку, призывая публику к спокойствию. И в этот самый момент раздался крик маленькой девочки:

— Мама, гляди! У фокусника на руке трое часов!

Взгляды двух тысяч людей устремились на профессора. Он сам тоже уставился на запястье своей левой руки, притворяясь удивленным: трое часов блестели на его руке! Люди смеялись и кричали, хлопали в ладоши и топали ногами от восторга.

...После того как восторг немного утих, Йокус вежливо вернул часы владельцам и сказал:

— Итак, дамы и господа, теперь надо бы, собственно, пригласить сюда еще кого-нибудь из вас. В роли наблюдателя, так сказать. Но, откровенно говоря, это ни к чему бы не привело. И знаете почему?

— Потому что вы их все равно обчистите! — крикнула смеясь какая-то тощая женщина.

— Ошибаетесь! — возразил Йокус. — Просто потому, что брать-то уже больше нечего. Все их добро у меня!

Он похлопал себя по карманам и подозвал двух униформистов.

Они притащили стол и поставили его рядом с профессором.

— Итак, — сказал он, обращаясь к господам Горнбостелю и Тонки. — Теперь мы с вами будем играть в Новый год. Я буду Дедом Морозом. Вы должны повернуться ко мне спиной. Только не подглядывать! А я тем временем разложу подарки на столе. Они вам очень понравятся, уверяю вас. Правда, новых подарков вы не получите. Будет несколько очень полезных вещей, которые вам уже давно принадлежат. Я вам дарю не то, что вы хотели бы получить, а лишь то, что вы хотели бы получить назад!

— Жаль! — крикнул толстый господин Тонки. — Мне бы очень пригодилась новая пишущая машинка. Профессор покачал головой.

— Сожалею, — сказал он. — Этот номер не прой-

дет. А то господин Горнбостель пожелает, чего доброго, бехштейновский рояль или даже целый орган. Лучше-ка повернитесь ко мне спиной и закройте глаза.

Оба джентльмена не хотели портить игру. Они повернулись спиной к подарочному столу и зажмурили глаза. Профессор убедился, что никто из них не подглядывает.

Подойдя к столу, он начал выворачивать свои карманы и выкладывать на стол их содержимое. Казалось, этому не будет конца. Зрители затаив дыхание не сводили с него глаз.

Оркестр играл старинную, давно забытую вещь, под названием «Парад гномов». Вещь с таким названием была сейчас очень кстати.

Все вы, вероятно, помните, как в свое время в Берлине Йокус подшутил над директором гостиницы. Поэтому вы будете несколько меньше удивлены, чем две тысячи зрителей, сидевших в зале. Они ахали и охали, кричали: «Ой, не могу!» и «С ума сойти!» — а один даже крикнул: «Помираю!»

Проще всего, если я составлю список предметов, выложенных профессором на стол. Итак, он вынул из своих карманов:

- 1 записную книжку в красной кожаной обложке,
- 1 календарь в голубой обложке,
- 1 шариковую ручку, серебряную,
- 1 авторучку, черную,
- 1 бумажник из змеиной кожи,
- 1 чековую книжку коммерческого банка, голубую,
- 1 кошелек из коричневой кожи,
- 1 связку ключей,
- 1 ключ от автомобиля,
- 1 коробку ментоловых конфет,
- 1 булавку от галстука, золотую с жемчугом,
- 1 пару роговых очков в черном кожаном футляре,
- 1 заграничный паспорт, немецкий,
- 1 носовой платок, чистый, белый,
- 1 портсигар, серебряный или никелированный,
- 1 пачку сигарет, фильтр,
- 1 счет за уголь, неоплаченный,
- 1 зажигалку, эмалированную,
- 1 коробку спичек, наполовину пустую,
- 1 пару запонок из лунного камня,
- 1 обручальное кольцо из матового золота,

1 перстень из ляпис-лазури в платиновой оправе,
7 монет, общим достоинством в 8 марок 10 пфеннигов.

Публика ликовала, а оба господина с зажмуренными глазами при каждом восторженном выкрике и взрыве хохота дергались так, словно их ударяло током. Они нервно и взволнованно ощупывали свои карманы, с трудом удерживаясь, чтобы не броситься к столу. Ибо карманы их были пусты, как пустыня Гоби.

Наконец профессор встал между ними, положил руки им на плечи и по-отечески ласково сказал:

— Дорогие дети, подарки приготовлены.

Мигом обернувшись, оба господина под смех и аплодисменты двухтысячной толпы бросились к своим вещам и быстро распахали их по карманам.

Смех не смолкал. Тогда Йокус поднял вверх руку, и в зале сразу стало тихо. Оркестр тоже умолк.

— Мне приятно, что вы так радуетесь,— сказал профессор.— И надеюсь, что это радость, а не злорадство. Имейте в виду, что мой маленький помощник и я с таким же успехом могли бы очистить карманы любого из вас.

— Вы со своим маленьким помощником?! — презрительно воскликнул господин Горнбостель.— Курам на смех! Не забудьте о нашем пари!

— Об этом мы еще поговорим,— ответил профессор.— Во всяком случае, я очень признателен вам обоим за вашу столь деятельную помощь.

Он пожал им руки, похлопал их по плечу и добавил:

— До свидания! Желаю вам успехов в вашей дальнейшей жизни!

Оба господина направились к своим местам. Но уже после первого шага доктор Горнбостель споткнулся и удивленно посмотрел под ноги. Оказалось, что он потерял один башмак. Он нагнулся, чтобы поднять его. Йокус подоспел к нему на помощь и любезно освedomился:

— Вы не ушиблись?

— Нет,— проворчал доктор, держа в руке башмак.— Но шнурок куда-то делся.— Он нагнулся к другому ботинку, который был еще на ноге.— И второго шнурка нет!

— И часто это с вами бывает? — спросил участливо Йокус.— Вы всегда выходите без шнурков?

В зале снова захихикали.

— Это какой-то бред,— брюзжал Горнбостель.— Я еще не впал в детство.

— К счастью, я могу вам помочь,— сказал Йокус.— У меня всегда при себе запасные шнурки.— Он выудил шнурки из своего кармана.— Прошу вас.

— К сожалению, они не годятся. Это коричневые шнурки, а мне нужны черные.

— Найдутся и черные,— сообщил Йокус и полез в другой карман.— Пожалуйста. Что случилось? Они для вас недостаточно черные? Чернее у меня нет.

— Вы мошенник из мошенников! — заорал доктор Горнбостель.— Это же мои собственные шнурки!

— Тем лучше! — заметил профессор.— А что мне делать с коричневыми? Может быть, они пригодятся вам, господин Тонки?

— Мне? — переспросил тот.— Зачем они мне? Правда, у меня коричневые ботинки, но... — Он осторожно пробежал взглядом вниз от живота к башмакам сорок пятого размера и вздрогнул.— Алло! Алло! — радостно заорал он.— Мои шнурки тоже исчезли. Отдавайте-ка их поскорее! А то я на улице вылечу из своих шлепанцев! Большое спасибо, мастер-вор! Вам бы в карманники пойти, вы бы через месяц стали миллионером.

— Я бы не спал по ночам,— возразил профессор.— А крепкий сон — это главное.

— Со мной дело обстоит иначе,— откликнулся толстяк.— Разжиться бы миллионом, только тогда б я уснул спокойно.

Но не успел он нахвалиться своей жадностью, как послышался голос маленькой шустрой девочки, с которой мы уже познакомились.

— Мама! Гляди! — крикнула она, подскакивая на месте от нетерпения.— У того дяди галстук пропал!

Четыре тысячи глаз уставились на господина адвоката доктора Горнбостеля, который судорожно вцепился в свой воротник. И действительно, его красивого, шелкового галстука как не бывало. И так как весь цирк хохотал, Горнбостель рассердился.

— Пошутили, и хватит! — заявил он мрачно.— Давайте мне галстук!

— Галстук в вашем левом внутреннем кармане, глубокоуважаемый доктор,— сообщил ему Йокус. Потом он протянул руку обоим и сердечно поблагодарил их за помощь.

— Не стоит благодарности,— откликнулся толстый господин Тонки.— Отпустите мою руку, а то, чего доброго, вы и ее стащите.

Осторожно ступая и боясь потерять башмаки, он направился к своему месту, но на полпути вдруг замер и сказал:

— Что-то брюки сползают!

Он расстегнул пиджак и в ужасе крикнул:

— Подтяжки! Где мои подтяжки?

— Этого еще не хватало,— забеспокоился Йокус.— Может быть, я их по ошибке...

Он пошарил по карманам и вздрогнул.

— Вот здесь что-то... Одну секунду, дорогой господин Тонки, не могу понять, как это я... С другой стороны, при моей рассеянности... — И он уже держал в поднятой над головой руке подтяжки: — Вот они!

Публика покатывалась со смеху. А когда доктор Горнбостель, завязывавший галстук, нервно распахнул пиджак, ища свои подтяжки, люди захохотали еще громче. Подтяжки оказались на месте. Он облегченно вздохнул и вытер лоб — от страха он вспотел. Потом доктор Горнбостель поднял башмак, о который споткнулся, и, прыгая на одной ноге, заковылял к своему месту в первом ряду.

Оркестр играл туш. Трубачи от смеха фальшивили. Толстый господин Тонки принял из рук профессора подтяжки. Профессор Йокус фон Покус элегантно раскланивался.

— Мы — Маленький Человек и ваш покорный слуга,— сказал он с улыбкой,— благодарим публику за образцовое внимание.

Все захлопали и закричали: «Браво!», и «Удивительно!», и «Великолепно!».

Но доктор Горнбостель вскочил со своего места, едва успев на него сесть, и закричал, размахивая руками:

— А наше пари? Вы мне проиграли сто марок!

Профессор сделал знак господину директору Грозоветтеру, со счастливым лицом стоявшему на краю манежа. Директор передал знак дальше. Из люка вокруг арены стала медленно подниматься круговая решетка, которая обычно отгораживает зрительный зал от манежа, когда выпускают хищников.

— Сейчас я покажу вам моего помощника, Маленького Человека! Все вы можете убедиться, что он

существует. Чтобы вы от удивления не раздавили ни меня, ни его, я просил поднять эту решетку... — Затем профессор обратился непосредственно к господину Горнбостелю: — Сейчас вы убедитесь, что пари вы проиграли. Деньги можете не передавать. Они уже у меня. Пересчитайте сдачу, пожалуйста!

Доктор Горнбостель пересчитал деньги и прошептал:

— В самом деле!

Он упал на стул.

Йокус вынул из нагрудного кармана Максика и, высоко подняв его, воскликнул:

— Разрешите представить вам Маленького Человека! Вот он!

Люди повскакали со своих мест и с грохотом побежали вниз по ступенькам. Они толкались, пытались протиснуться к решетке.

— Вот он! — раздавались крики.

— Не вижу!

— Да вот же!

— Где?

— Да на ладони профессора!

— Ой, какой маленький! Как спичка.

— Просто не верится!

Маленький Человек, улыбаясь, раскланивался перед публикой.

Глава 10

Вмешательство полицейской машины. Маленькому Человеку присвоено звание подмастерья. Галопинскому нужен новый хлыст. Роза Марципан кидается на шею профессору

Успех был грандиозный, и публика не успокоилась до тех пор, пока не приехала полицейская машина с сиреной и сигнальной лампой на крыше. В машину уселись профессор, Маленький Человек, оба голубя и крольчиха Альба. Они поехали окольными путями, минуя главные улицы, и быстро оторвались от машин, пытавшихся их преследовать.

Некоторое время спустя Йокус и Максик сидели в Красном салоне гостиницы. Они заказали кофе мокко со взбитыми сливками и две ложечки, потом перевели дух и улыбнулись друг другу.

Официант, прежде чем принести кофе, вывесил на дверях табличку с надписью: «Просьба не мешать!»

Он уже слышал об их сенсационном успехе.

— Ну как? — спросил Максик Йокуса. — Ты мной доволен?

Профессор кивнул:

— Ты очень чисто работал. Ты ведь знаешь, что я хотел еще несколько месяцев подождать.

— Но ведь надо было что-то делать, — воскликнул Максик, — чтобы все забыли про позорный случай с волшебным фраком!

— Свинство! — буркнул профессор и ударил кулаком по столу. — Галопинский был просто ошарашен. Да и лошадь жалко!

— А нашу Альбу! — сказал Максик. — Я боялся, что она помрет со страху.

— Тебе здорово пришлось попотеть? — спросил, улыбаясь, профессор.

— Самое трудное — подтяжки. Левый зажим никак не поддавался. Я два ногтя обломал. На красавце Вольдемаре это гораздо легче получалось.

— Зато со шнурками все шло как по маслу, — отметил профессор. — Это был высший класс. И с галстуком у тебя великолепно получилось.

— Да, с галстуком все шло без сучка без задоринки, — рассказывал Максик. — Узел был не тугой. Раз — и я уже в нем!

— Да, с галстуком нам повезло. Впрочем, иногда надо рассчитывать и на везение.

Маленький Человек наморщил лоб.

— Я хочу тебя кое о чем спросить. Но ты, пожалуйста, не увиливай, ладно?

— Согласен. Спрашивай!

— Для меня это вопрос жизни.

— Ну так говори же!

— Ты веришь теперь, что я когда-нибудь стану настоящим артистом?

— Когда-нибудь? — переспросил профессор. — Ты уже артист! Сегодня ты выдержал экзамен на звание подмастерья.

— О! — прошептал Максик. Больше он ничего не мог сказать.

— Ты теперь мой подмастерье. И весь сказ.

— Ты думаешь, мне хлопали не только потому, что я такой маленький?

— Нет, сынок. Но, конечно, и это играло роль. Когда слон Юмбо садится на тумбу и подымает передние ноги, люди ему хлопают. Почему? По двум причинам: потому что он что-то умеет и потому что он такой огромный. Если бы у него был только огромный рост и больше ничего, люди предпочли бы лежать дома на диване, а не сидеть в цирке. Ясно?

— Более или менее.

— Для аплодисментов нужны две вещи,— наставительно продолжал профессор.— Возьмем другой пример. Когда сестры Марципан подсакивают на своем батуте на целых пять метров в высоту и делают в воздухе сальто, им восторженно хлопают. Почему? Потому, во-первых, что они что-то могут, и потому, во-вторых, что они такие хорошенькие.

— Прежде всего Роза,— вставил Максик.

— Если бы девушки были некрасивы, то они бы нравились публике вдвое меньше, хотя бы они взлетали на целых два метра выше.

— Ну а клоун?

— И клоун тоже. Не будь у него толстого красного носа и башмаков с загнутыми кверху утиными клювами, его шутки не казались бы такими смешными. И всегда так.

— А как же с тобой? — с любопытством спросил Маленький Человек.— Ты не такой громадный, как Юмбо, и не такой маленький, как я. У тебя нет красного носа, но ты и не так красив, как марципановые сестры. Где же две вещи, без которых нет успеха?

Профессор засмеялся.

— Не знаю,— сказал он наконец.

— А я знаю! — торжествующе воскликнул Максик.— Во-первых, ты замечательный фокусник...

— А во-вторых?

— Подними меня повыше, я тебе скажу на ухо.

Профессор поднес Маленького Человека к уху.

— А во-вторых,— прошептал Максик,— во-вторых, ты самый лучший человек на свете!

На короткое мгновение стало тихо. Потом профессор смущенно кашлянул и сказал:

— Так, так. Ну ведь кто-то должен им быть!

Максик тихонько засмеялся. Но тут же тяжело вздохнул:

— Знаешь, мне иногда хочется быть таким же большим, как все люди. Например, вот сейчас.

— Почему именно теперь? Гм?

— Тогда у меня были бы длинные руки и я смог бы обнять тебя за шею.

— Дорогой мой мальчик! — сказал профессор.

И Максик прошептал:

— Милый, милый Йокус.

Наконец официант принес им мокко и две ложки.

— Вам сердечный привет от поварихи, которая варила кофе. А маленькую ложечку она дарит Маленькому Человеку. Это самая маленькая ложечка, какую ей удалось раздобыть на кухне.

— А почему мне ее дарят? — удивился Максик.

Официант отвесил ему глубокий поклон.

— На память о дне, когда ты стал знаменит. Она иглой нацарапала на ложке сегодняшнее число.

— Иглой? — переспросил Маленький Человек.

— Да, — ответил официант. — Этой иглой обычно шпигуют зайца или серну. Ничего более острого на кухне не нашлось.

— Большое, большое спасибо, — сказал Максик. — Значит, она решила, что я теперь знаменитый?

— И не только она! — раздался вдруг женский голос. Этот задорный голос принадлежал Розе Марципан. — Вот и я! — объявила девушка. — У гостиницы собрались журналисты и фотографы, а также дяди из телевидения и радио. Но швейцар их не пропускает.

— Его счастье, — буркнул профессор. — Но как же он тебя впустил?

— А я знаю как! — воскликнул Максик. — Она посмотрела на него вот так и похлопала ресницами.

— Угадал! — подтвердила Роза. — И еще одна новость: я проголодалась, — заявила она решительно.

Пообедав, она сказала:

— Жизнь прекрасна, друзья: обед был на славу, вы оба очень прославились, а славному маэстро Галопинскому необходим новый хлыст.

— Почему? — поинтересовался Максик.

— Потому что старый разлетелся на куски, — сообщила девушка. — Он сломался об клоуна Фернандо.

— Из-за перепутанных фраков?

Роза кивнула.

— Совершенно верно. При этом клоун вовсе не хотел опозорить всадника и его коня. Его интересовал некто Йокус.

— Йокус? — Маленький Человек был потрясен.

— Фернандо ревнив. Он думает, что Йокус в меня влюблен.

— Но ведь так оно и есть! — воскликнул Максик. Фокусник покраснел как маков цвет, и, если бы только мог, он в эту минуту отколдовал бы себя куда-нибудь за тридевять земель отсюда. Или превратился бы в зубную щетку... Но это умеют только настоящие волшебники.

Роза Марципан сверкнула глазами.

— Это правда? — спросила она с угрозой в голосе.

— Да, — мрачно ответил Йокус, разглядывая кончики своих башмаков, словно он их видел впервые.

Через пять минут Роза Марципан шепнула:

— Мне жалко тех дней, что я прожила, не зная об этом.

А еще через пять минут кто-то за их спиной кашлянул. Это был официант.

— Максик просил передать вам привет.

— Где же он? — крикнули Роза и Йокус в один голос. От страха они стали белыми, как скатерть.

— У себя в номере. Я отвез его на лифте. Он сидит в цветочном горшке на балконе и просит передать, что ему очень весело.

— Это ужасно, — пробормотал профессор, когда официант ушел. — Мы даже ничего не заметили. Хороший отец, нечего сказать.

— Как видно, за вами обоими нужен присмотр, — улыбнулась девушка.

Глава 11

Максик в цветочном горшке. Фрау Хольцер чихает. У специалиста по недовольным. Маленький Человек вырастает и становится великаном. Он видит себя в зеркале. Второй волшебный напиток. Самый обыкновенный мальчик

А тем временем Маленький Человек сидел на балконе в цветочном горшке. Горшок был из белого фаянса. Садовник посадил в него утром двадцать ландышей, потому что знал, что ландыши — любимые цветы Максика.

— В каких стихах описан запах ландышей? — спросил как-то Максик.

Ни Йокус, ни садовник таких стихов не знали.

— Наверное, сочинить такое стихотворение так же трудно, как сделать четырехкратное сальто, — предположил Йокус.

— Да такого сальто и не бывает вовсе! — воскликнул Маленький Человек.

— Именно, — ответил Йокус. — В этом-то все и дело.

Итак, как сказано, Маленький Человек сидел в цветочном горшке, прислонившись к нежно-зеленому стебельку. Задржав голову, он смотрел на белые чаши ландышей, вдыхал этот неопиcуемый запах и размышлял о жизни. Это иногда случается. Даже с пышущими здоровьем мальчиками. Даже с Максиком.

Он думал о своих родителях и об Эйфелевой башне, о Йокусе, о девушке Марципан, о перепутанных фраках и о клоуне Фернандо, о сломанном хлысте Галопинского и о подтяжках господина Тонки, о шумном цирке и о тихих ландышах, и... и... и... Он заснул, и ему приснился сон.

Он бежал, маленький, каким он и был на самом деле, по бесконечной улице и не знал, куда деваться от всех этих башмаков и ботинок. Жизнь его была в опасности. Все прохожие очень торопились, они его не видели и большими шагами проносились мимо него или над ним; и он от страха перед их подметками и каблуками все бежал и бежал по тротуару. Иногда, чтобы отдышаться, он вплотную прижимался к стене какого-нибудь дома и потом бежал дальше. Сердце его подскакивало до самого горла.

Вот опять! Маленького Человека настигла пара тяжелых сапог. В самый последний момент он успел отскочить в сторону. При этом он чуть было не угодил под острые каблочки женских туфель. В отчаянии он подпрыгнул высоко вверх и ухватился за чье-то пальто. Он быстро взобрался по нему вверх до плеча и удобно расположился на широком воротнике.

Теперь Максик рассмотрел, что воротник этот принадлежал драповому пальто. А драповое пальто принадлежало женщине. Она и не заметила, что у нее появился спутник, и Максик мог спокойно ее рассмотреть. Это была пожилая женщина с приветливым лицом. В руке она несла сетку, битком набитую всякой всячиной. Иногда женщина останавливалась перед какой-нибудь витриной и разглядывала выставленные в ней товары. Вдруг она чихнула и громко сказала самой себе:

— Будьте здоровы, фрау Хольцер!

Максик едва удержался от смеха.

Пока она стояла перед магазином белья, изучая цены

на скатерти, полотенца, простые и мохнатые, носовые платки и салфетки, Маленький Человек от скуки читал вывески на дверях рядом с витриной. Чего только не было тут: и грязелечебница для немытых детских рук, и дом отдыха для надкусанных пряников, и, наконец, вывеска врача, от которой у мальчика захватило дух. Неужели в это можно было поверить? Вот что на ней было сказано:

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТНИК
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

КОНРАД ВАКСМУТ.

Специалист по недовольным собой.

Лечение великанов и карликов бесплатное.

Часы приема — любое время дня и ночи.

2-й этаж слева.

В этот момент женщина еще раз чихнула.

— Это к хорошей погоде, — сказала она вслух. И тут же снова судорожно вздохнула и произнесла: — Ап-чхи!

Тут Маленький Человек сказал:

— Будьте здоровы, фрау Хольцер!

— Большое спасибо! — радостно отозвалась она.

Потом, вздрогнув, осмотрелась кругом и спросила:

— Кто это сказал?

— Я! — бойко откликнулся Максик. — Но вы меня не видите, потому что во мне всего пять сантиметров роста и я сижу у вас на воротнике.

— Только не свались! — сказала она заботливо и подошла поближе к витрине, чтобы рассмотреть отражение. — Вот теперь, кажется, я тебя вижу. Ой, какой же ты маленький, господи! Такое не каждый день увидишь. Хочешь пойти ко мне в гости? Ты ведь, наверное, есть хочешь? Ты устал? Может, у тебя живот болит? Я тебе грелку дам!

— Нет, — ответил Максик. — Вы очень добры, но у меня ничего не болит. Только, пожалуйста, отнесите меня на второй этаж и позвоните в левую дверь к доктору Ваксмуту. А то я сам не дотянусь до звонка.

— Только и всего? — сказала фрау Хольцер и шагнула в подъезд.

На втором этаже она позвонила в дверь. При этом она прочитала табличку.

— Век живи — век учись! — размышляла она вслух. — И чего только не бывает в жизни! «Специалист

по недовольным собой!» — Она рассмеялась. — На много он много не заработает. Что касается меня...

Но прежде чем она успела сообщить, что именно касается ее, дверь распахнулась, и они увидели старика в белом медицинском халате и с длинной-предлинной бородой. Он быстро с ног до головы оглядел фрау Хольцер и покачал головой.

— Вы, верно, ошиблись дверью? — спросил он мрачно. — У вас такой довольный вид, что у меня голова разболелась.

— Ну и угрюмый же вы господин! — рассмеялась она. — Не сходить ли вам к врачу? Например, к доктору Ваксмуту.

— Бесполезно, — проворчал он. — Я могу помочь всем, но только не самому себе.

— Все вы врачи такие, — заметила фрау Хольцер, собираясь еще что-то добавить. Но тут она снова чихнула.

— Будьте здоровы, фрау Хольцер! — отозвался Маленький Человек.

Медицинский советник выпучил глаза.

— Черт возьми! — пробурчал он. — Вот это пациент по моему вкусу!

И он, схватив Максика, захлопнул дверь перед самым носом фрау Хольцер.

— Ну, чем ты недоволен? — спросил врач, когда они очутились в его кабинете.

— Я бы хотел быть выше ростом, — ответил Максик.

— Какой именно рост тебя устраивает?

— Я не знаю.

— Вечная история, — ворчал медицинский советник. — Каждый знает, чего он не хочет. Но чего он хочет, не знает никто.

Он достал из стеклянного шкафа несколько разноцветных пузырьков и маленькую ложку.

— Два с половиной метра хватит с тебя? — сухо спросил он. — Сделать тебя еще длиннее я не могу, потому что иначе ты пробьешь головой потолок. Ну! Отвечай же!

— Два с половиной метра? — Маленький Человек робко взглянул на люстру. — А если... если мне... Если нам это потом не понравится?

— Тогда я дам тебе другое лекарство, и ты станешь пониже.

— Ну ладно, — сказал Максик дрожащим голосом. — Попробуем сначала два с половиной метра.



Медицинский советник, бормоча что-то в свою рас-трепанную бороду, взял зеленую бутылку и нацедил в ложку несколько капель микстуры:

— Открой рот!

Маленький Человек открыл рот как можно шире, и вдруг что-то обожгло ему язык.

— Глотай!

Маленький Человек проглотил микстуру. Она обожгла ему горло и огненной струйкой прошла в живот.

Бородач сверкнул глазами на мальчика и буркнул:

— Сейчас начнется!

И правда.

В ушах у Максика загрохотало. Руки и ноги заломило. Болели ребра, болели волосы и кожа на голове. В коленных чашечках что-то хрустело. В глазах вертелись пестрые, как радуга, круги, а в кругах плясали серебряные и золотые шарики и звезды. Он не узнавал своих рук. Они росли и становились все длиннее и шире. Неужели это были его собственные руки?

Как в тумане, он видел, что стеклянный шкаф постепенно уменьшался, а стенной календарь опускался все ниже и ниже. Вдруг что-то звякнуло — это он кончиком носа задел люстру. Наконец его толкнуло, как в лифте, когда тот резко останавливается.

Пестрые круги в глазах замедлили свое движение. Шарики и звезды прекратили свой танец. Гром в ушах затих. Волосы больше не болели. Кости тоже.

Голос медицинского советника произнес удовлетворенно:

— Два метра пятьдесят.

Но куда же он делся, доктор Бородач со своим мрачным лицом? Максик вертел головой во все стороны, но никого не видел. Перед самым его носом был карниз, с которого свисали занавески. Люстра, слегка позванивая, качалась рядом с его грудью. На шкафу лежал толстый слой пыли. Пыль виднелась и на белой лакированной рейке, которая на расстоянии полуметра от потолка окаймляла желтые обои. В углу над дверьми барахтался в паутине черный паук. Максик в ужасе отскочил и рукой задел за высокую книжную полку. С полки слетела книжка.

Доктор Бородач громко смеялся. Смех его походил на бляение старого козла.

— Даже не верится! — насмешливо крикнул он. — Я превратил его в великана, а великан паука испугался!

Максик свирепо посмотрел вниз на письменный стол. Медицинский советник продолжал бляеть.

— Почему вы надо мной смеетесь? — спросил Маленький Человек, который теперь стал большим. — В конце концов, я ведь не учился на великана. Только что во мне было всего пять сантиметров роста. А вы никогда не дрожали от страха?

— Нет, — ответил Бородач. — Никогда. Я не из тех, кому нужен страх. Если на меня набросится лев, то я его превращу в зяблика или бабочку.

— Значит, вы вовсе не медицинский советник?

— Нет. Но я и не фокусник, как твой Йокус.

— Так кто же вы?

— Я самый настоящий, взаправдашний колдун и чародей.

— О-о! — прошептал Максик. От страха он крепко ухватился за шкаф. Но так как шкаф был очень неустойчив, то дрожали оба — и шкаф и великан Макс.

— Сядь на стул, чтобы ты мог увидеть себя в зерка-

ле! — приказал волшебник. — Ты ведь даже не знаешь, на кого ты стал похож.

Максик сел на стул и, посмотрев на себя в зеркало, вздрогнул и воскликнул в ужасе:

— Неужели это я? Не может быть!

В отчаянии он закрыл лицо руками.

— А мне кажется, что ты вполне подходяще получился! — заметил волшебник. — Но, видно, на твой вкус мы не угодили.

Максик отчаянно замотал головой и прошептал:

— Я такой противный! Хуже жирафа!

— Так какой же рост тебя устроит? — спросил волшебник. — Только подумай как следует.

— Я с самого начала знал, чего хочу, — ответил Максик сокрушенно. — Но потом меня разобрало любопытство. А теперь я готов самому себе вlepить хорошую оплеуху.

— Какого же роста ты хочешь быть? — настаивал Бородач. — А то все ходишь вокруг да около.

— Ах! — тяжело вздохнул Максик. — Ах, господин волшебник, я хотел бы стать таким же, как все мальчишки моего возраста! Не выше и не ниже, не толще и не тоньше. Я не хочу быть чудом вроде редкой почтовой марки или трехгорбого верблюда. И не хочу быть смелее или трусливее, глупее или умнее и...

— Ну хорошо, хорошо, — проворчал волшебник и взял в руки красный пузырек и ложку. — Значит, ты хочешь быть обыкновенным шалопаем? Нет ничего проще. Открой рот!

Максик — двух с половиной метровый великан — послушно раскрыл пасть и проглотил густую красную микстуру. И даже облизал ложку.

В ушах его сразу засвистело и загремело. Голова разболелась. Сердце бешено колотилось. Пестрые круги закружились в глазах, как фейерверк.

И вдруг наступила тишина.

— Посмотри в зеркало! — приказал волшебник.

Сначала Максик струсил. Потом осторожно приподнял веки на два миллиметра. Потом вытаращил глаза, соскочил со стула и с радостным криком вскинул вверх руки.

— Да! — орал он во всю глотку. — Да! Да! Да!

А в зеркале какой-то мальчишка размахивал руками. Это был очень симпатичный мальчуган лет двенадцати-тринадцати. Максик подбежал поближе к зеркалу и вы-

тянул вперед руки, словно пытаюсь обнять собственное отражение.

— Это я?! — кричал Максик.

— Это ты, — крикнул волшебник и засмеялся. — Это Макс Пихельштейнер, самый обыкновенный мальчик тринадцати лет.

— Я так счастлив! — тихо сказал Максик.

— Надеюсь, что навсегда, — заметил медицинский советник. — Ну, а теперь сматывай удочки!

— Как же мне вас отблагодарить?

Волшебник встал и указал на дверь:

— Ступай и не благодари!

Глава 12

«Ну и осел!» Странные плакаты в городе. Директор Грозоветтер называется Громовержцем, Галопинский — Рысаковским. Йокус его не узнает. Макс и Максик. Это был всего лишь сон

Наконец-то он стал ростом с обычного мальчишку. Но то, что другие дети считают совершенно естественным, для него оказалось необыкновенно новым. От радости он готов был остановить любого прохожего и спросить: «Ну, что вы скажете? Разве не здорово?»

Конечно, он этого не делал. Люди, наверное, немало бы удивились и в лучшем случае только ответили бы: «Что же тут особенного? Мальчишек твоего роста что песку морского!»

А кое-кто, может быть, даже и рассердился бы. Но некоторые прохожие все-таки смотрели на него во все глаза, хотя он их ни о чем и не спрашивал. Лицо его сияло, словно он только что выиграл автомобиль. Кроме того, он как-то странно себя вел: то и дело вздрагивал и даже отскакивал в сторону, словно боялся, как бы его не раздавили. Хотя теперь перед его глазами мелькали лица, и шляпы, и шапки, а не ботинки и каблуки, как прежде. Вечная история со старыми привычками! От них труднее избавиться, чем от хронического насморка!

Но было и еще нечто более странное в его поведении: он останавливался чуть ли не перед каждой витриной. И вовсе не из-за красивых вещей. Нет, он останавливался, чтобы поглазеть на отражение заме-

чательного, как ему казалось, мальчика. Он смотрел и не мог насмотреться досыта.

При этом случалось, что кто-нибудь за его спиной произносил:

— Ну и осел!

На сей раз это был мальчуган его возраста с волосами соломенного цвета. Спереди у него не хватало одного зуба.

— Это всего лишь десятая витрина, в которую ты на себя любишь,— сообщил мальчуган.— Я таких оборотов, как ты, за всю свою жизнь еще ни разу не видел. Ты поцелуй себя в зеркале. Или объяснись самому себе в любви.

Конечно, Максик разозлился. Но, с другой стороны, не мог же он, этот парень, знать всех обстоятельств дела.

— Отвяжись,— спокойно сказал ему Максик.

Но паренек с соломенными волосами и не думал отвязываться.

— А шажочки-то у тебя, словно у годовалого младенца, которого ходить учат. Дай-ка, пупсик, свою ручончку, а то головку зашибешь.

В Максике все кипело.

— Сейчас ты получишь ручончку! Вернее, ручончкой по роже!

— Ой, испугался! — не унимался мальчуган.— Эх ты, пупсик, ходить не научился, а уж лезешь драться! Ха-ха-ха!

Максик не выдержал. Он закипел, как суп в кастрюле, размахнулся — и как влепит обидчику оплеуху! Тот так и присел на тротуар, держась левой рукой за щеку. Максик даже сам удивился.

— Прости, пожалуйста,— сказал он.— Честное слово, первый раз в жизни дрался!

И пошел своей дорогой.

Кроме витрин, а вернее, витринных стекол, его еще интересовали — и с каждой минутой все больше — афишные тумбы.

Куда он ни бросал взгляд, всюду он узнавал себя. На афишах, правда, был изображен не тот обыкновенный мальчик, каким он был теперь, а Маленький Человек — ученик фокусника, крохотный помощник известного профессора Йокуса фон Покуса, с которым они вместе выступали в цирке «Стильке» и приводили публику в такой бешеный восторг. На всех плакатах был изображен Максик Пихельштейнер,

но подписи к его портретам были какие-то ненормальные. Казалось, что афишные тумбы вынесли на улицу из сумасшедшего дома.

На одной рекламе он стоял, прислонившись к спичечной коробке (и коробка и сам мальчик были в два метра длиною). Текст рекламы гласил:

Маленький человек
Новейшая и ярчайшая звезда
на цирковом небосводе
Спит только в спичечной коробке
марки «Сириус»

На другом плакате он держал обеими руками огромную электробритву серебристого цвета. Надпись рядом нахально утверждала:

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК
БРЕЕТСЯ ТОЛЬКО БРИТВОЙ
«БОРОДУВОН»
СУПЕР-63

Максик подумал: «Что за чушь! Мне ведь еще по крайней мере четыре года расти, пока на подбородке появится первый пух. Вот уж Йокус удивится, когда прочтет этот вздор!»

Но и остальные плакаты были не лучше.

Странные люди! Чего только они не выдумывают, чтобы избавиться от своих товаров! Вот теперь они пытаются внушить прохожим, что Маленький Человек ведет себя как взрослый. А ведь все знают, что он мальчик.

«Ну и бред! — подумал Максик. — Йокус совершенно прав, когда говорит, что у этих рекламных дядей нервы из канатов. Неужели действительно люди, прочитав такую рекламу, сломя голову помчатся в магазины покупать электробритвы, сигары и шампанское, которые им так настойчиво навязывают?»

Мальчик собрался было бежать дальше. Но тут его взгляд остановился на афише, которая была скромнее и меньше соседних и которую он чуть было не упустил из виду.

**Ежевечерне
Цирк «Стильке»**

Для детей дневные представления
три раза в неделю.

**БОЛЬШОЙ ВОР
И МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК
СЕНСАЦИЯ ИЗ СЕНСАЦИЙ!
ВОСТОРГ И ИЗУМЛЕНИЕ БЕЗ ПРЕДЕЛА!**

Открыта предварительная продажа билетов.

На афише не было пестрых рисунков. Не было и фотографий. Но от текста, который он прочел, его бросило в дрожь:

«Ой, какой ужас! — подумал Максик. — А вдруг сегодня среда, или суббота, или, может быть, воскресенье?! Только бы не опоздать к дневному представлению! Йокус даже не знает, где я!»

И он помчался, не чувствуя под собой ног.

В цирке посреди манежа сидел господин директор Грозоветтер, в белых перчатках и черном цилиндре, и читал газету.



Максик вихрем ворвался в цирк.

— Что горит? — осведомился директор, глядя поверх газеты.

— Простите меня, пожалуйста! — крикнул запыхавшийся мальчик. — Но я не знаю, среда сегодня или нет. Директор поднял брови.

— А может, суббота? — продолжал мальчик. — Или воскресенье?

— Ты в своем уме? — рассердился директор. — Врываешься в цирк и спрашиваешь, не среда ли сегодня. Ты нарушаешь неприкосновенность жилища!

Потом он снова спрятался за своей газетой.

— Но господин директор Грозовецтер!.. — Максик стоял как громом пораженный. Почему этот человек был так недоброжелателен к нему, к новому любимцу публики?!

— Ты даже не знаешь, как меня зовут!

— Грозовецтер!

— Меня с самого моего рождения зовут Громовержец! — строго поправил его директор. — Понял? Не Грозовецтер, и не Километр, и не Сантиметр, а Гро-мо-вер-жец!

— Громовержец, — чуть слышно повторил Максик. Ему очень хотелось провалиться сквозь землю.

Но тут к ним подошел наездник Галопинский и спросил:

— Что это вас так рассердило, господин директор Громовержец?

— Да вот мальчишка мне на нервы действует, — ответил директор. — Врывается на манеж, спрашивает, среда ли сегодня, и называет меня Грозовецтером!

— Пошел вон! — зашипел на него наездник. — Сию же минуту убирайся!

— Но господин Галопинский!.. — испуганно начал Максик.

— Вот вам! Слышите? — закричал директор и всплеснул белыми перчатками над цилиндром.

— Меня зовут Рысаковский, а не Галопинский! — рявкнул наездник.

— И сегодня четверг, нервотрепщик, — ворчал директор. — Иди домой делать уроки.

— Но я же артист! — робко возразил мальчик.

— Новое дело! — вздохнул директор. — Час от часу не легче. Что же ты умеешь?

— Шнурки развязывать, — прошептал Максик.

Тут оба — и директор и наездник — побагровели; казалось, их вот-вот хватит удар.

Наездник сжал кулаки:

— Ах вот как! Шнурки умеешь развязывать! Я это умел трех лет от роду.

Директор пыхтел и сопел, как морж.

— Можно сойти с ума,— стонал он.— Умеет шнурки развязывать! Гениальный ребенок!

— А еще я могу отстегивать подтяжки,— прошептал Максик со слезами в голосе.

— Довольно! Всему есть предел! — взвыл директор.— Это уж верх наглости!

— И галстук я умею развязывать,— продолжал Максик тихо и жалобно.

Тут наездник вскочил, схватил Максика за шиворот и стал трясти его изо всех сил.

Директор тоже поднялся, продолжая стонать.

— Высыпать ему как следует! — сказал он.— И выбросить вон!

— С огромным удовольствием! — заявил наездник и по всем правилам искусства положил мальчика к себе на колени.— Эх, жаль, очень жаль, что я не захватил свой новый хлыст,— прибавил он. И стал бить мальчика.

— Помогите! — заорал Максик, и крик его доносился до самой вершины купола.— Помогите!

В этот момент на манеже появился профессор Йокус фон Покус.

— Кто это кричит так жалобно? — спросил он.

— Это я, дорогой Йокус! — крикнул мальчик.— Пожалуйста, спаси меня! Они меня не узнают!

Он вырвался из рук наездника, подбежал к профессору и, еле дыша, повторил:

— Они не узнают меня!

— Прежде всего спокойствие! — сказал профессор. Потом он посмотрел на мальчика и спросил:— Они тебя не узнают?

— Не узнают, Йокус!

— А кто же ты? — осторожно спросил профессор.— Дело в том, что я тоже тебя не узнаю.

Словно бездна разверзлась под ногами мальчика. Голова закружилась. В глазах поплыли круги.

— Йокус меня не узнает,— прошептал он.— Даже Йокус меня не узнал...

Слезы ручьями потекли по его щекам.

Стало совсем тихо. Даже директор и Рысаковский молчали.

— Откуда же мне тебя знать? — спросил растеряно профессор.

— Но ведь я же твой Максик, — рыдал мальчик. В отчаянии он закрыл лицо руками. — Я же твой Максик Пихельштейнер!

— Врешь! — раздался звонкий мальчишеский голос. — Максик Пихельштейнер — это я!

Большой мальчик опустил руки и в ужасе посмотрел на нагрудный карман профессора. Из кармана высовывался Маленький Человек и гневно размахивал руками.

— Пожалуйста, унеси меня отсюда! Я не люблю лгунишек!

— Дорогой Йокус! — крикнул большой мальчик. — Останься здесь! Останься со мной! У меня ведь только ты один на свете!

— Ну, Максик! — сказал профессор. — Почему ты так расплакался? Я ведь с тобой, я всегда с тобой! Тебе плохой сон приснился?

Максик широко раскрыл глаза. На его ресницах еще висели слезинки. Но он видел над собой озабоченное лицо Йокуса. Он вдыхал запах ландышей и знал, что сидит в цветочном горшке на балконе своего номера. И все опять было хорошо.

Глава 13

Это был всего лишь сон. Разговор об изобретателе застезжки-«молнии». Отчаянные ребята и закадычные друзья.

— Правда, это был только сон? — Маленький Человек облегченно вздохнул. Словно камешек с его души свалился. — Ох, Йокус, милый, какое счастье, что ты меня опять узнаешь!

— Я тебя не узнавал? Ну знаешь ли...

— Да, это потому, что я очень вырос, — объяснил Максик. — Я был такого же роста, как все мальчишки моих лет. Но, кроме того, я был еще и маленький, как теперь, и торчал в твоём кармане.

— Значит, ты был и Макс и Максик одновременно? Здрово!

Маленький Человек рассмеялся. Правда, в горле все еще стоял комок. Но Максик знал, что скоро ему опять станет весело.

— Пожалуйста, возьми меня в руки,— сказал он.— Тогда мне не будет страшно.

— Кстати, на балконе довольно холодно,— заметил Йокус и вынул его из цветочного горшка.— Искупайся в мыльнице — и марш в спичечную коробку. Перед сном ты мне расскажешь, что тебе приснилось.

— Всё-всё-всё?

— Да, всё-всё-всё. От начала до конца. Потому что сон — дело хитрое.— Вдруг Йокус испугался: — Ты не голоден? Или ты во сне ел сосиски?

— Нет,— ответил Максик,— сон был совсем без еды. Но все равно я сыт.

При свете ночника Максик рассказал свой сон. Все до последней мелочи. О доброй фрау Хольцер и о том, как она чихала. О профессоре Ваксмуте, который оказался взаправдашним волшебником и превратил Максика сначала в великана, а после в обыкновенного школьника. Потом он рассказал о драке с мальчишкой с соломенными волосами. И о тумбах с глупыми афишами... О цирке, о директоре Громовержце и наезднике Рысаковском. И наконец, о том страхе, который он пережил, когда к ним подошел Йокус с Маленьким Человеком в кармане и даже не узнал его — настоящего Максика.

Йокус молчал довольно долго. Потом откашлялся и сказал:

— Вот видишь. Сон все и выдал. Ты мечтал стать обыкновенным мальчишкой, вместо того чтобы оставаться самим собой.

Максик кивнул печально:

— Мечтал уже давно. Только никому не рассказывал. Даже тебе. Хотя я тебе всегда все рассказываю.

— И вот, когда ты вырос, тебе стало жутко!

— Ага,— подтвердил Максик смущенно.— Ты как-то говорил, что надо кем-то быть и что-то уметь. А тут я вдруг стал никем и ничего не умел. Когда я рассказал директору и Рысаковскому, что умею развязывать шнурки, они смеялись надо мной.

— Просто ты стал большим, как все. Все умеют расшнуровывать ботинки. Но только один Маленький Человек делает так, что никто ничего не замечает.

— Это совсем немного,— сказал Максик.

— Немного,— подтвердил Йокус.— Но все же лучше, чем ничего. Ибо кто на свете может много?

Вот, например, некто, сидя в тюрьме, изобретает застежку-«молнию». Теперь она чуть ли не на каждом чемодане или костюме. Итак, изобретена застежка-«молния». Это много?

Максик внимательно слушал профессора...

— Или другой пример. Кто-то пробегает стометровку на десятую долю секунды быстрее, чем все остальные спринтеры во всех частях света,— сказал Йокус,— и люди в восторге забрасывают шапками стадион. Но я своей шапки не сниму. Установлен новый рекорд? Хорошо. Я тоже радуюсь и хлопаю в ладоши. Но много ли это?

— Может быть, это и немного,— заметил Маленький Человек,— но что же больше? И что вообще тогда «много»?

— Предотвратить войну,— ответил Йокус.— Победить голод. Избавить человечество от болезней, которые считались до сих пор неизлечимыми.

— Но ведь этого мы с тобой не можем,— заметил Максик.

Йокус кивнул:

— Не можем. И очень жаль. С нашим искусством много не сделаешь. Мы можем добиться лишь двух вещей: удивить и развеселить людей. У нас нет повода зазнаваться. И тем не менее завтра все газеты сойдут из-за нас с ума.

— Ты так думаешь?

— Да, я в этом уверен, малыш. Завтра будет черт знает что твориться. А теперь — спать. Утро вечера мудренее.

Йокус положил голову на подушку.

— По-моему, я еще совсем не устал,— заявил Маленький Человек.

— Глубокоуважаемый господин Пихельштейнер,— обратился к нему профессор.— Я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы не сочли за труд задуть свечу.

Максик засмеялся и выключил свет.

— Значит, я опять маленький,— пробормотал он в темноте.— Но когда ты рядом, мне это нравится.

— Спи, пожалуйста.

— А правда, мы с тобой отчаянные ребята? — подумал вслух Максик.

— Да,— пробурчал задремавший Йокус.— Отчаянные ребята и закадычные друзья. А теперь пора спать.

— Закадычные — это от слова «закат», да? — спросил Маленький Человек.

— Нет, от слова «кадык». Сколько раз тебе говорить, что пора спать! — сердитым голосом сказал профессор и так громко зевнул, что даже ландыши на балконе услышали.

— Я уже сплю! — сказал Маленький Человек и закрыл глаза и рот.

Не берусь утверждать, заснул ли он сразу, потому что, во-первых, в комнате было очень темно, а во-вторых, меня там не было.

Глава 14

Слава в первую половину дня. Телефонные звонки. Первый посетитель — директор Грозовецтер. Деньги не главное дело, но важнейшее из второстепенных. Крольчиха в чужом цилиндре. Заголовки и слухи

Следующий день навсегда остался в их памяти, Максик проснулся знаменитостью.

Главный швейцар гостиницы, который за сорок лет службы приобрел не только солидное плоскостопие, но и солидный опыт, уже в девять утра объявил телефонисткам:

— Небывалый успех, поверьте мне, барышни. Паренек прославится, как Пизанская башня. Попомните мои слова.

Девушки захихикали, прикрыв ладошками телефонные трубки.

Но времени посмеяться в этот день у них совсем не оставалось. Вызовы следовали один за другим. Весь мир жаждал побеседовать с Маленьким Человеком. Особенно какая-то настойчивая дама. Она интересовалась, женат ли Маленький Человек.

— Я его вчера видела в цирке, и он меня совершенно очаровал, — объяснила она.

— К сожалению, — ответила телефонистка, — он уже шесть лет состоит женихом наследной принцессы Австралии.

— Чего он найдет в этой Австралии, кроме кенгуру? — раздраженно спросила женщина. — То ли дело я. У меня магазин детской одежды.

Конечно, не все звонки были такими дурацкими. Но ведь и дельные разговоры отнимают много сил и

времени. Девушки на коммутаторе и швейцар чуть не падали от усталости.

Тем временем Йокус и Максик сидели на балконе и уютно завтракали.

— Не облизывай ложку от варенья,— сделал ему замечание профессор.

— Мне теперь можно! — уверенно возразил Максик.— Когда человек так знаменит, ему все можно.

— Странное у тебя представление о знаменитостях,— сказал Йокус.

Обе голубки сидели в ящике для цветов, а крольчиха Альба высунула голову за балконную решетку. Для всех троих сей славный день ничем не отличался от обычного.

Маленький Человек хитро улыбнулся.

— Минна, Эмма и Альба,— сосчитал он.— Не хватает лишь Розы.

В этот момент в дверь три раза постучали, и вошел первый посетитель. Но это не была Роза Марципан. Посетителем оказался директор цирка Грозоветтер. В одной руке он держал цилиндр, в другой — пачку утренних газет.

— Успех сенсационный,— задыхающимся голосом произнес директор и тяжело опустился на стул.— Хотя пресса и не присутствовала на представлении, она безумствует: перед гостиницей толпятся любопытные. Лифтер сбился с ног, официант отбился от рук, а швейцар потерял голову.

Максик смеялся, а Йокус быстро пробежал первые короткие сообщения о колоссальном успехе — своем и Максика.

— Лавина катится,— отметил он удовлетворенно.

— Да к тому же еще в гору,— добавил Грозоветтер.— Жалко, что нам придется расстаться.— И он печально опустил глаза.

— Что-о-о? — удивленно протянул Маленький Человек.— Я этого не понимаю.

Грозоветтер обвел перчаткой вокруг цилиндра.

— Вот господин профессор — тот, вероятно, меня понимает.

— Да,— буркнул Йокус и кивнул головой.

— Сегодня ночью я не сомкнул глаз,— сказал Грозоветтер и сунул цилиндр под стул.— Все считал и подсчитывал. И знаете, никак не выходит. Наш цирк не балаган, а солидное заведение, снискавшее уважение публики и собратьев по ремеслу. Но вы

оба со вчерашнего дня — мировой экстра-класс, а этого я оплатить не в силах.

Йокус заметил:

— Но вы же еще не знаете наших требований.

— Не знаю. Но я не вчера родился... Я знаю, какие суммы вам теперь предложат. Конкурировать мне не под силу. Я солидный предприниматель. Другой директор на моем месте, возможно, подумал бы: «Мне одним этим номером обеспечен полный сбор. Даже если я выставлю на улицу семью Бамбус...»

— Нет! — крикнул Максик.

— Или если я продам слонов в зоопарк.

— Нет! — крикнул Максик.

— Или если я уволю глотателей огня и трех сестер Марципан...

— Нет! Ни за что! — возмущенно кричал Максик. — Этого вы не должны делать!

— Я и не сделаю! — с достоинством ответил директор Грозоветтер. — И именно по этой причине нам придется с вами расстаться.

Йокус сказал:

— Выкладывайте-ка на стол ваши карты! Сколько вы можете нам платить?

— В четыре раза больше, чем сейчас. Но другие предложат вам в десять раз больше.

— Нет, — возразил Йокус. — В двадцать раз. Я этой ночью тоже занимался подсчетами. Вы, глубокоуважаемый господин директор, можете нам платить больше, чем в четырехкратном размере, не закладывая при этом в ломбард цилиндра и слонов.

— Сколько же?

— В пятикратном!

На лице Грозоветтера появилась вымученная улыбка.

— В таком случае мне придется отказаться от моих любимых сигар.

— Ну, положим, этому не поверит даже ваш поставщик!

— Он-то конечно! — устало усмехнулся директор.

— Ты все понял, Максик? — спросил Йокус. — Но прежде чем отвечать, отложи в сторону ложку.

Максик отложил в сторону ложку с вареньем. Потом он сказал:

— Я все понял. В другом месте мы могли бы зарабатывать в пять раз больше, чем у директора Громо-

вержца, то есть Грозоветтера. Да и то только, если он бросит курить.

— Какой смышленный малыш! — заметил директор.

— Что нам теперь делать? — спросил Йокус. — Остаться у директора Грозоветтера? Или ради большого жалованья перейти в другой цирк? Обдумай это как следует. Речь идет о больших деньгах, а деньги на дороге не валяются.

Максик наморщил лоб.

— Ты сам знаешь, чего ты хочешь?

— Знаю.

— Ну и я знаю, — заявил Маленький Человек. — Я хочу остаться у господина директора Грозоветтера. Он принял на работу в цирк моих родителей и вообще был очень добр ко мне. Как родной дядя.

— Браво! — сказал Йокус. — Значит, мы едины в нашем решении. — Он обратился к директору цирка: — Решение принято единогласно. Мы останемся у вас.

— О! — прошептал Грозоветтер. — Вот это я называю благородством. — И он растроганно провел рукой по глазам.

— Подробности обсудим после обеда, — сказал, улыбаясь, Йокус. — Для меня и для моего партнера деньги, как вы, вероятно, успели заметить, не главное дело в жизни, но все же...

— Но все же?.. — с любопытством перебил его Максик.

— Но все же важнейшее из второстепенных, — закончил старший партнер.

Директор слегка поклонился.

— Ну конечно же, господин профессор. Конечно! Разрешите мне сообщить представителям печати и радио, что вы остаетесь у меня?

Йокус кивнул:

— Пожалуйста, дорогой мой!

Грозоветтер вскочил со стула:

— Тогда я побежал.

Он вынул из-под стула свой цилиндр и от радости надел его набекрень. Но цилиндр словно с ума спятил — он переваливался с боку на бок.

— Что это значит? — спросил ошарашенный директор и сорвал с головы цилиндр.

Из цилиндра выпрыгнула белая крольчиха Альба. Она до смерти перепугалась и быстро поскакала в комнату к своей корзинке.

— Ай-яй-яй! — Йокус погрозил господину Грозоветтеру пальцем. — Это нечестно! Альбе нечего делать в чужих цилиндрах!

Директор рассмеялся и, в свою очередь, погрозил пальцем.

— Говорите это не мне, а вашему кролику.

И, придерживая на ходу свой живот, директор побежал что есть духу. Он спешил скорее преподнести редакциям, агентствам печати и радио еще не успевшую остыть новость о том, какое счастье свалилось на голову, а точнее, на купол его цирка.

Уже через несколько часов читатели в городе узнали важное известие. Бульварные листки поместили его на первой полосе. Огромные заголовки гласили:

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК остается у «Стильке»

ВЕРНОСТЬ, НЕСМОТРЯ НА НЕВИДАННЫЙ УСПЕХ.

ГРОЗОВЕТТЕР ПОБЕДИЛ КОНКУРЕНТОВ.

ФОКУСНИК И ЕГО АССИСТЕНТ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ.

В этот вечер — перед вторым выступлением Маленького Человека — у цирка толпилось и толкалось больше ста тысяч человек!

Глава 15

Второе представление и вторая сенсация: Максик в роли летчика. Архив «Стильке». Предложение из Голливуда. Переписка с деревней Пихельштейн. Королевский подарок из королевства Бреганзона

Сто тысяч человек! На девяносто восемь тысяч больше, чем вмещал цирк. Они тотчас же приступили к осаде кассы предварительной продажи билетов, и уже через два часа билеты на все дни были проданы, хотя цирку «Стильке» предстояло еще сорок дней оставаться в городе, а билеты подорожали на целую марку!

Три специальные автомашины отвезли ночью деньги в негорючие шкафы городского банка. «Береженного бог бережет», — рассуждал директор Грозоветтер.

Само же представление было новым триумфом для «Большого вора и Маленького Человека». Дяди из телевидения явились со своими аппаратами. Повсюду торчали фотоаппараты с камерами. Иностранные корреспонденты сидели, раскрыв глаза и блокноты.

Для остальных артистов этот вечер, несмотря на полный сбор, не был столь уж приятным. Ведь все они понимали, что нетерпеливые зрители вместе с прессой и почетными гостями ждут только Йокуса и Максика.

Я не ошибся — почетные гости действительно присутствовали: обер-бургомистр с золотой цепочкой на шее, два его заместителя, председатель городской палаты, городские советники, американский генеральный консул, три директора банка, целый рой кинопродюсеров, главных режиссеров и главных редакторов и даже один ректор университета, который в последний раз был в цирке сорок лет тому назад!

Поднялась круговая решетка. Йокус представил изумленной толпе своего маленького помощника и тут же объявил о следующей сенсации.

— Сейчас,— воскликнул он,— Маленький Человек на спине своей приятельницы — голубки Эммы — полетит к куполу и, совершив над нашими головами круговой полет, опустится ко мне на руку!

Так оно и случилось. Оркестр молчал. Не только потому, что так было задумано. Все равно от волнения музыканты не смогли бы извлечь из своих инструментов ни единого звука.

И только два живых существа не испытывали во время этого необыкновенного полета и тени страха — Эмма и Максик. Он держался правой рукой за голубой шелковый бант, который Йокус перед полетом самым тщательным образом завязал вокруг Эмминой шеи.

Эмма стартовала в полном спокойствии: круто, по спирали набирая высоту, она достигла купола, три раза облетела вокруг него и наконец, словно маленький белый планер, плавными, изящными виражами стала опускаться все ниже и ниже, пока не приземлилась на вытянутую ладонь профессора. Никогда прежде эта рука так сильно не дрожала. И весь цирк облегченно вздохнул, как очнувшийся от глубокого обморока великан.

В гардеробе Йокус тихо сказал:

— Нельзя было разрешать тебе этот полет. Ни за что и никогда!

— Это было так чудесно!— воскликнул Максик.— Спасибо, что разрешил!

Обе голубки сидели на зеркале в гардеробе, прижавшись друг к другу, и ворковали.

Маленький Человек потирал руки.

— Знаешь, о чем они говорят? Эмма рассказывает о полете, а Минна ей завидует. Причем абсолютно напрасно!

— Почему же?

— Потому что завтра очередь Минны!

Вдаваться во все детали этого всемирного успеха я, естественно, не могу. Впрочем, за подробностями можно обращаться непосредственно в архив «Стильке». Заведующий архивом Куниберт Клейншмидт добросовестно собрал и разложил по порядку все фотографии, сообщения, интервью, письма и отклики. Он довольно охотно отвечает на вежливые запросы (только не забудьте приложить почтовую марку для ответа!).

Разумеется, в журналах появились целые фотосерины, частью цветные. Французский еженедельник «Пари матч» воспроизвел на обложке цветную фотографию Максика, стоящего на ладони Йокуса. Миллионы людей наблюдали по телевизору, как Максик выдергивал украдкой шнурки из ботинок обер-бургомистра. Американский журнал «Лайф» предложил Маленькому Человеку сто тысяч долларов за право первой публикации его воспоминаний. Кинокомпания «Метро-Голдвин-Майер» приступила к переговорам о создании широкоэкранного фильма с Максимом и профессором в главных ролях. Спичечный концерн запросил лицензию на этикетки для спичечных коробок с надписью: «Маленький Человек дает прикурить».

Что-то Йокус разрешал. От чего-то наотрез, по крайней мере временно, отказывался.

— Но ведь на этот гулливудский фильм мы могли бы согласиться,— сказал Максик.

Профессор покачал головой:

— Не горит. Когда-нибудь позднее. Всему свое время.

Все же кое-что мне придется рассказать вам подробнее. Например, историю с письмом из деревни Пихельштейн, которое однажды получил Максик.

Вот текст письма:

Дорогой и многоуважаемый Макс Пихельштейнер!

На днях мы восхищались тобой по телевидению. Мы — это хозяин «Голубого гуся» и телевизора, а также остальные тридцать восемь семейств Пихельштейна. Зрелище было в высшей степени замечательное, и мы очень гордились тобой и твоим мастерством. Все мы хорошо знали твоих родителей до того, как они покинули нашу деревню, а ты вылитый Пихельштейнер. Ты гораздо меньше ростом, но зато ты больше похож на родителей, чем они сами на себя. Мы все сразу воскликнули, что ты настоящий Пихельштейнер, и выпили за твоё здоровье. Это было празднично и незабываемо.

Мы следили за тобой, пока у нас не закружились головы, и по этой причине единогласно решили избрать тебя почетным членом нашего Гимнастического союза, коим, да будет тебе известно, ты отныне являешься. Надеемся, что для тебя это такая же радость, как для нас — честь.

Нашему самому Маленькому Человеку и величайшему гимнасту трехкратное: «Смелость, свежесть, сила, слава!»

Твой Фердинанд Пихельштейнер.

1-й председатель и 1-й инструктор Гимнастического союза

Пихельштейн (Г. С. 1872)

Максик так обрадовался этому несколько беспомощному письму, что обратился к Розе Марципан со следующей просьбой:

— Знаешь что? Я хочу сразу же ответить этому Фердинанду. Можно, я тебе продиктую письмо, а сам сяду на пишущую машинку?

Девушка, помогавшая Йокусу в разборке корреспонденции, сказала:

— Диктуй, дружок!

Роза вставила в машинку чистый лист бумаги, посадила Маленького Человека верхом на каретку и объявила:

— Я вся внимание.

Максик продиктовал ей благодарственное письмо Фердинанду Пихельштейнеру. Роза стучала на машинке, а Максик катался справа налево, пока не раздавался сигнальный звоночек. Потом Роза передвигала каретку вместе с сидевшим на ней Максиком до отказа вправо, и катание начиналось сызнова.

Как раз в ту минуту, когда он диктовал последнюю фразу: «Ваш благодарный Максик Пихельштейнер, артист», в комнату вошел Йокус. Он только что закончил в холле переговоры с представителем Нюрнбергской игрушечной фабрики. Он сказал, входя в номер:

— Рабочий день кончился, господа! Сейчас мы будем пить кофе с яблочным пирогом!

Роза собралась было вынуть бумагу из машинки, но Максик взволнованно закричал:

— Пожалуйста, не вынимай! Осталось совсем немножечко. Очень важное!

И он продиктовал еще несколько фраз, не имевших ни малейшего отношения к почетному членству Гимнастического союза:

Так как все Пихельштейнеры очень маленькие, то возможно, что в Пихельштейне найдется девочка моего возраста и одного со мной роста. Если такая девочка у вас есть, я был бы очень счастлив. Йокус, мой самый лучший друг, наверняка позволит мне пригласить ее к нам в гости, чтобы она пожила у нас подольше...

— И, конечно, вместе с родителями,— вставил Йокус.

И Маленький Человек продиктовал:

Конечно, вместе с родителями. А если у вас в Пихельштейне нет такой маленькой девочки, а есть только мальчик, то это будет почти так же здорово. Хотя, конечно, девочка все же лучше, потому что ведь я сам мальчик. Чего мне иногда не хватает, так это друга моего роста.

Попутно я должен упомянуть еще об одном важном письме. Отправителем его был король государства Бреганзона — Билеам. В его королевстве, а также и за границей короля прозвали Билеам Симпатичный. Все, кто с ним знаком, утверждают, что этого еще мало. По-настоящему, мол, его следует называть Билеам Самый Лучший.

На голове он носит золотую корону и черную шляпу, причем и то и другое разом. Украшенная драгоценными камнями, корона пришита к полям шляпы, и получилось совсем не так плохо.

Но хватит о шляпных делах.

Короче, король Билеам тоже прислал письмо. Он писал, что и он, и королева, и наследный принц, и наследная принцесса — все они в восторге от телевизионной передачи. Он выражал надежду, что у цирка скоро начнутся отпуска и тогда Маленький Человек вместе с профессором немедленно и непременно приедет к ним в Бреганзону, где им уже отведены покои в королевском дворце. И принцесса Юдифь и принц Орам — десятилетний наследник престола — с нетерпением ждут их приезда.

Но для начала дети опустошили свои копилки и выс-

дали Маленькому Человеку подарок, который, как они надеялись, его порадует.

...Уже два дня спустя прибыли два больших ящика с надписью: «Королевский подарок». И это не было преувеличением. В одном ящике помещалась целая игрушечная квартира: столовая, спальня, кухня с электрической плитой и ванная с холодной и горячей водой. Маленькие лампочки, баки для воды, запасные батарейки — ничего не забыли!

Во втором ящике был большой низкий стол, на котором удобно размещались все четыре комнаты.

Роза и Йокус чуть не выбросили вместе со стружками маленький целлофановый мешочек. А это было бы очень жалко, потому что в нем была спрятана узкая шелковая лестница, которая прикреплялась к столу: по ней Максик мог взбираться на стол в свою роскошную квартиру.

Он это и сделал, как только квартиру установили на столе. Он даже поджарил на плите в малюсенькой сковородке кусочек говяжьего филе, который вместе с каплей масла и мелко накрошенным луком принес ему официант. Все, в том числе и официант, попробовали мясо, и всем оно очень понравилось.

Всем, кроме Максика. Потому что ему ничего не досталось.

После представления в цирке Максик выкупался в собственной ванне и сказал Йокусу, наблюдавшему за этой процедурой:

— Совсем другое дело. Не то что эта дурацкая мыльница...

Потом он улегся в своей роскошной мягкой кровати, сладко потянулся и пробормотал:

— Совсем другое дело! Не то что спичечная коробка...

Но на следующее утро он лежал в своей старой спичечной коробке на ночном столике Йокуса.

— Вот тебе на! — сказал Йокус. — В чем дело?

Максик смущенно улыбнулся:

— Я ночью перебрался сюда.

— А почему?

— Знаешь, спичечная коробка — это совсем другое дело!

Глава 16

Маленький Человек у собственной плиты. Слава утомляет. И слава усыпляет. Второе письмо из Пихельштейна. Нюрнбергская игрушка. Об одной популярной песенке. Страшное открытие Йокуса. Пропал Максик!

Подарок короля Билеама и его наследников оказался, что называется, ценной находкой для журналистов. Они со своими фотоаппаратами толпились в номере, щелкали изо всех сил и дарили миру новые снимки с роскошными заголовками: «Маленький Человек в фартуке и в поварском колпаке у собственной плиты», «Маленький Человек после обеда в качалке», «Маленький Человек перед маленькой книжной полкой с маленькими книжками», «Маленький Человек в своей новой кровати», «Маленький Человек впервые в жизни принимает ванну», «Маленький Человек демонстрирует голубям Минне и Эмме свои покои» и так далее, и так без конца.

Наконец, эти деятели, с фотокамерами вместо глаз и вспышками вместо мыслей, удалились, а Максик в отчаянии три раза подряд воскликнул:

— Почему я не невидимка?

— Слава утомляет, — заметил Йокус. — Это уж так полагается. А кроме того, мы наклеим все фотографии в альбом и пошлем его в Бреганзону. Король и маленькие королята наверняка ему обрадуются.

— Так мы и сделаем, — сказал Маленький Человек. — Но приглашение придется пока отклонить. Слава утомляет.

Надев свой тренировочный костюм, он целый час путешествовал по Вольдемару. Потом улегся в свою спичечную коробку, широко зевнул и, засыпая, пробормотал:

— Слава усыпляет!

Через несколько дней Максик получил второе письмо из Пихельштейна. Фердинанд Пихельштейнер, первый председатель Гимнастического союза, писал глубокоуважаемому почетному члену того же союза, что в их деревне нет ни девочки, ни мальчика Максикиного роста. Правда, многие молодые семьи странствуют по свету.

Но есть ли у них дети, — говорится дальше в письме, — мы до сих пор, к сожалению, не знаем. Они нам даже не написали, живы ли они еще или уже умерли.

Если мы узнаем что-нибудь подходящее, мы тебя сразу же известим. Даю тебе честное слово гимнаста. Мне пятьдесят лет, но я все еще в хорошей спортивной форме. Особенно на турнике.

*Твой верный тезка
Фердинанд Пихельштейнер*

Йокус медленно сложил письмо и сказал:

— Не огорчайся, мой мальчик!

— Ну что ты, Йокус,— сказал Максик. Он сидел на зеленом диване в своей уютной комнатке и болтал ногами.— Конечно, это было бы очень здорово! Особенно теперь, когда у меня целая пустая квартира. Ведь я все равно никогда не расстанусь со своей спичечной коробкой.

— Но ведь новая кровать гораздо удобнее!

— Это верно,— согласился Максик.— Но она слишком далеко стоит от твоей постели.

Да, я, кажется, уже упоминал об адвокате, с которым Йокус беседовал внизу, в холле гостиницы. Он приезжал по поручению Нюрнбергской игрушечной фабрики. Они вели переговоры. Соглашение было достигнуто, и они подписали контракт. И вот в один прекрасный день пришла посылка с Нюрнбергской фабрики. А в посылке было десять спичечных коробок.

Десять спичечных коробок? Да. Со спичками? В том-то и дело, что нет. В каждой спичечной коробке на белой вате лежал Маленький Человек. А всего их было десять Маленьких Человечков, как две капли воды, вернее, как десять капель воды похожих на нашего Максика. И все они были в пижамах в серую и голубую полоску, совсем как любимая пижама Максика. Десять Максиков двигали руками и ногами. Их можно было вынимать из коробки и ставить на ноги. Их можно было усадить в кресло. И положить спать.

Короче говоря, эта была новая игрушка, которую вскоре стали продавать во всех магазинах мира, а также и в кассе цирка. Эта игрушка принесла игрушечной фабрике много денег.

Впрочем, я бы не стал рассказывать о новой игрушке, не сыграй одна из этих проклятых коробок такую важную роль в следующей главе. Но потерпите еще чуточку. Потому что...

Потому что сначала мне надо рассказать вам о песенке, которая появилась примерно в то же время и вскоре стала очень популярной. Ее записали на пластинку. Ее пели по радио, под нее танцевали в ресторанах.

Музыку сочинил Романо Корнгигель, дирижер оркестра в цирке «Стильке». Кто написал слова, я не знаю. Песенка называлась:

ПЕСНЯ
О МАЛЕНЬКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Несколько строф я даже запомнил наизусть. Она начиналась так:

Взволнован целый свет,
У каждого из граждан
Выпытывает каждый:
«Вы, случайно, не встречали
Маленького Человека?»
От полицейских тоже
Ответа ждет прохожий.
У них один ответ:
«Нет!»

Потом по очереди расспрашивали всех, не видел ли кто-нибудь Маленького Человека. До слов:

Вдруг возглас из трамвая:
«А я о нем все знаю:
Он, выпив чашку чая,
Ложится по привычке
В коробку вместо спички.
Он весит по утрам
Лишь восемьдесят грамм,
А вечером в нем просто
Пять сантиметров роста.
Ему король и принцы
Шлют письма и гостинцы.
Он в цирке по программе
Ворует вечерами.
А после все подряд
Он отдает...»

На этом месте нить моей памяти обрывается. Я только помню еще самый конец: кто хочет увидеть Маленького Человека, пусть поспешит, потому что Маленький Человек с недавних пор становится все меньше и меньше ростом:

Спешите все проворней-ка
Его застать до вторника.
Во вторник же чуть свет
Его простынет след.

Эти две последние строчки вскоре приобрели особый смысл. Причем такой страшный, что я с трудом ре-

шаюсь об этом заговорить. Пожалуйста, не слишком пугайтесь! Ведь поправить дела я все равно не могу. Ничего не поделаешь. Придется вам все рассказать. Крепче держитесь за стул или за край стола, можно и за подушку! Итак, не пугайтесь. Обещайте. Иначе я не буду рассказывать! Согласны? Ну, пожалуйста, не надо так волноваться.

Итак: во вторник след его простыл!

Чей след?

Максика!

Он как сквозь землю провалился!

Йокус вошел в свой номер и увидел, что Эмма и Минна чем-то очень обеспокоены. Йокус спросил Максика, мирно лежавшего в своей спичечной коробке:

— Что случилось с голубями? Ты не знаешь?

Ответа не последовало.

— Гм, молодой человек, ты что — язык проглотил? Тишина.

— Максик Пихельштейнер! — воскликнул Йокус. — Я с тобой разговариваю! Если ты мне сейчас же не ответишь, у меня разболится живот.

Ни слова. Ни шороха. Ничего.

И тут Йокуса охватил ужас. Он наклонился над спичечной коробкой, потом распахнул дверь и выбежал в коридор с криком:

— Максик, где ты?! Максик!

Гробовое молчание.

Йокус вернулся в комнату, схватил телефонную трубку и рухнул в кресло.

— Коммутатор? Немедленно соедините меня с полицией. Исчез Максик! Директор гостиницы отвечает за то, чтобы никто не покидал здания. Ни гости, ни служащие! Ни о чем не спрашивайте. Делайте, что вам сказано!

Он бросил трубку, вскочил с кресла, подошел к ночному столику и изо всех сил швырнул спичечную коробку в стену. Вместе с Максимом... Потому что это был вовсе не Максик, а проклятая нюрнбергская кукла в полосатой пижаме.

Глава 17

Волнение в гостинице. Появление полицейского комиссара Штейнбайса. Пробуждение Максика. Важное сообщение по радио. Отто и Бернгард. Маленький Человек просит вызвать такси. Приступ смеха у Отто

Итак, Максика похитили. Но кто? Зачем? С какой целью? Было ясно, что Максика обменяли на куклу, чтобы его исчезновение не сразу было обнаружено.

Одна из горничных видела, как из комнаты выходил официант. Нет, она не знала его в лицо.

— По-видимому, это был не официант,— сказал директор гостиницы,— а переодетый официантом преступник.

— Почему же мальчик не позвал на помощь?— спросила горничная.— Я бы наверняка услышала крик.

— Его усыпили,— объяснил Йокус.— Разве вы не чувствуете запаха?

Директор и горничная потянули носами. Директор кивнул:

— Вы правы, господин Йокус. Пахнет больницей. Хлороформ?

— Эфир,— ответил Йокус. Он был близок к отчаянию.

Полицейский комиссар Штейнбайс, руководивший расследованием, тоже не мог сообщить ничего утешительного. Он вошел в комнату с белым кителем в руках.

— Мы нашли его во дворе в мусорном ящике. Преступник успел скрыться через служебный выход.

— А что еще?— спросил директор гостиницы.— Хоть какой-нибудь след?

— Ровным счетом ничего,— ответил полицейский комиссар Штейнбайс.— Я отослал моих людей. Они битый час обыскивали спичечные коробки у всех выходящих из гостиницы. Все напрасно. Ни в одной из коробок не было Маленького Человека. Во всех коробках были обнаружены только спички.

— Аэродром, вокзалы, автострады?— спросил Йокус.

— Мы делаем все, что в наших силах,— ответил Штейнбайс.— Но больших надежд я не питаю. Скорее найдешь иголку в стог сена.

— Радио?

— Каждые полчаса сообщается о ходе розыска.

Объявление о вашей награде в двадцать тысяч марок передается регулярно.

Йокус вышел на балкон и взглянул на небо. Но и там он не увидел своего Максика.

— Увеличиваю сумму до пятидесяти тысяч марок,— сказал Йокус, обернувшись.

— Мы немедленно сообщим об этом по радио,— сказал полицейский комиссар.— Если в дело замешана банда, то, может быть, кто-нибудь из них и запоет. Пятьдесят тысяч марок — сумма немалая.

— С чего это он станет петь?— спросила горничная.

Комиссар сделал недовольную гримасу.

— Это специальный термин. «Петь»— значит «предать» или «выдать».

— Но все же я никак не пойму,— начал директор гостиницы,— зачем им понадобился мальчик ростом в пять сантиметров, знаменитый, как Чаплин или Черчилль? Ведь его не продашь ни в один цирк. Частным образом его тоже не покажешь. Тут же явится полиция.

У горничной на лице появилось таинственное выражение.

— Может быть, это способ вытянуть деньги у профессора?— прошептала она.— Может, они ему вернут Максика, если профессор ночью положит деньги в дупло какого-нибудь дерева? Такие случаи бывают.

Директор гостиницы пожал плечами:

— Но тогда кто-нибудь из них позвонил бы или прислал письмо.

— А может быть, это всего-навсего сумасшедший,— увлеклась горничная.— И такие случаи бывают. Тогда мы совершенно бессильны.

Кто знает, что бы ей еще пришло в голову, если бы в этот самый момент в комнату не ворвалась Роза Марципан.

— Бедный мой Йокус!— зарыдала она и бросилась профессору на шею.

За ней размеренным шагом вошел господин директор Грозоветтер. В руках у него был цилиндр, а на руках, как всегда и везде, лайковые перчатки. Он снимал их, только ложась спать. Сегодня они были мышиного цвета. Черные перчатки он надевал на похороны, а белые — на радостях и в торжественных случаях. В отношении цвета перчаток он был очень разборчив.

— Дорогой господин профессор,— обратился он к Йокусу,— мы все до глубины души потрясены случившимся, и я должен вам передать сочувствие всех наших коллег. Десять минут тому назад мы решили на общем собрании отменить все представления, пока к нам не вернется Маленький Человек. До тех пор цирк «Стильке» будет закрыт.

— А вы думаете, это поможет?— спросила горничная.

Директор Грозоветтер строго посмотрел на нее.

— Прежде всего, это проявление дружбы и солидарности, моя дорогая.

— Которое может оказаться полезным!— добавил комиссар Штейнбайс.— Поскольку привлечет всеобщее внимание.

Роза Марципан тряхнула своими кудряшками.

— Здесь может помочь только один человек.

— Кто же?— удивился директор гостиницы.

— Ты совершенно права,— перебил его Йокус.— Он наша единственная надежда.

— Кто же?— повторил свой вопрос директор гостиницы.

— Сам Максик!— Только и сказала девушка.

Наконец Максик пришел в себя. Голова у него трещала. Он по-прежнему лежал в своей спичечной коробке, но лампа на потолке была чужая. Где же он?

Из радиоприемника слышалась танцевальная музыка. В воздухе висел голубой табачный дым. Какой-то мрачный мужской голос произнес:

— Отто, взгляни-ка, не проснулся ли наконец карлик.

Ответа не последовало, и голос недовольно повторил:

— Ты что, ждешь письменного приглашения?

— Поспешишь — людей насмешишь,— спокойно ответил другой голос.— Торопиться вредно, Бернгард.

Послышался скрип отодвигаемого стула. Кто-то тяжело поднялся и стал медленно приближаться. Наверно, человек по имени Отто.

Максик закрыл глаза. Он почувствовал, как кто-то наклонился над ним. Отто кричал и сопел. От него несло, как из табачной лавки, расположенной по соседству со спиртным заводом.

— Все еще спит!— произнес голос.— Надеюсь, Бер-



нгард, ты ему капнул не слишком большую дозу эфира. А то сеньор Лопес прикажет кому-нибудь из своих ребят снять с тебя голову.

— Заткнись!— буркнул другой голос.— Я сделал все, как положено.

В этот момент танцевальная музыка оборвалась, и третий голос объявил:

«Внимание! Внимание! Повторяем важное сообщение».

— Провалиться мне на месте, если это не полиция,— начал Отто.

— Тихо!— зашипел на него Бернгард.

Максик затаил дыхание, весь превратившись в слух.

«Как мы уже сообщали,— продолжал голос в приемнике,— сегодня утром из гостиницы был похищен всем вам известный Маленький Человек. Преступник переоделся официантом. Брошенный им белый китель найден. Полиция обращается к населению с призывом оказывать ей активное содействие. Профессор Йокус фон Покус увеличил объявленную им награду до пятидесяти тысяч марок. Все сведения, которые могут нам помочь в розыске, просим сообщать на радио или непосредственно полицейскому комиссару Штейнбайсу. Цирк «Стильке» объявляет об отмене всех представ-

лений до особого распоряжения дирекции цирка. Передача окончена».

Опять раздалась музыка.

Немного погодя послышался полный благоговения голос Отто:

— Здорово, черт побери! Этот Йокус-покус дает жизни! Пятьдесят тысяч? Вот это называется легкий заработок! А, Бернгард? Что скажешь?

— Я скажу, что ты осел, ослом был, ослом и остался,— проворчал Бернгард.— Пятьдесят тысяч? Ради этого не жертвуют положением.

— Ну ладно, ладно,— пробормотал Отто.— Просто мысль такая мелькнула.

— Тоже мне мыслитель!...— заметил Бернгард.— Мыслить предоставь мне, понятно? А теперь я пойду звонить.

Снова заскрипел стул.

— Следи за карликом!

Когда дверь захлопнулась, Максик чуть приоткрыл глаза. Он увидел за неприбранным столом большого лысого мужчину. Тот рассматривал на свет бутылку. Вот, значит, он каков, этот Отто.

— Жажда хуже тюрьмы,— сказал самому себе Отто. И стукнул бутылкой об стол.

«Теперь или никогда!»— подумал Максик и стал изображать пробуждение. Он так сильно потянулся, что чуть было не перевернул спичечную коробку. При этом он кричал:

— Помогите! На помощь! Где я?

Он в отчаянии огляделся вокруг и зарыдал. Это было сделано на высоком артистическом уровне.

Отто был ошарашен. Он спрыгнул со стула и в бешенстве зашипел:

— Заткнись, мерзавец!

Максик заорал изо всех сил:

— Скажите мне, где я? Как вы смее так со мной разговаривать? Кто вы такой? На помощь! Йокус! На помощь!

Он кричал в надежде, что его услышат. Но кругом было тихо. Его никто не услышал, никто, кроме лысого пьяницы по имени Отто.

— Попробуй еще заорать! Я тебе рот лейкопластырем залеплю. Понятно?— мрачно заявил Отто.

— Мне ваш тон не нравится,— ответил Максик.— Вызовите, пожалуйста, такси!

Эта просьба вызвала у Отто припадок смеха. Вернее,

это была смесь смеха, кашля и чихания. Казалось, Отто вот-вот взорвется. Но, к сожалению, этого не произошло. Наконец он успокоился, вытер слезы и прохрипел:

— Такси ему понадобилось. Только и всего! А Бернгард пошел самолет заказывать!

Глава 18

Кто купил белый китель? Переполох в «Золотом окороке». Статья в вечерней газете. Лысый Отто громко рычит. Пустой дом. Бернгард опаснее, чем Отто. Максик изучает комнату

Белый китель официанта был куплен в городе за два дня до похищения Маленького Человека в специальном магазине. Полиция это в конце концов установила. В магазине продавались фартуки для мясников, шапочки для кондитеров и медсестер, медицинские халаты, комбинезоны для землекопов, водолазные шлемы, нарукавники для бухгалтеров, наколенники для паркетчиков — короче говоря, это был очень большой магазин. Продавцы очень хотели бы помочь полиции. Но кто купил белый китель и как выглядел покупатель, они не знали.

Роза настояла на том, чтобы Йокус пошел с ней в ресторан.

— В конце концов ты должен что-то съесть, — объясняла она. — Нельзя же все время сидеть неподвижно в своем номере и смотреть на стены. И делу это не поможет. Еще заболеешь, не дай бог.

И вот они сидели в «Золотом окороке» — так назывался ресторан. Йокус на сей раз смотрел не на стену, а в свою тарелку. Но он по-прежнему не открывал рта ни для еды, ни для разговора.

Так продолжалось уже более суток, и девушка всерьез обеспокоилась. В конце концов она заставила его выпить чашку горячего бульона.

Чтобы хоть немного утешить его, она сказала:

— Завтра, самое позднее — послезавтра Максик будет с нами. Он слишком хитер и ловок, чтобы долго сидеть взаперти. Ни одна собака его не удержит.

— В том-то и дело, что это не собаки, а преступники, — возразил Йокус. — Кто знает, что они сделали с бедным мальчиком.

Он вздохнул. Потом покачал головой.

— Ведь их даже вознаграждение не соблазнило. А я, признаться, очень надеялся на это.

— Они боятся полиции.

— Я бы их не выдал ради Максика...— пробормотал Йокус, глядя в свою тарелку.

И у Розы Марципан тоже пропал аппетит. Но она старалась не показывать виду и даже немножко поела, надеясь, что Йокус по рассеянности тоже что-нибудь возьмет в рот. Не тут-то было.

Пока она тыкала вилкой в гуляш, из-за соседнего столика внезапно выскочил какой-то человек и залепил за трещину газетчику, который продавал газету.

— Это еще что за новости!— орал господин.— Немедленно верните мне спички!

— Bravo!—крикнул кто-то за соседним столиком.— Сейчас я ему тоже съезжу по уху.

— Он и у меня хотел стащить!— крикнул третий.— Официант, позовите скорее заведующего.

Начался переполох. Продавец газет держался за щеку. Гости держали продавца. Официант привел заведующего. Заведующий вызвал младшего официанта. Младший официант привел постового. Полицейский вытащил из кармана записную книжку.

— Я не понимаю, что вам всем от меня надо?— возмущался продавец газет.— Все время твердят по радио, что надо быть бдительным, потому что похитили Маленького Человека. А когда вот я, например, проявляю бдительность и заглядываю в чужие спичечные коробки, меня бьют. Мне это очень не нравится, господин полицейский.

Услышав это, посетители ресторана и полицейский сразу успокоились. Все стали просить друг у друга прощения. И даже продавец перестал возмущаться. Он вмиг распродал все номера газеты и, довольный, покинул ресторан. Полицейский же бесплатно выпил кружку пива.

Все углубились в чтение вечерней газеты. Хоть газета и была свежей, но свежих новостей о Максике в ней не оказалось. Тем не менее один репортер поместил небольшую статью об этом нераскрытом преступлении. Ее читали все посетители ресторана «Золотой окорок». У всех остыла еда. Роза Марципан и Йокус тоже читали газету. На первой странице в правом верхнем углу было напечатано следующее:

Где он? Где его скрывают? На какой улице? В каком доме? В какой комнате? Огромный город затаил дыхание. Огромный город в растерянности. Комиссар полиции Штейнбайс пожимает плечами. Он и его подчиненные сбились с ног. Что им удалось обнаружить? Белый китель официанта в помойном ведре. Магазин, в котором был куплен китель.

А что еще? Больше ничего. Как выглядел покупатель? Был ли он похитителем? Или одним из его сообщников? Сел ли похититель в машину? Или затерялся в толпе пешеходов? Население помогает полиции советами. Круглые сутки звонит телефон. Поток писем не прекращается. Работа неимоверная. Результаты ничтожны. В итоге — нуль. Тем не менее мы не должны ослаблять бдительности. Только тогда всеобщий любимец населения — Маленький Человек будет найден.

Да, дела были плохи. Даже очень плохи. Никто не знал ни улицы, ни дома, ни комнаты, в которой держали в плену Максика. А сколько улиц, домов и комнат в городе с миллионным населением?!

Но даже сам Максик не знал, где он находится. Он знал лишь комнату, в которой его сторожили Бернгард и лысый забулдыга Отто. Это была одна из тех дешевых меблированных комнат, которые похожи друг на друга, как костюмы в магазинах готового платья. Но будь то даже салон с венецианскими зеркалами и автопортретом Гойи на стене, какой толк был бы от всего этого маленькому пленнику? Ведь это не помогло бы ему узнать ни номера дома, ни названия улицы!

Правда, одно преимущество в сравнении с Йокусом, Розой Марципан, цирком и всем остальным миром у него все-таки было: он точно знал, что все еще жив и здоров! А мир этого не знал! И Максик очень страдал, потому что думал, что из-за него страдает Йокус. Да, плохи были дела. Очень плохи.

Оба жулика не спускали с него глаз. Ни днем, ни ночью. Они не покидали его ни на секунду. Один из них все время дежурил возле спичечной коробки. Есть они ходили по очереди. И ели, чтобы не обращать на себя внимания, каждый день в другом ресторане.

Отто готовил Максику еду на керогазе. Он делал это скорее плохо, нежели хорошо, хотя и очень старался.

— Ешь как следует,— приговаривал он каждый раз.— Потому что, если ты заболеешь или загниешься, Лопес с нас три шкуры сдерет.

— А кто он такой, ваш сеньор Лопес?— спрашивал Максик.

— Не твоего ума дело!— раздраженно отвечал Отто, поблескивая узкими воспаленными глазками.

Максик молча улыбался. Потом ни с того ни с сего требовал:

— Открой окно, пожалуйста! Мне нужен свежий воздух!

Отто, крихтя, вставал, открывал окно и также тяжело садился на место.

Через пять минут Максик притворялся, будто он мерзнет:

— Я замерз. Закрой окно, пожалуйста!

Отто, крихтя, вставал, закрывал окно и тяжело опускался на стул.

Через пять минут Максик снова обращался с вопросом:

— Осталось что-нибудь от ананасного торта?

Отто, крихтя, подымался, подходил к шкафу, садился на место и ворчал:

— Нет, ты все сожрал.

— Пожалуйста, сходи в кондитерскую и купи новый.

— Нет,— рявкал Отто, да так, что стены дрожали.— Нет, лилипут!

Потом он вдруг вспоминал, что отвечает за здоровье мальчика, и, сделав над собой усилие, произносил как можно мягче:

— Ладно, принесу, когда Бернгард вернется с обеда.

— Заранее благодарен,— вежливо говорил Максик и с нетерпением ожидал каких-нибудь событий. Например, чтобы кто-нибудь постучал или позвонил в дверь или чтобы сосед устроил скандал по поводу крика среди бела дня. Ведь только ради этого он и доводил Отто до белого каления. Пусть рычит, как пес на цепи!

«Странно,— подумал Маленький Человек.— Неужели в доме всего две комнаты? Должны же здесь жить еще и другие люди. Никто не стучит и не звонит! Где же я?»

Он старался не показывать, что у него на душе. Но ему было страшно, очень страшно.

Больше всего он боялся Бернгарда, потому что тот никогда не орал. Но он разговаривал всегда таким ледя-

ным тоном, что казалось, будто голос его раздается из холодильника. Каждый раз, когда он раскрывал рот, у Максика мурашки пробежали по коже. И мальчик остерегался злить его. К счастью, Бернгард часто отлучался из дому. Когда он возвращался, Отто каждый раз спрашивал:

— Есть новости?

И Бернгард обычно отвечал:

— Нет!

Или:

— Будут новости — скажу!

Или:

— Заткнись!

Или:

— Проваливай жрать!

Однажды Отто не вытерпел и заорал на Бернгарда:

— Мне надоело быть нянькой при карлике! Понятно?

Когда мы наконец полетим?

Бернгард посмотрел на него, как на дряхлого цепного пса, и ответил холодно:

— Нам надо подождать, пока полиция ослабит контроль. Еще несколько дней!

— Черт подери! — ругался Отто. — Если бы все шло по-моему, мы бы уже давно не сидели здесь!

Бернгард кивнул:

— Правильно! Мы бы уже давно сидели в тюрьме.

Отто быстро вылакал стакан водки, кряхтя, встал со стула и, ворча что-то себе под нос, отодвинул миску с едой. Бернгард сел в освободившееся кресло и от нечего делать стал читать газету.

Немного погодя Максик с невинным видом спросил:

— Куда же мы едем?

— Я иногда бываю туг на ухо, — ответил Бернгард, не опуская газеты.

— Это ничего, — заметил Максик. — Я могу и громче. — И он гаркнул во все горло: — Куда же мы едем?

Тогда Бернгард медленно отложил в сторону газету.

— Теперь я тебя понял, — сказал он тихо. Он даже позеленел от бешенства. — Зря стараешься, лилипут! Тебя здесь никто не услышит. — Он опять взялся за газету. — Тем не менее советую тебе вести себя прилично, потому что я получил задание сдать тебя живым. Живым и здоровым. Как можно более здоровым. За это я получу очень много денег. Следовательно, в моих интересах, чтобы ты не заболел или случайно не помер. Понятно?

— Понятно,— сказал Максик, изо всех сил стараясь не лязгать зубами.

— Но если у меня с тобой будет слишком много возни, то я могу и плюнуть на деньги. Были люди и побольше тебя ростом, которые умирали внезапно.

У Максика мороз пробежал по коже.

— Поэтому будь послушным мальчиком,— продолжал Бернгард,— и подумай о своем драгоценном здоровье.

Он снова раскрыл газету и стал читать спортивную хронику.

Заботы и страхи Максика увеличивались. Полиция и Йокус его не находили. Объявление о высоком вознаграждении не давало результатов. Сам он тоже не мог придумать выхода.

Конечно, по ночам, когда лысый Отто спал на кушетке, Максик изучал комнату. Он спускался по скатерти вниз, а потом взбирался вверх по шторам на подоконник. Но что он видел? Дома на другой стороне улицы. За ними — церковную башню. Окно было закрыто наглухо.

Он ползал по полу и тщательно изучал стены и двери. Нигде ни малейшей щелки! Ну, а если бы ему даже удалось в конце концов выбраться в коридор? Там ведь тоже двери! Дверь от квартиры, входная дверь с улицы! По крайней мере, две!

Но бесполезно думать о щелях, которых не существует. Он сидел теперь в этой проклятой комнате. И сидел прочно, как гвоздь в стене! А время шло, и остановить его было невозможно. Скоро оба мошенника, которых он и знал-то лишь по имени, сядут в какой-нибудь самолет. Со спичечной коробкой в кармане куртки.

А в спичечной коробке будут вовсе не спички. В ней будет лежать усыпленный хлороформом Максик Пихельштейнер — знаменитый Маленький Человек, о котором мир больше никогда ничего не узнает. И не только мир, а что в тысячу раз хуже — о нем не узнает знаменитый фокусник профессор Йокус фон Покус.

Максик стиснул зубы. «Ни в коем случае не падать духом,— подумал он.— Бежать! Не выйдет? Ну мы еще посмотрим!»

Подробный отчет о сеньоре Лопесе. Крепость в Южной Америке. Картины Трибрата и Инкассо. Билеты на пятницу. Колики в желудке. Лысый Отто мчится в аптеку. Максик стоит на заборе

Среда оказалась богатой событиями. Отто уже с утра солидно надрался и по собственной охоте стал рассказывать Максиму разные вещи про таинственного сеньора Лопеса. Позднее из города вернулся Бернгард. Он показал Отто билеты на самолет, вылетающий в пятницу, но вскоре опять ушел.

— Я поем в «Кривом кубке»,— сказал он,— и через час тебя сменю.

— Хорошо,— согласился Отто,— закажи мне двойную порцию свинины с кислой капустой. И больше ничего. Аппетит что-то пропал.

Когда Бернгард ушел, у Максима вдруг ужасно разболелся живот. Он кричал и стонал так громко, что Отто пришлось зажать уши. Но об этом потом. Сначала я выполню свое обещание и передам вам разговор о таинственном сеньоре Лопесе.

...Итак. Отто уже за завтраком успел перехватить. Он напился, что называется, в дым. Наверное, спутал кофейник с бутылкой. Или просто решил прополоскать горло спиртом. Так или иначе, но вдруг ни с того ни с сего он заговорил:

— Сеньор Лопес — это персона. «Сеньор» — по-нашему «господин». Так сказать, важная особа. Хозяин, одним словом. Он богаче английского банка. На каждом пальце у Лопеса по два кольца. А на некоторых — три. За одно такое кольцо можно купить всю Швейцарию. Что Швейцарию! Лопес владеет по меньшей мере половиной Южной Америки. Медь, олово, кофейные плантации, серебряные рудники и фермы. Одних быков — целая пропасть. Они по конвейеру идут в консервные банки. Шагом марш! Ать-два, ать-два, ать-два! У него своя крепость. Между Сантьяго и Вальпарайсо. Собственный самолет и собственная охрана. Отчаянные стрелки. Целая сотня. Они у мухи сигару изо рта отстрелят.

Тут Максик не выдержал и захихикал.

— Брось,— сказал Отто.— Над Лопесом не посмеешься. Если где украли картину, которой цена миллион, будь спокоен: она уже висит у него в под-

земной галерее. Будь то Адольф Тюря, Трибрат или такой нынешний художник, как сам Инкассо.

— Пикассо,— поправил его Максик,— и Рембрандт, и Альбрехт Дюрер.

— Мне плевать,— сказал Отто и опрокинул еще стакан.— Главное, чтобы картины висели в его подвалах. Только об этом никто не знает. Даже Интерпол. А если даже и узнают, ничего не смогут поделать. Его охрана их близко к крепости не подпустит.

— Какой это Интерпол? — спросил Максик.

— Интерпол — это Международная полиция. Один раз она меня и Бернгарда чуть не сцапала. Это было, когда мы украли цыганку и на лиссабонском аэродроме собирались сесть в личный самолет Лопеса. Но, слава богу, все обошлось хорошо. Теперь она вот уже два года в его крепости и по утрам гадает ему на картах. Покупать ли ему акции на бирже или ожидать. Или про его печень, например, потому что он сильно зашибает, даже чересчур. Или выиграет ли какая-нибудь из его скаковых лошадей.

— А я ему на что? — заинтересовался Максик.— Зачем он велел украсть меня?

Отто налил себе еще стакан. Бутылка была почти пуста. Он прополоскал водкой горло, потом стал откашливаться. Наконец он произнес:

— Человеку скучно, вот он и коллекционирует. Картины и людей. Вроде почтовых марок. За любую цену. Он даже целый балет украл. Одни красотки. Они ему каждый вечер танцуют. Ты думаешь, Лопес их отпустит на волю? Черта с два. Даже когда старухами станут. Потому что они его тогда сразу выдадут. Думаешь, я не прав? У него даже есть один знаменитый профессор: он всегда отличит настоящую картину от подделки.

— А если профессор его надует?

— Пробовал однажды! Это отразилось на его здоровье. Сеньор Лопес шутить не любит.

— А на что я ему сдался? — спросил Максик дрожащим голосом.

— Понятия не имею. Захотелось ему тебя видеть. И баста. Потому что ты чудо природы. Вроде теленка с двумя или тремя головами.

Максик смотрел на уши Отто. «У него уши такие оттопыренные, потому что он Отто: „Отто-пыренные“». И в голове его пронеслось молнией: «Надо скорее бежать отсюда. Теперь самое время!»

Потом пришел Бернгард (об этом я упоминал).

— В пятницу мы летим,— сказал он, входя и показывая билеты.

Вскоре он опять ушел. Он торопился в «Кривой кубок», чтобы через час сменить Отто, хотя лысый и потерял аппетит: он ведь сказал, что ему хватит двойной порции свинины с кислой капустой.

«Через час вернется Бернгард,— подумал Максик.— Надо действовать. Билеты уже у него. Сейчас или никогда!»

Поэтому-то так и разболелся живот у Маленького Человека. Это были колики, и мальчик громко плакал и стонал от боли. Отто даже пришлось зажать свои пыренные, вернее, оттопыренные уши — так громко вопил Максик.

Если вы мне обещаете, что не расскажете пьяному Отто, я вам раскрою один секрет. Договорились? Никто нас не подслушивает? Ну вот: только пусть это останется между нами. На самом деле у Максика живот вовсе не болел. И вообще у него ничего не болело. Нисколько это не были колики, вернее, нисколько это не были колики. Просто это входило в его планы.

— А-а-а! — кричал он. — Ой-ёй-ёй! — вопил он. — У-у-у! — стонал и орал он во всю мочь, извиваясь, как гусеница в своей спичечной коробке. — Доктора! — кричал он. — Скорее доктора! Ой-ёй-ёй! Доктора!

— Где я тебе возьму доктора! — нервничал Отто.

— Доктора! — ревел мальчик. — Немедленно!

— Ты совсем спятил! — прикрикнул на него Отто. — Тебя весь город ищет, а я пойду за доктором, чтобы он нас выдал полиции.

— А! — стонал Максик, корчась и катаясь от боли. — Умираю! Спасите!

— Не смей! — в отчаянии закричал Отто. — Еще этого не хватало! Да он нам шею обоим свернет, если мы тебя живым не доведем! — Лысый даже вспотел от ужаса. — Где у тебя болит?

Максик держался за живот.

— Вот здесь! — причитал он. — Ой-ёй-ёй! Это колики! Доктора скорее! Или валерьяновых капель!

Он выл, как целых восемь гиен.

— Валерьяновых капель? — кряхтел Отто, носовым платком стирая пот с лица. — Где я их возьму?

— В аптеке! — заходился Максик. — Скорее! Скорее! В аптеку! Ой-ёй-ёй!



— Я же не могу оставить помещение! — волновался Отто. — Выпей водки! Это помогает! — Он поднял бутылку к свету. Бутылка была пуста. — Проклятье!

— В аптеку! — стонал Максик. — А то... — Он весь как-то сразу сжался, тяжело глотал воздух и уже почти неподвижно лежал в своей спичечной коробке.

Отто испуганно смотрел на коробку. Он совершенно обалдел.

— Ты в обмороке?

— Еще не совсем, — шептал Максик. Глаза его закатились, и он стучал зубами.

— Я запру дверь, побегу в аптеку и сразу же вернусь. Понял?

— Да.

Отто нахлобучил шляпу, выбежал из комнаты, дважды повернул ключ в двери, сунул его в карман брюк, потом открыл вторую дверь, захлопнул ее за собой, повернул другой ключ, сунул и его в карман и сбежал вниз по ступенькам. Из дому. Через палисадник и железную калитку. В поисках аптеки. Или хотя бы аптечного киоска.

«Валерьянку для карлика, — кряхтел он про себя. — И пол-литра для бедного Отто».

Комната была заперта. До возвращения Отто ни-

кто не мог в нее войти. И выйти никто не мог. Включая Максика. Но ему уже это было вовсе не нужно.

То есть почему не нужно? Сказать вам почему? Наверное, вы уже сами догадались! Нет еще? Тогда слушайте!

Максику это было не нужно по той простой причине, что его уже не было в комнате. Он ее покинул одновременно с Отто. Как же ему это удалось? Очень просто — на его спине! Ведь это как раз и был тот самый план, который про себя составил Максик.

Он, конечно, ни минуты не верил, что Отто пойдет за доктором. Но так надо было. Лысый Отто в миллион раз охотнее согласится побежать в аптеку. Так думал Максик. Так оно и случилось.

Только Отто повернулся спиной к столу, чтобы достать с вешалки шляпу, как Максик одним прыжком оказался у него на пиджаке. Это был прыжок, достойный такого знаменитого артиста, каким был Максик. И уже совсем простым делом было забраться по пиджаку на плечо. Пока Отто запирает на ключ дверь комнаты и входную дверь, пока он спускался вниз по лестнице и перебегал палисадник, Максик сидел на его плече. У калитки он спрыгнул на один из чугунных прутьев решетки. И этот прыжок был удачным. Школу, как мы знаем, Максик прошел отличную.

Правда, немного побаливал лоб: чугун все-таки не резина! Наверное, останется шрам или шишка на лбу или и то и другое. Ну и что!

Максик теперь стоял на каменном столбе у калитки. Столб был украшен большим каменным шаром. Максик прислонился к шару и дышал полной грудью. Пахло жасмином. А главное — свободой!

Максик блаженствовал. Но для жасмина и блаженства время еще не подошло! Надо было отсюда уходить. И поскорее! Меньше чем через час вернется Бернгард из «Кривого кубка». Сейчас минута была ему дороже, чем год!

Улица была пустынна, будто людей на свете вовсе никогда и не было. Дома по другую сторону улицы словно вымерли.

Максик, обернувшись, посмотрел на входную дверь, через которую он незадолго перед тем проходил, сидя на спине у Отто. Рядом с ней висела голубая табличка с белым номером. А под номером маленькими белыми буквами было выведено название улицы.

— «Петушина улица, двенадцать,— пробормотал Максик.— Петушина улица, двенадцать».

Когда он в третий раз подряд произнес название улицы, окно на первом этаже в доме напротив отворилось. На подоконник вылез мальчик. В руке у него был кулек с вишнями. Он кидал их одну за другой в рот и выплевывал косточки прямо на улицу, пытаясь попасть в маленький зеленый мячик, лежавший на мостовой. Надо сказать, ему это неплохо удавалось.

Глава 20

Мальчик, по имени Эрих, плюется вишневыми косточками и злится. Максик разговаривает по телефону и ждет развития событий. Машины 1, 2, 3. Лысый Отто едет в машине. Максик едет в машине. Эрих едет в машине. Тихая улица опять стала тихой

— Алло! — крикнул Максик.

Но мальчишка на окне даже и ухом не повел. Он продолжал упражняться в стрельбе. Надо сказать, что вовсе не так просто попасть в мячик. Матрос бы, конечно, попал. Матросы — и это знает каждый ребенок — мастера плевать. Но когда они становятся штурманами и капитанами, у них это получается уже не так хорошо. Видно, мастерство с годами слабеет.

— Алло! — крикнул Максик еще громче.

Мальчик кинул взгляд на улицу, но, никого не увидев, продолжал свои упражнения.

Максик забеспокоился. Время шло. Что делать? Как отвлечь парня? «Идея! Я буду дразнить его до тех пор, пока он не разозлится!» — решил он.

Он еще раз крикнул:

— Алло!

Парень не отзывался, Максик добавил:

— Ты что, старая тетеря, совсем оглох?

Парень вздрогнул и поперхнулся косточкой. Он мрачно посмотрел в сторону Максика.

— Где этот нахал?

— Что глазами хлопаешь? — продолжал Максик. — Эх ты, ворона!

Тут парень перекинул ноги через подоконник.

— Сам ты ворона! — крикнул он. — Ну, берегись!

Он перебежал мостовую, остановился перед калиткой, сжал кулаки, но так никого и не обнаружил.

— Покажись, трус! — кричал он в бешенстве. — Вылезай из-за кустов! Сейчас я сотру тебя в порошок! Максик громко рассмеялся.

Парень поднял голову и увидел Максика, который стоял на столбе, прислонившись к шару. От изумления парень широко раскрыл рот. Он пытался произнести что-то, но у него отнялся язык.

— Ты знаешь, кто я? — спросил Максик.

Парень кивнул.

— Хочешь мне помочь?

Парень опять кивнул. Глаза его засветились.

— Мне пришлось тебя разозлить, — оправдывался Максик, — иначе бы ты ни за что не подошел. Прощу прощения.

Парень опять кивнул.

— Пустяки, Маленький Человек! — наконец чуть слышно сказал он. — Уже все забыто. Меня зовут Эрих.

— А меня Максик. У тебя есть телефон?

Эрих кивнул.

— Протяни руку, — попросил его Максик. — Но только не сотри меня в порошок!

Эрих густо покраснел и протянул Максику руку. Максик спрыгнул на протянутую ладонь.

Эрих перебежал улицу и посадил Маленького Человека на подоконник, а сам через окно пролез в комнату, потом подхватил Максика и подбежал к письменному столу. На столе стоял телефон.

— Куда ты хочешь звонить? — спросил Эрих.

— В полицию, — ответил Максик, — потому что если я позвоню в гостиницу к Йокусу... Но ты ведь не знаешь Йокуса?

— Не знаю? — обиделся Эрих. — Профессора Йокуса фон Покуса? Я вас обоих знаю. По цирку, по телевидению, по газетам и вообще...

— Потому что если я позвоню Йокусу, то он тут же прибежит сюда и свернет лысому Отто шею. А потом и Бернгарду. А это сильно помешает делу.

— Я все понял, — сказал Эрих. — Отто и Бернгард — похитители. — Он взглянул на газетную вырезку, лежавшую под стеклом на письменном столе. — Вот обращение полиции. С номером телефона и так далее.

— Молодец, Эрих, — сказал Максик, потирая руки от радости. — Когда дозвонишься, положи трубку на стол. Ладно? Я сам хочу говорить.

Эрих набрал номер, потом сказал:

— Соедините меня, пожалуйста, с полицейским комиссаром господином Штейнбайсом. Ему некогда? Очень жаль! Передайте ему привет от Маленького Человека! — Эрих подмигнул Максику и шепнул: — Проняло! Дежурного чуть удар не хватил.

Через три секунды из телефонной трубки загремел голос, словно комиссар находился здесь же, рядом с ними:

— Штейнбайс слушает! Что случилось?

Максик встал на колени перед микрофоном и крикнул:

— Говорит Маленький Человек! Я удрал! Из дома номер двенадцать по Петушиной улице. Отто сейчас вернется. Я нахожусь в доме напротив...

— Дом номер семнадцать, — быстро подсказывал Эрих. — У Шустриков. Первый этаж слева.

— Дом номер семнадцать, у Шустриков, первый этаж слева. Вы меня поняли? Одну минутку, я только перебегу к другому концу трубки.

Мальчик помчался к слуховому концу трубки.

— Сейчас мы к тебе приедем! — кричал полицейский комиссар. — Будь осторожен! Что еще?

Максик отбежал назад к микрофону и от волнения чуть не просунул голову внутрь.

— Не включайте, пожалуйста, сирену и сигнальную лампу. Отто еще в аптеке и может пронюхать про опасность. А самое главное, господин комиссар, ничего не говорите Йокусу! Пока еще ничего не говорите! Очень, очень, очень вас прошу! А то он будет очень, очень, очень волноваться! А как он себя вообще чувствует? А Роза Марципан? А...

Эрих прижал к уху трубку и сказал:

— Все. Тишина. Наверное, дежурный с третьего этажа прыгнул прямо в машину. С двадцатью пистолетами в кобуре.

— Мы живем в век скорости, — заметил Максик. — Отнеси меня на окно, пожалуйста.

Эрих положил трубку на аппарат.

— Благодарю за честь, господин фон Пихельштейнер.

Они сидели у раскрытого окна и с нетерпением ждали развязки. Кто первым подойдет к финишу? Полицейский комиссар Штейнбайс со своими людьми? Или лысый Отто с валерьянкой?

Эрих продолжал плевать косточками в зеленый мячик, но все еще не мог попасть.

— Плевать в цель очень трудно,— сказал он.— Почти так же трудно, как жить.

— Почему же ты решил, что жить еще труднее? — спросил Максик.

— Мой дорогой друг,— вздохнул Эрих.— Перспективы довольно мрачные. Отец уехал. Сын питается ягодами. Это, по-твоему, пустяки?

— Когда же они тебя бросили?

— Сегодня утром.

— Навсегда?

— Не совсем. Завтра вечером они вернутся.

Тут оба мальчика рассмеялись.

— Тете Анне аист принёс ребенка,— рассказывал Эрих.— Они во что бы то ни стало решили посмотреть на аиста, или на корзинку, или на ребенка. Я, конечно, не стал их отговаривать.

— И они тебе оставили одни вишни?

— Ну что ты! — сказал Эрих обиженно.— Я был богат, как три полные копилки. И должен был три раза в день питаться в кафе. Сегодня днем, и сегодня вечером, и завтра в обед. Но...

— Но что?

— Но по пути в школу я встретил Фрица Грибца. Он стоит и ревет, а на руках у него такса, которая его всегда в школу провожала. А такса-то мертвая. Ее машина переехала. Пуффи ее звали.

— Ой... — вздохнул Максик.

— Ну, мы и стали ему деньги собирать. На похороны и на новую Пуффи. А когда пришли в класс, учитель посмотрел на часы. Ну, в общем, нам здорово влетело. А тут еще бедняга Фриц, и несчастная такса, и жалкие восемьдесят пфеннигов на жизнь. И эти вишни... Вот и скажи теперь: трудно жить человеку или нет?

Максик молча кивнул. Он ел вишню, держа ее обеими руками, словно это была не вишня, а огромная тыква, получившая золотую медаль на всемирной выставке.

При этом он заметил:

— Еще чуточку потерпи, и нам достанется ананасный торт!

— Опять сладкое! — сказал Эрих печально.

Полицейский комиссар Штейнбайс и инспектор

Мюллер Второй шли быстрым шагом по Петушиной улице. Три машины ждали за углом в переулке.

— Вон там, напротив, дом номер двенадцать,— сказал инспектор.— Здесь они его прятали.

— Очень тихая улица,— заметил полицейский комиссар. Вдруг он схватился за щеку.— Кто это тут вишневыми косточками стреляет?

— Это я, простите! — крикнул мальчик.— Я метил в зеленый мячик.

— С каких это пор я похож на зеленый мячик?

— Номер семнадцать, первый этаж слева,— пробормотал инспектор Мюллер Второй.— Мы у цели.

Комиссар подошел к открытому окну:

— Тебя, случайно, не Шустриком зовут?

— Да, Шустриком,— последовал ответ,— но о случайности не может быть и речи.

Инспектор Мюллер Второй усмехнулся.

— Мы из уголовного розыска,— проворчал комиссар.— Нам нужен Маленький Человек.

Эрих сказал:

— Он всем нужен. Покажите-ка ваше удостоверение!

У комиссара вдруг очень зачесались руки. Но ничего не поделаешь: он вынул удостоверение и предъявил его дерзкому мальчишке.

Эрих внимательно прочел документ.

— Бумаги в порядке, Максик,— сказал он.

Только теперь они увидели на окне Максика.

— Добро пожаловать, господа! Как он себя чувствует?

— Кто он?

— Йокус!

— Привыкает к голоду,— сухо ответил комиссар.

Лицо Максика омрачилось. Но только на секунду. Потом он вновь просиял и стал потирать руки.

— Сегодня вечером Йокус съест не меньше четырех шницелей. Вот будет зрелище!

Послышались быстрые неровные шаги. Максик вылез на самый край подоконника.

— Вот он, лысый Отто,— срифмовал Максик.

Отто шел зигзагами по другой стороне улицы; в руке у него была большая бутылка.

— Столько валерьяновых капель? — спросил обомлевший Эрих.

Максик захихикал.

— Это водка! У него вся водка кончилась. Поэтому он так быстро и собрался в аптеку.

— Ну что ж, примемся за дело,— сказал господин Штейнбайс господину Мюллеру Второму.

— Одну минутку,— шепнул Максик. Через мгновение он уже стоял на рукаве комиссара, а еще через мгновение — в его нагрудном кармане.

Отто как раз собирался войти в калитку дома номер двенадцать, но ему преградили дорогу.

— Что случилось? — спросил он, искоса посмотрев на обоих мужчин.

— Уголовный розыск,— сказал комиссар.— Вы арестованы.

— Что вы говорите! Неужели? — удивился Отто и повернул назад.

Но господин Мюллер Второй оказался проворнее. И схватил его за руку.

— Ах! — сказал Отто и выронил из рук бутылку.

Она вдребезги разбилась. Господин Штейнбайс свистнул. Из-за угла выскочили три машины и резко затормозили. Шестеро полицейских в штатском спрыгнули на мостовую.

— Машина номер один отвезет арестованного в управление,— приказал комиссар.— Инспектор вместе с командой машины номер два обыщет дом и квартиру.

— Первый этаж слева,— сказал Максик.— Ключи у Отто в правом кармане брюк.

Ключи сразу же оказались в руках одного из полицейских.

Лысый Отто как громом пораженный взглянул на карман комиссара. Потом зарычал:

— Мухомор карликовый... Как ты сюда...

Он dokonчил фразу, уже сидя под надежной охраной в машине номер один.

А из машины номер два доложили:

— Господин комиссар! Мы только что получили по радио сообщение: дом номер двенадцать по Петушиной улице принадлежит южноамериканской торговой фирме.

— А как же иначе! — опять раздался голос Максика.— Ведь все это связано с сеньором Лопесом.

Инспектор Мюллер Второй удивленно спросил:

— Что тебе известно о Лопесе?

— Немного,— ответил мальчик.— Но на сегодня достаточно.

Господин Штейнбайс кивнул.

— Он прав. А нам надо очень спешить. Машина номер два берет на себя этот дом. Машина номер три отвозит меня и Максика к профессору в гости-ницу.

— Нет,— сказал Максик,— сперва арестуем в «Кривом кубке» Бернгарда. Он сейчас там обедает. Он в десять раз опаснее лысого Отто. Знаете, он был тем официантом в белом кителе...

Комиссар засмеялся.

— Ай да Максик! Все умеет, все знает. И так, машина следует в «Кривой кубок».

Он сел в кабину рядом с шофером и нащупал в кармане пистолет.

— Минутку! — крикнул Максик, высунувшись из кармана.— Пусть машина номер два захватит мою спичечную коробку, а то мне придется спать в королевской постели.

— Какой ужас! — воскликнул инспектор Мюллер Второй и вместе со своими людьми бегом направился к дому.

— Ну, а вы чего ждете? — обратился комиссар к шоферу машины номер три.— Поехали! Марш!

— Не так-то просто! — сообщил шофер.— Мальчишка стоит на подножке.

Эрих заглянул в кабину:

— А как насчет ананасного торта?

Максик вздохнул так, словно это был последний или, по крайней мере, предпоследний вздох в его жизни.

— Какой стыд,— вымолвил он,— только выбрался из беды и сразу же забыл о друзьях!

Эрих Шустрик мигом залез в машину.

Машина номер один повезла Отто в Главное полицейское управление. Машина номер три помчалась по направлению к «Кривому кубку». Машина номер два по-прежнему стояла перед домом номер двенадцать. Петушиная улица и зеленый мячик посреди мостовой выглядели так же, как и полчаса назад.

И только на тротуаре сверкали осколки бутылки.

Глава 21

Волнение в «Кривом кубке». Эрих предпочитает телячью отбивную. Слезы или тренировка? Острая горчица. Кто получит награду? Максик изображает лысого Отто. Самое маленькое пятизначное число

«Кривой кубок» не особенно изысканное заведение, но кормят там вкусно. Тут ничего не скажешь. Ведь если бульон сварен из свежей курицы, не так уж обязательно подавать его в фарфоровой тарелке.

Гости сидели за чисто выскобленными столами. И еда им нравилась. Только Бернгарду она была не по вкусу. Суровая хозяйка, подавая ему сладкое, мрачно спросила:

— Опять не по нутру?

— Самое время улететь туда, где готовят по-человечески!

— Самое время убратся из моего ресторана! И чтоб ноги вашей здесь больше не было,— сказала хозяйка и выхватила у него из-под носа тарелку. (Кстати сказать, на тарелке был творожный пудинг с малиновым сиропом.)

— Немедленно поставьте на место эту дрянь,— холодно приказал Бернгард.

Вы же знаете этот голос, раздававшийся словно из холодильника!

— Проваливайте отсюда, и поскорее! — сказала она спокойно.— Две порции свинины с кислой капустой, так и быть, я оставляю вашему плешивому другу. А сами ступайте вон! Денег не надо! Считайте, что я вас пригласила и сама же вышибла! Вон, висельник!

Бернгард пытался выхватить тарелку из ее рук.

Хозяйка отступила на шаг и запустила ему тарелку прямо в лицо.

Конечно, творожный пудинг с малиновым сиропом любят не все. Я, например, тоже не большой поклонник такого пудинга. А когда пудинг летит вам в физиономию... Такое угощение вряд ли кому понравится. Тем не менее Бернгард высунул язык и стал слизывать со щек малиновый сироп. Он боялся за свою белую сорочку, светло-серый костюм и щегольской галстук. Но пудинг — а он был отличного качества — склеил бандиту волосы и залепил глаза.

Гости смеялись. Хозяйка смеялась. А когда девочка за соседним столом воскликнула: «Мама, посмотри,



какая свинья!» — всеобщему восторгу не было предела.

И вдруг стало совсем тихо. Что же произошло?

Бернгард кое-как разлепил склеенные пудингом ресницы и остолбенел. Надо сказать, что для этого у него были все основания. Трое мужчин стояли вокруг него и совсем не смеялись.

Но это еще не все. Из нагрудного кармана у одного из них выглядывал маленький знакомый, который, указав на Бернгарда рукой, отчетливо произнес:

— Господин комиссар, это он!

После того как вымазанный пудингом Бернгард был препровожден в Главное управление, Максик должен был отправиться в гостиницу. Эрих Шустрик остановился у машины и сказал:

— Ну, больше я вам мешать не буду!

— Ты едешь со мной, — сказал Максик. — Из-за ананасного торта. И вообще...

— Конечно, ты едешь с нами,— сказал комиссар,— я же должен записать все твои данные. И вообще...

— Идет,— сказал Эрих.— Все равно мои родители у тети Анны, у младенца и вообще...

Тут все трое рассмеялись и быстро покатали в гостиницу.

А в гостинице — инспектор Мюллер Второй уже позвонил туда — собрался весь персонал, начиная от директора и кончая лифтерами. Все они столпились в вестибюле и кричали:

— Слава Маленькому Человеку! Трижды слава!

Девушки-телефонистки размахивали огромными букетами. А главный кондитер протянул Максикку ананасный торт. Он был величиной с автомобильное колесо.

— Ну, что я тебе говорил? — обратился Максик к Эриху.— Ананасный торт!

Эрих поморщился:

— И ничего другого? Меня бы больше устроила телячья отбивная!

Максик подозвал директора:

— У вас найдется телячья отбивная?

— Не меньше трех дюжин,— ответил директор,— нежные, как масло.

— Сколько ты съешь? — спросил Максик.

— С меня хватит одной,— ответил Эрих.— С картофельным салатом, если можно.

— Прекрасно. Значит, телячью отбивную для молодого человека,— повторил директор гостиницы.

— Не для какого-то молодого человека, а для меня,— поправил Эрих.

Роза Марципан поднялась с Максиком на лифте. Она крепко держала Маленького Человека обеими руками, нежно прижав его лицо к своей щеке.

— Он знает? — спросил Максик.

Роза кивнула.

— Уже целых пять минут. Только он не хочет спускаться.

Лифт остановился. Роза пошла по коридору. Постучала в дверь.

— Это мы!

Дверь открылась. Профессор протянул к ним навстречу руки.

— Проходите! — сказал он чуть хриплым голосом, словно был простужен.

Роза, смеясь, покачала головой.

— Не могу видеть плачущих мужчин. Через час я за вами зайду.

Она вручила Йокусу Маленького Человека, сделала реверанс и побежала к лифту.

Ровно через час она прижала ухо к двери. И не поверила этому уху: из комнаты слышались команды. Просунув голову в дверь, она увидела, что Максик тренируется на красавце Вольдемаре. Он старался что было сил.

— Быстрее, сынок! — командовал Йокус. — Проворней! Я гляжу, ты растолстел. Вот чего б я не хотел! А чего бы я хотел?

— Чтобы я не растолстел! — радостно рифмовал Максик, исчезая в Вольдемаровом галстук.

Узел вмиг развязался, и Максик вместе с галстуком, незаметно направляемый рукой Йокуса, исчез в левом внутреннем кармане куклы.

Красавец Вольдемар тупо смотрел перед собой, но ничего не чувствовал. Роза просунула голову в дверь.

— Bravo, артисты! — воскликнула она и захлопала в ладоши.

Эмма и Минна, обе голубки, прыгали взад-вперед по шкафу и восторженно хлопали крыльями.

— Еще два часа таких упражнений, и он обретет прежнюю форму, — удовлетворенно сказал Йокус. — В пятницу мы сможем выступить.

Максик высунулся из кармана профессора.

— Ваша милость, это невозможно! В пятницу я лечу с Отто и Бернгардом к сеньору Лопесу в Южную Америку!

Обед состоялся в Голубом салоне и понравился даже Эриху. Правда, когда дело дошло до отбивной, у него на глазах выступили слезы. Но этому была виной английская горчица, с которой он раньше не был знаком.

— Век живи, век учись, — сказал он, обмахивая язык салфеткой, как веером.

Йокус съел не четыре шницеля, а только два. Впрочем, обед и так затянулся. Потому что на Йокуса сразу свалилась куча дел: надо было обсудить с директором Грозоветтером предстоящее в пятницу представление. А тут еще беседы с репортерами, то и дело врывающимися в ресторан. И наконец, хотя и не в последнюю очередь, разговор с полицейским комиссаром Штейнбайсом, который с небольшим опозданием, но все же явился в гостиницу из Главного полицейского управления.

— А кто, собственно, получит объявленную мной наградой? — спросил профессор у полицейского комиссара.

— Эрих! — вмешался Максик. — Это ясно как день!

— Я? Почему же я? — возражал Эрих. — Если бы Максик меня не дразнил, я бы до сих пор сидел у окна и ничего не знал. Лучше уж послать деньги Отто в тюрьму. Вот кто на самом деле освободил Максика!

— По недосмотру, — сказал директор Грозоветтер. — Он пошел за валерьянкой. Только и всего.

— А я разве собирался его спасать? — спросил Эрих. — Я его хотел как следует отлупить, вот и все!

— Не отлупить, а стереть в порошок! — весело крикнул Максик. Он сидел на столе и уплетал торт, которым его кормила Роза.

Но комиссар отодвинул тарелку и решительно заявил:

— Маленький Человек обязан спасением только самому себе. Он был пленником и освободителем в одном лице. Докажите, что это не так, и с вашего позволения я тут же пойду в трубочисты.

Конечно, никто не захотел ему этого позволить, и всем опять стало весело. Максик превзошел самого себя. Он изображал лысого Отто: расхаживал пьяной походкой по столу между тарелками и чашками и повторял рассказ о сеньоре Лопесе, о его крепости в Южной Америке, о подземной картинной галерее, о цыганке, о личной охране сеньора, о его балете.

Единственный человек, который не все время смеялся, а только изредка усмехался, был полицейский комиссар Штейнбайс. Он застенографировал весь рассказ Максика, громко захлопнул блокнот и быстро распрощался со всеми.

— Придется продолжить допрос, — сказал он.

— С Лопесом даже Интерпол не может справиться! — крикнул ему вдогонку Максик. — Он слишком богат.

Комиссар, уже стоя в дверях, обернулся.

— Мал, да удал, — сказал он, не скрывая восхищения. — Хочешь стать моим ассистентом?

Максик отвесил элегантный поклон.

— Нет, господин комиссар, я был и останусь артистом.

Когда Эрих Шустрик стал раздеваться, чтобы лечь в постель, и повесил пиджак на спинку стула, он услышал,

как во внутреннем кармане зашуршала бумага. Он обнаружил в нем заполненный на его имя чек и произнес вслух:

— Вот это да!

Он сел на край постели.

К чеку была приложена записка. В ней было сказано:

Дорогой Эрих!

*Сердечное спасибо за помощь. Твои новые друзья
Максик и Йокус*

Число состояло из пяти цифр. И даже если это было бы самое маленькое из всех пятизначных чисел на свете, то и тогда оно составляло бы огромную сумму для мальчика, чей отец работал агентом по продаже мебели.

Кстати: назовите-ка самое маленькое пятизначное число?!

Когда Йокус с Максиком вернулись в свой номер, они обнаружили на ночном столике старую добрую спичечную коробку. Под ней лежала записка. В ней говорилось:

Дорогой Маленький Человек!

При сем, согласно твоему желанию, прилагается твоя кровать с Петушиной улицы. Мюллер Второй, инспектор уголовного розыска.

Максик, потирая руки, сказал:

— Ну, теперь у меня опять есть все, что надо.

Глава 22

Почему парадное представление затянулось на двадцать семь минут. Директор Грозоветтер оглашает три телеграммы. Эрих сердится. Полиция раскланивается. Выступление главных действующих лиц. Восторг без конца.
Конец

В пятницу директор Грозоветтер был, что называется, в ударе. Вечер пришелся ему по душе. Он бы с удовольствием надел на руки целых три пары белоснежных перчаток и два цилиндра. И понять его легко, потому



что о таком парадном зрелище можно только мечтать! В этих делах он знал толк.

Программа длилась на двадцать семь минут дольше обычного. Ни львы, ни слоны, ни артисты в этом неповинны. Все у них шло гладко.

А причин — две.

Во-первых, господин Грозозеттер огласил несколько важнейших поздравительных телеграмм, полученных Максиком. Три из них я запомнил. Гимнастический союз Пихельштейна в своей телеграмме писал:

МАКСИКУ ПИХЕЛЬШТЕЙНЕРУ

ЦИРК «СТИЛЬКЕ»

БЕРЛИН

ПИХЕЛЬШТЕЙН Т 13

ВЕРА И НАДЕЖДА СТОЯЛИ НА ПОДХВАТЕ КАК ПРИ
СОЛНЦЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СОСКОКОМ ТЧК БРАВО

ТЧК ГОРДИМСЯ ТОБОЙ ТЧК

ВСЕ ПИХЕЛЬШТЕЙНЕРЫ ИЗ ПИХЕЛЬШТЕЙНА

Вторая телеграмма была из королевства Бреганзона. Она особенно понравилась публике. Ведь королей-то те-

перь совсем мало осталось на земле! И они не так часто
подают признаки жизни.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕЛЕГРАММА
БРЕГАНЗОНА К 1435
МАКСИКУ ПИХЕЛЬШТЕЙНЕРУ
ЦИРК «СТИЛЬКЕ»
БЕРЛИН

ОЧЕНЬ ВОЛНОВАЛИСЬ ТЧК СНАЧАЛА ОТ СТРАХА ПОТОМ
ОТ РАДОСТИ ТЧК СПЕЦИАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ ЦЕПОЧКА ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ
СЛЕДУЕТ ЭКСПРЕССОМ ТЧК ОТДОХНИ БРЕГАНЗОНЕ ТЧК ПРЕЛЕСТНЫЙ
ЗАМОК ПРЕЛЕСТНЫЕ ЛЮДИ ТЧК ПРИВЕТЫ ПРОФЕССОРУ ИОКУСУ ТЧК
ТВОЙ КОРОЛЬ БИЛЕАМ ДОМОЧАДЦАМИ И ПОДДАННЫМИ

Третья телеграмма была из Голливуда. Киностудия
сообщала:

ГОЛЛИВУД
МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ЦИРК «СТИЛЬКЕ»
БЕРЛИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОХИЩЕНИЕМ И САМОСПАСЕНИЕМ ТЧК ВЕЛИКОЛЕПНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ ФИЛЬМА ТЧК ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПУТИ ТЧК
НАЧАЛЬНИК ЕВРОПЕЙСКОГО ОТДЕЛА ВСЕМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПРИБУДЕТ ПОНЕДЕЛЬНИК

А во-вторых, директор Грозоветтер до начала выступления Йокуса и Максика представил публике почетных гостей этого вечера. Их ложи были озарены лучами прожекторов.

Первым был представлен школьник Эрих Шустрик. Как только раздались аплодисменты, он начал раскланиваться, подняв руки над головой. Как борец, который только что победил знаменитого лесоруба из Миннесоты!

Потом Эрих послушно уселся между своими любимыми родителями.

— Не сутулься! — шепнула ему мать, толкнув его в спину. (Ну, это нам всем знакомо!)

Лицо Эриха омрачилось. Он подвинулся поближе к отцу и шепнул ему на ухо:

— Разве так обращаются со знаменитостями?

Тем временем снова раздались аплодисменты. Директор Грозоветтер представил команды трех полицейских машин, инспектора Мюллера Второго и, наконец, лично полицейского комиссара Штейнбайса.

Не успели стихнуть аплодисменты, как послышались громкие возгласы группы молодых людей, которые хором скандировали:

— Покажите лысого Отто и Бернгарда!

А так как все зрители читали газеты и слушали радио, то стены огромного шатра затряслись от смеха. Ведь каждый знал, что Отто и Бернгард сидят за решеткой и не могут быть показаны публике!

Но вот директор Грозоветтер поднял руку. Зал сразу затих, как перед бурей.

— Дамы и господа! — воскликнул директор Грозоветтер. — Наконец-то вы сами сможете увидеть и поздравить, восхититься и полюбоваться вашим, и нашим, и всеобщим любимцем, величайшим маленьким артистом в истории мирового цирка — им и его приемным отцом и воспитателем Йокусом фон Покусом, профессором и тайным советником прикладной магии. Овация — я знаю это наперед — будет беспрецедентной. Можете не беспокоиться! Если кто-нибудь при этом отобьет себе руки, он может после окончания представления получить в кассе пару новых рук.

Грозоветтер поднял правую руку. Так поднимает руку кавалерийский генерал, подавая сигнал к атаке. Потом он помчался вон с манежа галопом.

Оркестр исполнил туш. Это был самый настоящий металлический гром.

На манеж вышел подтянутый, гибкий и элегантный, как всегда, профессор Йокус фон Покус. На его вытянутой руке стоял Максик и, улыбаясь, приветствовал публику. Но что я могу еще добавить? Ведь у этой книги, в отличие от восторга публики, есть КОНЕЦ.



ЭМИЛЬ И СЫЩИКИ





Это еще не начало

Вам-то я могу откровенно признаться: историю про Эмиля и сыщиков я сочинил совершенно случайно. Дело в том, что я собирался написать совсем другую книгу. Книгу, в которой бы тигры от страха лязгали клыками, а с финиковых пальм так и сыпались кокосовые орехи. Ну и конечно, там была бы черно-белая в клеточку девочка каннибалка, и она бы вплавь пересекла Великий, или Тихий, океан, чтобы, добравшись до Сан-Франциско, получить в фирме «Дрингватер и компания» бесплатно зубную щетку. И звали бы эту девочку Петрозилья, но это, конечно, не фамилия, а имя.

Одним словом, я хотел написать настоящий приключенческий роман, потому что один бородатый господин сказал мне, что вы, ребята, больше всего на свете любите читать именно такие книги.

Три главы уже были совсем готовы. Я остановился как раз на том, как вождь по имени Великий Ворон, прозванный также Скороходом, скинул насаженное на лезвие своего перочинного ножика печеное яблоко и, сохраняя полное хладнокровие, быстро сосчитал до трехсот девяноста семи...

И вдруг все застопорилось, потому что я забыл, сколько ног у кита. Я тут же улегся на пол — а надо

вам сказать, что лучше всего я думаю, лежа на полу,— и принялся вспоминать, но так ничего и не вспомнил. Тогда я стал листать толковый словарь — сперва на букву «К», а потом, из добросовестности, на букву «Р» — «Рыба-кит», но про китовые ноги нигде не было сказано ни слова. А я не мог писать дальше, не зная точно, сколько у кита ног. Совершенно точно!

Дело в том, что если бы кит встал в то утро не с той ноги, то вождь по имени Великий Ворон, прозванный также Скороходом, никогда не встретился бы с ним в джунглях. А если бы он не повстречался с китом именно в тот момент, когда на лезвие его перочинного ножика было наколото печеное яблоко, то клетчатая каннибальская девочка, которую звали Петрозилья, никогда бы не увидела мойщицу бриллиантов фрау Леман, а не столкнись Петрозилья с фрау Леман, она никогда не получила бы драгоценного талона, по которому в Сан-Франциско фирма «Дрингватер и компания» бесплатно выдает совершенно новую зубную щетку, и тогда бы...

Короче говоря, мой приключенческий роман — а я так радовался, сочиняя его,— споткнулся, так сказать, о китовую ногу. Я был очень огорчен. А когда я рассказал об этом фрейлейн Фидельбоген, она пришла в такое отчаяние, что чуть не заплакала. Но плакать ей было некогда, потому что она как раз накрывала на стол к ужину, и она отложила слезы на потом, а потом забыла, что собиралась поплакать. Таковы женщины!

Книгу я хотел назвать «Петрозилья из джунглей». Мировое заглавие, верно? А теперь три готовые главы лежат у меня под ножкой письменного стола, чтобы он не шатался. Но разве это подходящее место для приключенческого романа, действие которого происходит не где-нибудь там, а в тропиках?

Старший официант Нитенфюр, с которым я иногда беседую о моей работе, спросил меня несколько дней спустя, бывал ли я когда-нибудь там.

— Где там? — не понял я.

— Ну, в этих самых тропиках, в южных морях, в Австралии, на Суматре, Борнео и тому подобном?

— Нет,— ответил я.— А почему вы спрашиваете?

— Потому что писать можно только о тех вещах, которые хорошо знаешь, которые видел собственными глазами.

— Но позвольте, любезнейший господин Нитенфюр...

— Да это же ясно, как дважды два,— сказал он.— У Нойгебауэров — они часто ходят к нам в ресторан — была прислуга, которая никогда не видела, как жарят птицу. И вот в прошлое рождество, когда ей велели приготовить гуся, хозяйка, вернувшись домой с покупками, застала такую картину: в духовке жарился гусь в том виде, как его купили на рынке. Неощипанный, неопаленный, невыпотрошенный. Ну и вонь стояла, доложу я вам!

— При чем это здесь? — удивился я.— Не станете же вы утверждать, что жарить гусей то же самое, что писать книги. Уж не обижайтесь на меня, дорогой Нитенфюр, но это же просто нелепо.

Он дал мне отсмеяться вволю, впрочем, смеялся я не так уж долго, и сказал:

— И тропическое море, и ваши каннибалы, и коралловые рифы, и вся прочая мурá — это ваш гусь. А роман ваш — это противень, на котором вы собираетесь зажарить и Тихий океан, и Петрозилью, и всех этих диких зверей. А если вы не знаете, как жарят такую дичь, то получится такая дичь, что стыда не оберешься. Точь-в-точь как у прислуги Нойгебауэров.

— Но именно так поступает большинство писателей! — воскликнул я.

— Приятного вам аппетита!

Вот и все, что он сказал мне в ответ.

Некоторое время я молчал и думал. Потом возобновил разговор:

— Господин Нитенфюр, вы знаете Шиллера?

— Шиллера? Вы имеете в виду того Шиллера, что работает управляющим на пивоваренном заводе?

— Нет! — говорю я.— Писателя Фридриха Шиллера, который больше ста лет тому назад написал уйму пьес.

— Ах, вот что! Того Шиллера, которому памятники ставят?

— Точно! Он сочинил драму, действие которой происходит в Швейцарии. Называется она «Вильгельм Телль». Раньше детей в школах всегда заставляли писать сочинение на эту тему...

— Мы тоже писали,— перебивает меня Нитенфюр.— Этого Телля я прекрасно знаю. Верно, мировая пьеска. Шиллер силен, ничего не скажешь. Что правда, то правда. Но писать сочинения — это просто ужасно. Одну тему я и посейчас помню: «Почему Вильгельм Телль не дрогнул, когда стрелял в яблоко?» Я получил тогда пару. Вообще, надо признаться, я никогда толком не умел...

— Дайте же мне закончить,— говорю я.— Так вот,

хотя Шиллер никогда не был в Швейцарии, в его пьесе «Вильгельм Телль» все — чистая правда, до мельчайших подробностей...

— А это потому,— возражает Нитенфюр,— что он предварительно прочел поваренные книги.

— Поваренные книги?

— Ну да. Поваренные книги по своей специальности. В них можно почерпнуть много полезного: и какой высоты горы в Швейцарии, и когда там тает снег, и как все было, когда крестьяне подняли восстание против губернатора Гестлера.

— Вы несомненно правы,— соглашаюсь я.— Шиллер все это конечно читал.

— Ну вот видите! — подхватывает Нитенфюр и убивает полотенцем муху.— Вот видите, если вы поступите, как Шиллер, и почитаете книги, то, может быть, вам и удастся дописать вашу историю про этих самых австралийских кенгуру.

— Нет, читать книги у меня нет никакой охоты. Были бы деньги, я бы съездил туда и посмотрел бы все сам на месте. А читать про это — нет...

— Тогда я дам вам один совет,— говорит он,— пишите о вещах, которые вы хорошо знаете. О метро, о гостиницах и о тому подобном, ну и о детях конечно, которые все время путаются у нас под ногами. Да и давно ли мы сами были детьми?

— Но ведь бородатый господин, этот крупнейший специалист по детям — он уверяет, что знает их как свои пять пальцев,— толковал мне, что все это их не интересует.

— Чушь! — бурчит господин Нитенфюр.— Уж мне-то вы можете поверить. В конце концов, у меня тоже есть дети: двое мальчишек и девочка. И в свободные дни я рассказываю им, что здесь, в ресторане, происходит. А у нас ведь дня не бывает без историй: то кого-нибудь обсчитают, то — вот недавно был случай — один подвыпивший посетитель размахнулся, чтобы дать затрещину парнишке, продающему сигареты, а вместо этого врезал по шее проходившей мимо элегантной даме. И ребята мои, скажу вам по секрету, слушают эти рассказы развесив уши.

— Вы в этом уверены, господин Нитенфюр? — спрашиваю я.

— Еще бы! Голову даю на отсечение! — восклицает он и убегает, потому что за соседним столиком какой-то господин стучит ножом о стакан, прося счет.

И вот только потому, что этого требовал старший официант Нитенфюр, я решил написать историю про то, что все мы — и вы, и я — очень хорошо знаем.

Я вернулся домой, уселся на подоконник и стал глядеть на Пражскую улицу в надежде, что как раз под моими окнами пройдет та История, которую я ищу. Тогда бы я ее окликнул и сказал: «Прошу вас, поднимитесь ко мне на минутку. Я так хочу вас написать!»

Но История все не шла и не шла, а я начал мерзнуть. Тогда я с раздражением захлопнул окно и пятьдесят три раза обежал вокруг письменного стола, но и это не помогло. Наконец, я, как в тот раз, улегся на пол и стал думать.

Когда вот так долго лежишь на полу, то мир выглядит совсем по-другому. Видишь ножки стульев, домашние туфли, цветы на ковре, пепел, пыль, тумбы письменного стола, а под диваном вдруг находишь перчатку с левой руки, которую позавчера тщетно искал в шкафу.

Итак, я с любопытством рассматривал свою комнату, глядел на все теперь не сверху вниз, а снизу вверх и с удивлением обнаружил, что у ножек стульев, оказывается, есть икры, да, настоящие тугие темные икры, словно это икры каких-нибудь негритят или школьников в коричневых гольфах.

И вот когда я стал пересчитывать ножки стульев, чтобы выяснить, сколько негритят или школьников в коричневых гольфах стоят на ковре, мне пришла в голову история про Эмиля. Быть может, потому, что я как раз думал о школьниках в коричневых гольфах, а быть может, потому, что фамилия Эмиля — Тышбайн, что в переводе на русский значит «ножка стола».

Но так или иначе, история про Эмиля пришла ко мне именно в тот момент. Я лежал на полу, боясь пошевелиться: ведь с мыслями и воспоминаниями, которые пытаешься приманить, надо вести себя, как с бездомными собаками. Стоит только сделать резкое движение, или заговорить с ними, или протянуть руку, чтобы погладить, как — гоп! — их и след простыл. А потом ищи-свищи!

Я лежал, значит, не двигаясь, и приветливо улыбался своей находке. Я хотел ее немножко приручить. И, представьте, она успокоилась. Стала доверчивей и даже отважилась сделать несколько шагов мне навстречу. Вот тут-то я и вцепился ей в загривок. И поймал.

Но, увы, только загривок. Пока, кроме загривка, мне ничего ухватить не удалось, потому что поймать соба-

ку — это совсем не то, что вспомнить какую-нибудь историю. С собакой дело просто: стоит схватить ее за шиворот, и ты ее держишь всю как есть — с лапами, с мордой, с хвостиком, ну и со всем остальным, конечно, а с воспоминаниями дело обстоит куда хитрее. Воспоминания ловят по частям. Сперва их хватаешь за вихры, потом ловишь левую переднюю лапу, потом — цап! — и вцепился в заднюю, и так постепенно одно за другим. И когда кажется, что вся история полностью собрана, вдруг, откуда ни возьмись, прилетает забытое ухо. И наконец — о счастье! — ты понимаешь, что все целиком у тебя в руках.

Я как-то видел в кино одну короткометражку, в которой изображено примерно то, что я сейчас описал. В комнате стоял мужчина в одной сорочке. Вдруг распахнулась дверь, и к нему прилетели брюки. Он их надел. Потом примчался левый башмак. Затем прискакала тросточка, за ней галстук. Потом воротничок, за ним влетел жилет, а следом — носок и другой башмак. Затем шляпа, пиджак и еще один носок. Потом появились очки. Просто бред какой-то! И все же в конце концов человек этот оказался одетым как надо, и все было на своем месте.

Точно то же происходило с моей историей, когда я лежал на полу, пересчитывая ножки стульев, и думал об Эмиле. И с вами, наверное, не раз такое случалось. Я лежал и ловил воспоминания, которые летели ко мне со всех сторон, как и положено воспоминаниям.

Наконец я все собрал воедино, и повесть была готова. Оставалось только сесть за письменный стол и приняться за работу.

Но перед тем как начать писать все подряд, я быстро записал все мои находки в том порядке, как они прилетали ко мне: сперва левый башмак, потом воротничок, потом тросточка, потом галстук, потом носок, ну и так далее...

Теперь мне хотелось бы, перед тем как рассказать эту историю, перечислить вам сперва тех персонажей, которые нахлынули на меня в тот вечер, когда я лежал на полу в своей комнате, — нахлынули и обрушили на меня множество отдельных эпизодов, событий и подробностей, из которых я и составил потом целое.

Быть может, вы окажетесь такими молодцами, что сами сумеете из всех этих элементов сложить связную историю, прежде чем я расскажу вам свою. Это как игра в кубики. Вам надо из набора строительного материа-



ла соорудить вокзал или там замок, не имея перед собой картинки, но с тем условием, чтобы все кубики — все до единого — были использованы.

Это что-то вроде экзамена.

Бр-р-р!

Но отметок ставить не будут.

Слава богу!

ВО-ПЕРВЫХ,
САМ ЭМИЛЬ

Итак, вот он, Эмиль. В темно-синем выходном костюмчике. Надевает он его неохотно, только когда заставляют. Ведь на синем костюме видны все пятна! И тогда мама Эмиля, зажав сына между коленями, чистит ему костюм влажной щеткой, приговаривая: «Эх, сынок, сынок, ты же знаешь, что я не могу купить тебе новый». И только тогда он вспоминает — как всегда, слишком поздно, — что мать день-деньской работает, чтобы заработать на хлеб и дать ему возможность учиться в реальном училище.

ВО-ВТОРЫХ,
ПАРИКМАХЕРША ФРАУ ТЫШБАЙН — МАТЬ ЭМИЛЯ

Когда Эмилю исполнилось пять лет, умер его отец, жестянщик, господин Тышбайн. И с тех пор мать Эмиля завивает щипцами волосы, делает прически и моет головы продащицам и другим женщинам, живущим по соседству. Кроме того, она готовит, убирает квартиру и даже с большой стиркой управляется сама. Она очень любит Эмиля и рада, что может работать и зарабатывать деньги. Иногда она поет веселые песенки, а иногда болеет, и тогда Эмиль сам делает яичницу для нее и для себя. Это он умеет. Жарить бифштексы он тоже умеет. В сухарях и с луком.

В-ТРЕТЬИХ,
НЕМАЛОВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ НАШЕГО РАССКАЗА —
КУПЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА

Поезд, в котором есть это купе, идет в Берлин. Забегая вперед, скажу вам, что в этом купе уже в ближайших главах будут происходить весьма удивительные события. Вообще странная штука такое вот купе. Совершенно чужие люди сидят здесь рядышком, и за несколько часов они успевают столько порассказать друг другу, словно знакомы уже долгие годы. Иногда это очень мило и вполне уместно. А иногда — вовсе нет. Ведь никто не знает, что за люди ваши попутчики.

В-ЧЕТВЕРТЫХ,
ГОСПОДИН В КОТЕЛКЕ

Кто он — неизвестно. Правда, считается, что о людях нельзя плохо думать, пока не убедишься, что они того заслуживают. И все же я попрошу вас быть в этом отношении крайне осторожными, ибо, как говорится, не зная броду, не суйся в воду. Нас учат, что всякий человек хороший. Что ж, вероятно, так оно и есть, но этому хорошему человеку не все должно сходить с рук, иначе может случиться, что он станет плохим.

В-ПЯТЫХ,
ПОНИ-ШАПОЧКА, КУЗИНА ЭМИЛЯ

Эта девочка на детском велосипеде — берлинская кузина Эмиля. Кое-кто считает, что надо говорить не кузина, а двоюродная сестра. Уж не знаю, как говорят у вас дома. Но лично я зову своих кузин кузинами, а не двоюродными сестрами. И в семье Тышбайнов их тоже

так зовут. Но кому это не нравится, может зачеркнуть иностранное слово «кузина» и написать сверху «двоюродная сестра». Из-за такой чепухи мы с вами ссориться не будем. А в остальном Пони-Шапочка очень милая девчонка, и зовут ее, конечно, совсем по-другому. Ее мать — родная сестра фрау Тышбайн. А Пони-Шапочка, как вы уже догадались, — это прозвище.

В-ШЕСТЫХ,
ГОСТИНИЦА НА ПЛОЩАДИ НОЛЛЕНДОРФ

Есть в Берлине площадь Ноллендорф, и на этой площади, если не ошибаюсь, находится гостиница, где встретятся некоторые герои этой истории, но они не подадут друг другу руки. Впрочем, не исключено, что эта гостиница находится на площади Фербелинер. По правде сказать, я-то точно знаю, где она находится, но хозяин этой гостиницы, как только он услышал, что я собираюсь написать книгу про Эмиля и сыщиков, прибежал ко мне и стал просить не называть ее адреса. Если станет известно, что в его гостинице останавливались «такие» типы, сказал он, то это создаст ей дурную славу. С этим я не мог не согласиться. И хозяин гостиницы ушел, несколько успокоившись.

В-СЕДЬМЫХ,
МАЛЬЧИШКА С КЛАКСОНОМ

Зовут его Густав. И по физкультуре у него всегда пятерка. Чем он еще может похвастаться? Довольно добрым сердцем и автомобильным клаксоном. Густава знают не только все ребята с его улицы, но и с соседних улиц тоже, и он всеми командует. Когда он обегает дворы и жмет на грушу клаксона так, что она ревет, будто сирена, все мальчишки бросают свои дела и мчатся вниз по лестницам, чтобы узнать, что случилось. Обычно он всего лишь набирает две футбольные команды, и ребята отправляются гурьбой на пустырь стучать мячиком. Но иногда клаксон служит и для других целей. Вот как, например, в истории с Эмилем.

В-ВОСЬМЫХ,
ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА

Во всех районах города большие банки имеют свои отделения. Там можно — конечно, если есть деньги,—

купить акции и получить деньги наличными, конечно, если есть текущий счет. Часто туда прибегают ученики продавцов, чтобы разменять деньги по поручению кассирши, у которой нет мелочи, чтобы давать сдачу. Вместо одной бумажки в десять марок они получают сто десятипфенниговых монет. Там можно также обменять иностранную валюту — доллары, швейцарские франки или итальянские лиры — на немецкие марки. Даже ночью люди иногда посещают банк, несмотря на то что он закрыт на замок. Поэтому им приходится, так сказать, заниматься самообслуживанием.

В-ДЕВЯТЫХ,
БАБУШКА ЭМИЛЯ

Это самая прекрасная бабушка из всех бабушек, которых я знал, хотя всю свою жизнь она провела в заботах и хлопотах. Просто есть на свете люди, которым не составляет ни малейшего труда быть веселыми. А для других, напротив, это тяжелая, мучительная работа. Прежде бабушка Эмиля жила вместе с ним, а когда умер жестянщик Тышбайн, отец Эмиля, ей пришлось переехать в Берлин к другим своим дочерям, потому что мама Эмиля зарабатывает слишком мало, чтобы прокормить троих. И вот теперь бабушка живет в Берлине, и каждое письмо, которое она пишет Эмилю и его маме, она заканчивает одной и той же фразой: «У меня все хорошо, чего и вам желаю».

В-ДЕСЯТЫХ,
ТИПОГРАФИЯ БОЛЬШОЙ ГАЗЕТЫ

В газетах пишут обо всем, что происходит. Но, конечно, только если это что-то хоть немножко из ряда вон выходящее. Когда рождается теленок с четырьмя ногами, это никого не интересует. А вот если у него пять или шесть ног, что иногда случается, то взрослые охотно читают про это за завтраком. Если господин Мюллер честный малый, то до него никому нет решительно никакого дела. Но вот если он разбавляет водой молоко и продает эту бурду за сливки, то о нем напишут в газете. Напишут, как бы он ни протестовал. Вы проходили когда-нибудь мимо типографии, где печатаются газеты? Там все гудит, звенит, стучит так, что стены дрожат.

НУ, А ТЕПЕРЬ
НАЧНЕМ, НАКОНЕЦ, НАШ РАССКАЗ

Глава первая

ЭМИЛЬ ПОМОГАЕТ МЫТЬ ГОЛОВУ

— А ну-ка,— сказала фрау Тышбайн,— возьми этот кувшин с горячей водой.

Сама она взяла другой кувшин и синий флакон с шампунем и направилась из кухни в комнату. Эмиль схватил кувшин и поспешил за матерью.

В комнате, наклонившись над белым тазом, сидела женщина. Ее волосы были распущены и свисали, закрывая лицо, словно охапка нечесаной шерсти. Мама Эмиля полила эту белокурую копну шампунем и так энергично принялась тереть чужую голову, что сразу же взбилась пена.

— Не горячо? — спросила она.

— Терпеть можно,— ответила голова.

Ах, да ведь это жена булочника, фрау Вирт!

— Здравствуйте, фрау Вирт,— сказал Эмиль и поставил кувшин под туалетный столик.

— Тебе повезло, Эмиль, я слышала, ты едешь в Берлин,— раздалось из-под намыленных волос, и голос звучал так, словно говорившую окунули в сбитые сливки.

— Правда, сперва он не хотел ехать,— сказала мама, не переставая тереть голову фрау Вирт.— Ну а чего мальчишке здесь зря болтаться во время каникул? В Берлине он никогда не был, а моя сестра Марта нас уже давно приглашает. Ее муж зарабатывает вполне прилично, он служит на почте. Я, конечно, ехать никак не могу. Под праздники у меня самая работа. Да он уже не маленький, сам доедет, а в Берлине на вокзале Фридрихштрассе его встретит бабушка. Она будет его ждать у цветочного киоска, чтобы с ним не разминуться.

— Берлин ему понравится. Детям там интересно. Мой муж ездил туда полтора года назад на соревнование по игре в кегли, и я с ним. Ну и сутолока! Там есть улицы, где ночью светлее, чем днем. А машин сколько!..— бубнила фрау Вирт из глубины таза.

— Заграничных машин много? — спросил Эмиль.

— А почему я знаю,— сказала фрау Вирт и чихнула, потому что мыльная пена попала ей в нос.

— Ну а теперь походи переоденься, да поживей,— поторопила его мама.— Я все тебе приготовила. Выходной костюм лежит на кровати. Уже время собираться в путь. Как только я причешу фрау Вирт, мы будем обедать.

— А какую надеть рубашку? — осведомился Эмиль.

— Все лежит на кровати. Носки смотри не порви. Да не забудь сперва как следует помыться. И вдень, пожалуйста, новые шнурки в ботинки. Ну, иди — и не возись, слышишь!

— Ага,— подтвердил Эмиль и исчез.

Когда с прической было покончено и фрау Вирт, с удовлетворением бросив взгляд в зеркало, наконец удалась, мама открыла дверь в спальню и увидела, что Эмиль с несчастным видом мечется по комнате.

— Скажи мне, пожалуйста, кто выдумал все эти выходные костюмы?

— Не знаю. А что?

— Укажи мне на этого типа, и я его убью.

— Ах ты, бедняжка! Как мне тебе не посочувствовать? Другие ребята огорчаются, что у них нет приличного костюма, а ты... Но, конечно, у каждого свои заботы... Да, чтоб не забыть: обязательно попроси у тети Марты вечером плечики и аккуратно повесь на них костюм. А перед тем вычисти его как следует щеткой, слышишь? Смотри только не забудь! Ну а завтра, уж ладно, можешь снова влезть в твой любимый старый свитер. Как будто все? Чемодан твой я сложила, цветы для тети Марты в бумагу завернула. Деньги для бабушки я дам тебе в последнюю минуту. Что ж, давай обедать. Разрешите вас пригласить к столу, молодой человек!

Фрау Тышбайн обняла сына за плечи и повела его в кухню. К обеду были макароны с тертым сыром и ветчина. Эмиль уплетал за двоих и лишь изредка вопросительно поглядывал на маму, словно желая убедиться, не обижена ли она тем, что он ест с таким аппетитом, несмотря на предстоящую разлуку.

— Как только приедешь, сразу же напишешь открытку. Я ее положила в чемодан, прямо сверху.

— Слушаюсь,— сказал Эмиль и поспешно, стараясь не привлечь внимание мамы, смахнул со штанины макароны. К счастью, мать ничего не заметила.

— Всем передай от меня привет. И смотри не зевай там на улице. Берлин — это не Нейштадт. В воскресенье дядя Роберт поведет тебя в музей кайзера Фридриха. Так ты води себя хорошо, чтобы потом не говорили, что здесь, в провинции, дети невоспитанны и не знают приличий.

— Все будет как надо, даю тебе честное слово,— пообещал Эмиль.

Пообедав, они вернулись в спальню. И тогда мама

вынула из шкафа жестяную коробочку, в которой лежали деньги, и стала их считать. Потом она покачала головой и снова пересчитала.

— Кто приходил ко мне вчера? — спросила она.

— Фрейлейн Томас и фрау Хомбург, — ответил Эмиль.

— Да, верно. Но все равно не сходится, — сокрушенно сказала мама и опять погрузилась в какие-то расчеты.

Она достала бумажку, на которой записывала, сколько кто заплатил, опять стала что-то высчитывать и в конце концов объявила:

— Не хватает восьми марок.

— Да ведь сегодня утром приходил газовщик.

— Забыла! Тогда, увы, все сходится!

Мама даже свистнула с досады и вынула из жестяной коробочки три купюры.

— Послушай, Эмиль! — сказала она. — Вот тебе сто сорок марок. Смотри, три бумажки: одна стомарковая и две по двадцать. Сто двадцать марок ты отдашь бабушке и скажешь, чтобы она не сердилась, что я в тот месяц ничего ей не послала, иначе мне бы не свести концы с концами. Зато теперь ты сам привез ей деньги, и даже больше, чем обычно. И крепко поцелуй ее. Понял? У тебя останется двадцать марок. Когда придет время возвращаться домой, ты купишь себе билет на поезд. Это будет стоить около десяти марок. Точно не знаю. А остальные деньги ты истратишь на то, чтобы платить за себя, когда вы будете куда-нибудь ходить. Да и вообще не мешает иметь в кармане две-три марки на всякий случай. Вот в этот конверт от письма тети Марты я вложу деньги. Смотри не потеряй. Куда ты его спрячешь?

Мама положила три купюры в аккуратно вскрытый конверт, затем сложила его пополам и протянула Эмилю.

Эмиль подумал и сунул конверт с деньгами в правый внутренний карман, на самое дно. Потом для проверки похлопал по пиджаку в том месте, где был карман, и сказал уверенно:

— Теперь они никуда не денутся.

— Ты только никому в поезде не рассказывай, что везешь столько денег.

— Ну что ты, мамочка!

Эмиль был просто оскорблен, что мать может заподозрить его в такой глупости! Фрау Тышбайн положила несколько марок в свой кошелек и поставила жестяную коробочку назад, в шкаф. Затем она еще раз пробежала

глазами письмо сестры, где было указано время отправления и прибытия поезда, которым Эмиль должен ехать в Берлин.

Некоторым из вас, возможно, покажется, что сто марок не стоят того долгого разговора, который затеяла из-за них парикмахерша Тышбайн со своим сыном. И в самом деле, когда кто-нибудь зарабатывает две тысячи, или двадцать тысяч, или сто тысяч марок в месяц, то ему незачем так долго говорить о ста сорока марках.

Но имейте в виду, если вы этого не знаете, что большинство людей зарабатывает куда меньше. И когда ты получаешь в неделю не больше тридцати пяти марок, то сто марок, сэкономленные с большим трудом, — сумма огромная. Нравится вам это или нет, но это так. Для очень, очень многих людей сто сорок марок — это все равно что миллион, и мысленно они пишут эту цифру с пятью нулями. А что такое миллион на самом деле, они даже и во сне представить себе не могут.

Как вы знаете, отца у Эмиля не было, и мама его трудилась не покладая рук, завивала блондинок и брюнеток, мыла им головы, чтобы заработать на жизнь и заплатить за квартиру, за газ, за уголь, чтобы купить одежду и учебники для Эмиля и внести плату за его обучение. Иногда она болела, тогда приходил доктор и прописывал лекарства. В такие дни Эмиль ставил маме компрессы и сам варил обед. А когда мама спала, он даже мыл пол, чтобы мама не сказала: «Придется мне встать, а то такая грязь в квартире».

Можете вы это понять? И не будете вы теперь смеяться, если я вам скажу, что Эмиль во всех отношениях образцовый мальчик. Видите ли, он просто любит свою маму и умер бы со стыда, если бы бил баклуши, когда она работает, не щадя себя, и экономит буквально каждый пфенниг. Вот почему он не может пойти в школу, не выучив уроков, или списать задачку, скажем, у Рихарда Неймана. Или прогулять при случае занятия. Он видит, как мама выбивается из сил, чтобы у него было все, что есть у других реалистов. Разве можно в ответ ее обманывать и огорчать?

Итак, Эмиль был, что называется, образцовым мальчиком. Это так. Но не подумайте, что он из той породы пай-мальчиков, которые ведут себя образцово из трусости, из жадности или из стариковской рассудительности. Он был образцовый потому, что хотел быть образцовым! Он принял такое решение, как принимают решение не ходить больше в кино или не есть конфет. И хотя

он и принял такое решение, выполнять его ему часто бывало очень трудно.

Но когда в конце учебного года он приходил домой и говорил: «Мама, вот мой табель. Я опять первый в классе», он был счастлив. Похвалам, которые он слышал в школе, да и не только в школе, он радовался не из-за себя, а из-за матери, потому что ей было приятно, когда его хвалили. Он гордился, что может хоть как-то отплатить ей за все, что она, не зная усталости, делала всю свою жизнь для него...

— Ой! — воскликнула мама. — Нам пора выходить. Уже четверть второго. А поезд уходит без пяти минут два.

— Что ж, пошли, фрау Тышбайн, — сказал Эмиль матери шутливым тоном, — но имейте в виду: чемодан я понесу сам!

Глава вторая

СЕРЖАНТ ЙЕШКЕ МОЛЧИТ

Когда они вышли из дому, мама сказала:

— Если подойдет конка, давай сядем и доедем до вокзала.

Знает ли кто-нибудь из вас, как выглядит конка? Она как раз выехала в эту минуту из-за угла и остановилась, потому что Эмиль махнул рукой. Я воспользуюсь этим, чтобы вам ее быстро описать, пока она не покатила дальше.

Конка — это прежде всего совершенно невероятная штука. Представьте, она катится по рельсам, как настоящий взрослый трамвай, и вагоны у нее как у трамвая, но тащит ее не мотор, а лошадь. По мнению Эмиля и его друзей, эта кляча была позором для их родного города, и они мечтали о настоящем трамвае, который приводил бы в движение электрический ток, о трамвае с пятью прожекторами спереди и тремя сзади. Однако городской совет Нейштадта считал, что для их четырехкилометровой линии вполне достаточно одной живой лошадиной силы. Так что об электрическом моторе пока и речи не было, и вожатый не нажимал на рычаг, а дергал левой рукой за вожжи, а правой помахивал кнутом. Эй, пошла, пошла!

И если кто-нибудь жил, скажем, на Магистратной улице, 12, и хотел сойти у своего дома, он просто-напро-

сто стучал вожатому в стекло, и тогда тот кричал: «Тпру!» — лошадь останавливалась, и пассажир сходил, где ему надо, хотя трамвайная остановка была расположена у дома 30 или там 46. Но нейштадтский трамвай не считался с официальными остановками. У трамвая времени было хоть отбавляй. Лошадь никуда не торопилась. И вожатый тоже. А жители города Нейштадта и подавно. Если же кто-нибудь случаем и в самом деле спешил, то он шел пешком...

На Вокзальной площади фрау Тышбайн и ее сын сошли. И пока Эмиль стаскивал с площадки свой чемодан, он вдруг услышал, как за его спиной прогудел густой бас:

— Что, в Швейцарию отправляетесь?

Голос этот принадлежал полицейскому сержанту Йешке. Мать ответила:

— Нет, мой мальчик едет на неделю в Берлин, к родным.

А у Эмиля прямо в глазах потемнело. Потому что совесть у него была не чиста. Дело в том, что на днях он вместе с товарищами — их было человек двенадцать — отправились после урока физкультуры к памятнику великого герцога, прозванного Кривошеем Карлом, и нахлобучили на его лысую голову старую фетровую шляпу. А потом ребята уговорили Эмиля, потому что он рисовал лучше всех, взобраться на пьедестал и намалевать великому герцогу красный нос и черные как смола усы. И в самый разгар его вдохновенной работы на углу Базарной площади появился сержант Йешке! Ребята не растерялись — их словно ветром сдуло. Тем не менее они опасались, что сержант их узнал.

Однако Йешке ничего не сказал про тот случай, даже, напротив, приветливо пожелал Эмилю доброго пути и осведомился, как идут дела у фрау Тышбайн.

Но все же Эмилю было как-то не по себе. И пока он тащил свой чемодан по площади к зданию вокзала, у него от страха дрожали колени. Он все ждал, что Йешке вдруг закричит ему вслед: «Эмиль Тышбайн, ты арестован. Руки вверх!» Но этого не произошло. Может быть, сержант просто ждет возвращения Эмиля из Берлина?

Потом мама купила в кассе железнодорожный билет для Эмиля — конечно, жесткий, — а для себя перронный. И они вышли на первый перрон — да, да, в Нейштадте целых четыре перрона! — и стали ждать поезда в Берлин. Он должен был прибыть через несколько минут.

— Смотри не забудь ничего в купе! И не сядь по рассеянности на букет! Чемодан надо поставить на багажную полку,— попроси кого-нибудь, тебе помогут. Только повежливей, пожалуйста!

— Чемодан я сам смогу поставить. Что, я девчонка, что ли?

— Ладно, ладно. Не прозевай своей остановки. В Берлин ты приедешь в 18.17. Слезть тебе надо на Фридрихштрассе. Смотри не сойди раньше, у зоопарка или еще где.

— Не тревожьтесь понапрасну, мадам!

— Пожалуйста, не вздумай разговаривать с чужими таким дерзким тоном! И еще — не бросай бумагу, в которую я завернула тебе бутерброды с колбасой, на пол. А главное — не потеряй деньги!

Эмиль в ужасе ощупывает свой пиджачок там, где находится правый боковой карман, облегченно переводит дух и говорит:

— Пока идем без потерь.

Он берет мать под руку и прогуливается с ней вдоль перрона.

— Не работай слишком много, мамочка! И не болей! А то ведь некому будет за тобой ухаживать. Если ты заболеешь, я тут же сяду на самолет и прилечу домой. И ты мне тоже пиши. Я проживу в Берлине не больше недели, так и знай.

Эмиль крепко обнял маму. Она чмокнула его в нос.

И тут как раз с ревом и грохотом прибыл поезд. Эмиль еще раз обнял маму и, схватив чемодан, полез в вагон. Мама протянула ему букет и сверток с бутербродами. Потом спросила, есть ли свободное место. Он кивнул в ответ.

— Итак, сойдешь на Фридрихштрассе!

Он кивнул.

— И води себя как следует, разбойник!

Он кивнул.

— И не обижай Пони-Шапочку. Вы небось уж и не узнаете друг друга.

Он кивнул.

— И пиши мне.

— И ты мне тоже.

Разговор этот, наверно, никогда бы не кончился, если бы не было расписания поездов. Вдоль состава прошел начальник поезда, крича: «По вагонам! По вагонам!» Защелкали дверцы купе. Двинулись рычаги паровоза, и поезд тронулся.

Мама еще долго стояла на перроне и махала платком. Потом она медленно повернулась и пошла домой. А так как платок у нее все равно уже был в руке, она малость всплакнула.

Но только самую малость, потому что дома ее уже ждала жена мясника фрау Густина, которой надо было помыть голову и уложить волосы.

Глава третья

ЭМИЛЬ ЕДЕТ В БЕРЛИН

Войдя в купе, Эмиль снял свою школьную фуражку, поклонился и сказал:

— Добрый день, господа. Не найдется ли здесь для меня местечка?

Местечко, конечно, нашлось. А полная дама, которая уже успела скинуть с левой ноги туфлю, потому что она ей жала, сказала своему соседу, господину, дышавшему с присвистом:

— Теперь нечасто встретишь таких воспитанных детей. Я вот вспоминаю свою молодость. О боже, тогда все было по-другому.

Говоря это, она шевелила затекшими пальцами левой ноги. Эмиль с интересом следил за этими гимнастическими упражнениями. А сосед ее так тяжело дышал, что едва смог одобрительно кивнуть.

Эмиль давно уже знал, что есть такие люди, которые по любому поводу вздыхают: «О боже, насколько прежде все было лучше!» И если кто-нибудь при нем говорил, что прежде и воздух был лучше, и рога у быков длиннее, он пропускал это мимо ушей. Ведь в большинстве случаев это неправда, а такие люди просто ворчунны, которые цепляются за любой повод, лишь бы быть недовольными, потому что они ни за что не хотят быть довольными.

Эмиль ощупал для верности правый карман своего пиджачка и, услышав, как шуршит заветный конверт, вздохнул свободно. К тому же пассажиры, сидящие в купе, вызвали доверие, так как не походили ни на разбойников с большой дороги, ни на убийц. Рядом со стариком, дышавшим с присвистом, сидела женщина и вязала крючком шаль, а у окна сосед Эмиля, господин в черном котелке, читал газету.



Вдруг господин в котелке оторвался от чтения, вынул из кармана плиточку шоколада, отломил кусочек и пропихнул мальчику:

— Ну, как жизнь, молодой человек?

— У меня каникулы,— ответил Эмиль и взял шоколад.

Потом он поспешно вскочил, сорвал с головы фуражку, поклонился и представился:

— Меня зовут Эмиль Тышбайн.

Все в купе засмеялись. Господин в свою очередь приподнял котелок и произнес:

— Очень приятно. Грундайс.

Потом толстая женщина, сидевшая без левой туфли, сказала:

— Скажи-ка, живет ли еще в Нейштадте господин Курцхальц, владелец магазина готового платья?

— Конечно, живет,— обрадовался Эмиль.— Вы что, не знаете? Он недавно купил земельный участок возле магазина.

— Смотри-ка! Передай ему привет от фрау Якоб из Гросс-Грюнау.

— Так я же еду в Берлин!

— Это не к спеху: передашь, когда вернешься,— сказала фрау Якоб, снова зашевелила пальцами и принялась так хохотать, что шляпа съехала ей на лоб.

— Значит, ты едешь в Берлин? — спросил господин Грундайс.

— Ага. Бабушка будет ждать меня у цветочного киоска на вокзале Фридрихштрассе,— ответил Эмиль и снова ощупал конверт. Слава богу, конверт по-прежнему шуршал.

— Ты уже бывал в Берлине?

— Нет.

— Ну, ты будешь поражен! В Берлине есть дома в сто этажей, а крыши привязывают к небу, чтобы их не сдуло ветром... А если кому-нибудь нужно поскорее попасть в другой конец города, он бежит на почту, там его запаковывают в ящик и сжатым воздухом гонят по трубе, как пневматическое письмо, в то почтовое отделение, куда ему надо... А если у человека нет денег, он отправляется в банк и, оставив в залог свой мозг, получает там тысячу марок. А, как известно, человек может прожить без мозга только два дня. Чтобы получить свой мозг назад, он должен вернуть банку уже не тысячу, а тысячу двести марок. Теперь изобрели такие новые медицинские аппараты...

— Видно, вы как раз и заложили свой мозг в банке,— прервал его свистящий старик и добавил: — Перестаньте болтать глупости.

Толстая фрау Якоб так перепугалась, что уже не шевелила пальцами левой ноги, и даже дама, вязавшая шаль, перестала вязать.

Эмиль принужденно улыбнулся. Мужчины стали выяснять отношения. Эмиль подумал: «Так просто меня не купишь!» — и развернул пакет с бутербродами, хотя только что пообедал. Когда он справился с третьим бутербродом, поезд остановился на какой-то большой станции. Но названия он не увидел, а что прокричал кондуктор, не расслышал. Там сошли свистящий старик, дама с вязанием и фрау Якоб из Гросс-Грюнау. Правда, она чуть не проехала, потому что никак не могла всунуть левую ногу в туфлю.

— Так не забудь передать привет господину Курцхальцу,— повторила она на прощание.

Эмиль кивнул.

И он оказался в купе вдвоем с господином в котелке. Эмиль был от этого не в восторге. Человек, который раздает шоколад и рассказывает всякие небылицы, доверия не вызывает. Эмилю захотелось снова потрогать конверт. Но он не решился этого сделать, а подождал, пока поезд тронулся, пошел в туалет, вынул там конверт из кармана, пересчитал деньги — все сто сорок марок были в целости и сохранности — и стал думать, как же быть. Наконец он придумал. Он взял булавку, которую нашел в лацкане пиджачка, проткнул ее сквозь все три купюры, сквозь конверт, а потом и сквозь подкладку кармана. Он, так сказать, пригвоздил к себе деньги. «Теперь уже ничего не может случиться», — решил он и вернулся в купе.

Господин Грундайс, уютно расположившись в углу, спал. Эмиль обрадовался, что ему не надо поддерживать разговор, и стал глядеть в окно. Мимо проносились деревья, ветряные мельницы, поля, фабрики, стада коров, крестьяне, махавшие вслед поезду. Очень интересно было наблюдать, как все проплывало перед глазами, словно вертелась пластинка. Но нельзя же часами смотреть в окно!

Господин Грундайс продолжал спать и даже слегка похрапывал. Эмиль охотно походил бы взад-вперед по купе, но боялся разбудить своего попутчика — меньше всего на свете он хотел, чтобы тот проснулся. Поэтому он забился в противоположный угол и стал глядеть на спящего. Интересно, почему он не снял котелок? У него было длинное лицо, тонкие черные усики, тысяча морщинок вокруг рта, острые оттопыренные уши.

Ой! Эмиль вздрогнул и испугался не на шутку. Он чуть было не заснул! Спать ему нельзя ни при каких обстоятельствах. Хоть бы еще кто-нибудь вошел к ним в купе! Поезд несколько раз останавливался, но, как назло, никто не садился. А было всего четыре часа, ехать предстояло еще целых два часа. Он ущипнул себя за ногу... В школе, на уроках истории у господина Бремвера, это всегда помогало.

И сейчас это сработало на некоторое время. Эмиль старался себе представить, как теперь выглядит Пони-Шапочка. Но он не мог вспомнить ее лица. Он помнил только, что, когда она вместе с бабушкой и тетей Мартой приезжала в последний раз в Нейштадт, она все хотела с ним боксировать. Он, конечно, не соглашался, потому что она в весе пера, а он уж никак не меньше полуперого. Это было бы просто неприлично с его сто-

роны, сказал он ей тогда. Если он как следует двинет ей апперкотом по скуле, она в стену врежется. Но она отстала от него, только когда вмешалась тетя Марта.

Ой-ёй! Он чуть было не свалился с сиденья. Опять заснул? Он все щипал и щипал себя за ногу. Небось нога уже вся в синяках. И все же это не помогало.

Попробовал считать пуговицы. Сперва сверху вниз, а потом снизу вверх. Сверху вниз он насчитал двадцать три штуки, а снизу вверх — двадцать четыре. Он откинулся на спинку сиденья и стал думать, почему получается по-разному. И вот тут он заснул.

Глава четвертая

СОН, В КОТОРОМ МНОГО БЕГОТНИ

Вдруг Эмилю показалось, что их поезд мчится по кругу, как игрушечный поезд по кольцу рельсов на полу комнаты. Он глядел в окно и не переставал удивляться. Круг все сужался. Расстояние между паровозом и последним вагоном быстро уменьшалось, причем паровоз явно все время убыстрял ход. Поезд кружился вокруг себя, словно собака, которая норовит укунить себя за хвост. А в черном кругу, очерченном мчавшимся поездом, стояли деревья, стеклянная мельница и огромный дом в двести этажей.

Эмиль захотел узнать, который час, и полез в карман, чтобы вытащить часы. Он их все тащил и тащил, но никак не мог вытащить, а в конце концов у него в руках оказались стенные часы из маминой комнаты. Он поглядел на циферблат и прочел: «185 часов километров. Плевать на пол опасно для жизни». Он снова кинул взгляд в окно. Паровоз уже совсем догонял хвостовой вагон. Эмиль очень испугался. Ведь если паровоз наскочит на этот вагон, произойдет крушение. Это ясно, как дважды два. Эмиль не собирался сидеть сложа руки и ждать несчастного случая. Он выскочил из купе и побежал по проходу. Может, машинист просто заснул? По дороге он заглядывал в другие купе. Нигде ни души. Поезд был пуст. Кроме него, там ехал только еще один пассажир в котелке из шоколада; он отломил на глазах у Эмиля кусочек и тут же его съел. Эмиль постучал к нему в купе и молча указал на паровоз, но человек в шоколадном котелке только рассмеялся, отломил еще ку-

сочек и стал себя гладить по животу — так ему было вкусно.

Наконец Эмиль добрался до тендера, потом ловко подтянулся и залез на паровоз к машинисту. Машинист сидел почему-то на козлах; в одной руке он держал вожжи, другой помахивал кнутом, словно в паровоз была запряжена лошадь. Эмиль поглядел: так оно и оказалось, причем не одна лошадь, а целых шесть пар! На копытах у всех были серебряные ролики, они катились на них по рельсам и пели:

Надо мне, надо мне в городок попасть.

Эмиль схватил возницу за плечо и закричал: «Придержите лошадей. Не то случится несчастье!» И тут он увидел, что возницей был не кто иной, как господин сержант Йешке.

Йешке окинул Эмиля пронизательным взглядом и завопил:

«Кто был тогда с тобой? Кто размалевал великого герцога Карла?»

«Я», — ответил Эмиль.

«А еще кто?»

«Не скажу!»

«Тогда будем дальше мчаться по кругу».

И сержант Йешке так ударил кнутом, что лошади встали на дыбы и понесли, уже совсем догоняя хвостовой вагон. А в том вагоне сидела, оказывается, фрау Якоб, размахивала снятой с ноги туфлей и умирала от страха, потому что лошади вот-вот могли схватить ее за разутую ногу.

«Я дам вам двадцать марок, господин сержант!» — крикнул Эмиль.

«Не болтай глупости!» — заорал на него Йешке и пуще прежнего стал погонять лошадей.

Эмиль не выдержал и выпрыгнул на ходу с поезда. Он покатился по откосу и перекувырнулся двадцать раз через голову, но ничего себе не повредил. Он встал на ноги и поглядел на поезд. Поезд остановился, и все двенадцать лошадей повернули головы в сторону Эмиля. Сержант Йешке привстал на козлах; он нещадно бил лошадей и орал, погоняя их:

«Эй, пошли, пошли! За ним!»

И тогда все двенадцать лошадей соскочили с рельсов и помчались на Эмиля, а вагоны запрыгали следом, словно резиновые мячики.

Эмиль недолго думая пустился наутек. Он бежал что

было духу по лужайке, мимо деревьев, через ручей прямо к небоскребу. Иногда он оборачивался: поезд мчался за ним по пятам, сметая все на своем пути. Только один огромный дуб стоял невредимый, а на него влезла толстая фрау Якоб; она сидела на ветке на самой верхушке, ветер раскачивал ее, она плакала и никак не могла застегнуть свою новую туфлю. Эмиль кинулся дальше.

В доме в двести этажей были большие черные ворота. Он вбежал в них и выбежал с другого конца. Поезд по-прежнему мчался за ним. Эмилю больше всего на свете хотелось забиться в уголок и уснуть, потому что он ужасно устал и у него тряслись все поджилки. Но ему нельзя было спать! Поезд уже въехал в ворота дома.

Тут Эмиль увидел железную лестницу. Она шла вдоль всего дома до самой крыши. И он полез по ней. К счастью, он был хорошим гимнастом. Он лез и считал этажи. На пятидесятом этаже он отважился обернуться. Огромный дуб казался совсем крошечным, а стеклянная мельница была едва различима. Но — о ужас! — поезд и здесь ехал за ним: он полз вверх по дому. Эмиль лез все выше и выше. А поезд громохал где-то рядом по железным перекладинам лестницы, словно это рельсы.

Сотый этаж, сто двадцатый, сто сороковой, сто шестидесятый, сто восьмидесятый, сто девяностый, двухсотый этаж! Эмиль стоял на крыше и не знал, что делать. До него уже доносилось ржание лошадей. Он отбежал на другой конец крыши, вынул из кармана носовой платок и развернул его. Когда показались взмыленные лошади у края крыши, а за ними загромохал поезд, Эмиль поднял платок над головой, словно парашют, и прыгнул в пустоту. Он услышал, как поезд крушил на своем пути домовые трубы... Потом Эмиль, видно, потерял на несколько секунд сознание...

И вот — плюх! — он приземлился на лужайке.

Он лежал с закрытыми глазами: ему хотелось поскорее уснуть и увидеть какой-нибудь хороший сон. Но так как он еще не чувствовал себя в безопасности, он кинул взгляд на небоскреб и увидел, что на крыше все двенадцать лошадей раскрыли зонтики. У сержанта Йешке вместо кнута тоже был уже зонтик в руке, и он погонял им лошадей. Они присели на задние ноги, рванулись вперед и прыгнули в пустоту. Поезд плавно спускался на лужайку и становился все больше и больше.

Эмиль снова вскочил на ноги и побежал по лужайке к стеклянной мельнице. Она была совсем прозрачна, и Эмиль увидел там свою маму, которая как раз мыла волосы фрау Аугустине. «Слава богу», — подумал он и вбежал через заднюю дверь в мельницу.

«Мамочка! — крикнул он. — Что мне делать?»

«Что случилось, малыш?» — спросила мама, продолжая намыливать голову.

«Погляди сквозь стену!»

Фрау Тышбайн поглядела и увидела, как лошади, а за ними поезд, приземлившись на лужайке, помчались во всю прыть прямо на мельницу.

«Так это же сержант Йешке!» — воскликнула мама и удивленно покачала головой.

«Он давно уже гонится за мной словно бешеный».

«Почему?»

«Я на днях намалевал великому герцогу Карлу Кривошекому красный нос и черные усы на верхней губе».

«А кому же еще ты мог бы нарисовать усы?» — спросила фрау Аугустина и прыснула со смеху.

«Никому, фрау Аугустина. Но это еще полбеды. Главное, он требовал, чтобы я назвал имена тех, кто был со мной. А этого я ему ни за что не скажу. Это дело чести».

«Эмиль прав, — сказала мама. — Но что же нам делать?»

«Включите-ка мотор, милая фрау Тышбайн», — посоветовала фрау Аугустина.

Мама Эмиля нажала на какой-то рычажок у стола, и крылья мельницы пришли в движение, а так как они были из стекла, они так засияли и засверкали на солнце, что слепило глаза. И когда лошади с поездом примчались к мельнице, они испугались, встали на дыбы и застыли на месте как вкопанные. Сержант Йешке ругался настолько громко, что это было слышно даже сквозь стеклянные стены. Но, несмотря на все его усилия, лошади не двигались с места.

«Ну вот, видите, теперь вы можете спокойно домыть мне голову, — сказала фрау Аугустина. — С вашим мальчиком ничего не случится».

Парикмахерша Тышбайн снова принялась за работу. А Эмиль сел на стул, который тоже был из стекла, и стал насвистывать какую-то песенку. Потом он громко рассмеялся и сказал:

«Как здорово все получилось! Если бы я знал, что ты здесь, я не лез бы вверх по этой проклятой лестнице».

«Надеюсь, ты не порвал свой костюм,— сказала мама, а потом спросила: — Ты деньги-то не потерял?»

Эмиль вздрогнул и с грохотом упал со стеклянного стула.

Он проснулся.

Глава пятая

ЭМИЛЬ СХОДИТ НЕ НА ТОЙ ОСТАНОВКЕ

Когда Эмиль проснулся, поезд как раз отъезжал от станции. Во время сна он упал со скамейки и лежал сейчас на полу. Он страшно перепугался. Почему, он сам еще толком не понимал. Но сердце его ухало, как паровой молот. Он сел на корточки, но все еще никак не мог сообразить, где он, собственно говоря, находится. Потом, по частям, все вспомнил. Ну да, конечно, он же едет в Берлин. И уснул дорогой. Как тот господин в котелке... Эмиль рывком вскочил на ноги и прошептал:

— Его нет!

У него подогнулись колени. Чисто машинально он стал отряхивать свой костюм. Естественно возникал вопрос: «Целы ли деньги?» Но этот вопрос внушал ему смертельный страх.

Он долго простоял, прислонившись к дверце купе. Он не решался пошевелиться. Вот там, напротив него, еще совсем недавно сидел и спал господин по имени Грундайс. И даже храпел. А теперь его нет. Конечно, все могло быть в полном порядке. Ведь даже некрасиво сразу подозревать худшее. Не должны же все люди ехать до вокзала Фридрихштрассе только потому, что он сам туда едет. И деньги наверняка лежат на месте. Куда им деться? Они ведь лежат в конверте. Конверт спрятан в кармане и даже приколот булавкой к подкладке. И Эмиль опустил руку в правый внутренний карман пиджака.

Карман был пуст. Денег не было!

Эмиль порылся в кармане левой рукой. Потом стал ощупывать пиджак снаружи правой. Но результат был все тот же: карман был пуст, деньги исчезли.

— Ай!

Эмиль выдернул руку из кармана, а в руке торчала булавка, та самая, которой он проткнул для страховки конверт с деньгами. В кармане ничего не было, кроме этой булавки, и теперь она вонзилась ему в указательный палец так глубоко, что потекла кровь.

Он обмотал палец носовым платком и заплакал. Конечно, не из-за того, что пошла кровь. На такие пустяки он вообще не обращал никакого внимания. Две недели назад он с разбегу врезался в столб и стукнулся так сильно, что искры из глаз полетели, вот и до сих пор у него еще шишка на лбу. Но тогда он и не думал плакать.

Плакал он из-за денег. Плакал он из-за мамы. И если какой-нибудь мальчишка этого не понимает, будь он хоть самый смелый, он ничего не стоит. Эмиль знал, сколько работала его мама изо дня в день, много месяцев, чтобы скопить для бабушки эти деньги и послать его в Берлин. Хорош сынок, ничего не скажешь! Едва он очутился в поезде, как уткнулся в угол, уснул, видел какой-то дурацкий сон и позволил первому встречному типу украсть деньги. Как же ему не плакать? Что ему теперь делать? Сойти на вокзале Фридрихштрассе и сказать бабушке: «Вот я и приехал. Но денег я тебе не привез, так и знай. Наоборот. Ты мне дай поскорее деньги на обратный билет в Нейштадт. Не по шпалам же мне идти?»

Ну и история! Мама зря копила деньги. Бабушка не получила ни пфеннига. В Берлине остаться он не может. Домой ехать тоже было нельзя. И все из-за этого господина, который угощает детей шоколадом и притворяется спящим, чтобы потом их ограбить. Вот так дела творятся на свете!

Эмиль не без труда проглотил слезы и огляделся. Если дернуть за тормоз, поезд тут же остановится. И прибежит проводник. Сперва один, потом другой, третий, и все будут спрашивать: «Что случилось?»

«У меня украли деньги», — объяснит он.

«В другой раз будешь внимательней, — скажут они. — А теперь садись на свое место. Как тебя зовут? Где проживаешь? За остановку поезда без надобности штраф сто марок. Счет пришлют по месту жительства».

В скором хоть можно пройти через весь состав в служебное отделение, к начальнику поезда, и заявить о краже, а в этом почтово-пассажирском не было даже прохода от вагона к вагону! Хочешь не хочешь, жди теперь следующей станции, а тем временем человек в котелке смоеся. А тогда ищи-свищи, а его и след простыл. Эмиль ведь даже не знал, где он вышел. Интересно, который сейчас час? Долго ли еще до Берлина? В окне мелькали то какие-то большие дома, то виллы с яркими цветниками, то снова грязные здания с высокими

кирпичными трубами. Наверно, это уже был Берлин. На ближайшей остановке он должен позвать проводника и все ему рассказать. А проводник тут же заявит об этом в полицию.

Только этого ему не хватало! Теперь придется иметь дело с полицией. И сержант Йешке не будет, конечно, больше молчать: ему придется исполнить свой служебный долг и заявить: «Ученик реального училища Эмиль Тышбайн мне что-то не нравится. Сперва он размалевывает памятники, которые мы все должны чтить. А потом заявляет, что у него украли сто сорок марок. А кто знает, быть может, эти деньги у него вовсе не украли? Если мальчик размалевывает памятники, то он и соврет, не дорого возьмет. На этот счет у меня есть кое-какой опыт. Скорее всего, он сам закопал эти деньги в лесу или проглотил их, чтобы потом удрать в Америку. Чего же нам в таком случае искать вора? Реалист Тышбайн и есть вор. Господин начальник полиции, арестуйте его, пожалуйста».

Какой ужас! Он даже не может обратиться в полицию!

Эмиль достал с полки чемодан, нахлобучил фуражку, заткнул булавку снова за лацкан и приготовился к выходу, хотя не имел никакого понятия о том, что ему предпринять. Но в этом купе ему больше нельзя оставаться. Это, во всяком случае, было ясно.

А поезд тем временем явно замедлил ход. Эмиль поглядел в окно: путей становилось все больше, рельсы сверкали на солнце, потом показался перрон, по нему бежали носильщики.

Поезд остановился. Эмиль прочел название станции: «Зоопарк». Защелкали дверцы купе. Люди выходили. На перроне толпились встречающие. Начались обычные объятия, приветствия.

Эмиль высунулся в окно, чтобы увидеть начальника поезда. И вот тут-то он заметил вдали, в самой гуще толпы, господина в котелке. А вдруг это вор? Кто знает, может быть, украв у Эмиля деньги, он вовсе не сошел с поезда, а перешел просто в другой вагон?

В следующее мгновение Эмиль уже стоял на перроне и стаскивал с подножки свой чемодан. Потом он снова залез в вагон, потому что забыл взять букет, спрыгнул с подножки, схватил чемодан и побежал что было духу к выходу.

Где котелок? Эмиль расталкивал людей, бил чемоданом по ногам, спотыкался, но бежал дальше. А толпа с

каждой минутой становилась плотнее, и все труднее было пробиваться сквозь нее.

Вот он! Там, у поворота, маячит котелок! Бог ты мой, а вон появился еще один котелок! Эмиль уже выбился из сил, он едва тащил чемодан. Оставить бы его где-нибудь здесь. Но нельзя, а то еще и чемодан украдут!

Наконец он кое-как протиснулся к котелку.

А вдруг он! Он?

Нет.

Вон там еще котелок.

Нет... Этот человек слишком мал ростом...

Эмиль, как индеец, пробирался сквозь толпу.

Вон, вон еще один!

Да, это он! Слава богу, это Грундайс. Он проходил как раз сквозь турникет и, судя по всему, торопился.

«Подожди, каналья,— пробормотал про себя Эмиль,— ты от меня не уйдешь!»

Он сдал контролеру билет, взял чемодан, сунул букет под мышку и побежал за Грундайсом вниз по лестнице.

Теперь все зависело от него самого.

Глава шестая

ТРАМВАЙ 177

Больше всего Эмилю хотелось подбежать к Грундайсу, стать перед ним, расставив ноги, и крикнуть: «Гони деньги!» Но трудно было предположить, что тот ответит: «Охотно, детка. Вот тебе вся сумма. И поверь, больше я этого делать не буду». Таким простым путем Эмиль ничего бы не добился. Пока что самым главным было не потерять этого типа из виду.

Эмиль прятался за спиной толстой дамы, которая шла перед ним, и лишь изредка выглядывал то справа, то слева, чтобы убедиться, что господин в котелке не пустился вдруг наутек. А Грундайс тем временем дошел до выхода, остановился на ступеньке, обернулся и принялся разглядывать идущих за ним людей, словно он кого-то искал. Эмиль прижался совсем вплотную к толстой даме и подходил все ближе к вору. Что же будет? Через секунду Эмиль с ним поравняется, и тогда все пропало. Может, эта женщина придет ему на помощь? Но, скорее всего, она ему просто не поверит. А вор скажет: «Простите, сударыня, но что это вам

взбрело в голову? Неужели я похож на человека, который грабит маленьких детей?» И сразу соберется толпа, все уставятся на мальчика и будут возмущаться: «Дожили! Так клеветать на взрослых! Нет, что ни говори, современная молодежь никуда не годится!» При одной мысли об этой сцене Эмиль застучал зубами.

Но, к счастью, Грундайс вдруг перестал рассматривать толпу и вышел на улицу. Эмиль мигом оказался у двери, поставил чемодан на пол и поглядел в зарешеченное стекло. У него так ныла рука!

Вор медленно перешел на ту сторону улицы, еще раз обернулся и, явно успокоившись, двинулся дальше. А слева, из-за угла, выехал трамвай. На нем красовался номер 177, и он затормозил на остановке.

Грундайс мгновение раздумывал, потом влез в первый вагон и сел у окна.

Эмиль снова схватил свой чемодан, прокрался, нагнувшись, мимо двери дальше по вестибюлю, нашел другую дверь, выскочил через нее на улицу и добежал до прицепного вагона как раз в тот момент, когда трамвай тронулся. Он забросил чемодан на площадку, потом, уже на ходу, сам вскочил, протащил чемодан в угол, стал рядом и только тогда перевел дух. Уф, с этим он, кажется, справился!

Но что будет дальше? Если Грундайс спрыгнет на ходу, деньги пропали. Потому что прыгать с чемоданом Эмиль не решится. Это слишком опасно.

Сколько машин! Они обгоняют трамвай, гудят, ревут, а на перекрестках им наперерез мчатся другие потоки машин. Какой шум! А тротуар весь запружен людьми. Трамваи, двухэтажные автобусы, экипажи! На всех углах газетные киоски. Огромные витрины, от которых не оторвешь глаз: цветы, фрукты, книги, золотые часы, готовое платье, шелковое белье. И высокие, высокие дома.

Вот он каков, Берлин.

Эмилю очень хотелось все это поподробней разглядеть. Но ему было некогда: ведь в переднем вагоне сидел человек с его деньгами и мог каждую минуту выскочить и исчезнуть в толпе. И тогда — крышка. Потому что в этой толпе, среди всех этих машин, автобусов и людей, никого нельзя найти. Эмиль высунул голову в окно: а вдруг этот голубчик смылся? Может, он уже один едет в этом трамвае, не зная, куда и зачем, а бабушка тем временем ждет его на вокзале Фридрихштрассе у цветочного киоска, и ей невдомек, что ее внук катит по

Берлину в трамвае 177 и что с ним стряслась такая беда. Хоть лопни с досады!

Трамвай остановился. Эмиль не сводил глаз с моторного вагона. Но никто не сошел. Зато много народу вошло. На площадке, где стоял Эмиль, стало тесно. Какой-то дяденька начал его ругать за то, что он высовывается.

— Ты что, не видишь, люди хотят сесть! — ворчал тот.

Кондуктор, продававший в вагоне билеты, дернул за шнур. Раздался звонок, и трамвай покатиł дальше. Эмиль снова забился в свой угол, его толкали, кто-то наступил ему даже на ноги, и он думал с испугом: «У меня ведь нет денег! Если кондуктор выйдет на площадку, я должен взять билет. А если я не возьму билета, он меня высадит. И тогда все пропало».

Эмиль оглядел стоящих рядом с ним людей. Может, тронуть кого-нибудь за рукав и тихо попросить: «Одолжите мне, пожалуйста, деньги на билет». Но у всех такие сосредоточенные лица! Какой-то дяденька читал газету. Двое других обсуждали историю об ограблении какого-то банка.

— Они сделали подкоп,— рассказывал один,— проникли в помещение и спокойно вскрыли все сейфы. Похитили ценностей на несколько миллионов, не меньше.

— Точно установить, что именно унесли из этих сейфов, будет крайне трудно. Ведь люди, снимающие сейфы, не обязаны сообщать банку, что они там держат.

— Конечно, любой съемщик сейфа может теперь заявить, что у него там хранились бриллианты стоимостью в сотни тысяч марок, а на самом деле там лежала жалкая пачка малоценных бумаг или дюжина мельхиоровых ложек.

И оба засмеялись.

«Вот так точно будет и со мной,— печально подумал Эмиль.— Я скажу, что Грундайс украл у меня сто сорок марок. Но никто мне не поверит. А вор скажет, что это просто нахальство с моей стороны, что там было всего три марки пятьдесят пфеннигов. Влип же я в историю!»

Кондуктор тем временем все приближался к площадке. Теперь он уже стоял в дверях и громко спрашивал:

— Кто еще не взял билета? Кто еще не взял билета?

Он отрывал от рулона большие белые листочки и особыми щипцами пробивал в них ряд дырочек.

Пассажиры, стоящие на площадке, давали ему мелочь и получали билеты.

— Ну, а ты? — обратился он к мальчику.

— Я потерял деньги, господин кондуктор, — ответил Эмиль. Потому что никто бы ему не поверил, если бы он сказал, что деньги у него украли.

— Потерял деньги? Ты мне сказки не рассказывай, мы такое уже слышали. А куда ты едешь?

— Этого... этого я еще не знаю, — пробормотал Эмиль, запинаясь.

— Что ж, тогда сойди-ка на следующей остановке и сперва реши, куда тебе надо.

— Нет, я не могу сойти, мне обязательно надо ехать на этом трамвае. Пожалуйста, не высаживайте меня, господин кондуктор, прошу вас.

— Раз я велел тебе сойти, значит, сходи. Понятно?

— Дайте мальчику билет, — сказал дяденька, читавший газету.

И он протянул кондуктору деньги. Кондуктор оторвал Эмилю билет, но сказал с неодобрением:

— Если бы вы только знали, сколько мальчишек катаются каждый день на трамвае, и все они, как один, уверяют, что потеряли деньги, а потом смеются над нами!

— Этот не будет смеяться, — возразил дяденька с газетой.

Кондуктор снова вошел в вагон.

— Большое, большое вам спасибо, — сказал Эмиль.

— Не за что, — ответил дяденька и снова уткнулся в газету.

Трамвай опять остановился. Эмиль поспешно высунул голову, чтобы поглядеть, не сходит ли Грундайс. Но котелка на улице не обнаружил.

— Не дадите ли вы мне ваш адрес? — спросил Эмиль у человека, читавшего газету.

— А зачем тебе?

— Чтобы я мог вернуть вам деньги. Я пробуду в Берлине, наверное, неделю, и я зашел бы к вам как-нибудь. Моя фамилия Тышбайн. Эмиль Тышбайн из Нейштадта.

— Нет, эти деньги я тебе, конечно, подарил, тут и говорить не о чем. Может, дать тебе еще немного?

— Ни в коем случае, — твердо сказал Эмиль. — Я не возьму больше ни пфеннига.

— Как хочешь. — И господин с газетой снова углубился в чтение.

Трамвай ехал, останавливался, снова ехал. Эмиль прочел название одной широкой, красивой улицы: Кай-

зераллее. Он ехал и не знал, куда он едет. В переднем вагоне сидел вор. А может быть, в этом трамвае сидели или стояли еще и другие воры. И никому здесь не было дела до Эмиля. Правда, чужой дяденька подарил ему деньги на проезд. Но потом он снова уткнулся в газету.

Город был таким огромным! А Эмиль — таким маленьким! И никто даже не поинтересовался, почему у него нет денег и почему он не знает, где ему надо сходить. В Берлине живет четыре миллиона человек. Но никому из них нет дела до Эмиля Тышбайна. Никто не хочет вникать в чужие заботы. У каждого хватает своих забот и своих радостей. И когда здесь кто-нибудь говорит: «О, я вам от души сочувствую», то чаще всего это надо понимать как: «Старик, отвяжись от меня!»

Что же будет? Эмиль тяжело вздохнул. И он почувствовал себя очень, очень одиноким.

Глава седьмая

НА ШУМАНШТРАССЕ ВОЛНЕНИЕ

Пока Эмиль, стоя на площадке трамвая 177, ехал по Кайзераллее и не имел ни малейшего понятия о том, куда он направляется, его ждали бабушка и Пони-Шапочка, его кузина, как было условлено, на вокзале Фридрихштрассе у цветочного киоска, и все время смотрели на часы. Мимо проходила толпа людей с чемоданами, ящиками, коробками, кожаными сумками и букетами цветов. Но Эмиля среди них не было.

— Он, наверное, очень вырос, да? — спросила Пони-Шапочка, катая взад-вперед свой маленький никелированный велосипед.

Конечно, его незачем было брать с собой на вокзал. Но она так долго канючила, что бабушка в конце концов сдалась: «Ну уж ладно, бери, своевольница». И теперь своевольница была в прекрасном настроении и заранее радовалась восхищенным взглядам Эмиля. «Он наверняка скажет, что это мировой велик», — сообщила она бабушке тоном знатока.

А бабушка начинала беспокоиться:

— Я что-то ничего не понимаю. Уже двадцать минут седьмого. Поезд давным-давно должен был прийти.

Они подождали еще несколько минут, а потом бабушка послала девочку спросить, пришел ли поезд.

Пони-Шапочка и тут, конечно, не рассталась с велосипедом.

— Вы не можете мне сказать, почему опаздывает поезд из Нейштадта? — спросила она у контролера, проверявшего билеты у выхода на перрон.

Он стоял у турникета и пробивал на каждом билете дырочки особыми щипцами.

— Нейштадт? Нейштадт? — Он на мгновение задумался, а потом сказал: — Ах, да, 18.17. Поезд давным-давно прибыл.

— Неужели? А мы вот стоим у цветочного киоска и ждем моего кузена Эмиля.

— Очень рад, очень рад.

— А почему это вы так радуетесь? — с любопытством спросила Пони и звякнула велосипедным звонком. Контролер ничего не ответил и отвернулся.

— Какой вы невоспитанный дядя! — обиженно сказала девочка. — До свиданья!

Стоящие рядом люди засмеялись. Контролер с досады прикусил губу. А Пони-Шапочка вернулась к киоску.

— Поезд уже давным-давно прибыл, бабушка.

— Что же могло случиться? — недоумевала бабушка. — Если бы он почему-либо не выехал, мать послала бы телеграмму. Неужели он вышел не на той остановке? Но ведь мы всё так точно описали.

— Ничего не понимаю, — сказала с важным видом Пони. — Скорее всего, он вылез не там, где надо. Мальчишки вообще такие бестолковые. Готова держать пари! Вот увидишь, что я права.

Им ничего не оставалось, как ждать. И они ждали. Прошло пять минут.

Потом прошло еще пять минут.

— Больше ждать явно нет никакого смысла, — сказала Пони бабушке. — Мы можем здесь простоять еще год. Нет ли где другого цветочного киоска?

— Пойди посмотри. Но только не задерживайся!

Шапочка снова отправилась в путь вместе со своим велосипедом и обошла весь вокзал. Другого киоска нигде не оказалось. Потом она навела какие-то справки у двух железнодорожников и вернулась с гордым видом.

— Так вот, киоска больше нет, — заявила она. — Да это было бы смешно — два цветочных киоска! Что я еще хотела сказать? Ах да, следующий поезд из Нейштадта приходит в 20.33, то есть чуть позже половины девятого. Поэтому мы с тобой сейчас отправимся домой. А ровно в восемь я снова приеду сюда на велосипеде. Если и

тогда его не окажется, я напишу ему такое письмо, что будь здоров!

— Пони, как ты выражаешься!

— Такое письмо, что закачаешься,— так тоже говорят. Это тебя устраивает?

Бабушка нахмурила брови и покачала головой.

— Что-то мне все это не нравится. Что-то мне все это не нравится,— проговорила она. Когда она волновалась, она всегда все повторяла два раза.

Они медленно пошли домой. Когда они подходили к мосту Вейдендаммер, Пони-Шапочка спросила:

— Бабушка, хочешь, я тебя прокачу?

— Да что ты несешь!

— А что? Ты уж никак не тяжелее Артура Циклера, а мы часто ездим с ним вместе.

— Имей в виду, если это еще раз повторится, отец отберет у тебя велосипед.

— Тебе нельзя ничего рассказывать,— огрызнулась Пони.

Когда они пришли домой — они жили на Шуманштрассе, 15,— родители Пони Хеймбольд ужасно разволновались.

Отец предложил дать матери Эмиля телеграмму.

— Ни в коем случае! — воскликнула его жена, мама Пони.— Она умрет от страха. Мы к восьми часам еще раз пойдем на вокзал. Может, он приедет следующим поездом.

— Будем надеяться, будем надеяться,— бормотала бабушка.— Но скажу вам прямо: что-то мне все это не нравится, что-то мне все это не нравится.

— И мне тоже это не нравится,— сказала Пони-Шапочка и задумчиво покачала своей маленькой головкой.

Глава восьмая

ПОЯВЛЯЕТСЯ МАЛЬЧИК С КЛАКСОНОМ

Господин в черном котелке сошел с трамвая на Трауменауштрассе, угол Кайзераллее. Эмиль это увидел, схватил чемодан, букет, еще раз сказал дяденьке с газетой: «Большое, большое вам спасибо» — и тоже вышел.

Вор обошел передний вагон, пересек трамвайные рельсы и перешел на другую сторону улицы. Трамвай поехал дальше, и тогда Эмиль снова увидел Грундайса,



который сперва постоял в нерешительности на тротуаре, а потом поднялся по ступенькам на террасу кафе.

Теперь снова надо было действовать очень осторожно, чтобы не привлечь внимание вора. Эмиль быстро сориентировался: увидев на углу газетный киоск, он метнулся туда и скрылся за ним. Лучшего места, чтобы спрятаться, и придумать нельзя было: рядом стояла тумба для афиш, и вот в этот узкий проход между киоском и тумбой он поставил свой чемодан, сел на него, снял фуражку, перевел дух и тогда только огляделся.

Тип в котелке сел тем временем за столик на террасе кафе, у перил. Он покурил сигаретку и был, видно, в отличном настроении. Эмилю казалось ужасным, что вор вообще может быть в таком отличном настроении, а тот, кого обокрали, должен страдать и чувствовать себя бессильным.

Собственно говоря, что толку прятаться за киоском, словно вор — он, а не тот тип там, на террасе. Что толку знать: вор сидит в кафе «Жости» на Кайзераллее, пьет светлое пиво и курит сигареты? Если вору вздумается

вдруг встать, придется продолжать погоню. А если он будет сидеть на этой террасе, то Эмиль простоит за киоском, пока у него не вырастет борода. Не хватало еще только, чтобы подошел полицейский и сказал: «Ты здесь что-то подозрительно долго торчишь, малый. А ну, пошли-ка со мной по-хорошему, а не то надену наручники».

И как раз в этот момент за спиной Эмиля раздался гудок. Эмиль испуганно отскочил в сторону, обернулся и увидел мальчишку, который стоял и хохотал над ним.

— Держись за воздух, а то загремишь,— насмешливо бросил мальчишка.

— А кто это гудел за моей спиной? — спросил Эмиль.

— Как кто? Ясное дело, я. Ты, видать, нездешний, а то знал бы, что у меня в кармане клаксон. Меня здесь все знают.

— Я из Нейштадта. А сейчас — прямо с вокзала.

— Вот оно что, из Нейштадта. Поэтому на тебе такой дурацкий костюм.

— Полегче на поворотах. А то я тебе так врежу, что будь здоров.

— Ты что, рассердился? — спросил добродушно мальчишка.— Что ж, погода для бокса подходящая. Начнем, что ли?

— Давай отложим на потом, сейчас мне некогда,— объяснил Эмиль и поглядел на террасу, сидит ли там еще Грундайс.

— А я думал, у тебя времени хоть отбавляй. Торчишь с чемоданом и букетом за газетным киоском, сам с собой в прятки играешь! Для таких забав надо иметь тьму свободного времени.

— Нет,— сказал Эмиль,— я слежу за воров.

— За кем? Я что-то, верно, не расслышал. Ты вроде «вор» сказал. Кого же он обокрал?

— Меня! — сказал Эмиль с явной гордостью.— В вагоне. Пока я спал. Взял сто сорок марок. Я вез их бабушке, которая живет здесь, в Берлине. Он перебрался в другое купе и сошел на остановке «Зоопарк». Я, сам понимаешь, за ним. Он — на трамвай, я — тоже. А вот теперь он сидит там, на террасе кафе,— вон, видишь, в котелке, да еще у него прекрасное настроение.

— Ой, старик, да это же колоссально! — восторженно завопил мальчишка с клаксоном.— Это же как в кино! Что ты собираешься делать?

— Понятия не имею. Буду идти за ним по пятам. А что дальше — еще не знаю.

— А ты скажи полицейскому: он твоего вора живо схватит.

— Не буду. В Нейштадте был у меня один случай... короче, в полиции ко мне могут отнестись с подозрением. И если я...

— Все понятно.

— А на вокзале Фридрихштрассе меня ждет бабушка.

Мальчик подумал, а потом сказал:

— Классно это у тебя с вором получилось! Мировецкая история, честно! Если ты не против, я тебе помогу.

— Вот было бы здорово! Я тебе так благодарен!

— Какая чушь! Разве я могу в таком не участвовать? Меня зовут Густав.

— А меня — Эмиль.

Они пожали друг другу руки и очень друг другу понравились.

— А теперь за дело! — заявил Густав. — Если мы будем здесь просто так стоять, то добыча уйдет у нас прямо из-под носа. У тебя есть еще деньги?

— Ни пфеннига.

Густав тихо погудел, чтобы придумать, как быть, но это не помогло: ему ничего не пришло в голову.

— А может, — нерешительно начал Эмиль, — ты позовешь еще ребят...

— Отличная мысль! — завопил Густав в восторге. — Точно, так и сделаем. Стоит мне обежать несколько дворов и погудеть, ребят налетит, хоть отбавляй.

— Вали беги, но возвращайся поскорее, — сказал Эмиль. — А то вдруг этот тип вздумает идти дальше. Тогда мне, конечно, придется кинуться за ним. Представляешь, ты заявишься со своей подмогой, а нас и след простыл!

— Ясно! Я тут же вернусь. Можешь на меня положиться. А этому типу принесли там, в кафе, омлет и еще что-то. Пока он все это не слопает, он не двинется с места. До скорого, Эмиль! Вот мировая история, прямо с ума сойти! А что еще будет — закачаешься!

И его словно ветром сдуло.

Эмиль почувствовал огромное облегчение. Беда остается бедой во всех случаях. Но если у тебя при этом есть друзья, которые действуют вместе с тобой, то на душе все же становится куда легче.

Эмиль не спускал глаз с вора, который уплетал будь здоров, наверное, на те деньги, что сэкономила мама. Теперь бояться надо было только одного: вдруг этот негодяй встанет и уйдет? Тогда ни Густав со своим клаксоном, ни все остальные ребята Эмилю уже не помогут.

Но господин Грундайс был настолько любезен, что не торопился. Конечно, если бы он подозревал о заговоре ребят, о западне, в которой он вот-вот окажется, он попросил бы подать ему не омлет, а по меньшей мере самолет, чтобы убраться отсюда поскорее. Но откуда ему было знать, что над ним сгущались такие тучи?

Не прошло и десяти минут, как Эмиль снова услышал гудок. Он обернулся и увидел, что не меньше двадцати ребят под предводительством Густава шагают к нему по Траутенайштрассе.

— Стоп! — скомандовал Густав и с сияющим лицом спросил Эмиля: — Ну, что ты на это скажешь?

— Я потрясен, — ответил Эмиль и от наплыва чувств толкнул Густава в бок.

— Итак, господа, разрешите вам представить Эмиля из Нейштадта. Все остальное я вам уже рассказал. Вон там, на террасе, у перил, справа, сидит эта свинья в котелке. Если мы его упустим, то мы после этого последние кретины.

— Да что ты, Густав, мы его возьмем тепленьким, — сказал мальчик в роговых очках.

— Это — Профессор, — представил его Густав.

И Эмиль пожал Профессору руку. Потом Эмилю по очереди называли всех остальных ребят.

— А теперь, — сказал Профессор, — нажмем-ка на газ. Итак, начали. Прежде всего валите деньги.

Каждый дал все, что у него было. Монетки так и сыпались Эмилю в фуражку. Среди них оказалась даже целая марка. Ее бросил маленький мальчик, которого все звали Вторник. Он даже запрыгал от радости, что оказался таким богатым, и в награду ему поручили сосчитать деньги.

— Наш капитал, — сообщил он наконец ребятам, которые просто лопались от нетерпения, — пять марок и семьдесят пфеннигов. По-моему, эти деньги надо разделить между тремя ребятами, на случай, если нам придется разойтись.

— Правильно, — одобрил Профессор.

Он и Эмиль получили каждый по две марки. Густаву дали марку и семьдесят пфеннигов.

— Спасибо вам, ребята,— сказал Эмиль.— Если мы его поймаем, я верну вам деньги. Что мы теперь будем делать? Прежде всего надо бы куда-нибудь деть этот чемодан и цветы. Когда начнется погоня, это барахло будет мне здорово мешать.

— Давай-ка сюда твой багаж,— сказал Густав.— Я снесу все это сейчас в кафе «Жости» и оставлю у буфетчика. Кстати, разгляжу нашего голубчика получше.

— Но смотри, будь осторожен! — крикнул ему вдогонку Профессор.— Этому негодяю совсем не обязательно знать, что сыщики напали на его след.

— За кого ты меня принимаешь! — отрезал Густав и умчался.

Вернувшись, он сказал:

— Ну и рожа у этого господина! Так и просится на фотографию!.. Вещи твои я отдал, потом мы зайдем за ними.

— Надо бы устроить военный совет,— сказал Эмиль.— Но только не здесь: нам нельзя привлекать к себе внимание.

— Мы пойдем на площадь Никольсбург,— заявил Профессор.— Двое останутся тут караулить дичь. Пять или шесть ребят будут стоять на эстафете, чтобы мы сразу узнали, если он уйдет. И мы тут же прибежим.

— Этим я сам займусь! — крикнул Густав и тут же принялся организовывать связь.— Я останусь здесь, на форпосте,— сказал он Эмилю,— так что не волнуйся. Мы его не пропустим. Решайте только всё побыстрее. Уже восьмой час. А теперь отваливайте.

Густав расставил посты, а остальные ребята во главе с Эмилем и Профессором отправились на площадь Никольсбург.

Глава девятая

СЫЩИКИ СОВЕЩАЮТСЯ

Ребята расселись — кто на две белые скамейки, стоящие друг против друга, кто на железную ограду скверика — и с серьезными лицами стали слушать Профессора. А мальчик, которого звали Профессором, казалось, всю жизнь ждал этого дня. Вертя в руках роговые очки, точь-в-точь как его отец, советник юстиции, он излагал план действий.

— Вполне вероятно,— начал он,— что нам вскоре придется разделиться. Поэтому прежде всего необходимо установить телефонную связь. У кого из вас есть телефон?

Двенадцать мальчиков подняли руки.

— А у кого из вас самые сознательные родители?

— Наверняка у меня! — закричал Вторник.

— Ваш номер?

— Бавария 05-79.

— Вот бумага и карандаш. Крумбигель, заготовь быстренько двадцать листочков бумаги и напиши на каждом номер Вторника. Только смотри, чтобы было разборчиво! Каждому дашь такой листочек. Диспетчерский пункт всегда будет знать, где находятся сыщики и что вообще происходит. Кому надо навести справку, позвонит Вторнику.

— Но ведь меня нет дома,— возразил Вторник.

— Нет, ты будешь дома,— заявил Профессор.— Как только кончится наш совет, ты отправишься домой, чтобы дежурить у телефона.

— А мне хочется быть с вами, я тоже хочу увидеть, как поймают вора. Не глядите, что я маленький, я смогу вам здорово пригодиться.

— Ты пойдешь домой и будешь сидеть у телефона. Это очень ответственное поручение.

— Ладно, раз надо, так надо.

А Крумбигель тем временем уже раздавал всем записочки с номером телефона. Ребята тщательно прятали их в карманы, а кто постарательнее, тут же учил номер наизусть.

— Хорошо бы организовать еще резервный отряд,— предложил Эмиль.

— Это само собой,— сказал Профессор.— Те, кто не будет выслеживать вора, останутся здесь, на площади Никольсбург. Все вы по очереди сбегаете домой и предупредите, что вернетесь сегодня поздно, а кто может, попросит разрешения остаться ночевать у товарища, чтобы было подкрепление, если придется охотиться до утра. Густав, Крумбигель, Арнольд Миттенцвей, его брат и я позвоним домой из автомата и скажем, что ночевать не придем... Да, Трауготт пойдет на диспетчерский пункт Вторника как связной и будет бегать за ребятами на площадь, если нам кто-нибудь понадобится. Таким образом, у нас есть сыщики, резервный отряд, диспетчер и связной. Вот и все для начала...

— Подожди, мы ведь захотим есть,— перебил его Эмиль,— надо сделать запас продовольствия. Может быть, кто-нибудь сбегает домой и принесет бутерброды?

— Кто живет ближе всех? — спросил Профессор.— Миттенцвей, Герольд, Фридрих Первый, Бруноти, Церлетт, бегом за едой, марш!

Мальчишки умчались.

— Эй вы, лбы,— вдруг возмутился Трауготт,— всё болтаете про еду, про телефон, про резервы, а как поймать этого типа — об этом вы и не думаете. Тоже мне... ученые...

Худшего ругательства он придумать не мог.

— А может, надо найти где-нибудь аппарат, чтобы сделать отпечатки пальцев? — предложил Петцольд.— Впрочем, возможно, он работал в резиновых перчатках, тогда вообще ничего не удастся доказать.

Петцольд видел уже двадцать два детективных фильма, но, заметьте, умней он от этого не стал.

— Ты что, совсем обалдел! — взревел Трауготт.— Мы просто выберем подходящий момент и выкрадем у него деньги Эмиля.

— Бред! — крикнул Профессор.— Если мы украдем у него деньги, мы будем такими же ворами, как и он.

— Ну, это ты свистишь! — крикнул в ответ Трауготт.— Если у меня кто-нибудь что-нибудь украдет, а я выкраду эту вещь назад, то я не стану вором!

— Нет, станешь! — не сдавался Профессор.

— Нет, не стану!

— Профессор прав,— сказал Эмиль.— Если я что-нибудь потихоньку возьму — значит, я вор. И неважно, его ли эта вещь или моя.

— Точно! — подхватил Профессор.— Кончайте трепаться. От этих разговоров толку как от козла молока. В общем, так: охота началась, а как нам удастся поймать этого гада, никто пока еще сказать не может. Поживем — увидим! Ясно только одно: надо его заставить отдать эти деньги добровольно. Выкрадывать их у него — просто идиотство.

— Нет, я все-таки этого не понимаю,— сказал Вторник.— Как я могу украсть то, что мне принадлежит? Что мое — то мое, даже если оно лежит в чужом кармане.

— Тут есть разница, которую трудно объяснить,— сказал Профессор таким тоном, словно он читал лекцию.— С моей точки зрения, ты имеешь право так поступать. Но суд тебя все равно осудит. Этого даже многие взрослые не понимают, но это так. Ясно?

— Неясно,— пробурчал Трауготт и пожал плечами.

— Будьте осторожны! Вы умеете незаметно красться вдоль домов? — спросил Петцольд. — А то он вдруг обернется и вас увидит. И тогда все пропало.

— Да, красться надо уметь,— подтвердил маленький Вторник,— поэтому я и считал, что вам пригожусь. Знаете, до чего я ловко крадусь! Мне как полицейской ищейке цены бы не было. И лаять я тоже могу.

— Попробуй-ка покрадись по Берлину, будто полицейская ищейка! — разволновался Эмиль. — Увидишь, как тебя никто не заметит! Вот если хочешь, чтобы все на тебя обратили внимание, тогда крадись!

— Но уж без револьвера-то нам никак не обойтись! — воскликнул Петцольд.

Как видите, умный Петцольд сделал еще одно ценное предложение.

— Точно, без револьвера никак нельзя,— поддержали его два-три мальчика.

— Нет! — отрезал Профессор.

— А у жулика наверняка есть револьвер.

Трауготт готов был спорить, на что хочешь.

— Конечно, мы идем на опасное дело,— сказал Эмиль,— а кто трусит, пусть отправляется домой.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что я трус? — спросил Трауготт и двинулся вперед, как боксер на ринге.

— Кончай, слышишь! — крикнул Профессор. — Драться будете завтра. Нашли время, ведете себя как... дети.

— А мы и есть дети,— сказал маленький Вторник. И все засмеялись.

— По-настоящему мне надо было бы написать хоть несколько слов бабушке. Ведь мои родные понятия не имеют, куда я пропал. Еще, чего доброго, заявят в полицию. Ребята, может, кто-нибудь отнесет записку? Они живут на Шуманштрассе, дом пятнадцать.

— Валяй пиши,— сказал мальчик, которого звали Блеуер,— но только быстрее, чтобы я поспел домой, пока не запрут парадную. Пожалуй, мне лучше доехать на метро до Ораниенбургских ворот. У кого есть мелочь?

Профессор протянул ему двадцать пфеннигов на дорогу в оба конца, а Эмиль, взяв карандаш, написал на листке:

«Дорогая бабушка!

Вы все, наверное, волнуетесь, куда я пропал. Я в Берлине, но, к сожалению, не могу еще прийти к вам, потому

что у меня есть одно дело. Не спрашивайте какое. Очень важное. Только не пугайтесь. Когда все уладится, я приду. Заранее радуюсь. Мальчик, который принесет записку,— мой друг. Он знает, где я, но не имеет права рассказать. Это — тайна. Передай привет дяде, тете и Пони-Шапочке.

Твой преданный внук Эмиль.

Да, мама шлет вам всем привет и букет цветов, который я принесу, когда приду».

Эмиль сложил бумажку, написал адрес и сказал:

— Смотри только не проболтайся, где я, и про день-ги ни слова, а то мне здорово влетит.

— Ладно, не бойся. Давай сюда твою телеграмму. Когда я вернусь, я позвоню диспетчеру, чтобы узнать, как дела. Считайте меня в резерве.

И он убежал.

Тем временем вернулись ребята с бутербродами, а Герольд даже приволок целую колбасу. Он сказал, что ее дала мама. Допустим.

Все пять мальчишек предупредили дома, что вернутся поздно. Эмиль раздал бутерброды, и каждый сунул себе в карман по одному про запас. Колбасу же отдали Эмилю, как НЗ. Потом домой побежали другие пять мальчиков, чтобы отпроситься еще на некоторое время. Двое из них не вернулись — видимо, родители не разрешили.

Профессор объявил пароль, чтобы сразу было ясно, что тот, кто звонит, звонит по делу: пароль — «Эмиль». Очень легко запомнить.

Потом, пожелав сыщикам ни пуха ни пера, ушли Вторник и его связной, вечно чем-то недовольный Трауготт. Профессор крикнул им вдогонку, чтобы Вторник позвонил ему домой и сказал отцу, что у него неотложное дело.

— Тогда он не будет беспокоиться, и мне не попадет.

— Черт возьми,— воскликнул Эмиль,— мировецкие родители у вас тут в Берлине!

— Не думай только, что все такие шелковые,— проворчал Крумбигель и почесал затылок.

— Да нет, жаловаться не приходится. В общем, с ними можно иметь дело,— возразил Профессор.— Они ведут себя разумно: так, по крайней мере, им не врут. Я обещал своему старику «не предпринимать ничего плохого или опасного». И пока я держу слово, мне раз-

решают делать все, что я хочу. Мировой мужик у меня отец!

— Да, родители что надо! — повторил Эмиль. — Но послушай, ведь сегодня может быть опасно.

— Ну что ж, тогда я потеряю право делать, что хочу, — объяснил Профессор и пожал плечами. — Отец сказал, что я должен всякий раз прикинуть, как бы я себя вел, будь он со мной. Так вот, совесть у меня чиста. Ну а теперь нам пора...

Профессор стал перед мальчишками и крикнул:

— Сыщикам нужна ваша помощь. Действуйте! У нас есть телефонная станция. Деньги я вам оставляю. Вот у меня марка и пятьдесят пфеннигов. Возьми, Герольд, и пересчитай! Запас продовольствия у нас есть. Деньги тоже... Каждый знает номер телефона. Да, и еще одно: кому надо домой, пусть идет. Но не меньше пяти человек должны быть здесь все время. Докажите, что вы настоящие мужчины! А мы тоже будем стараться изо всех сил. Если понадобится подмена, Вторник пришлет к вам Трауготта. Вопросы есть? Все ясно? Пароль — «Эмиль».

— Пароль — «Эмиль»! — закричали в ответ мальчишки, да так громко, что вся площадь сотряслась, а у прохожих глаза на лоб полезли от удивления.

В эту минуту Эмиль был, пожалуй, счастлив, что у него украли деньги.

Глава десятая

ПОГОНЯ ЗА ТАКСИ

И тут как раз вдали показались три мальчика, из тех, что обслуживали эстафетную связь. Они бежали что было духу и махали руками.

— Помчались, — скомандовал Профессор и кинулся по Кайзераллее, а за ним следом рванулись Эмиль, братья Миттенцвей и Крумбигель.

Ребята так неслись, что казалось, они намерены установить мировой рекорд. Но последние десять метров до киоска они перешли на шаг, потому что Густав подал им какой-то знак.

— Опоздали? — испуганно прошептал Эмиль.

— Ты что, обалдел, старик? — шепотом ответил Густав. — Со мной такого не бывает.

Вор стоял на той стороне улицы, перед кафе «Жосты», и оглядывал местность, словно находился в Швейца-

рии. Потом он купил у газетчика вечернюю газету и углубился в чтение.

— Если он вздумает перейти улицу, он окажется рядом с нами. Ну и положеньице!

Ребята притаились за киоском и, дрожа от волнения, по очереди выглядывали из-за угла. Но вор этого явно не принимал во внимание: он с невозмутимым хладнокровием листал газету.

— Небось глядит из-за листов, не следят ли за ним,— прошептал Миттенцвей-старший.

— Он часто смотрел в вашу сторону? — спросил Профессор.

— Да ни разу, старик. Уплетал так, словно неделю не жрал.

— Внимание! — скомандовал Эмиль.

Господин в котелке снова сложил газету, оглядел прохожих и вдруг, совершенно неожиданно, остановил проходящее мимо такси. Машина затормозила, вор сел, и они тронулись.

Но мальчишки уже сидели в другой машине, и Густав сказал шоферу:

— Видите вот то такси, что сворачивает на Пражскую площадь? Поезжайте, пожалуйста, за ним, но осторожно, чтобы в той машине не заметили.

Такси с мальчишками пересекло Кайзераллее и поехало на некотором расстоянии за первым такси.

— А что случилось? — поинтересовался шофер.

— Тут один дядька нарубил дров, и мы его должны держать на приколе,— объяснил Густав.— Но это тайна, ясно?

— Как молодым людям будет угодно,— ответил шофер, а потом все же спросил: — А деньги-то у вас есть?

— За кого вы нас принимаете! — с упреком кинул Профессор.

— Ладно, ладно,— буркнул шофер.

— Его номер ИА 37-33,— заметил Эмиль.

— Это очень важно,— сказал Профессор и записал цифру.

— Не надо подъезжать так близко,— предупредил Крумбигель.

— Хорошо,— пробормотал шофер.

Они ехали теперь по Мотштрассе. Несколько прохожих остановились на тротуаре и с улыбкой глядели вслед такси с такой странной компанией.

— Нагибайтесь,— скомандовал вдруг Густав: маль-

чишки тут же кинулись на пол машины, словно играли в кучу малу, и разобраться, где чья нога, а где чья рука, было уже невозможно.

— А в чем дело? — спросил Профессор.

— Да там впереди красный свет! Нам придется остановиться, но и то такси не успеет проскочить.

И действительно, обе машины стояли гуськом друг за дружкой, ожидая, пока снова не загорится зеленый свет. Однако никто не видел, что во втором такси сидят пассажиры. Оно казалось свободным, так ловко ребята разместились на полу. Шофер обернулся и не смог не рассмеяться. И только когда проехали светофор, ребята осторожно снова выползли на сиденье.

— Скорее бы он приехал, — сказал Профессор и посмотрел с неодобрением на счетчик. — Это удовольствие стоит уже восемьдесят пфеннигов.

Не успел он это сказать, как первое такси, уже выехавшее на площадь Ноллендорф, вдруг остановилось перед гостиницей «Крейд». Второе также успело вовремя затормозить и теперь выжидало, что же будет дальше.

Господин в котелке вылез, заплатил и исчез в дверях гостиницы.

— Густав, скорее за ним! — взволнованно крикнул Профессор. — Если в гостинице есть черный ход, он улизнет от нас.

Густав тут же ринулся за ним следом. А потом из машины вышли и остальные ребята. Счетчик выбил марку. Эмиль заплатил, и тогда Профессор быстро повел свою команду через ворота в большой двор, расположенный за кинотеатром. Первым делом он отправил Крумбигеля для связи с Густавом.

— Если наш тип решил поселиться здесь, в гостинице, нам здорово повезло, — сказал Эмиль. — Этот двор — идеальный штаб для сыщиков.

— Да, со всеми современными удобствами, — подтвердил Профессор. — Метро — напротив, зеленые насаждения — чтобы прятаться, телефонные будки — чтобы держать связь. Лучшего места не найти.

— Надеюсь, Густав не даст маху, — сказал Эмиль.

— На него можно положиться, — ответил Миттенцвей старший, — он куда более ловкий, чем кажется.

— Что-то он долго не идет. Скорее бы! — воскликнул Профессор и сел на стул, который почему-то стоял посреди двора. Он был похож на Наполеона во время битвы под Лейпцигом.



И вот тут появился наконец Густав.

— Птичка попалась,— заявил он, потирая руки.— Он остановился в гостинице. Я видел, как он сел в лифт, и мальчишка-лифтер повез его наверх. Другого выхода в помещении нет — я там все разнюхал. Если он не убежит по крыше, он попался в ловушку.

— Крумбигель караулит? — спросил Профессор.

— Еще бы!

Миттенцвею-старшему выдали монетку, он побежал к автомату и позвонил Вторнику:

— Алло, это ты, Вторник?

— Да, Вторник слушает,— пробасил маленький Вторник в трубку.

— Пароль «Эмиль»! Говорит старший Миттенцвей. Господин в котелке поселился в гостинице «Крейд» на площади Ноллендорф. Наша штаб-квартира расположена во дворе кинотеатра, ворота слева.

Малыш Вторник все тщательно записывал, потом прочел свою запись вслух и спросил:

— Вам нужно подкрепление?

— Нет.

— Было трудно?

— Да нет, не особенно. Этот тип схватил такси, мы — другое и за ним, представляешь? А потом он здесь вышел. Взял номер и пока находится там. Небось осматривает его — не спрятался ли кто под кроватью — и сам с собой играет в очко.

— В каком он номере?

— Пока еще не знаем. Но наверняка скоро выясним.

— Как мне хочется быть с вами! Вот после каникул нам дадут сочинение на свободную тему, тогда я опишу эту историю.

— Кто-нибудь уже звонил?

— Нет, сдохнуть можно от скуки.

— Ну, будь, малыш.

— Желаю удачи, господи. Что я еще хотел сказать?.. Пароль «Эмиль»!

— Пароль «Эмиль»! — ответил Миттенцвей и побежал назад во двор.

Было уже восемь вечера. Профессор пошел в гостиницу проверить караульный пост.

— Сегодня мы его уж, видно, не поймаем, — с досадой сказал Густав.

— И все же для нас самое лучшее, чтобы он поскорее лег спать, — возразил Эмиль. — Потому что если он вздумает еще кататься в такси, шататься по ресторанам, отправиться на танцы или в театр, а может, чего доброго, проделать все это подряд, то где же нам взять деньги? Прикажете сделать заем у дружественной страны?

Профессор вернулся, послал братьев Миттенцвей на площадь как связных и долго молчал, не участвуя в общем разговоре.

— Надо выдумать какой-то хитрый способ, чтобы за ним получше следить, — сказал он наконец. — Думайте все, думайте!

Все долгое время сидели молча и думали.

Вдруг раздалось тренканье велосипедного звоночка, и во двор вкатился маленький никелированный велосипед. Педали крутила девочка, а на багажнике примостился Блеуер.

— Ура! — завопили оба.

Эмиль вскочил, помог им слезть с велосипеда, восторженно потряс девочке руки и объяснил остальным:

— Это моя кузина Пони-Шапочка.

Профессор вежливо предложил Пони свой стул, и она села.

— Ну и силен же ты, Эмиль! — сказала она. — Приехал в Берлин, и все у тебя завертелось, как в кино. Мы как раз собирались уже идти на вокзал Фридрихштрассе встречать следующий поезд из Нейштадта, но тут в дверь позвонил твой друг Блеуер и принес записку. Славный парень, кстати. Поздравляю.

Блеуер стоял, выпятив грудь, и был красный как рак.

— Ну, родители и бабушка никуда, конечно, не пошли, — рассказывала дальше Пони, — сидят себе дома и теряются в догадках, что с тобой случилось. Им мы, само собой, ничего не рассказали. Но я вышла вместе с Блеуером, сказала — провожу его до угла. И удрала сюда. Но мне тут же надо вернуться, не то они всю полицию поставят на ноги. Представляете, в тот же день исчезает и второй ребенок — нет, этого их нервы не выдержат!

— Вот десять пфеннигов, которые вы мне дали на обратный путь, — гордо сказал Блеуер. — Мы их сэкономили.

Профессор спрятал деньги.

— Они злились? — спросил Эмиль.

— Нисколько, — заверила его Пони. — Бабушка бежала по комнате и столько раз повторяла: «Мой внук Эмиль просто решил сперва заглянуть по дороге к президенту Гинденбургу», что мои родители в конце концов успокоились. Но завтра, надеюсь, вы эту птичку поймаете? А кто у вас Шерлок Холмс?

— Вот он, — сказал Эмиль, — это Профессор.

— Очень приятно, господин Профессор, наконец-то я познакомилась с настоящим сыщиком, — сказала Пони.

Профессор смущенно улыбнулся и пробормотал что-то невнятное.

— Вот вам мои карманные деньги, — продолжала Пони, — пятьдесят пять пфеннигов. Купите себе две сигары.

Эмиль взял мелочь. Она сидела на стуле, как королева красоты, а мальчишки окружали ее, как судьи на конкурсе.

— Теперь я смоюсь, — объявила Пони, — а завтра прикачу к вам с самого утра. Где вы будете спать? Как бы мне хотелось остаться здесь с вами! Я сварила бы вам кофе. Но что поделаешь! Девочке почему-то не полагается шататься по ночам. Вот так. До свиданья, господа! Спокойной ночи, Эмиль!

Пони похлопала Эмиля по плечу, вскочила на свой велосипед, звякнула и укатила.

Мальчики долго стояли, не в силах вымолвить ни слова.

Первым обрел дар речи Профессор.

— Колоссально! — выдавил он с трудом.

Все остальные с ним согласились.

Глава одиннадцатая

В ГОСТИНИЦУ ПРОКРАДЫВАЕТСЯ ШПИОН

Время тянулось медленно.

Эмиль обошел все три поста и хотел было сменить кого-нибудь, но и Крумбигель и оба брата Миттенцвей отказались. Тогда Эмиль отважился добраться, крадучись, до гостиницы и даже заглянуть в холл. Во двор он вернулся в сильном волнении.

— У меня такое чувство, что у нас все провалится, — сказал он. — Точно провалится, если ночью у нас не будет в гостинице своего человека. Правда, Крумбигель стоит на посту. Но стоит ему на мгновение отвернуть голову, и Грундайс тю-тю.

— Легко тебе говорить! — крикнул Густав. — Не можем же мы подойти к портье и сказать: «Нам делать нечего, мы хотим посидеть немного у вас на лестнице». А тебе туда и близко подходить нельзя. Если этот негодяй вдруг почему-либо приоткроет дверь своего номера и увидит тебя, то все зря, нам крышка.

— Я предлагаю совсем не то, — сказал Эмиль.

— А что же? — спросил Профессор.

— В гостинице я видел мальчика. Он у них, видно, лифтер. А может, посыльный. Кто-нибудь из нас должен к нему пойти и рассказать, в чем дело. Ведь он наверняка знает в гостинице все ходы и выходы, он нам поможет.

— Что ж, хорошо, — сказал Профессор. — Очень хорошо.

У него была смешная привычка все оценивать: он словно расставлял всем отметки. За это его и прозвали Профессор.

— Ай да Эмиль! Еще одна такая штука придет тебе в голову, и мы дадим тебе звание академика. Хитер, буд-то в Берлине родился! — воскликнул Густав.

— Уж не воображаешь ли ты, что хитрые рождаются только в Берлине? — возмутился Эмиль. Он был явно

уязвлен в своем нейштадтском патриотизме.— Нам вообще еще надо подраться.

— Это еще почему? — спросил Профессор.

— Он ужасно оскорбил мой выходной костюм.

— Ваш матч мы отложим на завтра,— решил Профессор.— А может, и вообще отменим.

— Знаешь, твой костюм не такой уж дурацкий,— примирительным тоном сказал Густав.— Я к нему привык. А подраться я всегда готов. Но учти: я здешний чемпион. Так что берегись!

— Я у нас в школе тоже абсолютный чемпион. Почти,— заявил Эмиль.

— Петухи настоящие,— сказал Профессор.— Собственно, я сам хотел пойти в гостиницу, но вас и минуту нельзя оставить вдвоем: вы тут же кидаетесь друг на друга.

— Давай тогда я пойду,— предложил Густав.

— Хорошо, иди ты! — сказал Профессор.— Поговори с лифтером. Но будь осторожен! Может, тебе что-нибудь и удастся. Главное, постарайся выяснить, в каком номере живет этот тип. Через час ты вернешься и нам все доложишь.

Густав убежал.

Профессор и Эмиль стояли у ворот и рассказывали друг другу о своих учителях. Потом Профессор объяснил Эмилю, как разбираться в иностранных машинах, которые проезжали мимо, и Эмиль быстро начал осваивать это дело. Потом они вместе съели бутерброд.

Тем временем стало темно. Повсюду зажглись световые рекламы. Гроыхало метро, гудели машины, дребезжали трамваи, ревели автобусы, позвякивали велосипедисты — все эти звуки сливались в безумную мелодию ночного города. Из кафе доносилась музыка. В кино начинался последний сеанс, и люди теснились у входа.

— Такое большое дерево, как вон то, у метро, выглядит здесь странно,— сказал Эмиль.— Кажется, оно заблудилось.

Мальчик был так захвачен видом ночного Берлина, что на минуту забыл, почему он здесь, забыл, что у него украли сто сорок марок.

— Мировой город! Кажется, что смотришь кино. Но не знаю, хотел бы я здесь жить всегда. В Нейштадте есть Верхний рынок и Нижний рынок, Вокзальная площадь, стадион у реки и площадка для игр в Азельском парке. Вот и все наши достопримечательности. Но знаешь, Профессор, мне этого хватает. Всегда этот праз-

дничный шум по ночам... Тысячи улиц и площадей!.. Я заблудился бы... Представь себе, если бы вас не было и я стоял бы здесь совсем один. Прямо мороз по коже...

— Ко всему привыкаешь,— сказал Профессор.— Я, наверно, не мог бы жить в Нейштадте, где всего три площади и Азельский парк...

— Ко всему привыкаешь,— повторил Эмиль.— Но Берлин красив, спору нет. Здорово красив.

— А твоя мама очень строгая? — спросил берлинский мальчик.

— Моя мама? Строгая? — переспросил Эмиль.— Да что ты! Она мне все разрешает. Но я не делаю ничего такого. Ясно?

— Нет,— честно признался Профессор,— мне это не ясно.

— Не ясно? Ну, так послушай. У вас много денег?

— Не знаю. Дома у нас о деньгах не говорят.

— Думаю, если дома не говорят о деньгах, значит, их столько, что не надо считать.

Профессор на минуту задумался, потом сказал:

— Возможно.

— Вот видишь. А мы с мамой часто говорим о деньгах. У нас их мало. Маме приходится все время подрабатывать, и все равно она не может свести концы с концами. Но когда мы идем всем классом на экскурсию, мама мне всегда дает не меньше денег, чем дают другим ребятам. А иногда даже больше.

— Как же она может?

— Не знаю, но она это делает. И я всегда приношу половину назад.

— Она хочет, чтобы ты принес назад деньги?

— Глупости! Но я хочу.

— Понятно,— сказал Профессор.— Значит, вот как у вас обстоит дело.

— Да. Именно так. И даже когда она мне разрешает пойти с Претшом за город — он живет в нашем доме на первом этаже — и гулять до девяти часов вечера, я возвращаюсь к семи. Потому что не хочу, чтобы она одна ужинала на кухне. А мама даже настаивает, чтобы я гулял со всеми допоздна. И знаешь, я как-то попробовал остаться подольше. Но оказалось, что удовольствие мне уже не доставляет удовольствия. И я вижу, что она все же рада, когда я рано прихожу домой.

— Нет,— сказал Профессор,— у нас все совсем по-другому. Если я когда-нибудь приду домой вовремя, то наперед могу держать пари, что папы с мамой нет —

они в гостях или в театре. Мы тоже недурно друг к другу относимся. Это точно. Но почти никогда не проводим время вместе.

— А для нас это единственное удовольствие, которое нам по карману! Но я вовсе не маменькин сынок. А если кто так думает, то я живо докажу обратное своими кулаками. Понять это, кажется, немудрено.

— Я уже понял.

Мальчики постояли еще немного молча у ворот. Ночь спустилась на город. Мерцали звезды. Месяц косил одним глазом над железнодорожным полотном.

Профессор откашлялся и спросил, не глядя на товарища:

— Вы, наверно, очень друг друга любите?

— Очень,— ответил Эмиль.

Глава двенадцатая

МАЛЬЧИШКА-ЛИФТЕР В ЗЕЛЕННОЙ ЛИВРЕЕ

Около десяти вечера во двор кинотеатра вступило подразделение резервного отряда, чтобы доставить провиант (бутербродов было столько, что ими можно было бы накормить голодающие народы) и получить новые распоряжения. Профессор был возмущен их появлением и заявил, что им здесь нечего делать: их задача — дежурить на Никельсбургской площади и ждать связного Трауготта.

— Не будь таким вредным,— сказал Петцольд.— Мы просто умираем от любопытства: мы ведь не знаем, что здесь у вас происходит.

— Мы вообще думали, с вами случилась беда, потому что Трауготт к нам ни разу не прибежал,— добавил Герольд извиняющимся тоном.

— Сколько народу осталось на площади? — спросил Эмиль.

— Четверо или трое,— ответил Фридрих Первый.

— Возможно, только двое,— уточнил Герольд.

— Больше не расспрашивай,— завопил в бешенстве Профессор,— а то еще выяснится, что там вообще никого не осталось.

— Пожалуйста, не ори,— сказал Петцольд,— ты чего так раскомандовался?

— Я предлагаю немедленно прогнать Петцольда и запретить ему ловить с нами вора! — крикнул Профессор и топнул ногой.

— Мне жаль, что вы ссоритесь из-за меня,— сказал Эмиль.— Давайте решим этот спор, как в рейхстаге,— голосованием. Я предлагаю сделать Петцольду предупреждение. Нельзя, чтобы каждый делал все, что вздумается.

— Кончайте задаваться, гады! Я и так уйду, больно нужно мне с вами канителиться...— заявил Петцольд, потом добавил еще какое-то неприличное слово и убежал.

— Это он нас подбил сбегать сюда, а то мы бы ни с места,— рассказывал Герольд.— А Церлетт остался дежурить там, на площади.

— Не говорите больше о Петцольде! Ни слова о нем! — приказал Профессор и тут же успокоился: он прекрасно владел собой.— С этим вопросом всё!

— А нам что делать? — спросил Фридрих Первый.

— Пожалуй, уж подождите, пока Густав вернется из гостиницы и доложит ситуацию,— предложил Эмиль.

— Хорошо,— согласился Профессор.— А кто это там идет? Кажется, мальчишка-лифтер.

— Да, он,— подтвердил Эмиль.

В воротах стоял мальчик в зеленой ливрее и точно таком же кепи, надетом набекрень. Он кивнул ребятам и медленно двинулся к ним.

— Какая мировецкая униформа, черт побери! — не без зависти воскликнул Герольд.

— Тебя к нам послал наш шпион Густав? — крикнул ему Профессор.

Лифтер был уже совсем близко; он кивнул и сказал:

— Да.

— Ну так валяй говори, что там?! — не выдержав, крикнул Эмиль.

И тут вдруг загудел клаксон! И зеленый лифтер запрыгал как сумасшедший по двору и захохотал.

— Эмиль, старик,— завопил он,— ты идиот!

Потому что это был не лифтер, а Густав собственной персоной.

— Эй ты, зеленявка,— в шутку подразнил его Эмиль.

И все захохотали так громко, что кто-то распахнул окно и закричал: «Не мешайте спать!»

— Здóрово! — восхитился Профессор.— Но прошу вас потише, господа. Густав, сядь-ка и валяй дуй все по порядку.

— Ребята, прямо кино! Со смеху умрешь. Послушайте только! Я прокрался в гостиницу, увидел лифтера и подманил его пальцем. Он тут же подошел ко мне. Ну и я ему выложил все, от начала до конца. Про Эмиля.

И про вас. И про вора. И что он живет у них в гостинице. И что нельзя терять его из виду, чтобы мы смогли завтра вернуть Эмилю эти деньги. «Что ж, отлично,— сказал мне лифтер.— У меня здесь есть еще одна ливрея: ты ее наденешь и будешь вторым лифтером».— «А что скажет на это портье: он ведь не может меня не заметить?» — спросил я. «Он ничего не скажет, он разрешит,— сказал мальчик,— потому что портье — мой отец». Что уж он там наговорил своему предку, не знаю. Но так или иначе, я получил вот эту ливрею, и мне разрешено провести ночь в дежурке, которая, на счастье, оказалась пустой, и мне даже можно прихватить с собой еще кого-нибудь. Ну, что вы на все это скажете?

— В каком номере живет вор? — спросил Профессор.

— Тебя ничем не удивишь! — обиженно проворчал Густав.— Работать мне, естественно, не надо. Велели только не путаться под ногами. Лифтер сказал мне, что вор живет, кажется, в номере шестьдесят один, но уверен он не был. Я тут же рванул на третий этаж. Крадусь, как шпион,— никто не заметит. То из-за угла выгляну, то за перилами спрячусь. Наверно, с полчаса так сидел, вдруг дверь шестьдесят первого номера как раскроется! Как он выйдет! И точно. Наш вор! Ему надо было... ну, сами догадываетесь куда... Я его там, в кафе, как следует разглядел. Маленькие черные усики, ушки такие тонкие, насквозь просвечивают, и рожа кирпича просит. Когда он вернулся... ну, сами знаете откуда... я к нему раз... «Вы чего-нибудь ищете? — спрашиваю.— Может, вам чего-нибудь нужно?» — «Ничего мне не надо,— говорит.— Хотя постой! Скажи портье, чтобы меня разбудили завтра ровно в восемь. Номер шестьдесят один. Смотри не забудь!» — «Не забуду, будьте уверены,— говорю.— Ровно в восемь у вас зазвонит телефон». И наш вор спокойно потопал к себе в номер.

— Вот это да! — Профессор был просто в восторге, ну а остальные и подавно.— К восьми мы будем его торжественно встречать у дверей гостиницы. А потом поймать его будет легко.

— Можно считать, что он готов! — воскликнул Герольд.

— Торжественная встреча с цветами! — сказал Густав.— Мне пора идти. Я должен еще опустить в ящик письмо для номера двенадцать. Я уже получил чаевые — пятьдесят пфеннигов. Доходная профессия. Лифтер иногда зарабатывает до десяти марок чаевыми. Он

рассказал мне. Часов в семь я встану и позабочусь о том, чтобы нашего негодяя разбудили вовремя. А потом я снова здесь появлюсь.

— Дорогой Густав, как я тебе благодарен! — сказал Эмиль почти торжественно. — Теперь уже ничего не может случиться. Завтра мы его схватим. А сейчас все могут спокойно идти спать. Верно, Профессор?

— Да, все отправляются домой, чтобы как следует выспаться. А завтра утром, ровно в восемь, мы все собираемся здесь. Хорошо бы раздобыть еще хоть немного денег. Кто сможет, пусть принесет. Я позвоню сейчас Вторнику. Всех, кто ему завтра утром позвонит, он направит в наш резерв. Может, придется оцепить весь квартал.

— Я пойду с Густавом ночевать в гостиницу, — сказал Эмиль.

— Пошли, тебе там здорово понравится. Мировая конура!

— Я сейчас позвоню, а потом тоже пойду домой, а дорогой отпущу Церлетта, — объяснил Профессор. — А не то он до утра просидит на Никельсбургской площади, он такой. Все ясно?

— Так точно, господин президент полиции, — пошутил Густав.

— Завтра утром встречаемся здесь во дворе ровно в восемь, — повторил Герольд.

— Принеси, если удастся, немного денег, — напомнил Фридрих Первый.

Стали прощаться. Все пожимали друг другу руки, как мужчины. Ребята разошлись по домам. Густав и Эмиль отправились в гостиницу. Профессор пересек Ноллендорфскую площадь, чтобы позвонить из кафе Вторнику.

Час спустя они все уже спали. Большинство в своих постелях. А двое в дежурке на четвертом этаже гостиницы «Крейд».

А один из них — у телефона, в кресле отца. Это был малыш Вторник. Он не покинул своего поста. Трауготт отправился домой. А Вторник не решился отойти от аппарата. Он спал, примостившись на подлокотнике, и ему приснились четыре миллиона телефонных разговоров.

В полночь его родители вернулись из театра. Они очень удивились, обнаружив, что сын их спит в кресле.

Мать взяла его на руки и отнесла в постель. Он вздрогнул и пробормотал во сне: «Пароль — „Эмиль“».

ГОСПОДИНА ГРУНДАЙСА СОПРОВОЖДАЕТ ПОЧЕТНЫЙ ЭСКОРТ

Окна номера 61 выходили на Нолендорфскую площадь. И когда на следующее утро господин Грундайс, причесываясь перед зеркалом, случайно бросил взгляд в окно, он обратил внимание на то, что там играет очень много детей. Не меньше двух дюжин мальчишек гоняли мяч в сквере. На углу соседней улицы тоже столпились ребята, и большая группа детей шаталась без видимого дела у входа в метро.

— Наверное, у них каникулы,— с досадой пробурчал он и завязал галстук.

А тем временем Профессор проводил во дворе кинотеатра собрание руководителей; он разносил их в пух и прах.

— Мы день и ночь ломаем себе голову, как изловить этого гада! Как его не спугнуть! А вы, ослы, собираете здесь ребят со всего Берлина! Нам что, зрители нужны? Может, у нас съемки? Если наш вор уйдет от нас, то вы будете в этом виноваты, болтуны несчастные!

Ребята стояли кружком и терпеливо выслушивали эту ругань, однако, судя по их виду, никак нельзя было сказать, что они страдают от угрызений совести.

— Не волнуйся, Профессор,— сказал наконец Герольд, которому, видно, все же было неловко,— вора мы так и так поймаем, это точно.

— Мотайте отсюда, болваны! Распорядитесь хотя бы, чтобы ваши войска глаза не мозолили, а главное, не смотрели бы в сторону гостиницы. Ясно? Валяйте действуйте!

Ребята разошлись. Сыщики остались одни во дворе.

— Портье одолжил мне десять марок,— докладывал Эмиль.— Если наш тип снова вздумает кататься на такси, у нас хватит теперь денег ехать за ним следом.

— Вели всем ребятам просто разойтись по домам,— предложил Крумбигель.

— Ты что, всерьез думаешь, что они меня послушаются? Даже землетрясение не заставило бы их сдвинуться с места,— сказал Профессор.

— Тогда остается только один выход,— решил Эмиль.— Нам придется изменить наш план. Сыщикам теперь уже нет никакого смысла тайно отслеживать

Грундайса. Придется пойти на него в открытую. Чтобы он заметил, что окружен со всех сторон, что везде ребята.

— Я об этом тоже уже думал,— сказал Профессор.— Мы изменим тактику, загоним его в самую гущу, чтобы он сам в конце концов сдался.

— Вот здорово! — закричал Герольд.

— Он, наверно, предпочтет выложить деньги, чем часами ходить с эскортом из сотни орущих ребят, пока не сбежится весь город и его не задержит полиция,— объяснил Эмиль.

Ребята согласно кивали. Тут в воротах зазвенел велосипедный звонок, и Пони-Шапочка вкатил во двор.

— Привет, мальчишки! — крикнула она еще на ходу, потом соскочила с седла, поздоровалась с кузеном Эмилем, с Профессором и с остальными и отцепила от багажника маленькую корзиночку.— Я привезла вам кофе и булочки! Даже чашку раздобыла. Ой, у нее отбилась ручка! Как не повезло!

Правда, все ребята уже завтракали. Даже Эмиль — в гостинице «Крейд». Но никому не хотелось портить девочке настроение. И все по очереди пили из чашки с отбитой ручкой кофе и уплетали булочки с таким аппетитом, словно у них месяц во рту маковой росинки не было.

— До чего вкусно! — воскликнул Крумбигель.

— Какая свежая булочка! — невнятно пробурчал Профессор, потому что у него был полон рот.

— Так-то! Все же без женщины в доме плохо! — радостно сказала Пони.

— Во дворе,— поправил Герольд.

— Что дома? — поинтересовался Эмиль.

— Спасибо, всё в порядке. Бабушка передает тебе особый привет. И велит поскорее прийти, а то в наказание тебя каждый день будут кормить рыбой.

— Фу, гадость! — закричал Эмиль и скорчил гримасу.

— Почему гадость? — спросил Миттенцвей-младший.— Рыба — это очень вкусно.

Все с удивлением на него поглядели, потому что он всегда молчал. А он, красный как рак, спрятался за спину старшего брата.

— Эмиль не ест рыбы. А если проглотит хоть кусочек, ему тут же делается плохо,— объяснила Пони.

Они болтали о чем попало, и настроение у всех было превосходное. Профессор держал велосипед Пони.



Крумбигель пошел к колонке сполоснуть термос и чашку. Миттенцвей-старший аккуратно складывал бумагу из-под булочек. Эмиль снова прикрутил корзинку к багажнику. Герольд ощупывал шины — не надо ли их подкачать. А Пони-Шапочка скакала по двору, то напевая про себя песенку, то болтая всякую всячину.

— Стоп! — крикнула она вдруг и застыла на месте. — Я совсем забыла спросить: почему собралось такое дикое количество детей на Ноллендорфской площади? Это похоже на школьную экскурсию.

— Всё это любопытные, которые прослышали, что мы ловим вора. Они тоже хотят в этом участвовать, — объяснил Профессор.

В это мгновение в ворота влетел Густав, загудел и заорал не своим голосом:

— Бегом, он вышел!

Все было кинулось за Густавом, но Профессор крикнул:

— Стойте! Слушайте внимательно! Мы его, как решили, окружим со всех сторон. Спереди — дети, сзади — дети, справа — дети, слева — дети! Ясно? Дальнейшие приказы в пути. Теперь помчались!



Спотыкаясь и толкая друг друга, они выбежали за ворота. Пони-Шапочка, несколько обиженная, осталась одна во дворе. Она вскочила на свой маленький никелированный велосипед и пробормотала, как бабушка:

— Мне это что-то не по душе, мне это что-то не по душе.

А потом поехала за мальчишками.

Господин в котелке выходил как раз из дверей гостиной; он медленно спустился по ступенькам и повернул направо, к Клёйшттрассе. Профессор, Эмиль и Густав разослали посланцев во все концы площади, и три минуты спустя господин Грундайс оказался окружен со всех сторон.

Он оглянулся, ничего не понимая. Ребята разговаривали друг с другом, смеялись, пихали и тузили друг друга, но при этом все шли с ним в ногу. Некоторые рассматривали его с таким явным любопытством, что он терялся и отводил взгляд.

— Эй!

Мимо его головы пролетел мяч. Он вздрогнул и ускорил шаг. Но ребята не отставали — они тоже прибавили ходу. Он хотел было быстренько свернуть в боковую улочку, но и оттуда ему навстречу выбежала ватага детей.

— Гляди, у него такой вид, будто он сейчас чихнет! — крикнул Густав.

— Прикрывай меня, — сказал ему Эмиль, — он еще не должен меня видеть. Этот сюрприз его ждет впереди.

Густав расправил плечи и пошел впереди Эмиля, как боксер-тяжеловес. Пони-Шапочка ехала рядом с ними вдоль тротуара и от радости все время трезвонила.

Господин в котелке стал заметно нервничать. Он, видимо, смутно догадывался, что его ожидает, и все убыстрял и убыстрял шаг. Но тщетно. Уйти от врагов ему не удавалось.

Вдруг он остановился как вкопанный, а потом резко повернул и побежал назад, вниз по улице, по которой только что подымался. Дети тоже разом повернули, и все шествие двинулось в обратном направлении.

Один мальчишка — это был Крумбигель — так неожиданно перебежал ему дорогу, что господин споткнулся и чуть не упал.

— Как ты смеешь, негодяй, — заорал вор, — я сейчас позову полицейского!

— Прошу вас, позовите, да поскорей: мы только этого и ждем. Ну, чего же вы не зовете?

Но господин Грундайс и не думал звать полицейского. Наоборот, ему явно становилось все больше не по себе. Он не на шутку испугался и не знал, куда ему податься. Изо всех окон уже высывались любопытные. Продавщицы и покупатели выбегали из магазинов, чтобы узнать, что происходит. Появись теперь полицейский, все было бы в порядке.

И тут вор нашел блестящий выход. Он увидел отделение Коммерческого банка, прорвался сквозь цепь детей, распахнул дверь и исчез.

Профессор рванулся следом, но у двери остановился и крикнул:

— Мы с Густавом пойдем за ним, а Эмиль пусть пока остается здесь: ему еще рано объявляться. Когда Густав подаст знак клаксоном, Эмиль с десятью мальчишками прибегут к нам на помощь. Отбери пока свою команду, Эмиль. Операция будет не из легких.

И Профессор с Густавом захлопнули за собой тяжелую банковскую дверь.

У Эмиля так колотилось сердце, что даже в ушах гудело. Сейчас все решится! Он вызвал из толпы Крумбигеля, Герольда, братьев Миттенцвей и еще нескольких мальчишек, а остальным приказал разойтись.

Ребята отошли от банка на несколько шагов, но не дальше. Ни при каких обстоятельствах они не могли пропустить финала этой истории.

Пони-Шапочка дала какому-то мальчику подержать свой велосипед и подошла к Эмилю.

— Я здесь,— сказала она.— Смотри держись. Сейчас начнется главное. Ой, я, кажется, лопну от нетерпения! Лопну, как воздушный шарик.

— А я, думаешь, нет? — спросил Эмиль.

Глава четырнадцатая

БУЛАВКИ ТОЖЕ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ

Когда Густав и Профессор вошли в банк, господин в котелке стоял у окошечка, над которым было написано: «Прием и выдача вкладов», и с нетерпением ждал, чтобы им занялись. Кассир говорил по телефону.

Профессор стал рядом с вором и, как ищейка, следил за каждым его движением; Густав стоял за вором, а в руке, засунутой в карман, держал наготове клаксон.

Кассир, закончив разговор, подошел к окошечку и спросил Профессора, что ему угодно.

— Займитесь, пожалуйста, сперва этим господином,— сказал Профессор.— Я за ним.

— Что вам угодно? — повторил свой вопрос кассир, обращаясь на этот раз к господину Грундайсу.

— Я попрошу вас разменять ассигнацию в сто марок на две по пятьдесят и дать мне серебра на сорок марок,— сказал вор, вынув из кармана и протягивая кассиру одну купюру в сто марок и две по двадцать.

Кассир взял все три протянутые ему купюры и подошел с ними к несгораемому шкафу.

— Минуточку! — громко крикнул Профессор.— Эти деньги краденые!

— Что-о-о! — испуганно переспросил кассир и повернулся к окошечку.

Другие кассиры и служащие, сидевшие в соседних окошечках и что-то подсчитывавшие, бросили работу и повскакали со своих мест, словно их укусила змея.

— Деньги, которые у вас в руках, не принадлежат этому господину. Он украл их у моего друга, а сейчас хочет разменять, чтобы мы ничего не смогли доказать,— объяснил Профессор.

— Что за неслыханная дерзость! В жизни такого не видел! — возмутился господин Грундайс.— Извините меня, пожалуйста,— обернулся он к кассиру и влепил Профессору звонкую пощечину.

— От этого ты не перестанешь быть вором,— сказал Профессор и так двинул Грундайса головой в живот, что тот чуть не упал.

И вот тут Густав трижды ужасно громко загудел. Теперь уже все банковские служащие повскакали с мест и сгрудились у окошечек, а управляющий пулей вылетел из своего кабинета.

И тут, в довершение всего, в зал вбежали десять мальчишек с Эмилем во главе и окружили кольцом господина в котелке.

— Что случилось, черт побери? Эти мальчишки как с цепи сорвались! — закричал управляющий.

— Эти хулиганы утверждают, будто я украл у одного из них те деньги, которые хотел только что разменять у вашего кассира,— объяснил господин Грундайс, дрожа от злости.

— Да, так оно и есть! — крикнул Эмиль и подскочил к окошечку.— Он украл у меня одну стомарковую ассигнацию и две по двадцать марок. Это случилось вчера,

после обеда. В поезде, который ехал из Нейштадта в Берлин! Пока я спал.

— А ты можешь это доказать? — строго спросил кассир.

— Я в Берлине уже целую неделю, а вчера весь день, с утра до вечера, провел в городе, — заявил вор и вежливо улыбнулся.

— Как вам не стыдно так лгать! — завопил Эмиль, чуть не плача от бешенства.

— А как ты докажешь, что этот господин тот самый, который ехал с тобой в поезде? — спросил управляющий.

— Да никак, конечно, — презрительно буркнул вор.

— Раз ты был с ним вдвоем в купе, значит, у тебя нет свидетелей, — объяснил один из служащих.

У друзей Эмиля сразу вытянулись лица.

— Есть, — закричал Эмиль, — у меня есть свидетель! Это фрау Якоб из Гросс-Грюнау. Она сидела вместе с нами в купе. А потом сошла. И еще велела мне передать от нее сердечный привет господину Курцхальцу у нас, в Нейштадте.

— Похоже, что вам без алиби не обойтись, — сказал управляющий вору. — А у вас есть алиби?

— Само собой разумеется, — заявил вор. — Я живу здесь неподалеку, в гостинице «Крейд».

— Со вчерашнего вечера, — уточнил Густав. — Я всю ночь проторчал в гостинице, переодетый в посыльного, так что бросьте заливать.

Служащие улыбнулись; их интерес к мальчикам заметно возрос.

— Пожалуй, нам придется до выяснения оставить эти деньги здесь, господин... — сказал управляющий и вырвал из блокнота листок бумаги, чтобы записать имя и адрес вора.

— Его фамилия Грундайс, — сказал Эмиль.

Господин в котелке громко расхохотался.

— Вот видите, — сказал он, — здесь явно какое-то недоразумение. Моя фамилия Мюллер.

— Ой, как он подло врет! В поезде он сказал, что его фамилия Грундайс! — в бешенстве закричал Эмиль.

— У вас есть документы? — спросил кассир.

— К сожалению, я их не захватил с собой, — ответил вор. — Но если вы подождете, я тут же сбегаю за ними в гостиницу.

— Он врет, врет! Это мои деньги, и он должен мне их вернуть! — кричал Эмиль.



— Допустим, что ты и прав, мой мальчик, но так просто такие вещи не решаются,— объяснил кассир.— Как ты докажешь, что это твои деньги? Может быть, ты помнишь номера?

— Конечно, нет,— сказал Эмиль.— Разве придет в голову, что тебя могут обокрасть? Мне их дала мама для бабушки, которая живет здесь, в Берлине, Шуманштрассе, дом пятнадцать.

— Может, на одной из бумажек был оторван уголок или ты запомнил еще какую-нибудь другую примету?

— Нет, я ничего такого не заметил.

— Господа, даю вам честное слово, это мои деньги. Не стану же я грабить детей! — воскликнул вор.

— Стой! — вдруг завопил Эмиль и даже подпрыгнул, так ему сразу стало легко.— Стой! В поезде я булавкой приколот конвент с деньгами к подкладке кармана. Значит, все три бумажки должны быть проколоты!

Кассир поднял ассигнации против света. Все затаили дыхание. Вор отступил на шаг. Управляющий нервно барабанил пальцами по столу.

— Мальчик прав! — воскликнул кассир, побледнев от волнения.— Ассигнации в самом деле проколоты!

— А вот и булавка, которой это сделано,— сказал Эмиль и гордо положил булавку на стол.— Я даже палец себе уколол.

Тут вор вдруг с быстротой молнии сорвался с места, растолкал детей, да так энергично, что они повалились на пол, промчался через зал, рванул дверь и был таков.

— Догнать его! — крикнул управляющий.

Все кинулись к дверям.

Но когда служащие выскочили на улицу, вора уже окружили не меньше двадцати мальчишек. Они держали его за ноги, повисли на нем, вцепились в его пиджак. Он размахивал руками как сумасшедший, пытаясь вырваться. Но мальчишки не выпускали его.

А по улице к ним уже бежал постовой, за которым Пони сгоняла на своем велосипеде. И управляющий потребовал, чтобы полицейский задержал этого человека, который называет себя то Грундайсом, то Мюллером. Потому что он, по всей вероятности, железнодорожный вор.



Кассир сходил за проколотыми деньгами и булавкой и отправился вместе с ними. Это было удивительное шествие! Впереди шагали постовой и кассир, между ними — вор, а сзади — человек сто детей, не меньше! Так и шли они всю дорогу до полицейского участка.

А Пони-Шапочка ехала рядом на своем маленьком никелированном велосипеде. Вдруг она кивнула счастливому Эмилю и крикнула:

— Эмиль, послушай! Я сейчас мотану домой и расскажу про весь этот цирк!

Эмиль кивнул в ответ и тоже крикнул:

— Передай всем привет. Скажи, что я буду к обеду!

— Знаешь, на что все это похоже? — снова крикнула Пони. — На школьную экскурсию. В зоопарк.

Она завернула за угол и, трезвоня, исчезла.

Глава пятнадцатая

ЭМИЛЯ ВЫЗЫВАЮТ В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ

Шествие остановилось у ближайшего полицейского участка. Постовой тут же доложил дежурному о случившемся. Эмиль дополнил рассказ несколькими подробностями. Потом у него спросили, где и когда он родился, как его имя и фамилия и где он проживает. И все это дежурный записал чернилами в толстую книгу.

— А вас как зовут? — спросил он вора.

— Герберт Кислинг, — ответил тот.

Тут трое мальчишек — Эмиль, Густав и Профессор — громко расхохотались. И кассир, который передал дежурному сто сорок марок и булавку, тоже не смог удержаться от смеха.

— Во дает! — воскликнул Густав. — Сперва его звали Грундайс. Потом Мюллер. А теперь, оказывается, Кислинг! Интересно бы узнать, как его зовут на самом деле!

— Потише, — пробурчал дежурный. — Мы его выведем на чистую воду.

Господин Грундайс—Мюллер—Кислинг назвал тем временем свой нынешний адрес — гостиницу «Крейд». Потом — год и место рождения. Документов у него не было.

— А где вы проживали до вчерашнего дня? — спросил дежурный.

— В Гросс-Грюнау,— ответил вор.

— Наверно, опять погибает! — крикнул Профессор.

— Потихе! — снова пробурчал дежурный.— Это мы тоже выясним.

Кассир спросил, можно ли ему идти. Прежде чем его отпустить, дежурный также записал и все его данные. Кассир дружески похлопал Эмиля по плечу и удалился.

— Кислинг, украли ли вы вчера вечером в поезде, идущем от Нейштадта в Берлин, сто сорок марок у ученика реального училища Эмиля Тышбайна? — спросил дежурный.

— Так точно,— мрачно подтвердил вор.— Не знаю, право, как это со мной случилось. На меня что-то нашло. Мальчишка примостился в уголке и заснул. И вдруг из его кармана выпал конверт. Я поднял его и хотел просто посмотреть, что в нем. А так как у меня как раз совсем не было денег...

— Он все врет! — не вытерпел Эмиль.— Я ведь приколот деньги к подкладке. Конверт не мог выпасть.

— Точно, врет,— подтвердил Профессор.— Если бы деньги ему были позарез нужны, он бы давным-давно их разменял. Ведь он на наших глазах платил за такси, и ел в кафе яичницу, и пил пиво.

— Потихе! — пробурчал дежурный.— Не волнуйтесь, мы и это выясним.

И он записал все, что ему рассказали.

— А вы не могли бы меня пока отпустить, господин дежурный? — спросил вор и расплылся в такой вежливой улыбке, что даже глаза зажмурил.— Я ведь не отрицаю, что украл эти деньги. Где я остановился, вы тоже знаете. У меня в Берлине кое-какие дела, и мне хотелось бы ими заняться.

— Ну и шутник же вы! — воскликнул дежурный и позвонил в Управление полиции, чтобы прислали машину, так как задержан железнодорожный вор.

— А когда мне вернут мои деньги? — озабоченно спросил Эмиль.

— Ты их получишь в Управлении полиции,— ответил дежурный.— Сейчас вас туда отвезут. И там во всем разберутся.

— Эмиль,— прошептал Густав,— тебя повезут на машине с мигалкой на Александерплатц.

— Чушь! — буркнул дежурный.— Тышбайн, у тебя есть деньги на метро?

— Да, ребята вчера собрали,— сказал Эмиль.— А портье гостиницы «Крейд» дал мне займы десять марок.

— Настоящие сыщики, ничего не скажешь! Ну и ребята, черт побери! — пробурчал дежурный, но вполне добродушно.— Значит, так, Тышбайн; ты доедешь на метро до Александерплатц, а там, в Управлении, найдешь следователя Лурье. Что будет дальше, сам увидишь. А деньги тебе вернут.

— Можно мне сперва отдать портье его десять марок? — спросил Эмиль.

— Конечно.

Вскоре приехала полицейская машина, и господину Грундайсу—Мюллеру—Кислингу пришлось в нее сесть. Дежурный вручил сопровождающему полицейскому протокол, который он написал, и сто сорок марок. Булавку он ему тоже передал. И машина уехала. Дети, все еще толпившиеся перед участком, проводили ее громкими криками. Но вор даже не оглянулся. Видно, он очень гордился тем, что едет в машине.

Дежурный пожал Эмилю руку, и Эмиль поблагодарил его. Потом Профессор объявил ребятам у подъезда, что деньги Эмиль получит в Управлении полиции и что операция закончена. И ребята группами разошлись по домам. Только те, с кем Эмиль за эти сутки подружился, проводили его сперва до гостиницы, а потом до станции метро Ноллендорф. Он попросил их позвонить Вторнику, чтобы диспетчер тоже был в курсе всего. А потом он сказал, что прежде чем вернется в Нейштадт, надеется с ними со всеми еще встретиться. Но все же он сейчас хочет поблагодарить их за помощь. И деньги он им тоже отдаст.

— Если ты вздумаешь отдавать нам деньги, я тебя просто изобью! — закричал Густав.— И вообще нам еще надо подраться. Помнишь, из-за твоего дурацкого костюма?

— Да ладно,— сказал Эмиль и взял Густава и Профессора за руки,— у меня сейчас такое хорошее настроение, что драться неохота. Я не переживу, если положу тебя на обе лопатки.

— Это тебе все равно не удалось бы, даже если бы у тебя было плохое настроение, болван! — крикнул Густав.

Потом они втроем поехали на Александерплатц, в Управление полиции; там они долго блуждали по коридорам, прошли мимо множества дверей, пока, наконец,

не попали к следователю Лурье. Он как раз завтракал. Эмиль назвал себя.

— Явился! — воскликнул господин Лурье, не прекращая жевать.— Эмиль Штульбайн, Юный сыщик-любитель. Мне уже докладывали о тебе по телефону. Комиссар ждет тебя. Хочет сам с тобой побеседовать. Пошли.

— Моя фамилия Тышбайн,— поправил его Эмиль.

— Какая разница! — сказал господин Лурье и снова принялся за бутерброд с колбасой.

— Мы тебя здесь подождем,— сказал Профессор.

А Густав крикнул Эмилю вдогонку:

— Не задерживайся! Когда при мне едят, я тут же начинаю умирать с голоду.

Господин Лурье повел Эмиля по коридорам; сперва они свернули налево, потом направо, потом снова налево. Наконец он постучал в какую-то дверь. До них донесся голос:

— Войдите!

Лурье приоткрыл дверь и, все еще продолжая жевать, сказал:

— Я привел своего юного коллегу, господин комиссар. Эмиль Фишбайн, вы о нем уже слышали.

— Моя фамилия Тышбайн,— поправил его Эмиль.

— Что ж, тоже красиво,— сказал господин Лурье и так толкнул Эмиля, что тот, как мячик, влетел в комнату.

Комиссар оказался милым человеком. Он усадил Эмиля в удобное кресло и велел ему снова рассказать всю историю с начала до конца. Затем комиссар сказал торжественно:

— Ну а теперь ты получишь свои деньги.

— Ура!

Эмиль облегченно вздохнул и спрятал деньги в карман. Очень тщательно.

— Смотри, чтобы их снова у тебя не украли.

— Нет уж, этого не будет! Я сейчас же отнесу их бабушке.

— Ах да, чуть не забыл. Дай мне твой берлинский адрес. Ты пробудешь здесь еще несколько дней?

— Надеюсь,— сказал Эмиль.— Я живу на Шуманштрассе, дом пятнадцать. У Хеймбольдов. Это фамилия моего дяди. Ну и тети, конечно.

— Вы, мальчишки, молодцы,— сказал комиссар и закурил толстую сигару.

— Верно, ребята действовали толково,— восторженно подхватил Эмиль.— И Густав со своим клаксоном, и Профессор, и малыш Вторник, и Крумбигель, и братья

Миттенцвей — словом, все. Знаете, как с ними было здорово, особенно с Профессором. Сила!

— Ты тоже кое-что стоишь,— заметил комиссар и задымил сигарой.

— Да, я еще хотел вас спросить, господин комиссар: что теперь будет с Грундайсом или как его там зовут? В общем, с вором?

— Им сейчас занимаются. Надо опознать его личность. Его фотографируют, снимают отпечатки пальцев. А потом все это будут сверять с данными нашей карто-теки.

— А это что такое?

— Всех преступников, которых нам удастся поймать, мы фотографируем, берем у них отпечатки пальцев. У нас даже есть данные на тех, кого мы еще не задержали, а только ищем. Ведь вполне вероятно, что твой вор, прежде чем тебя обокрал, совершил и другие кражи, верно?

— Верно. А мне это даже в голову не пришло...

— Минутку,— оборвал комиссар Эмиля, потому что на столе зазвонил телефон.— Да, да... интересный для вас случай... Зайдите-ка все ко мне...— сказал он в трубку, потом положил ее и добавил, обращаясь к Эмилю.— Сюда сейчас придут несколько репортеров: они будут брать у тебя интервью.

— А что это такое? — спросил Эмиль.

— Брать интервью — это значит задавать вопросы.

— Ну да! — воскликнул Эмиль.— Обо мне напишут в газете?

— Наверно,— сказал комиссар.— Когда ученику реального училища удастся задержать вора, он становится знаменитым.

В дверь постучали, и в кабинет вошли четыре репортера. Комиссар пожал им руки и вкратце рассказал о приключениях Эмиля. А все четверо усердно записывали то, что говорил комиссар.

— Просто великолепно! — сказал один из репортеров.— Мальчик из провинции выступает как сыщик!

— Может, возьмете его себе на службу? — посоветовал другой и засмеялся.

— А почему ты не подошел сразу к полицейскому и не рассказал ему все? — спросил третий.

Эмиль вдруг испугался. Он вспомнил сержанта Йешке из Нейштадта и свой сон. Неужели он теперь сам попался?

— Ну, ну,— подбодрил его комиссар.

Эмиль пожал плечами и сказал:

— Эх, пусть будет что будет! Я не подошел к полицейскому потому, что в Нейштадте я раскрасил памятник великому герцогу Карлу — сделал ему красный нос и черные усы. Можете меня арестовать, господин комиссар!

Но, судя по лицам присутствующих, никто из них не был возмущен, напротив, все дружно рассмеялись. А комиссар сказал:

— Ну что ты, Эмиль! Разве мы можем посадить в тюрьму нашего лучшего сыщика!

— Правда? Ой, как я рад! — с облегчением воскликнул Эмиль. А потом он подошел поближе к одному из репортеров и спросил его: — Разве вы меня не узнали?

— Нет, — ответил тот.

— Ведь это вы купили мне вчера в трамвае билет, когда кондуктор хотел меня высадить.

— Было дело! — воскликнул репортер. — Теперь я тебя вспомнил. Ты еще спрашивал мой адрес, чтобы вернуть мне мелочь за билет.

— Можно, я вам сейчас отдам? — спросил Эмиль и вынул из кармана десять пфеннигов.

— Да что ты, и не думай! — сказал репортер. — А ты ведь мне даже тогда представился.

— Конечно, — объяснил мальчик, — человек должен знать, с кем он говорит. Но вы наверно забыли: меня зовут Эмиль Тышбайн.

— А меня — Кестнер, — сказал репортер, и они пожали друг другу руки.

— Великолепно! — воскликнул комиссар. — Оказывается, вы старые знакомые.

— Послушай, Эмиль, — сказал господин Кестнер, — не пойдешь ли ты со мной в редакцию? А до этого мы где-нибудь съедим по пирожному со взбитыми сливками.

— Вы разрешите мне вас пригласить? — спросил Эмиль.

— Ну и парень!

Все снова рассмеялись, и вид у всех был очень довольный.

— Нет уж, платить буду я, — твердо сказал господин Кестнер.

— Что ж, спасибо, я с радостью приму ваше приглашение, но меня ждут в коридоре Профессор и Густав.

— Ну, мы их, само собой, тоже прихватим, — сказал господин Кестнер.

У других репортеров были еще вопросы. Эмиль охотно на все отвечал. Репортеры записывали.

— Вор этот — новичок? — спросил один из них.

— Не думаю,— ответил комиссар.— Может, нас еще ждет какой-нибудь сюрприз. Во всяком случае, позвоните мне, пожалуйста, через полчаса.

Потом все встали и распрощались. А Эмиль пошел вместе с господином Кестнером к следователю Лурье. Тот жевал теперь бутерброд с сыром.

— А, вот и сам Цвербайн! — воскликнул он, увидев Эмиля.

— Тышбайн,— невозмутимо поправил Эмиль.

Потом господин Кестнер усадил Эмиля, Густава и Профессора в машину и повез их прежде всего в кондитерскую. Дорогой Густав вдруг как гуднет своим клаксоном. Ребята рассмеялись, увидев, что господин Кестнер испугался. В кондитерской они все очень веселились. Уплетали вишневый пирог со взбитыми сливками и болтали о чем попало: о военном совете, который они держали на площади Никельсбург, о том, как они гнались за такси, о ночи в гостинице, о Густаве в роли посыльного, о скандале в банке. И господин Кестнер сказал в конце разговора:

— Вы все трое действительно отличные ребята!

Они очень возгордились от этой похвалы и даже съели еще по кусочку вишневого пирога.

Потом Густав и Профессор побежали на автобус, а Эмиль, пообещав позвонить после обеда Вторнику, поехал вместе с господином Кестнером в редакцию.

Здание, где делают газету, оказалось огромным. Почти таким же, как Управление полиции на Александер-платц. А в коридорах был такой шум и суетолока, словно там проводили состязания по бегу с препятствиями.

Они вошли в комнату, в которой за столом работала красивая белокурая девушка. И господин Кестнер принялся ходить взад-вперед по комнате и диктовать этой девушке все то, что ему рассказал Эмиль, а она быстро-быстро стучала на машинке. Иногда он останавливался и спрашивал Эмиля:

— Все верно?

И диктовал дальше только после того, как Эмиль кивал головой.

Потом господин Кестнер снова позвонил комиссару полиции.

— Что вы говорите? — изумился он.— Просто невероятно!.. Ему пока не рассказывать?.. Ну да?.. И это тоже

он?.. Я так рад!.. Огромное вам спасибо... Вот будет сенсация!..

Господин Кестнер повесил трубку, поглядел на мальчика так, словно видел его впервые, и сказал:

— Эмиль, пошли скорее наверх. Нам надо тебя сфотографировать.

— Да что вы! — с удивлением пробормотал Эмиль, но покорно пошел за господином Кестнером, поднялся с ним еще на три этажа и очутился в светлой комнате.

Там он причесался, и его сфотографировали.

Потом господин Кестнер повел Эмиля в типографию — ну и грохот же там стоял: казалось, что стучат сразу на тысяче пишущих машинок! — отдал какому-то дяденьке странички, которые напечатала красивая белокурая девушка, и сказал, что он тут же вернется, потому что это очень срочный материал, ему надо только прежде отправить мальчика к бабушке.

Потом они на лифте спустились на первый этаж и вышли на улицу. Господин Кестнер остановил такси, усадил в него Эмиля, дал шоферу деньги, хотя мальчик и запротестовал, и сказал:

— Отвезите, пожалуйста, моего юного друга на Шуманштрассе, дом пятнадцать.

Они крепко пожали друг другу руки, и господин Кестнер сказал на прощание:

— Когда приедешь домой, передай от меня привет твоей маме. Она, видно, очень милая женщина.

— Еще бы! — воскликнул Эмиль.

— Да, и последнее! — крикнул вдогонку господин Кестнер, когда машина уже тронулась. — Обязательно прочти сегодняшний вечерний выпуск нашей газеты. Ты будешь удивлен!

Эмиль обернулся, чтобы помахать господину Кестнеру. И господин Кестнер ему тоже помахал.

Потом машина скрылась за углом.

Глава шестнадцатая

КОМИССАР ПОЛИЦИИ ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ

Такси ехало уже по Унтер-ден-Линден, когда Эмиль сказал вдруг шоферу:

— Мы, наверно, скоро приедем?

— Так точно.

— Извините, пожалуйста, но я забыл, мне вначале

надо попасть на Кайзераллее, в кафе «Жости». Там я оставил букет цветов для тети и свой чемодан. Не будете ли вы так любезны заехать сперва туда?

— Что значит «любезен»? У тебя есть деньги на случай, если не хватит тех, которые я уже получил?

— Да, деньги у меня есть. А я не могу прийти к тете без цветов.

— Ну что ж, ладно,— сказал шофер и свернул налево.

Они проехали через Бранденбургские ворота, потом мимо зеленого тенистого Тиргартена и Ноллендорфской площади. Теперь, когда все хорошо кончилось, Берлин казался Эмилю куда приветливей и уютней. Но все же он на всякий случай ощупал свой верхний карман. Деньги были на месте.

Получив свои вещи в целости и сохранности, Эмиль поблагодарил девушку за стойкой, снова сел в такси и сказал шоферу:

— Ну а теперь к бабушке!

Они развернулись, проделали весь этот длинный путь в обратном направлении, пересекли реку Шпрее и покатались по узким старым улочкам с серыми домами. Эмилю хотелось глядеть в окно, но, как назло, ему все время что-то мешало: то он возился с чемоданом, который без конца падал с сиденья, то воевал с ветром, который вырывал у него букет из рук.

Шофер затормозил. Машина остановилась у дома пятнадцать на Шуманштрассе.

— Ну вот, мы как будто и приехали,— сказал Эмиль и вылез из такси.— Сколько я вам должен добавить?

— Нисколько, наоборот, я тебе еще верну тридцать пфеннигов.

— Что вы! — воскликнул Эмиль.— Купите себе на них несколько сигар.

— Спасибо, малыш, я не курю, а жую табак,— сказал шофер и поехал дальше.

Эмиль поднялся на третий этаж и позвонил в дверь, на которой была табличка «Хеймбольд». До него донеслись громкие возгласы, потом дверь распахнулась, и он увидел бабушку. Она схватила Эмиля за шиворот, поцеловала его в левую щеку и одновременно шлепнула по правой, потом втащила за волосы в квартиру и закричала:

— Ах ты, негодник, ах ты, негодник!

— Хорошенькие вещи узнаешь о тебе,— сказала тетя Марта дружелюбно и подала ему руку.

А Пони-Шапочка — на ней был мамин передник — сунула ему локоть, пропищав:

— Осторожно! У меня руки мокрые. Мою посуду. Бедные мы, женщины!

Потом они все прошли в комнату, Эмиля усадили на кушетку, и бабушка с тетей Мартой стали его так рассматривать, словно он очень ценная картина Тициана.

— Деньги принес? — спросила Пони.

— А ты думала! — воскликнул Эмиль, вынул из кармана три бумажки, протянул сто двадцать марок бабушке и сказал: — Вот, бабушка, возьми. И мама передает сердечный привет. И просит тебя не сердиться, что ничего не послала в прошлый месяц. Но было мало работы. Зато в этот раз она посылает больше обычного

— Спасибо, мой милый мальчик, — ответила бабушка, протянула ему назад ассигнацию в двадцать марок и сказала: — Это тебе. За то, что ты такой отличный сыщик.

— Нет, я не возьму этих денег. У меня ведь есть двадцать марок, которые мне дала мама.

— Эмиль, бабушку надо слушаться. Спрячь скорее деньги!

— Нет, я их не возьму.

— Ну и болван! — воскликнула Пони-Шапочка. — Я не заставила бы себя просить!

— Нет, бабушка, мне не хочется.

— Возьми, говорят, не то у меня от бешенства разыграется ревматизм, — пригрозила бабушка.

— Ну, скорее убери эти деньги, — сказала тетя Марта и сама сунула ему бумажку в карман.

— Что ж, если вы уж так настаиваете... — простонал Эмиль. — Спасибо, бабушка.

— Это я должна благодарить тебя, это я должна благодарить тебя, — ответила бабушка и погладила Эмиля по голове.

Потом Эмиль подал тете букет. Торжественно развернули бумагу, и все растерялись — то ли плакать, то ли смеяться.

— Сушеные овощи! — заявила Пони.

— Ну конечно, они с вечера лежат без воды, — печально объяснил Эмиль. — Тут нечему удивляться. Когда мы их вчера утром купили у Штамницев, они были совсем свежие.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь, — сказала бабушка и поставила завядшие цветы в воду.

— Может, еще отойдут,— утешила его тетя Марта.— Ну а теперь давайте обедать. Дядя придет домой поздно. Пони, накрой на стол!

— Сейчас! — ответила девочка.— Эмиль, а что у нас на обед?

— Понятия не имею.

— А что ты больше всего любишь?

— Макароны с ветчиной.

— Ну, значит, ты уже знаешь, что у нас на обед.

Собственно говоря, накануне Эмиль уже ел макароны с ветчиной. Но, во-первых, любимое блюдо можно есть хоть каждый день, а во-вторых, Эмилю казалось, что с последнего обеда в Нейштадте у мамы прошло не меньше недели. И он накинулся на макароны, словно он был господином Грундайсом—Мюллером—Кислингом.

После обеда Эмиль и Пони вышли на улицу, потому что Эмилю не терпелось опробовать маленький никелированный велосипед Пони. Бабушка прилегла на кушетке. А тетя Марта пекла яблочный пирог. Она славилась в семье своими яблочными пирогами.

Эмиль мчался по Шуманштрассе, а Пони бежала за ним и держалась за седло, уверяя, что это необходимо, не то ее кузен упадет. Потом ему пришлось слезть, потому что Пони захотела продемонстрировать, как она делает восьмерки и тройки.

И тут к ним подошел полицейский с портфелем под мышкой и спросил:

— Скажите, дети, в доме пятнадцать живут Хеймбольды?

— Да,— сказала Пони.— Это мы. Одну минуту, господин майор.

Она поставила велосипед в подвал и заперла его.

— Что-нибудь плохое? — спросил Эмиль, который все еще беспокоился из-за проклятого Йешке.

— Совсем наоборот. Это ты ученик Эмиль Тышбайн?

— Да, я.

— Ну, тогда я могу тебя от души поздравить!

— У кого это день рождения? — поинтересовалась Пони, которая, вернувшись из подвала, услышала только последние слова.

Но полицейский ничего больше не сказал; он молча поднимался по лестнице. Тетя Марта ввела его в комнату. Бабушка проснулась и села на кушетке. Ее явно разбирало любопытство. Эмиль и Шапочка стояли у стола, сгорая от нетерпения.

— Дело вот в чем,— начал полицейский, раскрывая портфель.— Вор, которого сегодня утром помог задержать ученик реального училища Эмиль Тышбайн, оказался не кем иным, как грабителем банка в Ганновере, которого разыскивают вот уже месяц. Он похитил большую сумму денег. Нашим специалистам удалось установить его личность. И он уже во всем признался. Почти все деньги нашлись — они были зашиты в подкладке его костюма. Ассигнации по тысяче марок.

— С ума сойти! — воскликнула Пони-Шапочка.

— Две недели назад,— продолжал полицейский,— банк назначил премию тому, кто поймает грабителя. И так как ты,— он обернулся к Эмилю,— задержал его, ты получишь эту премию. Господин комиссар полиции передает тебе привет, он рад, что ты вознагражден за твое мужество.

Эмиль поклонился.

И тут полицейский вынул из портфеля пачку денег и пересчитал их на столе, а тетя Марта, которая с вниманием следила за его жестами, прошептала:

— Тысяча марок!

— Вот это да! — воскликнула Пони.

Бабушка подписала квитанцию. И полицейский ушел. Но перед этим тетя Марта угостила его стаканом наливки из дядиного шкафа.

Эмиль сел рядом с бабушкой; он был не в силах произнести ни слова. Бабушка обняла его и сказала, покачивая головой:

— Прямо трудно поверить. Прямо трудно поверить.

Шапочка вскочила на стул и, дирижируя, словно в комнате находился хор, пропела:

— А вот теперь, а вот теперь мы всех мальчишек пригласим на чашку кофе.

— Да,— сказал Эмиль.— Это мы тоже сделаем. Но прежде всего... ведь теперь, собственно говоря, мама... как вы считаете?.. Мама может приехать в Берлин?..

Глава семнадцатая

ФРАУ ТЫШБАЙН ВОЛНУЕТСЯ

На следующее утро жена булочника фрау Вирт из Нейштадта позвонила в дверь парикмахерши фрау Тышбайн.

— Доброе утро, фрау Тышбайн,— сказала она, войдя в квартиру.— Как поживаете?

— Доброе утро, фрау Вирт. Я так волнуюсь! До сих пор не получила ни строчки от сына. Как звонят в дверь, бегу, думаю, почтальон. Вас завить?

— Нет. Я зашла к вам, чтобы... короче, потому что мне надо вам кое-что сообщить.

— Я вас слушаю.

— Эмиль передает вам привет и...

— Бога ради, что с ним случилось?.. Где он? Что вам известно? — закричала фрау Тышбайн. Она ужасно разволновалась и в страхе всплеснула руками.

— Да с ним все в порядке, дорогая. В полном порядке! Он поймал вора. Представляете! И полиция прислала ему в награду тысячу марок. Ну, что вы скажете? И все просят вас поехать в Берлин двенадцатичасовым поездом.

— А откуда вы все это узнали?

— Ваша сестра только что позвонила из Берлина к нам в магазин. Эмиль тоже сказал несколько слов. Просил, чтобы вы приехали. Теперь, когда у вас столько денег, это ведь можно себе позволить.

— Вот оно что, вот оно что... да, конечно,— рассеянно бормотала фрау Тышбайн.— Тысяча марок? За то, что он поймал вора? Как это только ему взбрело в голову ловить вора? Всегда одни только глупости у него на уме!

— Ну как сказать! Тысяча марок — деньги немалые.

— Не говорите мне об этой тысяче марок!

— Конечно, бывают и большие несчастья. Так вы поедете?

— Еще бы! У меня не будет ни минуты покоя, пока я не увижу Эмиля.

— Тогда пожелаю вам доброго пути. Надеюсь, эта поездка доставит вам удовольствие.

— Большое спасибо, фрау Вирт,— сказала парикмахерша и закрыла за гостьей дверь, все еще недоуменно качая головой.

Уже в берлинском поезде фрау Тышбайн пережила еще одно потрясение. Против нее какой-то господин читал газету. Фрау Тышбайн очень нервничала, взгляд ее рассеянно блуждал по купе. Она глядела в окно, считала телеграфные столбы, чтобы хоть как-то скоротать время, и больше всего ей хотелось бежать за поездом, чтобы подталкивать его сзади,— ей казалось, он ползет как черепаха. Она вертелась во все стороны, не находя себе

места, и вдруг ее взгляд случайно упал на газету, которую читал ее сосед.

— Боже праведный! — воскликнула она и вырвала газету у него из рук.

Господин решил, что она внезапно сошла с ума, и не на шутку испугался.

— Вот, вот, — бормотала она. — Это мой сын. — И она ткнула пальцем в фотографию на первой странице.

— Да что вы говорите! — обрадовался господин. — Вы мать этого Эмиля Тышбайна? Отчаянный парень! Поздравляю вас, фрау Тышбайн, я восхищен!

— Восхищаться тут нечего, — сказала парикмахерша и стала читать статью. На первой странице стояло огромными буквами:

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК В РОЛИ СЫЩИКА.

СОТНЯ БЕРЛИНСКИХ РЕБЯТ ПРЕСЛЕДУЕТ ПРЕСТУПНИКА

А под заголовком шел захватывающий рассказ о приключениях Эмиля, начиная с вокзала в Нейштадте и кончая Управлением полиции в Берлине. Фрау Тышбайн стала бледной как полотно. И газета в ее руках так и прыгала, словно ее трепал ветер. А ведь окно в купе было закрыто. Господину не терпелось, чтобы она скорее дочитала статью. Но статья была очень длинной — она занимала почти всю первую страницу. И в середине была фотография Эмиля.

Наконец она отложила газету в сторону, поглядела на своего соседа и сказала:

— Вот остался один — и тут же выкидывает такие номера! Я ему так наказывала быть осторожным, беречь эти сто сорок марок! Как он только мог поступить так неосмотрительно! Разве он не знает, что у нас нет лишних денег для воров!

— Видно, он устал. Может, даже вор его загипнотизировал. Такие вещи, говорят, бывают, — сказал господин с газетой. — Но разве вас не восхищает, что мальчишка сумел выпутаться из такого положения? Это же гениально! Просто великолепно! Нет, в самом деле, просто великолепно!

— Да, конечно, — согласилась польщенная фрау Тышбайн. — Он у меня умница, мой мальчик. Первый ученик в классе. И к тому же такой прилежный. Но подумайте, если бы с ним что-нибудь случилось! У меня от этой истории волосы становятся дыбом, хотя все уже позади. Нет, больше я его никуда не пущу одного. А то я просто умру от страха.

— Он похоже вышел на фотографии?

Фрау Тышбайн снова взглянула на газету и сказала:

— Да. Очень. Он вам нравится?

— Необычайно! — воскликнул господин с газетой. — Сразу видно, парень что надо. Из него выйдет толк.

— Вот только сесте ему надо было аккуратней. А то пиджачок весь в складках, — придиралась мать. — Я ему всегда говорю: надо расстегнуть пуговицы, прежде чем сесте. Но он забывает!

— Если у него нет других недостатков... — рассмеялся господин.

— Да, недостатков у моего Эмиля, собственно говоря, нет, — призналась фрау Тышбайн и даже высморкалась от умиления.

Потом господин сошел. Он оставил ей газету, и она все читала и перечитывала приключения Эмиля, пока поезд не остановился на вокзале Фридрихштрассе. Она успела прочитать эту статью ровно одиннадцать раз.

Когда поезд остановился, она увидела на перроне Эмиля; на нем был, в честь мамы, выходной костюм. Эмиль бросился ей на шею с криком:

— Ну что ты на это скажешь?

— Только не задавайся, хвастун!

— Ах, фрау Тышбайн, как я рад, что ты приехала! — сказал Эмиль и взял ее под руку.

— От всей этой беготни твой костюм не стал лучше, — заметила мама. Но она не сердилась, это было ясно.

— Если ты захочешь, у меня будет новый костюм.

— Каким образом?

— Один магазин намерен подарить мне, Профессору и Густаву новые костюмы, а потом сообщить в газете, что мы, юные сыщики, покупаем себе костюмы только у них. Одним словом, реклама. Понимаешь?

— Да, понимаю.

— Но мы, скорее всего, откажемся, хотя могли бы вместо скучных костюмов получить каждый по новому футбольному мячу, — рассказывал Эмиль. — Потому что, знаешь, мы считаем, что вся эта шумиха, которую вокруг нас подняли, просто глупа. Пусть взрослые этим занимаются, они ведь часто бывают такими чудными. Но для детей это не подходит.

— Bravo! — воскликнула мама.

— Деньги дядя спрятал. Тысяча марок! Здорово, правда? Прежде всего мы купим электрическую сушилку для волос. И тебе шубу на меху. А мне что? Это я еще

обдумаю. Может, все же футбольный мяч. А может, фотоаппарат. Посмотрим.

— Я думаю, лучше деньги эти сберечь, положить в банк. Потом они могут тебе очень пригодиться.

— Нет, мы обязательно купим тебе сушилку и шубу. То, что останется, можно отнести в банк, если хочешь.

— Это мы еще обсудим,— сказала мама и сжала его локоть.

— Ты знаешь, во всех газетах помещены мои фотографии, и повсюду напечатаны обо мне длинные статьи.

— Одну я уже прочла в поезде. Я сперва очень волновалась, Эмиль! С тобой ничего плохого не случилось?

— Да что ты, мама! Наоборот, это было так здорово! Я тебе потом все по порядку расскажу. Но сперва ты должна познакомиться с моими друзьями.

— А где они?

— На Шуманштрассе. У тети Марты. Она вчера тут же стала печь яблочный пирог. И мы пригласили всю компанию. Они сидят сейчас там и веселятся.

И в самом деле, у Хеймбольдов было полным-полно гостей. Пришли и Густав, и Профессор, и Крумбигель, и братья Миттенцвей, и Вторник, и Герольд... Ну и все остальные. Стульев не хватало.

Пони-Шапочка бегала с огромным кофейником от одного к другому и разливала какао. А яблочный пирог тети Марты был такой вкусный, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Бабушка сидела на кушетке и смеялась. Она помолодела на десять лет.

Когда появились Эмиль с мамой, началась длинная церемония приветствий. Фрау Тышбайн подала каждому мальчику руку и поблагодарила всех за то, что они так хорошо помогли ее Эмилю.

— Значит, договорились? — сказал Эмиль ребятам.— Мы откажемся от костюмов и от мячей. Мы не позволим, чтобы нас использовали для рекламы. Так, что ли?

— Точно! — крикнул Густав и загудел так громко, что все цветочные горшки тети Марты задребезжали.

Потом бабушка постучала ложкой о свою чашку с золотым ободком, встала и сказала:

— Слушайте внимательно, молодцы. Я хочу сказать речь. Пожалуйста, не воображайте, я не собираюсь вас хвалить. Вас и без меня до того захвалили, что у вас, наверно, голова пошла кругом. От меня этого не ждите. Нет, не ждите!

Дети совсем притихли, даже жевать перестали.

— Выслеживать вора,— продолжала бабушка,— гнаться за ним по пятам и в конце концов окружить его, когда вас сто человек,— невелика заслуга. Может, вам это неприятно слушать, но это так. Но среди вас сидит мальчик, который тоже хотел бы ловить господина Грундайса, хотел бы нарядиться, как Густав, в зеленую ливрею и все разузнать в гостинице. Но он остался дома, потому что взялся дежурить у телефона. Да, только потому, что он за это взялся.

Все посмотрели на Вторника. Он сидел красный как рак от смущения.

— Совершенно верно. Я имею в виду маленького Вторника. Совершенно верно! — сказала бабушка.— Он два дня не отходил от телефона. Он знал, в чем заключается его долг. И он его выполнил, хотя ему это дело было не по душе. Вот это замечательно! Понятно? Вот это замечательно! Пусть он вам послужит примером! А теперь давайте все встанем и крикнем: «Да здравствует маленький Вторник!»

Мальчишки вскочили, Пони-Шапочка сложила руки раструбом. Тетя Марта и мама Эмиля пришли из кухни. И все закричали:

— Да здравствует Вторник! Ура! Ура! Ура!

Потом все снова сели. И маленький Вторник набрал воздуха и сказал:

— Спасибо. Но это вы зря. Любой из вас поступил бы точно так же. Ясно?! Настоящий мальчишка всегда делает то, что надо. И всё!

Пони-Шапочка высоко подняла огромный кофейник и крикнула:

— Эй, люди, кому еще налить? Давайте теперь выпьем за Эмиля!

Глава восемнадцатая

КАКОЙ УРОК ИЗ ЭТОГО МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ?

К вечеру ребята простились. И Эмиль торжественно обещал, что придет завтра после обеда вместе с Пони-Шапочкой к Профессору. Потом домой пришел дядя Хеймбольд и сели ужинать. А после ужина дядя передал фрау Тышбайн тысячу марок и посоветовал положить их в банк.

— Я так и собиралась,— сказала парикмахерша.

— Нет! — воскликнул Эмиль. — Тогда мне это не доставит никакой радости. Мама должна купить себе электросушилку и шубу. В конце концов, это ведь мои деньги. Я могу потратить их как хочу. Так или не так?

— Ты вообще не можешь сделать с ними, что хочешь, — объяснил дядя Хеймбольд. — Ты еще ребенок. И поэтому решать, что делать с деньгами, может только твоя мама.

Эмиль встал из-за стола и отошел к окну.

— До чего же ты нечуткий, Хеймбольд! — сказала Пони-Шапочка своему отцу. — Да разве ты не видел, как Эмиль радовался, что может сделать маме подарок? Вы, взрослые, иногда до того недогадливы, что просто диву даешься!

— Конечно, надо купить сушилку и шубу, — сказала бабушка. — Но то, что останется, вы отнесете в банк, ведь верно, мой мальчик?

— Да, — ответил Эмиль. — Ты согласна, мамочка?

— Если ты так настаиваешь...

— Завтра утром отправимся за покупками. Ты, Пони, пойдешь с нами? — спросил Эмиль, и было видно, что он очень доволен.

— А ты, верно, думал, что я буду в это время считать мух на потолке, так, что ли? — ответила кузина. — Но ты тоже должен себе что-нибудь купить. Если тетя Тышбайн получит эту сушилку, то ты себе должен купить велик, понятно? Чтобы не ломать велосипед своей кузины.

— Эмиль, — встревоженно спросила фрау Тышбайн, — ты что, сломал велосипед Пони?

— Да что ты, мама, я просто чуть-чуть опустил седло — оно у нее всегда поднято слишком высоко, чтобы мчаться, как гонщик. Фасонит, и все!

— Сам ты фасоня! — крикнула Шапочка. — Если ты еще раз опустишь седло, мы поссоримся.

— Если бы ты не была девчонкой, я бы тебя сейчас отлупил, деточка. А кроме того, я не хочу сегодня портить себе настроение, но учти: не тебе решать, что я куплю, а что — нет.

И Эмиль упрямо засунул руки в карманы.

— Не ссорьтесь и не деритесь. Лучше уж сразу выцарапайте друг другу глаза, — миролюбиво посоветовала бабушка.

Попозже вечером дядя Хеймбольд вышел погулять с собакой. Собственно говоря, у Хеймбольдов не было никакой собаки, но, когда отец по вечерам выходил выпить

кружку пива, Пони всегда говорила: «Пошел погулять с собакой».

Бабушка, обе мамы, Пони-Шапочка и Эмиль сидели вместе в комнате и обсуждали события двух последних дней, которые принесли столько волнений.

— А может, вся эта история чему-нибудь нас научит?

— Конечно,— сказал Эмиль.— Меня, например, тому, что людям нельзя доверять.

— Глупости,— проворчала бабушка.— Все как раз наоборот. Все как раз наоборот.

— Глупости, глупости, глупости,— пропела Пони-Шапочка и проскакала на стуле по комнате.

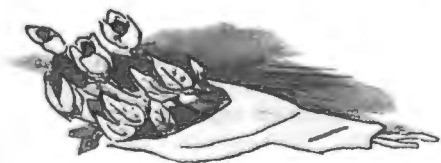
— Так ты считаешь, что из всего этого нельзя извлечь ничего полезного? — спросила тетя Марта.

— Почему? Можно,— сказала бабушка.

— Что же? — спросили все в один голос.

— Деньги надо посылать только по почте! — И бабушка захихикала мелодично, как музыкальный ящик.

— Ура! — закричала Пони-Шапочка и проскакала на стуле в свою комнату. Пора было ложиться спать.



КНОПКА И АНТОН





Предисловие, насколько возможно краткое

Что я хотел сказать? Ах, да, вспомнил. История, которую я вам в этот раз расскажу, в высшей степени удивительная. Во-первых, она удивительная, потому что она удивительна, а во-вторых — потому что на самом деле происходила. И примерно полгода назад о ней писала газета. Ага, посвистываете вы сквозь зубы, ага, Кестнер украл!

Но нет, он вовсе не украл.

История, напечатанная в газете, занимала не более двадцати строчек. Ее немногие и заметили, так она была мала. Просто заметка, в ней только говорилось, что это произошло такого-то числа в Берлине и что именно произошло. Я тут же взял ножницы, вырезал заметку и положил ее в коробочку для достопримечательностей. Эту коробочку мне склеила Рут. На крышке ее виден поезд с ярко-красными колесами, по соседству с ним — два темно-зеленых дерева и над всем этим два белых облака, круглых, как снежки. Всё из настоящей глянцевой бумаги. Великолепие! А некоторые взрослые, которые прочитали эту заметку, определенно не обратили на нее внимания. Для них она была колобашкой. Что значит колобашкой? А вот что.

Когда маленький мальчик вытаскивает из-под печки чурбачок и кричит этой колобашке: «Нн-но-о!», то это уже лошадка, настоящая живая лошадь. А если старший брат, посмотрев на колобашку, скажет малышу: «Да ты просто осел, какая же это лошадь!» — то это ничего не меняет, ни самой малости. Вот, похоже, так и с моей заметкой. Иные думают: да это же всего навсего заметка в двадцать строчек. А я пришептываю: «Фокус-покус!» — и вот это уже книга.

Я рассказываю вам все это по одной совершенно определенной причине. Когда напишешь рассказ или повесть, очень часто спрашивают: «Эй вы, то, что вы написали, это было на самом деле?» В особенности этим всегда интересуются дети. Тут приходится основательно почесать в затылке и потеревить бороду. Кое-что в повести действительно происходило, но все?.. Нельзя же все время гоняться за людьми и тщательно стенографировать, что они говорят и делают! Тем более, когда еще не знаешь, придется ли тебе когда-нибудь писать о том, что с ними происходило. Разве это не ясно?

Теперь многие читатели, большие и маленькие, встанут в позу и заявят: «Уважаемый господин, если то, что вы тут нагородили, на самом деле не происходило, то нас это совершенно не волнует!» И на это я бы мог ответить: происходило на самом деле или нет — какое это имеет значение, главное, чтобы история была правдивой. Правдива же она в том случае, если она описана точно так, как могла происходить на самом деле. Вы это понимаете? Если вы поняли это, значит, вы poznали важнейший закон искусства. А если вы не поняли — тоже не беда. И на этом мое вступление окончено, ур-ра!

Я по опыту знаю, что многие дети любят читать такие рассуждения, как только что приведенные: о колобашке и лошадке, или о действительности и правде. Другие же дети готовы три дня хлебать один овсяный кисель, лишь бы им только не разбираться в таких премудростях. Они боятся, что в их маленьком нежном мозгу могут появиться извилины. Что ж тут поделать?..

Впрочем, есть один выход. Все, что в этой книге связано с рассуждениями, я буду сводить в маленькие разделы. А тех, кто будет печатать мою книгу, я попрошу мои рассуждения печатать иначе, чем самую повесть. Пусть они мои рассуждения набирают косым шрифтом — курсивом, точно так, как это предисловие. Значит, если вы

увидите что-то напечатанное курсивом, вы можете пропустить это, как будто бы оно к вам не имеет никакого отношения. Понимэ? Я надеюсь, вы с полным пониманием киваете головой.

Что я еще хотел сказать? А да, вспомнил. Я хотел сказать, что теперь можно начать и повесть.

Глава первая

КНОПКА ИГРАЕТ В ТЕАТР

Господин Погге пришел в обед домой и остановился как вкопанный. Он очумело уставился в комнату. Там, лицом к стене, стояла его дочь, эта самая Кнопка, без конца делала реверансы и что-то при этом еще подвывала. «Может быть, у нее болит живот?» — подумал он, но сдержал дыхание и не двинулся с места. Кнопка протянула руки к стене, оклеенной серебристыми обоями, сделала реверанс и произнесла дрожащим голосом:

— Спички, купите спички, господа!

Около девочки сидел Пифка. Пифка — это маленькая коричневая такса. Он держал голову набок, удивленно смотрел на нее и в такт стучал хвостом по полу. Кнопка со слезами в голосе умоляла:

— Пожалейте нас, бедных. Коробок всего десять пфеннигов.

Пифка почесал лапой за ухом. То ли ему показалось слишком дорого, то ли он пожалел, что не захватил с собой денег.

Кнопка вытянула руки еще выше, сделала реверанс и залепетала:

— Мать совершенно ослепла, а еще так молода. Три коробка двадцать пять пфеннигов. Благослови вас бог, милая госпожа!

Видно, она продала стене три коробкá спичек.

Господин Погге громко рассмеялся. Правда, что-то тут было ему еще не совсем понятно. Его дочь стояла в комнате, которая стоила три тысячи марок, и просила милостыню у обоев. Услышав смех, Кнопка вздрогнула, повернулась, увидела отца и убежала. Пифка вприпрыжку убежал за ней.

— Что вы тут, спятили? — спросил отец, но не получил никакого ответа.

Тогда он повернулся и пошел к себе в кабинет. На письменном столе у него лежали письма и газеты.

Он уселся в глубокое кожаное кресло, зажег сигару и стал читать.

Кнопку, собственно, звали Луизой. Но так как она в первые годы совсем не хотела расти, ее называли Кнопкой. Так ее называли и теперь, хотя она уже давно ходила в школу и была уже совсем не такая маленькая. Ее отец, господин Погге, был директором фабрики тросточек. Он зарабатывал много денег, но и забот у него было предостаточно. Правда, его супруга, мама Кнопки, была иного мнения. Она считала, что зарабатывает он слишком мало, а работает слишком много. На что он всегда отвечал: «Жёны в этом ничего не понимают». Но она не могла принять этого всерьез.

Жили они в большой квартире неподалеку от Рейхстагугер¹. Квартира состояла из десяти комнат и была так велика, что Кнопка, возвращаясь после еды в детскую, уже успевала проголодаться. Так далек был путь!

Ну, и так как мы заговорили о еде: господин Погге был голоден. Он позвонил. Вошла Берта, толстуха служанка.

— Вы хотите уморить меня голодом? — сердито спросил он.

— Вовсе нет, — сказала Берта. — Но госпожа еще в городе, и я думала...

Господин Погге поднялся.

— Если вы еще будете что-то думать, вы не получите завтра никакого выходного дня, — объявил он. — Есть! Быстро! Зовите фрейлейн и девочку.

Толстуха Берта моментально повернулась и пулей вылетела в дверь.

Господин Погге первым явился в столовую. Он принял таблетку, скривил лицо, запил ее водой. Он глотал таблетки, как только ему представлялся случай. Перед едой, после еды, перед отходом ко сну, после пробуждения. Иногда это были пилюли, как шарики, иногда круглые таблетки, иногда — четырехугольные. Можно было подумать, что это его забавляет. Но это он только из-за желудка.

Потом появилась фрейлейн Анда́хт. Фрейлейн Андахт — это бонна. Страшно высокая, страшно худая и

¹ Рейхстагугер — название одной из набережных в центральной части Берлина. (Здесь и далее примечания переводчиков.)



страшно сумасбродная. «У нее не все дома»,— обычно поясняла толстуха Берта, и тем не менее они терпели друг друга. Раньше, когда у Поггов еще не было никакой бонны, а была нянька — Кэт, Кнопка обычно восседала с Бертой и Кэт на кухне. Там они лущили горох. Берта брала Кнопку с собой за покупками, рассказывала ей о своем брате в Америке. И Кнопка была всегда весела и здорова и не была такой бледной, как теперь, когда в доме эта сумасшедшая Андахт.

— Моя дочь очень бледна,— озабоченно сказал господин Погге.— Вы этого не находите?

— Нет,— ответила фрейлейн Андахт.

Потом Берта принесла суп и засмеялась. Фрейлейн Андахт искоса посмотрела на служанку.

— Что это вы так глупо смеетесь? — спросил глава семьи, работая ложкой так, словно ему за это платили.

Но вдруг он оставил ложку в супе, приложил к губам салфетку, поперхнулся, ужасно закашлялся и показал на дверь.

Там стояла Кнопка. Но, вот так фунт, на что она была похожа! Она надела красную домашнюю куртку отца и подсунула под нее подушку, словом была похожа на круглый измятый чайник. Тонкие голые ноги, торчащие из-под куртки, напоминали барабанные палочки.

чки. На голове у нее покачивалась воскресная шляпа Берты — это было что-то невообразимое из пестрой соломы. В одной руке Кнопка держала скалку для теста и раскрытый зонтик, другой — тащила веревку. Веревка была привязана к противню, противень с грохотом волочился за девочкой, а в нем сидел Пифка и хмурил лоб. Вообще-то, хмурился он не от плохого настроения, а просто на голове у него было слишком много кожи, и коже этой некуда было деваться, вот она и спадала складками.

Кнопка прогулялась разок вокруг стола, остановилась против своего отца, испытующе посмотрела на него и совершенно серьезно спросила:

— Не предъявите ли вы мне проездной билет?

— Нет, — ответил отец. — Разве вы не узнаете меня? Я же министр железных дорог.

— Ах вот что, — сказала она.

Фрейлейн Андахт поднялась, схватила Кнопку за шиворот и разоблачила ее. Кнопка снова стала обыкновенной девочкой. Толстуха Берта взяла ее одеяние, скалку, зонтик и вынесла вон. Она хохотала еще и на кухне. Это было отчетливо слышно.

— Ну что у тебя в школе? — спросил отец, и, так как Кнопка ничего не отвечала, а только возила ложкой в супе, он спросил еще: — Сколько будет трижды восемь?

— Трижды восемь? Трижды восемь будет сто двадцать деленное на пять, — сказала она.

Господин Погге не выразил удивления. Он потихоньку пересчитал, и так как это было верно, продолжал есть. Пифка вскарабкался на незанятый стул, положил передние лапы на стол и, нахмутив лоб, следил, чтобы все ели свой суп. Казалось, он собирается произнести речь. Берта принесла куру с рисом и шлепнула Пифку. Кнопка ссадила его на пол и сказала:

— Лучше бы я была двойняшкой.

Отец сожалеюще поднял плечи.

— Это было бы великолепно, — сказала девочка. — Мы ходили бы обе одинаково одетые, у нас были бы одинаковые волосы, одинаковый размер обуви, одинаковые платья и совершенно одинаковые лица.

— Ну и что же? — спросила фрейлейн Андахт.

— Никто бы не знал, кто из нас я и кто она. — Кнопка захлебывалась от удовольствия, расписывая историю с близнецами. — Думали бы, что это она, а это была бы я. Думали бы, что это я, а это — она. Ах, это было бы восхитительно!

— Просто невозможно,— заметил отец.

— Учительница вызывает: «Луиза», а я встаю и говорю: «Нет, я другая». Тогда учительница говорит: «Садись!» — и вызывает другую, кричит на нее: «Почему ты не встаешь, Луиза?» А та в ответ: «Я же Карлинка». И через три дня на учительницу бы напала трясучка, ей бы дали отпуск и отправили в санаторий, а у нас бы были каникулы.

— Близнецы часто бывают непохожими друг на друга,— сказала фрейлейн Андахт.

— А Карлинка и я — похожи,— возразила Кнопка.— Такого сходства вы еще и не видывали. Даже директор не мог бы нас различить.

Директор — это ее отец.

— Довольно тебе, довольно,— сказал директор и положил себе еще порцию курицы.

— Что ты имеешь против Карлинки? — спросила Кнопка.

— Луиза! — прикрикнул он.

Если уж он называл ее «Луизой», это значило, что нужно подчиниться, иначе будет взбучка. Поэтому Кнопка замолчала, ела курицу с рисом и потихоньку строила Пифке, который сидел с ней рядом, такие страшные рожи, что тот в конце концов затрясся от ужаса и усвистал на кухню.

Когда они приступили к десерту, это были сливы «ренклюд», появилась наконец фрау Погге. Она была очень красива, но, с другой стороны, сугубо между нами, она была просто невыносима. Берта, служанка, как-то сказала своей подруге: «Мою госпожу надо бы отхлестать мокрой тряпкой. Такая у нее милая, потешная девчушка, такой очаровательный муж! И, ты думаешь, она заботится о них? Ничего подобного. Целыми днями гоняется в экипаже по городу, что-то покупает, что-то меняет, ходит по файвоклокам, на демонстрации мод. А по вечерам еще и бедный муж должен с нею таскаться. Велогонки, театр, кино, балы — вечная сумятица. Домой они потом вообще больше не являются. Ну, в этом есть, конечно, свои преимущества...»

Итак, фрау Погге появилась, уселась и была разобижена. Собственно, ей бы следовало извиниться, что она опоздала. Вместо этого она обиделась, что без нее сели за стол. Господин Погге опять принял таблетку, на этот раз четырехугольную, скривил лицо и запил ее водой.

— Не забудь, что мы сегодня вечером приглашены к генеральному консулу Олериху,— сказала фрау Погге.

— Ага,— сказал господин Погге.

— Курица совсем холодная,— сказала она.

— Конечно,— сказала толстуха Берта.

— Сделала Кнопка уроки? — спросила она.

— Нет,— сказала фрейлейн Андахт.

— Девочка, да у тебя же зуб качается! — воскликнула она.

— Конечно,— ответила Кнопка.

Господин Погге поднялся из-за стола.

— Что у нас по вечерам происходит дома, я вообще теперь не знаю.

— Ну, вчера мы, например, вернулись до наступления вечера,— возразила она.

— Но тут были Брюкманы,— сказал он,— и Шраммы и Дитрихсы — целое столпотворение.

— Были мы вчера дома или не были? — энергично спросила она и вызывающе взглянула на мужа.

Господин директор Погге предусмотрительно воздержался от ответа и пошел к себе в кабинет. Кнопка — за ним и уселась к нему в большое кожаное кресло, ведь тут хватало места для обоих.

— Качается зуб? — спросил он.— Тебе больно?

— Ну вот еще,— сказала она.— Я его при случае вырву. Может быть, даже сегодня.

Потом под окном посигналили. Кнопка проводила отца до порога дома. Господин Холлак, шофер, поприветствовал ее. И она поприветствовала его. Она сделала это точно так же, как он — приложила руку к фуражке, хотя на ней никакой фуражки не было. Отец сел, автомобиль поехал, отец помахал ей. Кнопка помахала в ответ. Когда она хотела войти в дом, в дверях оказался Готфрид Клеппербайн. Это был сын швейцара, настоящий шалопай.

— Эй,— сказал он.— Если ты не дашь мне десять марок, я обо всем расскажу отцу.

— О чем же? — невинно спросила Кнопка.

Готфрид Клеппербайн преградил ей дорогу:

— Сама хорошо знаешь, не прикидывайся дурочкой, моя милая!

Кнопка очень хотела домой, но он не давал ей войти. Тогда она встала рядом с ним, заложила руки за спину и вдруг удивленно уставилась на небо, словно бы там цеппелин появился, или майский жук на коньках, или еще что-нибудь этакое. Мальчишка тоже, ко-

нечно, зыркнул вверх, а она в этот момент молнией проскочила мимо. И Готфрид Клеппербайн, как это принято говорить, остался с носом.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЕРВОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О ДОЛГЕ

В первой главе протопало уже порядочно народу, не так ли? Посмотрим-ка, остались ли они у нас в голове! Итак: господин директор Погге, его верная супруга, Кнопка, тощая фрау Андахт, толстуха Берта, Готфрид Клеппербайн и Пифка — маленькая такса. Ну, Пифку нам придется скинуть со счетов, таксы — не люди, а жаль.

И вот теперь я хочу спросить: кто из этих людей вам понравился, а кто — нет? Если позволите высказать мне свое мнение, то Кнопка мне очень понравилась и толстуха Берта — тоже. О господине Погге я еще не могу достаточно определенно судить. Но матушка Кнопки мне ужасно не нравится. Что мне в этой женщине не по нутру? Она не заботится о своем муже. Зачем же тогда она выходила за него замуж? Она не заботится о своем ребенке. Зачем же тогда она произвела его на свет? Эта женщина пренебрегает своим долгом. Разве я не прав? Никто не осудит ее за то, что она любит ходить в кино, или в театр, или, пожалуй, даже на велосипедные гонки. Но прежде всего она мать Кнопки и жена господина Погге. А если она об этом забывает, может ли она нам нравиться?

Согласны?

Глава вторая

АНТОН ДАЖЕ ГОТОВИТЬ УМЕЕТ

После обеда фрау Погге одолела мигрень. Мигрень — это головная боль, даже если ее нет. Толстухе Берте пришлось полностью закрыть жалюзи в спальней, чтобы стало совсем темно, как настоящей ночью. Фрау Погге улеглась в постель и сказала фрейлейн Андахт:

— Пойдите погуляйте с ребенком и возьмите с собой собаку! И чтобы никаких происшествий!

Фрейлейн Андахт пошла в детскую, чтобы взять Кнопку и собаку. Она влетела туда в разгар театрального представления. Пифка лежал в детской кроватке, только мордочка его выглядывала оттуда. Он изображал волка, который съел бабушку Красной Шапочки. Он хотя и не знал сказки, но неплохо играл свою роль. Кнопка стоя-

ла перед кроватью в своем красном берете, в руках у нее была рыночная корзина Берты.

— Но, бабушка,— с удивлением произнесла она,— зачем же у тебя такой большой рот?

Затем она изменила голос и с глухим страшным рычанием произнесла:

— Для того, чтобы тебя лучше съесть.

Она поставила свою корзинку, подошла вплотную к кровати и, как суфлер, прошептала маленькому Пифке:

— Ну а теперь ты должен меня съесть.

Пифка, как уже было сказано, не читал еще сказки о Красной Шапочке; он отвернулся и не собирался совершить ничего похожего.

— Ешь меня! — приказала девочка. — Ты не хочешь меня есть? — Она топнула ногой и крикнула: — Гром и молния! Тебе трудно послушаться? Ты должен меня съесть!

— Никакой надежды на парня,— заявила Кнопка. — Никуда не годный артист.

Фрейлейн Андахт надела на ничего не подозревающего волка — Пифку ошейник, пристегнула поводок, затолкала девочку в голубое пальто с золочеными пуговицами и сказала:

— Принеси свою полотняную шляпу. Мы идем гулять.

Кнопке вовсе не хотелось расставаться с беретом, но Андахт сказала:

— Тогда ты не пойдешь к Антону.

Это подействовало.

Они вышли. Пифка уселся на мостовую, и фрейлейн Андахт пришлось тащить его.

— Опять решил прокатиться,— сказала бонна и взяла его на руки. Он повис у нее, словно пострадавшая в аварии дамская сумка, и недружелюбно хлопал глазами. — На какой улице живет Антон? Ты помнишь?

— Артиллерийская улица, пятый этаж, справа,— сказала Кнопка.

— А номер дома?

— Сто восемьдесят, деленное на пять,— сказала Кнопка.

— Почему не сказать прямо — тридцать шесть? — спросила фрейлейн Андахт.

— Так легче запомнить,— заверила Кнопка. — Вообще-то, Берта, кажется, что-то пронюхала, говорит, что спички кто-то прямо пожирает. Постоянно она покупает их, и постоянно они исчезают. Надеюсь, не догадается. И Клеппербайн опять угрожал. Он хочет получить десяток

марок, иначе он нас выдаст. Если он расскажет обо всем директору, вот будет дело!

Фрейлейн Андахт не ответила. Во-первых, она по натуре была неразговорчива, а во-вторых, ее не устраивала подобная беседа. Они шли вдоль Шпрее, потом через маленький железный мост, по набережной Кораблестроителей, потом влево по Фридрихштрассе, а там скоро повернули направо, за угол, и оказались на Артиллерийской улице.

— Такой безобразный старый дом,— заметила бонна.— Смотри осторожней, могут быть открытые люки.

Кнопка усмехнулась, взяла на руки Пифку и спросила:

— Где мы потом встретимся?

— В шесть, как из пушки, приходи в «Летнюю беседку».

— Вы опять танцуете со своим женихом? Передавайте ему привет. И веселых вам танцев!

Тут они и расстались. Фрейлейн Андахт пошла танцевать, а Кнопка вошла в чужой дом. Пифка стал лаять, видно, дом ему не понравился.

Антон жил на пятом этаже.

— Вот это здорово, что ты меня навестила,— сказал он.

Они поздоровались и некоторое время стояли в дверях. На мальчике был большой голубой фартук.

— Это Пифка,— представила Кнопка.

— Очень рад,— сказал Антон и погладил таксика.

И снова они какое-то время стояли в молчании.

— Ну а теперь идем-ка в гостиную,— сказала наконец Кнопка.

Тут она улыбнулась, и Антон повел ее. Они пришли на кухню.

— Я как раз готовлю,— сказал он.

— Ты готовишь? — спросила она да так и забыла закрыть рот.

— Ну да,— сказал он.— Что же делать! Мама у меня уже давно болеет, вот я и готовлю сразу же, как прихожу из школы. Не можем же мы голодать.

— Пожалуйста, не мешай,— сказала Кнопка и посадила Пифку на пол. Затем она сняла пальто и шляпу.— Продолжай спокойно готовить. А я буду смотреть. Что у тебя сегодня?

— Вареная картошка,— сказал он, взял прихватную тряпку и подошел к плите.

На плите стояла кастрюля. Антон снял с нее крышку, проколол вилкой картофелину, удовлетворенно кивнул и сказал:

— Ей уже намного лучше.

— Кому? — спросила Кнопка.

— Моей маме. Вчера она сказала, что встанет на несколько часов. А на следующей неделе, наверное, уже будет работать. Она, ты знаешь, ходит по домам убираться.

— Ага, — сказала Кнопка. — А у меня мама ничего не делает. Сейчас у нее мигрень.

Антон взял два яйца, разбил их и вылил в кастрюлю, а скорлупу бросил в ящик с углем. Налил в кастрюлю немного воды, достал кулек, насыпал в яйца с водой что-то белое, взял маленькую мешалку и все как следует перемешал.

— Ах, какая досада! — вскрикнул он. — Сбилось в комки.

Пифка прогулялся к угольному ящику, наведалься к яичной скорлупе.

— Зачем ты насыпал туда сахару? — спросила девочка.

— Это была мука, — ответил Антон. — Я делаю яичницу-болтунью. Если добавить в нее муки и воды, то порции будут побольше.

Кнопка кивнула.

— А сколько соли нужно, чтобы посолить картофель? — поинтересовалась она. — Целый фунт или только половину?

Антон громко рассмеялся.

— Намного, намного меньше! — сказал он. — Это можно определить по вкусу. Несколько кончиков ножа, полных разумеется.

— Разумеется, — сказала Кнопка и посмотрела на него.

Он взял глубокую сковородку с ручкой, положил в нее маргарину и поставил сковороду на вторую газовую горелку. Затем вылил размешанные яйца в сковороду, чтобы они поднялись.

— Не забудь соли, Антон! — приказал он себе, взял щепотку соли и высыпал ее в желтый суп, который булькал в сковороде. Он поболтал в нем ложкой. Яичница стала подпекаться и укрошено затрещала.

— Так вот из-за чего ее называют болтуньей, — заключила девочка.

— Продолжай-ка ее помешивать,— попросил мальчик и сунул ей в руку ложку.

И она встала на его место. А он взял кастрюлю с картофелем, обхватил ее двумя тряпками за бока и вылил горячую воду в раковину. Картофель он затем разложил по двум тарелкам.

— Варить картошку нужно страшно внимательно, иначе она превратится в кисель,— сказал он.

Но Кнопка не слушала его. Она мешала так, что у нее заболела рука. А Пифка тем временем играл скорлупками в футбол.

Антон закрыл газовый кран. Разложил яичницу поровну на обе тарелки, вымыл руки и отвязал фартук.

— Мы не могли прийти вчера вечером,— сказала Кнопка.— У моих родителей были гости, и они оставались дома.

— Я так и подумал,— сказал мальчик.— Минутку, я сейчас вернусь.

Он взял обе тарелки и толкнул дверь. Кнопка осталась одна. Она попыталась пристроить Пифке на голову яичную скорлупу.

— Если ты этому научишься,— нашептывала она,— ты сможешь выступать в цирке.

Но Пифка, кажется, был против цирка. Он снова и снова сбрасывал с себя скорлупу.

— Ну не упрямься же, глупый злюка,— сказала Кнопка и посмотрела вокруг.

Дети, дети, какая это была маленькая кухня! И хотя она сразу же поняла, что Антон — бедный мальчик, но то, что у него такая маленькая кухня, все-таки изумило ее. Из окна был виден серый двор.

— Что это за кухня по сравнению с нашей? — спросила она собаку.

Пифка завилял хвостом. Тут вернулся Антон и спросил:

— Может быть, пойдешь в спальню, пока мы едим? Кнопка кивнула и взяла Пифку за загривок.

— Она выглядит еще порядком больной,— сказал мальчик.— Но сделай одолжение, не замечай этого.

Очень хорошо, что девочка была осторожно подготовлена. Мать Антона сидела в кровати и была очень бледной, вид у нее был больной. Она приветливо кивнула Кнопке и сказала:

— Это прекрасно, что ты пришла.

Кнопка сделала книксен и сказала:

— Приятного аппетита, фрау Антон. Выглядите вы замечательно. Как вы себя чувствуете?

Мальчик засмеялся, сунул матери под спину еще одну подушку и сказал:

— Моя мама не Антон. Антон тут только я.

— О, мужчины, мужчины,— сказала Кнопка, совершенно отчаиваясь и закатывая глаза.— Разве можно сердиться на этого парня, сударыня?

— Никакая я не сударыня,— смеясь сказала мать Антона.— Я фрау Гаст.

— Гаст,— повторила Кнопка.— Ну правильно, так ведь и написано снаружи на двери. Вообще-то, красивая фамилия.— Она решила все, что она тут увидит, находить прекрасным, чтобы не обидеть Антона и его маму.

— Вкусно, мамочка? — спросил Антон.

— Великолепно, мой мальчик,— ответила женщина, уплетая за обе щеки.— Ну а завтра я уже буду готовить сама. А то тебе и не поиграть. И школьные занятия тоже страдают. Вчера он приготовил мне даже бифштекс по-немецки,— сказала она девочке.

А Антон низко склонился над тарелкой, чтобы не показать, как радуется его эта похвала.

— В кухонных делах я ничего не смыслю,— призналась Кнопка.— Этим ведает у нас толстуха Берта, она весит сто восемьдесят фунтов. Зато я умею играть в теннис.

— И у ее отца есть автомобиль и шофер,— сообщил Антон.

— Если ты захочешь, мы возьмем тебя как-нибудь с собой. Директор симпатичный человек,— сказала Кнопка.— Директор — это мой отец.

— Большой «мерседес», лимузин,— добавил Антон.— А кроме того, у нее десять комнат.

— Но вы тоже живете великолепно, фрау Гаст,— сказала девочка и посадила Пифку на кровать.

— Как же вы все-таки познакомились друг с другом? — спросила фрау Гаст.

Антон подошел к Кнопке на цыпочках и сказал:

— Ах, ты знаешь, мы как-то разговорились на улице. И мы друг другу очень понравились.

Кнопка согласно кивнула, посмотрела на своего песика со стороны и сказала:

— Господа, мне кажется, Пифке нужно на улицу.

Фрау Гаст сказала:

— Вы вообще можете немножко прогуляться. А я часок-другой еще подремлю.

Антон отнес на кухню тарелки и взял свою шапку. Когда он снова вошел в комнату, мать сказала:

— Антон, тебе надо подстричься.

— Вовсе нет! — воскликнул Антон. — Сразу насыпется за воротник множество мелких волос, а они противно щекочут.

— Дай мне мою сумочку. Ты отправишься стричься! — распорядилась она.

— Если тебя это так беспокоит, хорошо, — сказал он. — А деньги у меня есть. — И так как мать удивленно взглянула на него, он добавил: — Я тут помог на вокзале поднести чемоданы.

Он поцеловал мать в щеку и посоветовал ей покрепче заснуть, не вставать с постели, потеплее укрыться и так далее.

— Слушаюсь, господин доктор, — сказала мать и протянула Кнопке руку.

— Исполняйте все советы как следует, — сказала Кнопка на прощание. — Ну а теперь пошли: Пифка не может долго ждать.

Пес сидел у двери и не отрываясь смотрел наверх, на ручку двери, словно гипнотизируя ее. Тут все трое рассмеялись, и дети, довольные, побежали прочь.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВТОРОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О ДОЛГЕ

Я не знаю, что вы об этом думаете. Считаете ли вы нормальным, что мальчик готовит? Что он надевает фартук матери, чистит картошку, кладет ее в кастрюлю, солит и все такое прочее?

Пауль, с которым я разговаривал об этом, сказал: «Я бы не готовил. Я же думаю совсем не о том».

— Хм, — сказал я, — если бы твоя мать была больна и лежала в постели, а доктор предписал бы, чтобы она регулярно получала хорошее питание, а иначе она может умереть...

— Что ж, прекрасно, — поспешил с ответом Пауль. — Тогда бы я точно так же готовил, как и ваш Антон. Но, пожалуй, мне бы все-таки было стыдно. Это занятие не для мальчиков.

— Если бы тебе пришлось играть в игрушечную кухню, у тебя, наверное, была бы причина сердиться, — сказал я. — Но если ты заботаешься о том, чтобы больная мать вовремя получала еду, ты прежде всего можешь этим гордиться. Ты бы мог этим гордиться гораздо больше, чем тем, что прыгаешь в длину на четыре метра.

— На четыре двадцать,— сказал Пауль.

— Смотри-ка, в этом ты кое-что соображаешь,— воскликнул я.

— Да, я вот подумал,— сказал Пауль через некоторое время,— я бы, пожалуй, не стыдился, если бы меня застали за готовкой. Но лучше бы в этот момент никто ко мне не приходил. Я думаю, я бы закрыл кухонную дверь на задвижку. Впрочем, мама же у меня не больна. А если бы она заболела, у нас была бы проходящая женщина. Она бы могла и готовить!

Вот ведь какой упрямец, а?

Глава третья

БРИТЬЕ СОБАКИ

Пифка у первого же фонаря сделал остановку. Когда дети двинулись дальше, он не побежал за ними. Кнопке пришлось его тащить.

— Опять не желает двигаться,— объявила она.

— Давай его сюда! — сказал Антон.— Это мы живо устроим.

Он взял поводок и вытащил из кармана носовой платок так, чтобы был виден его белый кончик. Затем он крикнул:

— Пифка!

Пес поднял голову, с удивлением посмотрел на кончик платка, подумал, что это съедобное. А когда Антон пошел дальше, он тоже торопливо заковылял следом, не спуская глаз с платка и поводя носом.

— Великолепно! — заметила Кнопка. — Блестящая идея. Надо мне это запомнить.

— Как ты находишь наш дом? — спросил он.— Страшноват, верно?

— Выглядит немножко проплешенным,— сказала она.

— Как, как? — переспросил он.

— Проплешенный! — сказала она.— Нравится тебе это слово? Я изобретаю иногда новые слова. У папы знакомый есть, я его назвала проплешенный. Термометр — тоже мое.

— Термометр вместо термометр? — воскликнул он.— Ты думаешь, это неплохо?

— Еще бы,— сказала она.— Давай-ка поиграем в смехачей? — Не дожидаясь согласия, она схватила его

за руку и забормотала:— О-о, о-о, а мне совсем не смешно. Мне очень, очень грустно.

Антон удивленно посмотрел на нее. Она сделала большие глаза и нахмурила лоб.

— О-о, о-о, мне совсем не смешно. Мне так грустно, грустно,— повторила она.

Потом она щипнула его и прошептала:

— Ты тоже давай!

Антон подчинился ей:

— О-о, о-о,— пробурчал он,— мне совсем не смешно. Мне так грустно, грустно.

— А теперь я,— азартно вступила она.— О-о, о-о, мне ни капельки не смешно. Мне так грустно, грустно.

И оттого, что оба взглянули друг на друга, оттого, что оба состроили такие скорбные физиономии, оба расхохотались изо всех сил.

— О-о, о-о, мне совсем не смешно,— начал теперь Антон, и тут уж они хохотали еще больше.

В конце концов, они уже просто смотреть друг на друга не могли без смеха. Они смеялись и хихикали, чуть не задыхаясь от смеха. Они смеялись так, что даже люди вокруг останавливались. И Пифка уселся. Теперь они совсем спятили, решил он. Но тут Кнопка взяла его на руки, и они пошли дальше. Но смотрели они теперь в разные стороны. Кнопка погоготала еще несколько раз себе под нос, но скоро и у нее это прошло.

— Вот это да! — сказал Антон.— Фу, устал. Полностью высмеялся.— И он смахнул с глаз слезинки.

И вот они у парикмахерской. Заведение у парикмахера было совсем маленьким, нужно было подняться на несколько ступенек вверх.

— Здравствуйте, господин Хабекус,— сказал Антон.— Мне надо подстричься.

— Ну, хорошо. Садись, сынок,— сказал господин Хабекус.— Как поживает твоя мама?

— Спасибо за внимание. Ей лучше. Но с платой не лучше.

— Опять, как в последний раз,— сказал господин Хабекус.— Двадцать пфеннигов — задаток, остальное — в рассрочку, сзади покороче, спереди — чуть длиннее, я уже знаю. А маленькая барышня?

— Я просто публика,— заявила Кнопка.— Обо мне не беспокойтесь.

Господин Хабекус повязал Антону большую белую салфетку и принялся работать ножницами.



— Еще не щекотно? — с любопытством спросила Кнопка.

Антон не отвечал, он сидел, боясь пикнуть. А она ведь не могла просто так дожидаться и кое-что придумала. Она посадила Пифку на другое кресло, повязала ему на шею носовой платок и принялась намыливать ему мордочку. Пифка было принял пену за сбитые сливки, но так как эта белая штука оказалась невкусной, он спрятал язык и затряс головой.

Кнопка изобразила, будто бы она его бреет. Она стала понемногу соскабливать указательным пальцем с его меха мыльную пену, упрясывая вокруг своего «клиента» и развлекая его, как это ей приходилось наблюдать в парикмахерских.

— Да, да, господин,— говорила она собаке.— Да-а, времена! Не беспокоит? Да, времена! Вы понимаете, что я имею в виду. И представьте себе, пожалуйста, другую щеку, представьте себе, прихожу я вчера домой, а моя жена родила тройню, трех целлулоидных кукол, и все девочек. И на головах у них растет красная трава. Ну как тут не сойти с ума? А утром сегодня только я

открыл парикмахерскую, а тут уже внутри стоит судебный исполнитель и говорит, что он должен снять зеркало. «Почему? — спрашиваю я его. — Вы хотите меня разорить?» — «Я очень сожалею, — говорит он, — но меня послал министр финансов, вы не едите ревеня». Не беспокоит, господин Пифка? И почему вы такого красивого шоколадного цвета? Ах, так вы загорали под горным солнцем! Через полчаса придет сам министр. Нам надо поторопиться, я уже целую неделю брею его бесплатно, по десять раз в день. Да, да, у него очень быстро растет борода. Желаете одеколон? Я скоро уезжаю. Цеппелин ищет для своего полета на Северный полюс страдающего морской болезнью парикмахера. Надо будет постригать белых медведей. Вы не возражаете, если я привезу вам шкуру белого медведя? Вас попудрить?

Кнопка выпачкала мордочку собаке пудрой. Пифка испуганно уставился в зеркало. Господину Хабекусу было уже не до стрижки, и Антон трясся от удовольствия. Кнопка же была совершенно серьезна и принялась теперь для разнообразия читать вслух все, что было написано на табличках, развешенных в парикмахерской, перемешивая тексты и сливая их друг с другом:

— «Делайте новую прическу с закруткой, в моем заведении все цены соответствуют оригинальности фасона, если вы довольны, сообщайте об этом своим знакомым, здесь протыкаются дырочки в ушах, если недовольны, заявляйте об этом мне, очень модно, вы больше не знаете лысин, по воскресеньям открыто с восьми до десяти, господа, просьба относить стрижку на будние дни, мозоли перед обработкой дезинфицируются, бритвы — бесполезная мука, предохраняйтесь от зубного камня».

И читала она все это однообразным унылым тоном нараспев, будто бы декламируя стихотворение. Пифку это совершенно разморило, он зевнул, свернулся на стуле и задремал.

— Как она вам, нравится? — спросил Антон у господина Хабекуса.

— Благодарю покорно, — сказала парикмахер. — Два дня она вокруг меня повертится, и можно спать.

Он взял себя в руки и защелкал ножницами. Он решил побыстрее закончить, чтобы выпроводить девочку из заведения.

Потом пришел еще клиент — полный мужчина в белой шапочке мясника.

— Сейчас, сейчас, господин Буллрих,— сказал парикмахер.

Антон озабоченно взглянул в зеркало: как бы ему чего-нибудь не упустить. Мясной маэстро едва уселся — задремал. Кнопка встала перед ним в позу.

— Дорогой господин Буллрих, вы умеете петь? — спросила она его.

Полный мужчина встрепенулся, смущенно повертел туда-сюда своими толстыми, как сардельки, пальцами и замотал головой.

— О, как жаль,— проговорила Кнопка.— Мы бы могли вдвоем спеть что-нибудь прекрасное на четыре голоса. А не можете ли вы, по крайней мере, хоть прочитать стихотворение? Ну вот: «Чей ты, прекрасный лес?» или «Погребенный в земле»?

Господин Буллрих снова замотал головой и покосился на газету, которая висела на крючке. Но не осмелился.

— И последний вопрос,— объявила Кнопка.— Умете ли вы стоять на руках?

— Нет,— решительно ответил господин Буллрих.

— Нет? — огорченно переспросила Кнопка.— Не сочтите за обиду, но таких бесталанных мне еще никогда в жизни не попадалось!

Затем она повернулась к нему спиной и подошла поближе к Антону, который потихоньку хихикал.

— Вот таковы взрослые,— сказала она своему другу.— Мы должны уметь всё — и считать, и петь, и вовремя ложиться спать, и кувыраться, а сами они ни о чем подобном и представления не имеют. Вообще-то, у меня качается зуб, ну-ка посмотри.

Она широко раскрыла рот и потрогала языком маленький белый зуб, чтобы он покачался.

— Тебе надо его вытащить,— сказал Антон.— Ты берешь крепкую нитку, надеваешь на зуб петлю, другой конец нитки привязываешь к дверной ручке, а потом несешься прочь от двери. Бумм-с, и он вылетел!

— Практичный ты, Антон,— сказала Кнопка и покровительственно похлопал его по плечу.— Белую или черную?

— Что-что? — спросил он.

— Нитку,— ответила она.

— Белую,— сказал Антон.

— Ладно, я, пожалуй, отложу это до утра,— сказала она.— Вы скоро закончите, господин Хабекус?

— Да, совсем скоро,— ответил парикмахер, потом

повернулся и сказал господину Буллриху: — Вот уж трудновоспитуемый ребенок, а?

На улице Кнопка подхватила Антона под руку и спросила:

— Это было очень скверно?

— Ну, тут было по-всякому, — сказал он. — Уж в следующий раз я тебя с собой не возьму.

— Ну и можешь оставаться один, — сказала она и отпустила его руку.

Они были уже на мосту Вайдендаммер. Кнопка беседовала с собакой, но недолго вытерпела молчание Антона.

— А чем, собственно, болеет твоя мама? — спросила она.

— У нее была в теле такая опухоль... Поэтому ее взяли в больницу и опухоль вырезали. Я каждый день бывал у нее. Боже мой, как она плохо тогда выглядела, такая была худая, желтая! А теперь она вот уже две недели лежит дома. Ей намного лучше. Сестра в больнице была с ней очень ласкова. Мне кажется, она думала, что мама должна умереть.

— Что же за опухоль была у нее? — спросила Кнопка.

— Доктор сказал — разрастание чего-то.

— А, понимаю, у нас же в теле есть, например, почки, они разрастутся, и будут листья. Или, скажем, желудок, я считаю, надо говорить желудок — маленький желудь. Он же может прорасти, и вырастет дерево. А еще у нас внутри есть печенка, это такая маленькая плохонькая печечка.

— Ну ты и навывдумывала. Это, должно быть, кожа и мясо, которые нарастают внутри. И если это не удалить, тогда умирают.

Через некоторое время Кнопка остановилась, скрестила руки у себя на животе и пожаловалась:

— Антон, дорогой Антон, что-то давит у меня тут внутри. Послушай, у меня тоже опухоль. Это, наверное, желудок пророс, и растет маленький дубочек. Я так хочу дубочек.

— Нет, — сказал он. — У тебя не дерево, у тебя птичка.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТРЕТЬЕ РАССУЖДЕНИЕ: О ФАНТАЗИИ

Вам, наверное, нравится, что Кнопка такая забавная девочка. Она делает перед стеной реверансы и продает ей

спички; она переодевается и тащит за собой на противне таксу; она укладывает собаку в кровать и воображает себе, будто бы это волк, который должен ее съесть. Она просит мясника Буллриха спеть с ней на четыре голоса. Наконец, она представляет себе, будто бы у нее опухоль. Она представляет себе такие вещи, которых не существует, или вещи, которые в действительности совсем не такие, как она их себе представляет.

Я как-то читал о человеке, у которого была чрезвычайно богатая фантазия и поэтому очень живое воображение. Однажды, например, он вообразил, что прыгает из окна. И тут он очнулся, и оказалось, что и на самом деле лежит на улице. По счастливой случайности он жил на первом этаже. Но представьте себе, если бы этот бедняга жил на пятом этаже! Тут бы его фантазия оказалась опасной для жизни. Фантазия — это замечательное качество, но ее нужно держать в узде.

Глава четвертая

НЕКОТОРЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Фрейлейн Андахт сидела между тем со своим женихом в кафе «Летняя беседка», и время от времени они с ним танцевали. Между столиками стояли прекрасные цветущие яблоньки, которые на самом деле были из картона и бумаги, но выглядели очень естественно. На картонных ветвях кроме бумажных цветов висели еще разноцветные, разной формы воздушные шарики. Кафе выглядело празднично, и капелла исполняла веселые танцы. Фрейлейн Андахт, такая высокая и худая, уже и не верила, что ей удастся найти жениха, и, однако, вот уже две недели, как он у нее есть. Ах, если бы он не был так строг! Он все время распоряжался, и если она не тотчас следовала его указаниям, он бросал на нее такой жуткий взгляд, что у нее от страха оттопыривались уши.

— Так ты поняла? — спросил он, наклонился далеко вперед и зло сверкнул на нее глазами.

— Ты на самом деле хочешь это сделать, Роберт? — робко спросила она. — У меня есть двести марок в сберегательной кассе, я могу их тебе отдать.

— Эти твои жалкие гроши! Дурища! — сказал он, из чего было видно, что он не слишком-то благородный кавалер. — Я должен иметь план до завтра.



Фрейлейн Андахт преданно кивнула. Потом она прошептала:

— Тише, идут дети.

Кнопка и Антон подошли к столу.

— Вот это Роберт-дьявол,— сказала Кнопка Антону и показала на жениха.

— Но Кнопка! — в ужасе воскликнула фрейлейн Андахт.

— Оставьте ее,— сказал жених и деланно усмехнулся.— Она же только шутит, эта маленькая принцесса. Ха, какой хорошенький пинчер! — сказал он затем и хотел погладить таксу.

Но Пифка ощерил пасть, зарычал и готов был укусить его. Потом им пришлось сесть. Жених хотел заказать им шоколаду, но Антон сказал:

— Не надо, господин, не делайте из-за нас лишних расходов.

Капелла снова заиграла, и фрейлейн Андахт пошла танцевать со своим Робертом. Дети остались за столиком.

— Может быть, мы тоже пойдем танцевать? — спросила Кнопка.

Антон наотрез отказался:

— Я же все-таки как-никак мальчик. И вообще, этот Роберт мне не нравится.

— И верно! — сказала Кнопка. — У него взгляд — как отточенный карандаш. Пифке он тоже не понравился. Но здесь восхищательно!

— Восхищательно? — переспросил Антон. — Ах, так это снова твоя выдумка.

Кнопка кивнула.

— Антон, есть еще кое-кто, кто мне не нравится. Это мальчишка нашего портье. Он пообещал, что если я не дам ему десять марок, он все расскажет моему отцу. Его зовут Готфрид Клеппербайн.

Антон сказал:

— А, так я знаю его. Он ходит в мою школу, классом старше. Ну погоди, я уж его как-нибудь вздую.

— Вот здорово! — воскликнула девочка. — Но ведь он больше тебя.

— Ничего, — сказал мальчик. — Все равно я ему задам.

А между тем фрейлейн Андахт с женихом так и танцевали. Танцевало и много другого народу. Роберт зло косился на детей и нашептывал ей:

— Уведи озорников. Завтра мы снова здесь встретимся. Что тебе надо принести с собой?

— План, — сказала фрейлейн Андахт, и ее голос прозвучал так, будто бы он подвернул ногу.

На улице фрейлейн Андахт сказала:

— Ты ужасная девочка! Так рассердить моего жениха!

Кнопка не ответила, она только закатила глаза, чтобы рассмешить Антона.

Фрейлейн Андахт обиделась. Она взяла Пифку и так припустилась, что не успела Кнопка оглянуться, они уже были у дома. Это была месть бонны.

— Значит, сегодня вечером мы встретимся, — сказала Кнопка.

Антон кивнул.

Пока они торчали у подъезда, из двери вышел Готфрид Клеппербайн и хотел прошмыгнуть мимо них.

— Минутку! — крикнул Антон. — Мне надо тебе сказать что-то важное.

Готфрид Клеппербайн остановился.

— Марш домой! — скомандовал Антон Кнопке.

— Ты его сейчас и вздуешь? — спросила Кнопка

— Это не для женщин, — сказал Антон.

Фрейлейн Андахт и Кнопка вошли в дом. Кнопка сразу же встала за дверь и стала наблюдать через стекло, которое было в двери. Но Антон этого и не подозревал.

— Послушай-ка, — сказал он Клеппербайну. — Если ты еще будешь приставать к малышке, ты будешь иметь дело со мной. Она находится под моей защитой, понятно?

— Твоя крошка-невеста! — усмехнулся Клеппербайн. — Ну ты и глупец!

Б-бац! Он получил такую затрещину, что так и сел на мостовую.

— Ну погоди же! — крикнул он, вставая.

Однако тут он получил вторую затрещину, на этот раз с другой стороны, и снова уселся.

— Ну погоди у меня, — сказал он, но из осторожности остался сидеть.

Антон подступил на шаг ближе.

— Сегодня я тебе говорю это по-хорошему, — сказал он. — Но если я снова что-нибудь услышу — ты у меня получишь.

Затем он прошел мимо Готфрида Клеппербайна, даже не взглянув больше на него.

— Черт возьми, — сказала Кнопка за дверь. — Этот мальчишка все может!

Фрейлейн Андахт уже зашла в квартиру. Когда она проходила мимо кухни, толстуха Берта, которая сидела на стуле и чистила картошку, крикнула ей:

— Подойдите-ка на минутку!

И хотя фрейлейн Андахт не было в том никакой радости, она подчинилась. Ведь она же боялась Берты.

— Вот, — сказала Берта, — хотя у меня комната на три этажа выше, под самой крышей, но, несмотря на это, я замечаю, что здесь что-то не так. Не будете ли вы любезны объяснить мне, отчего это ребенок в последнее время такой бледный, почему у него такие круги под глазами? И почему она не хочет по утрам вылезать из кровати?

— Кнопка растет, — сказала фрейлейн Андахт. — Ей надо принимать рыбий жир или железо.

— Вы уже давно мне что бельмо на глазу, — сказала Берта. — Если я только как-нибудь разужнаю, что у вас

за тайна, тогда вам придется пить рыбий жир и, может быть, даже сразу целую бутылку!

— Вы для меня слишком низки, вы не можете меня оскорбить,— заметила бонна и сморщила нос.

— Это я-то не имею права вас оскорблять? — спросила толстуха Берта и поднялась со стула.— Это мы еще увидим. Вы — баранья голова, вы — коварная кочерга, вы — пожарная каланча, вы — тетя-достань-воробушка, вы — наглое привидение, вы...

Фрейлейн Андахт зажала оба уха, сощурила от ярости глаза и, как жирафа, проскользнула по коридору.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЧЕТВЕРТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О МУЖЕСТВЕ

Я хочу здесь немного поговорить о мужестве. Антон только что дал две затрещины мальчику, который больше него. И некоторые могут подумать, что Антон проявил мужество. Но это было совсем не мужество, это была ярость. Небольшое различие тут состоит не только в словах.

Мужество присутствует только в том случае, когда человек сохраняет хладнокровие. Если врач, для того чтобы проверить, прав он или нет, вводит себе опасную бактерию, а потом средство, которое он изобрел,— он проявляет мужество. Если полярный исследователь, для того чтобы сделать открытие, мчится на собачьих упряжках к Северному полюсу,— он проявляет мужество. Если профессор Пикар на своем шаре поднимается в стратосферу, хотя еще никто до него на такой высоте не был, значит, он обладает мужеством.

Интересно бы знать, последовали бы вы примеру профессора Пикара? Он хотел повторить свой подъем, но, когда долго не мог приступить к этому, потому что неблагоприятствовала погода, газеты начали смеяться над ним. Люди смеялись, едва увидев его фотографию. Но он ждал подходящего момента. Он был настолько мужествен, что предпочел лучше вытерпеть насмешки, чем совершить глупость. Он не был отчаянным, он не был сумасшедшим, он был исследователем, а не искателем славы!

Мужество не докажешь только кулаком, для этого нужна еще и голова.

КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ ЗУБНОЙ ВРАЧ

Директор Погге был еще на своей фабрике тросточек. Милостивая госпожа еще возлежала в спальне в мигрени. Фрейлейн Андахт сидела в своей комнате.

Кнопка и Пифка были до самого ужина одни. Кнопка взяла у толстухи Берты крепкую белую нитку и сказала псу, который немного устал и свернулся в своей корзине:

— Ну, смотри-ка, малыш!

И Пифка смотрел. Он хотя и устал, но он был послушный пес.

Девочка отмотала с катушки немного нитки, привязала ее конец к шатающемуся зубу, другой — к ручке двери.

— Это будет надежно,— сказала Кнопка и сделала: — Бр-р-р!

Затем она потихоньку двинулась прочь от двери, пока нитка туго не натянулась. Она двинулась еще чуть-чуть, жалобно простонала и состроила страдальческую мину. Она пошла назад к двери. Нитка опять завилась кольцами.

— Пифка, Пифка,— сказала она.— Эта профессия не для меня.

Потом она снова побежала было от двери, но жалобно завопила даже прежде, чем нитка натянулась.

— Исключено,— сказала она.— Если бы Антон был здесь, я бы еще, может быть, решилась.

Она прислонилась к двери, задумалась, потом отвязала нитку от ручки.

— Ну-ка, дай лапку! — приказала она.

Но Пифка этому еще не научился. Кнопка нагнулась, подняла собаку и посадила на свою маленькую домашнюю парту. Она привязала свободный конец нитки к левой задней пифкиной лапе.

— Ну а теперь прыгивай! — попросила она.

Но Пифка вместо этого свернулся в клубок и вознамерился как следует поспать на парте.

— Прыгай же! — угрожающе зашептала Кнопка и закрыла, отдаваясь в руки судьбы, глаза.

Маленький таксик наострил, насколько позволяли его лопухи, уши. Но ни о каких прыжках, как и прежде, не было и речи. Кнопка открыла глаза. Все ее страхи

оказались напрасны. Она шлепнула Пифку и тут уж ему, хочешь не хочешь, пришлось прыгнуть.

— Зуб вырван? — спросила она его.

Но Пифка тоже не знал. Кнопка полезла в рот.

— Нет, мой мальчик, — сказала она. — Нитка слишком длинна.

Она вскарабкалась с Пифкой под мышкой на скамеечку перед партой, потом согнулась и снова посадила Пифку на парту.

— Если это не поможет, — пробормотала она, — я попрошу сделать мне наркоз.

Она слегка подтолкнула Пифку, и он заскользил по парте вниз, а Кнопка выпрямилась, как свеча. Собака свалилась с края парты на паркет.

— Ой! — вскрикнула Кнопка.

Она ощутила во рту вкус крови. Пифка забился в корзинку. Он был радешенек, что больше не на привязи. Кнопка вытерла несколько слезинок.

— Эх, малыш, малыш, — сказала она и принялась искать носовой платок. Наконец она его нашла, сунула себе в рот и закусила. Нитка свисала с края Пифкиной корзинки. Маленький белый зуб лежал посреди комнаты. Кнопка освободила собаку от нитки, подняла зуб и заплясала по комнате. Потом она помчалась к фрейлейн Андахт:

— Зуб вырван! Зуб вырван!

Фрейлейн Андахт быстро прикрыла листок бумаги, в правой руке она держала карандаш.

— Да? — сказала она, и это было все.

— Что с вами? — спросила Кнопка. — Вы уже несколько дней так смешны, разве вы не замечаете этого сами? Что такое стряслось?

Она остановилась около бонны, потихоньку скосила глаза на бумагу и сказала, как будто бы была своим собственным дедушкой:

— Ну, излейте-ка мне вашу душу!

Но фрейлейн Андахт не собиралась исповедоваться.

— Когда у Берты выходной день? — спросила она.

— Завтра, — объявила Кнопка. — А для чего вам это надо?

— Просто так, — сказала фрейлейн.

— Просто так! — возмущенно воскликнула Кнопка. — Нет, я хочу знать!

Но от фрейлейн было сегодня ничего не добиться, словно каждое слово стоило талер. Тут Кнопка сделала вид, что споткнулась и падает на руки фрейлейн. Бумага

стала видна. На ней были вычерчены карандашом четырехугольники. «Жилая комната» было написано в одном, «Кабинет» — в другом. Потом большие тощие руки фрейлейн снова закрыли чертеж.

Кнопка не знала, что и подумать, и решила: вечером надо рассказать об этом Антону, наверное, он разберется.

Полтора часа спустя Кнопка лежала в кровати. Андахт сидела рядом и читала ей сказку о ежике и его ежихе.

— Тут у вас,— проговорила Кнопка,— оба ежика словно близнецы. Я была совершенно права сегодня в обед. Если бы я была близнецом, а другим близнецом была бы Карлинка, тогда бы мы могли на уроке гимнастики тоже устраивать такие бега.

Потом в детскую пришли родители. Мать была в великолепном шелковом вечернем платье и в золотых туфельках, а отец был в смокинге. Они поцеловали на ночь дочь, а фрау Погге сказала:

— Спи как следует, моя сладкая.

— Будет сделано,— ответила Кнопка.

Отец присел было на краешек кровати, но жена поторопила его:

— Идем, генеральный консул не любит опозданий. Маленькая девочка кивнула отцу и сказала:

— Директор, не делай глупостей!

Едва родители ушли, Кнопка выпрыгнула из кровати и крикнула:

— Пошли!

Фрейлейн Андахт понеслась в свою комнату и взяла из комода старое, рваное платьице. Принесла его девочке. Сама она надела заплатанную юбку и ужасно выцветший зеленый джемпер.

— Ты готова? — спросила она.

— Конечно! — радостно крикнула Кнопка, и выглядела она при этом ужасно.— Вы не надели еще ваш головной платок,— сказала она.

— Куда же я его позавчера положила? — спросила фрейлейн Андахт, однако потом она нашла его, повязала, надела синие очки, вытащила из-под дивана рыночную сумку, и, одетые таким образом, они потихоньку выскользнули из дому.

Через десять минут после того, как они оставили дом, Берта вышла на лестницу, которая вела к ее распо-

ложенной наверху комнате для служанок, тихо проскользнула вниз, так тихо, как только могла толстуха Берта. Она осторожно постучала в Кнопкину дверь, но никто не ответил.

— Или она уже спит, наша крошка? — спросила она себя. — Наверное, она просто притворяется. Надо бы ей сунуть кусочек свежее испеченного пирожка, но с тех пор, как здесь эта стервоза Андахт, тут что-то нечисто. На днях я нажала ручку, отворила дверь, так она сейчас же нажаловалась госпоже. Мол, сон до полуночи — это лучший сон и не должен нарушаться. Такая чепуха — сон до полуночи! Да Кнопка выглядит теперь так, как будто бы она вообще ночь напролет не спит. И постоянно эта суетня и возня. Не знаю, мне с некоторых пор все тут кажется очень смешным. Если бы не директор и Кнопка, я бы давно удрала.

— Смотри у меня! — погрозила она Пифке, который поднялся из своей корзиночки около Кнопкиной двери и подпрыгнул к пирогу. — Ляг на место, ты, дворняжка, и молчок! Ты получишь кусочек, только тихо. Ты ведь единственный в этом доме, у кого нет ни от кого тайн.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЯТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О ЛЮБОПЫТСТВЕ

Когда моя мама читает роман, она делает это так: сперва она читает первые двадцать страниц, потом конец, потом листает середину и только тогда уже берется за книгу основательно и читает ее от начала до конца. Почему же она так поступает? Прежде чем спокойно читать роман, она должна знать, чем все кончится. Иначе ей не будет никакого покоя. Не приучайтесь к этому! А в случае, если вы уже так делаете, отучитесь от этого, хорошо?

Это то же самое, как если бы вы за две недели до Нового года шарили у матери в шкафу, чтобы заранее узнать, что за подарок вам предназначен. А когда потом начнется раздача подарков, вам уже все известно. Разве это не ужасно? Вам собираются сделать сюрприз, а вы уже заранее знаете, что вы получите, и родители удивляются почему вы не рады. И Новый год испорчен и вам и им.

А когда вы потихоньку лазаете в шкаф и находите за две недели раньше подарок, у вас от сильного страха быть застигнутым тоже нет никакой особой радости. Нужно уметь ждать. Любопытство — это гибель радости.

ДЕТИ ИДУТ В НОЧНУЮ СМЕНУ

Знаете ли вы мост Вайдендаммер? Знаете ли вы его вечерами, когда под темным небом вокруг горят рекламы? Фасады Комической оперы и Адмиральского дворца сияют освещенными витринами и пестрыми световыми надписями. На одном из фронтонов по ту сторону Шпрее трепыхается тысячами сверкающих лампочек реклама известного моющего средства, виден огромный котел, водяной пар, поднимающийся над ним, как добрый дух появляется сверкающая белизной рубашка, и вся серия картинок уплывает. А позади, над домами набережной Кораблестроителей, сияет фронтон большого театрального здания.

Автобусы вереницами катят по аркам моста. На заднем плане высится вокзал Фридрихштрассе. Поезда надземной железной дороги мчат над городом, окна вагонов освещены, и они скользят в ночи, словно переливающиеся разными цветами змеи. Порой небо розовеет от далеких огней, которые вспыхивают под ним.

Берлин прекрасен! Особенно здесь, на этом мосту и особенно вечером. Вверх по Фридрихштрассе торопятся автомобили. Блистают фонари и прожекторы. По тротуарам движутся пешеходы. Поезда свистят, автобусы грохочут, автомобили гудят, люди разговаривают и смеются. Дети, это и есть жизни!

На мосту стояла худая бедная женщина в темных очках. Она держала в руках сумку и несколько коробков спичек. Около нее приседала малышка в рваной одежде.

— Спички, купите спички, господа! — восклицала маленькая девочка дрожащим голосом.

Много людей шло по мосту, много людей проходило мимо.

— Пожалейте нас, бедных! — жалобно выкрикивала девочка. — Коробок всего десять пфеннигов!

Полный мужчина приблизился к ним и пошарил в кармане.

— Мать совершенно слепа, а еще так молода. Три коробка — двадцать пять пфеннигов! — лепетала девочка.

Полный мужчина дал ей грош и пошел дальше.



— Благослови вас бог, милая госпожа! — крикнула девочка.

И тут получила она от тощей персоны тычок.

— Это же не госпожа, это был мужчина, дурочка, — сердито пробормотала женщина.

— Вы слепая или нет? — обиженно спросила маленькая девочка.

Но потом она снова принялась делать реверансы и выкрикивать, дрожа:

— Спички, купите спички, господа!

Теперь ей дала грош пожилая дама и приветливо кивнула при этом.

— Дело процветает, — шепнула девочка. — У нас уже две марки тридцать пфеннигов, а отдано только пять коробков спичек. — И она снова жалобно запричитала: — Пожалейте нас, бедных! Коробок всего десять пфеннигов!

И вдруг она весело подпрыгнула.

— На другой стороне стоит Антон, — сообщила она, но затем тут же сникла, принялась приседать и жалобно причитать, чтобы вызвать у прохожих сострадание.

— Большое, большое спасибо! — говорила она.

Капитал рос. Она бросала монеты в рыночную сумку. Они падали на другие и весело позвякивали.

— И вы подарите все деньги вашему жениху? — спросила Кнопка.— А он только посмеется.

— Закрой рот,— приказала женщина.

— Но ведь так и будет! — возразила Кнопка.— Для чего же еще мы стоим здесь каждый вечер и рото-зейничаем?

— Ни слова больше! — зло буркнула женщина.

— Спички, купите спички, господа! — снова запричитала Кнопка, ведь мимо проходили люди.— Надо бы лучше что-нибудь отдать Антону. Он же до субботы на невыгодной стороне.— И вдруг она завизжала, словно ей наступили на ногу: — Клеппербайн пришел, дрянной мальчишка!

Антон стоял на другой стороне моста, на невыгодной стороне, где проходило меньше людей. Он держал перед собой маленький чемоданчик и говорил, когда кто-нибудь проходил мимо:

— Не желаете ли коричневые или черные шнурки для полуботинок? Пожалуйста, спички! Могут всегда пригодиться!

Он не обладал торговым талантом. И он не умел жалобить людей, хотя ему, скорее, надо бы плакать, чем смеяться. Он обещал хозяину послезавтра заплатить пять марок за квартиру, деньги на хозяйственные расходы тоже опять кончились. Ему надо завтра купить маргарину, и он хотел даже еще четверть фунта ливерной колбасы.

— Тебе надо бы уже быть в постели, а не здесь,— сказал один господин.

Антон удивленно посмотрел на него.

— Нужда доставляет мне это удовольствие,— про-бормотал он.

Мужчине стало немного стыдно.

— Ну-ну, хорошо,— сказал он.— Не надо сразу злиться.— И дал ему монету; это оказалось пятьдесят пфеннигов.

— Очень благодарен! — сказал Антон и протянул ему две пары шнурков.

— Я ношу ботинки на резинке,— объяснил господин, снял перед мальчиком шляпу и поспешил дальше.

Антон обрадовался и посмотрел через мост на свою подружку. Эй, не Клеппербайн ли там? Он хлопнул

свой чемоданчик и побежал через дорогу. Готфрид Клеппербайн стоял перед Кнопкой и фрейлейн Андахт и нагло их разглядывал.

Кнопка, правда, показала мальчишке язык, но бонна затряслась от волнения. Антон дал Клеппербайну хорошего пинка. Тот яростно обернулся, однако, увидев Антона и припомнив послеобеденные затрещины, поскорее удрал.

— Что бы мы без тебя делали! — сказала Кнопка и протянула Антону руку.

— Пошли! — сказала фрейлейн Андахт. — Пошли, зайдем в кафе-автомат. Я приглашаю Антона.

— Bravo! — сказала Кнопка, подхватила мальчика под руку и побежала с ним вперед.

Фрейлейн Андахт позвала девочку:

— Ты не хочешь меня вести? Что подумают люди, если я, несмотря на свои очки, понесусь за вами?

Кнопка взяла за руку и свою бонну и потащила обоих вниз по мосту, по Фридрихштрассе к Ораниенбургским воротам.

— Сколько ты заработал? — спросила она.

— Девяносто пять пфеннигов, — удрученно сказал мальчик. — Один господин дал пятьдесят пфеннигов, а то прямо хоть уходи.

Кнопка сунула ему что-то в руку.

— Спрячь, — потихоньку шепнула она.

— Что случилось? — с подозрением спросила фрейлейн Андахт.

— Вот вы какая любопытная! — сказала Кнопка. — Я же не спрашиваю вас, что за смешные знаки вы подаете.

Фрейлейн Андахт замолчала, только глазами сверкнула.

Улица была довольно пуста. Бонна сняла темные очки и велела Кнопке отпустить ее руку. Раз-другой они завернули за угол и были у цели.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШЕСТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О БЕДНОСТИ

Примерно лет сто пятьдесят назад как-то парижские бедняки направились в Версаль, где проживал французский король со своей супругой. Это была демонстрация. Вам ведь известно, что это такое. Бедняки остановились перед дворцом и кричали: «У нас нет хлеба! У нас нет хлеба!» Так плохо было у них дело.

Королева Мария-Антуанетта стояла у окна, она спро-

сила одного из высших офицеров: «Чего хотят эти люди?»

— Ваше величество,— ответил офицер,— они хотят хлеба, им не хватает хлеба, они очень голодны.

Королева удивленно пожала плечами: «Им не хватает хлеба? Так пусть едят пироги!»

Вы, наверное, думаете, что она сказала это, чтобы повеселить бедняков. Нет, она не знала, что такое бедность! Она думала, что если случаем не хватило хлеба, то надо приниматься за пироги. Она не знала народа, она не знала бедности, и годом позже ей отрубили голову. Да и для чего она была ей!

А верите ли вы в то, что бедность легче бы устранить, если бы богатые уже с детства знали, как это плохо — быть бедным? Верите ли вы в то, что тогда бы дети богатых сказали: «Когда мы вырастем и будем владеть банками, поместьями и фабриками наших отцов, то пусть они тогда будут принадлежать рабочим!»

Вы верите, что такое могло бы случиться?

Вы хотите помочь, чтобы так было?

Глава седьмая

ФРЕЙЛЕЙН АНДАХТ «ПОД МУХОЙ»

В этом заведении бывали иногда очень любопытные люди, и Кнопка с удовольствием приходила сюда, она находила это очень интересным. Случалось, тут бывали даже и пьяные.

Антон зевал, и глаза его от усталости стали маленькие-маленькие.

— Ужасно,— сказал он.— Сегодня на уроке арифметики я по-настоящему заснул. Господин Бремзер так накричал на меня, что я чуть не свалился со скамейки. Он кричал, что мне должно быть стыдно. И что мои школьные работы в последнее время оставляют желать много лучшего. И что, если это будет дальше так продолжаться, он напишет записку моей матери.

— Ну и ну! — проговорила Кнопка.— Этого еще не доставало! Разве он не знает, что мама у тебя больна и тебе приходится готовить и зарабатывать деньги?

— Откуда же ему знать? — с недоумением спросил Антон.

— От тебя, конечно,— заявила Кнопка.

— Уж скорее я откушу себе язык,— сказал Антон.

Кнопка не понимала этого. Она пожала плечами. Потом она повернулась к фрейлейн Андахт. Та в задумчивости сидела в своем углу.

— Мне кажется, вы нас пригласили?

Фрейлейн Андахт пожала плечами и понемногу пришла в себя.

— Чего вы хотите?

— Апельсинов со сбитыми сливками,— предложила Кнопка, и Антон кивнул.

Фрейлейн Андахт поднялась и направилась к буфету.

— Откуда ты взяла деньги, которые мне только что сунула? — спросил мальчик.

— Андахт же отдает деньги своему жениху, ну я от нее немножко и утаила. Т-с-с, никаких возражений! — строго прикрикнула она.— Смотри-ка, она наверняка опять пьет шнапс. Она пьянствует, ну ладно. Слушай, она сидела сегодня у себя в комнате и чертила карандашом четырехугольники и в одном из них написала: «Жилая комната», в другом — «Кабинет», большего я увидеть не смогла.

— Это был план квартиры,— уверенно заявил Антон.

Кнопка шлепнула себя рукой по лбу.

— Ну и голова! — сказала она.— И как я сама не догадалась! Но для чего ей план квартиры?

Этого Антон тоже не знал. Тут вернулась фрейлейн Андахт и протянула детям разделенные на дольки апельсины. Сама она пила коньяк.

— Мы должны были заработать по крайней мере три марки,— заявила она.— Однако в кармане у меня всего одна марка восемьдесят пфеннигов. Что ты на это скажешь?

— Может быть, в кармане дырка? — спросила Кнопка.

Фрейлейн Андахт тотчас же посмотрела.

— Нет,— сказала она,— карман целый.

— Смешно,— проговорила Кнопка.— Можно подумать, что кто-то слямзил.— Потом она вздохнула и пробормотала: — Ну и времена!

Фрейлейн Андахт молча выпила свой коньяк, встала, чтобы принести себе еще.

— Столько часов стояли на мосту, а теперь она пропьет весь доход,— прошипела Кнопка ей вслед.

— Тебе вообще лучше оставаться дома,— заявил Антон.— Если твои родители как-нибудь разузнают об этом, будет большой скандал.

— А мне-то что,— сказала Кнопка.— Разве я себе выбирала бонну?

Антон взял с соседнего стола бумажную салфетку, свернул маленький кулек и положил в него шесть ломтиков апельсина. Он спрятал кулек в свой маленький чемоданчик. И так как Кнопка вопрошающе посмотрела на него, он смущенно сказал:

— Это... для мамы.

— А у меня что-то есть! — воскликнула девочка и пошарила в своем кармашке.

Она взяла что-то в руку. Он склонился, посмотрел.

— Зуб,— заметил он.— Это что, вырван?

— Дурацкий вопрос,— сказала она.— Хочешь, я тебе его дам?

Мальчик оказался совершенно равнодушен к зубам, и ей пришлось спрятать его назад. Тут подошла фрейлейн Андахт. Она уже была слегка навеселе и поторопила с уходом. До моста Вайдедаммер они шли вместе, а там распрощались.

— Бремзер — это твой классный воспитатель? — спросила Кнопка.

Антон кивнул.

— Завтра после обеда я опять приду к тебе,— пообещала она.

Он обрадованно потряс ее руку, поклонился фрейлейн Андахт и понесся от них.

Кнопка и Андахт добрались до квартиры без происшествий. Родители все еще были у генерального консула Олериха. Девочка улеглась в постель и моментально заснула. Разбуженный Пифка слегка поворчал. Бонна пошла в свою комнату, закрыла в комод нищенскую одежду и тоже улеглась спать.

Антон сразу не мог улечься в кровать. Он осторожно миновал по коридору комнату матери, зажег в кухне свет, спрятал свой чемоданчик и зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть. Потом он вытащил из кармана карандаш, достал записную книжку и раскрыл ее. «Расход» — было написано на странице. «Приход» — было написано на другой. Он полез в карман брюк, вытащил на стол горстку монет и тщательно посчитал. Здесь было две марки пятнадцать пфеннигов. «Если бы не Кнопка и не славный господин, у меня было бы сейчас только сорок пять пфеннигов,» — подумал он и занес доход в тетрадь.

С остатком, который он тайно хранил в ящичке с тушью, у него набралось пять марок и шестьдесят пфеннигов, а пять марок ему нужно было заплатить за квартиру! Значит, на еду оставалось шестьдесят пфеннигов. Он заглянул в маленькую кладовку. Картошка тут еще была. На доске для резки мяса лежала корочка от ветчины. Если завтра натереть сковороду этой корочкой, наверное, можно будет поджарить картошку. А вот с четвертью фунта ливерной колбасы опять ничего не получалось. А он так любил ливерную колбасу! Он снял ботинки, положил ломтики апельсина на тарелку, погасил свет и выскользнул из кухни. У двери в спальню он остановился и прижался ухом к ее створке. Мама спала. Он слышал ее спокойное дыхание, иногда она даже слегка всхрапывала. Антон погладил дверь и усмехнулся, потому что мать опять всхрапнула. Потом он проскользнул в жилую комнату. Он разделся в темноте, повесил костюм на стул, положил деньги в ящичек с тушью, забрался на софу и укрылся.

Закрыв ли он дверь в коридор? Завернул ли газовый кран? Антон беспокойно ворочался, потом все-таки поднялся, чтобы посмотреть все ли в порядке.

Все оказалось в порядке. Он снова улегся. Задание по арифметике он выполнил. К диктовке — тоже подготовился. Надо надеяться, господин Бремзер не напишет матери. Ведь тогда выяснится, что он стоял вечером на мосту Вайдендаммер и торговал шнурками. Достаточно ли у него еще шнурков? Коричневых, должно быть, надолго не хватит. Коричневых ботинок видимо носят больше, чем черных. Или коричневые шнурки скорее рвутся?

Антон лег на бок, на котором обычно засыпал. Надо надеяться, мама будет скоро совсем здорова. И тут он наконец заснул.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЕДЬМОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О СУРОВОСТИ ЖИЗНИ

Недавно я был в Ростке на ярмарке. Улицы, которые косо спускались к Варне, были полны ларьков, а внизу на берегу крутились карусели. И так как вокруг все было такое красивое, яркое, мне тоже стало весело, я остановился у кондитерского киоска и попросил на десять пфеннигов турецкого меда.

Тут мимо проходил мальчик со своей мамой, потянул женщину за рукав и сказал: «Еще один пряник!» При этом он уже держал в руках пять упакованных пряников.

Мать не обратила внимания. Тогда мальчик остановился, затопал ногами и стал кричать: «Еще один пряник! Еще один пряник!»

— У тебя уже есть пять,— возразила мать.— Подумай только, бедные дети вообще не получают никаких пряников!

И вы знаете, что мальчик ответил?

Он зло закричал: «Какое мне дело до бедных детей!» Я так испугался, что чуть не проглотил свой турецкий мед вместе с бумажкой. Дети, дети! Разве так можно?

Вот ведь как, мальчик получает от состоятельных родителей незаслуженное удовольствие, да еще и упрямится, и кричит: «Какое мне дело до бедных детей!» И это вместо того, чтобы отдать бедным детям хотя бы два из своих пяти пряников и радоваться, что смог доставить им маленькую радость.

Жизнь сурова и тяжела. И если люди, которым она дается легко, не хотят сами поделиться с теми, кому живется не так просто, это плохо кончится.

Глава восьмая

ГОСПОДИН БРЕМЗЕР ПРОЗРЕВАЕТ

По пятницам Кнопка освобождается в школе на час раньше, чем в остальные дни. Директор Погге знает об этом и посылает шофера с машиной туда, чтобы девочка могла с ним приехать домой. В это время автомобиль ему еще не нужен, и Кнопка с удовольствием ездит в авто.

Шофер прикладывает руку к козырьку, когда она выходит из двери школы, и открывает дверцу. Она бежит к нему и восторженно протягивает руку.

— Здравствуйте, господин Холлак! — говорит она.

Другие девочки тоже радуются. Ведь если за Кнопкой Погге приехали на автомобиле, с ней всегда могут поехать и подружки, сколько смогут поместиться. Но сегодня Кнопка оборачивается на подножке, мрачно смотрит на всех и говорит:

— Девочки, не обижайтесь, но сегодня я поеду одна.

И девочки стоят перед авто, как побитые собачки.

— Мне предстоит сегодня важное дело,— объявила Кнопка.— И вам бы пришлось в дороге меня долго дожидаться.

Затем она совершенно одна уселась в большой автомобиль, назвала шоферу адрес, он тоже сел, автомобиль поехал, а двадцать маленьких девочек позади грустно смотрели вслед роскошному автомобилю.

Через несколько минут автомобиль остановился у одного большого здания, и это тоже была школа.

— Дорогой господин Холлак,— сказала Кнопка,— если можно, прошу вас минуточку подождать.

Господин Холлак кивнул, и Кнопка быстро побежала вверх по ступенькам. Еще была перемена. Она поднялась на второй этаж и спросила мальчика, где находится учительская. Он показал ей. Она постучала. Так как никто не ответил, она постучала еще раз и довольно решительно.

Тут дверь отворилась. Высокий молодой господин стоял перед ней и жевал бутерброд.

— Вкусно? — спросила Кнопка.

Он улыбнулся.

— И что ты еще хочешь узнать?

— Мне надо поговорить с господином Бремзером,— объяснила она.— Моя фамилия Погге.

Учитель прожевал и сказал:

— Ну тогда пойдем.

Она пошла за ним, и они пришли в большую комнату со множеством стульев. И на каждом стуле сидел учитель, и от такого прекрасного зрелища у нее сильнее заколотилось сердце. Сопровождающий повел ее к окну, там прислонился к подоконнику пожилой полный учитель с совершенно лысой головой.

— Бремзер,— сказал Кнопкин провожатый,— разреши представить тебе фрейлейн Погге. Она хочет поговорить с тобой.

И он оставил их.

— Ты хочешь поговорить со мной? — спросил господин Бремзер.

— Да,— сказала она.— Вы же знаете Антона Гаста?

— Он учится в моем классе,— сказал господин Бремзер и выглянул в окно.

— Вот именно,— сказала Кнопка.— Я вижу, мы уже понимаем друг друга.

Господин Бремзер начинал проявлять любопытство:

— Итак, что же с Антоном?

— На уроке арифметики он задремал,— объяснила Кнопка.— И к сожалению, его работа в школе вам тоже больше не нравится.

Господин Бремзер кивнул и сказал:



— Да, это верно.

Между тем подошли и некоторые другие учителя, они интересовались, что тут происходит.

— Извините, господа,— сказала Кнопка,— не будете ли вы любезны снова занять свои места? Мне надо поговорить с господином Бремзером об Антоне.

Учителя засмеялись и опять расселись по своим стульям. Но они уже больше почти не разговаривали и навестили ушки.

— Я подруга Антона,— сказала Кнопка.— Он мне сказал, что вы хотите, если так пойдет и дальше, написать его маме письмо.

— Правильно. А сегодня он на уроке географии вытащил из кармана записную книжку и вел в ней подсчеты. Письмо его матери будет сегодня же направлено.

Кнопка, конечно, с удовольствием бы проверила, нельзя ли в лысину господина Бремзера смотреться, как в зеркало, но сейчас у нее не было времени.

— Выслушайте же меня,— сказала она.— Мама у Антона очень больна. Она лежала в больнице, там ей

вырезали — как это называется? — ах, опухоль. Теперь она уже больше недели как дома, но работать еще не может.

— Этого я не знал,— сказал господин Бремзер.

— Так вот, значит, она дома и лежит в постели, готовить не может. Но кто-то же должен готовить! И вы знаете, кто готовит? Антон. И что готовит? Картофель вареный, яичницу-болтунью и такие вещи, что просто великолепие!

— Этого я не знал,— ответил господин Бремзер.

— И она уже несколько недель не зарабатывает денег. Но кто-то же должен зарабатывать деньги. И вы знаете, кто зарабатывает деньги? Антон зарабатывает деньги. Вы этого, конечно, не знали.— Кнопка начинала сердиться.— Что вы вообще знаете?

Учителя вокруг засмеялись. Вся лысина у господина Бремзера покраснела.

— И как же это он зарабатывал деньги? — спросил он.

— Этого я не скажу,— заявила Кнопка.— Самое большое, что я вам могу сказать, так это — мальчик мучает себя день и ночь. Он любит свою маму, вот он и трудится не разгибая спины, и готовит, и зарабатывает деньги, и покупает еду, и платит за квартиру, а если ему приходится подстригаться, то платит он парикмахеру в рассрочку. И вообще, меня удивляет, что он не спит на всех ваших занятиях.

Господин Бремзер молчал. Остальные учителя прислушивались.

— И вот вы садитесь и пишете его маме письмо, будто бы он лентяй, этот мальчик! Это уж никуда не годится. Бедная женщина снова от расстройства заболевает, если вы пошлете ей письмо. Может быть, она из-за вас получит еще несколько опухолей и снова попадет в больницу! Но тогда мальчик тоже заболевает, уверяю вас! Долго он не выдержит такой жизни.

— Не ругайтесь так сильно,— сказал господин Бремзер.— Почему же он мне об этом ничего не сказал?

— Тут вы правы,— сказала Кнопка.— Я его тоже спрашивала, и знаете, что он мне сказал?

— Ну? — спросил учитель.

А его коллеги опять повставали со стульев и полукругом обступили маленькую девочку.

— Я скорее откушу себе язык, сказал он,— сообщила Кнопка.— Наверное, он очень гордый.

Господин Бремзер слез с подоконника.

— Ладно, хорошо,— сказал он.— Я не буду писать письма.

— Вот это правильно,— сказала Кнопка.— Вы славный человек. Я думаю, мне пора, и большое вам спасибо.

Учитель проводил ее до дверей.

— Я тоже благодарю тебя, девочка.

— И еще одно,— сказала Кнопка.— Пока я не забыла. Вы не говорите Антону, что я у вас была.

— Ни в коем случае,— сказал господин Бремзер и погладил ее по руке.

Раздался звонок. Снова начались занятия. Кнопка помчалась вниз по лестнице, села к господину Холлаку в авто и поехала домой. И во все время пути она раскачивалась на подушке сиденья и напевала что-то себе под нос.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВОСЬМОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О ДРУЖБЕ

Верите вы мне или нет: я завидую Кнопке. Не часто представляется такая возможность, как здесь ей: быть полезным другу. И как редко бывает возможно осуществить дружескую услугу так тайно! Господин Бремзер не стал писать письма матери Антона. Он не стал больше распекать мальчика. Антон сперва удивился, потом обрадовался, а Кнопка потихоньку потирала руки. Она же знала, отчего все произошло. Без нее такого бы не получилось.

Но Антон об этом не узнал. Кнопке не нужна была благодарность. Само сделанное было ей достаточной платой. Будь тут что иначе, это скорее бы уменьшило ее радость, чем увеличило.

Я желаю каждому из вас хорошего друга. И я желаю, чтобы у каждого из вас была возможность для дружеской услуги, которую бы вы могли оказать другу без его ведома. Это позволит вам испытать, какое счастье делать других счастливыми!

Глава девятая

ФРАУ ГАСТ РАЗОЧАРОВАНА

Пока Антон искал в школьном ранце ключ, чтобы открыть дверь, она открылась перед ним сама, и перед ним стояла его мама.

— Обедать, мой мальчик,— сказала она и засмеялась.

— Обедать,— озадаченно ответил он.

Потом он подпрыгнул от радости, обнял ее и сказал:

— Я так рад, что ты снова здорова.

Они пошли в комнату, Антон уселся на софу и не переставал удивляться каждому шагу, который делала мать.

— Еще немножко трудновато,— объяснила она и, усталая, села рядом с ним.— Как сегодня дела в школе?

— Рихард Науман на географии сказал, что в Индии живут индейцы. Помилуйте, это же чушь! А Шмиц ущипнул Прамана, да так, что тот подпрыгнул на скамейке. А господин Бремзер спрашивает, что там такое. Праман и говорит, что, должно быть, блоха, может быть, даже две. Тут Шмиц вскакивает и кричит, что он не может сидеть рядом с мальчиком, у которого блохи. Родители ему этого не разрешают. Мы вовсю смеемся.— Антон, еще раз переживая это событие, тоже смеется, потом спрашивает: — Может быть, тебе, мама, сегодня не до шуток?

— Рассказывай, рассказывай, только спокойно,— говорит она.

Он кладет голову на подлокотник софы и протягивает ноги.

— Господин Бремзер на последнем уроке был очень добр ко мне, мне надо будет как-нибудь навестить его, когда у меня будет время.— Вдруг он вздрогнул.— Ну и дурень! — вскрикнул он.— Мне же надо готовить!

Мать удержала его и показала на стол. Там уже стояли тарелки и большая дымящаяся миска.

— Чечевица с сосисками? — спросил он.

Она кивнула. Затем они сели за стол. И Антон принялся уплетать за обе щеки. Когда он очистил тарелку до дна, мать налила ему еще. Он восхищенно кивнул ей. И тут он увидел, что ее порция еще не тронута. Appetit у него сразу пропал. Он печально возил ложкой в чечевичном супе и вылавливал сосиски. Молчание нависло над ними зловещей пеленой.

Наконец он больше не выдержал:

— Мапочка, я в чем-нибудь провинился? Иногда ведь бывает и сам не знаешь... Или это из-за денег? Сосиски ведь, собственно, были совсем не обязательны.— Он нежно положил свою руку на ее.

Однако мать быстро вынесла в кухню посуду. Потом она вернулась и сказала:

— Принимайся за уроки. Я быстро возвращусь.

Он сел на свой стул и покачал головой. Что такого он совершил? В передней хлопнула входная дверь. Он раскрыл окно, сел на подоконник и высунулся далеко наружу. Прошло порядочно времени, пока мать внизу вышла из дома. Она двигалась небольшими шагами. Беготня утомила ее. Она пошла вниз по улице Артиллерии, потом завернула за угол.

Грустный он уселся за стол, достал ранец, чернила и принялся покусывать кончик ручки.

Наконец мать возвратилась. Она пришла с маленьким букетиком цветов, принесла воду, поставила цветы в вазу с голубыми крапинками, расправила листочки, закрыла окно и осталась стоять перед ним, повернувшись к Антону спиной и не говоря ни слова.

— Прекрасные цветы,— сказал он сложив руки и едва дыша.— Подснежники, да?

Мать стояла в комнате словно чужая. Она смотрела в окно и пожала плечами. Надо бы к ней подбежать. Но он только привстал со стула и попросил:

— Скажи же хоть слово! — Голос его прозвучал хрипло, и, может быть, даже она его совсем и не слышала.

Потом она спросила, не поворачиваясь к нему:

— Какое у нас сегодня число?

Он хоть и удивился, но побежал, чтобы она еще больше не рассердилась, к календарю и крикнул:

— Девятое апреля.

— Девятое апреля,— повторила она и прижала к губам носовой платок.

И вдруг он понял, что случилось! У мамы сегодня день рождения, и он об этом совсем забыл!

Он свалился обратно на стул и весь задрожал: Он закрыл глаза и ничего другого не желал, как только умереть на месте... Из-за этого, значит, она сегодня поднялась. И из-за этого приготовила чечевицу с сосисками. Ей самой пришлось купить букетик цветов. И вот она теперь стоит у окна, покинутая всеми на свете. И он не смеет даже подойти к ней, приласкаться. Ведь она ему этого не может простить. Вот... если бы она опять заболела... Тогда бы она, конечно, отправилась в свою постель и снова стала хорошей. Он поднялся и пошел к двери. Там он еще раз повернулся и умоляюще спросил:

— Ты меня звала, мама?

Но она молча и неподвижно стояла, прислонившись к окну. Тогда он вышел, прошел в кухню, сел около плиты и почувствовал, что сейчас заплачет. Но слез не было. Только иногда его передергивало, как будто кто-то хватал за воротник.

Потом он отыскал ящичек с тушью, взял оттуда одну марку. Все это не имело теперь никакого смысла. Он сунул марку в карман. Или, может быть, ему сбегать вниз и чего-нибудь принести? Можно бы это бросить в почтовый ящик и убежать. И больше никогда не возвращаться! В щель почтового ящика вполне можно сунуть шоколадку и поздравительную открытку с ней. «От твоего глубоко несчастного сына Антона»,— мог бы он написать на ней. Тогда мать могла бы хоть сохранить о нем хорошие воспоминания.

На цыпочках он выбрался из кухни, прошел по коридору, осторожно отворил наружную дверь, вышел наружу и как вор закрыл за собой дверь.

Мать еще долго стояла у окна и смотрела сквозь стекло, как будто там разворачивалась перед ней ее жалкая, печальная жизнь. Ничего, кроме горя и страданий, не было в ней, ничего, кроме болезней и забот. В том, что мальчик забыл о ее дне рождения, ей виделся какой-то тайный смысл. Он тоже начал от нее отдаляться, как раньше и все остальные, значит, теряется и последний смысл ее жизни. Когда ее оперировали, она думала: я должна выжить, что же будет с Антоном, если я умру? И вот он забыл ее день рождения!..

Но, в конце концов, в ней зашевелилась жалость к ее мальчишечке. Куда же он спрятался? В своей забывчивости он, конечно, давно раскаялся. «Ты меня звала, мама?» — спросил он, прежде чем малодушно оставил комнату. Ей нельзя быть строгой, он же за последние недели немало перенес из-за нее. Ведь он каждый день приходил к ней в больницу. А есть ему приходилось на кухне для безработных, и днем и ночью он был один-одинешенек в квартире. Потом ее привезли домой. Две недели она лежала в постели, а он закупал продукты, готовил, несколько раз протирал полы в комнате влажной тряпкой.

Она начала его искать. Она пошла в спальню. Сходила на кухню. Она заглянула даже в туалет. Она зажгла в коридоре свет и искала за шкафами.

— Антон! — крикнула она. — Иди, мой мальчик, я снова хорошая! Антон!

Она звала его то громко, то тихо и ласково. Его не было в квартире. Он убежал! Она очень забеспокоилась. Она умоляла его откликнуться. Его не было.

Его не было! Тогда она раскрыла дверь квартиры и побежала вниз по лестнице искать своего мальчика.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЕВЯТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О САМООБЛАДАНИИ

Хорошо ли вы относитесь к Антону? Мне он очень нравится. Но так убежать и оставить мать... Это, откровенно говоря, мне не по душе. Куда бы это завело нас, если бы каждый, чуть что не по нем, подхватывался бы и убежал? Этого даже и не представить себе. Нельзя терять голову, нужно сохранять самообладание.

И в других делах — тоже так. Случается, мальчик получает плохие отметки, или учитель написал записку его родителям, или ребенок разбивает дома нечаянно дорожную вазу, — как часто в таких случаях читаешь: «Убежал из страха перед наказанием. До сих пор не найден. Родители опасаются худшего».

Нет, милые мои, так не годится! Если уж натворил что-то, нужно собраться с силами и держать ответ. Если уж так велик страх перед наказанием, извольте поразмыслить об этом заранее.

Самообладание — это важное, весьма ценное качество. И что в нем особенно примечательно — самообладание можно воспитать у себя. Александр Македонский, чтобы не совершать необдуманных поступков, сначала считал каждый раз до тридцати. Вот вам и прекрасный рецепт.

Применяйте его в необходимых случаях!

А еще лучше считать до шестидесяти.

Глава десятая

ВСЕ МОЖЕТ ПРОВАЛИТЬСЯ

— Добрый день, фрау Гаст, — сказал кто-то, когда она вышла из дома. — Выглядите вы блестяще.

Это была Кнопка с Пифкой. Собственно, девочка нашла мать Антона ужасно бледной и взволнованной. Но ведь мальчик просил ее считать, что его мама выглядит превосходно. А Кнопка была девочкой, которая держит слово. Вот так! Фрейлейн Андахт была со своим женихом в «Летней беседке», она велела Кнопке прийти к шести часам.

Фрау Гаст смущенно взглянула вокруг себя и, не говоря ни слова, подала Кнопке руку.

— Где же Антон? — спросила девочка.

— Убежал! — прошептала фрау Гаст. — Подумай только, взял и убежал. Я рассердилась на него за то, что он забыл о моем дне рождения.

— Поздравляю от всего сердца! — сказала Кнопка. — Ведь у вас сегодня день рождения?

— Спасибо тебе, — ответила женщина. — И куда только он мог деться?

— Ну, не теряйте головы, — успокаивала Кнопка. — Мы найдем мальчика. Никуда он не денется. Что вы думаете о том, чтобы пойти по магазинам и всюду о нем справляться?

Но женщина, по-видимому, ничего не слышала, а только вертела головой во все стороны. Тогда Кнопка взяла маму Антона под руку и повела в соседний дом, в молочный магазин. Таксика своего она усадила на улице и сказала:

— Хороший мой песик, смотри Антона!

Но Пифка опять же не понимал по-немецки.

Между тем Антон купил шоколадку.

Продавщица, пожилая дама с большим зобом, грустно посмотрела на него, когда он с ужасно печальным видом попросил плитку лучшего молочного шоколада.

— Это на день рождения, — подавленно сказал он.

Тогда она слегка улыбнулась, завернула шоколадку, как подарок, в красивую папиросную бумагу и перевязала светло-голубой ленточкой.

— Большое вам спасибо, — серьезно сказал он, осторожно засунул шоколадку в карман и расплатился.

Она дала ему сдачи и он отправился в писчебумажный магазин.

В писчебумажном магазине он выбрал поздравительную открытку из альбома «С днем рождения». Открытка, которую он выбрал, была восхитительна. На ней был толстый, весело ухмыляющийся рассыльный, и рассыльный этот держал в каждой руке по большому горшку с цветами. У его ног была надпись золотыми буквами: «Сердечные и добрые пожелания ко дню рождения».

Антон уныло посмотрел на красивую картинку. Потом он встал перед конторкой и на оборотной стороне старательно, каллиграфически вывел: «От твоего глубоко несчастного сына Антона. И не обижайся, дорогая ма-

ма, это было без злого умысла». Затем он засунул открытку под голубой бант, который украшал шоколадку, и поскорей выбежал на улицу. Теперь он был страшно растроган своей печальной судьбой. Чуть не до слез. Но у него хватило мужества сдержаться, и он пошел с опущенной головой дальше.

Дома на него напал отчаянный страх. Как индеец на военной тропе, он прокрался наверх, на пятый этаж. Он поднялся на цыпочки у двери. Он открыл клапан почтового ящика и опустил в него свой подарок. Это произвело шум, и сердце у него заколотилось.

Однако в квартире не слышно было никакого движения.

Собственно, ему тут же надо было бы убежать прочь и где-нибудь поскорее умереть. Однако он пока еще не только не был готов осуществить это, но даже нажал на кнопку звонка. Потом он сбежал вниз, на следующую площадку лестницы. Там он ждал, затаив дыхание. Однако в квартире не слышно было никакого движения.

Тогда он отважился еще раз подобраться к двери. И он позвонил еще раз. И снова сбежал по ступенькам вниз.

И опять все тихо! Что же с его мамой? Может быть, с ней что-нибудь случилось? Может быть, она снова разболелась, из-за того, что ей пришлось так на него рассердиться? Может быть, лежит в постели и не может пошевелиться? У него не было с собой ключа. А вдруг она открыла газовый кран, чтобы с горя отравиться? Он бросился наверх к двери и ударил по почтовому ящику, чтобы он громко хлопнул. Он заколотил обоими кулаками по дверной филенке. Он стал кричать в замочную скважину:

— Мама! Мама! Это я! Открой мне!

В квартире никакого движения.

С рыданиями он опустился на соломенный коврик. Теперь все кончено.

Мама Антона и Кнопка навели справки во всех местах, где мог находиться Антон. Молочник, булочник, мясник, зеленщик, сапожник, водопроводчик — никто ничего не знал о нем. Кнопка побежала к шуцману¹, который стоял на перекрестке. Но шуцман только покачал головой и продолжал обеими руками подавать знаки

¹ Шуцман — полицейский в Германии.

транспорту. Пифку эти движения раздражали, и он визжал. Фрау Гаст, между тем, ждала на панели и боязливо и торопливо озиралась вокруг.

— Ничего,— сказала Кнопка.— Знаете что? Лучше нам пойти домой.

Фрау Гаст не пошевелинулась.

— Может быть, он в подвале,— предположила Кнопка.

— В подвале? — переспросила мать Антона.

— Да. Или на чердаке,— сказала Кнопка.

И они со всех ног пустились через улицу и в дом. И как раз, когда фрау Гаст хотела открыть дверь в подвал, они услышали, что наверху кто-то плачет.

— Это он! — крикнула Кнопка.

Мама Антона, смеясь и плача, побежала вверх по лестнице, Кнопка едва поспевала за ней.

— Антон! — крикнула мать.

И сверху донеслось:

— Мама! Мама!

А затем был и сверху и снизу бешеный бег. Кнопка осталась на втором этаже. Она не хотела мешать и Пифке держала пасть закрытой.

На полпути мать с сыном встретились и упали друг другу в объятия. Они гладили друг друга, не переставая, как будто не могли поверить в то, что они снова вместе. Они сели на ступеньку, держались за руки и смеялись. Они так устали, что и не могли больше ничего, как только радоваться. Наконец мать сказала:

— Идем, мой мальчик, не оставаться же нам тут сидеть. Если бы нас тут кто-нибудь увидел!

— Да, это не годится. Они бы нас не поняли,— сказал он.

Они стали подниматься по лестнице вместе, рука об руку. Когда мать отворила дверь и они вошли в жилую комнату, она шепнула сыну на ухо:

— Загляну-ка в почтовый ящик.

Она заглянула, захлопала в ладоши и закричала:

— Ой, тут побывал уже какой-то поздравитель!

— Да? — спросил он, бросился ей на шею и пожелал ей как можно больше счастья и всего, всего хорошего.

Надпись на обратной стороне поздравительной открытки она прочитала потихоньку потом, когда варила кофе. Она немножко всплакнула. Но это были уже теперь слезы радости.

Позвонили. Фрау Гаст отворила.

— Ах, о тебе-то я совсем позабыла!

— Еще раз желаю вам счастья в ваш день рождения! — сказала Кнопка. — Разрешите войти?

Тут подошел Антон и поздоровался с ней и с Пифкой.

— С тобой прямо поседеть можно! — укоризненно сказала она. — Мы тебя разыскивали как булавку. — И она щелкнула его по носу.

Потом пришла мать с кофейником, и они втроем пили праздничный кофе. Пирожных, правда, не было, но, несмотря на это, все трое были очень довольны. И Пифка пролаял в честь новорожденной серенаду.

После болтовни за кофе мать сказала:

— Так, ну а теперь немножко погуляйте. А я прилягу. Это было многовато для первого дня. Надо хорошенько поспать.

На лестнице Антон сказал Кнопке:

— Денек я подумаю.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ

У взрослых — свои заботы. У детей — свои. И иногда эти заботы перерастают и взрослых, и детей. И оттого что они слишком велики и многочисленны, заботы эти набрасывают на все очень темную тень. И вот сидят тогда родители и дети в этой тени и мерзнут. А если ребенок подходит к отцу и что-нибудь спрашивает, тот ворчит в ответ: «Оставь меня в покое. У меня и так хватает забот!» Фу! И ребенок скрывается, а отец отгораживается газетой. А если мать входит в комнату и спрашивает: «Что здесь происходит?» — и оба ей отвечают: «Ах, да ничего особенного», то тут с семейным счастьем дело дрянь. А бывает, что родители вечно ссорятся или их, как Кнопкиных родителей, никогда нет дома, и дети брошены на произвол чужих людей, какой-нибудь фрейлейн Андахт или еще кого-нибудь, и тогда...

Тут мне вдруг пришло в голову, что рассуждение это, собственно, получилось о взрослых. Так вот, если дома как-нибудь разразится скандал, раскройте эту страницу и дайте почитать вашим родителям. Жаль, если это не подействует.

ГОСПОДИН ПОГГЕ УЧИТСЯ ШПИОНИТЬ

Когда господин Погге вечером пришел домой, его перед дверью подловил Готфрид Клеппербайн.

— Вы запачкались сзади, господин директор,— сказал он.— Минуточку.

Кнопкин отец остановился, и мальчишка швейцара принялся чистить ему пальто, хотя оно вовсе не было запачкано. Это была испытанная уловка, и мальчишка таким способом заработал уйму денег.

— Ну вот и все,— сказал он и протянул руку.

Господин директор дал ему грош¹ и хотел уже войти в дом, но Готфрид Клеппербайн преградил ему путь к двери.

— Могу вам, господин директор, дать совет, который стоит десяти марок.

— Дай мне пройти,— сказал директор Погге.

— Относительно дочери,— шепнул Готфрид Клеппербайн и подмигнул.

— Вот как, что же случилось?

— Десять марок, иначе ни слова.

— Я плачу только по получении товара,— сказал Кнопкин отец.

— Насмерть?

— Что, что? Ах, вот что. Ну хорошо, насмерть!

— Вы сегодня вечером опять уходите?

— Мы идем в оперу,— сказал господин Погге.

— Тогда сделайте так, как будто бы вы пошли в театр,— посоветовал Готфрид Клеппербайн,— а потом постойте-ка перед домом. И если вы через четверть часа не увидите нечто диковинное, можете назвать меня дураком.

— Договорились,— сказал господин Погге, отстранил мальчишку с дороги и вошел в дом.

Прежде чем родители отправились в театр, они, как всегда, зашли в детскую. Кнопка лежала в кровати, а фрейлейн Андахт читала ей сказку об Аладдине и волшебной лампе. Мать покачала головой:

— Такая большая девочка и заставляет читать ей сказки.

¹ Грош — монета в десять пфеннигов.

— Ах, в сказках столько приключений, столько волшебства и всякого такого необыкновенного,— объяснила девочка.— Это же просто наслаждение.

— Да-да,— сказал отец.— Но чтение их перед сном как раз и не рекомендуется.

— Директор, ты же знаешь, у меня крепкие нервы,—заверила девочка.

— Хороших тебе снов, моя сладкая,— сказала мама. Сегодня она была в серебряных баретках, в серебряной шляпке и в голубом, сплошь в кружевах платье.

— Хорошей тебе водички! — сказала Кнопка.

— Что, что? — спросила мама.

— Будет дождик,— сказала Кнопка.— У меня в ночной рубашке ревматизм.

— Он уже идет,— сказала мама.

— Вот видишь,— сказала Кнопка.— Да-да, мой ревматизм меня никогда не обманывает.

Господин Погге спросил фрейлейн Андахт, не собирается ли она попозже куда-нибудь выходить.

— Что это вам вздумалось, господин директор! — получил он в ответ.

Когда его жена села в машину, он сказал:

— Дай мне мой билет. Я забыл сигары. Поезжайте, Холлак. Я приеду на такси.

Фрау Погге с удивлением взглянула на мужа и дала ему билет. Он махнул шоферу. Автомобиль отъехал.

Господин Погге, конечно, не пошел назад в квартиру. Он не относился к тем мужчинам, которые забывают сигары. Он подошел к противоположному дому, спрятался за деревом и стал ждать. Это же было довольно смешно, что он поддался болтовне какого-то паршивого мальчишки. Разумеется, еще ему было стыдно. С другой стороны, вот уже несколько дней у него было какое-то странное ощущение под ложечкой.

Короче говоря, он ждал. Моросил мелкий дождь. Улица была пустынна. Только изредка проносился автомобиль. Господин директор Погге не мог припомнить, чтобы он еще вот так, как сегодня, стоял под дождем в ожидании чего-то таинственного. Он достал из портсигара сигару. Потом ему пришло в голову, что тлеющая сигара в темноте может выдать его, и он оставил ее в зубах незажженной. Если его увидит тут кто-нибудь из знакомых, может произойти хорошенький скандалчик! Станут говорить: «Директор Погге стоит по вечерам против своего собственного дома и шпионит».



Он взглянул через улицу на окна. В детской был свет.

Вот видите!

Ба! Свет погас!

И что он, собственно, волнуется? Кнопка, наверно, уснула, и фрейлейн Андахт ушла из комнаты. Несмотря на это сердце у него так и колотилось. Он смотрел сквозь вечернюю мглу на ту сторону, на входную дверь.

И тут она отворилась! Господин Погге закусил губу. Он чуть было не проглотил сигару. Сквозь полуоткрытую дверь проскользнула женская фигура и вытащила за собой ребенка. Они шевелились в темноте, как привидения. Дверь захлопнулась. Женщина опасливо посмотрела по сторонам. Господин Погге поплотнее прижался к дереву. Затем обе побежали по улице.

Может быть, это какие-нибудь чужие люди? По другой стороне за ними побежал господин директор Погге. Он прикрывал рукой свое тяжелое дыхание. Он шлепал по лужам, задевал за фонарные столбы, не обращал внимания, что у него спустился носок. Двое по ту сторо-

ну не подозревали, что их преследуют. Ребенок спотыкался, но тощая длинная фигура тащила его дальше. Вдруг они остановились. Немного не доходя до места, где тихая улица соединялась с транспортной артерией большого города.

Господин Погге прокрался на цыпочках еще несколько метров. Что же случилось на той стороне? Но он не мог ничего разглядеть. Он испугался, что они ускользнут от него. Он вытаращил глаза и не мигая смотрел на них, как будто, стоило ему на секунду смежить веки, и они могут провалиться сквозь землю.

Но вот обе фигуры, женская и детская, вышли из тени тихого дома и двинулись навстречу ярким огням другой улицы. Женщина повязала голову платком. Шли они медленно, и маленькая девочка вела женщину, как будто та вдруг заболела. Господин Погге мог теперь спокойно следовать за ними, несмотря на бурлящий тут людской поток. У вокзала Фридрихштрассе они повернули к мосту Вайдедаммер. А на мосту они остались стоять, прислонившись к перилам.

Дождь продолжал идти.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОДИННАДЦАТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О ЛЖИ

Кнопка обманывает своих родителей, но поражает не это. А так как в остальном она очень мила, то ее ложь отвратительна. Если бы она сейчас была здесь и мы бы спросили ее: «И тебе ни капельки не стыдно? Зачем ты лжешь своим родителям?» Что бы она ответила?.. Она правда сейчас стоит на мосту Вайдедаммер, и нам нельзя ей мешать. Но что бы она сказала, если бы сидела сейчас с нами? «Фрейлейн Андахт виновата» — вот что она бы сказала.

Но это была бы пустая отговорка.

Ведь если не хочешь лгать, никакие силы на свете к этому не принудят. Может быть, она боялась бонны? Может быть, Андахт угрожала ребенку?

Тогда Кнопке надо было пойти к своему отцу и сказать:

— Директор, фрейлейн Андахт хочет меня заставить вам врать!

Тогда бы фрейлейн Андахт отказали от места и ее угрозы были бы совершенно напрасны.

Остается одно: Кнопка лжет, и это очень непристойно. Будем надеяться, что жизнь ее научит, она исправится и в будущем перестанет лгать.

КЛЕППЕРБАЙН ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕСЯТЬ МАРОК И ПОЩЕЧИНУ

Господин Погге стоял у Комической оперы посреди улицы и пристально смотрел в сторону моста Вайдедаммер. Он видел, как девочка протягивала прохожим руку и делала книксен. Иногда люди останавливались и давали деньги. Тогда девочка снова делала книксен и, кажется, благодарила. Он припомнил вчерашнюю сцену дома. Кнопка стояла в комнате, жалобно обращалась к стене и говорила: «Спички, купите спички, господа!» Она репетировала! И так, сомнений больше не было: там, на той стороне, стояла его девочка и попрошайничала! Его передернуло. Он видел рядом с ней тощую длинную особу. Конечно, это была фрейлейн Андахт. Она была в платке и в темных очках. Несмотря на это, он ее узнал.

Его девочка стояла на мосту в холодной старенькой одежде, без шляпы. Волосы у нее слиплись от дождя. Она подняла воротник пальто. И тут он заметил, что все еще держит в руке нераскуренную сигару. Она вся расстрепалась, и он зло швырнул ее в лужу, как будто бы это она была во всем виновата. Потом подошел шуцман и указал ему на панель.

— Господин вахмистр,— сказал господин Погге,— разве это разрешается, чтобы маленький ребенок стоял тут вечером и попрошайничал?

Шуцман пожал плечами.

— Вы имеете в виду тех двоих на мосту? Что же им делать? И кто-то же должен приводить слепую женщину сюда.

— Она слепая?

— В том-то и дело. И притом еще довольно молодая. Почти каждый вечер они стоят на той стороне. Такие люди тоже хотят жить.— Шуцман удивился, что незнакомец довольно крепко схватил его за руку.— Да, это беда,— добавил он.

— И как долго они обычно там простаивают?

— По меньшей мере часа два, часов так до десяти.

Господин Погге снова сошел с тротуара. На лице его отразилось стремление броситься туда, но он тут же опомнился и поблагодарил полицейского. Шуцман поприветствовал его и пошел дальше.

И вдруг тут же оказался Готфрид Клеппербайн. Ухмыляется во весь рот и тянет его за пальто.

— Ну что я вам говорил, господин директор? — прошептал он.— Пообещал я вам слишком много?

Господин Погге молчал и смотрел через улицу.

— А на другом конце моста стоит приятель фрейлейн дочери,— злобно сказал Клеппербайн.— Он тоже попрошайничает. Но законно. Его зовут Антон Гаст. Его уже давно надо в дом призрения.

Господин Погге молчал и смотрел на Антона. Кнопка дружит с мальчишкой-попрошайкой? И почему, собственно, его дочь и бонна продают спички? И на что они тратят эти деньги? Он не знал, что и думать.

— Так за это следовало бы выплатить вознаграждение,— заявил Готфрид Клеппербайн и тронул господина Погге за пальто.

Директор достал бумажник, вынул бумажку в десять марок и дал мальчику.

— Не убирайте бумажник,— сказал Клеппербайн.— Если вы мне добавите еще десять марок, я никому не скажу о том, что вы видели. А иначе я об этом всем разболтаю, и завтра это будет в газетах. Это вам, наверное, было бы неприятно.

Теперь лопнуло терпение у господина Погге. Он дал мальчишке такую звонкую пощечину, что несколько прохожих остановились и хотели было вмешаться. Но мальчишка так быстро умчался, что они подумали: видно, получил за дело. Эта история принесла ему столько затрещин! Вот уже третья! И он решил удовлетвориться десятью марками. Десять марок и три затрещины — этого ему пока хватит.

Господин Погге не мог больше смотреть, как его девочка стоит под дождем на мосту. Не перебежать ли ему на ту сторону и доставить Кнопку домой? Однако тут ему представился случай, который показался ему более подходящим. Он подозвал такси:

— Поезжайте как можно скорее в Оперу на Унтерден-Линден! — сел в машину и поехал.

Что же он намеревался сделать?

Выручка у Антона была плохая. Во-первых, он опять стоял на неудачной стороне, и во-вторых, шел дождь. А если идет дождь, люди на улице торопливее, чем обычно. Им тогда нет никакой радости останавливаться тут и доставать из кармана портмоне. У него была плохая выручка, но он был в хорошем настроении. Так его радовало примирение со своей мамой.

Вдруг он слегка вздрогнул. Это ведь жених фрейлейн Андахт, Роберт-дьявол? Он! Мужчина прогуливался в макинтоше, в надетой набекрень, надвинутой на глаза кепке. Он прошел мимо мальчика, не заметив его. Антон захлопнул свой чемоданчик и последовал на некотором расстоянии за ним.

Мужчина дошел до конца моста, там перешел на другую его сторону и медленно пошел по другой стороне обратно. Антон вытаращил глаза. Сейчас он должен дойти до фрейлейн Андахт. Мальчик понемногу двигался, прижимаясь к перилам. Молодчик подал бонне знак, а та испугалась. Кнопка ничего не заметила. Она продолжала делать реверансы и причитать, стараясь во что бы то ни стало продать спички.

В нескольких метрах от них Антон поплотнее прижался к перилам и наблюдал, что будет дальше. Мужчина ткнул Андахт под ребро, она замотала головой. Тогда он схватил ее за руку, залез в сумку, которая висела у нее на руке, пошарил там и извлек что-то блестящее. Антон успел разглядеть, что это были ключи.

Ключи? Для чего же молодчик взял у фрейлейн Андахт ключи?

Он повернулся, а Антон, чтобы не попасться ему на глаза, перегнулся через перила и стал плевать в Шпрее. Мужчина прошел мимо, он теперь очень торопился. Он прямо побежал вниз, к набережной Кораблестроителей.

Антон размышлял недолго. Он забежал в ближайший ресторан, попросил телефонную книгу и раскрыл ее на букву «П». Потом он достал из кармана грош и бросил его в щель телефона-автомата.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДВЕНАДЦАТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О ПОДЛЕЦАХ

Готфрид Клеппербайн — подлец. Представители этого вида человеческой породы встречаются уже и среди детей. И это особенно больно. Есть целый ряд признаков подлеца. Если какой-нибудь лентяй одновременно злораден, коварен, прожорлив, алчен и лжив, то можно поставить десять против одного, что мы имеем дело с подлецом. Сделать из такого подлеца человека, это, пожалуй, самая трудная из задач, какую только можно себе представить. Носить воду решетом, по сравнению с нею,— ребячество. В чем же тут дело? Поймите, такому мало расписывать, как это прекрасно и приятно быть порядочным человеком, он еще и сам должен стремиться стать порядочным, так ведь?

Бывает такая подзорная труба, которая складывается. Видели вы такую? Она такая хорошенькая, маленькая, и ее удобно спрятать в карман. Но, когда надо, ее можно раздвинуть, и она будет более чем полметра длиной. Мне кажется, похоже обстоит дело и с подлецами. И наверное, с людьми вообще. Они уже в детстве точно такие, какими будут и взрослые. Как раздвигаемая подзорная труба. Они только вырастут, но не изменятся. А если уж в человеке чего не заложено, то хоть из кожи вон лезь, а этого из него и не вытащишь...

Глава тринадцатая

ТОЛСТУХА БЕРТА РАЗМАХИВАЕТ ДУБИНОЙ

Толстуха Берта сидела на кухне, ела бутерброд с колбасой и пила кофе. По случаю выходного дня она была со своей подругой на прогулке, но так как дождь не переставал, она раньше обычного возвратилась домой. И вот она подавляла свою досаду на испорченный выходной день ливерной колбасой и чтением романа в картинках.

Вдруг зазвонил телефон.

— Ну вот еще,— проворчала она и зашаркала к аппарату.

— Квартира директора Погге,— сказала она.

— Можно попросить господина директора? — спросил детский голос.

— Нет,— сказала Берта.— Господа в Опере.

— Это ужасно важно,— настаивал ребенок.

— В чем же дело, если позволите поинтересоваться?

— Кто это говорит?

— Это служанка господ Погге.

— Ах, вот кто, толстуха Берта! — воскликнул ребенок.

— Никакая не толстуха,— обиженно сказала она.— Просто Берта. А с кем я имею удовольствие говорить?

— Я друг Кнопки,— пояснил детский голос.

— Так,— сказала Берта.— И мне надо пойти в комнату и спросить, не хочет ли она среди ночи поиграть в футбол?

— Чепуха! — сказал мальчик.— А вот жених фрейлейн Андахт сейчас будет у вас.

— А это уж совсем хорошо! — сказала Берта. — Бонна уже давно спит.

— Ничего подобного, — сказал детский голос. — Кроме вас в квартире — ни одного человека.

Толстуха Берта заглянула в телефонную трубку, как будто хотела убедиться, что ей это не послышалось.

— Что? — спросила она затем. — Что-что? Андахт и Кнопка не в своих постелях?

— Нет, — ответил ребенок. — Об этом я расскажу вам в другой раз. Вы совершенно одна в доме. Поверите ли вы в это наконец! И сейчас придет жених, чтобы обокрасть дом. Ключи у него уже есть. План квартиры — тоже. Он вот-вот будет.

— Ничего себе, — сказала Берта. — Что же мне делать?

— Вызовите поскорее наряд полиции. А потом поищите совок для угля или что-нибудь подобное. И когда жених явится, тресните его как следует по черепу.

— Ты правильно говоришь, сынок, — сказала Берта.

— Ни пуха ни пера! — крикнул мальчик. — Сделайте как следует свое дело! И не забудьте вызвать полицию. До свидания!

У Берты затряслась голова, застучали зубы, она едва смогла двинуться с места. Она была очень взволнована. Рванулась к Кнопкиной двери, потом к фрейлейн Андахт: в доме не было ни души! Никто не шевелился. Только Пифка временами потягивал. Он вылез из своей корзиночки перед Кнопкиной дверью и увязался за Бертой. Наконец она взяла себя в руки и вызвала полицейских.

— Так-так, — сказал дежурный, — сейчас же к вам высылаю наряд.

И теперь Берта принялась искать что-нибудь подходящее для удара.

— И что этот мальчишка выдумал какой-то угольный совок? — сказала она Пифке. — У нас же центральное отопление.

В детской она нашла наконец две деревянные булавы, с которыми Кнопка иногда делала гимнастику. Она взяла эти булавы, поставила в передней у входной двери и погасила в коридоре свет.

— Свет в кухне пускай горит, — сказала она Пифке. — Иначе я промахнусь.

Пифка улегся рядом с ней и терпеливо ждал. Он был еще не совсем в курсе дела и, разлегшись, рычал на свой хвост.



— Замолчи! — прошептала Берта.

Пифка не переносил такого грубого тона, но все-таки послушался. Берта взяла стул и уселась, ведь она почувствовала страшную слабость. Сегодня творилось что-то несусветное. Куда могли запропасться Кнопка и Андахт? Черт возьми, хоть бы они предупредили заранее!

Тут кто-то поднялся по лестнице. Она встала, взяла булаву и затаила дыхание. Кто-то остановился перед дверью. Пифка поднялся и выгнул горбом спину, как будто бы он был котом. Шерсть у него взъерошилась.

Кто-то сунул ключ в замочную скважину и повернул его. Потом он сунул ключ во французский замок и тоже повернул. Затем он сунул ключ в нажимной английский замок. Дверь отворилась. Кто-то вошел в коридор, освещенный слабым светом из кухни. Берта подняла вверх свою булаву и направила ему по башке. Тот зашатался и повалился как мешок.

— Вот как мы его, — сказала Берта Пифке и зажгла свет.

Это был мужчина в макинтоше и в надвинутой на глаза кепке. Пифка обнюхал жениха фрейлейн Андахт и

вдруг, хотя и слишком поздно, стал чрезвычайно смелым и укусил мужчину за икру. Но мужчина лежал на кокосовой дорожке и не пошевелился.

— Скорей бы только пришла полиция,— сказала Берта, уселась на свой стул, взяла в руки булаву и не спускала с налетчика глаз.— Надо связать его,— сказала она Пифке.— Принеси-ка из кухни бельевую веревку.

Но Пифка и ухом не повел. Оба сидели перед налетчиком и боялись, не пришел бы он в себя.

А-а! Мужчина открыл глаза, приподнялся. Взгляд его медленно прояснялся.

— Мне очень жаль,— совершенно спокойно заявила толстуха Берта и еще раз ударила его по голове.

Мужчина слегка застонал и снова повалился.

— И где только эта полиция? — прошипела Берта.

Но тут явились и стражи закона. Это были трое полицейских. То, что они увидели, заставило их рассмеяться.

— Не вижу тут ничего смешного! — крикнула толстуха Берта.— Лучше свяжите молодчика! Он сейчас снова очухается.

Полицейские надели на мужчину наручники и обыскали его. Они обнаружили ключи, план квартиры, связку отмычек и револьвер. Обер-вахмистр изъясил эти предметы. Берта подала на кухне трем господам кофе и попросила их подождать возвращения хозяев. Ребенок и бонна куда-то пропали. Кто знает, что еще может сегодня произойти!

— Хорошо, но только недолго,— сказал обер-вахмистр.

Скоро они увлеклись беседой. Пифка между тем караулил связанного негодяя и потихоньку попробовал на вкус подошвы его ботинок.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТРИНАДЦАТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О СЛУЧАЙНОСТИ

Если бы в этот вечер не шел дождь, толстуха Берта возвратилась бы домой позднее. Если бы толстуха Берта позднее возвратилась домой, вор бы мог беспрепятственно совершить кражу. Это была чистая случайность, что она оказалась дома и кража не осуществилась. Если бы Гальвани не увидел случайно подергивание лягушачьих лапок, которые он развесил, животное электричество не было бы открыто или было бы открыто значительно позднее.

Если бы Наполеон 18 октября 1813 года не был бы таким усталым, он бы, может быть, выиграл битву при Лейпциге.

Многие события, которые были решающими для развития человечества, произошли случайно, и точно так же могло произойти что-то противоположное им или совсем другое.

Случайность — это величайшая держава мира.

Иные люди вместо «случайность» говорят «судьба». Они говорят: это было роковое стечение обстоятельств, что Наполеон 18 октября 1813 года так устал и у него так болел желудок. «Случайность» или «судьба» — это вопрос вкуса.

Моя мама говорит в таких случаях: «Один любит колбасу, другой — зеленое мыло».

Глава четырнадцатая

ИСПАЧКАННОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ

Директор Погге выскочил из такси перед Оперой на Унтер-ден-Линден, расплатился и помчался в театр. Его жена сидела в ложе, она закрыла глаза и слушала музыку. Давали «Богему». Это великолепная опера, и музыка звучала так, будто сыпались сладкие конфеты. Очень известный тенор пел партию Рудольфа, и места в ложе были страшно дорогие. На то, что стояли два места, Антон со своей матерью могли бы прожить две недели.

Господин Погге вошел в ложу. Его жена удивленно открыла глаза и сердито взглянула на него. Он встал позади ее кресла, взял ее за плечи и сказал:

— Пойдем отсюда!

Она нашла хватку невыносимой и повернула к нему возмущенное лицо. Он стоял в полутьме насквозь мокрый от дождя с высоко поднятым воротником пальто и смотрел мимо нее.

Она никогда не пользовалась особым уважением у мужа, он был просто слишком добр к ней. Но сейчас ей стало страшно.

— Что это значит? — спросила она.

— Идем на улицу, на место! — распорядился он.

И так как она еще медлила, он рванул ее из кресла и потащил за собой из ложи. Она сочла это совершенно невероятным, но не отважилась ему больше перечить. Она побежала следом за ним вниз по лестнице. Он взял в гардеробе ее одежду, набросил на нее накидку, дико затопал на нее ногами, когда она остановилась перед

зеркалом и принялась поправлять свою серебряную шляпку. Затем он потащил ее из здания. Господина Холлака, шофера, конечно, не было. Он должен был увезти их по окончании спектакля. Господин Погге не выпускал руки своей жены. Он спотыкался с ней по улице, шлепал по лужам. На углу стоял таксомотор. Он втолкнул в машину ее, назвал шоферу адрес и влез вслед за женой сам. Потом он уселся на ее шелковую накидку, но она не посмела ему об этом сказать.

Автомобиль ехал очень быстро. Он согнулся рядом с ней, лицо у него было отсутствующее, и он нервно шаркал ногами.

— Пропали мои серебряные баретки,— пробормотала она.— Я забыла в гардеробе галоши.

Он не отвечал и не отрываясь смотрел вперед. Как эта особа додумалась до того, чтобы ночью, в лохмотьях, притворяясь слепой, пойти с моим ребенком попрошайничать? Или эта фрейлейн Андахт действительно совсем спятила?

— Стерва! — сказал он.

— Кто? — спросила его жена.

Он молчал.

— Что все это значит? — спросила жена.— Я сижу в театре, ты тащишь меня на улицу под дождь. Представление было великолепное. И билеты такие дорогие!

— Тише! — ответил он и посмотрел сквозь стекло.

У Комической оперы авто остановилось. Они вышли. Фрау Погге с отчаянием посмотрела на свои насквозь мокрые баретки. Подумать только, она оставила в гардеробе галоши! Надо завтра с утра послать за ними фрейлейн Андахт.

— Вот! — прошептал ей муж и показал вперед, на мост Вайдедаммер.

Она видела проезжающие автомобили, велосипедистов, шуцмана, нищенку с ребенком, продавца газет, автобус-«пятерку». Она пожала плечами.

Он схватил ее за руку и медленно повел на мост.

— Обрати внимание на нищенку с ребенком,— повелевающе прошептал он.

Она посмотрела, как маленькая девочка делает книксен, подает спички прохожим и получает деньги. Вдруг она испуганно взглянула на мужа.

— Кнопка! — воскликнула она.

Они подошли ближе.

— Кнопка! — шептала фрау Погге и не верила своим собственным глазам.

— Мать совершенно слепа, а еще так молода. Три коробка — двадцать пять пфеннигов. Благослови вас бог, милая госпожа, — как раз говорила девочка.

Это была Кнопка! Тут фрау Погге побежала к мерзнувшей под дождем и делающей реверансы девочке, опустилась перед малышкой на колени, несмотря на мокроту и грязь, обняла ее.

— Девочка моя! — вырвался у нее вопль.

Кнопка страшно испугалась. Так не повезло! Платье матери выглядело безобразно. Прохожие останавливались и думали, что снимают кино. Директор Погге сорвал со слепой женщины очки.

— Фрейлейн Андахт! — в ужасе воскликнула фрау Погге.

Андахт смертельно побледнела, защищаясь, закрыла руками лицо и не знала, что ей делать. Появился шуцман.

— Господин вахмистр! — крикнул господин Погге. — Арестуйте эту особу! Это наша бонна. Когда нас нет дома, она ходит с ребенком попрошайничать!

Шуцман вытащил записную книжку. Продавец газет под зонтиком засмеялся.

— Не сажайте! — кричала фрейлейн Андахт. — Не сажайте!

Она бросилась вперед, разорвала круг людей и, преследуемая, понеслась прочь.

Господин Погге хотел пуститься за ней, но люди удержали его.

— Пусть девушка бежит, — сказал какой-то старик.

Фрау Погге поднялась и чистила маленьким кружевным платочком свое шелковое платье, оно было ужасно запачкано.

Тут с другой стороны улицы подошел Антон и положил Кнопке руку на плечо.

— Что тут происходит?

— Родители меня обнаружили, — тихо сказала Кнопка, — а Андахт только что удрала. Это, может быть, и хорошо.

— Что они с тобой собираются делать? — озабоченно спросил он.

— Это еще неясно, — сказала Кнопка, пожимая плечами.

— Тебе надо помочь? — спросил он.

— Ах, да, — сказала она. — Оставайся тут, мне будет спокойнее.

Господин Погге говорил с шуцманом. Его жена все еще чистила свое дорогое платье. Люди, столпившиеся было вокруг, снова пошли своей дорогой. Тут фрау Погге подняла взгляд, увидела, что ее дочь разговаривает с незнакомым мальчиком, и оттащила девочку к себе.

— Сейчас же иди ко мне! — крикнула она. — Что у тебя общего с этим маленьким попрошайкой?

— Мне уже стукнуло тринадцать, — сказал Антон. — И я ничем не хуже вас, если вы хотите знать. И если бы вы не оказались матерью моей подруги, я бы с вами и разговаривать не стал.

Господин директор обратил на них внимание и подошел.

— Это мой лучший друг, — сказала Кнопка и схватила его за руку. — Его зовут Антон, и он великолепный парень.

— Вот как? — с насмешкой спросил отец.

— Великолепный парень — это уж слишком, — скромно заметил Антон. — Но вот ругаться — я не ругаюсь.

— Моя жена на самом деле не думает так плохо, — объяснил господин Погге.

— Мы тоже сильно надеемся на это, — гордо сказала Кнопка и улыбнулась своему другу. — Так, ну а теперь пойдем домой. Что вы на это скажете? Антон, идем с нами?

Антон отказался. Ему же надо было к маме.

— Тогда иди завтра в школу мимо нас.

— Хорошо, — сказал Антон и пожал ей руку. — Если твои родители не против.

— Не возражаю, — сказал отец Кнопки и кивнул.

Антон слегка поклонился и побежал прочь.

— Такой хороший мальчишка, — сказала Кнопка, проведив его взглядом.

Потом они взяли такси и поехали домой. Девочка сидела между родителями и играла монетами и спичечными коробками.

— И как только такое могло произойти? — строго спросил отец.

— У фрейлейн Андахт есть жених, — доложила Кнопка. — И так как ему всегда нужны деньги, она всегда ходила со мной сюда. И мы даже вполне прилично зарабатывали. Это можно сказать без преувеличения.

— Это ужасно, моя сладкая! — воскликнула мать.

— Почему ужасно? — спросила Кнопка. — Это было так интересно.

Фрау Погге посмотрела на своего мужа, покачала головой и сказала:

— Вот уж эта прислуга!..

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: ОБ УВАЖЕНИИ

В предыдущей главе есть фраза, которая заслуживает того, чтобы мы ее еще раз прочитали. Она касается там фрау Погге: «Она никогда не пользовалась особым уважением мужа, он был просто слишком добр к ней».

Можно ли вообще быть для кого-нибудь слишком добрым? Весьма сомневаюсь. В моем родном краю бытует словечко «глупо-добр». От сильного расположения и доброты можно поглупеть, и в этом нет ничего хорошего. Дети лучше других чувствуют, когда кто-нибудь к кому-нибудь слишком добр. Когда они что-нибудь натворят, за что, и по их мнению, полагается наказание, а наказания не следует, они удивляются. И если подобные случаи повторяются, они мало-помалу теряют уважение к соответствующему лицу.

Уважение — это что-то очень важное. Некоторые дети сами по себе почти всегда относятся к людям с уважением, но у большинства его нужно воспитывать. И им нужен для этого барометр. Они должны видеть: ого, то, что я совершил, было неправильно, и за это я заслуживаю наказания.

Но если наказание или внушение за этим не последовали, если дети за свой дерзкий поступок еще получают шоколадку, они себе, наверное, говорят: «Я буду, пожалуй, всегда достаточно нахальным и буду получать шоколадки».

Уважение и уважаемые люди необходимы, пока и дети, и мы, взрослые, еще так несовершенно.

Глава пятнадцатая ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТАНЦУЕТ ТАНГО

Когда они дома поднимались по лестнице, они услышали, что на втором этаже играет патефон.

— Ну и ну,— сказал господин Погге и открыл дверь.

И тут он прямо встал столбом, и жена его сделала то же самое. Только Кнопка уже ничему не удивлялась и завела разговор с Пифкой, который выбежал ей навстречу.



В коридоре толстуха Берта танцевала с полицейским танго. Другой полицейский стоял у патефона и крутил ручку.

— Но Берта! — возмущенно воскликнула фрау Погге.

Кнопка подошла к полицейскому, который стоял у патефона, сделала перед ним книксен и сказала:

— Дамское танго, господин вахмистр!

Полицейский обхватил ее рукой и проделал с нею круг почета.

— Ну, довольно, довольно! — крикнул директор. — Берта, что тут такое происходит? Или вы обручились с целой полицейской командой?

— К сожалению, нет, — сказала толстуха Берта.

Тут из кухни вышел третий полицейский, и фрау Погге пробормотала:

— Я теряю рассудок...

Кнопка выскочила перед ней и попросила:

— Ах, мамочка, сделай это хоть разок!

— В этом уже нет надобности! — воскликнула Берта.

Это, собственно, было довольно бессовестно, но фрау Погге не уловила намека, а ее муж был слишком

увлечен покачиванием головы. Наконец Берта повела хозяев на кухню. Там сидел мужчина в макинтоше и в наручниках.

— Этот господин хотел нас ограбить, а я его слегка тюкнула грушей и вызвала наряд полиции. А так как вас не было, то мы и решили поплясать.

Тут мужчина в наручниках открыл глаза. Они были у него совершенно остекленевшие.

— Да это же Роберт-дьявол! — воскликнула Кнопка. Родители удивленно взглянули на нее:

— Кто-кто?

— Жених фрейлейн Андахт. Ах, так, значит, она у меня из-за этого спрашивала, когда у Берты выходной!

Отец сказал:

— И из-за этого вы ходили попрошайничать.

— И из-за этого она рисовала план квартиры! — воскликнула Кнопка.

— План мы у него нашли, — сказал вахмистр и подал удивленным хозяевам клочок бумаги.

— Как же вы одолели этого молодчика? — спросила фрау Погге.

Толстуха Берта взяла булаву и поставила около двери.

— Я встала вот тут, а когда он отворил дверь и просунул голову, я его и треснула. Потом он было очухался, ну я его еще и еще разок тюкнула по головке. Ну а потом уже появились три кавалера. — Она показала на трех полицейских, и они почувствовали себя очень польщенными.

Кнопкин отец снова покачал головой.

— Совсем ничего не пойму, — сказал он. — Откуда же вы узнали, что это грабитель проникает в квартиру? А если бы это, скажем, был я?

— Тогда бы тебе здорово не повезло! — радостно возгласила Кнопка.

Берта объяснила, раз уж так все было непонятно:

— Когда я вернулась домой (ведь моросил такой мерзкий дождь. «Что же мне под дождем болтаться», — подумала я), так вот, значит, сижу на кухне, звонит телефон. «Сейчас к вам придет грабитель, — сказал кто-то на другом конце провода. — Наверните ему разок совком для угля и вызовите наряд полиции». Ну у нас ведь нет совка для угля. Так вот и вышло.

— Но кто же мог знать, что этот тип собирается к нам вломиться? Кто же вам позвонил? — спросила фрау Погге.

— Да это и ежу ясно,— сказала Кнопка.— Конечно, мой друг Антон.

— Похоже,— сказала Берта.— Он не представлялся, но все же сказал, будто он Кнопкин друг.

— Вот видите,— гордо заявила Кнопка, заложив руки за спину и расхаживая по коридору.— Я же вам сразу сказала, что это золотой мальчишка.

— И мне тоже кажется, что это так,— сказал папа Погге и закурил сигару.— Но откуда же он об этом узнал?

— Наверное, видел, как фрейлейн Андахт передавала этому мазурику ключи,— предположила Кнопка.

Роберт-дьявол зло заерзал на стуле.

— Так вот, значит, в чем дело,— проговорил он.— Ну погоди, как-нибудь ты мне попадешься!

— У вас будет время над этим поразмыслить,— сказал вахмистр.— А пока мы вас арестуем.

Кнопка подошла к мужчине.

— Выбросьте это из головы,— сказала она.— Антон разорвет вас на кусочки. Он уже так поддал Готфриду Клеппербайну, что тот так и покатился.

— Та-ак, и от него получил? — обрадовался отец.— Славный, славный парнишка.

Пифка уселся напротив вора и потянул у него шнурок от ботинка. У фрау Погге началась мигрень. Она изобразила на лице страдание.

— Слишком много было волнений,— пожаловалась она.— Не хотите ли вы, господа, увести отсюда грабителя? Этот человек страшно действует мне на нервы.

— Вы мне тоже,— пробурчал Роберт.

Полицейские с ним удалились.

— Дорогая Берта,— сказала фрау Погге.— Уложите ребенка в постель. Я ложусь спать. Ты тоже скоро придешь, Фриц? Спокойной ночи, моя сладкая! И никогда больше не устраивай таких фокусов! — Она наградила Кнопку прелестным поцелуем и пошла к себе в комнату.

Господин Погге сделался вдруг очень грустным.

— Берта, я сам уложу девочку в постель,— сказал он.— Идите спать. Вы проявили большое самообладание,— и он протянул ей руку, а потом бумажку в двадцать марок.

— Я вам тоже премного благодарна,— сказала толстуха Берта.— И вы знаете, если бы меня не предупредили, я бы ничего не могла сделать со взломщиком.

Затем она тоже ушла в свою комнату.

Господин Погге помог Кнопке умыться и раздеться. Она улеглась, и Пифка тоже забрался к ней на кровать. Отец сел на край кровати.

— Луиза,— серьезно произнес он.— Выслушай меня как следует, моя девочка.

Она взяла его большую руку в свои маленькие и смотрела ему в глаза.

— Ты ведь знаешь, что я тебя очень люблю? — тихо спросил он.— Но я не могу уделить тебе достаточно внимания. Мне надо зарабатывать деньги. Зачем ты устраиваешь такие истории? Почему ты нам лжешь? У меня не будет ни минуты покоя, если я не смогу тебе доверять.

Кнопка гладила его руку.

— Я же знаю, что у тебя нет времени, потому что тебе надо зарабатывать деньги,— сказала она.— Но маме не надо зарабатывать деньги, и, несмотря на это, у нее тоже нет для меня времени. У вас у обоих нет для меня времени. Теперь у меня будет другая бонна, и что тогда может еще произойти — никому не известно.

— Да-да,— проговорил он.— Ты совершенно права. Но ты обещаешь мне в будущем всегда говорить правду? Мне бы тогда было спокойнее.

Девочка улыбнулась ему:

— Хорошо, раз это тебя успокоит.

Он поцеловал ее на ночь. Когда он повернулся в дверях, чтобы погасить свет, она сказала:

— Директор, но все-таки это было очень интересно.

Господин Погге не спал всю ночь, несмотря на то что проглотил множество таблеток.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЯТНАДЦАТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О БЛАГОДАРНОСТИ

Толстуха Берта все-таки оказалась мужественной, разве не так? Ударить грабителя по голове — это не входило в ее служебные обязанности, но все-таки она его стукнула. Это заслуживает благодарности. Чем же ответила на это фрау Погге? Она пошла спать.

А вот господин Погге, тот, во-первых, дал Берте руку, а во-вторых,— двадцать марок. Иной, будучи и при деньгах, дал бы только руку. А другой, имея руку, возможно,— только двадцать марок. У господина Погге было и то, и другое, и он дал и то, и другое. Сперва он пожал толстухе руку, потом дал ей деньги. Я считаю такую последователь-

ность правильной! Он бы мог ей сперва дать ассигнацию, а потом пожать руку и сказать: «Впрочем, я вас также благодарю».

Нет, он сделал все совершенно правильно. Он вел себя безупречно.

Чем больше я узнаю господина Погге, тем больше он мне нравится. От главы к главе он становится мне все симпатичней и симпатичней. Ну а теперь, в последней главе, которая сейчас последует, и совсем!

Глава шестнадцатая

ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

Когда Кнопка на следующий день вышла из школы, у подъезда, против обыкновения, опять стоял автомобиль. И на этот раз кроме господина Холлака в нем сидел отец. Он поманил ее. Тут остальные маленькие девочки от злости, что опять не удастся покататься на автомобиле, поскорей удрали.

Кнопка поздоровалась с шофером и села в машину.

— Что-нибудь случилось? — спросила она с опаской.

— Нет, — ответил отец. — Просто у меня есть немного времени.

— Что у тебя есть? — спросила она и взглянула на него так, словно у того вдруг выросла огромная борода. — Время?

Маленькая дочь смутила господина Погге.

— Ну, да, — сказал он. — И не спрашивай такие глупости. Может же иногда у меня быть время.

— Это здорово! — воскликнула она. — Поедем в Шарлоттенхоф и поедим корзиночек с кремом?

— Я думаю, лучше заберем из школы твоего Антона.

Тут она бросилась отцу на шею и так чмокнула его в щеку, что это прозвучало, как пушечный выстрел. Потом они поехали к школе Антона, и как раз вовремя. Антон прямо чуть не свалился, когда увидел, что стоит роскошная машина с Кнопкой и ее отцом. Кнопка поманила его, ее отец пожал ему руку. Он был молодцом. Такой бы блестяще справился с Робертом-дьяволом.

— Глубокоуважаемый господин Погге, — сказал Антон, — это же само собой разумеется.

Затем ему было предложено усесться рядом с господином Холлаком, который разрешал ему иногда нажать

на педаль газа и поработать указателем поворота. Это было просто чудесно. Кнопка дотянулась до уха отца и прошептала:

— Директор, мальчишка даже готовить умеет!

— Чего же он, собственно, не умеет? — спросил господин Погге.

— Антон? Антон все умеет, — гордо заявила она.

И так как Антон все умел, они поехали теперь еще в Шарлоттенхоф и ели корзиночки с кремом. Даже господин Погге ел корзиночки с кремом, хотя доктор строго запретил ему есть корзиночки с кремом. Потом они втроем играли в прятки, отчего Кнопкин отец даже похудел. А ведь у него уже было брюшко. Антон хотел после этого отправиться домой, но директор сказал, что мать Антона уже оповещена.

— Ну как, тебя опять ругал господин Бремзер? — спросила Кнопка.

— Нет, — сказал Антон. — Он, на удивление, очень ласков со мной, он пригласил меня даже как-нибудь зайти к нему на кофе.

— Ишь ты, — довольно спокойно произнесла Кнопка, но под столом она от удовольствия ущипнула себя за икру.

К обеду они, разумеется, сильно опоздали. Фрау Погге была глубоко оскорблена. Но вся троица была настолько радостна, что даже этого и не заметила. Это еще больше оскорбило фрау Погге, и она не могла ничего есть, а то бы она лопнула.

— Куда же теперь денется фрейлейн Андахт? — спросил Антон, ведь у него было доброе сердце.

Фрау Погге не имела об этом ни малейшего представления. Она только пробормотала:

— Где мы теперь возьмем внушающую доверие бонну?

Тут господина Погге осенило. Он отвел Кнопку в сторону, пошептался с ней, потом сказал:

— Я скоро вернусь.

И исчез.

Остальные без особых разговоров завершили обед. Потом дети побежали в Кнопкину комнату, где их с нетерпением дожидался Пифка.

Антон должен был усесться на стул. Остальные представляли ему сказку о Красной Шапочке. Пифка уже хорошо усвоил свою роль. Но и в этот раз он не хотел есть Кнопку.

— Наверное, он научится этому через несколько лет, когда станет старше,— сказала девочка.

Антон сказал, что, несмотря на это, представление отличное. Он хлопал, как в театре. Кнопка поклонилась раз десять, посылала воздушные поцелуи, а Пифка лаял до тех пор, пока не получил кусочек сахара.

— Во что же мы будем играть теперь? — спросила Кнопка.— Я бы могла быть сегодня горбатым портным и его сыном. Или мы поиграем в дочки-матери, а Пифка будет ребенком? Нет, мы поиграем в грабителя! Ты будешь Роберт-дьявол, а я буду толстуха Берта, и, когда ты войдешь, я стукну тебя дубиной по голове.

— А кто будет изображать троих полицейских? — спросил он.

— Я буду и Берта и три полицейских,— сказала она.

— Не можешь же ты сама с собой танцевать,— возразил Антон.

Значит, и это не годилось.

— А я знаю, знаю! — сказал Антон.— Давай играть в открытие Америки. Я буду Колумбом.

— Хорошо! — воскликнула Кнопка.— А я буду Америкой, а Пифка — яйцом.

— Кем будет он?

— Яйцом,— сказала она.— Колумбовым яйцом.

Но он об этом ничего не знал, этого они в школе еще не проходили.

— Лучше вот что! — воскликнул он.— Давай играть в «на складной лодке через океан».

Они освободили стол и перевернули его ножками вверх. Это была лодка. Пока Антон сооружал из скатерти парус, Кнопка сходила в кладовую и принесла корабельный провиант: банку варенья, масленку с маслом, два фунта картофеля, миску грушевого компота, половинку копченой колбасы, а также несколько ножей и вилок.

— Копченая колбаса, это хорошо,— сказала она.— Копченая колбаса не портится много месяцев.

Они уложили припасы в лодку, и места в лодке осталось только для детей и собаки. Около стола поставили таз для умывания с водой. И все время, пока плыли через океан, Кнопка плескалась в нем и говорила:

— Вода в море ужасно холодная.

Антон вышел посреди океана, принес соли и посыпал в таз.

— Вода в море должна быть соленая,— заявил он.



Потом наступил штиль. И длился он три недели. И хотя Антон греб прогулочной тросточкой, они почти не двигались. Кнопка и Пифка съели всю колбасу, и Кнопка пожаловалась:

— Капитан, запасы подходят к концу.

— Нам надо держаться! — воскликнул Антон. — На той стороне лежит Рио-де-Жанейро, — и он показал на кровать.

— Слава богу, — сказала Кнопка. — А то бы я умерла от голода.

И это притом, что она недавно пообедала, да еще так наелась копченой колбасы, что ей стало нехорошо.

— А теперь начинается ужасная буря, — сказал Антон, вышел и стал раскачивать стол.

— Помогите! — отчаянно закричала Кнопка. — Мы идем ко дну!

Затем они выбросили за борт два фунта картофеля, чтобы облегчить лодку. Но Антон и в бурю не падал духом. Кнопка схватилась за живот и объявила:

— У меня морская болезнь.

А Пифка, когда налетела волна величиной с дом, угодил в миску с грушевым компотом. Он так и брызнул оттуда. Антон завывал, изображая ветер.

Наконец непогода унялась, мальчик придвинул стол к

кровати, и они сошли на берег в Рио-де-Жанейро. Тамошние жители устроили мореходам горячую встречу. Все трое они были сфотографированы. Пифка свернулся в клубок и с радостью вылизывал свою слипшуюся шерсть. Она была вкусной от грушевого компота.

— Большое спасибо за сердечный прием,— сказала Кнопка.— Это было время, полное лишений, но мы будем с радостью о нем вспоминать. Одежда у меня, к сожалению, пропала, и назад я поеду по железной дороге. Осторожность не повредит.

— Я Антонио Гастиглионе, обер-бургомистр Рио-де-Жанейро,— пробасил мальчик.— Мне выпала честь приветствовать вас в наших краях и я присваиваю вам и вашей собаке звание чемпионов-мореходов.

— Большое спасибо, господин,— сказала Кнопка.— Мы будем всегда высоко держать ваш кубок.— С этими словами она взяла из лодки масленку и сказала с миной знатока: — Чистое серебро, не менее десяти тысяч карат¹.

Потом отворилась дверь, и вошла мама Антона. Это была большая радость.

— Господин Погге доставил меня на авто,— сказала она.— О! Что же вы тут наделали?!

— Мы только что переплыли океан,— сообщила Кнопка.

Но они тут же навели в комнате порядок. Пифка хотел еще раз, уже по собственному почину, усесться в миску с компотом, но мама Антона категорически пресекла его попытку.

А в это время господин Погге вел со своей супругой серьезный разговор.

— Я хочу, чтобы Кнопка стала порядочным человеком,— сказал он.— Никаких фрейлейн Андахт больше не будет в этом доме. Моя девочка не должна превратиться в высокомерную дуру. Она должна познавать жизнь с ее заботами. Кнопка сама себе выбрала друга, и я одобряю этот выбор. Если бы ты больше заботилась о ребенке, кое-что было бы иначе. Все будет так, как я решил. Ни слова возражения! Я слишком долго во всем тебе потакал. Теперь будет иначе.

У фрау Погге на глазах выступили слезы.

— Ну хорошо, Фриц! Если ты непременно этого хо-

¹ К а р а т — единица веса алмазов и других драгоценных камней — 0,2 г.

чешь,— проговорила она и провела платочком по лицу.— Согласна, но ты не должен больше сердиться.

Он поцеловал ее. Потом он ввел в комнату мать Антона и спросил, что она думает о его плане. Фрау Гаст была тронута и сказала, что, если его жена не возражает, она с радостью согласится. Они были очень счастливы.

— Ну-ка, дети! — крикнул он.— Внимание! Внимание! Мама Антона прямо сегодня переезжает в комнату фрейлейн Андахт. Для мальчика мы приготовим комнату с зелеными обоями и с сегодняшнего дня все будем вместе. Понятно?

Антон не мог вымолвить ни слова. Он пожал руку господину Погге, потом его жене. Он прижался к своей матери и прошептал:

— Теперь у нас не будет тревог и забот, верно?

— Не будет, мой дорогой мальчик,— сказала она.

Потом Антон снова уселся рядом с Кнопкой, и она от большой радости потаскала его за уши. Пифка радостно прыгал по комнате. Казалось, он про себя улыбался.

— Ну, дочь моя, ты согласна, что я прав? — спросил отец и погладил ее по голове.— А на летние каникулы мы с фрау Гаст и Антоном поедem на Балтийское море.

Тут Кнопка выбежала из комнаты, а когда она возвратилась, в одной руке у нее был ящичек с сигарами, в другой — спички.

— В награду,— сказала она.

Отец закурил сигару, весело охнул, а когда выдохнул первое облачко дыма, сказал:

— Которую я заслужил.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШЕСТНАДЦАТОЕ РАССУЖДЕНИЕ: О СЧАСТЛИВОМ КОНЦЕ

Таким образом, история как будто окончена. И конец ее справедливый и счастливый. Каждый прибилсЯ туда, куда ему и надлежало прибиться, и мы можем спокойно представить себе дальнейшие судьбы всех без исключения. Жених фрейлейн Андахт сидит в тюрьме, Антон и его мама купаются в счастье, Кнопка сидит около своего Антона, а фрейлейн Андахт сидит в луже. Каждый нашел себе соответствующее место. Судьба воздала по заслугам.

Возможно, вы теперь решите, что и в жизни все справедливо и завершается так, как здесь, в этой книге. Это было бы, разумеется, губительное заблуждение! Это должно быть так, и все разумные люди стараются, чтобы было так. Но это не так. Это еще не так.

У нас в школе был один ученик, который постоянно списывал у своих соседей. Вы думаете, он был наказан? Нет, наказали соседа, с которого он списывал. Так что не очень-то удивляйтесь, если жизнь вас накажет, хотя виноваты будут другие. Смотрите же, когда вы станете большими, чтобы вы стали также и лучше! Нам это не совсем удалось. Будьте порядочнее, честнее, справедливее и благоразумнее, чем было большинство из нас!

Земля, говорят, когда-то давно была раем. Может быть, и была.

Земля должна снова стать раем. И может быть, станет.

МАЛЕНЬКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

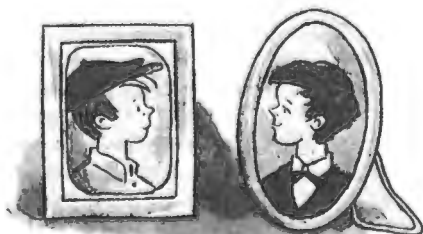
Хотя история о Кнопке и Антоне окончена, есть у меня на сердце еще одна малость.

И вот в чем дело. Дети, которые знают мою книгу об «Эмиле и сыщиках», могут сказать: «Милый человек. Ваш Антон точно такой же мальчик, как и ваш Эмиль. Почему бы вам в новой книжке не написать совсем о другом мальчике?»

И так как вопрос не является несправедливым, мне хочется на него ответить, прежде чем я поставлю последнюю точку. Я рассказал об Антоне, хотя он так похож на Эмиля Тышбайна, потому что я считаю, что о мальчиках этого сорта еще недостаточно рассказано и Эмилей и Антонов у нас не так уж и много!

Может быть, вы решите стать такими же, как они? Может быть, если вы их полюбили, они будут примером для вас, и вы будете стараться быть такими же прилежными, такими же разумными, такими же смелыми, такими же честными?

Это было бы для меня лучшей наградой. Ведь из Эмиля и Антона, и из всех, кто на них похож, получают потом очень толковые люди. Такие, какие нам и нужны!



ДВОЙНАЯ ЛОТТХЕН





Глава первая

Зеебюль на Бюльзее. Детские пансионаты, как пчелиные ульи. Автобус с двадцатью новенькими. Локоны и косы. Может ли ребенок откусить другому нос? Английский король и его астрологический близнец. Как тяжело достается улыбка

Вы, конечно, знаете Зеебюль? Горную деревушку Зеебюль? Зеебюль на Бюльзее? Нет? Не знаете? Удивительно, кого ни спросишь, никто не знает Зеебюль! Или о Зеебюль на Бюльзее знают только те, к о г о н е с п р а ш и в а ю т? Такое бывает. Меня это не удивит.

А если вы не знаете Зеебюль на Бюльзее, то, конечно, вы не знаете и детского пансионата в Зеебюль на Бюльзее, известнейшего летнего пансионата для маленьких девочек. Жаль. Впрочем, беды большой нет. Детские пансионаты похожи друг на друга, как бублики, как лесные фиалки: знаком один, так знаешь и все. Идешь мимо такого пансионата, и можно подумать, что это огромный пчелиный улей. Он гудит от смеха, крика, шушуканья и хихиканья. Да он и есть улей детского счастья и радостей. Но сколько бы ни доставлял он детям радостей, всегда есть возможность дать их еще больше.

Однако не секрет, что вечерами на постельки в спальной присаживается серый гном — Тоска по дому.

Он вытаскивает серую бухгалтерскую книгу, серый карандаш из кармана и с серьезным видом подсчитывает детские слезы, все вместе, выпланные и невыпленные.

А наутро, вы не замечали, он исчезает! И тогда снова стучат чашки с молоком, и трещат наперебой маленькие болтушки. Потом маленькие купальщицы стайкой несутся к холодному, мелкому, изумрудно-зеленому озеру, бросаются в воду, плещутся, оглашают окрестности визгом и криками, плавают или, по крайней мере, делают вид, что плавают.

Таков и Зеебюль на Бюльзее, где начинается история, которую я хочу вам рассказать. Довольно запутанная история. Вам иногда придется быть адски внимательными, чтобы разобраться во всем точно и основательно. Вначале все идет довольно сносно. Путаница начинается в следующих главах. Все будет запутанно и ужасно напряженно.

Итак, они купаются в озере, и больше всех плещется и озорничает, как всегда, маленькая девятилетняя девочка, у которой вся голова в локонах и завитушках и которую зовут Луиза, Луиза Пальфи. Из Вены.

Тут из дома доносится гонг. Еще один, затем третий. Дети и воспитательницы карабкаются на берег.

— Гонг для всех! — кричит фрейлейн Ульрика. — Для Луизы — тоже.

— Я уже иду! — кричит Луиза. — Старый человек это же не экспресс! — И тут она в самом деле появляется.

Фрейлейн Ульрика гонит свое гогочущее стадо, всех до одной, в хлев, простите, в дом. В двенадцать часов, минута в минуту, полагается обедать. А потом все будут полны нетерпения. Почему?

В середине дня ждут новеньких. Двадцать маленьких девочек из южной Германии. Наверное, среди них будут воображалы? Наверное, и болтушки? Вполне возможно и старые престарелые дамы тринадцати или даже четырнадцати лет. Привезут ли они с собой интересные игрушки? Будем надеяться, что и большой резиновый мяч! Мяч Труды уже совсем скис. Бригитта свой не выносит. Она закрыла его в шкаф. На ключ закрыла. Чтобы с ним ничего не случилось. Такое тоже бывает.

И вот после обеда Луиза, Труды, Бригитта и другие дети стоят перед большими распахнутыми железными воротами и с нетерпением ждут автобус, который дол-



жен доставить с ближайшей железнодорожной станции новеньких. Если поезд пришел точно, то они должны бы...

Гудок! Едут! Автобус проезжает по улице, медленно сворачивает в ворота и останавливается. Шофер выходит и начинает осторожно вытаскивать из машины маленьких девочек одну за другой. И не только девочек, но и чемоданы, и сумки, и кукол, и коробки, и пакеты, и свертки, и плюшевых собак, и роллеры, и зонтики, и термосы, и макинтоши, и рюкзаки, и свернутые шерстяные одеяла, и книжки с картинками, и ботанизерки, и сачки для ловли бабочек, и всякую всячину.

И наконец, в дверях автобуса показывается со своим скарбом двадцатая маленькая девочка. Серьезное, бодрое существо. Шофер с готовностью протягивает руки.

Девочка мотает головой так, что подлетают ее косы.

— Спасибо, нет! — говорит она гордо и решительно, спокойно и уверенно вылезает из автобуса. Оказавшись внизу, она, смущенно улыбаясь, смотрит вокруг.

И вдруг ее глаза широко раскрываются от изумления. Она уставилась на Луизу! И Луиза раскрыла глаза. Она с ужасом смотрит новенькой в лицо.

Фрейлейн Ульрика и дети ошеломленно смотрят то на одну, то на другую. Шофер сдвинул кепку на заты-

лок, почесал голову да так и остался стоять с разинутым ртом. Отчего бы?

Луиза и новенькая так похожи друг на друга, что их просто нельзя различить! Только у одной — длинные локоны, а у другой — аккуратно заплетенные косы, но в этом и все их различие.

И тут Луиза повернулась и бросилась бежать в сад, словно ее преследовали львы и тигры.

— Луиза! — кричит ей вслед фрейлейн Ульрика. Потом она пожимает плечами и ведет двадцать новеньких в первый раз в дом. Последней робко плетется бесконечно удивленная маленькая девочка с косичками.

Фрау Мутезиус, руководительница детского пансионата, сидит в кабинете и вместе со старой опытной поварихой составляет меню на неделю.

Стучат. Входит фрейлейн Ульрика и докладывает, что новенькие прибыли здоровыми, бодрыми и в полном составе.

— Очень хорошо. Благодарю вас.

— Но видите ли...

— Да? — Углубленная в свое занятие руководительница бросает взгляд на фрейлейн.

— Речь идет о Луизе Пальфи, — нерешительно начинает фрейлейн Ульрика. — Она ожидает здесь у двери...

— Опять шалости! — фрау Мутезиус улыбается. — Ну что она опять натворила?

— На этот раз ничего, — говорит воспитательница. — Но... — Она осторожно открывает дверь и зовет: — Заходите, вы обе! Не бойтесь!

В комнату входят две маленькие девочки. Они останавливаются далеко друг от друга.

— Чтоб мне провалиться на месте!.. — бормочет повариха.

Пока фрау Мутезиус с удивлением рассматривает детей, фрейлейн Ульрика говорит:

— Новенькую зовут Лотта Кёрнер, она из Мюнхена.

— Вы родственницы?

Обе девочки едва заметно, но решительно мотают головами.

— До сегодняшнего дня они никогда не видели друг друга! — поясняет фрейлейн Ульрика. — Удивительно, не правда ли?

— Почему удивительно? — спрашивает повариха. — Как же они могли видеть друг друга, если одна из Мюнхена, а другая из Вены.

Фрау Мутезиус примирительно говорит:

— Две девочки, так похожие друг на друга, должны быть хорошими приятельницами. Будьте же друзьями, дети! Подойдите, возьмитесь за руки.

— Нет, — кричит Луиза и прячет руки за спину.

Фрау Мутезиус пожимает плечами, задумывается и наконец говорит:

— Можете идти.

Луиза бросилась к двери, распахнула ее и выскочила наружу. Лотта сделала книксен и медленно направилась к выходу.

— Одну минутку, Лоттхен, — останавливает ее руководительница. Она раскрывает большую книгу. — Я сейчас запишу твоё имя. Когда и где ты родилась? Как зовут твоих родителей?

— У меня только мама, — шепчет Лотта.

Фрау Мутезиус макает перо в чернильницу.

— Сначала день рождения...

Лотта идет по коридору, поднимается по лестнице, открывает дверь и входит в гардеробную. Ее чемодан еще не распакован. Она занимается тем, что развешивает и раскладывает в отведенном для нее шкафике платья, рубашки, переднички и чулки. Через открытое окно доносится детский смех.

В руках Лотты фотография молодой женщины. Она с нежностью смотрит на портрет и прячет его поглубже под белье. Когда она уже хочет закрыть шкаф, ее взгляд падает на зеркало, укрепленное на внутренней стороне дверцы. Придирчиво и внимательно она разглядывает себя так, словно бы видит в первый раз. Затем, приняв неожиданное решение, она распускает косы и укладывает волосы, чтобы получилась прическа, как у Луизы Пальфи.

Где-то стукнула дверь. Точно пойманная на месте преступления, Лотта резко опускает руки.

Луиза с подругами забралась на стену сада. От неожиданных забот она морщит нос.

— Я бы этого не потерпела, — говорит Труда, ее школьная подруга из Вены. — Нахально разгуливает с твоим лицом!

— Ну а что же мне делать? — зло спрашивает Луиза.

— Расцарапай ей физиономию! — предлагает Моника.

— А лучше всего — откуси ей нос! — советует Христина, самодовольно болтая ногами. — Так ты сразу выместишь свою злость.

— Испорчены каникулы! — вздыхает страшно огорченная Луиза.

— Но она же тут ни при чем, — рассуждает круглощекая Стефи. — Если бы появился кто-нибудь, похожий на меня...

Труда смеется.

— Тебе и самой не верится, что найдется такой сумасшедший, который будет разгуливать с твоим лицом.

Стефи надулась. Остальные смеются. Даже лицо Луизы светлеет.

Но тут раздается гонг.

— Кормежка диких зверей! — кричит Христина, и девочки прыгают со стены.

В столовой фрау Мутезиус говорит фрейлейн Ульрике:

— Посадим наших двойняшек вместе. Возможно, радикальное средство подействует!

Дети с шумом наполняют зал. Отодвигают скамейки. Дежурные девочки несут на столы пышущие паром миски с супом. Другие наполняют подставляемые им тарелки.

Фрейлейн Ульрика идет позади Луизы и Труды. Трогает Труду за плечо и говорит:

— Сядешь рядом с Хильдой Штурм.

Труда оборачивается и произносит:

— Но...

— Никаких возражений. Хорошо?

Труда пожимает плечами и отходит.

Стучат ложки. Место рядом с Луизой пусто. Просто удивительно, как это пустое место может притягивать к себе столько глаз.

Взоры всех, как по команде, обращаются к двери. Вошла Лотта.

— Наконец-то ты явилась, — говорит фрейлейн Ульрика. — Идем, я покажу твоё место.

Она ведет тихую, серьезную девочку с косичками к столу. Луиза даже не смотрит, наоборот, она еще яростнее расправляется с супом. Лотта послушно садится рядом с Луизой и берет ложку, хотя у нее сразу пропал аппетит.

Все маленькие девочки не спускают глаз с этой удивительной пары. Теленок с двумя или даже тремя головами не мог бы вызвать большего интереса. Толстая, круглощекая Стефи от необыкновенного удивления так и сидит с открытым ртом.

Луиза уже больше не может удержаться. Да она и не хочет этого. Она изо всех сил под столом ударяет Лотту по ноге.

Лотта вздрагивает от боли и плотно сжимает губы.

За столом для взрослых воспитательница Герда, покачивая головой, говорит:

— Непостижимо! Совершенно незнакомые друг другу девочки и так похожи.

Фрейлейн Ульрика задумчиво произносит:

— Возможно, они астрологические близнецы?

— Это еще что? — спрашивает фрейлейн Герда. — Астрологические близнецы?

— Бывают люди совершенно похожие друг на друга и не находящиеся ни в каком родстве. Но это такие люди, которые появились на свет в одну и ту же долю секунды!

— Ах! — изумляется фрейлейн Герда.

Фрау Мутезиус кивает головой.

— Я однажды читала про одного лондонского мужского портного, который был поразительно похож на Эдуарда Седьмого, английского короля. Их просто можно было спутать, тем более, портной носил в точности такую же бороду. Король пригласил этого человека в Букингемский дворец и долго с ним беседовал.

— И что же, оба они родились в одну и ту же долю секунды?

— Да. Случайно это удалось установить совершенно точно.

— И как же дальше развернулись события? — с интересом спрашивает Герда.

— Портному пришлось исполнить желание короля и сбрить бороду.

Пока все смеются, фрау Мутезиус задумчиво смотрит на стоящий напротив стол, где сидят две маленькие девочки. Потом она говорит:

— Лотта Кёрнер будет спать рядом с Луизой Пальфи. Они должны привыкнуть друг к другу.

Ночь. Все дети спят. Кроме двух. Две девочки лежат, отвернувшись друг от друга, и делают вид, что крепко спят, но они лежат с открытыми глазами.

Луиза сердито смотрит на серебряные крендели, ко-

торые месяц рисует на ее постели. Но вот она наострила уши. Она слышит тихий приглушенный плач.

Лотта зажимает руками рот. Что ей говорила мама перед отъездом? «Я так рада, что ты несколько недель пробудешь среди своих веселых сверстниц! Ты слишком серьезна для своего возраста, Лоттхен! Слишком серьезна! Я знаю, что это от тебя не зависит. Это все из-за меня, из-за моей работы. Я слишком мало бываю дома. Домой я прихожу усталая. Тебе не приходится играть с детьми. Тебе нужно стирать, варить еду, накрывать на стол. Возвращайся, пожалуйста, с морщинками от улыбок, моя маленькая хозяйшкa!»

И вот она, вдали от дома, лежит рядом со злой девочкой, которая ненавидит ее только за то, что она так на нее похожа. И Лотта тихо всхлипывает. Ну откуда же тут быть морщинкам от улыбок? Девочка плачет над своей бедой.

И вдруг маленькая чужая рука осторожно гладит ее по волосам! Лоттхен замирает от страха. От страха ли? Рука Луизы продолжает гладить ее.

Месяц смотрит в большое окно спальни и удивляется. Две маленькие девочки, которые не могут смотреть друг на друга, лежат рядом, и та, которая только что плакала, осторожно касается протянутой к ней руки другой девочки.

«Ну вот и хорошо,— думает старый серебряный месяц.— Теперь я могу спокойно уйти».

Так он и поступает.

Глава вторая

О разнице между перемием и миром. Умывальная комната — салон причесок. Две Лоттхен. Трудя получает пощечину. Фотограф Айпельдауэр и жена лесника. Моя мама — наша мама. Даже фрейлейн Ульрика что-то подозревает

Всерьез и надолго ли это перемирие между двумя сторонами? Даже если оно состоялось без всяких переговоров, без единого слова? Я готов поверить, что всерьез и надолго. Но от перемирия до мира еще долгий путь. У детей — тоже. Впрочем?..

Они не отважились посмотреть друг на друга на следующее утро, когда проснулись, не смотрели, когда в длинных белых рубашках бежали умываться, не смотре-

ли, когда — шкаф к шкафу — одевались, когда сидели — стул к стулу — за утренним молоком, и даже когда рядышком пели песни, бегали к озеру, и когда вместе с воспитательницей Ульрикой Райген водили хороводы и плели венки из цветов. И только раз, словно бы случайно, мимолетно встретились их взгляды, но тут же они снова испуганно шарахнулись друг от друга.

И вот фрейлейн Ульрика сидит на лугу и читает изумительный роман, в котором на каждой странице — любовь. Иногда она опускает книгу и задумывается о господине Радемахере, дипломированном инженере, снимавшем комнату у ее тети; его зовут Рудольф. Ах, Рудольф!

Луиза играет со своими подругами в школы-мячики. Но она так невнимательна. Часто оглядывается по сторонам, будто ищет кого-то и не может найти.

Труда спрашивает:

— Когда же ты наконец откусишь новенькой нос, а?

— Не будь такой глупой! — говорит Луиза.

Христина удивляется:

— Вот так так! А я-то думала, ты на нее злишься.

— Не могу же я каждому, на кого зла, откусывать нос, — холодно отвечает Луиза и добавляет: — Кроме того, я на нее в о в с е не з л ю с ь.

— Но вчера, кажется, было что-то такое! — подхватывает Стефи.

— И разве это не злость, — добавляет Моника, — если ты вчера за ужином так ударила ее по ноге, что она чуть не взвыла!

— Вот видишь! — с явным удовлетворением заключает Труда.

Луиза взъерошилась.

— Если вы сейчас же не замолчите, и вы получите по ногам! — разозленно кричит она, поворачивается и убегает прочь.

— Сама не знает, чего хочет, — произносит Христина и пожимает плечами.

Лотта одиноко сидит на лугу, косы ее украшает венок, а она занята тем, что плетет второй. И вдруг тень падает на ее передник. Она поднимает глаза.

Перед ней стоит Луиза и смущенно, нерешительно переступает с ноги на ногу.

Лотта улыбается чуть-чуть, едва заметно. Одними губами. Луиза слегка улыбается в ответ.

Лотта поднимает только что сплетенный венок и тихонько спрашивает:

— Ты хочешь?

Луиза опускается на колени и восторженно произносит:

— Да, но только если ты мне его наденешь!

Лотта водружает венок на ее локоны. Потом наклоняется к ней и говорит:

— Великолепно!

И вот две похожие друг на друга девочки сидят рядом на лугу, одни-одинешеньки; они молчат и только осторожно улыбаются.

— Ты на меня еще сердишься? — тяжело вздохнув, спрашивает Луиза.

Лотта мотает головой.

Луиза смотрит в землю и вдруг у нее вырывается:

— Это было так неожиданно! Автобус! А потом ты! Это ужасно!

Лотта кивает.

— Да, это ужасно,— соглашается она.

Луиза наклоняется вперед.

— Собственно, это страшно смешно, не правда ли?

Лотта удивленно смотрит в задорно сверкающие глаза Луизы.

— Смешно? — и тихо спрашивает: — У тебя есть сестры?

— Нет.

— У меня тоже нет.

Обе прошмыгнули в умывалку и стоят перед большим зеркалом. Лотта с увлечением расчесывает гребенкой и щеткой локоны Луизы.

— Ой, ай! — то и дело вскрикивает Луиза.

— Успокойшься ты наконец? — нарочито строго бранит ее Лотта. — Если бы тебя причесывала мама, ты бы не кричала!

— Но у меня же нет мамы! — ворчит Луиза. — Поэтому... ой... поэтому-то папа и говорит, что я несносный ребенок.

— И он никогда не порол тебя? — деловито осведомляется Лотта, начиная заплетать волосы в косы.

— Ну что ты! Он слишком меня любит!

— Тут уж ничего не поделаешь! — тоном знатока замечает Лотта.



— И кроме того, у него голова полна забот.

— Ну для порки хватило бы и свободных рук!

Обе смеются. И вот косы Луизы готовы, и девочки уставились горящими глазенками в зеркало. Лица их сверкают, как рождественские елки. Две совершенно одинаковые девочки смотрят на них из зеркала.

— Как две сестры! — восторженно шепчет Луиза. Звучит обеденный гонг.

— Вот будет потеха! — кричит Луиза. — Пошли!

Они бегут из умывалки. И они держатся за руки. Все дети уже давно за столом. Только места Луизы и Лотты еще свободны.

Но вот открывается дверь и появляется Лотта. Не раздумывая, она усаживается на место Луизы.

— Эй! — предупреждает Моника. — Это место Луизы! Подумай о своих ногах!

Девочка только пожимает плечами и принимается есть. Снова открывается дверь — что за чертовщина! — снова входит самая настоящая Лотта! С невозмутимым

видом она идет к оставшемуся свободному месту и садится.

Девочки за столом так и разинули рты. И девочки из-за соседних столов тоже уставились сюда. Они поднимаются и обступают обеих Лотт.

Обстановка разрядилась, когда обе принялись хохотать. Не проходит минуты, как весь зал покатывается с хохота.

Фрау Мутезиус морщит лоб.

— Это что за шум?

Она встает и с царственно-спокойным лицом шагает в самую гущу шумного веселья. Но когда она обнаруживает двух девочек с косичками, ее гнев тает, как снег под солнцем.

— Итак, кто же из вас тут теперь Луиза Пальфи и кто Лотта Кёрнер? — весело спрашивает она.

— Этого мы не скажем! — подмигивая, говорит Лотта, и снова вспыхивает смех.

— Ну ради всего святого! — в комическом отчаянии восклицает фрау Мутезиус. — Что же мы теперь будем делать?

— Может быть, — задорно предлагает вторая Лотта, — может быть, кто-нибудь догадается?

Стефи машет руками, как девочка, которой очень хочется прочесть стихотворение.

— Я знаю, я знаю! — кричит она. — Труда ведь ходит с Луизой в один класс! Труда должна отгадать!

Труда нерешительно пробирается вперед, смотрит на одну Лотту, на другую и безнадежно трясет головой. Но потом лукавая усмешка появляется на ее лице. Она дергает стоящую с нею рядом Лотту за косу и тут же получает звонкую затрепину.

— Это Луиза! — торжествующе кричит она, держась за щеку. (И это был наивысший момент всеобщего веселья.)

Луиза и Лотта получили разрешение сходить в поселок. Обе Лотты непременно должны быть запечатлены на фотографии. И послать фотокарточки домой! Вот будет удивление!

Фотограф, некий господин Айпельдауэр, поначалу весьма удивленный, исполнил заказ. Он сделал шесть различных снимков. Через десять дней карточки должны были быть готовы.

Как только девочки ушли, он сказал жене:

— Знаешь что, пошлю-ка я несколько отпечатков в какой-нибудь иллюстрированный журнал! Они таким иногда интересуются!

Расставшись с фотографом, Луиза распускает опять свои «дурацкие» косы, потому что эта аккуратная прическа противоречит ее натуре. И как только она снова смогла потрясти локонами, к ней возвращается и ее темперамент. Она приглашает Лотту выпить лимонада. Лотта противится.

— Ты пойдешь! — энергично произносит Луиза. — Отец позавчера опять прислал мне карманные деньги. Идем же!

Они направляются к домику лесника, усаживаются в саду, пьют лимонад и болтают. Ведь если две маленькие девочки становятся подружками, нужно столько рассказать, спросить, ответить на столько вопросов!

Между столиками этого лесного приюта снуют кудахтающие куры. Старый охотничий пес обнюхивает юных посетительниц и примиряется с их присутствием.

— Твой папа умер давно? — спрашивает Луиза.

— Я не знаю, — отвечает Лотта. — Мама никогда не говорит о нем, а я не люблю расспрашивать.

Луиза кивает.

— А я никак не могу вспомнить свою маму. Раньше у папы на рояле стоял ее большой портрет. Как-то он вошел и увидел, что я разглядываю его. И на другой день портрет исчез. Он, наверное, закрыл его в письменный стол.

Кудахчут куры. Спит старый пес. Маленькая девочка, у которой нет отца, и маленькая девочка, у которой нет матери, пьют лимонад.

— Тебе тоже девять лет? — спрашивает Луиза.

— Да, — кивает Лотта, — четырнадцатого октября мне будет десять.

Луиза усаживается прямо, как свеча.

— Четырнадцатого октября?

— Четырнадцатого октября.

Луиза наклоняется вперед и тихо произносит:

— М н е т о ж е !

Лотта застывает, словно кукла.

За домом кричит петух. Собака отмахивается от пчелы, которая жужжит у ее носа. Через открытое окно кухни слышно, как поет жена лесника.

Девочки, словно загипнотизированные, смотрят друг

другу в глаза. Лотта словно проглатывает какой-то комок и спрашивает хриплым от волнения голосом:

— А где ты родилась?

Луиза отвечает тихо и нерешительно, словно боится чего-то:

— В Линце, на Дунае.

Лотта облизывает запекшиеся губы:

— Я тоже.

В саду совсем тихо. Только покачиваются вершины деревьев. Может быть, это сама Судьба пронеслась над садом и задела их своими крыльями?

— У меня в шкафу есть фотография моей...— медленно говорит Лотта,— моей мамы.

Луиза вскакивает:

— Покажи мне! — Она срывает Лотту со стула и тащит из сада.

— Ну и ну! — раздается им вслед. Это жена лесника.— Что за новая мода? Лимонад пить, а денег не платить?

Луиза страшно смущена. Она роется дрожащими пальцами в своем маленьком портмоне, нащупывает купюру значительно большего достоинства, сует в руку женщины и бежит вслед за Лоттой.

— Вам полагается сдача! — кричит женщина.

Но дети не слышат ее. Они несутся, точно речь идет об их жизни.

— И что только на уме у этих маленьких дурочек? — бурчит женщина.

Она идет в дом. Старый пес трусит за ней.

В пансионате Лотта торопливо роется в своем шкафу. Из-под стопки белья она извлекает фотографию и протягивает ее дрожащей всем телом Луизе.

С робостью и испугом Луиза смотрит на карточку. Взгляд ее светлеет. Глаза ее прямо впиваются в лицо женщины.

Полное ожидания лицо Лотты обращено к ней. Луиза, пораженная невыразимым счастьем, даже опускает фотографию и радостно кивает.

— Моя мама! Моя мама! — шепчет она и прижимает к себе портрет.

Лотта обнимает Луизу.

— Н а ш а м а м а !

Две маленькие девочки крепко прижимаются друг к другу. Позади тайны, которая только что приоткрылась для них, стоят новые загадки, другие тайны.

В доме раздается гонг. С шумом и смехом дети не-

сутся вниз по лестнице. Луиза хочет положить фотографию обратно в шкаф. Лотта говорит:

— Я дарю ее тебе!

Фрейлейн Ульрика стоит в кабинете перед столом руководительницы пансионата; от волнения щеки ее покрыты пунцовыми пятнами.

— Я не могу этого держать в себе! — восклицает она. — Я должна с вами поделиться! Если бы я только знала, что нам делать!

— Ну-ну, — говорит фрау Мутезиус, — что же у вас на сердце, дорогая?

— Это совсем не астрологические близнецы!

— Кто же? — с улыбкой спрашивает фрау Мутезиус. — Английский король и портной?

— Нет! Луиза Пальфи и Лотта Кёрнер! Я справлялась в книге приема детей! Обе они родились в один и тот же день в Линце! Это не может быть случайностью!

— Наверное, это не случайность, моя дорогая. Я уже имею на этот счет определенное мнение.

— Как, вы уже знаете? — спрашивает фрейлейн Ульрика и как рыба хватается ртом воздух.

— Конечно! Едва только прибыла маленькая Лотта, я разговаривала с ней и записала ее данные; потом я сличила дни рождения девочек, посмотрела, где они родились. Это оказалось достаточно близко. Не правда ли?

— Да-да. И что теперь будет?

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего! Если вы не сумеете держать язык за зубами, я отрежу вам уши, дорогая моя.

— Но...

— Никаких но! Дети не догадываются. Они недавно сфотографировались и пошлют снимки домой. Если это поможет распутать дело — хорошо! А вы и я — нам роль Судьбы ни к чему. Я благодарю вас за наблюдательность, дорогая. А теперь пришлите ко мне, пожалуйста, повариху.

Лицо фрейлейн Ульрики, когда она покидала кабинет, не было особенно радостным. Впрочем, кое-что для нее, кажется, оказалось совершенной неожиданностью.

Глава третья

Открываются новые континенты. Загадка за загадкой. Разделенное имя. Серьезная фотография и веселое письмо. Родители Стефи разводятся. Можно ли ребенка разделить пополам?

Время проходит. Вы это знаете не хуже меня.

Получили две маленькие девочки свои фотографии у господина Айпельдауэра в деревне? Давным-давно! Интересно, узнавала фрейлейн Ульрика — отослали ли они свои фотографии домой? Давным-давно! Кивнули ей Лотта и Луиза и сказали «да»? Давным-давно!

И с тех самых пор эти фотографии, разорванные на маленькие клочки, лежат на дне зеленого озера Бюльзее у Зеебюль. Дети солгали фрейлейн Ульрике! Они хотели, чтобы их тайна оставалась при них! Вдвоем они хотели хранить ее и вдвоем, если возможно, раскрыть! И кто бы ни попытался приобщиться к их тайне, должен быть бесцеремонно обманут. И только так. И не почувствует при этом Лоттхен угрызений совести. А это будет много значить.

Обе последнее время неразлучны, как иголка с ниткой. Труда, Стефи, Моника, Христина и другие девочки иногда злятся на Луизу, ревнуют ее к Лотте. Помогает? Нет, не помогает! Где же они теперь пропадают?

Они пропадают в гардеробной. Лотта достает два одинаковых передника из своего шкафа, один из них дает сестре и, надевая второй на себя, говорит:

— Передники мама купила у Оберполингера.

— Ага,— отвечает Луиза,— это магазин на Нойхаузерштрассе у... как называются ворота?

— Карлстор!

— Верно, у Карлстор.

Каждая из них уже достаточно хорошо знает привычки другой, знает о ее соученицах, соседях, учительницах, квартире. Для Луизы чрезвычайно важно все, что связано с матерью! Лотта жадно впитывает в себя все, что знает сестра об отце! Уже много дней они не говорят ни о чем другом. И даже по вечерам они еще долго шепчутся, лежа в постелях. Каждая открывает другую, как новый континент. И вдруг оказалось: то, что до сих пор было под их детским небом, это только половина их мира.

И раз уж они по-настоящему и с таким рвением занялись тем, чтобы соединить обе эти половины и увидеть

целое, у них не мог не возникнуть и другой вопрос, их не могла не мучить и другая загадка: почему родители не вместе?

— Сначала они, конечно, поженились,— объясняет Луиза чуть не в сотый раз.— Потом у них родились две маленькие девочки. И так как маму зовут Лизелоттой, то одну называли Луизой, а другую — Лоттой. Это же просто прелестно! А потом, наверное, должно было еще что-то произойти, не так ли?

— Определенно! — говорит Лотта.— Потом они, скорее всего, поссорились. И разъехались. И нас с тобой поделили, так же как раньше разделили имя мамы!

— Но они должны были бы нас сперва спросить, согласны ли мы, чтобы нас разделили!

— Мы тогда еще не умели говорить!

Сестры беспомощно улыбаются. Потом, взявшись под ручки, идут в сад.

Прибыла почта. И повсюду: на траве, на стене, на садовых скамейках сидят маленькие девочки и читают письма.

Лотта держит фотографию мужчины лет тридцати пяти, нежно смотрит на нее. Так вот как выглядит ее отец! И как легко становится на сердце, когда есть настоящий живой отец!

Луиза читает, что он ей пишет:

— «Моя дорогая, единственная крошка!» Вот обманщик,— говорит она, отрывая взгляд от письма.— Ведь он же отлично знает, что у него близнецы! — Читает дальше: — «Неужели ты настолько забыла, как выглядит твой дворецкий, что тебе еще до конца каникул понадобилась его фотография? Сперва я хотел тебе послать мою детскую фотографию. Ту, где я голеньким лежу на шкуре белого медведя. Но ты пишешь — непременно наинovouшую! Ну я сейчас же помчался к фотографу, хотя у меня совсем не было времени, и объяснил для чего мне так срочно нужна фотография. Иначе, сказал я ему, моя Луиза не узнает меня, когда я буду встречать ее на вокзале! Это он, к счастью, понял. И портрет мой ты получаешь вовремя. Надеюсь, ты не мучаешь воспитательниц в пансионате, как это ты делаешь со своим отцом, который шлет тебе тысячу приветов и очень соскучился по тебе!»

— Прекрасно! — говорит Лотта.— И весело! А на фотографии он выглядит таким серьезным!

— Наверное, перед фотографом он стеснялся улыбаться,— предполагает Луиза.— Перед другими людьми он всегда делает строгое лицо. А когда мы одни, он бывает очень смешным.

Лотта все еще держит портрет.

— И я в самом деле могу взять его себе?

— Конечно,— говорит Луиза,— для этого же я и просила прислать!

Круглощекая Стефи сидит на скамейке, держит в руках письмо и плачет. При этом она не издает ни звука. Слезы неудержимо катятся по ее неподвижному круглому лицу. Мимо идет Труда, она с любопытством останавливается, садится рядом и выжидающе смотрит на нее. Подходит Христина и садится с другой стороны. Приближаются Луиза и Лотта и тоже останавливаются.

— Что с тобой? — спрашивает Луиза.

Стефи продолжает молча плакать, она опускает глаза и грустно говорит:

— Мои родители разводятся!

— Это подлость! — восклицает Труда.— Посылают тебя на каникулы, а сами так поступают! За твоей спиной!

— Я думаю, папа любит другую женщину,— всхлипывает Стефи.

Луиза и Лотта быстро отходят прочь. То, что они услышали сейчас, только подливает масла в огонь.

— Но у н а ш е г о отца,— спрашивает Лотта,— ведь нет никакой другой женщины?

— Нет,— отвечает Луиза.— В этом я уверена.

— Может быть, какая-нибудь, на которой он и не женат? — неуверенно спрашивает Лотта.

Луиза трясет кудряшками.

— Знакомые у него, конечно, есть. Даже женщины. Но ни одной из них он не говорит «ты»! А как мама? У мамы есть... есть хороший друг?

— Нет,— уверенно произносит Лотта,— у мамы только я и ее работа, и ей ничего больше не надо, говорит она.

Луиза растерянно смотрит на сестру.

— Ну а почему же тогда они разошлись?

Лотта задумалась.

— А может быть, они и не были в суде, как собираются родители Стефи?

— Почему папа в Вене, а мама в Мюнхене? — спрашивает Луиза.— Почему они нас разделили?

— Почему,— продолжает размышлять Лотта,— они нам никогда не говорили, что мы не «единственная крошка», что мы близнецы? А почему отец не говорил тебе, что мама жива?

— И мама скрыла от тебя, что отец жив! — Луиза подбоченилась.— Прекрасные у нас с тобой родители, а?

— Погоди, мы им еще выскажем свое мнение! Вот они удивятся.

— Но нам ведь нельзя этого делать,— робко произносит Лотта.— Мы дети!

— Д е т и ? — спрашивает Луиза и вскидывает голову.

Глава четвертая

Омлет — это ужасно! Таинственная тетрадь. Дорога в школу и поцелуй перед сном. Заговор в действии. Праздник в саду — генеральная репетиция. Прощай, Зеебюль на Бюльзее

Каникулы подходят к концу. В шкафах растаяли стопки чистого белья. В равной мере растет огорчение оттого, что скоро расставаться с пансионатом, и радость от предстоящего возвращения домой.

Фрау Мутезиус намечает маленький прощальный праздник. Отец одной из девочек, владелец магазина, прислал большой ящик лампионов, гирлянд и много всяких других вещей. Воспитательницы и дети усердно занимаются тем, что украшают веранду и прилегающую к ней часть сада. Они перетаскивают от дерева к дереву кухонную лестницу, развешивают среди листья разноцветные фонарики, от ветки к ветке протягивают гирлянды, подготавливают за длинным столом лотерею, пишут на билетиках номера. Главный выигрыш — пара роликовых коньков на шарикоподшипниках!

— Где же эти Локоны и Косы? — спрашивает фрейлейн Ульрика. (Так последнее время называют Луизу и Лотту!)

— Ах, э т и ! — неприязненно произносит Моника.— Эти опять, наверное, сидят где-нибудь в траве и держатся за руки, чтобы ветер не разнес их в разные стороны!

Но близнецы сидят не где-нибудь в траве, а в саду лесника. И за руки не держатся — для этого у них нет ни минутки,— они держат в руках карандаши, и перед ни-

ми лежат тетрадошки, и как раз сейчас Лотта диктует Луизе, а та старательно выводит своими каракулями:

— Больше всего мама любит вермишелевый суп с говядиной. Говядину брать у мясника Хубера. Полфунта тонкого края, хорошо промыть.

Луиза поднимает голову.

— Мясник Хубер, Макс-Эмануил-штрассе, угол Принц-Евгений-штрассе,— прилежно жужжит она.

Лотта удовлетворенно кивает.

— Поваренная книга лежит в кухонном столе, на самой нижней полке, слева, с краю. И в книгу вложены рецепты всех блюд, которые я умею готовить.

Луиза пишет:

— Поваренная книга... кухонный шкаф... нижняя полка... слева, с краю.— Потом она говорит: — Перед кухней у меня панический страх! Ну а если в первые дни и не получится, так я могу сказать, будто бы разучилась на каникулах, верно?

Лотта медленно кивает головой.

— Кроме того, ты можешь мне сразу же написать, если что-нибудь не ладится. Я каждый день хожу на почту и спрашиваю, нет ли чего-нибудь для нас.

— Я тоже,— говорит Луиза.— Только пиши мне чаще. И ешь как следует в «Империале»! Папа всегда очень доволен, если у меня хороший аппетит!

— Такая досада, как нарочно, омлет — твоё любимое блюдо! — ворчит Лоттхен.— И ничем не можешь! Я предпочла бы телячий шницель и гуляш!

— Если ты в первый же день съешь три омлета, или четыре, или даже пять, то ты можешь потом сказать, что наелась ими на всю жизнь!

— Так и сделаю! — отвечает сестра, хотя при одной только мысли о пяти омлетах у нее что-то повернулось в желудке. Но она, конечно, сделала вид, что ей это нипочем!

Обе снова склоняются над своими тетрадошками и выслушивают друг друга: имена соучениц и где они сидят в классах, привычки учительниц, точный путь до школы.

— С дорогой в школу тебе легче,— говорит Луиза.— Просто ты скажешь Труде, чтобы она в первый день за тобой зашла! Она это иногда делает. Ну и беги спокойно с ней рядом, примечай перекрестки и прочие разности!

Лотта кивает. И вдруг спохватывается:

— Я же тебе еще не сказала — не забудь поцеловать маму на ночь, когда она будет тебя укладывать в постель!

Луиза поднимает голову.

— Это мне не нужно записывать. Об э т о м я наверняка не забуду!

Вы понимаете, что замышляется? Близнецы решили не рассказывать родителям, что знают, как обстоит дело. Они не хотят ставить отца и мать перед необходимостью принять решение. Они догадываются, что не имеют на это права. И они боятся, что решение родителей может снова, в один миг и окончательно, нарушить только что установившееся их сестринское счастье. А если бы им пришлось возвращаться туда, откуда они приехали, этого бы просто не выдержало их сердце! Продолжать жить в отведенной им родителями без спросу половине! Нет! Одним словом — заговор! Фантастический план, порожденный страстным желанием и жадой приключений, выглядел так: девочки обмениваются не только одеждой и прическами, но и своими местами в жизни. Луиза с добропорядочными косами (разумеется, и сама старающаяся быть вполне благовоспитанной) в качестве Лотты «вернется домой» к маме, которую знает только по фотографии. А Лотта с распущенными волосами и, насколько она сумеет, веселая и жизнерадостная, поедет к отцу в Вену!

Подготовка к предстоящим приключениям была основательной. Тетрадочки до отказа заполнены заметками. Если потребуется немедленная помощь или произойдут важные непредвиденные события, они будут писать друг другу до востребования.

Может быть, в результате их совместной наблюдательности удастся разгадать, почему родители живут отдельно? И может быть, наступит когда-нибудь прекрасный, великолепнейший день, когда и они, и их родители будут вместе, — впрочем, хоть они и отважились такое думать, но молчали, не говоря об этом ни слова.

Праздник в саду вечером накануне дня отъезда они задумали сделать генеральной репетицией. Лотта является кудрявой живой Луизой. Луиза приходит благовоспитанной девочкой с косичками — Лоттой. И обе отлично играют свои роли. Никто ничего не замечает! Даже Труда, соученица Луизы из Вены! И сестры позволяют себе рискованную шутку, они во всеуслышание зовут

друг друга подаренными именами. Лотта от озорства чуть не ходит на голове. А Луиза спокойна и важна — ниже травы и тише воды.

В листве деревьев сверкают лампионы. Вечерний ветер покачивает гирлянды. И праздник, и каникулы подходят к концу. Разыгрывается лотерея. Стефи, бедная толстушка, выигрывает первый приз — роликовые коньки на подшипниках. (Хоть маленькое, но утешение.)

Наконец сестры спят, как и полагается по ролям, поменявшись постелями, предстоящие переживания вызывают у них страшные сны. Лотта, например, видит, как в Вене на перроне ее встречает фотография отца, размером чуть больше человеческого роста, а рядом стоит повар из отеля с тележкой, наполненной дымящимися омлетами... Бр-р!

А на следующее утро, невероятно рано, выезжают на железнодорожную станцию Эгерн, что недалеко от Зе-ебюль на Бюльзее, к двум подходящим с противоположных направлений поездам. Десятки гогочущих маленьких девочек забираются в купе. Лотта далеко высовывается из окна. Из окна другого поезда машет Луиза. Они улыбками подбадривают друг друга. Сердца стучат. Волнение нарастает. Если бы не паровозы, которые шипели и пыхтели, маленькие девочки в последний момент, может быть, еще и...

Но расписание поездов есть расписание. Дежурный по станции поднимает жезл. Поезда одновременно приходят в движение. Машут детские ручонки.

Лотта Луизой едет в Вену.

Луиза Лоттой — в Мюнхен.

Глава пятая

Ребенок на чемодане. Одинокие дяденьки в «Импераале». О Пеперле и безошибочном чутье животных. «Луиза» спрашивает, можно ли ей в Опере помахать рукой. Счетная ошибка в книге экономки. Ширли Тэмпл не имеет права увидеть себя в фильме. Сложная жизнь дирижера господина Пальфи

Мюнхен. Главный вокзал. Платформа шестнадцатая. Спокойно стоит паровоз и пускает кольца дыма. В потоке приезжих образовался островок встреч. Маленькие



девочки в объятиях своих сияющих родителей. В громкой, счастливой, оживленной болтовне все забывают, что они еще на вокзале, а не дома!

Постепенно платформа пустеет.

Наконец остается один-единственный ребенок, девочка с косичками и бантами. До вчерашнего дня она носила локоны. До вчерашнего дня ее звали Луиза Пальфи.

Маленькая девочка в конце концов присаживается на чемодан и крепко стискивает зубы. Ждать на вокзале чужого города маму, которую знаешь только по фотографии и которая все не приходит, — это не детская игра!

Фрау Лизелотта Пальфи, урожденная Кёрнер, которая уже шесть с половиной лет (со времени ее развода) снова называется Лизелоттой Кёрнер, задержалась на работе в редакции «Мюнхнер иллюстриерте» из-за нового, только что полученного, материала для страницы новостей. Она работает художественным редактором.

Наконец она схватила такси. Наконец добилась перронного билета. Наконец она добегает до шестнадцатой платформы.

Платформа пуста.

Нет! Далеко, далеко в самом конце платформы, на чемодане сидит ребенок! Молодая женщина мчится по платформе, как на пожар!

У маленькой девочки, которая сидит на чемодане, дрожат колени. Неизведанное чувство наполняет сердце ребенка. Ведь эта молодая, сияющая от счастья, эта, несущаяся к ней, настоящая живая женщина — ее мама!

— Мапочка!

Луиза бросается навстречу женщине и, высоко подняв руки, повисает у нее на шее!

— Моя хозяйшкa! — со слезами шепчет молодая женщина. — Наконец-то, наконец-то мы с тобой снова вместе!

Маленькие детские губы горячо целуют ее нежное лицо, ее ласковые глаза, ее губы, ее волосы, ее нарядную шляпку! Да, да, и шляпку!

И в ресторане, и на кухне отеля «Империял» в Вене царит радостное оживление. Любимица завсегдатаев и служащих, дочь дирижера Оперы Пальфи снова здесь!

Лотта, пардон, Луиза, сидит, как все и привыкли ее видеть, на своем обычном месте, на стуле с двумя высокими подушками, и ест до смерти ненавистный омлет.

Постоянные посетители один за другим подходят к столу, глядят маленькую девочку по голове, нежно похлопывают ее по плечам, на которые спадают локоны, спрашивают, понравилось ли ей в пансионате, и тут же говорят, что в Вене с папой, разумеется, гораздо лучше, выкладывают перед ней на стол всевозможные подарки: конфеты, шоколад, вафли, цветные карандаши, а один даже вытаскивает из кармана маленькие старинные пальцы для вышивания и смущенно говорит, что это еще его бабушки; мужчины кланяются дирижеру и возвращаются за свои столики. И сегодня им, одиноким дням, наконец-то снова нравится еда!

Но вкуснее всего сегодня обед у самого господина дирижера. Ему, который всегда считал, что для «подлинно творческой натуры» более всего необходимо одиночество и что бывшее супружество его не более как ошибка и шаг к мещанству, ему сегодня совсем «нетворчески» тепло и легко на сердце. И когда дочь, нерешительно улыбаясь, берет его за руку, как будто боится, что отец ее иначе может улететь, он самым настоящим образом давится, хотя в говядине нет никаких костей.

Ах, и тут снова подходит официант Франц и преподносит новую порцию омлета!

Лотта трясет кудряшками.

— Я больше не могу, герр Франц!

— Но, Луиззи,— укоризненно произносит официант.— Это еще только пятый!

Когда слегка огорченный герр Франц вместе с пятым омлетом уплывает обратно в кухню, Лотта берет себя в руки и говорит:

— Ты знаешь, папочка, с завтрашнего дня я буду есть то, что ешь ты!

— Вот так так! — восклицает дирижер.— А если я ем теперь только копчености? Ты же их не переносишь! Тебе же будет от них плохо!

— Если ты ешь копчености,— грустно произносит она,— мне снова придется приняться за омлеты. (О, как непросто быть собственной сестрой!)

Что же дальше?

А дальше — появляется государственный советник доктор Штробл и Пеперль. Пеперль — это собака.

— Смотри, Пеперль,— улыбаясь, говорит господин советник,— кто это снова тут появился! Пойди скажи Луиззи «здрасьте»!

Пеперль виляет хвостом и послушно бежит к столику Пальфи, чтобы сказать своей старой приятельнице Луизе «здрасьте».

«Ах, сахар! Погрызу сахару!» И Пеперль приближается к столу. Он обнюхивает маленькую девочку, поворачивается и, не говоря «здрасьте», поспешает назад к господину советнику.

— Что за глупое животное! — сердито произносит тот.— Не узнает свою лучшую приятельницу! И все лишь из-за того, что она несколько недель была в деревне! И люди еще с таким упорством твердят о безошибочном чутье животных!

А Лотта думает про себя: «Какое счастье, что господин советник не столь проницателен, как Пеперль!»

Господин дирижер и его дочь, нагруженные подарками завсегдатаев, чемоданом, куклой, пляжной сумкой, добрались домой на Ротентурмштрассе. И Рези, экономка господина Пальфи, просто вне себя от радости.

Но Лотта хорошо знала от Луизы, что Рези — сплошное притворство и ее суета — это театр. Отец, конечно, этого не замечает. Мужчины вообще кое-чего не замечают!

Он выуживает из бумажника билет, дает его дочери и говорит:

— Сегодня я дирижирую оперой Хумпердинка «Гензель и Гретьель». Рези доставит тебя в театр и встретит после окончания спектакля.

— О! — сияет Лотта. — И я увижу тебя со своего места?

— Конечно.

— И ты будешь на меня иногда посматривать?

— Само собой разумеется!

— И я могу тебе тихонечко помахать рукой, когда ты помотришь?

— А я тебе кивну в ответ, Луиззи!

Тут звонит телефон. В трубке слышен женский голос. Отец отвечает довольно односложно. А когда кладет трубку, начинает суетиться. Да, ему надо побыть еще несколько часов одному и помузицировать. Ведь он же не только дирижер, но и композитор. А сочинять му-





языку дома он не может. Для этого у него имеется студия на Рингштрассе. Итак...

— До встречи завтра в полдень в «Имперiale»!

— И мне можно в Опере тебе помахать, папочка?

— Конечно, моя девочка! Почему же нет?

Поцелуй в серьезный детский лобик. Шляпа на угловатой голове свободного художника! Дверь захлопывается.

Маленькая девочка медленно подходит к окну и печально думает о жизни. Маме нельзя работать дома. Папа не может работать дома.

Как все-таки тяжело с родителями!

Но тут она — несомненно, благодаря воспитанию матери она стала такой энергичной и практичной, — решительно отбросив все думы, вооружается своей тетрадкой и начинает, по данным Луизой сведениям, комната за комнатой исследовать старинную венскую квартиру.

После завершения исследования она по старой привычке усаживается за кухонный стол и подсчитывает в лежащей здесь хозяйственной книге цифры в графе расходов.

При этом ей бросаются в глаза два обстоятельства. Во-первых, Рези, экономка, почти на каждой странице ошибалась в подсчете. И во-вторых, каждый раз этот подсчет был в ее пользу!

— Это еще что! — Рези стоит в дверях кухни.

— Я проверяла твою книгу,— говорит Лотта тихо, но решительно.

— Что еще за новая мода? — сердито спрашивает Рези.— Считай, где тебе полагается,— в школе!

— Я буду теперь у тебя все пересчитывать,— смиренно поясняет девочка и соскакивает с кухонного стола.— Мы учимся в школе, но не для школы, говорит учительница! — И с этими словами она гордо выходит.

Рези цепенеет от удивления.

Уважаемые маленькие и большие читательницы и читатели! Теперь, не без опасения думаю я, наступает пора рассказать немного о родителях Луизы и Лотты и прежде всего о том, как они в свое время дошли до развода. И если взрослые в этом месте книги заглядывают через ваше плечо и говорят: «О, этот человек! Как только он может, ни с чем не считаясь, рассказывать о таких вещах детям!» — прочитайте им тогда, пожалуйста, следующее:

«Ширли Тэмпл, когда она была маленькой девочкой семи или восьми лет, была уже известной всему миру кинозвездой, и фирма заработала на ней много миллионов долларов. Но когда Ширли со своей мамой захотела пойти в кино, чтобы посмотреть Ширли Тэмпл на экране, ее не пустили. Она была еще слишком мала. Это было запрещено. Она могла только сниматься в фильме. Это разрешалось. Для этого она была достаточно взрослой».

Если взрослые, которые смотрят через ваше плечо, не поймут случая с Ширли Тэмпл и его связи с родителями Луизы и Лотты и их разводом, передайте им от меня большой привет, и мне все-таки придется им сказать, что на свете, пожалуй, очень много разведенных родителей и очень много детей, которые страдают от этого! И есть, пожалуй, очень много других детей, которые страдают оттого, что родители их не разведены! Но если дети вынуждены страдать из-за такого положения, не лучше ли быть откровенными с ними и объяснять им все это в доступной форме!

Итак, дирижер Людвиг Пальфи — художник, а у художников, как известно, свой, особенный образ жизни. Правда, он не носит широкополой фетровой шляпы и галстука бабочкой, напротив, одевается он вполне пристойно, аккуратно и даже, я бы сказал, элегантно.

Но его внутренний мир! О! Это очень сложно! Его внутренний мир — это в нем самом! Если к нему вдруг является вдохновение, ему необходимо уединиться, чтобы записать ноты, набросать партитуру. И вдруг такой момент наступает в большом обществе!

— Куда делся Пальфи? — спрашивает хозяин дома. И кто-нибудь отвечает:

— Должно быть, его опять посетило вдохновение!

Хозяин дома кисло улыбается, а про себя думает: «Невежа! Нельзя же каждый раз удирать!» Но дирижер Пальфи именно так и делал.

Убегал он и из своего собственного дома, когда был еще женат, и был очень молод, ревнив, счастлив, и в то же время одержим.

Когда же в квартире день и ночь плакали совсем еще крохотные близнецы, а Венская филармония пригласила его с первым концертом для фортепьяно, ему пришлось забрать свой рояль и перетащить в студию на Рингштрассе, которую он снял в творческом отчаянии.

И так как именно в эту пору его особенно часто посещало вдохновение, он все реже и реже приходил к молодой жене и вечно ревущим близнецам.

Лизелотте Пальфи, урожденной Кёрнер, едва достигшей двадцати лет, это не казалось таким уж веселым. А когда до ушей этой двадцатилетней дамы доходит, что господин муж в своей студии не только пишет ноты, но и репетирует с оперными певицами, которые кажутся ему достаточно привлекательными, она возмущается и подает на развод.

Так дирижер наконец-то добился идеальной творческой обстановки: Теперь он мог сколько угодно находиться в одиночестве. Для одной, доставшейся ему после развода, двойняшки он подыскал на Ротентурмштрассе заботливую няню. Ему же самому в студии на Рингштрассе, как ему и хотелось, не докучала ни одна живая душа!

И это теперь показалось ему несправедливым. Ох уж эти художники! Действительно, они сами не знают, чего хотят!

И все же он постоянно концертировал и дирижировал и становился год от году все известнее и известнее.

Ну а когда тоска особенно его угнетала, он мог посетить другое свое жилище и повозиться с дочуркой Луизой.

Всякий раз, когда в Мюнхене давались концерты, в которых исполнялись новые опусы Людвига Пальфи, Лизелотта Кёрнер покупала билет и, опустив голову, усаживалась в одном из последних дешевых рядов; слушая музыку своего бывшего мужа, она думала, что счастливым человеком он не стал. Несмотря на его успех. И несмотря на его одиночество.

Глава шестая

Где же лавка фрау Вагенталер? Но разучиться готовить — это же невозможно! Лотта машет рукой в Опере. Дождь из шоколада. Первая ночь в Мюнхене и первая ночь в Вене. Необыкновенный сон, в котором фрейлейн Герлях является в образе ведьмы. Родители могут всё. Мюнхен, 18, до востребования, Незабудке!

Фрау Лизелотта Кёрнер смогла только доставить дочь в крохотную квартирку на Макс-Эммануил-штрассе. Потом ей приходится снова поскорее ехать в редакцию. Ее ждет работа. А работа не может ждать.

Луиза — ах, нет! — Лотта для знакомства с квартирой быстро осматривает ее. Потом она берет ключ, портмоне и сетку. Она отправляется за покупками. У мясника Хубера на углу Принц-Евгений-штрассе она покупает полфунта хорошо вымытой говядины, тонкого края с кусочком почки, и немного костей. И вот она лихорадочно ищет продуктовую лавку фрау Вагенталер, чтобы взять там зелени для супа, вермишели и соли.

Анни Хаберзетцер немало удивилась, что ее соученица Лотта Кёрнер стоит посреди улицы и быстро листает тетрадку.

— Делаешь на улице уроки? — спрашивает она с недоумением. — Но ведь сегодня еще каникулы!

Луиза озадаченно уставилась на девочку. Что за чепуха, человек тебя ни разу не видел, а обращается к тебе точно к знакомой! Наконец она соображает и весело говорит:

— Привет! Пойдем со мной? Мне надо купить у фрау Вагенталер зелень для супа.

И Луиза берет девочку под руку — если бы она хоть знала, как зовут эту веснушчатую, — и не отстаёт от нее; та и не замечает, что тащит ее к лавке фрау Вагенталер.

Фрау Вагенталер, конечно, рада, что Лоттхен возвратилась после каникул и нагуляла такие розовые щечки! Когда покупка совершена, девочки получают каждая по конфетке и поручение — передать большой привет фрау Кёрнер и фрау Хаберзетцер.

Тут у Луизы словно камень с сердца. Наконец-то она знает: это Анни Хаберзетцер! (В тетрадке записано: «Анни Хаберзетцер, я трижды с ней ссорилась, она издевается над маленькими и особенно над самой маленькой в классе Ильзой Мерк».) Теперь можно уже и что-то предпринять!

И, расставаясь у дверей дома, Луиза говорит:

— Чтобы не забыть, Анни, трижды я на тебя злилась из-за Ильзы Мерк и вообще, ты знаешь. В следующий раз это тебе так не пройдет...— За этим следует весьма выразительный жест и она скрывается.

«Посмотрим,— надувает губки Анни.— До завтра недалеко! За время каникул она, кажется, совсем спятила?»

Луиза готовит. Она повязала передник мамы и как волчок носится между газовой плитой, где стоит на огне кастрюля, и столом, на котором лежит раскрытая поваренная книга. Она поминутно открывает крышку кастрюли. Когда кипящая вода с шипением бежит через край, она съеживается. Сколько соли нужно в вермишелевый суп? Пол столовой ложки! Сколько сухого сельдерея? Щепотку! Сколько же это, боже мой, щепотка?

Дальше: «Натереть мускатного ореха!» Куда запропастился мускатный орех? Где железная терка?

Маленькая девочка роется в ящике стола, забирается на стул и осматривает все коробки, смотрит на стенные часы, прыгивает со стула, хватается вилку, открывает крышку, обжигает пальцы, взвизгивает, тыкает вилкой в говядину — нет, она еще не сварилась!

С вилкой в руках она замирает как вкопанная. Надо еще что-то найти? Ах, верно! Мускатный орех и железную терку! А ну-ка, что это спокойно лежит рядом с поваренной книгой? Зелень! Ох, ее же надо почистить и положить в бульон! Итак, вилку прочь, берем нож! Готово ли, наконец, мясо? И где это железный орех и мускатная терка? Ерунда, железная терка и мускатный орех! Зелень нужно сначала вымыть под краном. Морковку нужно почистить. Ай, ну совсем ни к чему еще при этом

резать пальцы! А когда мясо будет готово, его нужно вынуть из кастрюли. И потом снять его с костей, взять решето! И через полчаса приходит мама! И за двадцать минут до ее прихода нужно бросить вермишель в кипящую воду! А что делается на кухне! И мускатный орех! И решето! И терка! И... И... И...

Луиза опускается на табурет. Ах, Лотта! Нелегко быть твоей сестрой! Отель «Империял»... Советник Штробл... Пеперль... Франц... И папа... папа... папа...

А часы тикают.

Через двадцать девять минут придет мама!.. Через двадцать восемь с половиной минут!.. Через двадцать восемь! Луиза решительно сжала кулачки и поднялась на новые подвиги.

— Это просто смешно! — приговаривает она.

И все же приготовление обеда это совсем особое дело. Решимости вполне достаточно, чтобы спрыгнуть с высокой башни. Но чтобы приготовить лапшу с мясом, для этого недостаточно силы воли.

И когда фрау Кёрнер возвращается домой, усталая от суматохи дня, она видит не веселую хозяйшку, а совершенно расстроенное жалкое существо, поцарапанное, смущенное, подавленное, готовое расплакаться. И она слышит:

— Не ругай меня, мамочка! Мне кажется, я не умею больше готовить!

— Но, Лоттхен, разучиться готовить — это же невозможно! — удивленно восклицает мать.

Однако удивляться некогда. Нужно осушать детские слезы, пробовать бульон, бросить разварившееся мясо в кастрюлю, достать из шкафа тарелки и столовые приборы и многое другое.

Когда они наконец сидят в комнате под лампой и едят суп с вермишелью, мать утешительно произносит:

— И все же получилось очень вкусно, верно?

— Да? — Робкая улыбка появляется на детском лице. — Правда?

Мама кивает, и теперь девочке самой все кажется таким вкусным, как никогда в жизни! Несмотря на «Империял» и омлеты.

— Завтра я буду готовить сама, — говорит мама. — А ты будь повнимательней. И тогда скоро сможешь готовить так же, как и до каникул.

Девочка с готовностью кивает.

— Может быть, даже еще лучше! — заявляет она довольно нескромно.



После еды они вместе моют посуду. А Луиза рассказывает, как великолепно было в пансионате. (Разумеется, она ни слова не говорит о девочке, которая была поразительно на нее похожа!)

Между тем Лоттхен в лучшем платье Луизы сидит, прижавшись к бархатному барьеру, в ложе Венской государственной оперы и горящими глазами смотрит вниз, в оркестр, где дирижирует Людвиг Пальфи. Увертюра «Гензель и Гретель».

Как великолепно выглядит папа во фраке! И как повинуются ему музыканты, несмотря на то что среди них есть очень пожилые господа! Когда он сильно взмахивает палочкой, они играют так громко, как только могут. А когда он хочет, чтобы они играли тихо, тогда шелестят они, как вечерний ветерок. Должно быть, они его боятся! И он так весело только что кивнул ей в ложу!

Дверь ложи открывается.

Шумно входит молодая элегантная дама, садится у барьера и улыбается смотрящей на нее девочке.

Лотта застенчиво отворачивается и снова смотрит, как папа управляет музыкантами.

Молодая дама достает бинокль. И коробку конфет.

И программу. И пудреницу. Ей нет дела до бархата, что начищен до блеска.

Когда увертюра окончилась, раздаются громкие аплодисменты. Дирижер господин Пальфи несколько раз кланяется. Потом, прежде чем снова взмахнуть палочкой, он смотрит наверх, в ложу.

Лотта потихоньку машет ему рукой. Папа улыбается еще ласковее, чем раньше.

И тут Лотта видит, что не только она машет рукой, но и сидящая рядом с ней дама! Дама машет папе? И может быть, папа именно ей так приветливо улыбнулся? И совсем не своей дочери? Почему Луиза не рассказывала ей об этой незнакомой женщине? Отец недавно с ней познакомился? Но почему она тогда так доверительно машет ему рукой? Девочка замечает себе: «Сегодня же написать Луизе. Может быть, она что-нибудь знает. Завтра перед школой на почту. Мюнхен, 18, до востребования, Незабудке».

Поднимается занавес, и надо принять участие в судьбе Гензеля и Гретель. Лотта затаила дыхание. Там внизу родители посылают двух своих детей в лес, чтобы отделаться от них. И это любимые их дети! Как же родители могут быть такими злыми? Или они совсем не злые? И только то, что они д е л а ю т,— зло? Они при этом так печальны. Почему же они тогда так поступают?

Волнение Лоттхен, двойняшки, но оставшейся в одиночестве и ставшей Луизой, возрастает. Она все меньше и меньше обращает внимание на то, что происходит там, внизу на сцене, с двумя детьми и их родителями, и все больше и больше думает о самой себе, о своей сестре и о собственных родителях. Имели ли они право сделать то, что они сделали? Совершенно ясно, что мама не злая женщина и отец — тоже определенно не злой. Но то, что они д е л а л и,— это было з л о! Дровосек и его жена были так бедны, что не могли купить для своих детей даже хлеба. А отец? Разве он беден?

Позже, когда Гензель и Гретель подходят к хрустящему пряничному домику, принимаются грызть его и пугаются голоса ведьмы, фрейлейн Ирена Герлях, так зовут элегантную даму, наклоняется к девочке, пододвигает к ней коробку конфет и шепчет:

— Не хочешь ли и ты немножко погрызть?

Лоттхен вздрагивает, взглядывает на нее и, видя перед собой лицо женщины, невольно шарахается от нее. К несчастью, она задевает коробку, и вниз, в партер, точно по магическому слову, сыплется шоколадный

дожди! Взоры обращаются наверх. Сквозь музыку слышится чуть приглушенный смех. Фрейлейн Герлях улыбается чуть смущенно, чуть сердито.

Девочка цепенеет от страха. В одно мгновение она вырвана из опасного волшебства искусства. В одно мгновение она оказалась в опасной ситуации действительности.

— Простите меня, пожалуйста,— шепчет Лоттхен. Дама кисло улыбается.

— Ничего, Луиззи,— говорит она.

Может быть, она тоже ведьма? Только красивее, чем на сцене?

Луиза в первый раз укладывается в Мюнхене в постель. Мама сидит на краю кровати и говорит:

— Ну, моя Лоттхен, спи спокойно! Приятных сновидений!

— Если я не слишком для этого устала,— бормочет девочка.— Ты тоже скоро ляжешь?

У противоположной стены стоит кровать побольше. На откинutom одеяле лежит ночная рубашка мамы.

— Скоро,— говорит мама.— Как только ты заснешь.

Девочка обнимает ее за шею и целует. Потом еще раз. Третий.

— Спокойной ночи!

Молодая женщина прижимает к себе маленькое существо.

— Я так рада, что ты вернулась домой,— шепчет она.— Ведь ты у меня одна!

Сонная девочка откидывает назад голову. Лизелотта Пальфи, урожденная Кёрнер, поправляет одеяло, некоторое время прислушивается к дыханию дочери. Потом она осторожно встает. На цыпочках она выходит в соседнюю комнату.

Под настольной лампой лежит папка с бумагами. Еще так много работы.

Лотта в первый раз уложена ворчливой Рези в постель. Вскоре она потихоньку встала и написала письмо, которое завтра рано утром отнесет на почту. Потом она снова тихо пробралась в Луизину кровать и, прежде чем выключить свет, еще раз спокойно рассматривает детскую.

Это просторное, красивое помещение со сказочным фризом на стенах, со шкафом для игрушек, с полкой

для книг, с партой для школьных занятий, с большим игрушечным магазином, изящным старомодным туалетом, коляской для кукол, кукольной кроватью; все на месте, за исключением главного.

И разве она сама иногда не мечтала о такой великолепной комнате, про себя, чтобы не догадалась мама? И вот она у нее есть, но все острее и острее становится тоска и гнетущая боль в душе. Она тоскует по маленькой скромной спальне, где сейчас спит ее сестра, вспоминает о мамином поцелуе перед сном, о свете, который проникал из комнаты, где мама еще продолжала работать, вспоминает, как потом тихонечко открывалась дверь, и она слышала, как мама останавливалась у детской кроватки, на цыпочках пробиралась к своей постели, влезала в ночную сорочку и укутывалась в свое одеяло.

Если бы здесь, хотя бы в соседней комнате, стояла папина кровать! Может быть, он храпит. Это было бы прекрасно. Она бы знала, что он тут, совсем близко! Но он не спит здесь, он спит совсем в другом доме, на Кернтнерринг. А может быть, он еще и не спит, а сидит с элегантной шоколадной фрейлейн в огромном сверкающем зале, пьет вино, смеется, танцует с ней, нежно кивает ей, как тогда в опере, ей, а не маленькой девочке, которая радостно махала ему украдкой из ложи.

Лотта засыпает. Она видит сон. Сказка о бедных родителях, которые послали в лес Гензеля и Гретель, потому что у них не было даже хлеба, перемежается с ее собственными страхами, с ее несчастьем.

Лотта и Луиза в этом сне сидят в одной кроватке и испуганно смотрят на дверь, через которую входят множество пекарей в белоснежных колпаках и тащат булки, булки, булки. Они складывают булки у стен. И все больше пекарей входит и выходит. Горы булок растут. Комната становится совсем тесной.

Затем — отец. Он стоит во фраке и управляет парадом пекарей, жесты его энергичны. Входит мама, прорывается к нему и печально спрашивает:

— Муж мой, что же теперь будет?

— Детей нужно убрать! — зло кричит он. — У нас нет места! У нас так много в доме хлеба!

Мама ломает в отчаянии руки. Дети жалобно плачут.

— Вон! — кричит он и угрожающе поднимает дирижерскую палочку.

И кроватка послушно катится к окну. Рамы распахиваются. Кроватка вылетает в окно и плывет в воздухе.

Она пролетает над большим городом, над рекой, над холмами, полями, горами и лесами. Потом она опускается на землю и оказывается в густой чаще дремучего леса, где раздаются таинственные птичьи голоса и ужасное рычание диких зверей. Две маленькие девочки сидят в кровати, парализованные страхом.

Что-то трещит и гремит в чаще!

Дети прижимаются друг к другу и натягивают на головы одеяло. Из зарослей появляется ведьма. Но это не ведьма с оперной сцены, а скорее всего, она похожа на шоколадную даму из логи. Она смотрит в бинокль на кроватку, кивает головой, высокомерно смеется и трижды хлопает в ладоши.

Как по команде густой лес превращается в солнечный луг. И на лугу появляется домик, построенный из коробок с конфетами, с забором из плиток шоколада. Весело щебечут птицы, в траве прыгают марципановые зайцы, и повсюду мерцание от золотых гнезд, в которых лежат пасхальные яйца. Маленькая птичка садится на кровать и высвистывает такие красивые трели, что Лотта и Луиза сначала высовывают кончики носов, а потом вылезают из-под одеяла. И когда они видят луг с марципановыми зайцами и шоколадный дом, они быстро выкарабкиваются из кровати и бегут к забору. Стоят они в своих длинных ночных рубашонках и удивляются.

— «Ассорти»! — читает вслух Луиза. — И «Миндаль в сахаре»! И «Нуга в шоколаде»!

— И «Горький особый»! — радостно кричит Лотта. (Потому что и во сне она не хочет есть сладкого.)

Луиза отламывает от забора большую плитку шоколада.

— С орехами! — жадно говорит она и хочет откусить.

Тут из дома доносится смех ведьмы! Дети в испуге! Луиза бросает шоколад!

И вот на лугу появляется запыхавшаяся мама, она катит большую ручную тележку, полную булок.

— Стойте, дети! — кричит она со страхом. — Здесь все отравлено!

— Мы хотим есть, мама!

— Вот для вас хлеб! Я не могла раньше уйти из редакции!

Она обнимает своих детей и хочет увести их. И тут открывается шоколадная дверь. Появляется отец с большой, как у дровосека, пилой и кричит:

— Оставьте детей в покое, фрау Кёрнер!

— Это м о и дети, господин Пальфи!

— И мои тоже,— кричит он в ответ и, подходя ближе, сухо говорит: — Я разделю детей пополам! Пилой! Я получу половинку Лотты и от Луизы половинку, и вы тоже, фрау Кёрнер!

Дрожащие близнецы быстро забираются в кровать.

Мама, раскинув руки, заслоняет кровать:

— Никогда, господин Пальфи!

Но отец отталкивает ее в сторону, подходит к изголовью и начинает пилить кровать. Пила скрежещет так, что мороз по коже продирает, сантиметр за сантиметром вгрызается она вдоль кровати.

— Раздвиньтесь! — приказывает отец.

Пила приближается к сцепившимся ручонкам сестричек все ближе и ближе! Вот она сейчас зацепит кожу! Мама горько плачет.

Доносится хохот ведьмы.

И наконец дети разъединяют руки.

Пила разрезает между ними кровать на две части, у каждой половинки появляется по четыре ножки.

— Кого из близнецов вы хотите, фрау Кёрнер?

— Обеих, обеих!

— Сожалею,— говорит муж.— Все должно быть по закону. Если вы не решаетесь, то какую-нибудь из них возьму я! Мне все равно. Я же не могу отличить их друг от друга,— и он хватается за одну из кроваток.— Кто же ты?

— Луиза! — вскрикивает та.— Но ты не должен так поступать!

— Нет,— кричит Лотта.— Вы не должны нас разделять!

— Молчать! — строго говорит муж.— Родители могут все.

И он идет к шоколадному домику и тащит за собой за шнурок кровать. Забор из шоколадок разваливается сам собой. Луиза и Лотта еще раз печально машут друг другу.

— Мы будем переписываться! — изо всех сил кричит Луиза.

— Мюнхен, восемнадцать,— отвечает Лотта.— До востребования, Незабудке.

Отец и Луиза исчезают в доме. А потом и сам домик исчезает, будто растворяется в воздухе.

Мама обнимает Лотту и грустно говорит:

— Ну теперь мы обе с тобой без отца.— И вдруг она пристально смотрит на девочку: — Но кто же ты из моих двойняшек? Ты похожа на Лотту!

— Я и есть Лотта!

— Нет, ты похожа на Луизу!

— Я же и есть Луиза!

Мать испуганно смотрит девочке в лицо и говорит отцовским голосом:

— То локоны! То косы! Тот же самый носик! То же самое личико!

У Лотты теперь слева косичка, справа, как у Луизы, локоны. Слезинки катятся из ее глаз.

— Теперь я и сама уже не знаю, кто я из нас двоих! Ах, бедная половинка!

Глава седьмая

Прошли недели. Пеперль примирился. В омлете нет костей. Все изменились, особенно Рези. Дирижер Пальфи дает уроки музыки. Фрау Кёрнер разговаривает с фрейлейн Линнекогель. Анни Хаберзетцер получает пощечину. Прекраснейший на свете конец недели

Прошли недели после первого дня и первой ночи в незнакомом мире среди незнакомых людей. Недели, когда каждое мгновение, каждая встреча, любая случайность таят опасность разоблачения. Недели душевных потрясений и писем до востребования, все с новыми и новыми неотложными вопросами.

И все пока идет благополучно. Конечно, в этом есть и немалая доля удачи. Луиза «снова» научилась готовить. Учительнице в Мюнхене приходится примириться с тем, что маленькая Кёрнер, возвратившись после каникул, не так прилежна, аккуратна и внимательна, но зато она стала жизнерадостнее и готова постоять за себя.

А ее венская коллега отнюдь не против, что дочь дирижера Пальфи стала более внимательной и лучше справляется с умножением. И не далее как вчера фрейлейн Гштетнер с апломбом говорила в учительской фрейлейн Брукбаур:

— Наблюдать развитие Луизы, дорогая коллега, весьма поучительно с педагогической точки зрения. Это единственный в своем роде пример того, как сдерживающее начало постепенно преобразует бьющий через край темперамент, как склонность к шалостям, безудер-

жная веселость, пренебрежение ученьем уступает место упорному стремлению к знаниям. И заметьте, дорогая коллега, это преобразование характера, эта метаморфоза, становление высокой нравственности произошло само собой, без всякого внешнего воздействия!

— Да-да,— энергично кивает фрейлейн Брукбаур.— Это саморазвитие характера, это внутреннее стремление к совершенству можно установить и по изменению почерка Луизы! Я всегда говорю, что почерк — это характер!

Нам, конечно, очень приятно знать, что всегда говорит фрейлейн Брукбаур.

Но еще приятнее узнать о безоговорочном признании, о том, что Пеперль, собака доктора Штробла, с некоторых пор по своему старому обыкновению говорит «здрасьте» маленькой девочке за столиком дирижера. И хотя это и противоречило его собачьим понятиям, он примирился с тем, что Луиззи больше не пахнет Луиззи. У людей всякое бывает, почему бы и не случиться такому? Кроме того, милая крошка не ест уже так много омлетов, а с большим удовольствием ест мясное. Если подумать о том, что в омлете нет костей, в отбивных же котлетах, к счастью, наоборот — множество, то можно понять, почему животное сменило гнев на милость.

Если уж учительницы находят, что Луиза удивительным образом изменилась, то что они сказали бы о Рези, экономке, если бы знали ее поближе? Ведь Рези, и в этом нет никаких сомнений, стала совершенно другим человеком. Впрочем, не родилась же она обманщицей, неряхой и лентяйкой? Дело только в том, что не было над ней строгого, неусыпного, все замечающего глаза.

С тех пор как Лотта дома, она хоть и кротко, но неукоснительно все проверяет, все обнаруживает, знает все, что нужно знать о кухне и хозяйстве. И Рези старается изо всех сил.

Лотта убедила отца впредь выдавать деньги на хозяйство не Рези, а ей самой. И это очень смешно, когда Рези, чтобы получить деньги, стучится в дверь, входит в детскую и обращается к девятилетней девочке, которая с серьезным видом сидит за партой и делает уроки. Рези покорно сообщает, что нужно купить, что она собирается приготовить на ужин и вообще обо всем по хозяйству.

Лотта быстро прикидывает сумму, достает из парты деньги, отсчитывает Рези, записывает выдачу в тетрадь, а вечером за кухонным столом получает полный отчет.

Даже отец заметил, что содержание дома раньше обходилось дороже, теперь же, хотя он и дает меньше денег, на столе постоянно цветы, и не только здесь, но и в студии на Рингштрассе; он замечает, что на Рингштрассе стало уютнее. («Как будто в доме жена», — как-то подумал он. И эта мысль не так уж испугала.)

То, что он больше времени проводил теперь на Ротентурмштрассе, стала замечать даже шоколадная дама — фрейлейн Ирена Герлях. И она позволила себе обратить на это внимание господина дирижера. Конечно, очень осторожно, ведь художники так чувствительны!

— Ты знаешь, — сказал он ей, — меня радует, что Луиза теперь часто сидит за пианино и с удовольствием перебирает пальчиками клавиши. К тому же она распевает маленькие песенки, и как трогательно! А ведь раньше ее трудно было заставить подойти к пианино.

— И что же? — спросила фрейлейн Герлях и ее брови поднялись чуть не до самых волос.

— Что же? — Господин Пальфи смущенно улыбнулся. — С некоторых пор я даю ей уроки музыки! Это доставляет ей необыкновенное удовольствие. Мне, впрочем, тоже.

Фрейлейн Герлях наградила его презрительным взглядом. Ведь она — персоне в высшей степени одухотворенная. Потом она язвительно произнесла:

— А я-то думала — ты композитор, а не учитель музыки для маленьких девочек.

Раньше никто безнаказанно не мог бы сказать такое композитору Людвигу Пальфи! Сегодня же он рассмеялся, как школьник, и воскликнул:

— Но я же никогда в жизни не сочинял столько, как теперь! И никогда не сочинял так хорошо!

— И что же это будет?

— Детская опера, — ответил он.

В глазах учительниц изменилась Луиза. В глазах девочки изменились Рези и Пеперль. В глазах отца изменилась Ротентурмштрасса. Сплошные изменения.

И в Мюнхене, конечно, тоже произошли всякие изменения. Когда мать заметила, что Лотта стала не такая

хозяйственная и не столь уж прилежна в школе, но зато подвижнее и веселее, чем раньше, она призадумалась и сказала себе:

«Лизелотта, ты сделала из послушного маленького существа домашнюю хозяйку, а не ребенка! Стоило ей побыть несколько недель со сверстницами в горах, у озера, и она стала тем, кем и должна бы быть: веселой, свободной от твоих забот маленькой девочкой! Фу, какой ты была эгоисткой! Радуйся, что Лотта весела и счастлива! Она может, моя посуду, спокойно разбить тарелку! Она может даже принести от учительницы такое письмо: *«Внимательность, аккуратность и прилежание Лотты за последнее время внушают опасение. Вчера ее соученица Анни Хаберзетцер опять получила от нее четыре крепкие пощечины»*. Мать, как бы много не было у нее забот, прежде всего обязана так заботиться о своем ребенке, чтобы раньше времени не лишать его радостей детства!»

Так или почти так вполне серьезно сказала фрау Кёрнер самой себе, а в один прекрасный день и фрейлейн Линнекогель, классной воспитательнице Лотты.

— Мой ребенок,— сказала она,— должен оставаться ребенком, а не становиться раньше времени взрослым! Пусть лучше она будет веселой, живой замарашкой, чем ценой многих лишений сохранит звание вашей первой ученицы.

— Но раньше же Лотта могла совмещать в себе и то и другое,— объясняет слегка шокированная фрейлейн Линнекогель.

— Почему это у нее теперь не получается, я не знаю. Работающие женщины вообще слишком плохо знают своих детей. Это, должно быть, как-то связано с каникулами. Но я знаю и вижу одно: что она больше на это не способна! И это совершенно точно.

Фрейлейн Линнекогель энергично поправляет очки.

— Передо мной, как воспитательницей и учительницей вашей дочери, к сожалению, стоят другие цели. Я должна и буду пытаться восстановить внутреннюю гармонию ребенка!

— Вы действительно считаете, что некоторая невнимательность на уроках арифметики и несколько клякс в тетради по письму...

— Прекрасный пример, фрау Кёрнер! Тетрадь по письму! Именно почерк Лотты и показывает, насколько нарушен у ребенка, если можно так сказать, душевный

баланс. Но оставим почерк. Вы считаете нормальным, что Лотта последнее время избивает соучениц?

— Соучениц? — повторяет фрау Кёрнер. — Насколько мне известно, она побила только Анни Хаберзетцер.

— Только?

— Эта Анни Хаберзетцер действительно заслуживает оплеухи! От кого-нибудь должна же она была получить ее!

— Но, фрау Кёрнер!

— Большая прожорливая дурища имеет привычку исподтишка издеваться над самой маленькой в классе, и ее-то учительница берет под защиту!

— Позвольте? В самом деле? Об этом я ничего не знала!

— Тогда спросите хотя бы у бедняжки Ильзы Мерк! Наверное, она вам кое-что скажет!

— И почему Лотта мне ничего не сказала, когда я ее наказывала?

— Это, наверное, от того, что вы назвали нарушением баланса! — отвечает, часто дыша, фрау Кёрнер.

И она помчалась в редакцию. Чтобы успеть вовремя, ей пришлось взять такси. Две марки тридцать пфеннигов! О какие деньги!

В субботу после обеда мама вдруг достала рюкзак и сказала:

— Надень крепкие ботинки! Мы поедем в Гармиш и только завтра к вечеру вернемся назад!

Луиза немного встревоженно спросила:

— Мама, а это не будет слишком дорого?

Фрау Кёрнер слегка улыбнулась. Потом рассмеялась.

— Если не хватит денег, я тебя продам по дороге!

Девочка заплясала по квартире.

— Великолепно! А когда ты получишь деньги, я убегу от них! А если ты продашь меня три-четыре раза, у нас будет столько денег, что ты сможешь целый месяц не работать!

— Ты так дорого стоишь?

— Три тысячи марок и одиннадцать пфеннигов! И губную гармошку возьмем!

Конец недели — как малина со сбитыми сливками! Из Гармиша они едут через Грайнау на Баадерзее. Потом на Айбзее. Под губную гармошку и с веселыми песнями. Потом они очертя голову карабкаются по заросшим лесом горным склонам. Собирают лесную землянику. И прекрасные чудные цветы: похожие на лилии царские кудри, душистые белые ландыши. И мох с ма-

ленькими остроконечными шлемами на макушках. И крошечные альпийские фиалки, которые так сладко пахнут, что даже невозможно себе представить!

Вечером добираются они до деревушки под названием Грис. Там они снимают комнату с одной кроватью. И когда они как следует поужинали в номере из запасов своего рюкзака, они улеглись спать в одну постель! А снаружи на лугу кузнечики затеяли настоящий ночной концерт...

В воскресенье утром они отправляются дальше. На Эрвальд. В Лермос. Вершины гор сверкают серебром. Нарядные крестьяне идут из кирхи. Коровы, словно сплетницы, стоят посреди деревенской улицы.

Потом переходят через Терл. Какое это было карабканье, черт возьми! Неподалеку от табуна лошадей, среди миллионов луговых цветов, они едят вареные яйца и хлеб с сыром. А после еды — отдых на траве.

Потом спускаются они среди зарослей малины и порхающих бабочек к озеру Айбзее. Колокольчики коров возвещают, что день клонится к вечеру. Они видят горные тропинки, извивающиеся до самых небес. Озеро, совсем крохотное, лежит глубоко в долине.

— Как будто бы господь бог просто плюнул туда, — задумчиво произносит Луиза.

В Айбзее, конечно, купаются. На террасе отеля мама угощает кофе и пирожными. И подходит время отправляться назад в Гармиш.

Веселые и загорелые садятся они в поезд. Симпатичный господин, сидящий напротив, никак не хочет верить, что молодая женщина рядом с Луизой — мама и к тому же работающая женщина.

Дома они, как медведи, заваливаются на свои кровати. Девочка только успевает произнести:

— Мамочка, сегодня было так хорошо, так хорошо, как только может быть на свете!

Мать еще некоторое время лежит с открытыми глазами. До сих пор она не доставляла своей маленькой дочери такого счастья, а это так легко. Но еще не поздно. Еще все можно исправить!

И с этим фрау Кёрнер засыпает. По лицу ее бродит улыбка. Она трогает ее щеки, словно ветерок над Айбзее.

Девочка изменилась. Теперь стала изменяться и молодая женщина.

Глава восьмая

У господина Габеле слишком маленькое окно. Кофе на Кернтнерринг. Дипломатический разговор. Отец должен быть строгим. Песенка до минор. Планы замужества. Кобенцаллея, 43. Фрейлейн Герлях вся внимание. Доктор Штробл серьезно озабочен. Дирижер гладит куклу

Уроки музыки у Лотты прервались. Ее вины в этом нет. Просто у отца нет теперь времени, чтобы давать уроки. Наверное, это связано с оперой для детей? Вполне возможно. Или?.. О, маленькая девочка чувствует, если что-то не так. Если отец говорит о детской опере и умалчивает о фрейлейн Герлях, она, как маленький зверек, чует, откуда грозит опасность.

Лотта выходит из квартиры на Ротентурмштрассе и звонит в расположенную напротив дверь. Там проживает художник по имени Габеле, славный приветливый господин, который с удовольствием бы нарисовал Лотту, если бы у нее нашлось время.

Господин Габеле открывает.

— О, Луиза!

— Сегодня у меня есть время,— говорит она.

— Один момент! — восклицает он, спешит в свою рабочую комнату, берет с дивана большой платок и набрасывает его на стоящую на мольберте картину. Он как раз писал классическую сцену на античный сюжет. Подобные вещи не всегда годятся для детей.

Потом он вводит ее, усаживает в кресло, берет в руки блокнот и начинает набрасывать портрет.

— Ты что-то реже стала играть на пианино,— замечает он.

— Вам это очень мешает?

— И не думай! Наоборот! Мне просто недостает твоей музыки!

— У папы нет больше свободного времени,— серьезно говорит она.— Он пишет оперу. Это будет детская опера.

Господину Габеле приятно это слышать. Потом он хмурится.

— Эти окна! — бранится он.— Совсем ничего не видно. Надо иметь студию!

— А почему же вы не снимете студию, господин Габеле?

— Потому что негде снять! Ателье найти нелегко! После небольшой паузы девочка говорит:

— У папы есть ателье. С большими окнами. И сверху падает свет.

Господин Габеле что-то бурчит.

— На Кернтнерринг,— продолжает Лотта. И после новой паузы: — Но ведь чтобы сочинять музыку, не надо так много света, как для рисования, правда?

— Не надо,— отвечает господин Габеле.

Лотта решается еще на один шаг. Подумав, она говорит:

— В конце концов, папа мог бы с вами поменяться! Тогда бы у вас были большие окна и много света для работы! А у папы была бы квартира для сочинения музыки здесь, совсем рядом с другой квартирой! — Эта мысль, кажется, ее особенно радует.— Не правда ли, это было бы практичнее?

Господин Габеле мог бы кое-что возразить против предложения Лотты. Но, так как он не хочет касаться этого вопроса, он со смехом соглашается.

— Да, это было бы очень практично. Вопрос только в том, придерживается ли такого же мнения папа.

Лотта кивнула.

— Я его спрошу! И очень скоро!

Господин Пальфи в своей студии, и у него гость. Дама. Фрейлейн Ирена Герлях «случайно» совсем рядом делала покупки и вдруг подумала: «А не забежать ли мне на секундочку наверх, к Людвигу?»

Людвиг отложил в сторону листы партитуры, на которых он что-то царапал, и болтает с Иреной. Сначала он был немощно сердит, потому что до смерти не любил, когда его посещали без предупреждения и мешали работать. Но сидеть рядом с этой красивой дамой и, забываясь, иногда гладить ее руку!.. И постепенно настроение его улучшается.

Ирена Герлях знает, чего она хочет. Она хочет женить на себе господина Пальфи. Он знаменит. Он нравится ей. Она нравится ему. И нет больших трудностей на ее пути. Он еще не знает, какое счастье его ждет. Но в нужный момент она ему это осторожно подскажет. В конце концов, все будет выглядеть так, как будто ему самому пришла в голову мысль жениться.

О д н о затруднение все-таки есть: этот дурацкий ребенок! Но, когда Ирена подарит Людвигу пару беби, все уладится, как она захочет. Ирена Герлях еще раздается с этой слишком серьезной, необузданной девчонкой!

Звонят.

Людвиг открывает.

И кто стоит за дверью? Серьезная, необузданная девчонка! С букетом в руках она делает книксен и говорит:

— Добрый день, папа! Я принесла тебе свежих цветов!

Она спокойно проходит в студию — сдержанный книксен гостье, — берет вазу и исчезает на кухне.

Ирена злобно смеется.

— Когда видишь тебя и твою дочь, создается впечатление, что ты у нее под башмаком.

Господин дирижер смущенно улыбається.

— Она последнее время так внимательна, и, кроме того, ее поступки так кристально чисты, что ничего не поделаешь!

Фрейлейн Герлях пожимает своими великолепными плечами, и в этот момент на сцене снова появляется Лотта. Сначала она ставит на стол свежие цветы. Потом вносит посуду и, расставляя чашки, говорит отцу:

— Я сейчас сварю кофе. Должны же мы чем-нибудь угостить твою гостью.

Папа и его гостья озадаченно смотрят друг на друга. «И эту-то девчонку я считала букой! — думает фрейлейн Герлях. — Какая глупость!»

Через некоторое время выплывает Лотта с кофе, сахаром и сливками, наливает кофе, как заправская хозяйка, спрашивает положить ли сахар, пододвигает гостье сливки, затем садится рядом с отцом и, приветливо улыбаясь, заявляет:

— Я за компанию тоже выпью глоточек.

Отец наливает ей кофе и спрашивает, как истинный кавалер:

— Сколько вам сливок, моя дорогая?

Девочка посмеивается.

— Половина на половину, мой дорогой!

— Пожалуйста, моя дорогая!

— Большое спасибо, мой дорогой!

Пьют. Молчат. Наконец Лотта начинает беседу:

— Я только что была у господина Габеле.

— Он тебя рисовал? — спрашивает отец.

— Немножко, — отвечает девочка; еще глоток кофе, потом она простодушно добавляет: — У него так мало света. И особенно ему не хватает верхнего света. Такого, как здесь...

— Тогда ему обязательно нужно снять ателье с верхним светом,— заметил господин дирижер очень сочувственно, не подозревая, что поворачивает именно туда, куда хочет Лотта.

— Я ему так и сказала,— спокойно пояснила она.— Но они уже все заняты, ателье.

«О, маленькая бестия»,— подумала фрейлейн Герлях. Потому что она, тоже дочь Евы, уже поняла, что задумала девочка. И правильно...

— Для того чтобы сочинять музыку, собственно, не нужно верхнего света, ведь верно, папа?

— Нет, собственно, нет.

Девочка глубоко вздохнула, потом уставилась на свой передник и спросила так, как будто эта мысль только что пришла ей в голову:

— А если бы ты поменялся с господином Габеле, папа?

Слава богу, вот и высказано! Лотта искоса глядит на отца. Ее взгляд умоляет.

Отец смотрит чуть сердито, чуть насмешливо то на маленькую девочку, то на элегантную даму, на лице которой в этот момент застыла ироническая улыбка.

— Тогда у господина Габеле было бы ателье,— говорит девочка, и голос ее немного дрожит.— И столько света, сколько ему нужно. И ты жил бы прямо против нас. Рядом со мной и Рези.— Взгляд Лотты, если уж это так важно, избегая взгляда отца, устремлен на колени.— Ты будешь один, так же как и здесь. Но если тебе не захочется быть одному, ты просто перейдешь через площадку, и ты у нас. Тебе не надо даже надевать шляпу. И мы сможем дома обедать... Как только еда будет готова, мы три раза позвоним в твою дверь... И мы приготовим все, что ты захочешь... Даже копчености... А если ты станешь играть на рояле, мы будем слышать тебя через стенку...— Голос девочки звучит все неуверенней и неуверенней. Она смолкает.

Фрейлейн Герлях внезапно встает. Ей надо спешить домой. Как быстро проходит время! Да, это была так-а-а-ая интересная беседа!

Господин дирижер Пальфи провожает свою гостью. Он целует ее пахнущую духами руку.

— Итак, до вечера,— говорит он.

— А вдруг у тебя не будет времени?

— Почему, дорогая?

Она улыбается:

— А вдруг ты решишь сегодня же переезжать?

Он смеется.

— Не слишком ли рано смеешься? Насколько я знаю твою дочь, она уже готова вызвать упаковщиков мебели!

Яростно стуча каблуками, дама спускается по лестнице.

Когда дирижер возвращается в студию, Лотта уже собирает со стола кофейный сервиз. Он берет несколько аккордов на рояле. Он ходит большими шагами из угла в угол. Он пристально смотрит на исчерканные листы партитуры.

Лотта прилагает все усилия, чтобы не стукнуть блюдецками или чашками. Когда все было вымыто, вытерто и поставлено в шкаф, она надевает шляпку и тихо выходит в студию.

— До свидания, папа...

— До свидания.

— Ты придешь к ужину?

— Нет, сегодня нет.

Девочка медленно кивает и нерешительно протягивает ему на прощание руку.

— Послушай, Луиза, мне не очень нравится, когда другие вмешиваются в мои дела, даже моя дочь! Я сам знаю, что для меня лучше!

— Естественно, папа,— говорит она спокойно и тихо; она еще держит протянутую на прощание руку.

Он пожимает ее наконец и видит, что у девочки на ресницах слезинки. Отцу полагается быть строгим. Он делает вид, как будто ничего не замечает, кивает ей на прощание и садится за рояль.

Лотта быстро идет к двери, осторожно отворяет ее и исчезает.

Господин дирижер проводит рукой по волосам. Ну вот, еще и детские слезы! И это тогда, когда надо писать оперу для детей! Это же черт знает что! Просто невозможно видеть, когда у такого крохотного создания стоят в глазах слезы! Они висят на длинных ресницах, как росянки на тоненьких стебельках...

Его руки трогают клавиши. Прислушиваясь, он наклоняет голову. Он проигрывает мелодию еще раз. Он повторяет ее в чуть ином ключе. Это минорный вариант веселой детской песенки из его детской оперы. Он изменяет ритм. Он работает.

До чего хороши детские слезы! Художник приходит в неистовство! Он хватает нотную бумагу и пишет. Наконец в каком-то особенном восторге он откидывается назад, потирает руки — так ему нравится удавшаяся в до



минор грустная песенка. (И нет поблизости никакого великана или кого-нибудь еще, чтобы спустить с него штаны и как следует выпороть!)

Опять проходят недели. Фрейлейн Герлях не забыла дороги в студию. Предложение девочки обменять квартиру на Рингштрассе на ту, что занимал художник, она приняла как объявление войны, чем в сущности оно и было. Настоящая женщина — а Ирена Герлях, как бы к ней ни относилась Лотта, была настоящей женщиной, — она не может долго ждать. Она знала свое оружие. Она знала, как его применить. И она представляла себе его действие. Все стрелы она направила в достаточно уязвимую мишень — сердце художника, дирижера. И все — в яблочко. И все они со своими насечками теперь крепко сидят в сердце мужчины — обожаемого врага. У него нет спасения.

— Я хочу, чтобы ты стала моей женой, — говорит он. Это звучит как строгий приказ.

Она гладит его по волосам, улыбается, насмешливо произносит:

— Тогда, мой дорогой, завтра я надену лучшее платье и буду просить у твоей дочери твоей руки.

Еще одна стрела в его сердце. На этот раз стрела отравленная.

Господин Габеле рисует Лотту. Вдруг он оставляет блокнот, карандаш:

— Что с тобой сегодня? Ба, да ты выглядишь, как полдюжины непогожих дней!

Девочка тяжело вздыхает, будто бы ей навалили на грудь воз камней.

— Ах, я больше не могу.

— Что-нибудь случилось в школе?

— Это было бы еще не так страшно.— И она мотает головой.

Господин Габеле откладывает блокнот.

— Знаешь что, моя маленькая плакучая ивушка! Мы закончим на сегодня! Иди прогуляйся.— Он встал.— Развей свои грустные мысли!

— А может быть, мне поиграть на пианино?

— Еще лучше,— говорит он.— И я послушаю через стену. Это мне тоже кое-что даст.

Она подает ему руку и уходит.

Он задумчиво смотрит вслед этой маленькой личности. Он знает, как тяжело горе для детского сердца. Он сам был когда-то ребенком, но, в противоположность большинству взрослых, не забыл этого.

Когда за стеной раздаются первые звуки музыки, он удовлетворенно кивает головой и начинает насвистывать мелодию.

Потом он одним махом сдергивает покрывало с мольберта, берет в руки палитру и кисть, смотрит на свое творение прищуренными глазами и берется за работу.

Господин Людвиг Пальфи пришел на Ротентурмштрассе. Ступеньки кажутся ему вдвое выше, чем всегда. Он вешает пальто и шляпу на вешалку. Луиззи играет на пианино? Ей придется прервать это занятие и выслушать его. Он поправляет на себе пиджак, как будто бы собирается на прием к директору театра. Отворяет дверь в комнату.

Девочка поднимает голову и улыбается ему.

— Папочка! Как хорошо! — Она спрыгнула со стула.— Тебе сделать кофе? — И она хочет уже бежать в кухню.

Он останавливает ее.

— Спасибо, нет! — говорит он.— Мне надо с тобой поговорить. Садись!

Она садится в глубокое кресло, в котором она, ма-

ленькая, кажется куклой, расправляет свое клетчатое платье и полная ожидания смотрит на него.

Он нервно покашливает, делает несколько шагов по комнате и наконец останавливается перед креслом.

— Итак, Луиззи,— начинает он,— речь идет о важном и серьезном деле. С тех пор, как твоей матери больше нет, нет больше тут, я один. Семь лет. Конечно, я не совсем одинок, у меня ведь есть ты. Да, ведь у меня же еще ты!..

Девочка смотрит на него широко раскрытыми глазами.

«Какую чепуху я несу»,— думает мужчина. Он начинает злиться.

— Короче говоря,— решительно произносит он,— я не хочу больше жить в одиночестве. Кое-что изменится. В моей, ну и в твоей жизни.

В комнате тишина.

Муха, жужжа, пытается сквозь стекло вылететь на свободу. (Всякий человек мог бы сказать ей, что это совершенно безнадежная затея и что она разобьет свою глупую голову! Мухи так глупы, а люди, они рассудительны? А?)

— Я решил снова жениться.

— Нет! — громко говорит девочка. Это «нет» кажется воплем. Потом она повторяет тихо: — Не надо, папа! Прошу тебя, не надо.

— Ты знаешь фрейлейн Герлях. Она к тебе хорошо относится. И она будет тебе хорошей матерью. Да и тебе скоро будет трудно и неудобно жить в доме, где нет женщины. (Это ли не трогательно? Не хватает еще того, что он станет уверять, будто хочет жениться только ради того, чтобы у ребенка наконец снова была мать!)

Лотта трясет головой и беззвучно шевелит губами. Как автомат, который не может остановиться. Это выглядит страшно.

Поэтому отец смотрит на дверь и говорит:

— Ты быстро, быстрее, чем думаешь, привыкнешь к новому положению. Злые мачехи бывают теперь только в сказках. Итак, Луиззи, я надеюсь, что могу на тебя положиться. Ты же благоразумная малышка, я это знаю! — Он смотрит на часы.— Так. Мне надо идти. Мы с Лузером репетируем «Риголетто». — И он скрывается за дверью.

Девочка сидит будто оглушенная.

Господин Пальфи у вешалки нахлобучивает на свою гениальную голову шляпу.

— Папа! — словно вопль утопающего доносится из комнаты.

«В комнате не тонут», — успокаивает себя господин Пальфи и удаляется. Он очень торопится. Ведь ему предстоит работать с солистом Лузером!

Лотта очнулась от оцепенения. И отчаяние помогает, и отчаяние подсказывает практические шаги. Что делать? Что-то делать нужно, в этом нет никаких сомнений. Никогда отец не должен жениться на другой женщине, никогда! У него е с т ь жена! Даже если она и не с ним. Никогда девочка не потерпит другой матери, никогда! У нее е с т ь мать, ее горячо любимая мамочка!

Мама могла бы помочь. Но она не должна об этом знать. Она не должна знать о тайне девочек, и самое главное — она не должна знать, что отец хочет жениться на фрейлейн Герлях!

Остается только один путь. И этот путь предстоит пройти ей самой.

Она берет телефонную книгу. Она листает ее дрожащими пальцами. «Герлях». Не так много Герлях. «Герлях Стефан, генеральный директор венских гостиниц, Акц. общ. Кобенцаллея, 43». Отец как-то рассказывал, что отцу фрейлейн Герлях принадлежат рестораны и отели, и даже «Империял», где они ежедневно обедают. «Кобенцаллея, 43».

Когда Рези объяснила, как доехать до Кобенцаллеи, девочка надевает шляпку, натягивает пальто и говорит:

— Я ухожу.

— Что тебе надо на Кобенцаллее? — удивленно спрашивает Рези.

— Мне надо кое с кем поговорить.

— Возвращайся поскорей!

Девочка кивает и отправляется в путь.

Горничная входит в изящно обставленную комнату Ирены Герлях и улыбается:

— Милостивая фрейлейн, с вами хочет поговорить девочка. Совсем маленькая девчушка!

Милостивая фрейлейн только что покрыла свежим лаком ногти и болтает руками в воздухе, чтобы лак поскорее высох.

— Маленькая девочка?

— По имени Луиза Пальфи.

— А-а-а! — протяжно произносит милостивая фрейлейн. — Пусть войдет.

Горничная исчезает. Молодая дама поднимается, бросает взгляд в зеркало и изображает на своем озабоченном лице улыбку. «Луиза Миллер посещает леди Мильфорд»¹, — игриво думает она, ведь она же была достаточно образованна.

Когда девочка входит в комнату, фрейлейн Герлях отдает горничной распоряжение:

— Приготовь нам шоколад! И принеси вафли с кремом! — Затем она приветливо поворачивается к госте: — Как мило, что ты решила навестить меня! Конечно, я оказалась невнимательной! Я должна бы давно пригласить тебя! Ведь ты бы не отказалась?

— Благодарю вас! — говорит девочка. — Я ненадолго.

— Почему? — нисколько не теряя своего дружественно-покровительственного тона, говорит Ирена Герлях. — Присесть у тебя, надеюсь, найдется время?

Девочка присаживается на краешек стула и не поднимает на даму глаз.

Та находит, что ситуация не из приятных. Но она умеет владеть собой. Все поставлено в эту игру. В игру, которую она хочет выиграть и выиграет.

— Ты зашла ко мне случайно?

— Нет. Я зашла вам кое-что сказать.

Ирена Герлях очаровательно улыбается:

— Я вся внимание. О чем же речь?

Ребенок сползает со стула, останавливается посреди комнаты и объясняет:

— Папа сказал мне, что вы хотите за него выйти замуж?

— Он так и сказал? — Фрейлейн Герлях звонко смеется. — А он не сказал, что он хочет жениться на мне? Впрочем, это второстепенный вопрос. Верно. Да, Луиза, твой папа и я, мы хотим пожениться. И ты и я, мы постепенно пойдем друг друга. Я в этом уверена. А ты нет? Подожди, если проживем некоторое время вместе, мы великолепно подружимся. Мы обе приложим к этому все старания. Вот тебе моя рука!

Девочка отпрянула и решительно произнесла:

— Вы не должны брать себе в мужья моего папу!

Девочка зашла слишком далеко.

— И почему же нет?

¹ Действующие лица из трагедии Ф. Шиллера (1759—1805) «Коварство и любовь».

— Потому что вы не должны!

— Не особенно убедительное объяснение,— резко сказала фрейлейн («Добром здесь ничего не добьешься».)— Ты хочешь запретить мне стать женой твоего отца?

— Да!

— Это уже выше всякой меры! — Молодая дама не могла сдержаться.— Я должна теперь тебя попросить отправиться домой. Я еще подумаю, рассказывать ли отцу об этом удивительном визите. Если я и не расскажу, то только потому, что я еще надеюсь на нашу будущую дружбу, надеюсь и не хочу отрезать путей к ней! До свидания!

У двери девочка еще раз поворачивается и говорит:

— Оставьте нас в покое! Прошу вас, прошу...

И вот фрейлейн Герлях одна.

Осталось одно средство — ускорить замужество. А там надо побеспокоиться, чтобы ребенка запрятать в интернат. Решено! Здесь могут помочь только строгие чужие руки.

— Что вам еще нужно?

Горничная стоит с подносом в руках:

— Я принесла шоколад и вафли. Где же маленькая девочка?

— Убирайтесь к черту!

Господин Пальфи не пришел к ужину, так как дирижировал в Опере. Как и всегда в таких случаях, Рези составляет компанию девочке.

— Ты сегодня ничего не ешь,— обеспокоенно замечает она.— Ты выглядишь словно тень, просто испугаться можно. Что с тобой?

Лотта качает головой и молчит.

Экономка берет руку ребенка и испуганно бросает ее.

— У тебя жар! Сейчас же в постель! — И она, причитая и всхлипывая, несет совершенно апатичного ребенка в детскую, стаскивает с нее платье и укладывает в постель.

— Ничего не говори папе! — шепчет девочка. Зубы ее стучат.

Рези наваливает на нее подушки и одеяла. Потом она бежит к телефону и звонит господину советнику доктору Штроблу.

Старый врач обещает скоро прибыть. Он так же взволнован, как и Рези.

Она звонит в Государственную оперу.

— Хорошо,— отвечают ей.— В антракте мы сообщим господину дирижеру.

Рези снова спешит в спальню. Ребенок разметался, бормочет что-то несвязное. Одеяло, подушки, простыни — все лежит на полу.

Когда же придет господин советник! Что делать? Компрессы? Но какие? Холодные? Горячие? Влажные? Сухие?

В антракте дирижер Пальфи во фраке сидит в артистической уборной одной из сопрано. Они прихлебывают вино и болтают о театральных делах. Люди театра всегда говорят о театре. Это же так. Стучат.

— Войдите!

Входит режиссер, ведущий спектакль.

— Ах, наконец-то нашел вас, господин профессор! — восклицает этот пожилой вертлявый мужчина.— Звонили с Ротентурмштрассе. Ваша дочь неожиданно заболела. Господина советника Штробла известили, и он, наверное, уже прибыл к больной.

Господин дирижер бледнеет.

— Благодарю вас, Херличка! — говорит он тихо.

Помощник режиссера уходит.

— Надеюсь, ничего страшного? — говорит певица.— У малышки уже была корь?

— Нет,— отвечает он и встает.— Извини, Мицци! Закрыв за собой дверь, он бежит к телефону:

— Алло, Ирена!

— Да, дорогой? Что, уже кончилось? Но я еще не совсем готова!

Он коротко рассказывает о том, что ему сообщили. Потом говорит:

— Боюсь, что сегодня мы не сможем встретиться.

— Конечно, нет. Надеюсь, ничего страшного. У малышки уже была корь?

— Нет,— нетерпеливо отвечает он.— Я позвоню тебе завтра утром,— и кладет трубку.

Раздается звонок. Антракт окончен. Опера и жизнь продолжают.

Наконец спектакль окончен! Дирижер взбегаёт по ступеням на Ротентурмштрассе. Рези открывает ему. У нее все еще на голове шляпка: была в ночной аптеке.

Доктор Штробл сидит у постели.

— Что с ней? — тихо спрашивает отец.

— Плохо,— отвечает доктор.— Но можете говорить громко, я сделал ей укол.

Лотта лежит в жару, она обложена подушками и тяжело дышит. На лице у нее боль, точно искусственный сон, в который ее погрузил старый врач, причиняет страдания.

— Корь?

— Ничего похожего,— ворчит доктор Штробл.

В комнату входит Рези, вся в слезах.

— Снимите же наконец шляпку! — нервно говорит дирижер.

— Да, да, конечно! Извините! — Она снимает шляпу и держит ее в руках.

Доктор Штробл вопросительно поглядывает на обоих.

— У ребенка сильное душевное потрясение,— вслух произносит он.— Не знаете ли причину? Нет? Может быть, есть предположения?

Рези говорит:

— Я, конечно, не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение, но сегодня после обеда она уходила. Она должна была с кем-то говорить! Но, прежде чем уйти, она спрашивала, как лучше доехать до Кобенцаллеи.

— До Кобенцаллеи? — спрашивает доктор и смотрит на дирижера.

Пальфи спешит в соседнюю комнату и звонит по телефону:

— Луиза была у тебя сегодня после обеда?

— Да,— отвечает женский голос.— Но зачем она тебе об этом рассказала?

Ответа не было дано, но последовал вопрос:

— Что она хотела?

Фрейлейн Герлях зло смеется:

— Попроси ее рассказать!

— Отвечай, пожалуйста!

Счастье, что она не могла видеть его лица!

— Если говорить точно, она приходила, чтобы запретить мне стать твоей женой! — раздраженно ответила она.

Он что-то буркнул и положил трубку.

— Что еще ей нужно? — спрашивает фрейлейн Герлях и тут замечает, что разговор прерван.— Ах маленькая бестия! — говорит она.— Борется всеми средствами! А теперь улеглась в постель и разыгрывает больную!

Доктор прощается и дает кое-какие указания. Дирижер задерживает его у двери:

— Что с ребенком?

— Нервная лихорадка. Я зайду завтра рано утром. Желаю спокойной ночи.

Дирижер входит в детскую, садится рядом с кроваткой и говорит Рези:

— Вы мне больше не нужны. Спокойной ночи!

— Но, может быть, лучше...

Он смотрит на нее.

Она выходит. Шляпка все еще у нее в руках.

Он гладит маленькое горячее личико. Ребенок в беспокойном сне пугается, резко откидывается в сторону.

Отец осматривает комнату. Приготовленный школьный ранец лежит на парте. Рядом висит Христли — кукла.

Он тихо встает, берет куклу, гасит свет и снова садится у постели.

Так он сидит в темноте и гладит куклу, как ребенка. Ребенка, который не пугается его руки.

Глава девятая

Фото господина Айпельдауэра порождает смятение. А Лотта ли это? Фрейлейн Линнекогель удостоена доверия. Подгоревшая свинья грудинка и разбитые тарелки. Луиза исповедуется почти во всем. Почему Лотта больше не отвечает?

Шеф-редактор «Мюнхнер иллюстриерте» доктор Бернау стонет:

— Ужасное время, моя милая! Откуда взять фотографию на обложку, не крадя ее?

Фрау Кёрнер, стоящая у его стола, говорит:

— «Нойе пресс» прислала фотографию новой звезды по плаванию брассом.

— Она красива?

Молодая женщина смеется:

— Для пловчихи — да!

Доктор Бернау решительно отмахивается. И тут же лезет в стол.

— Я только что получил от неизвестного деревенского фотографа забавную фотографию. Там близнецы. — Он шарит между папок и газет. — Прелестные маленькие девчушки. Невероятно похожие друг на друга! Где же вы, маленькие дамы? Это всегда нравится публике. И надо подходящую подпись. И хоть это и неактуаль-



но, но зато пара очаровательных близнецов. Наконец-то! — Он нашел конверт, посмотрел на снимок и удовлетворенно кивнул: — Неплохо сделано! — Он передает ей фотографию.

Через некоторое время он смотрит на нее, потому что она молчит.

— Вот так так! — кричит он. — Кёрнер! Вы стоите, как жена Лота, превратившаяся в соляной столб! Очнитесь! Или, может быть, вам плохо?

— Немножко, господин редактор! — Ее голос дрожит. — Но ничего, проходит.

Она уставилась на фотографию. Она читает на обороте: «Йозеф Айпельдауэр. Фотограф. Зеебюль на Бюльзее».

В голове у нее все вертится.

— Найдите подходящее увеличение и сочините подпись, чтобы наши читатели посмеялись от души! Это вы великолепно умеете!

— Но, может быть, мы не будем ее давать? — выдавливает она из себя.

— Но почему, уважаемая коллега?

— Я не уверена в подлинности фотографии.

— Двойная съемка, да? — Редактор Бернау смеется. — Слишком много чести господину Айпельдауэру. Он не настолько изощрен! Итак, за работу, прекрасная дама! Подпись еще ждет до утра. Я посмотрю текст, пе-

ред тем как вы отдадите его в печать.— Он кланяется и принимается за новую работу.

Она чуть не оцупью пробирается в свою комнату, падает в кресло, кладет фотографию перед собой и сжимает руками виски.

Мысли в ее голове путаются. Ее девочки! Пансионат! Каникулы! Ну конечно! Но почему Лоттхен ничего не рассказала? Почему Лоттхен не привезла с собой фотографию? То, что они сфотографировались вместе, это не без умысла! Они догадались, что они сестры! И они решили об этом не рассказывать! Это можно предположить, да, конечно. О, мой бог, как они похожи! Одинаковые, чуть прищуренные материнские глаза... О вы обе, обе, обе мои любимые!

Если бы редактор Бернау в это время сунул голову в дверь, он увидел бы осунувшееся от счастья и боли лицо, по которому текли слезы, слезы, которые смягчают сердца, потому что в них сама жизнь.

К счастью, доктор Бернау не сунул голову в дверь.

Наконец фрау Кёрнер решает взять себя в руки. Это значит — не терять головы. Что произошло? Что будет, что должно произойти? Я поговорю с Лоттхен. Мать похолодела. Мысль, точно невидимая рука, сжала ее тело. А Лоттхен ли та, с которой она хочет поговорить?

Фрау Кёрнер застала фрейлейн Линнекогель, учительницу, дома.

— Меня удивляет вопрос, с которым вы обращаетесь ко мне,— сказала фрейлейн Линнекогель.— Считаю ли я возможным, что ваша дочь — не ваша дочь, а другая девочка? Позвольте, но...

— Нет, нет, я не сошла с ума,— заверяет фрау Кёрнер и кладет на стол фотографию.

Фрейлейн Линнекогель смотрит на фотографию. Потом на посетительницу. Потом снова на фотографию.

— У меня две дочери,— тихо говорит посетительница.— Вторая живет у моего бывшего мужа, в Вене. Этот снимок попал ко мне несколько часов тому назад, случайно. Я не знала, что дети на каникулах встретились.

Фрейлейн Линнекогель открывает рот, как карп на прилавке. Качая головой, она отодвигает фотографию, точно боится, что та ее укусит. Наконец она спрашивает:

— И они до этого не знали друг о друге?

Молодая женщина качает головой.

— Нет. Так мы договорились с мужем, мы думали, так лучше.

— И вы ничего больше не слышали о вашем муже и ребенке?

— Ничего.

— Может быть, он снова женился.

— Я не знаю. Вряд ли. Он считает, что семейная жизнь не для него.

— Совершенно необыкновенная история,— говорит учительница.— Неужели детям и в самом деле пришла в голову абсурдная идея подменить друг друга? Когда я заметила изменения в характере Лотты и ее почерк... Почерк, фрау Кёрнер! Я никак не могла ничего понять!.. Но это, пожалуй, кое-что проясняет.

Мать, уставившись в одну точку, качает головой.

— Не обижайтесь за откровенность,— продолжает фрейлейн Линнекогель,— я никогда не была замужем, я воспитательница, и у меня нет детей... Но мне кажется: женщины, настоящие замужние женщины, должны считаться со своими мужьями! Ведь самое существенное — счастье детей!

Фрау Кёрнер горько улыбается:

— Вы думаете, если бы продолжался наш несчастливый брак, дети были бы счастливы?

Фрейлейн Линнекогель задумывается, говорит:

— Я вас ни в чем не упрекаю. Вы и сейчас еще очень молоды! А когда выходили замуж, вы были почти ребенком. И вы еще долго будете моложе, чем сейчас я. И что правильно для одного, то для другого может быть неверно...

Визит окончен.

— И что же вы будете делать?

— Если бы я знала!

Луиза стоит перед окошечком мюнхенской почты.

— Нет,— с сожалением говорит служащий, ведающий корреспонденцией до востребования.— Нет, фрейлейн Незабудка, сегодня, кажется, опять ничего.

Луиза смотрит на него озадаченно.

Служащий пытается пошутить:

— Может быть, «Незабудка» превратилась в «Забудь меня»?

«Совершенно непонятно»,— говорит она про себя, поворачиваясь уходить.

— Завтра я снова зайду.

— Если бы я смел об этом просить,— с улыбкой отвечает служащий.

Фрау Кёрнер пришла домой. Сомнения и страх так сжимают сердце, что она едва дышит.

Девочка усердно возится на кухне. Крышки кастрюль гремят, в духовке что-то тушится.

— Сегодня замечательно пахнет! — говорит мать.— Что у нас сегодня?

— Свиная грудинка с тушеной капустой и вареный картофель,— гордо отвечает дочь.

— Как быстро ты научилась готовить! — говорит мать как будто бы безобидно.

— В самом деле? — радостно отзывается девочка.— Я никогда не думала, что я...— Она испуганно замолкает и прикусывает губы. Только бы не заметила мама.

А та бледнеет и хватается за дверь. Белая как стена.

Девочка стоит у открытого буфета и достает посуду.

Тут мать с трудом раскрывает рот и произносит:

— Луиза!

Кр-р-рах!

Тарелки осколками разлетаются по полу. Луиза выронила их. Ее глаза широко раскрыты от страха.

— Луиза,— с нежностью повторяет мать и раскрывает объятия.

— Мамочка!

Девочка, как утопающая, виснет на шее матери и неудержимо рыдает. Мать опускается на колени и гладит Луизу трясушимися руками.

— Моя доченька! Моя дорогая доченька!

Она стоит на коленях среди разбитых тарелок. На плите жарится свиная грудинка. Пахнет горелым мясом. Вода из кастрюль с шипеньем плещется на огонь.

Женщина и маленькая девочка ничего этого не замечают. Они, как часто говорят и что очень редко случается, на седьмом небе.

Прошли часы. Луиза «исповедалась». И мать дала ей полное отпущение всех ее «грехов». Исповедь была долгая, многословная, отпущение — короткое, без слов — взгляд, поцелуй; большего было и не надо.

И вот они сидят на софе. Девочка все теснее и теснее прижимается к матери. Ах, как хорошо, что можно наконец рассказать всю правду! И за маму нужно держаться, чтобы снова вдруг не расстаться с ней!

— О вы, мои коварные женщины! — произносит мать.

Луиза с нескрываемой гордостью хихикает. (Одна у тайну она все-таки оставила при себе: то, о чем со страхом писала из Вены Лотта, это, конечно, фрейлейн Герлях.)

Мать вздыхает.

Луиза озабоченно смотрит на нее.

— Да,— говорит мать,— я думаю о том, что же теперь будет? Можем ли мы теперь жить так, будто бы ничего не произошло?

Луиза решительно трясет головой.

— Лоттхен, наверное, очень тоскует по тебе. И ты тоже по ней, не правда ли, мама?

Мать кивает.

— И я — тоже,— подтверждает девочка.— По Лоттхен и по...

— И по отцу, да?

Луиза кивает. Кивает решительно и в то же время робко.

— Если бы я только знала, почему Лотта больше не пишет?

— Да,— шепчет мать.— Это меня тоже беспокоит.

Глава десятая

Телефонный разговор с Мюнхеном. Спасительное слово. Рези ничего не может понять. Два места в самолете на Вену. Пеперль словно громом поражен. Кто подслушивает под дверью, получает по лбу. Господин дирижер ночует вне дома, у него непрошенный гость

Лотта лежит в кровати. Она спит. Она много спит.

— Слабость,— сказал сегодня днем доктор Штробл.

Господин дирижер сидит у кровати и задумчиво всматривается в маленькое исхудалое личико. С того дня он так и не выходит из комнаты. Дирижирует его заместитель. Что-то вроде кровати ему достали с чердака.

Рядом звонит телефон.

Рези на цыпочках входит в комнату.

— Вызывают из Мюнхена! — шепчет она.— Вы будете говорить?

Он тихо встает, просит ее побыть у ребенка, пока он не вернется. Осторожно ступая, выходит в соседнюю комнату. Мюнхен? Кто бы это? Наверняка, антрепренер

фирмы Келлер и К°, ах, пусть они оставят его сейчас в покое!

Он берет трубку и называет себя. Его соединяют.

— Пальфи слушает.

— Говорит Кёрнер! — слышится женский голос из Мюнхена.

— Что? — краснея, спрашивает он. — Кто? Лизелотта?

— Да! — подтверждает голос издали. — Извини, что я тебе звоню. Я очень беспокоюсь за ребенка. Надеюсь, она не больна?

— В том-то и дело, — тихо говорит он. — Она больна.

— Больна! — Голос в трубке звучит очень испуганно.

— Но я не понимаю, как так ты... — спрашивает господин Пальфи морща лоб.

— Мы так и думали, я и... Луиза!

— Луиза? — Он нервно смеется. Потом смущенно слушает. Смущается окончательно. Качает головой. В волнении ерошит волосы.

Далекий женский голос торопливо сообщает все, что только можно сообщить в такой спешке.

— Разговариваете? — осведомляется телефонистка.

— Да, да, доннерветтер! — кричит дирижер. И можно себе представить, какая неразбериха у него в голове.

— Что с девочкой? — слышится озабоченный голос его бывшей жены.

— Нервная лихорадка, — отвечает он. — Кризис как будто бы позади, говорит врач. Но физическая и душевная слабость еще велика.

— Хороший врач?

— Ну, конечно! Государственный советник Штробл. Он знает Луизу с пеленок. — Мужчина бестолково смеется. — Извини, это же Лотта! Конечно, он ее не знает! — Дирижер тяжело вздыхает.

А там, в Мюнхене, тяжело вздыхает женщина. Двое взрослых растеряны. Их чувства и речь парализованы. Их мозг, кажется, тоже.

И в это подавленное, чреватое молчание врывается звонкий детский голос.

— Папочка! Мой дорогой папочка! — доносится издали. — Это Луиза! Большой, большой тебе привет! Ведь нам надо приехать в Вену?.. И как можно скорей?..

Спасительные слова произнесены. Ледяная подавленность взрослых тает словно под теплым ветром.

— Большой привет тебе, Луиззи! — воодушевленно кричит отец. — Прекрасная мысль!

— Правда? — Девочка счастливо смеется.

— Когда вы сможете быть здесь? — кричит он.

Теперь снова слышен голос молодой женщины:

— Я сейчас узнаю, когда завтра идет первый поезд.

— Летите самолетом! — орет он. — Тогда вы скорее доедете! — «Ну можно ли так орать! — укоряет он себя. — Ребенок же должен спать!»

Когда он возвращается в детскую, Рези уступает ему его законное место у кровати и хочет уходить.

— Рези! — тихонько подзывает он.

Они стоят рядом.

— Завтра приезжает моя жена.

— Ваша жена?

— Тс-с! Не так громко! Моя бывшая жена! Мать Лотты!

— Лотты?

Он с улыбкой кивает головой. Откуда она может знать?

— Луиззи тоже придет с ней!

— Что — Луиззи? Вот же лежит Луиззи!

Он качает головой.

— Нет, нет, это же ее сестренка. Они близнецы.

— Близнецы?

Отношения в семье господина дирижера становились поистине непостижимы для головы этой бедной особы.

— Позаботьтесь о том, чтобы завтра была еда! Об устройстве на ночь поговорим потом.

— Боже мой! — причитает она, исчезая за дверью.

Отец смотрит на ослабшую спящую девочку, ее лобик блестит. Он осторожно платком вытирает ей пот.

Так это его другая дочь! Его Лоттхен! Какая смелость и какая сила воли руководили девочкой, пока болезнь и отчаяние не сломили ее! Конечно, не от отца она унаследовала такое мужество. От кого же?

От матери?

Снова звонит телефон.

Рези просовывает голову в комнату:

— Фрейлейн Герлях!

Господин Пальфи, не оборачиваясь, отрицательно качает головой.

Фрау Кёрнер просит у доктора Бернау отпуск по «неотложным семейным обстоятельствам». Она звонит в аэропорт и заказывает на следующее утро два места в самолете. Чемодан с самым необходимым упакован.



Ночь, как она ни коротка, кажется бесконечной. Но вот и казавшаяся бесконечной ночь позади.

На следующий день, когда господин советник Штробл, сопровождаемый Пеперлем, приходит на Ротентурмштрассе, к дому подъезжает такси.

Маленькая девочка выходит из автомобиля, и Пеперль сразу же как сумасшедший бросается к ней. Он высоко прыгает, лает, вертится волчком, скулит от восторга и снова прыгает.

— Здравствуй, Пеперль! С добрым утром, господин советник!

Господин советник так растерян, что даже забывает ответить. Он вдруг подпрыгивает, правда не так грациозно, как его Пеперль, бросается к девочке и кричит:

— Ты что, с ума сошла! Сейчас же в постель!

Из авто выходит молодая дама.

— Это может привести ребенка к гибели! — кричит возмущенный доктор Штробл.

— Это не та девочка, о которой вы думаете, — приветливо говорит молодая дама. — Это ее сестра.

Рези открывает наружную дверь. Перед ней Пеперль с высунутым языком и девочка.

— Доброе утро, Рези! — говорит девочка и несется с собакой в детскую.

Экономка очумело смотрит им вслед и крестится.

Затем кряхтя поднимается по ступенькам советник Штробл. Он подходит к двери вместе с миловидной женщиной, которая несет чемодан.

— Как чувствует себя Лотта? — нетерпеливо спрашивает молодая женщина.

— Мне кажется, немного лучше, — отвечает Рези. — Показать вам дорогу?

— Спасибо, я знаю! — И незнакомка исчезает в детской.

— Если вы в состоянии прийти в себя, — весело говорит доктор, — помогли бы мне снять пальто. Впрочем, предоставим все времени!

Рези вздрагивает.

— Тысячу извинений, простите, — заикаясь, произносит она.

— Сегодня я, пожалуй, напрасно поспешил со своим визитом, — деловито поясняет он.

— Мапочка! — шепчет Лотта. Ее широко раскрытые сверкающие глаза устремлены на мать, как на волшебный образ сновидения.

Молодая женщина молча гладит худенькую руку дочери. Она становится перед кроватью на колени и осторожно берет дрожащее существо на руки.

Луиза бросает быстрый взгляд на отца, который стоит у окна. Затем она принимается за подушки Лотты, взбивает их, переворачивает, приводит в порядок простыни. Теперь она хозяйка. Впрочем, она успела этому научиться.

Господин дирижер украдкой смотрит на всех троих. На мать и ее детей. Конечно, это и его дети! И молодая мать несколько лет назад была его молодой женой! Прошедшие дни, забытые часы снова встают перед ним. Давно, давно это было...

Пеперль, как громом сраженный, лежит на полу у кровати и смотрит то на одну маленькую девочку, то на другую. И маленький блестящий кончик носа его тоже поворачивается то к одной, то к другой, будто бы и он тоже никак не может решить, что же ему делать. И эту-то симпатичную, любящую детей собаку поставить в такое положение!

Стучат.

Четверо в комнате словно пробуждаются от какого-то необычного сна. Входит господин советник. Жизнерадостный и немного шумный, как всегда. Он останавливается у постели:

— Как чувствует себя мой пациент?

— Хорошо-о,— говорит Лотта и устало улыбается.

— Есть ли наконец сегодня аппетит? — гудит он.

— Если приготовит мама! — шепчет Лотта.

Мать кивает и подходит к окну.

— Извини, Людвиг, что я только теперь говорю тебе здравствуй!

Дирижер пожимает ее руку.

— Я очень благодарен за то, что ты приехала!

— Ну что ты! Это же понятно! Ребенок...

— Да, да, ребенок...— отвечает он.— И все же.

— Ты выглядишь так, точно не спишь уже много дней,— озабоченно говорит она.

— Это я наверстаю. Я боялся за... за девочку!

— Она скоро поправится,— уверенно говорит молодая женщина.— Я чувствую, что скоро.

У кровати шепот. Луиза склонилась к самому уху Лотты:

— Мама не знает о фрейлейн Герлях. Мы тоже не должны ей об этом говорить!

Лотта испуганно кивает.

Господин советник, разумеется, ничего не слышит, он смотрит на градусник. Хотя, конечно, термометр разглядывают не ушами! Но даже если он что-нибудь и слышал, то он отлично понимает ситуацию и делает вид, как будто бы ничего не заметил.

— Температура почти нормальная,— говорит он.— Кризис у тебя позади! От всего сердца желаю тебе счастья, Луиза!

— Большое спасибо, господин советник,— хихикая, отвечает истинная Луиза.

— Или вы это мне? — спрашивает Лотта, тихонько смеясь: голове от этого еще немножечко больно.

— Вот еще мне две интриганки,— ворчит он,— и преопасные! Даже моего Пеперля вы столько времени водили за нос! — Он разводит руки и каждой своей большой ладонью нежно проводит по детским головкам.

Затем он громко откашливается, встает и говорит:

— Пошли, Пеперль, брось ты этих двух дам-обманщиц!

Пеперль на прощание виляет хвостом. Потом он трется о широкие штанины советника, который в это время объясняет господину дирижеру Пальфи:

— Мать — это лекарство, которого не достанешь в аптеке! — Тут он поворачивается к молодой женщине: — Вы сможете пробыть здесь до тех пор, пока Луиза — ах, шут возьми, — я имею в виду Лотту, не поправится?

— Конечно, смогу, господин советник, именно так я и решила поступить!

— Ну хорошо, — произносит старый доктор. — И господину бывшему мужу придется с этим смириться.

Пальфи открывает было рот.

— Оставьте, — насмешливо говорит советник. — Сердце художника, конечно, будет обливаться кровью. Столько народу в квартире! Но чуточку терпения, и скоро вы опять будете в полнейшем одиночестве.

Доктор Штробл сегодня в ударе! Он так резко распахивает дверь, что у Рези, которая подслушивала с другой стороны, на лбу моментально вздувается шишка. Она хватается за гудящую голову.

— Приложите чистый нож! — приказывает он и в этом случае оставаясь только врачом. — Все пройдет. Добрый совет ничего не стоит!

На землю опустился вечер. В Вене — так же как и везде. В детской тихо. Луиза спит. Лотта спит. И сон — ее лекарство.

Фрау Кёрнер и дирижер уже несколько минут сидят в соседней комнате. Кое о чем они поговорили, но больше молчали. Потом он встал и сказал:

— Что ж! Мне надо идти! — При этом он показался сам себе смешным, и не без основания. Смешным, потому что в соседней комнате спят две его девятилетние девочки, дочери его и красивой женщины, которая стоит перед ним, а он, как получивший отставку партнер по танцу, должен убираться вон! Из собственной квартиры! И если бы, как в добрые старые времена, существовал дух домашнего очага, как должен бы он теперь хохотать!

Она провожает его до наружной двери.

Он медлит.

— Если опять станет хуже, я там, в студии.

— Не беспокойся, — уверенно говорит она. — Лучше не забудь, что тебе надо как следует выспаться!

Он кивает.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Он медленно спускается с лестницы. Она тихо окликает его:

— Людвиг!

Он оборачивается.

...?

— Ты придешь утром к завтраку?

— Приду!

Заперев дверь и накинув цепочку, она на минуту задумывается. Да, он стал старше. Он выглядит как настоящий мужчина, ее бывший муж!

Материнские заботы овладевают ею. Она отправляется охранять сон своих и его детей.

Часом позже у дома на Кернтнерринг из авто выходит молодая элегантная дама и вступает в переговоры с угрюмым швейцаром.

— Господин дирижер? — ворчит тот. — Откуда я знаю, дома он или нет!

— В студии свет, — говорит она. — Значит, он тут! — Она сует ему в руки деньги и спешит мимо, к лестнице.

Он рассматривает ассигнацию и тащится к себе в швейцарскую.

— Ты? — спрашивает Людвиг Пальфи наверху у двери.

— Угадали! — язвительно произносит Ирена Герлях и проходит в студию. Она садится, закуривает сигарету, смотрит на мужчину и ждет.

Он молчит.

— Почему ты отказался подойти к телефону? — спрашивает она. — Ты считаешь это приличным?

— Я не отказывался.

— Как же это понять?

— Я не мог говорить с тобой. Мне было страшно тяжело. Девочка была очень больна.

— Но теперь ей, конечно, лучше. Иначе бы ты был на Ротентурмштрассе.

Он кивает.

— Да, ей лучше. Кроме того, там моя жена.

— Кто?

— Моя жена. Моя бывшая жена. Она приехала сегодня утром со вторым ребенком.

— Со вторым ребенком? — повторяет молодая эlegantная женщина.

— Да, они близнецы. Раньше у меня была Луиза. С тех пор, как кончились каникулы,— другая. И я даже ничего не заметил. Я вчера впервые об этом узнал.

Дама зло смеется:

— Тонко подстроила твоя бывшая жена!

— Она об этом узнала тоже только вчера,— нетерпеливо произносит он.

Ирена Герлях иронически кривит изящно подкрашенные губы.

— Положение действительно пикантное, не так ли? В одной квартире женщина, на которой ты уже не женат, в другой — та, на которой ты еще не женился!

Он начинает сердиться:

— Есть еще много квартир, где сидят женщины, на которых я не женился!

— О-о! — Она поднимается.— Ты, оказывается, еще можешь острить!

— Извини, Ирена, у меня шалют нервы!

— Извини, Людвиг, у меня — тоже!

Бумс! Дверь захлопывается, фрейлейн Герлях уходит.

Господин Пальфи еще некоторое время взирает на дверь, потом поворачивается к безендорфскому роялю, листает партитуру из своей детской оперы и садится, положив на пюпитр выхваченный из нее листок.

Какое-то время он играет с листа. Строгий, простой канон, в котором слышатся старинные церковные мотивы. Он меняет тональность, с дорийского лада переходит на до-бемоль, с до-бемоль на ми мажор. И медленно, постепенно, из отдельных музыкальных фраз выстраивается новая мелодия. Мелодия такая простая и трогательная, как будто бы ее исполняют две маленькие девочки с их светлыми чистыми голосами. Где-то на летнем лугу. У прохладного горного озера, в котором отражается голубое небо. То небо, которое выше нашего понимания, небо, солнце которого освещает и согревает все существа, не делая различия между добрыми, злыми и равнодушными.

Глава одиннадцатая

Двойной день рождения и одно-единственное желание. Родители снова совещаются. Держи большой палец! Возня у замочной скважины. Несогласие и согласие

Время, как известно, залечивает раны, оно лечит и болезни. Лотта наконец поправилась. И снова у нее кошечки с бантами. И у Луизы, как и прежде, длинные локоны, и она радостно потрясает ими.

Они помогают маме и Рези делать покупки и на кухне. Они вместе играют в детской. Они вместе поют, когда Лотта, а то и сам папа сидит за роялем. Они посещают господина Габеле в соседней квартире. Они выводят Пеперля, когда у господина советника прием больных. Собака примирилась с двойной Луиззи и выражала привязанность к обеим девочкам сначала в удвоенной дозе, а потом разделила свою благосклонность пополам. Нужно же уметь приспособиться.

Но иногда, иногда сестры со страхом смотрят в глаза друг другу. Что же будет?

14 октября — день рождения обеих девочек. Они сидят с родителями в детской. Горят свечечки на двух пирогах, на каждом по десяти огоньков. Подан в чашках ими самими сваренный дымящийся шоколад. Папа исполнил великолепный «Марш ко дню рождения близнецов». Потом он поворачивается на вертящемся стуле и спрашивает:

— А почему бы нам не сделать для вас какой-нибудь подарок?

Лоттхен тяжело вздыхает и говорит:

— Потому что то, что мы хотим, нельзя купить!

— Что же вы такое хотите? — спрашивает мама.

Теперь Луиза вздыхает и объясняет, запинаясь от волнения:

— Лотта и я, мы хотим от вас получить в день рождения, чтобы нам с ней с сегодняшнего дня навсегда остаться вместе!

Наконец-то сказано!

Родители молчат.

Лотта добавляет совсем тихо:

— Тогда вам не надо будет никогда в жизни нам что-нибудь дарить! Ни к одному дню рождения. И ни к одному на свете рождеству!

Родители продолжают молчать.

— Вы могли хотя бы попробовать! — У Луизы слезы стоят в глазах. — Мы будем очень хорошо себя вести. Гораздо лучше, чем сейчас. И вообще все у нас будет много, намного прекраснее!

Лотта кивает.

— Это мы вам обещаем!

— Честное-пречестное слово, вот и все! — торопливо добавляет Луиза.

Отец поднимается от рояля.

— Не считаешь ли ты, Лизелотта, что нам надо немедленно поговорить с тобой!

— Да, Людвиг, — отвечает его бывшая жена. И они оба идут в соседнюю комнату. Дверь за собой они закрывают.

— Держать большой палец! — лихорадочно шепчет Луиза.

Судорожно выставлены четыре коротеньких пальца, четыре маленьких руки. Лотта беззвучно шевелит губами.

— Ты молишься? — спрашивает Луиза.

Лотта кивает.

Тут и Луиза тоже начинает шевелить губами.

— Приди, господи Иисусе, будь нашим гостем и помоги нам чем можешь! — негромко произносят они.

Лотта недовольно трясет косами.

— Это не подходит, — в отчаянии шепчет Луиза. — Ну другого мне ничего не приходит на ум. Приди, господи Иисусе, будь нашим гостем и помоги...

— Если нам с тобой хоть сейчас быть до конца откровенными, — говорит в это самое время рядом, уставившись на пол, господин Пальфи, — то для детей, несомненно, было бы лучше больше не разлучаться.

— Определенно, не надо бы отрывать их друг от друга, — произносит молодая женщина.

Он все еще продолжает смотреть на пол.

— Нам нужно еще многое для них сделать. — Он откашливается. — Итак, я согласен, чтобы ты забрала обоих детей к себе в Мюнхен.

Она хватается за сердце.

— Возможно, — продолжает он, — ты разрешишь, чтобы четыре недели в году они жили у меня? — Она ничего не отвечает, и он говорит: — Или три недели? Или хотя бы две? Ты можешь и не верить мне, но ведь я очень люблю обеих.

— Почему же я должна тебе не верить? — слышит он в ответ.

Он пожимает плечами.

— У тебя так мало для этого оснований.

— Что ты! А у постели больной Лотты! — говорит она. — Мы заботимся об их счастье, и ты думаешь, они будут счастливы, если вырастут без отца?

— Но без тебя их счастье и совсем невысказано!

— Ах, Людвиг, неужели ты до сих пор не видишь, чем озабочены дети, они только не решаются прямо это сказать?

— Конечно, я вижу! — Он идет к окну. — Конечно, я знаю, чего они хотят! — Он нетерпеливо дергает оконную задвижку. — Они хотят, чтобы и мы с тобой тоже были вместе!

— Наши дети, они хотят, чтобы у них были отец и мать! Разве это так уж много? — осторожно спрашивает молодая женщина.

— Нет! Но бывает, что и умеренное желание невыполнимо!

Он стоит у окна, как мальчишка, которого поставили в угол и который из гордости не хочет покинуть его.

— Почему невыполнимо?

Внезапно он поворачивается.

— Ты спрашиваешь у меня? После всего, что было?

Она серьезно смотрит на него, чуть заметно кивает. Потом говорит:

— Да! После всего, что прошло!

Луиза стоит у двери и прижала глаз к замочной скважине. Лотта стоит рядом, два ее маленьких кулачка с оттопыренными большими пальцами широко расставлены.

— О-о-о! — шепчет Луиза. — Папа целует маму!

Лотта, вопреки своему характеру, отталкивает сестру и сама прикидывается к замочной скважине.

— Ну? — спрашивает Луиза. — Все еще?

— Нет, — шепчет Лотта и торжествующе выпрямляется. — Теперь мама целует папу.

И ликующие близнецы бросаются друг другу в объятия!

Глава двенадцатая

Господин Гравундер удивляется. Забавный рассказ директора Килиана. Планы замужества Луизы и Лотты. Обложка журнала «Мюнхнер иллюстриерте». Новая табличка на старой двери. «Счастливого соседства, господин дирижер!» Потерянное счастье можно наверстать. Детский смех и детская песенка. «И только близнецов!»

Господин Бенно Гравундер, пожилой опытный чиновник брачной конторы Первого района Вены, производит регистрацию брака, которая его, выдавшего виды в такого рода вещах, выводит из равновесия. Невеста — разведенная жена жениха. Две необыкновенно похожие друг на друга десятилетние девочки — дети жениха и невесты. Один из свидетелей, художник по имени Антон Габеле, без галстука. Зато у другого свидетеля, государственного советника, профессора, доктора Штробла, — собака. И эта собака в прихожей, где, собственно, ей и полагалось бы находиться, поднимает такой шум, что ее приходится впустить, и она принимает участие в регистрации брака! Собака — свидетель! Нет, это невозможно!

Лотта и Луиза чинно восседают на своих стульях и счастливы, как снежные королевы. И они не только счастливы, но и горды, необычайно горды! Потому что они сами виновницы этого великолепного, этого непостижимого счастья! Что было бы с бедными родителями, если бы не было детей, а? Ну вот, видите! И легко ли в самом деле играть в тайны судьбы?

Приключения, слезы, страх, ложь, сомнения, болезнь — всё испытали они, решительно всё!

По окончании церемонии господин Габеле шепчется с господином Пальфи. При этом оба свободных художника таинственно подмигивают друг другу. Но почему они шепчутся и подмигивают, никто, кроме них, не знает.

Фрау Кёрнер, бывшая Пальфи, после бракосочетания снова Пальфи, слышит только, как ее старый и новый господин и повелитель спрашивает: «Еще рано?» А затем, повернувшись к ней, как бы между прочим предлагает:

— У меня прекрасная идея! Знаешь что? Сначала мы поедем в школу и запишем Лотту!

— Лотту? Но Лотта ведь уже несколько недель... Извини, ты, конечно, прав!

Господин дирижер нежно смотрит на госпожу дирижершу:

— Это я и хотел сказать!

Когда дирижер Пальфи и его жена представляют свою вторую дочь, точную копию первой, господин Кириан, директор школы для девочек, искренне удивляется. Однако многоопытный, немало повидавший на своем веку педагог недолго пребывает в этом состоянии и вскоре берет себя в руки.

И вот новая ученица, в соответствии с правилами, занесена в толстую книгу; он откидывается на спинку кресла и говорит:

— Когда я был молодым помощником учителя, мне пришлось однажды столкнуться с таким случаем, о котором я должен рассказать вам и обеим девочкам! Однажды в мой класс поступил новый ученик. Мальчик из бедной семьи, но необыкновенно опрятный и, как я вскоре заметил, очень старательный. Учение у него пошло хорошо. По арифметике он даже какое-то время был лучше всех. Но, замечу я, временами! «В чем же тут дело?» — думаю я. «Нет, — думаю потом, — что-то тут не так! Иногда считает он, словно орехи щелкает, и ни одной ошибки, в другой раз считает медленно и, не смотря на это, делает ошибки!».

Господин директор останавливается и заговорщицки подмигивает Луизе и Лотте.

— Наконец приходит мне в голову удачная мысль. Я помечаю себе в записной книжке, когда мальчик хорошо считает и когда из рук вон плохо. И тут выясняется нечто потрясающее. В понедельник, среду и пятницу он считает хорошо; во вторник, четверг и субботу — считает плохо.

— Вот так так! — говорит господин Пальфи. А две маленькие девочки ерзают от любопытства на стульях.

— Шесть недель я вел наблюдение, — продолжает господин директор. — И все оставалось без изменения: по понедельникам, средам и пятницам — хорошо, по вторникам, четвергам и субботам — плохо! В один прекрасный вечер я направляюсь к нему домой и делюсь с родителями результатами своих загадочных наблюдений. Они смущенно улыбаются и смотрят друг на друга, а потом отец говорит: «То, что подметил господин учитель, справедливо!» И свистит в два пальца. И тут же из соседней комнаты являются два юных сорванца. Два мальчика одинакового роста и тоже необыкновенно похожие друг на друга! «Они близнецы, — поясняет

мать.— Сепп — хороший математик, Тони — другое дело!» Как только я немного пришел в себя, я спрашиваю: «Милые люди, почему же вы не посылаете в школу сразу обоих?» И отец говорит мне в ответ: «Мы бедны, господин учитель. У наших мальчиков только один приличный костюм!»

Чета Пальфи смеется. Господин Килиан усмехается. Луиззи кричит:

— Это идея! Мы сделаем так же!

Господин Килиан грозит пальцем:

— Предупреждаю вас! У фрейлейн Гштеттнер и фрейлейн Брукбаур и без того достаточно хлопот, чтобы еще постоянно разбираться с вами!

— Особенно,— с воодушевлением говорит Луиза,— если мы одинаково причешемся и поменяемся местами!

Господин директор хватается за голову и делает вид, что охвачен сомнением.

— Ужасно,— говорит он.— А что же будет позже, когда вы станете молодыми дамами и вас кто-нибудь захочет взять замуж?

— Раз мы одинаково выглядим,— задумчиво произносит Лотта,— мы, наверняка, понравимся одному мужчине!

— И нам обеим, конечно, понравится только этот мужчина! — кричит Луиза.— И мы обе выйдем за него замуж! Это самое лучшее! Понедельники, среды и пятницы я его жена! Вторники, четверги и субботы — очередь Лотты!

— И если он когда-нибудь случайно не увидит вас вместе, он даже и не заметит, что у него две жены,— смеясь, говорит господин дирижер.

Господин директор Килиан поднимается.

— Бедняжка! — сочувственно произносит он.

Фрау Пальфи улыбается.

— Одно в таком расписании хорошо — в воскресенье он свободен!

Когда новоиспеченные, а точнее, повторноиспеченные супруги с близнецами идут на школьный двор, наступает большая перемена. Сотни толкающихся маленьких девочек плотно окружают их. С удивлением и недоверием смотрят они на Луизу и Лотту.

Наконец Труда кулаками пробивается к близнецам. Тяжело дыша, смотрит она то на одну, то на другую.

— Ну и ну! — говорит она для начала. Затем обиженно поворачивается к Луизе: — Раньше ты просила

меня не рассказывать об этом здесь, в школе, а теперь вы просто взяли и пришли?

— Это я тебе запрещала,— заявляет Лотта.

— Теперь можешь спокойно рассказывать,— мило- стиво разрешает Луиза.— Все равно с завтрашнего дня мы будем приходить обе.

Господин Пальфи, словно ледокол раздвигая толпу, выводит свое семейство в школьные ворота. Труда становится жертвой всеобщего любопытства. Ее отбуксиро- вали к большой рябине и усадили на сук. Оттуда, сверху, докладывает она внимательно слушающей толпе обо всем, что ей известно.

Звонок. Перемена окончилась. Но об этом думают меньше всего.

Учительницы заходят в классы. Классы пусты. Учи- тельницы подходят к окнам и смотрят вниз, на школь- ный двор. Школьный двор полон. Учительницы осажда- ют кабинет директора и хором жалуются.

— Садитесь, пожалуйста, мои уважаемые дамы,— говорит он.— Служитель только что принес мне свежий номер «Мюнхнер иллюстриерте». Обложка его пред- ставляет несомненный интерес для нашей школы. Мож- но попросить вас, фрейлейн Брукбаур? — и он вручает ей журнал.

Теперь и учительницы, так же как и маленькие де- вочки на школьном дворе, забывают, что перемена дав- но кончилась.

Фрейлейн Герлях, как всегда элегантная, стоит непо- далеку от Оперы и удивленно смотрит на обложку «Мюнхнер иллюстриерте», где помещена фотография двух маленьких девочек с косичками. Едва взглянув на них, она так и не может оторвать глаз.

У перекрестка же останавливается такси, и в нем си- дят две маленькие девочки с господином, которого она хорошо знает, и дамой, которую она никогда бы не хо- тела знать.

Лотта щиплет сестру.

— Вон, смотри!

— Ой! Что там?

Лотта шепчет едва слышно:

— Фрейлейн Герлях!

— Где?

— Справа! В большой шляпе! С журналом в руках!

Луиза косит глаза на элегантную даму. Больше всего ей хочется показать этой даме в знак победы язык.



— Что у вас там, малыши?

Вот беда, неужели мама что-нибудь заметила?

Тут, к счастью, из автомобиля, остановившегося рядом с такси, высовывается важная пожилая дама. Она передает маме журнал и, улыбаясь, говорит:

— Разрешите сделать вам весьма уместный подарок?

Фрау Пальфи с благодарной улыбкой берет журнал, смотрит на обложку и показывает журнал мужу.

Автомобили приходят в движение. Пожилая дама машет им на прощание.

Дети перебираются на сиденье к отцу, и тоже с удивлением смотрят на картинку.

— Этот господин Айпельдауэр! — говорит Луиза. — Такое подстроить!

— Мы же, кажется, в с е фотографии разорвали! — произносит Лотта.

— Но у него осталась пластинка! — объясняет мама. — И он может изготовить еще сотни снимков!

— Как хорошо, что он вас надул, — вступает отец. — Без него мама никогда бы не раскрыла вашей тайны. Без него не было бы и сегодняшней свадьбы.

Луиза вдруг поворачивается и смотрит назад, в сторону Оперного театра. Но фрейлейн Герлях уже далеко-далеко, и ее совсем не видно.

Лотта говорит маме:

— Мы напишем господину Айпельдауэру письмо и от всех нас поблагодарим его!

«Испеченная» пара и близнецы взбираются по лестнице дома на Ротентурмштрассе. В открытой двери квартиры их уже ждет Рези в воскресном наряде, она улыбается во все свое широкое крестьянское лицо и подносит молодой женщине огромный букет цветов.

— Я очень вам признательна, Рези,— говорит молодая женщина.— И я рада, что вы остаетесь у нас!

Рези кивает, как кукла в петрушечном театре, резко и угловато. Потом, заикаясь, говорит:

— Я бы вернулась в деревню. К своему отцу. Но я так привязалась к фрейлейн Лоттхен!

Господин Пальфи смеется:

— По отношению к нам троим вы не особенно вежливы, Рези!

Рези смущенно поводит плечами. Фрау Пальфи приходит на помощь:

— Не можем же мы вечно стоять на лестничной площадке!

— Прошу вас! — И Рези широко распахивает двери.

— Минуточку,— деловито произносит господин дирижер.— Мне надо сначала зайти в другую квартиру.

Все замерли. Неужели в день свадьбы он опять хочет удрать в студию на Ринг? (Но Рези не удивляется, совсем не удивляется. Она, наоборот, беззвучно трясется от смеха!)

Господин Пальфи идет к двери квартиры господина Габеле, достает ключ и совершенно спокойно отпирает ее.

Лотта бросается к нему. На двери прибита новая табличка, и на ней совершенно отчетливо можно прочитать: «Пальфи»!

— О, папочка! — кричит она, полная счастья.

И Луиза уже рядом с ней, читает надпись, хватая сестру за воротник и начинается какой-то безумный танец. Старая лестница трещит по всем швам.

— Ну, довольно! — восклицает господин дирижер.— Теперь марш на кухню, к Рези, и помогайте ей.— Он смотрит на часы.— А я пока покажу маме свою новую квартиру. Через полчаса мы сядем за стол. Когда все будет готово, позвоните! — И он берет молодую жену за руку.

Лотта делает реверанс перед дверью напротив и говорит:

— Приятного соседства, господин дирижер!

Молодая женщина снимает шляпу и пальто.

— Какая неожиданность! — тихо говорит она.

— Приятная неожиданность? — спрашивает он.

Она кивает.

— Лоттхен уже давно этого хотела, а с некоторых пор и я, — медленно произносит он. — Габеле до мелочей разработал весь план операции и был участником сражения с мебельными фургонами.

— Поэтому-то нам и надо было сначала посетить школу?

— Да. Перевозка рояля была чем-то вроде битвы с титаном.

Они входят в рабочий кабинет. На рояле стоит, вытащенная из ящика письменного стола, фотография молодой женщины из незабываемого минувшего.

Он обнимает ее.

— На третьем этаже слева мы будем счастливы вчетвером, на третьем этаже справа — я один, но через стену от вас.

— Столько счастья! — Она прижимается к мужу.

— Во всяком случае, больше, чем мы заслужили, — серьезно говорит он. — Но не больше, чем мы сможем вытерпеть.

— Мне как-то не верится во все это!

— Во что?

— В то, что потерянное счастье можно наверстать, как пропущенный школьный урок.

Он показывает картину на стене. Из рамы на родителей смотрит нарисованная Габеле маленькая серьезная девочка.

— Каждым мигом нашего нового счастья, — говорит он, — мы обязаны нашим детям.

Луиза, наряженная в кухонный фартук, стоит на стуле и помогает Рези прикрепить на стену обложку «Мюнхнер иллюстриerte».

— Прекрасно, — с умилением произносит Рези.

Лотта, тоже в кухонном фартуке, усердно трудится у плиты.

Рези осушает слезы в уголках глаз, тихонько сморкается и спрашивает, все еще не отходя от фотографии:

— Кто же тут из вас двоих кто?

Маленькие девочки с удивлением смотрят друг на друга. Потом пристально всматриваются в фотографию. Потом снова смотрят друг на друга.

— И так...— неуверенно говорит Лотта.

— Когда господин Айпельдауэр щелкнул, я, помнится, сидела слева,— задумчиво говорит Луиза.

Лотта нетерпеливо трясет головой.

— Нет, я сидела слева. Или?..

И обе вытягивают шеи к своему портрету.

— Ну если уж вы и сами не знаете, кто из вас кто!..— возмущается Рези и начинает смеяться.

— Нет, мы и сами не знаем! — восторженно кричит Луиза. И все трое смеются так, что их хохот достигает соседней квартиры.

И жена с тревогой спрашивает:

— Сможешь ли ты работать при таком шуме?

Он идет к роялю и, открывая крышку, говорит:

— Только при таком шуме! — И, едва умолкает этот смех, он играет своей жене дуэт ми-мажор из своей детской оперы; играет так, что слышно на кухне соседней квартиры. И все трое орудуют там тихо-тихо, чтобы не пропустить ни одного звука.

Когда песня отзвучала, Лотта задумчиво спрашивает:

— А что, Рези! Если папа и мама теперь с нами вместе, могут у нас с Луизой появиться еще братья и сестры?

— Безусловно! — уверенно отвечает Рези.— А вы хотите?

— Конечно,— живо откликается Луиза.

— Мальчика или девочку? — усиленно интересуется Рези.

— Мальчика и девочку,— говорит Лотта.

А Луиза кричит:

— И только близнецов!



ЛЕТАЮЩИЙ КЛАСС





ПРЕДИСЛОВИЕ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,

содержит дебаты между фрау Кестнер и ее сыном; взгляд на Цугшпитце¹; бабочку по имени Фрида; черно-белую кошку; немного вечного снега; гармоничное завершение рабочего дня и справедливое замечание о том, что телята иногда становятся быками

На сей раз это будет обыкновенная новогодняя история. Собственно, я собирался написать ее еще два года назад и уже совсем было вознамерился сделать это в прошлом году. Но как-то так получалось, что всегда мне что-нибудь мешало. Наконец моя мама сказала:

— Если ты теперь ее не напишешь, то ничего не получишь на Новый год!

Это все решило. Я быстренько достал свой чемодан, положил в него теннисную ракетку, купальные принадлежности, зеленый карандаш, страшно много писчей бумаги и спросил, как будто мы вспотевшие и усталые стоим в зале ожидания на вокзале:

— И куда же теперь?

Это ведь, разумеется, очень трудно в разгар жарчайшего лета сочинить новогоднюю историю. Нельзя же тут

¹Цугшпитце — высочайшая вершина Баварских Альп.

усесться как следует на мягкое место и писать: «Стоял пронизывающий холод, мела вьюга, и господин доктор Эйзенмайер, когда смотрел из окна, отморозил оба уха». Это все равно что забраться в августе в хорошо нагретую баню и лежа там, словно тушенная говядина, пытаться еще под угрозой теплового удара что-то писать. Вы со мной согласны?

Женщины практичны. Моя матушка знала, что делать. Она подошла к билетной кассе, дружески кивнула служащему и спросила:

— Простите пожалуйста, где в августе лежит снег?

«На Северном полюсе», — хотел было сказать мужчина, но узнал мою маму и удержался от дерзкого ответа.

— На Цугшпитце, фрау Кестнер, — любезно ответил он.

И вот мне пришлось брать билет в Верхнюю Баварию. А мама еще и говорит на прощание:

— И смотри, не возвращайся без новогодней истории! А если станет слишком жарко, тебе ничего не стоит посмотреть на прекрасный холодный снег Цугшпитце! Понимаешь?

И тут поезд тронулся.

— Не забывай присылать домой белье в стирку! — крикнула она мне вдогонку.

А я в ответ, чтобы она немного позлилась:

— А ты — поливать цветы!

Потом, пока было видно, мы махали друг другу платками.

И вот уже четырнадцать дней я сижу у подножия Цугшпитце, и если только не плаваю, не занимаюсь гимнастикой и меня не сажают на весла до Карлинки, то я сижу посреди огромного луга на маленькой деревянной скамейке, передо мной стоит стол, который все время качается и на котором я пишу свою новогоднюю историю.

Вокруг цветут цветы разнообразнейших оттенков. Трясуны почтительно кланяются ветру. Беззаботно порхают бабочки. А одна из них, большой Павлиний Глаз, даже иногда навещает меня. Я назвал ее Фридой, и мы хорошо относимся друг к другу. Не проходит и дня, чтобы она не прилетала и не садилась доверчиво ко мне на бумагу. «Как дела, Фрида? — спрашиваю я ее. — Как жизнь?» Она в ответ тихо подымает и опускает свои крылышки и довольная летит своей дорогой.

На опушке темного елового леса сложена большая поленица дров. На ней сидит черно-белая пятнистая

кошка и смотрит на меня. Я сильно подозреваю, что она связана с нечистой силой и, если бы захотела, могла заговорить. Только она не хочет. Каждый раз, когда я закуриваю сигарету, она выгибает спину.

После обеда она удаляется, ведь ей становится тут слишком жарко. Мне — тоже, но я остаюсь. Несмотря на это. Так, согнувшись, жариться на солнце и описывать при этом, например, сражения в снежки, это — не шутка!

И вот я откидываюсь на спинку скамейки, смотрю наверх, на Цугшпитце, мощные скалистые ущелья которого сверкают холодом вечного снега, — и вот уже могу писать дальше! В иные дни, правда, от далекого края озера набегают тучи, заволакивают небосвод перед Цугшпитцем, и уже не видно снегов.

Тут уж не станешь живописать снежковые сражения и другие ярко выраженные зимние события. Но это не беда. В такие дни я просто описываю сцены, которые разыгрываются в комнатах. Нужно уметь выкручиваться!

По вечерам за мной постоянно заходит Эдуард. Эдуард — это хорошенький бурый теленок с крохотными рожками. Его слышно издали, потому что на шее у него — колокольчик. Сперва его звон еле-еле доносится, ведь теленок пасется высоко на горном лугу. Потом звук его все ближе и ближе. И наконец, показывается сам Эдуард. Он появляется между высокими темно-зелеными елями, во рту у него несколько желтых цветочков поповника, как будто бы он специально для меня их сорвал, и бежит через луг к моей скамейке.

— Эдуард, ты что? Неужели конец рабочего дня? — спрашиваю я его.

Он удивленно смотрит на меня и кивает, а колокольчик на его шее звякает. Но некоторое время он еще ест, потому что тут великолепные лютики и анемоны. И я тоже пишу еще несколько строк. А над нами в воздухе, кругами поднимаясь все выше и выше, парит орел.

В конце концов я прячу свой зеленый карандаш и похлопываю Эдуарда по теплой мягкой шкуре. А он толкает меня своими маленькими рожками, чтобы я поднимался. И мы топаем с ним через дивный красочный луг домой.

Перед отелем мы расстаемся. Ведь Эдуард живет не в отеле, а за углом у крестьянина.

Недавно я разговаривал с его хозяином, и он сказал, что Эдуард со временем наверняка станет большим быком.



ПРЕДИСЛОВИЕ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ,

содержит потерю зеленого карандаша; кое-что о величине детских слез; путешествие через океан маленького Джонатана Тротца; причину, по которой бабушка с дедушкой не встретили своего внука; хвалебный гимн человеческим мозолям и настоятельное требование согласовывать смелость с благоразумием

Вчера вечером, поев, я, лениво развалясь, сидел у себя в номере и уже совсем было собрался продолжать свое писание. Альпийский жар угасал. Цугшпитце и его гребни окутывала тьма наступающей ночи. А на другом берегу озера над черным лесом с улыбкой выглядывала полная луна.

Тут-то я и обнаружил, что потерялся мой зеленый карандаш. Наверное, выпал у меня по дороге домой. А может быть, Эдуард, этот красавец теленок, принял его за стебелек травы и слопал. Во всяком случае, я рассаживал теперь в номере и не мог писать. Ведь во всем отеле, хотя это и шикарнейший отель, мне не у кого было одолжить зеленый карандаш! Ну не дикость ли?

Тогда я принялся читать детскую книжку, которую мне прислал автор. Но скоро я отложил ее в сторону и даже рассердился. И вот почему: этот господин, оказы-

вается, и в самом деле вознамерился убедить детей, читающих его книжки, что они всегда веселы и от избытка счастья не знают, за что приняться. Этот неискренний господин, кривя душой, представляет дело так, как будто бы детство пекут из первосортного домашнего теста.

Как может взрослый человек настолько забыть свои юные годы, что уже не представляет себе, как порой несчастен может быть ребенок? Я от всего сердца прошу вас: никогда не забывайте вашего детства! Обещаете мне? Честное слово?

Собственно почти одно и то же — плакать ли из-за сломанной куклы или, много позже, плакать, потеряв друга. В жизни важно не то, по чем страдать, а то, как сильно страдать. Детские слезы, ей-богу, не меньше, а по весу часто значительно тяжелее, чем слезы взрослых. Тут никакой ошибки, господа! И речь не о том, чтобы проявлять излишнюю мягкость. Я только думаю, что надо быть всегда честным, даже и в тех случаях, если это причиняет боль. Честным до мозга костей.

В новогодней истории, которую я начну рассказывать в следующих главах, есть мальчик по имени Джонатан Тротц, которого товарищи зовут Джонни.

Этот маленький тертианер¹ здесь не главный герой. Но его жизненный путь вплетается в повествование. Он родился в Нью-Йорке. Его отец был немец. Мать — американка. Жили они друг с другом как кошка с собакой. Наконец мать убежала из дома. Когда Джонни исполнилось четыре года, отец повел его в гавань Нью-Йорка, на пароход, который отправлялся в Германию. Он купил мальчику билет, сунул ему десятидолларовую бумажку в коричневое детское портмоне и повесил ему на шею

¹ Здесь сразу следует внести ясность в некоторые особенности школ двойной Германии. В гимназиях классы имели латинские названия, причем высшим, старшим классом был первый — прима (кстати, в русском языке прима тоже означает — высший, например, товар высшего качества в разговорной речи иногда определяют словом прима, прима-балерина — первая балерина в балетном ансамбле, примадонна — оперная певица, исполняющая первые роли), далее следовали секунда, терция, кварта, квинта и самый младший — шестой — секста. Отсюда и ученики в соответствии с наименованиями классов назывались: приманеры — ученики старшего, первого класса, секунданеры — второго, тертианеры — третьего, квартамеры — четвертого, квинтанеры — пятого и секстанеры — младшего, шестого. Отметки тоже выстраивались в обратном порядке, по сравнению с нашими, то есть высшей отметкой была единица, а низшей, самой плохой, — пятерка. Впрочем, отметки в школах (например, в ГДР) сохранили свой характер.



картонную бирку, на которой были фамилия и имя мальчика. Потом они пошли к капитану, и отец сказал:

— Захватите, пожалуйста, моего малыша в Германию! Дедушка с бабушкой придут к пароходу его встретить.

— Все будет в порядке, сэр,— ответил капитан. И отец Джонни немедленно удалился.

И вот мальчик, совсем один, отправился через океан. Пассажиры были очень добры к нему, угощали шоколадками, читали, что было написано на его картонке, и говорили: «Ну только подумать, какое счастье, ты еще совсем маленький мальчик, а совершаешь такое большое путешествие».

Через неделю пути они прибыли в Гамбург. Капитан ждал у трапа бабушку и дедушку Джонни. Пассажиры сходили, трепали на прощание мальчика по щекам.

Профессор латыни взволнованно произнес: «О мальчик, может быть, это и к лучшему!» Матросы, которые сходили на берег, кричали: «Держись, Джонни!» А потом на борт поднялись люди, которые должны были выкрасить пароход, чтобы к следующему рейсу в Америку он снова выглядел как новый.

Капитан стоял на набережной, держал маленького мальчика за руку, время от времени смотрел на свои часы и ждал. Но ни бабушка, ни дедушка Джонни так и не появились. Да они и не могли прийти — ведь они уже много лет назад были на том свете. Отец просто решил отделаться от ребенка, вот и отправил его в Германию, не ломая себе голову над тем, что будет дальше.

В ту пору Джонатан Тротц еще не понимал, что с ним сотворили. Но он вырос и много ночей провел без сна и в слезах. И это горе, которым наградили его, когда ему было всего четыре года, он долго еще не мог преодолеть, хотя он, можете мне поверить, был достаточно смелым мальчиком.

Но это еще полдела. У капитана была замужняя сестра, он и отвез к ней мальчика. Он навещал его, когда бывал в Германии, а когда мальчику исполнилось десять лет, определил его в интернат, в гимназию Иоганна-Сигизмунда, что в Кирхберге. Интернат и есть то место, где разворачивается наша новогодняя история.

Иногда Джонатан Тротц ездит на каникулы к сестре капитана — люди действительно очень добры к нему, — но большею частью он остается на время каникул в школе. И он тайно пишет рассказы.

Быть может, он станет когда-нибудь поэтом. Но этого еще никто не решится утверждать. Полдня он проводит в большом школьном парке. С синицами. Они слетают ему на руку и вопрошающе смотрят в лицо своими маленькими глазками, когда он говорит. Иногда он показывает им маленькое коричневое детское портмоне и сунутую туда десятидолларовую бумажку...

Я рассказываю вам историю жизни Джонни только потому, что неискренний господин, детскую книжку которого я читал вчера в номере, утверждает, будто бы дети только и делают, что веселятся да купаются в сплошном блаженстве. Ничего себе понятие!

Трудности жизни на самом деле начинаются не с самостоятельного заработка. Они начинаются не с него и не заканчиваются с ним. Я подчеркиваю эти общеизвестные вещи не для того, чтобы вы слишком возомнили о

себе, помилуй бог! И я подчеркиваю их не затем, чтобы запугать вас. Нет, нет. Будьте счастливы, как только сможете! И будьте столь веселы, чтобы только не надорвать от смеха живот!

Итак, не втирайте очки сами и не давайте вас обвести. Зарубите себе на носу: смело смотреть в лицо превратностям судьбы. Не бойтесь, если что-нибудь не удастся. Не падайте духом, если потерпели неудачу. Будьте всегда в форме! Вам надо заработать мозоли!

Вы должны, как говорят боксеры, хорошо переносить удары. Вы должны научиться раздавать удары и переносить их, иначе первая же затрещина, которую вам преподнесет жизнь, выведет вас из игры. А перчатка у жизни, господи, весьма приличного размера! Если кто-нибудь, получив такую затрещину, не перенес ее со спокойствием, тогда достаточно кашлянуть какой-нибудь комнатной мухе, и вот он уже растянулся на полу.

Следовательно, уши на макушке! Зарабатывать мозоли! Понятно? Кто это понял, тот уже наполовину выиграл. Потому что он, несмотря на полученную затрещину, сохраняет достаточное присутствие духа, для того чтобы привести в действие два необходимых ему качества — смелость и благоразумие. И намотайте себе на ус то, что я вам скажу: смелость без благоразумия ничего не стоит, и благоразумие без смелости — это тоже ерунда. Мировая история знает эпохи, когда глупые люди проявляли смелость, а умные — были трусливы. И это не приносило ничего хорошего.

И лишь когда разум обретает смелость, а смелость обращается к разуму, можно говорить о том, о чем часто заявляли совершенно неосновательно, — о прогрессе человечества.

Я сижу и пишу эти почти философские рассуждения снова на своей скамье за колченогим столом посреди широкого красочного луга. Я еще до полудня позаботился приобрести в лавке колониальных товаров зеленый карандаш. И вот уже опять на исходе вторая половина дня. На Цугшпитце поблескивает свежий снег. На поленице сидит черно-белая кошка и неотрывно глядит на меня. Она определенно заколдована. А с горы доносится звон колокольчика моего друга Эдуарда. Он скоро придет за мной и будет толкать меня своими маленькими рожками. Фриды — Павлиньего Глаза сегодня не видно. Надеюсь, с ней ничего не случилось.

Да-с, завтра я окончательно начинаю свою новогоднюю историю. В ней речь будет о храбрецах и трусах, о рассудительных и глупцах. Много различных детей было в одном интернате.

Тут мне приходит в голову: знаете ли вы, что такое интернат? Интернат — это своего рода жилая школа. Можно сказать — школа-казарма. В нем живут мальчики. Они едят в большой столовой за длинными столами, которые сами и накрывают. Они спят в больших спальнях. Рано утром приходит швейцар и ударяет в колокол, который ужасно громко звонит. А несколько приманеров, старшие по спальням, налетают, словно гончие псы, так что мальчикам приходится молниеносно выпрыгивать из-под одеял. Некоторые никак не могут научиться аккуратно застилать кровати, и поэтому им приходится, когда остальные на субботу и воскресенье получают отпуск, оставаться в жилых помещениях и в наказание выполнять различные работы. (Но таким образом они тоже не учатся застилать постели.)

Родители учеников живут далеко в городках или в деревнях, где нет средних школ. Дети навещают их только во время каникул. Иногда мальчикам хотелось бы и после каникул остаться дома. Другие, наоборот, даже во время каникул остались бы в школе, если бы только разрешили родители.

А еще есть так называемые экстерны. Они из того же самого города, где находится гимназия, и они живут не в школе, а дома.

Однако тут из темно-зеленых елей выходит мой друг Эдуард — красавец теленок. Вот он набирается сил и трусит через луг ко мне, к моей скамейке.

Он останавливается рядом со мной и смотрит на меня добрыми глазами. Это означает: извините, что я помешал!

Завтра я встану пораньше и начну наконец свой новогодний рассказ. Матушка вчера прислала письмо и спрашивает, далеко ли у меня с ним продвинулось дело.

Глава первая

содержит путешествие по фасаду; несколько занятых уроком танцев юношей; примуса, способного страшно возмущаться; большую седую привязную бороду; рассказ о приключениях «Летающего класса» и неожиданно прерванную театральную репетицию со стихами

Две сотни табуреток отодвинуты. Две сотни гимназистов с шумом поднимаются и теснятся к выходу из столовой. Обед в кирхбергерском интернате окончен.

— Вот черт возьми! — сказал тертианер Матиас Зельбман своему соседу по столу. — Я голоден. Надо срочно раздобыть двадцать пфеннигов на кулек печенья. У тебя есть деньжата?

Ули фон Зиммерн, маленький светловолосый мальчуган, вытащил из кармана портмоне, дал своему вечно голодному товарищу два гроша — две десятипфенниковые монеты — и прошептал:

— Вот, Матц, держи! Только ничего у тебя не выйдет. В саду дежурит Красавчик Теодор. Если он тебя заметит, ты пропал.

— Уж предоставь мне поладить с твоим глупым приманером, ты, шляпа! — заносчиво заявил Матиас и спрятал деньги.

— Не забудь прийти в гимнастический зал! Ведь у нас репетиция.

— Железно! — ответил Матц и исчез, чтобы поскорее купить у булочника Шерфа, что на Нордштрассе, печенье.

На улице шел снег. Надвигалось рождество². Во всем чувствовалось его приближение. Воспитанники, выбежав из школы, носились по парку, перебрасываясь снежками, или изо всех сил сотрясали деревья, обрушивая на какого-нибудь своего задумавшегося товарища лавины снега с ветвей. Смех не смолкал. Некоторые старшеклассники, подняв воротники пальто и покуривая

¹ Примус (лат.) — первый. В данном случае первый ученик класса.

² Рождество — церковный христианский праздник, в честь «рождения» мифического основателя христианства Христа, с днем его «рождения» связано и начало нынешнего летоисчисления и начало года, хотя само рождество отмечается не 1 января, а 25 декабря, в один из дней периода зимнего солнцестояния (21—25 декабря), что является, с одной стороны, данью важнейшему поворотному явлению природы, с другой — дохристианским культам «умирающих и воскресающих» богов.

сигареты, гордо шагали наверх, к Олимпу. (Так уже десятки лет назывался лежащий в отдалении полный тайн холм, на склоны которого допускались только приманеры. Говорят, на нем был древнегерманский жертвенный камень, у которого в канун пасхи¹ происходили торжества привидений. Бр-р-р!)

Другие ученики остались в школьном здании и поднялись в жилые помещения, чтобы почитать, написать письма, отдать должное послеобеденному сну или поработать. Из рояльной доносилась громкая музыка.

На спортивной площадке, которая с неделю назад была превращена привратником в каток, раскатывали конькобежцы. Потом возникла яростная потасовка: хоккейная команда решила тренироваться, а конькобежцы не желали освободить площадку. Несколько вооруженных лопатами секстанеров и квинтанеров — их назначили чистить лед — дули на коченеющие пальцы и строили страшные рожи.

Перед школьным зданием сгрудилась возбужденная толпа. Все мальчики смотрели наверх. Там, на третьем этаже, по узкому карнизу перебирался из комнаты в комнату секунданер Геблер. Словно муха, он прилепился к стене и шаг за шагом двигался боком.

Школяры, наблюдавшие за ним, затаили дыхание.

Наконец Геблер достиг цели. Момент — и он исчез в широко распахнутом окне.

— Браво! — закричали зрители, захлопали от восторга в ладоши.

— Что тут случилось? — спросил проходивший мимо приманер.

— Да ничего особенного, — ответил Себастьян Франк. — Мы просто просили Попугая выглянуть в окошко. Гарри не верит, что Попугай косой.

Все вокруг рассмеялись.

— Хочешь взять меня на пушку?

— Ну как это можно! — почтительно возразил Себастьян. — При вашем-то росте? Да мне вас на пушку и не втащить.

Приманер предпочел поскорее продолжить свой путь.

Тут прибежал Ули:

— Себастьян, тебе надо идти на репетицию.

¹ П а с х а — церковный христианский праздник в память «воскресения» мифического основателя христианства — Христа. Празднование пасхи начинается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния.



— «Король велел, и мальчик побежал»,— с усмешкой продекламировал Себастьян и не торопясь отправился прочь.

У гимнастического зала уже стояли три мальчика: Джонни Тротц — автор новогодней пьесы с захватывающим названием «Летающий класс», Мартин Талер — примус и театральный художник в одном лице и Матиас Зельбман, который вечно был голодным, а в особенности после ужина, и который мечтал в будущем стать боксером. Он жевал и протягивал Ули, приближающемуся вместе с Себастьяном, несколько печенин.

— Вот! — пробурчал он. — Ешь и станешь большим и сильным.

— Если бы ты не был столь глуп,— сказал Себастьян Матцу,— я бы воскликнул: «Как может разумный человек так много жрать!»

Матиас безразлично пожал плечами и продолжал жевать.

Себастьян поднялся на цыпочки, заглянул в окно и покачал головой:

— Полубоги опять откалывают танго.

— Пошли,— распорядился Мартин, и пятеро мальчиков вошли в гимнастический зал.

То, что происходило там, им явно не понравилось. Десять приманеров парами танцевали на паркете. Повторяли урок танцев. На долговязом Тирбахе была, вероятно утащенная у кухарки, шляпа. Он надел ее набекрень, покачиваясь двигался и деланно-элегантно обнимал рукой партнера, как будто это была его юная дама.

Мартин подошел к роялю, у которого сидел Красавчик Теодор и до невозможности фальшивя лупил по клавишам.

— Экой шалопай,— пренебрежительно пробурчал Матиас.

Ули прятался за ним.

— Я прошу вас выслушать меня,— вежливо обратился Мартин.— Мы хотим продолжить репетицию пьесы Джонни Тротца.

Красавчик Теодор прервал свою игру. Танцоры приостановились.

— Тебе, пожалуй, придется подождать, пока мы не освободим зал! — высокомерно произнес он и снова заиграл, а приманеры принялись танцевать.

Мартин Талер, примус терции, протянул вперед свою всем известную рыжую голову.

— Послушайте, пожалуйста! — громко сказал он.— Доктор Бёк разрешил нам ежедневно с двух до трех часов репетировать в зале. И вам это хорошо известно.

Красавчик Теодор повернулся вокруг на рояльном стуле:

— Ты как, собственно, разговариваешь со своим старшим по комнате? А?

Ули хотел улизнуть. Он старался избегать подозрительных ситуаций. Однако Матиас крепко держал его за рукав. Злобно уставившись на Красавчика Теодора, он бормотал:

— Вот, черт возьми! Придется мне чуток потряхнуть этого верзилу!

— Спокойствие! — сказал Джонни.— Мартин сейчас все уладит.

Приманеры окружили маленького Талера, словно собираясь его съесть. А Теодор снова заиграл свое танго. Тут Мартин растолкал обступивших его, подошел к роялю и захлопнул крышку. Приманеры замерли от удивления. Матиас и Джонни поспешили на помощь. Однако Мартину они не потребовались.

— Вы так же, как и мы, должны подчиняться существующим распоряжениям! — возмущенно кричал он. — И нечего вам воображать! Всего-то на несколько лет старше нас! Жалуйтесь на меня доктору Бёку! Я требую, чтобы вы немедленно покинули гимнастический зал!

Красавчику Теодору попало крышкой по пальцам. Его хорошенькое конфетное личико исказилось от бешенства.

— Ну подождите, мальчики! — угрожающе произнес он и покинул поле битвы.

Себастьян отворил дверь и изысканно-вежливым поклоном проводил удаляющихся приманеров.

— Ох, уж эти господа танцоры, — неодобрительно изрек он, когда они вышли. — Крутятся на своих уроках танцев с размалеванными девицами и держатся за земную ось. Лучше бы почитали, что пишет о женщинах Артур Шопенгауэр¹.

— По-моему, девушки очень славные, — сказал Джонни Тротц.

— А у меня есть тетя, которая умеет боксировать, — с гордостью заявил Матиас.

— Довольно, довольно! — крикнул Мартин. — Джонатан, можно начинать репетицию.

— Хорошо, — ответил Джонни. — Итак, сегодня снова повторяем последнюю картину. Она еще не удается. Ты, Матц, по-свински относишься к своей роли.

— Если бы мой старик знал, что я тут выступаю в театре, он бы тотчас забрал меня из этого заведения, — сказал Матиас. — Я же просто решил оказать вам услугу. Кто бы, кроме меня, мог сыграть вам святого Петра? — Он вытащил из кармана большую седую бороду и подвязал ее к подбородку.

Пьеса, которую написал Джонни и которую хотели поставить на новогоднем празднике в гимнастическом зале, называлась, как уже говорилось, «Летающий класс». Она состояла из пяти актов и была в какой-то степени (если тут можно применить такое слово) пророческой. Ведь в ней показывалось школьное образование, каким оно могло стать в будущем.

В первом акте учитель, которого очень похоже с помощью наклеенных усов изображал Себастьян Франк,

¹ Артур Шопенгауэр (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.

отправляется со всем своим классом на аэроплане, чтобы проводить уроки по географии прямо на месте. «Это обучение — света представление» — таково было стихотворное название первого акта. Но оно принадлежало не Джонни, а ужасно умному Себастьяну. Он надеялся, что, произнеся эти слова, доведет до смеха учителей. Мартин, первый ученик класса, хорошо рисовал, и он изготавлял декорации. К параллельным брускам был кнопками прикреплен нарисованный на белом картоне самолет. У него было три пропеллера и открывающаяся дверь, через которую можно было войти в самолет (или, вернее, в картон).

Ули Зиммерн играл сестру одного из «странствующих школяров». Он раздобыл у своей кузины простое летнее платье, а у парикмахера Крюгера собирался взять на время белокурый парик Гретхен. Парик с длинными заплетенными косами. В прошлую субботу, когда они были отпущены в город, они заходили к парикмахеру и надевали Ули парик. Его было не узнать. Его вполне можно было принять за девчонку. Плата за парик была пять марок. Но парикмахер Крюгер сказал, что если они со временем будут у него бриться, то он предоставит парик за полцены. Они, конечно, пообещали, что будут.

Ну так вот, в первом акте класс провожают. Во втором аэроплан приземляется на краю кратера Везувия. Мартин уже устрашающе изобразил огнедышащую гору на большом картоне. Стоило только этот картон прислонить к турнику, чтобы Везувий не падал, и господин учитель, Себастьян, уже мог вести свой зарифмованный доклад о характере вулкана, а ученики — спрашивать о Геркулануме и Помпеях, римских городах, засыпанных вулканическим пеплом. Наконец, от нарисованного Мартином пламени, вырывающегося из жерла, зажигалась сигара, и они отправлялись дальше.

В третьем акте они совершают посадку у египетских пирамид в Гизе, прогуливаются перед очередной расписанной картонной стенкой и выслушивают объяснения Себастьяна о сооружении этих гигантских усыпальниц царей. Потом из одной пирамиды появляется Джонни. Размалеванный белым, он изображает мумию Рамзеса Второго. При этом он с трудом распрямляется, ведь картонная пирамида так мала. Рамзес начинает с того, что произносит благодарственную речь плодородным разливам Нила и благословение всем водам. Затем он освещается о ходе крушения мира, предсказанного его

звездочетом. Он очень сердится, когда слышит, что земля все еще существует. Он грозит немедленно дать отставку звездочету. Ули, который играет девочку, смеется над древнеегипетским фараоном и говорит, что звездочет давно умер. В ответ Рамзес делает магический жест, и Ули, околдованный им, следует в медленно закрывающуюся пирамиду. Оставшиеся сперва страшно расстраиваются, но потом все же отправляются дальше.

В четвертом акте «Летающий класс» приземляется на Северном полюсе. Ребята видят торчащую из снега земную ось и могут собственными глазами увидеть, что земля у полюса приплюснута. Они посылают радиофотографию в «Кирхбергерский вестник», выслушивают в исполнении белого медведя — Матиаса, наряженного в его шкуру,—волнующий гимн о единении льдов и снегов,жимают ему на прощание лапу и летят дальше.

Из-за ошибки учителя и из-за того, что отказал руль высоты, они в пятом, последнем акте попадают на небо. И притом к самому святому Петру, который сидит перед елкой, читает «Кирхбергерский вестник» и празднует рождество. Он рассказывает им, что хорошо знает директора их гимназии профессора, доктора Грюнкерна, знает, как он живет. Здесь, наверху, особенно-то ничего не видно,—ведь небо невидимо. И фотографировать здесь они тоже не могут.

Учитель спрашивает, не может ли святой Петр вернуть им девочку, которую Рамзес Второй упрятал в пирамиду. Святой кивает, произносит заклинание, и немедленно появляется Ули, вылезающий из намалеванного облака. Все страшно радуются и поют:

Тихая ночь, светлая ночь...

Вместе с ними поют и зрители, присутствующие на новогоднем празднике,— учителя и ученики. Так вполне благополучно заканчивался спектакль.

И вот они сегодня репетировали последний акт. Святой Петр — собственно, Матиас — сидел на стуле перед нарисованной новогодней елкой, а остальные, кроме Ули, который еще был в пирамиде, благоговейно стояли вокруг него. Матиас поглаживал свою седую привязанную бороду и говорил как можно более низким голосом:

Вы небо лишь зрительно знаете,
Лишь мысленно там вы бываете.
Глядят телескопы на небо,
Аэропланы летают,
Но все ж, невзирая на это,

От вас его отделяет
Стена!
Перед вами преграда!

М а р т и н

Всё это печально, не скрою...

С е б а с т ь я н

Но, право, грустить нам не надо!
Останемся сами собою.

С в я т о й П е т р

Усопшим лишь в небо дорога!

Д ж о н н и

Вас сфотографировать можно?

С в я т о й П е т р

Нет-нет! Запрещается строго!
И думать об этом не должно!
Исследуйте, что вам по силам
И то, что для вас интересно.
Останется...

Матиас запнулся на последнем слове. Он забыл текст. Это было для него слишком трудно. Он уставился на Джонни, поэтического бога, молча прося извинения. Джонни подошел к нему и тихо подсказал.

— Верно, ты совершенно прав,— проговорил Матц,—но я так хочу есть, а это всегда действует на мою память.

Потом он взял себя в руки и продолжал:

Исследуйте, что вам по силам
И то, что для вас интересно.
Останется необъяснимым
Движение сферы небесной.
И здесь возмущаться не стоит,
Что будто бы вам запрещают!..
Так мало все школьники знают,
Но умником всяк себя строит!

Д ж о н н и

О, шутите вы, вероятно!
Не так любознательны все мы,
Нам трудно учить теоремы.

М а р т и н

И глупость порою — приятна.

С е б а с т ь я н

Но дело-то в том, вам должно быть известно:
Мы девочки маленькой недосчитались.

Отправилась в путь она вслед за Рамзесом,
И нашей подружки следы затерялись.
Никто ее больше не слышал, не видел —
Пропала! С ней что-нибудь, верно, случилось.
Ведь там же такой лабиринт в пирамиде!
А вдруг она в нем навсегда заблудилась?..

Святой Петр

Да, жалко, конечно...
Весьма неприятно...
Готов ей помочь и прочесть заклинание.
Оно-то вернет вам подружку обратно.
Но только — спокойно!
Вниманье! Вниманье!
«Прошедшее с нами всегда остается...
Из порванных ниток слагается ткань...
По древнему следу заблудший вернется...
Вернется... Вернется...
Приди и предстань! ¹

В этот момент дверь в гимнастический зал резко распахнулась! У Матиаса стих так и застрял в горле. Все испуганно обернулись, а Ули с любопытством выглянул из-за намалеванного облака, позади которого ожидал своего выхода.

В проеме двери стоял мальчик. Лицо у него было в крови, рука — тоже. Костюм на нем был порван. Он с яростью швырнул на пол свою школьную фуражку и крикнул:

— Вы знаете, что случилось?!

— Откуда же нам знать, Фридолин? — участливо спросил Матиас.

— Если экстерн после уроков вернулся в школу, да еще в таком разукрашенном виде, — начал Себастьян, — значит...

Но Фридолин оборвал его на полуслове:

— Оставь свои шуточки! — крикнул он. — По дороге домой на меня и на Крейцкамма напали реалисты ². Крейцкамма они захватили в плен. И тетради для диктантов, которые мы должны были отнести его старику для проверки, тоже у них. (Отец Крейцкамма был учителем немецкого языка в гимназии Иоганна-Сигизмунда.)

— Черт возьми! И тетради для диктантов у них? — переспросил Матиас. — Слава богу!

Мартин взглянул на своего друга Джонни:

— На сегодня, пожалуй, хватит?

¹ Стихотворный текст в переводе Вольта Суслова.

² В отличие от гимназий, где упор делался на языки и гуманитарные науки, существовали еще реальные училища, где предпочтение оказывалось коммерции и естественным наукам.

Джонни кивнул.

— Через забор, к садам! Да поживей! Посоветуемся у Некурящего!

Они ринулись из зала. Ули бежал рядом с Матиасом:

— Если нас хватится Красавчик Теодор, мы пропали.

— Тогда оставайся здесь, — ответил Матиас.

— Ты что, спятил? — обиделся малыш.

Шесть мальчиков добежали до конца парка и перемахнули через ограду. Матиас так и оставался со своей седой окладистой бородой.

Глава вторая

содержит подробности о Некурящем; три орфографические ошибки; Ули, уstraшенного страхом; военный совет в железнодорожном вагоне; донесение разведчика Фридолина; причину нападения на Крейцкамма и бег на длинную дистанцию внятером

Некурящий — так они называли человека, имени которого не знали. Они называли его Некурящим не по-





тому, что он не курил — курил он даже слишком много. Они часто бывали у него. Посещали они его тайно и очень любили. Они любили его почти так же сильно, как своего воспитателя доктора Иоганна Бёка. А это уже говорило о многом.

Называли же они его Некурящим потому, что в его загородном садике стоял списанный железнодорожный вагон, в котором он жил и зимой, и летом. В этом вагоне были купе только для некурящих. Год назад, когда он приехал в садоводство, он купил этот вагон у немецкой государственной железной дороги за сто восемьдесят марок, немножко переделал и теперь жил в нем. Белая табличка, на которой стояло: «Для некурящих», так и осталась на нем.

Летом и осенью в его маленьком саду цвели чудесные цветы. Когда он справлялся с пересадкой, поливкой и прополкой растений, он ложился на зеленую траву и читал одну из своих многочисленных книг. Зимой он, конечно, находился большею частью в вагоне. Тепло в своем забавном жилье он поддерживал с помощью маленькой круглой печурки, черно-голубая труба которой торчала на крыше.

На Новый год Джонни должен был преподнести ему подарки. (Джонни в этот раз оставался на время рождественских каникул в школе, потому что капитан опять отправился в Нью-Йорк). Мальчики собрали деньги и уже заготовили подарки: теплые носки, табак, сигареты и черный свитер. Надеялись, что подойдет. На всякий случай договорились, что им поменяют.

Мартин, у которого с деньгами было плохо, потому что родители его были бедны — он и за учение платил только половину, — нарисовал для Некурящего картину. Она называлась «Отшельник», и на ней был изображен человек, сидящий среди ярких цветов в садике. У ограды стояли три мальчика и махали ему; он смотрел на них приветливо и вместе с тем грустно. На плечах и на руках у него сидели маленькие доверчивые синицы и малиновки, а над его головой кружились в хороводе сверкающие разными цветами бабочки.

Это была очень красивая картина. Мартин потратил на нее по меньшей мере четыре часа.

Вот такой сюрприз должен был Джонни поднести Некурящему в сочельник, канун рождества¹. Они знали, что он один-одинешенек, и очень жалели его.

По вечерам он надевал свой лучший костюм и шел в город. Он говорил им, что дает уроки музыки. На пианино. Они не верили этому, но и не спорили с ним. Руди Крейцкамм, который был экстерном и часто болтался в городе, уверял, что Некурящий до позднего вечера играет на пианино в кабачке «У последнего порога», что находится в предместье города, и получает за это одну марку пятьдесят пфеннигов и горячий ужин. И хотя этого никто не доказал, возможно, что так оно и было. Впрочем, это для них не имело значения. Важно было, что он славный, неглупый малый. В жизни он, по всей видимости, перенес много бед. Он не выглядел так, будто отбарабанивать в прокуренном кабачке шлягеры было его жизненной целью.

Уже не раз они потихоньку советовались с ним. И прежде всего в тех случаях, когда не хотели обращаться к своему воспитателю. У доктора Бёка было прозвище — Юстус. В переводе с латинского это значит — справедливый! Ведь доктор Бёк был справедлив. Именно потому они так и прозвали его.

Но иногда, в очень уж затруднительных случаях, когда справедливость того или иного положения вызывала большие сомнения, они стеснялись обращаться к Юстусу и спе-

¹ Сочельник — канун рождества, 24 декабря.

шили перелезть через ограду, чтобы посоветоваться с Некурящим.

Мартин, Джонни, Себастьян и раненый экстерн Фридолин прошли в ворота оголенного заснеженного сада. Мартин постучал. Затем они исчезли в железнодорожном вагоне.

Матиас и Ули остались у ворот.

— Валит снег, снова произойдет праздничная потасовка,— радостно заметил Матиас.

А Ули сказал:

— Нам надо прежде всего постараться вернуть тетради для диктантов.

— Вот уж ни к чему! — возразил Матиас.— Я чувствую, что натворил ужасных глупостей. Послушай-ка, малыш, как пишется слово «**правиант**», через «а»?

— Нет,— ответил Ули,— через «о».

— Ага,— сказал Матиас.— Значит, у меня есть ошибка. А «**правинция**» через «а»?

— Нет, тоже через «о».

— А на конце?

— «ия».

— Вот, черт возьми! — проговорил Матиас.— В двух словах — три ошибки. Того и гляди рекордсменом станешь! Я за то, чтобы реалисты выдали нам Крейцкамма, а тетради оставили себе.

Некоторое время они помолчали. Ули мерз и переступал с ноги на ногу. Наконец он сказал:

— И все-таки я готов с тобой поменяться, Матц. Я ведь не делаю так много ошибок в диктанте. Да и в арифметике — тоже. Но я с радостью взял бы твои плохие отметки, если бы в придачу получил еще и твою смелость.

— А, все это чепуха,— ответил Матиас.— Глупости из меня не вытрясти. Мой старик мог бы со мной заниматься сколько угодно, только я просто ничего не усваиваю. Да мне, признаться, и все равно, писать ли «**правиант**» или «**провиант**», «**правинция**» или «**провинция**», «**каррусель**» или «**карусель**». Я же буду чемпионом мира по боксу, и ни к чему мне эта самая орфография. Ну, а то, что ты трусоват, это, если ты захочешь, можно и исправить.

— Ты знаешь,— удрученно проговорил Ули, потирая коченеющие пальцы,— чего только я не перепробовал, чтобы избавиться от трусости, это даже трудно себе представить. Всякий раз я собираюсь не убежать и не давать се-

бя в обиду. Говорю себе, что буду тверд, как скала! И вот же ведь, как дойдет до дела, опять удираю. Ах, это так противно, когда чувствуешь, что слово с делом никак не вяжутся!

— Мм-да, тебе надо бы хоть разок совершить что-нибудь такое, чтобы завоевать уважение,— сказал Матиас.— Что-нибудь очень дерзкое. Чтобы все подумали: «Черт побери, а ведь Ули отчаянный мальчишка! Мы в нем здорово ошибались!» Ты со мной согласен?

Ули кивнул, опустил голову и ткнул носком сапога в планку забора.

— Я замерз, как цуцик,— наконец сказал он.

— И это тоже неудивительно,— наставительно проговорил Матиас.— Ты слишком мало ешь! Это просто позор! Прямо невыносимо! Кроме того, ты еще, наверное, тоскуешь по дому, а?

— Да, немного есть,— тихо сказал Ули.— Иногда... По вечерам, наверху в спальне, когда у солдат в казарме зорю играют... — Он смутился.

— А я уже опять проголодался! — воскликнул Матиас, возмущаясь самим собой.— Сегодня утром на диктовке — тоже. Мне так и хотелось спросить у старого профессора Крейцкамма, не одолжит ли он мне бутерброд. А вместо этого пришлось раздумывать, как пишутся эти дурацкие слова — через «а» или через два «р»!

Ули усмехнулся и сказал:

— Матц,ними же ты наконец с себя эту седую бороду.

— Ай-я-яй, я все еще таскаю этот матрас? — удивился Матиас.— Это на меня похоже.

Он спрятал бороду в карман, слепил несколько снежков и стал бросать их в трубу Некурящего. Два раза ему удалось попасть.

В железнодорожном вагоне на вытертом плюшевом диване сидели четыре встревоженных мальчика. Их друг Некурящий был еще совсем не стар. Лет, примерно, тридцати пяти. На нем был выцветший тренировочный костюм. Прислонившись к раздвижной двери, он курил маленькую английскую трубку и, улыбаясь, слушал обстоятельный рассказ Фридолина о нападении.

Себастьян сказал:

— Лучше всего Фридолину сбегать сейчас к Крейцкаммам и потихоньку разузнать, не вернулся ли Руди и не принес ли с собой тетрадки.

Фридолин подскочил и взглянул на Некурящего. Тот кивнул.

А Мартин воскликнул:

— Если Руди еще не вернулся, тебе придется объяснить все служанке, чтобы профессор ничего не узнал.

— А потом,— сказал Себастьян,— ты пойдешь к дому Эгерланда. Мы будем там тебя ждать. И если эта шайка все еще не отпустила Руди с тетрадами, мы займемся этим Эгерландом. Он у них верховодит, у его дома нам и надо держаться. А может быть, мы возьмем его заложником, вступим в переговоры с реалистами и обменяем на Руди.

— Значит, решено,— сказал Фридолин.— Где живет Эгерланд вы знаете, да? Форстерайштрассе, семнадцать. Пока! Но чтобы вы тоже были там!

— Железно! — подтвердили все.

Фридолин протянул Некурящему перевязанную носовым платком поцарапанную врагами руку и выскочил из вагона. Остальные мальчики тоже поднялись.

— А вы объясните-ка мне,— сказал Некурящий своим ровным успокаивающим голосом,— с чего это реалистам пришло в голову захватить в плен сына вашего профессора и конфисковать ваши ученые труды?

Мальчики молчали. Потом Мартин сказал:

— Лучше уж пусть наш поэт. Джонни, расскажи!

И слово взял Джонни:

— У этого нападения длинная предыстория,— начал он.— То, что реалисты с нами всегда в раздоре, это уж так ведется с незапамятных времен. Должно быть, и десять лет назад было точно так же. Это вражда между школами, а не между учениками. Ученики, собственно, только исполнители того, что им предписывают традиции. В прошлом месяце мы, когда были в увольнении, отбили у них на спортплощадке флаг. Настоящий разбойничий флаг. С отвратительной мертвой головой на нем. Мы отказались вернуть добычу. Тогда они пожаловались по телефону Юстусу. Тот учинил нам вселенский разнос. Но мы не изменили решения. Тут он пригрозил, что, если мы в три дня не вернем флаг реалистам, он на две недели лишит нас права здороваться с ним.

— Странная угроза,— задумчиво сказал Некурящий и улыбнулся.— И что же, подействовала она?

— Как чернослив,— сказал Джонни.— Уже на следующий день реалисты нашли свой флаг. Он точно с неба свалился на их школьный двор.

— Однако есть в этом деле одно «но»,— перебил Джонни Себастьян.— Флаг был чуточку порван.

— Чуточку сильно порван,— уточнил Мартин.

— Вот они и решили отомстить нам этими тетрадами для диктантов,— глубокомысленно, как всегда, заключил Себастьян.

— Да, тут дело пахнет вашей доисторической войной,— сказал Некурящий.— Наверное, мне придется идти на поле битвы и перевязывать раненых. Надо только побыстрее одеться. А ваш Юстус мне нравится все больше и больше.

— Да,— с жаром воскликнул Мартин,— доктор Бёк — великолепный парень!

Некурящий слегка вздрогнул:

— Как зовут вашего Юстуса?

— Доктор Иоганн Бёк,— сказал Джонни.— Вы о нем что-нибудь слышали?

— Ничего не слышал,— ответил Некурящий.— Я просто знал когда-то человека с похожим именем... Ну так двинулись на военную тропу, вы, готтентоты!¹ И чтобы никому не свернуть шеи! Ни вам, ни им! Я только подложу брикетов в свой камин и переоденусь.

— До свидания! — крикнули мальчики и высыпали в сад.

На улице Себастьян сказал:

— Могу поспорить, он знает Юстуса.

— Тогда наше дело дрянь,— заключил Мартин.— Он может навестить его, адрес же он знает.

Они подошли к воротам.

— Ну, наконец-то,— пробурчал Матиас.— Ули уже совсем замерз.

— Бег на длинные дистанции согревает,— заметил Мартин.

— Побежали!

И они затрусили вниз, в город.

¹ Готтентоты — одна из народностей Южной Африки. Долго вели борьбу против колонизаторов за свою независимость.

Глава третья

содержит возвращение Фридолина; разговор о самом забавном примусе Европы; новое огорчение фрау Эгерланд; спешившегося конного курьера; неприемлемые условия; дельный план сражения и еще более дельное предложение Некурящего

Все еще шел снег. Из ртов бегущих мальчиков вырывался такой пар, будто бы они курили толстые сигары. Перед кинотеатром «Эдем» на площади Барбароссы стояло несколько экстернов-квартанеров. Они собрались в кино и ждали открытия.

— Бегите дальше! Я вас догоню,— крикнул Мартин своим товарищам и подошел к квартанерам: — Вы могли бы нас поддержать,— сказал он им.— Бросьте ваше кино! Реалисты захватили в плен Крейцкамма, и мы должны нанести им ответный удар.

— Прямо сейчас идти с вами? — спросил квартанер Шмиц; он был маленький, круглый, и его прозвали Бочонком.

— Нет, еще есть время,— ответил Мартин.— Будьте, пожалуйста, через четверть часа на углу Форверк-и Форстерайштрассе. Прихватите с собой еще ребят. Но на подходе не бегите толпой. И снимите фуражки. А то реалисты живо догадаются, что мы затеем.

— Хорошо, Мартин,— ответил Бочонек.

— Значит, надеюсь на вас!

— Железно! — воскликнул квартанер.

И Мартин пыхтя понесся дальше. Он присоединился к своим друзьям и, чтобы остаться незамеченными, повел их к Форстерайштрассе окружным путем. Они остановились на Форверкштрассе, немного не доходя до угла Форстерайштрассе.

Вскоре к ним подошел Фридолин.

— Ну? — в один голос спросили все.

— Руди еще дома нету,— сказал он, едва переводя дух.— Служанка, к счастью, оказалась не так глупа, как кажется с первого взгляда. Она скажет профессору, если тот спросит, что я пригласил Руди пообедать.

— Значит, дело принимает серьезный оборот,— удовлетворенно заметил Матиас.— Сейчас я быстренько смотаюсь в семнадцатый номер и разделаю Эгерланда под орех.

— Ты останешься здесь,— возразил Мартин.— Одной взбучкой тут ничего не добьешься. Если ты даже отор-

вешь Эгерланду голову, мы все равно не узнаем, куда они дели Крейцкамма и тетради. Для тебя еще найдется дело. Подожди немного.

— Это мне надо, скорее, пойти,— сказал Себастьян Франк, и тут он был прав.— Я отправлюсь как парламентар. Может быть, удастся уладить дело путем переговоров.

— Только тебе и идти,— недоверчиво усмехнулся Мартин.

— Во всяком случае, я разузнаю, где спрятан Руди,— сказал Себастьян.— Это тоже чего-нибудь стоит.

И он пошел. Мартин проводил его.

Матиас прислонился к фонарному столбу, достал из кармана записную книжку и зашевелил губами, будто что-то подсчитывая.

Ули снова мерз.

— Что ты там считаешь, Матц? — спросил он.

— Свои долги,— мрачно признался Матиас.— Придется еще потрясти моего старика.— Он закрыл книжку, спрятал ее и сказал: — Фридолин, одолжи мне десять пфеннигов! Сделай доброе дело. Ты получишь их назад самое позднее послезавтра. Мой старик пишет, что выслал деньги на поездку и сверх того еще двадцать марок. Если я сейчас чего-нибудь не съем, я не смогу драться.

— Это же прямо вымогательство,— сказал Фридолин и дал ему десять пфеннигов.

Матиас стрелой понесся в ближайшую булочную. Он возвратился, радостно жуя, и протянул товарищам кулек. В нем были булочки. Но никто не откликнулся. Фридолин усиленно наблюдал за углом улицы. А Джонни Тротц так уставился на витрину лавки колониальных товаров, как будто там были выставлены по меньшей мере сокровища инков. Они уже знали это за ним. И на что бы он ни смотрел, он делал такие глаза, как будто бы видел это впервые. Поэтому говорил он совсем мало. Он надолго ото всего отключился.

Тут Мартин зашел за угол и, кивнув им, исчез в угловом доме. А Ули порадовался аппетиту Матиаса и сказал:

— Вот Мартин, это парень! Верно ведь? Как он выставил приманеров из гимнастического зала!

— Мартин, пожалуй, самый забавный примус в Европе,— проговорил Матиас, продолжая жевать.— Он до отвращения старателен и, несмотря на это, нечестолобив. С тех пор, как он в школе, он первый ученик, и, несмотря на это, в каждой серьезной потасовке он с нами. Он платит половину за обучение и борется за стипендию, но он

никого ни о чем не просит. И приманер ли перед ним, или учителяшка, или восточный владыка, если он прав, он бьется, словно стадо диких обезьян.

— Я думаю, он берет пример с Юстуса,— сказал Ули так, словно открывал большую тайну.— Он любит справедливость так же, как и Юстус. И будет, наверное, таким же, как он.

Себастьян позвонил на Форстерайштрассе, семнадцать, на третьем этаже, к Эгерландам. Открыла женщина. Она неприязненно взглянула на него.

— Я учусь с вашим сыном в одном классе,— сказал Себастьян.— Можно мне с ним поговорить?

— Сегодня тут прямо как проходной двор,— пробурчала женщина.— Что это такое происходит с вашим братом? Один просит ключ от подвала, чтобы поставить санки. Другому срочно требуется бельевая веревка. Входят без конца в квартиру и завозили мне весь ковер.

Себастьян как следует вытер ноги о плетеный соломенный коврик и спросил:

— Он сейчас один, фрау Эгерланд?

Она недовольно кивнула и позволила ему пройти.

— Вон его комната.— Она показала на дверь в глубине коридора.

— Ах, я совсем забыл, вам вернули уже ключ от подвала?

— Ты тоже хочешь поставить санки? — ворчливо спросила она.

Он кивнул головой:

— Но нет срочности, фрау Эгерланд,— сказал он и, не постучав, вошел в комнату вражеского предводителя.

Реалист Эгерланд от удивления подпрыгнул на стуле.

— Что это значит? — воскликнул он.— Гимназист?!

— Я в некотором роде конный курьер,— сказал Себастьян.— Я парламентар и прошу это учитывать.

Эгерланд наморщил лоб.

— Тогда повяжи на руку, по крайней мере, хоть носовой платок. Иначе тебе будет плохо, если тебя схватят мои люди.

Себастьян достал носовой платок.

— Он, правда, уже не слишком белый,— сказал он со смехом и с помощью левой руки и зубов повязал его на правую.

— И чего же ты хочешь? — спросил Эгерланд.

— Мы предлагаем вам выдать гимназиста Крейцкамма и вернуть нам тетради для диктантов.

— И что вы даете за это?

— Ничего,— холодно сказал Себастьян.— Наши люди на марше и будут биться за пленника, если вы его не выдадите добровольно.

Эгерланд рассмеялся:

— Сперва вам надо узнать, где он. Только тогда вы можете попытаться его освободить. Это две вещи, которые потребуют немало времени, милейший.

— Я протестую против такой фамильярности,— строго заявил Себастьян.— Я тебе не «милейший», понимаешь? Кроме того, я позволю себе заметить, что вам не следовало приниматься за Руди Крейцкамма. Вы что же, собираетесь его целый день продержать взаперти? Это вам грозит большими неприятностями. Но — к делу. Какие вы ставите условия?

— Вы должны выполнить одно-единственное условие,— сказал Эгерланд.— Вы немедленно напишете нам письмо, в котором извинитесь за то, что порвали наше знамя, и попросите, чтобы мы сообразовались выдать вам пленника и вернуть тетради.

— А в противном случае?

— В противном случае мы сожжем ваши тетради для диктантов, а Крейцкамм останется в плену. Могу тебя заверить, что так и будет, если вы не подумаете написать письмо! А кроме того, он будет бит по щекам! Каждые десять минут — шесть пощечин.

— Условие, само собой разумеется, неприемлемое,— сказал Себастьян.— Я в последний раз требую выдать Крейцкамма и вернуть тетради без всяких условий!

— Даже не подумаем,— решительно ответил Эгерланд.

— Тогда моя миссия здесь закончена,— сказал Себастьян.— Через десять минут мы приступаем к освобождению пленника.

Эгерланд взял со стола черный платок, открыл окно, вывесил платок наружу и возопил:

— Ахой!

Затем он закрыл окно, ехидно усмехнулся и сказал:

— Пожалуйста, берите его!

Они холодно поклонились друг другу, и Себастьян поскорее покинул квартиру.

Когда он вернулся к своим, как раз прибыли квартиранеры под командой Бочонка. Около двадцати мальчиков собралось на Форверкштрассе. Пальцы у них коченели, они с нетерпением ждали парламентаря.

— Мы должны направить им письменное извинение за разорванное знамя,— доложил Себастьян,— и еще просить о выдаче пленника и тетрадей.

— Это же курам насмех! — воскликнул Матиас.— Пошли, ребята! Покажем им, где раки зимуют!

— А куда делся Мартин? — озабоченно спросил Ули.

— И где же, собственно, сейчас Крейцкамм? — спросил Джонни Тротц.

— Я думаю, они заперли его в подвале Эгерланда и связали,— сказал Себастьян.— Фрау Эгерланд говорила, что ключ от подвала они просили и еще бельевую веревку.

— Так пошли же! — вскричал Фесхен.

И остальным уже невмоготу было ждать.

Тут примчался Мартин:

— Пошли! Они уже собираются во дворе!

Себастьян сообщил обо всем Мартину.

— Где же ты пропадал все это время? — спросил Ули.

Мартин указал дом на углу Форверкштрассе:

— Оттуда хорошо просматривается двор Эгерланда. Он выбросил черный флаг и прокричал «Ахой», и теперь банда из окружающих домов приближается.

Он огляделся вокруг, посчитал.

— Нас хватит,— сказал он успокоенно.

— Ты, наверное, даже знаешь, куда они спрятали Крейцкамма? — ревниво спросил Себастьян.

— Да, в подвале у Эгерланда. И несколько реаллистов охраняют его. Нам нужно скорее выступать. Иначе их там соберется еще больше. Надо атаковать двор и овладеть подвалом. Половина под командой Джонни проникнет с улицы в дом. Другая половина нападет со мной из-за угла дома, в котором я только что был, и, перевалив через стену, нанесет удар сбоку. Но несколькими минутами позже.

— Одну минутку,— сказал кто-то позади них.

Все испуганно обернулись. Это оказался улыбающийся Некурящий.

— Здравствуйте! — закричали все и улыбнулись в ответ.

— То, что вы собрались тут делать, не годится. У Эгерланда уже тридцать мальчиков. Я их как раз сейчас видел. Да и потом, эта ваша война вызвала такой переполох, что вызван наряд полиции.

— И тогда достанется обоим школам,— разочарованно сказал Ули.— И такой скандал накануне Нового года. Матиас укоризненно взглянул на малыша.

— Но ведь это же так и есть,— смущенно сказал Ули.

— Так что же вы нам посоветуете? — спросил Мартин.

— Видите, вон на той стороне — строительная площадка. Вы вызовете реалистов туда. А потом вы устроите единоборство. Для чего же вам всем колошматить друг друга? Вы и они выставите по представителю. Вполне достаточно, чтобы подрались двое. Если выиграет ваш представитель, они должны освободить вашего пленника без всяких условий.

— А если выиграет реалист? — с усмешкой спросил Себастьян.

— Черт возьми! — сказал Матиас.— Да ты что, спятил? Мне надо только съесть еще булочку.— Он полез в кулек и принялся жевать.— Реалисты выставляют Ваверку. А я с ним справлюсь одной левой.

— Хорошо! — крикнул Мартин.— Попробуем так и сделать! Себастьян, валяй, позови их на строительную площадку! А мы пойдем туда.

— На всякий случай наготовьте снежков! — крикнул Себастьян.— Вдруг что-нибудь не так.— И он завернул за угол.

Глава четвертая

содержит единоборство с техничным нокаутом; вероломство реалистов; душевный конфликт Эгерланда; полный таинственности план битвы Мартина; множество пощечин в подвале; горсточку пепла; разрешение побеждать и отступление Эгерланда

На одной стороне строительной площадки стояли гитлеровцы, на другой — реалисты. Они обменивались злобыми взглядами. На середине площадки состоялась официальная встреча обоих предводителей. Себастьян как парламентар препроводил туда Эгерланда.

— Наши противники согласны с предложением,— сказал он Мартину.— Значит, единоборство состоится. Они выставляют Генриха Ваверку.

— От нас выступит Матиас Зельбман,— объявил Мартин.— Он предлагает, чтобы борьба продолжалась до тех пор, пока один из противников не сойдет с ринга или будет неспособен защищаться.

Эгерланд взглянул на Ваверку, большого плотного парня. Ваверка мрачно кивнул, и Эгерланд сказал:



— Мы принимаем условия борьбы.

— Если наш представитель победит,— сказал Себастьян,— вы без всяких условий выдаете нам пленника и тетради. Если Ваверка выиграет, вы можете их оставить.

— И тогда вы напишете письмо с извинением? — с издевкой спросил Эгерланд.

— Во всяком случае, мы снова начнем переговоры,— сказал Мартин.— Может быть, даже напишем письмо. Но сначала состоится поединок.

— Я прошу предводителей возвратиться к своим людям! — прокричал Себастьян.

Площадка между двумя враждующими армиями опустела. Слева из рядов реалистов вышел Ваверка. Справа навстречу ему — Матиас.

— Ахой! — заорали реалисты.

— Железно! — завопили гимназисты.

И вот два бойца, выжидая, стоят друг против друга. Стало тихо. Ожидали открытия военных действий. Казалось, ни один, ни другой и не собирались нападать.

Но вдруг Ваверка молниеносно нагнулся, схватил противника за ноги. Матиас во весь рост свалился на снег. Ваверка накинута на него и стал колотить.

Реалисты завизжали от восторга. Гимназисты были испуганы, а Ули, который от холода и от волнения щелкал зубами, беспрестанно твердил себе под нос:

— Матц, будь, пожалуйста, поосторожней! Матц, будь же поосторожнее! Матчик, держись!

Вдруг Матиас схватил Ваверку за правую руку и медленно, но неумолимо вывернул ее. Ваверка выругался, как извозчик. Но это не помогло. Ему пришлось уступить и скатиться в сторону. Тут Матиас схватил его и сунул лицом глубоко в снег. Реалист только дрыгал ногами. Воздуха ему стало не хватать.

Матиас внезапно отпустил его и отскочил шага на три назад, ожидая следующего наскока. Левый глаз у него припух. Ваверка кряхтя поднялся, выплюнул с полфунта снега и злобно бросился на Матиаса. Но тот присел и реалист перекувырнулся через него. И опять в глубокий снег. Гимназисты смеялись и потирали руки. Матиас повернулся к своим друзьям и крикнул:

— Теперь я начну первым!

Ваверка поднялся, сжал кулаки и ждал. Матиас подошел поближе, размахнулся и ударил. Тот нанес ответный удар. Матиас снова ударил. И некоторое время так они лупцевали друг друга без заметного успеха. Вдруг Матиас нагнулся. Ваверка опустил кулаки, чтобы защитить корпус. Но Матц быстро выпрямился и нанес удар по неприкрытому подбородку реалиста.

Ваверка покачулся, закружился, как пьяный, и не мог больше поднять рук. Он совершенно ничего не соображал.

— Давай, Матц! — закричал Себастьян. — Сделай его!

— Нет, — крикнул в ответ Матиас. — Он должен сначала немного прийти в себя.

Ваверка с большим трудом нагнулся, сунул себе за ворот куртки изрядную порцию снега. Это приободрило его. Он снова поднял кулаки и ринулся на Матиаса. Тот отпрыгнул в сторону. Ваверка промчался мимо него. Реалисты завопили:

— Ахой!

Ваверка остановился, огляделся вокруг, как бык на арене, и прорычал:

— Ну-ка подойди, подойди, паршивец!

— Минутку, — сказал Матиас и шагнул к нему, угрожая выставив кулак.

Ваверка с яростью набросился на него. Так как он снова открыл голову, то получил такую затрещину, что тут же уселся. Он снова поднялся, шатаясь, поковылял к Матиасу, и был тут же добит парой звучных ударов. Собственно, в них уже и не было необходимости. Он был полностью разбит. Матиас схватил потерявшего способность сопротивляться Ваверку за плечи, повернул вокруг и дал пинка. Как заводная кукла, заспотыкался тот из круга борьбы в безмолвную группу реалистов. И если бы они не удержали его, он так бы проковылял и дальше.

Матиаса восторженно приветствовали. Все пожимали ему руки, Ули весь расплылся в улыбке.

— Ну и страху же я за тебя натерпелся,— сказал он.— Глаз очень болит?

— Ни капли,— растроганно буркнул победитель.— Ты не ликвидировал мою последнюю булочку?

Малыш протянул ему кулек, и Матиас снова принялся жевать.

— Ну вот, теперь скорее вызволять Крейцкамма! — крикнул Фесхен.

Но произошло иное. Вперед вышел Эгерланд и со смущением на лице заявил:

— Я очень сожалею, но мои люди не хотят возвращать вам пленника.

— Но такого же не может быть,— сказал Мартин.— Мы ведь совершенно определенно договорились! Не можете же вы так просто взять и нарушить слово!

— Я согласен с этим,— сказал Эгерланд, опуская глаза.— Однако они отказываются меня слушать. Я ничего не могу с ними сделать.

Мартин схватился за свою рыжую голову.

— Это немыслимо! — воскликнул он вне себя.— Да это просто бесстыдство!

— Черт возьми! Если бы я знал, я бы сделал из Ваверки фрикасе,— сказал Матиас, продолжая жевать.— Ули, как пишется «фрикасе»!

— С одним «с»,— ответил Ули.

— Ну, я бы сделал из него фрикасе с двумя, даже с четырьмя «с»! — сказал Матиас.

— Мне эта история очень неприятна,— сказал Эгерланд.— И, хотя я согласен с вами, я же должен прислушаться к своим людям. Ведь правда?

— Конечно,— сказал Себастьян.— Типичный пример конфликта дела и долга. Такое бывало нередко.

Через площадку медленно прошел Некурящий, одобрительно подмигнул Матиасу и спросил, что тут, собственно, происходит. Себастьян объяснил положение дел.

— Ну и ну! — удивился Некурящий. — Это сегодня-то среди мальчишек оказываются такие негодяи? Я очень сожалею, Мартин, что порекомендовал вам единоборство. Такое, конечно, возможно только среди порядочных людей.

— Господин, они совершенно правы, — сказал Эгерланд. — И единственное, что я могу сделать, это передать себя в руки гимназистов в качестве заложника. Мартин Талер, я ваш заложник!

— Браво, мой мальчик! — сказал Некурящий. — Но в этом, конечно, нет никакого смысла. Сколько же вас еще сегодня пересажать?

— Ладно, — сказал Мартин; лицо его было бледно и серьезно. — Иди к своим людям и сообщи им, что мы через две минуты нападём. Это будет последняя борьба между нами и вами. С нарушителями слова мы больше не боремся. Мы их просто презираем.

Эгерланд молча поклонился и побежал прочь.

Мартин спешно созвал мальчиков и тихо сказал:

— Слушайте внимательно! Через несколько минут вы по всем правилам начнете сражение снежками. Командовать будет Себастьян. Мы с Матиасом и Джонни Тротцом совершим небольшую прогулку. И беда, если вы выиграете битву прежде, чем мы воротимся! Ваша задача — задержать здесь реалистов! Вам надо даже немножко отступить. А они станут вас преследовать.

— Ну, мне этого не понять, — сказал Фесхен, нагнулся и стал лепить снежок.

— Отличнейший план, — сказал Себастьян с горячим одобрением. — Можешь на меня положиться. Уж у меня тут будет полный порядок.

Ули, которому больше всего хотелось быть с Матиасом, подошел к Мартину:

— Можно и мне с вами?

— Нет, — отрезал Мартин.

— Ну, Ули! — крикнул Себастьян. — Тебе необходимо быть с нами, ведь предстоит отступать. Ты же в этом такой спец.

У Ули на глазах выступили слезы.

Матиас замахнулся на Себастьяна.

— погоди уж, погоди! — пробурчал он. — Неохота сейчас сводить личные счета.

Полетели первые снежки. Себастьян подал команду. Битва на строительной площадке началась.

Некурящий сказал Ули:

— Выше голову, мальчик! — Кивнул остальным: — Ни пуха ни пера вам, шалопаи. У вас есть Мартин. Я вам тут ни к чему.

— Железно! — проорали ему в ответ.

Веселый и довольный, он зашагал среди свистящих снежков домой, в свой железнодорожный вагон.

Себастьян носился от одной группы к другой. Вероломство страшно разозлило гимназистов, они готовы были стереть реалистов в порошок. Особенно не терпелось Фесхену:

— Так давай же наконец приказ а-а-а...

«Атаковать», хотел сказать он, но тут вражеский снежок залепил ему рот, лицо у него сделалось удивленное, и все рассмеялись.

— Ты хоть и не понял, почему нам не надо побеждать, но все-таки подчиняйся,— сказал Себастьян.

Он оглянулся на Ули. У того замерзли руки, и он спрятал их в карманы штанов. Заметив взгляд Себастьяна, поскорей вытащил их и принял участие в бомбардировке.

Между тем Мартин, Джонни и Матиас промчались по Форверкштрассе, нырнули в угловой дом, выскочили во двор, перемахнули через стену и оказались у входа в дом, где жил Эгерланд.

— Вон подвальная дверь,— прошептал Мартин.

Матиас осторожно нажал на ручку, и все трое бесшумно спустились по скользким ступеням. Тут была полнейшая темнота. Пахло старым картофелем.

Ощупью пробирались они по тесному, узкому проходу. Несколько раз поворачивали за угол. И вдруг Джонни дернул Мартина за рукав. Они остановились: в боковом проходе был виден свет. Они медленно подобрались поближе и услышали незнакомые мальчишеские голоса.

— Курт,— сказал один.— Вот уже и опять десять минут.

— Ну тогда еще поработаем,— ответил второй голос.— У меня уже заболела рука.

Послышалось шесть звонких ударов. И снова стало тихо, как в могиле.

— Больше всего меня удивляет, что вам ни капли не стыдно,— неожиданно сказал третий.

— Это Крейцкамм,— прошептал Джонни.

И они стали пробираться дальше, пока не увидели, что тут происходит. За приотворенной дощатой дверью стояли два реалиста, а на старом шатком кухонном стуле сидел Руди Крейцкамм. Он был связан веревкой и не мог пошевелиться, а щеки у него были неестественно красны. На столе горели три свечных огарка. В дальнем углу, среди торфяных брикетов и угля, была поставлена елка. Отец Эгерланда купил ее два дня назад.

— Уж я отблагодарю вас, когда друзья освободят меня! — со злостью сказал Крейцкамм.

— До того времени ты тут успеешь заплесневеть, — ответил один из реалистов.

— Не позже чем через час они узнают, где я нахожусь, — уверенно возразил Крейцкамм.

— Значит, тебе предстоит еще изрядная порция оплеух, — сказал второй. — За десять минут — шесть штук. А за час это будет тридцать шесть.

— Прикладная математика! — воскликнул первый и захохотал так, что задрожали своды подвала. — Может быть, твои люди явятся даже раньше, а?

— Может быть, — сказал Крейцкамм.

— Тогда на всякий случай сунем тебе еще полдюжины. Так сказать, задаток. Куртик, отпусти-ка ему на пользу.

Реалист, которого называли Куртиком, подошел к стулу Крейцкамма, размахнулся левой рукой и ударил. Потом размахнулся правой, ударил.

— Это будет два, — сказал он и снова размахнулся левой.

Но тут рядом с ним уже оказался Матиас, и третью пощечину получил сам Курт.

Он с треском плюхнулся на рождественскую елку Эгерланда, да так и остался сидеть в колючих ветвях, с воем ухватившись за левую щеку. Мартин скрутил второго реалиста двойным нельсоном так, что у того голова кругом пошла. А Джонни отвязал Крейцкамма.

— Скорее! — крикнул Мартин. — Через две минуты мы должны быть на строительной площадке.

Руди Крейцкамм потянулся. Кости у него ломило. Щеки опухли так, как будто бы рот у него был набит клецками.

— Я тут сидел с половины второго, — сказал он и пнул стул ногой. — А сейчас — четыре. И каждые десять минут — шесть пощечин.

— Это действительно не шутка, — сказал Мартин и взял бельевую веревку.

Они поставили реалистов спина к спине и на совесть связали.

— Так,— сказал Мартин.— Теперь верни негодьям пощечины! Два с половиной часа, это сто пятьдесят минут. Сколько же это пощечин, Курт?

— Девяносто,— с плачем ответил Курт.— Сорок пять пощечин на каждого.

— На это у нас времени нету,— заметил Матиас.— Я выдам каждому по одной-единственной. Они вполне заменят Рудиных девяносто.

Тут завыл уже и второй реалист.

— Руди, а где же наши тетради для диктантов? — спросил Мартин.

Крейцкамм показал в угол.

— Я их не вижу,— сказал Мартин.

— Посмотри получше,— ответил Крейцкамм.

В углу лежала кучка пепла. Можно было различить в ней обугленные лоскуточки бумаги и краешки голубых обложек.

— Небо праведное! — воскликнул Матиас.— Это были наши тетради?

Крейцкамм кивнул:

— Они сожгли их у меня на глазах.

— Это порадует твоего старика,— сказал Мартин.

Он взял свой носовой платок, насыпал в него пеплу, завязал осторожно платок узлом и сунул сожженные тетради для диктантов в карман брюк.

— Это неплохо можно обыграть,— проговорил Джонни.

Матиас с удовлетворением потер руки:

— Я сделаю урну для пепла,— объявил он.— И мы захороним наши тетради для диктантов у Некурящего в саду. И — никаких соболезнований.

Мартин подумал и сказал:

— Руди, ты мчи сейчас домой! Если отец спросит о тетрадях, скажи, будто бы они в школе и будто бы я должен ему их передать на первом уроке. Ладно? Больше ничего не рассказывай. А мы быстренько отлупим реалистов и тоже разбежимся по домам. Красавчик Теодор, конечно, нас уже поджидает. Пошли!

Они оставили подвал. Только Матиас несколько задержался. Остальные уже поднимались по лестнице, когда услышали один за другим два звонких шлепка, и двое мальчишек взвыли, как побитые псы.

Во дворе Матиас догнал остальных.

— Теперь, должно быть, хватит,— сказал он.— Чтобы не вздумали опять сажать гимназистов в подвал.

Крейцкамм попрощался у двери дома.

— Конечно, спасибо вам большое,— сказал он и протянул руку.— Дайте им как следует!

— Железно! — воскликнули друзья и устремились за угол.

Крейцкамм осторожно потрогал свои щеки, покачал головой и направился домой.

Не доходя до стройки, Мартин велел остановиться.

— Джонни,— сказал он,— беги скорее к ребятам и крикни Себастьяну, что пора наступать! Ясно? Значит, сразу же атакуйте. А как только вы схватитесь с ними врукопашную, мы с Матиасом нападём на них с тыла. Давай!

Джонни побежал так, словно дело шло о жизни и смерти.

Мартин и Матиас наблюдали за происходящим сквозь щель в заборе. Гимназисты с Себастьяном во главе сгрудились в углу. Сыпался град снежков. Реалисты кричали «Ахой!» и уже чувствовали себя победителями.

— Ты не видишь Ули? — спросил Матиас.

— Нет, не вижу,— сказал Мартин.— Стоп, Матц! Скорей через забор!

Они перемахнули через забор, и в самое время. Секунда в секунду. Себастьян хорошо справлялся со своим делом. Реалисты начали под его натиском отступать.

Матиас и Мартин пронеслись по площадке и ударили в спину отступающим. Кое-кто из них, упав в снег, так от страха и оставался лежать.

— Железно! — раздавалось со всех сторон.

От Матиаса удирали поодиночке, удирали и стайками. Только Эгерланд остался на месте. Его поцарапанное мрачное лицо было полно решимости и выглядел он, словно покинутый несчастный король. Фесхен разбежался к нему.

Но Мартин остановился рядом с вражеским предводителем и крикнул:

— Пусть он свободно уходит! Он один вел себя достойно и смело до конца.

Эгерланд повернулся. Разбитый и одинокий, он оставил поле битвы.

Потом к друзьям подбежал Фридолин:

— Крейцкамм освобожден?

Мартин кивнул.

— А тетрадки для диктантов? — с интересом спросил Фесхен.

— Они у меня в носовом платке, — сказал Мартин и показал удивленной толпе останки.

— Ну и ну, — покачал головой Себастьян.

— А где же Ули? — спросил Матиас.

Фесхен показал большим пальцем назад. Матиас пошел в самый дальний угол площадки. Там, на доске, уставившись в снег, сидел Ули.

— Что же случилось, малыш? — спросил Матиас.

— Ничего особенного, — тихо ответил Ули. — Я сегодня опять что-то струсил. Ваверка бежал прямо на меня. Я уже совершенно решился сделать ему подножку. Но как только увидел его лицо — не смог.

— Да, у него ужасная рожа, — заметил Матиас. — Мне бы тоже, пожалуй, стало нехорошо, если бы он бросился на меня.

— Ты хочешь утешить меня, Мацик, — сказал Ули. — Но дальше так невозможно. Скоро должно что-нибудь произойти.

— Ну ладно, идем, — сказал Матиас. — Все уже собираются восвояси.

И они, такие непохожие друг на друга, побежали вслед за остальными. Бег на длинную дистанцию привел их назад, в школу. Прямо в лапы Красавчику Теодору.

Разбитая армия реалистов собралась во дворе дома семнадцать по Форстерайштрассе. Они дождались Эгерланда.

Он был серьезен и сказал:

— Освободите пленника!

— И не подумаем! — ответил Ваверка.

— Тогда делайте, что хотите, и поищите себе другого предводителя, — сказал Эгерланд и, ни на кого не взглянув, пошел в дом.

Остальные с воплем кинулись в подвал. Они хотели выместить свою злобу на пленнике.

Вместо пленника они обнаружили двоих своих! Они переглянулись, лица у них вытянулись, и им стало стыдно.

Так благополучно это завершилось.

Глава пятая

содержит встречу с Красавчиком Теодором; дебаты о правилах внутреннего распорядка; неожиданную похвалу; справедливое наказание; очень длинный рассказ воспитателя и суждение о нем мальчиков

Было уже далеко за полдень, шестой час. Снег больше не шел, но тяжелые облака нависли над самой землей. Зимний вечер опускался на город. Это был один из немногих, один из последних вечеров перед прекраснейшим в году вечером. И, глядя на многочисленные окна многих домов, нельзя было не подумать о том, что через несколько дней огоньки новогодних свечек будут озарять темные улицы. И что хорошо бы тогда уже быть дома, с родителями, у собственной новогодней елки.

Освещенные лавки были украшены елочными ветками и стеклянными блестками. Взрослые со страшно таинственными лицами бегали с пакетами из одного магазина в другой. В воздухе так пахло пряниками, словно ими были вымощены улицы.

Пятеро мальчиков, запыхавшись, бежали в гору.

— Я получу к Новому году грушу,— сказал Матиас.— Юстус наверняка разрешит мне укрепить ее в гимнастическом зале. Люди, это ведь будет вещь!

— Твой глаз стал еще меньше,— заметил Ули.

— Ничего. Это ведь связано с профессией.

Они приблизились к школе. Они ее уже видели. Она была расположена высоко над городом. Своими освещенными этажами она напоминала огромный, плывущий ночью по морю океанский пароход. Высоко-высоко, в левой башне, поблескивали два одиноких окна. Там жил доктор Иоганн Бёк, воспитатель.

— Нам, собственно, задано что-нибудь по арифметике? — спросил Джонни Тротц.

— Да,— сказал Мартин.— Задачи на проценты. Но это детская забава. Я сделаю их после ужина.

— А я спишу их у тебя завтра утром,— сказал Себастьян.— Жалко времени. Я сейчас как раз читаю труд по генетике. Это гораздо интереснее.

Мальчики пыхтели, поднимаясь в гору. Под их ногами скрипел снег.

Перед воротами школы кто-то расхаживал и курил сигарету. Это был Красавчик Теодор.



— Вот они и тут, милые детки! — язвительно произнес он. — Потихоньку сгоняли в кино, да? Надо думать, уже не в первый раз. За это полагается наказание.

— Это был такой восхитительный фильм! — с ходу солгал Себастьян. — И у главного героя с вами колоссальное сходство. Только он не такой симпатичный.

Матиас засмеялся, а Мартин сказал:

— Оставь, пожалуйста, свои глупости, Сеп!

— А, и вы тоже тут! — воскликнул Красавчик Теодор, делая вид, что только сейчас заметил Мартина. — Не могу понять, за что такому вертопраху дают стипендию?

— Только не ворчите, — сказал Джонни. — Вы еще молоды.

Красавчик Теодор взглянул так, словно готов был извергнуть пламя.

— Ну так пошли со мной, молодчики! Доктор Бёк вас уже давно поджидает.

Они пошли по винтовой летнице флигеля-башенки. Приманер, как полицейский, карабкался позади них, как будто бы боялся, что они удержат.

Минуту спустя они все вместе стояли в кабинете перед Юстусом.

— Вот беглецы, господин доктор,— медоточивым голосом доложил Красавчик Теодор.

Бёк сидел за письменным столом и смотрел на пятерых тертианеров. Ни один мускул на его лице не выражал, что он думает. А все пятеро выглядели прямо-таки общественно опасными субъектами. У Матиаса заплыл глаз. У Себастьяна — до колен разорваны брюки. Лицо и руки Ули от холода посинели. Растрепанные волосы Мартина падали ему на лицо. У Джонни кровоточила верхняя губа: в снежке, который попал в него, оказался камень. Снег, тая на пяти парах ботинок, образовал пять маленьких луж.

Доктор Бёк поднялся и подошел вплотную к пятерым обвиняемым.

— Что гласит соответствующая статья правил внутреннего распорядка, Ули?

— Ученикам интерната запрещается покидать школьное здание, кроме как во время увольнения,— робко ответил Малыш.

— Есть ли какие-нибудь исключения, Матиас?

— Конечно, господин доктор, если кто-нибудь из учителей предписывает или разрешает покинуть школу,— отрапортовал Матц.

— Кто из учителей разрешал вам отлучиться в город? — спросил воспитатель.

— Никто,— ответил Джонни.

— По чьему разрешению вы отсутствовали?

— Мы улизнули без разрешения,— объяснил Матиас.

— Это не так,— сказал Мартин.— Это я велел им следовать за мной. Я один за это в ответе.

— Твоя готовность брать на себя ответственность мне достаточно известна, дорогой Мартин,— строго сказал доктор Бёк.— Но ты не должен злоупотреблять ею!

— Он и не злоупотреблял! — воскликнул Себастьян.— Нам надо было быть в городе. И очень срочно.

— Почему же вы не спросили разрешения у соответствующего лица, у меня?

— Вы, сославшись на распорядок, отказали бы нам,— сказал Мартин.— А мы, несмотря на это, все равно должны были бежать в город! И это было бы гораздо хуже!

— Как! Вы бы действовали вопреки моему категорическому запрету? — спросил Юстус.

— Конечно, — ответили все пятеро.

— К сожалению, — робко добавил Ули.

— Да это же просто возмутительно, господин доктор! — заметил Красавчик Теодор и покачал головой.

— Я затрудняюсь что-либо ответить на вашу оригинальную реплику, — сказал доктор Бёк, а Красавчик Теодор покраснел, как рак. — Зачем же это вам так надо было в город? — спросил учитель.

— Опять из-за реалистов, — пояснил Мартин. — Они напали на нашего экстерна. Этот экстерн и тетради для диктантов, которые должны были быть переданы профессору Крейцкамму, были захвачены ими. Другой экстерн сообщил нам об этом. И тут стало совершенно ясно, что нам надо немедленно быть там, чтобы освободить пленника.

— И вы его освободили? — спросил учитель.

— Конечно! — воскликнули четверо. Ули промолчал: он считал, что не имеет права положительно ответить на этот вопрос.

Доктор Бёк поглядел на заплывший глаз Матиаса и на разбитую губу Джонни.

— Не пострадал ли кто-нибудь? — спросил он затем.

— Никоим образом, — сказал Мартин. — Никто.

— Только тетради для диктантов... — начал было Себастьян, но Мартин так сердито взглянул на него, что он запнулся.

— Что же случилось с тетрадями? — спросил Юстус.

— Они были сожжены в подвале на глазах у связанного пленника, — сказал Мартин. — Мы обнаружили только пепел.

— Пепел у Мартина в носовом платке, — радостно объявил Матиас. — Я сделаю для него урну.

Лицо доктора Бёка напряглось. На десятую долю секунды по нему скользнула усмешка, и оно снова стало серьезным.

— И что же дальше? — спросил он.

— Завтра с раннего утра я приготовлю список, — сказал Мартин. — Все наши товарищи по классу назовут мне отметки, которые у них были за диктовки с ноября месяца, я запишу их и вручу профессору Крейцкамму перед началом занятий заполненный список. А последний, еще не проверенный диктант мы должны будем написать еще раз.

— Вот, черт возьми! — пробормотал Матиас и весь затрясся.

— Я не знаю, устроит ли это профессора Крейцкамма,— покачал головой Юстус.— Не все же отметки остались у вас в памяти. И, несмотря на это, должен сказать, что действия ваши я одобряю. Вы, мальчишки, вели себя просто безупречно.

Пятеро мальчишек засияли, как пять маленьких лун. Красавчик Теодор попытался улыбнуться. Но попытка не удалась.

— Но то, что вы без разрешения покинули школу, все-таки остается нарушением,— сказал Бёк.— Садитесь на диван! Вы устали. Давайте подумаем, что же делать?

Пятеро мальчишек уселись на диван и с величайшим доверием смотрели на своего Юстуса. Приманер остался стоять. Но уж лучше бы ему совсем убраться.

Доктор Бёк походил взад и вперед по комнате и наконец сказал:

— Можно этот инцидент оценить совершенно объективно и ничего больше не делать, как только зафиксировать, что вы без разрешения отсутствовали. Какое наказание за это полагается, Себастьян?

— Лишение увольнения на две недели,— ответил мальчик.

— Но можно также принять во внимание и сопутствующие обстоятельства,— продолжал Юстус.— И если это сделать, тогда прежде всего несомненно то, что вы, как верные товарищи, во что бы то ни стало должны были быть в городе. И тогда ваш проступок состоит только в том, что вы забыли получить разрешение.

Он подошел к окну. Глядя сквозь стекло, он спросил:

— Почему же вы меня не спросили? Или вы не настолько мне доверяете? — Он повернулся к ним.— Но тогда я и сам заслуживаю наказания! Ведь тогда и я виноват в вашем проступке!

— Да нет же, дорогой доктор Юстус! — вне себя воскликнул Мартин, но он быстро справился с собой и задумчиво сказал: — Нет же, дорогой доктор. Мы надеемся, вы же знаете, как мы вас сильно... — Но нет, он не мог этого произнести; ему стыдно было признаться в том, что они сильно любят этого человека, стоящего у окна, и Мартин сказал: — Пока мы еще не ушли, я долго думал о том, надо ли нам у вас отпроситься. Но у меня было такое чувство, что это было бы не совсем верно. Я и сам точно не могу выразить, почему я этого не сделал.

Тут уж снова пришлось вмешаться мудрецу Себастьяну.

— Все очень логично,— прокомментировал он.— Тут могло быть два варианта: или вы отказываете в нашей просьбе, и тогда мы должны были бы поступить вопреки вашему запрету, или вы и в самом деле отпускаете нас, и тогда, если бы с кем-нибудь из нас что-нибудь случилось, ответственность за это пала бы на вас. И другие учителя и родители вас бы бранили!

— Пожалуй, что так,— сказал Мартин.

— Так-то уж вы заботились о моей ответственности! — возразил учитель.— Значит, вы меня только из-за того и не спрашивали, чтобы уберечь от неприятностей? Ну, прекрасно. Заслуженное наказание вы получите. Я лишаю вас первого послеобеденного увольнения после каникул. Этим будет отдано должное распорядку,— вопрошающе взглянул на приманера Бёк.

— Разумеется, господин доктор,— поспешил заверить Красавчик Теодор.

— И, отбывая во второй половине дня это наказание, вы, пятеро, будете здесь наверху моими гостями. Мы будем тут с вами болтать за кофе. Хотя это и не значит в правилах внутреннего распорядка, но я не думаю, что кто-нибудь будет возражать. Не так ли? — И он снова взглянул на приманера.

— Ни в коем случае, господин доктор,— пропел Красавчик Теодор, но уж лучше бы ему лопнуть.

— Вы согласны понести наказание? — спросил Бёк.

Мальчики радостно закивали, подталкивая друг друга локтями под ребра.

— Великолепно! — воскликнул Матиас.— И с пряниками?

— Будем надеяться,— сказал Юстус.— А прежде, чем выпроводить вас отсюда, я хочу рассказать небольшую историю. Потому что, мне кажется, что ваше доверие ко мне не столь велико, как бы это было вам нужно и как бы мне хотелось.

Красавчик Теодор повернулся и хотел потихоньку уйти.

— Нет, нет, вы тоже оставайтесь! — крикнул Бёк.

Он уселся за письменный стол, повернул свой стул и устремил взгляд в окно, в зимний вечер.

— Это было лет двадцать назад,— начал он.— И в те времена в этом доме были такие же мальчики, как вы, и такой же строгий приманер, и такой воспитатель. И жил он в этой самой комнате, в которой мы сейчас сидим... Эта история о маленьком тертианере, который

двадцать лет назад спал здесь в своей железной кровати, сидел на своем месте в классе и в столовой. Это был смелый и прилежный мальчик. Он мог протестовать против несправедливости, как Мартин Талер. Он мог подраться с любимым, если это было нужно, как Матиас Зельбман. Он сиживал порой по ночам на подоконнике в спальне и тосковал по дому, как Ули фон Зиммерн. Он читал страшно умные книги, как Себастьян Франк. И он бродил иногда по парку, как Джонатан Тротц.

Мальчики молча сидели друг возле друга на диване и, затаив дыхание, слушали.

Доктор Бёк продолжал:

— И вот однажды мать этого мальчика тяжело заболела. И из маленького родного местечка ее доставили в Кирхберг, в больницу, потому что иначе бы она умерла. Вы же знаете больницу, она на той стороне, на другом конце города. Большое красное кирпичное здание, с отдельными бараками позади, в саду.

Маленький мальчик был тогда очень расстроен. Он прямо не находил себе места. Когда мать очень плохо почувствовала себя, он убежал из школы, понесся через весь город в больницу, сидел там у кровати больной и держал ее горячие руки. Потом он сказал ей, что завтра придет снова, ведь следующий день у него был выходной, и побежал той же длинной дорогой назад.

У школьных ворот его уже ждал приманер. Это был один из тех, которые еще не доросли до того, чтобы благоразумно и великодушно использовать власть, которой их наделяли. Он спросил мальчика, где он был. Но мальчик скорее бы откусил себе язык, чем сказал бы этому человеку, что ходил к своей больной матери. Приманер в наказание лишил его увольнения на следующий день.

Но, несмотря на это, на следующий день мальчик убежал из школы: ведь мать ждала его! Он опять пересек весь город, целый час просидел у ее постели. Она чувствовала себя еще хуже, чем накануне, и попросила его прийти и на следующий день. Он пообещал ей и побежал назад в школу.

Приманер уже доложил воспитателю, что мальчик снова убежал, хотя покидать школу ему было запрещено. Мальчику пришлось подняться к воспитателю. Сюда. В эту комнату в башне. И он стоял тогда, двадцать лет назад, на том самом месте, где только что стояли вы. Воспитатель был человеком строгим. Он также был не из тех, кому мальчик мог довериться. И он молчал. Ему объявили, что ему надлежит четыре недели не покидать школы.

Но на следующий день он снова убежал. Тут уж, когда он вернулся, его препроводили к директору гимназии. Тот наказал его двумя часами карцера. Когда же на следующий день директор велел привратнику отпереть карцер и пришел туда, чтобы пробрать мальчика как следует, в карцере оказался совсем другой мальчик! Это был друг беглеца, и он дал себя запереть, чтобы тот, его друг, мог снова попасть к своей матери.

— Да,— сказал доктор Бёк,— вот это были друзья! Они и потом не расставались друг с другом. Они вместе учились. Они вместе жили. Они не расставались и когда один из них женился. Но потом у жены родился ребенок. И ребенок умер. Умерла и жена. А на следующий день после похорон исчез и муж. И его друг, историю которого я рассказываю, больше никогда о нем ничего не слышал.

Доктор Бёк подпер щеку рукой и взгляд его стал печальный-печальный.

— Директор,— наконец продолжил он,— был вне себя, когда вошел в карцер и обнаружил обман. Тут мальчик рассказал ему, почему его друг все время убегал, и эта история завершилась хорошим концом. А мальчик, мать которого лежала тогда в больнице, решил тогда, что он сам станет воспитателем в этой школе, в которой страдал оттого, что не мог никому полностью довериться. Станет для того, чтобы у мальчиков был человек, с которым они могли бы поделиться, когда у них тяжело на душе.

Юстус поднялся. Лицо его было одновременно и приветливо, и сурово. Он долго смотрел на мальчиков.

— И вы знаете, как звали этого школьника?

— Конечно,— тихо сказал Мартин.— Его звали Иоганн Бёк.

Юстус кивнул.

— И вот он теперь старается помочь вам выпутаться, вам, разбойникам!

На лестнице Матиас сказал:

— За этого человека, что здесь наверху, если потребуется, я готов в огонь и в воду.

Ули выглядел так, будто немного всплакнул, он сказал:

— И я — тоже.

Джонни, прежде чем они разошлись по разным комнатам, остановился в коридоре:

— А вы знаете, кто этот друг, который за него сидел в карцере и который бесследно исчез на следующий день после похорон? — спросил он.

— Ни малейшего понятия,— сказал Матиас.— Откуда же нам знать?

— Однако мы все его знаем,— сказал Джонни Тротц.— Он живет неподалеку отсюда, и он сегодня вздрогнул, когда услышал имя «Бёк».

— Ты прав,— сказал Мартин.— Ты определенно прав, Джонни! Мы знаем его пропавшего друга!

— Ну, говори же наконец! — нетерпеливо воскликнул Матиас.

И Джонни сказал:

— Это Некурящий.

Глава шестая

содержит картину с запряженным шестеркой экипажем; много веселья благодаря старой шутке; имя Балдуин; мокрый сюрприз; процессию привидений; животное, которое сыплет чесоточный порошок; Джонни на подоконнике и его планы на будущее

После ужина они опять поднялись в свою классную комнату. Мартин выполнил задание на следующий день по арифметике и приготовил список, в который он хотел внести отметки за сожженные диктанты. Матиас, которого он спросил, не мог ничего припомнить.

— Напиши мне за каждый диктант по четверке,— предложил он наконец.— Я думаю, что и в этом случае я неплохо отделаюсь.

Потом Мартин взял у привратника молоток и гвозди и принялся со страшным шумом наколачивать на стены еловые ветви, пока обитатели соседней комнаты не прислали нарочного, спросить, не спятили ли тут.

Красавчик Теодор, старший комнаты номер девять, был неузнаваем. Когда Мартин спросил, нельзя ли ему пойти в другие комнаты, чтобы собрать отметки, приманер сказал:

— Само собой разумеется, мой мальчик. Но не слишком долго.

Матиас смущенно взглянул на Мартина. Другие обитатели комнаты, которые не знали, что произошло у Юстуса, так и разинули рты. А другой приманер, который сидел в комнате, от изумления выронил изо рта сигарету.

— Что с тобой, Тэо? Ты заболел?..

Мартину была неприятна эта сцена, и он быстренько убежал из комнаты. Побывав у остальных интернатских

тертианеров и внеся их отметки в список, он направился к Джонни Тротцу. Старшим по комнате у него был приятный малый.

— Ну что, Мартин, опять на военной тропе? — спросил он.

— Нет, — ответил Мартин. — На этот раз нет. Мы с Джонни собираемся обсудить новогодний сюрприз.

И они принялись шептаться друг с другом и договорились о том, что на следующий день после обеда затащат Юстуса в садоводство.

— Надеюсь, мы не ошибаемся, — сказал Мартин. — Иначе выйдет пренеприятнейшая история. Ты только представь себе, вдруг выяснится, что Некурящий и Юстус никогда даже не были знакомы!

— Это совершенно исключено, — решительно заявил Джонни. — В таких вещах я не ошибаюсь. Можешь на меня полностью положиться. — Он задумался. — И не забудь также о следующем: Некурящий определенно не случайно поселился со своим железнодорожным вагоном недалеко от нашей школы! Он, правда, захотел жить в уединении и сколько-то лет тому назад расстался со своим окружением, не оставив за собой следа. Но он все же не мог полностью порвать со своим прошлым. И, общаясь с нами, он вспоминает о своем собственном детстве. Я все это так хорошо понимаю, Мартин! Я как будто это сам пережил.

— Наверное, ты прав, дружище, — проговорил Мартин. — Оба будут рады! Ведь верно?

Джонни восторженно кивнул.

— И если мы увидим, что правы, — сказал он, — мы уж конечно не станем распускать нюни.

— Железно! — буркнул Мартин.

Он возвратился к себе в девятую комнату. Там он извлек из парты картину, которую нарисовал для своих родителей. Она была еще не совсем готова, и он продолжил работу над ней. Он собирался положить ее дома под елку. Завтра, самое позднее послезавтра, он получит деньги на поездку домой, которые ему, должно быть, уже выслала мать.

Картина была довольно чудная. На ней было зеленое озеро и покрытая снегом гора. На берегу озера росли пальмы и апельсиновые деревья с большими апельсинами на ветвях. По озеру плавали раззолоченные гондолы и лодка с буро-красным парусом. По набережной ехал голубой экипаж. Этот экипаж тащила шестерка серых в яблоках лошадей. В карете сидели родители Мартина в



воскресных костюмах. А на облучке экипажа сидел сам Мартин. Но он был старше, чем сейчас, и у него были элегантные темно-русые усы. Около экипажа стояли люди в ярких южных одеждах и махали руками. Родители Мартина приветливо раскланивались во все стороны, а Мартин салютовал кнутом.

Картина называлась «Через десять лет». Мальчик этим как бы хотел сказать, что через десять лет он будет зарабатывать так много денег, что родители смогут вместе с ним совершать путешествия в далекие экзотические страны.

Матиас посмотрел на картину, прищулив глаза, и сказал:

— Черт возьми! Ты определенно станешь такой же знаменитостью, как Тициан или Рембрандт. Я уже заранее радуюсь, что когда-нибудь смогу сказать: «Да, этот Мартин Талер был у нас раньше первым учеником. А кроме того, и отчаянный же был парень. Мы с ним любили иногда как следует поесть».

При слове «поесть» он почувствовал, что уже проголодался, и быстренько уселся за свою парту, в которой всегда находилось что-нибудь съедобное. На оборотной

стороне крышки парты были приколоты кнопками фотографии всех чемпионов мира по боксу.

Даже Красавчик Теодор удосужился взглянуть на картину Мартина и нашел в ней несомненное проявление таланта.

Вообще это был очень приятный вечер. Секстанеры и квинтанеры, склонившись друг к другу головами, рассуждали, какие списки желанных подарков они бы отправили домой. А потом обер-секунданер¹ Фриче принялся рассказывать историю, которая произошла перед обедом на уроках.

— Каждый год директор Грюнкерн регулярно выдает одну и ту же шутку,— говорил Фриче.— И эту шутку он всегда произносит, когда приходит в класс говорить о фазах Луны. Ежегодно, вот уже в течение двадцати с лишним лет, он говорит в начале своего урока: «Мы будем говорить о Луне. Ну-ка, смотрите на меня!»

— Так в чем же тут шутка? — спросил квинтанер Петерман.

— Ш-ш-ш! — зашикали на него, и он замолчал.

Красавчик Теодор сказал:

— У нас уже ни один дуралей над этим не смеется.

И в этот самый момент вдруг расхохотался квинтанер Петерман. Понял, в чем дело.

— Ну наконец-то дошло? — спросил Матиас.

Фриче продолжал:

— Мы поступили тут особенно хитро. Мы знали, что и сегодня будет эта шутка, и обо всем как следует договорились. Когда директор выдал свою знаменитую фразу, засмеялись на последних партах. Ему, конечно, это понравилось, и он уже хотел было продолжить разговор. Но тут засмеялся следующий ряд. И Грюнкерн порадовался еще раз.

Однако как раз, когда он собрался продолжать, засмеялся третий ряд. Тут у него вытянулось лицо. Ну а когда уж засмеялся второй, тут он прямо позеленел. А тут еще засмеялся самый первый ряд. Это его окончательно убило. А ведь только что был на коне. «Вам не понравилась моя шутка, господа?» — спрашивает он. Тут поднялся Мюльберг и говорит: «Нет, шутка-то неплоха, господин директор. Но отец рассказывал мне, что, еще когда он сам ходил в секунду, шутка уже была так стара, что ей бы уже быть на пенсии. И не лучше ли вам придум-

¹ Обер-секунданер — ученик старшего отделения второго, предвыпускного класса — секунды.

мать что-нибудь новенькое?» Грюнкерн задумался, а потом и говорит: «Пожалуй, вы правы». Да как выскачит среди урока из класса и оставил нас одних. И выглядел он так, будто оказался на своих собственных похоронах.

Фриче рассмеялся. Кое-кто посмеялся вместе с ним. Однако большинство, кажется, были не совсем согласны с секунданером.

— Не берусь судить,— сказал один,— но вам не следовало так обижать старого человека.

— Отчего же не следовало? — возмутился Фриче.— Да это же первейший долг любого учителяшки сохранять способность к трансформации. Иначе ученики могли бы по утрам валяться в кроватях и зубрить уроки по граммофонным пластинкам. Нет-нет, нам надо, чтобы учителя у нас были людьми, а не какими-нибудь двуногими консервными банками! Нам нужны учителя, которые должны развивать себя, если они хотят развивать нас.

Тут дверь раскрылась, и в комнату номер девять вошел директор гимназии, профессор, доктор Грюнкерн. Школяры моментально поднялись со своих стульев.

— Сидите, сидите,— сказал директор,— продолжайте работать. Все в порядке?

— Да, конечно,— доложил Красавчик Теодор.— Все в порядке, господин директор.

— Ну а это самое главное,— сказал старый человек, устало кивнул и пошел в следующую комнату.

— А если он, перед тем как зайти, подслушивал у дверей? — с любопытством спросил квинтанер.

— Тут уж я ему ничем не могу помочь,— жестко сказал Фриче.— Если бы он, когда был еще молод, захотел стать чиновником, он бы не был учителем.

Матиас наклонился к своему соседу, рыжеволосому секстанеру:

— Ты знаешь, какое у Грюнкерна имя?

Малыш еще не знал.

— Балдуином его зовут,— сказал Матиас.— Балдуин Грюнкерн. Он пишет всегда «Б» и ставит за ним точку. Наверное, стесняется¹.

— Оставь старого человека в покое! — сказал Красавчик Теодор.— Он нам нужен для контраста. Если бы не

¹ Б а л д у и н — имя, которое носили два бесславных императора Латинской империи, образованной на месте завоеванной крестоносцами Византии в Малой Азии, и пять не менее бесславных иерусалимских королей.

он, мы бы не знали, что такое доктор Бёк.

Второй приманер вытаращил глаза:

— Тео,— сказал он,— уж теперь-то мне ясно, что у тебя не все дома.

После вечерней молитвы все понеслись по большой парадной лестнице вниз, в гардеробную. Разделись и повесили костюмы. В длинных ночных рубашках снова помчались по лестнице вверх. Сперва в умывалку. Потом в спальни.

Приманеры должны были бодрствовать дольше. Только приманеры были инспекторами спальных комнат. Им полагалось находиться наверху и следить за тем, чтобы мальчики основательно помылись, почистили зубы и побыстрее ложились в кровати.

Укладывание в кровати было процедурой сложной. Нужно было сначала встать на кровать, завернуться как следует в огромное одеяло и лишь тогда, словно громом пораженному, броситься на матрас так, чтобы застонала железная рама кровати.

Во второй спальне произошел инцидент. Какой-то шутник сунул Матиасу под простыню целый таз воды. И когда Матиас, уставший от дневных приключений, как колода бухнулся в кровать, он оказался в воде. Лязгая зубами, он с проклятиями соскочил с кровати, выхватил из-под одеяла таз.

— Кто это?! — дико заорал он.— Какая подлость! Негодяй должен признаться! Я убью его! Я скормлю его тело птицам!

Вокруг смеялись. Только заботливый Ули прибрел в ночной рубашке и принес свою подушку.

— Трусые несчастные! — вопил Матиас.

— Ложись в постель! — крикнул кто-то.— А то застудишь свои спички.

— Тише! — крикнул другой.— Юстус идет.

Ули и Матиас шмыгнули в свои постели. Когда вошел доктор Юстус, в большой комнате стояла мертвая тишина. Мальчики лежали, словно уложенные рядами ангелы, крепко зажмурив глаза. Юстус прошел вдоль кроватей.

— Ну и ну! — громко произнес он.— Тут что-то не так. Если у мальчиков такая тишина, то определенно только что было светопреставление. Ну-ка, Мартин, отвечай!

— Ничего особенного, господин доктор. Немножко подуррачились.

— Больше ничего?

— Больше ничего.

Бёк пошел к двери.

— Спокойной ночи, сорванцы!

— Спокойной ночи, господин доктор! — рывкнули все.

А потом они и в самом деле спокойно и мирно улеглись в своих кроватях. Матиас зевнул, как лев, сунул подушку Ули между собой и мокрой простыней и моментально уснул. Вскоре заснули и остальные.

Один Ули долго не спал. Во-первых, у него не было подушки, а во-вторых, он опять размышлял о том, как он однажды вдруг наберется мужества... Потом он услышал зóрю. Это трубач на той стороне, в казарме, давал знать, что солдатам, которые ушли в увольнение, надо поспешить назад. Ули думал о своих родителях, о своих братьях и сестрах и о том, что через день он будет дома. На этом он с улыбкой и заснул.

Часом позже спящие испуганно вздрогнули. Из спальни номер один донесся дьявольский шум. И вдруг рука привидения распахнула дверь во вторую спальню. Шум стал невыносим. Несколько самых маленьких мальчиков спрятали головы под одеяла, позатыкали уши.

По темному помещению прошептались белые призраки. У одних в руках были мерцающие свечи, другие колотили друг о друга железными крышками от кастрюль, третьи ревели, как голодные быки. В завершении процессии ковыляло огромное белое чудовище, срывало с некоторых мальчиков одеяла и сыпало из большого кулька в кровати какой-то таинственный порошок. Кто-то из секстанеров даже заплакал от страха.

— Не плачь,— сказал Ули своему соседу.— Это же просто приманеры. За несколько дней до Нового года они всегда устраивают такое шествие. Только смотри повнимательнее, чтобы они не насыпали тебе в постель какого-нибудь чесоточного порошка.

— Я так боюсь,— всхлипывал секстанер.— И что это за огромное животное там, в конце?

— Это три приманера. Они сшили вместе несколько простыней и спрятались под ними.

— Но я все равно боюсь,— сказал малыш.

— Привыкнешь,— успокаивал Ули.— Первый год я тоже плакал.

— Да-а?

— Да,— сказал Ули.

Процессия привидений удалилась через заднюю дверь. Снова стало тихо. Только еще почесывались и по-



ругивались в подушки некоторые из лежащих в первом ряду. Чесоточный порошок давал о себе знать. Но наконец уgomонились и они.

Что же касается Матиаса, он даже и не просыпался. Если уж он сомкнул веки, над ним хоть из пушек пали — не разбудишь.

И вот все заснули. Все, кроме одного. И этот один был Джонни Тротц. Он поднялся и прошмыгнул к большому окну. Он взобрался с ногами на широкий подоконник, спрятал ноги под ночную рубашку и стал смотреть вниз, на город. Во многих окнах еще горел свет, а над центром, где были кинотеатры и танцевальные залы, небо пылало. Снова шел снег.

Джонни с любопытством смотрел на город. Он думал: «В каждом доме живут люди. И сколько же в горо-

де домов! А сколько городов в нашей стране! И сколько стран на нашей планете! А сколько в мире звезд!.. Счастье разделяется на бесконечно большое число. И несчастье — тоже... В будущем я обязательно буду жить в деревне. В маленьком доме с большим садом. И у меня будет пятеро детей. Но я не отправлю их за море, чтобы от них отделаться. Я не буду таким злым, каким был мой отец по отношению ко мне. И жена у меня будет лучше, чем моя мать. Где она сейчас, моя мать? Да и жива ли она?

Может быть, и Мартин поселится у меня в доме. Он будет рисовать картины. А я буду писать книги. Было бы даже смешно, если бы жизнь не была так прекрасна!»

Глава седьмая

содержит кое-что о профессоре Крейцкамме; возмутительнейшее происшествие; предложение, которое мальчикам пришлось написать по пять раз; интригующее объявление на перемене; прогулку с доктором Бёком; встречу на садовом участке и рукопожатие у забора

На следующее утро, перед самым началом уроков, Мартин вышел из класса в коридор. В руках у него был список с отметками за диктанты, и он хотел, прежде чем профессор Крейцкамм войдет в класс, сообщить ему о вчерашнем несчастье. Руди Крейцкамм, сын учителя, как раз сообщил, что отец еще ни о чем не подозревает.

Коридор был пуст. Но шум, который царил в классах, наполнял его глухим жужжанием и гудением. Казалось, где-то жужжат запертые мухи.

Потом с первого этажа поднялись учителя. Они были в хорошем настроении и громко смеялись. Они расходились по классам, и гудение в коридоре становилось все тише и тише. Последним появился профессор Крейцкамм. Он шел прямо, как всегда, как будто проглотил трость. Доктор Бёк шел рядом с ним и рассказывал что-то интересное. Профессор внимательно слушал его и выглядел строже, чем обычно.

Этот господин Крейцкамм был удивительным человеком. Они его всегда немножко боялись. Дело в том, что он никогда не смеялся. Не исключено, что он просто не позволял себе смеяться! Руди, сын, во всяком случае, рассказывал соученикам, что отец и дома сохраняет каменное выражение на лице.

К этому со временем можно бы и привыкнуть, но положение усугублялось тем, что хотя сам-то он никогда не смеялся, однако говорил такие вещи, которые без смеха нельзя было слушать.

Матиаса он, например, несколько недель назад спросил, возвращая классную работу:

— Что же у тебя было за предыдущую?

— Четыре,— ответил Матиас¹.

— Вот как? — удивился профессор.— На этот раз много лучше.

И Матиас уже было обрадовался. Но профессор добавил.

— На этот раз твердая четверка.

А еще как-то в классе был раскрыт шкаф:

— Фридолин, закрой шкаф! Дует!

И приходилось каждый раз, когда нужно бы смеяться, держаться изо всех сил, потому что сам он строго взирал с кафедры и делал такое лицо, точно у него болит живот. И не знаешь, как быть. Ведь на лице его никогда не отражается, что он чувствует.

Но учились на его уроках многому. А это, в конце концов, тоже кое-что значило.

И вот теперь Мартину предстоит сообщить ему, что тетради для диктантов сгорели. Юстус повернул в квинту, и профессор Крейцкамм большими шагами надвигался на мальчика.

— Новости? — строго спросил он.

— Да, господин профессор,— упавшим голосом произнес Мартин.— Реалисты вчера сожгли наши тетради для диктантов.

Учитель остановился.

— По вашей просьбе? — спросил Крейцкамм.

И опять непонятно было, можно ли над этим смеяться. Мартин только замотал головой, быстро рассказал самое важное и вручил профессору список.

Профессор отворил дверь в класс, сунул вперед Мартина и вошел сам.

Пока Мартин ждал за дверью профессора, в классе произошло нечто возмутительное.

Несколько экстернов, подстрекаемые Георгом Кунцендорфом, посадили Ули в корзину для бумаг и подве-

¹ Следует напомнить, что пять — это очень плохо, а четыре — плохо.



сили ее наверху на два крюка, на которые вешали географические карты. И вот Ули висел под потолком, его ярко-рыжая голова торчала из корзины. Мартин чуть было не лишился чувств.

Профессор Крейцкамм, сделав вид, будто не заметил этого скандального обстоятельства, невозмутимо уселся за кафедру, развязал носовой платок, который перед ним положил Мартин, посмотрел на пепел.



— Что это такое? — спросил он.

— Это наши тетради для диктантов,— ответил Мартин, тоже поднимаясь на кафедру.

— Ага,— сказал профессор.— Довольно трудно определить. Кому же вчера после обеда были доверены тетради?

Руди Крейцкамм, сын профессора, встал.

— Ты не мог лучше сохранять тетради?

— К сожалению, нет,— сказал Руди.— На нас с Фридолином напало около двадцати мальчиков. И, прежде чем сжечь тетради, они связали меня в подвале бельевой веревкой.

— Сколько же времени ты был в подвале? — спросил отец.

— До четырех часов.

— Твои родители что-нибудь заметили?

— Нет,— ответил Руди.

— Должно быть, хороши родители,— сердито проговорил профессор.

Некоторые засмеялись. Конечно же это был смешно — ведь профессор ругал самого себя.

— И они не посчитали тебя пропавшим без вести за обедом? — спросил он.

— Нет,— ответил Руди.— Им сказали, что меня пригласил товарищ.

Профессор строго сказал:

— Передай своему отцу от меня горячий привет и скажи, пожалуйста, чтобы он впредь уделял тебе больше внимания.

Теперь смеялся весь класс. Кроме Ули. И кроме учителя.

— Я передам это своему отцу,— ответил Руди Крейцкамм.

И тут снова все засмеялись.

— Ловко у вас получается,— сказал профессор.— Список Мартина мне совершенно не нужен. Все отметки записаны у меня в специальной тетради. Я сравню оба списка. Надеюсь, никто не сплутовал. Ну, да это выяснится. Кроме того, должен вам сообщить следующее: еще одна подобная проделка, и я задам вам такой диктант, что вы своих не узнаете.

Все, как по команде, уставились наверх, на Ули. Веселенькая история!

— Для чего это, собственно, корзина для бумаги на потолке? — спросил профессор.— Прекратите наконец эти глупости!

Несколько мальчиков кинулись, чтобы снять корзину.

— Оставьте! — строго прикрикнул профессор.— Пусть себе висит. Всему свое время. (Может быть, он и в самом деле не заметил, что в ней сидел Ули?) Прежде, чем мы разведемся, разберем несколько слов из вчерашнего диктанта,— сказал он.— Как пишется слово «этакжерка»? Себастьян!

Себастьян заученным движением спрятал свою книгу по генетике под парту, произнес слово по буквам. Произнес правильно.

Профессор кивнул.

— А как пишется слово «граммофон»? Ули!

Класс замер от страха. Профессор нервно забарабанил пальцами по кафедре.

— Ну, Зиммерн! Скоро?

Тут из корзины раздалось дрожащее:

— Гэ, эр, а, эм, эм...

Дальше Ули не успел.

Словно загипнотизированный, профессор взглянул наверх и поднялся.

— С каких же это пор класс превратился в балаган? Не объяснишь ли ты мне, что ты делаешь в этой дурацкой люльке? Вы что, все не в своем уме? Отправляйся на свое место!

— Я не могу,— сказал Ули.

— Кто это сделал? — спросил профессор.— Ну ладно, вы их, конечно, не выдадите. Матиас!

Матиас поднялся.

— Почему ты этому не воспрепятствовал?

— Их было слишком много,— объяснил Ули из поднебесья.

— Во всяком происходящем безобразии есть не только виновники, которые его совершают, но также и те, кто не пресекает его,— наставительно произнес профессор.— Это предложение каждый напишет к следующему уроку по пять раз.

— Пятьдесят раз? — с усмешкой переспросил Себастьян.

— Нет, пять,— ответил профессор.— Если предложение писать пятьдесят раз, в конце концов забудешь его смысл. Только Себастьян Франк напишет его пятьдесят раз. Мартин! Повтори предложение!

Мартин сказал:

— Во всяком происходящем безобразии есть не только виновники, которые его совершают, но также и те, кто не пресекает его.

— Если бы ты знал, как ты прав! — проговорил профессор и откинулся назад. — Это была первая часть трагедии. Вытаскивайте-ка малютку из поднебесной колыбели!

Матиас ринулся вперед. Несколько мальчиков за ним. И Ули наконец снова ощутил твердую почву под ногами.

— А теперь, — сказал профессор, — следует вторая часть трагедии.

И он дал им такой диктант, что от них пар пошел. Иностранные слова, написанные с прописной и со строчной буквы, сложнейшая пунктуация — прямо хоть караул кричи. Целых полчаса проливали тертианеры кровавый пот. (Об этом диктанте вспоминали потом многие годы. Высшей оценкой за него была тройка).

— Черт возьми! — шепнул Матиас соседу. — Хорошо бы реалисты сегодня опять напали на Руди!

Но профессор Крейцкамм сам забрал тетради домой.

— Береженого и бог бережет! — сказал он и вышел из класса такой же серьезный и прямой, как и вошел.

На перемене Ули взобрался на кафедру и крикнул:

— Тише!

Но все продолжали шуметь.

— Тише! Да успокойтесь же вы! — прокричал он еще раз, и это прозвучало как вопль о помощи.

Тут уж тишина установилась. Ули был бледен, как носовой платок.

— Я должен вам сообщить, — тихо произнес он, — что я этого больше не вынесу. Я от этого совсем заболею. Вы думаете — я трус. Теперь вы увидите. Я требую, чтобы вы сегодня в три часа пришли на спортивную площадку. В три часа. Не забудьте же! — Он слез с кафедры и уселся на свое место.

— Что это значит, малыш? — спросил Матиас.

Подшли и Мартин с Джонни, они тоже хотели узнать, что же он, собственно, собирается предпринять.

Ули чуть ли не неприязненно покачал головой и сказал:

— Только не мешайте мне! Сами увидите.

Перед обедом заведующий столовой раздал почту. Матиас и многие другие получили почтовые переводы. Это были деньги на поездку домой, которые они ждали. Мартин получил письмо от матери. Он сунул его в карман: он, хотя и жил в интернате достаточно долго, все еще не мог привыкнуть читать свои письма за столом среди шума и под любопытными взглядами окружающих. Он

хотел уединиться для чтения письма после репетиции, вскрыть письмо в парке или в рояльной. Он пощупал конверт. Слишком толстым оно не было, это письмо. Повидимому, мать посылала ему купюру в десять марок. Восемь марок — это стоимость проезда. А на остающиеся две марки можно будет, пожалуй, подумать о небольших подарках для родителей. Картина, которую он рисовал, была, разумеется, красива, но он считал, что картины для двоих родителей все же маловато.

Когда истекло время обеда, Матиас собрал своих кредиторов и рассчитался с долгами, которые он наделал, когда его терзал голод. Потом он поднялся и умчался прочь. Ему надо было поскорее попасть к булочнику Шерфу. Он хотел, поскольку был сегодня богатым человеком, купить для исполнителей ролей новогодних пряников. И для себя, конечно, ведь у него тоже была роль.

Столовая опустела, только Мартин и Джонни еще стояли у дверей. А позади, у торцевой стороны помещения, сидел за своим маленьким столиком Юстус и закуривал сигару. Они подошли к нему. Он дружески кивнул и вопрошающе посмотрел на них.

— Вы выглядите так торжественно,— сказал он.— Что же вы такое задумали?

— Мы хотим пригласить вас совершить небольшую прогулку,— сказал Мартин.— Нам надо вам кое-что показать.

— Вот как? — удивился он.— Вам надо кое-что показать?

Оба энергично кивнули. Он поднялся и пошел с ними из столовой. Они повели его — а он и не возражал — к школьным воротам.

— Ну-ну,— только сказал он.— Значит, на улицу? Они снова кивнули.

— Это меня удивляет,— сказал он.

Они повели его вверх по улице, вдоль железной ограды школы. Он поинтересовался, как идут репетиции. Джонни Тротц сказал:

— Мы очень хорошо знаем свои роли. Даже Матиас на завтрашнем вечере не будет запинаться. Завтра после обеда будет генеральная репетиция. В костюмах.

Юстус спросил, нельзя ли ему прийти. Они сказали — разумеется, можно. Но он заметил, что это было бы не совсем правильно. И тут же подумал, что он может свое любопытство удовлетворить на представлении.

— Куда же вы меня, собственно, тащите? — спросил доктор Бёк.

Они были очень взволнованы и не ответили, только улыгнулись. И вдруг Джонни спросил:

— А ваш друг, о котором вы рассказывали вчера, он кто был по профессии?

— Он был врачом,— сказал доктор.— Из-за этого он и принял так близко к сердцу то, что не смог помочь своей жене и ребенку. Он был даже очень неплохим врачом. Но люди иногда не в силах совладать с судьбой.

— Он умел играть на рояле? — допытывался Джонни. Юстус удивленно взглянул на мальчика.

— Да,— сказал он наконец.— Он даже очень неплохо играл. Но что это вам пришло в голову?

— Просто так,— сказал Джонни.

Мартин отворил калитку в садоводство.

— Сюда, внутрь? — спросил учитель.

Они кивнули и повели его мимо занесенных снегом са-
диков.

— Двадцать лет назад здесь еще был лес,— сказал доктор Бёк.— И если мы тут что-нибудь затевали, мы перелезали через забор.

— Мы и теперь поступаем так же,— сказал Мартин, и они рассмеялись.

Скоро мальчики остановились.

— Да тут кто-то живет в настоящем железнодорожном вагоне! — воскликнул доктор Бёк.

— Да,— сказал Джонни.— И человек, который живет в этом вагоне, наш друг. Мы любим его почти так же, как вас, поэтому мы хотим, чтобы вы с ним познакомились.

Мартин вошел в садик, остановился у вагона, постучал три раза. Дверь отворилась, и вышел Некурящий. Он протянул Мартину руку, потом посмотрел в сторону калитки, где стоял Джонни Тротц с учителем.

Вдруг Юстус так и ахнул, рванул калитку и побежал к Некурящему.

— Роберт! — вырвалось у него.

— Иоганн,— сказал Некурящий и протянул руки навстречу другу.

Мальчикам нетрудно было потихоньку удалиться, потому что мужчины стояли в снегу, как два каменных изваяния, и, не отрываясь, смотрели друг на друга.

— Дружище! — сказал Юстус.— Наконец-то мы с тобой снова встретились.

Мартин и Джонни молча мчались между садами прочь. У ограды гимназии они остановились передохнуть.

Они не произнесли ни слова. Однако, прежде чем перелезть через ограду, они подали друг другу руки.

И это было как будто безмолвное обещание. Обещание, которое нельзя выразить словами.

Глава восьмая

содержит очень много пряников; следующую репетицию «Летающего класса»; причину появления Ули с зонтиком; ужасное волнение на спортивной площадке и в здании школы; утешительную сентенцию доктора Бёка и рояльную комнату

Предпоследняя репетиция «Летающего класса» началась с гигантского поедания пряников. Матиас произвел щедрые закупки и зорко следил, чтобы ничего не осталось.

Ули явился с опозданием. В руках у него был зонтик.

— Что это ты таскаешься с зонтом? — спросил Себастьян.

Ули ничего не ответил, и его больше не спрашивали.

Себастьян подумал: «Он сегодня с утра какой-то сам не свой. С ним — как с часами. Его слишком сильно заводили и вот — перекутили».

Ули поставил зонтик в угол. Ни в какую не стал есть пряники, как Матиас ни уговаривал, и сказал, что пора начинать репетицию.

И они повторили новогоднюю пьесу Джонни. Проиграли ее от первого до пятого акта без запинки и были очень довольны.

— Вот видите, — гордо проговорил Матиас. — Чем больше я ем, тем лучше у меня память.

Потом они еще раз уточнили все о костюмах и реквизите. За белокурыми косами Гретхен для Ули Фридолин обещал зайти к парикмахеру Крюгеру еще сегодня, а завтра утром принести их. Генеральная репетиция была не за горами. Даже елка была уже установлена и сверху донизу украшена электрическими лампочками. И немало фунтов ваты нагрузил на ее ветви привратник.

— Будем надеяться, что завтра вечером у нас все пройдет успешно, — сказал Джонни. — Прежде всего, не надо волноваться. Нужно делать все так, как будто мы на репетиции, как будто мы одни в гимнастическом зале.

— Да все будет хорошо, — сказал Мартин. — Только нам надо еще потренироваться быстро устанавливать де-

корации. Ведь если завтра вечером какая-нибудь декорация завалится, пирамида или Северный полюс, зрители так будут смеяться, что не дадут нам и рта раскрыть. Вот и пропадет наш спектакль.

Джонни согласился с Мартином. И они снова вытащили из угла большой картон и прислонили его к турнику. Потом проверили, смогут ли они так двигать самолет, чтобы зрители не видели, что это мальчики позади картона двигают параллельные брусья.

— Все должно идти как по маслу! — воскликнул Мартин. — За одну минуту сцена должна быть полностью готова!

Они снова задвинули декорации и брусья в угол, вытащили их еще раз. И так они возились и переругивались, как настоящие рабочие сцены.

Ули потихоньку, чтобы остальные не заметили, выбрался из гимнастического зала. Он боялся, что друзья могут помешать его намерениям и они не осуществляются.

Не менее пятидесяти мальчиков собралось на занесенном снегом катке. Они ждали его. Старшекласников тут не было: им ничего не рассказывали. Мальчики ждали чего-то необычного, таинственного, запретного. Спрятав руки в карманы, они обменивались различными предположениями.

— А может быть, он и не придет, — сказал один.

Но тут Ули как раз и появился. Не говоря ни слова, он прошел мимо них к железному шесту для лазания, который стоял на краю площадки.

— И для чего это у него с собой зонтик? — спросил кто-то.

Но остальные зашикали на него: «Тс-с-с!»

Рядом с шестом была высокая лестница. Обыкновенная наклонная гимнастическая лестница, какие имеются во всех школах. Ули подошел к лестнице и взобрался по холодным, как лед, ступеням наверх. На последней ступеньке он остановился, повернулся и посмотрел вниз на большую толпу мальчишек. Он покачнулся немного, как будто бы у него закружилась голова. Потом взял себя в руки и громко объявил:

— Итак, за дело! Я сейчас раскрою зонтик и совершу прыжок с парашютом. Отойдите немножко подальше, чтобы я не спустился кому-нибудь на голову.

Кое-кто подумал, что Ули сошел с ума. Но большинство молча потеснились назад и не могли дождаться обещанного волнующего трюка.



Четыре тертианера, которые работали в гимнастическом зале, убрали в угол декорации и бруссы. Себастьян поругивал профессора Крейцкамма за то, что он велел ему написать пятьдесят раз предложение «о безобразиях и виновниках».

— И такое-то в канун рождества! — обиженно произнес он. — Это просто бессердечный человек.

— Ты тоже бессердечный, — сказал Джонни.

Тут Матиас посмотрел по сторонам и спросил:

— А где же наш малыш? Он удрал!

Джонни посмотрел на часы.

— Три с минутами, — сказал он. — Ули же в три часа собирался что-то предпринять.

— И верно! — воскликнул Мартин. — На спортивной площадке. Интересно, что?

Они покинули зал, выбежали наружу, завернули за угол и остановились как вкопанные. Площадка была полна школьников. И все смотрели наверх, на гимнастическую лестницу. Там с большим трудом балансировал Ули. Раскрытый зонтик он держал высоко над головой.

— Господи, боже мой! Он хочет прыгнуть вниз! — прошептал Мартин, ринулся через площадку, три друга — за ним.

Несмотря на снег, площадка была адски скользкой. Джонни упал.

— Ули! — крикнул Матиас. — Не делай этого!

Но Ули как раз прыгнул. Зонтик тотчас вывернулся, и Ули просвистел на заснеженную ледяную поверхность. Он глухо стукнулся о лед и остался лежать.

Толпа с криком бросилась врассыпную. В следующий момент четверо друзей были у пострадавшего. Мертвенно бледный Ули лежал на снегу без сознания. Матиас опустился около него на колени и стал гладить его.

Джонни понесся в дом позвать школьную медсестру. А Мартин побежал к ограде, перелез через нее и поднял по тревоге Некурящего. Он же все-таки врач. Он должен помочь. И Юстус тоже еще был у него.

Матиас покачивал головой.

— Малыш мой, — сказал он лежащему без сознания Ули. — И ты всегда говорил им, что у тебя не хватает храбрости! — И тут будущий чемпион мира по боксу заплакал. Большие детские слезы закапали на снег. А несколько упало на смертельно бледное лицо Ули.

Матиас, Мартин, Джонни и Себастьян стояли у окна в приемной интернатского лазарета. Войти в палату было

нельзя. Они еще не знали, что с Ули. Некурящий, Юстус, сестра и директор Грюнкерн были там. Школьный врач, советник медицины Гартвиг, тоже пришел.

Наконец Мартин сказал:

— Хуже уже не будет, Матцик!

— Конечно, нет,— подтвердил Джонни.

— Я щупал у него пульс, и он был вполне нормальный,— в третий раз пояснял Себастьян.— У него, наверное, только перелом правой ноги.

Они снова замолчали и уставились в окно, на заснеженный парк. Но они ничего не видели там, мрачные мысли застилали их взор. И это ожидание длилось целую вечность.

И вот дверь тихо отворилась. Вышел Юстус и торопливо подошел к ним:

— Дело обстоит не так уж плохо. Перелом ноги. Неусложненный. И кроме того, легкий ушиб грудной клетки. Сотрясение мозга не установлено. Так что выше головы, мальчики!

Друзья вздохнули. Матиас прижался лицом к оконному стеклу. Плечи его вздрагивали. Юстус, казалось, даже хотел погладить этого большого парня. Но решил, что не стоит.

— Через четыре недели он будет здоров,— сказал доктор Бёк.— А сейчас я пойду телефонирую родителям, что мальчику на каникулы придется остаться здесь.

Он уже собрался было уходить, но вдруг спросил еще:

— Объясните мне ради бога, с чего это ему пришла в голову идиотская мысль прыгать с зонтиком с лестницы?

— Они всегда его дразнили,— говорил Матиас, всхлиывая.— Называли трусом и всякое такое... — Матиас достал платок и вытер нос.— И я, осел, вчера посоветовал ему, чтобы он отколол что-нибудь такое, чтобы все ахнули.

— Ну это ему удалось,— сказал Юстус.— И, если поразмыслить, то уж лучше такой перелом, чем малыш всю жизнь боялся бы, что его не принимают всерьез! Да, я убеждаюсь, что этот прыжок с парашютом вовсе не был так глуп, как я вначале подумал.— И он торопливо побежал звонить родителям Ули.

Мальчики уже направились к двери, когда вышел Некурящий и заверил их, что через месяц Ули будет в полном порядке. Матиас последним покинул приемную. Он спросил еще, нельзя ли ему заглянуть к Ули. Но Некурящий сказал, что это категорически запрещено. До завтра

нечего об этом и думать. И Матиас тоже отправился в свою комнату.

Поднимаясь по лестнице, Мартин чувствовал, как похрустывает у него в кармане письмо матери.

Он вошел в рояльную комнату, уселся на подоконник и разорвал конверт. Первое, что он увидел, это блок почтовых марок. Двадцать двадцатипятипфенниговых почтовых марок. Значит, всего на сумму пять марок!

У мальчика замерло сердце. Он взял письмо. Повертел его. Пошарил в конверте. Посмотрел на полу. Больше ничего не было. Только почтовые марки на сумму пять марок.

Мартин почувствовал слабость в коленках. Они дрожали. Он посмотрел на письмо и стал читать:

«Мой дорогой, мой хороший мальчик!

Это поистине печальное письмо. Я даже не знаю, как его начать. Ведь ты подумай, я не могу тебе в этот раз выслать восемь марок на дорогу! Нам с неба не падает, а отец, ты же знаешь, ничего не заработал. Как только подумаю, что тебе на каникулы придется остаться в школе, на душе у меня становится очень тяжело. И все ломаю себе голову. Была даже у тети Эммы, но безрезультатно. Отец сбегал к одному старому товарищу. Но у того тоже ничего. Ни пфеннига.

И нет никакого выхода, мой мальчик. Тебе придется в этот раз остаться в интернате. И мы до пасхи не увидимся. И думаю я об этом или не думаю, от этого все равно никакой пользы.

Но, несмотря ни на что, мы будем мужественны и будем держаться, не так ли? Единственное, что я могла раздобыть,— это пять марок. У портного Рокстрока. И то лишь до Нового года.

Мартин, купи себе на них в кафе чашечку шоколада и пирожных и не сиди ты все время в школе, в помещении. Слышишь? Наверное, где-нибудь есть горка, чтобы кататься на санках. Ты обязательно должен быть на улице. Ты мне обещаешь?

А завтра ты получишь по почте посылку. В ней тебе подарок, который надо было бы положить дома под елкой. Наверное, у нас совсем никого не будет. Но раз ты не с нами, какое это имеет значение!

То, что мы посылаем тебе, это, конечно, очень мало. Но ты же знаешь, что на большее у меня нет денег. Это очень печально, однако ничего не поделаешь. И мы, мой дорогой мальчик, все-таки мужественно встретим

праздник и не будем хныкать. Обещаю тебе это. А ты мне?

Большой, большой тебе привет!

Целую тебя!

Твоя любящая мама.

Отец тоже передает привет. Ты, говорит он, должен быть послушным. Но ведь ты же послушен, не так ли? Деньги я посылаю тебе в почтовых марках. Ты их обменяешь».

Мартин уставился на строчки письма. Они прыгали у него перед глазами. Мать плакала. Он видел это: чернила в нескольких местах расплылись.

Мальчик судорожно схватился за оконную задвижку и смотрел вверх в усталое, серое декабрьское небо.

— Мамочка! Моя добрая мамочка! — шептал он.

А потом он заплакал, хотя совсем не собирался этого делать.

Глава девятая

содержит основополагающие положения Себастьяна о страхе; замену исполнителя; тайное посещение лазарета; ресторан «У последнего порога» с горячим ужином; встречу с почтальоном и письмо Мартина домой

Прыжок Ули с парашютом был темой для разговоров во всех комнатах. И преобладало одно-единственное суждение: малыш Зиммерн — отчаянный мальчишка, и кто бы мог подумать, что он отважится на такой смелый поступок!

Только Себастьян не соглашался.

— Этот прыжок не имеет ничего общего со смелостью, — говорил он. — Ули, когда он совершил прыжок, вовсе не стал смелее. Им руководило отчаяние.

— Но смелость отчаяния! — крикнул кто-то из секунданеров. — Тут есть разница. Есть много трусов, которым и в голову не придет прыгать с лестницы, как бы они ни отчаивались.

Себастьян кивнул.

— Это, пожалуй, верно, — согласился он. — Но различие между ними и Ули не в части смелости.

— В чем же?

— Различие в том, что Ули совестливее их. Ули очень прямой, простодушный. Недостаток мужества больше

всего мешал ему самому.— Себастьян задумался, потом продолжал: — Собственно, то, что я хочу сказать, вас совсем не касается... Но вот задумывались ли вы над тем, смелый ли я? Замечали ли вы когда-нибудь, что я трус? Нет, вы этого не замечали! А я вам по секрету скажу, что я большой трус. Но я — разумный человек и заставляю себя не замечать этого. И мне как-то и не мешает недостаток смелости. И я не стыжусь, что я трус. И опять же оттого, что я разумен. Ведь у каждого же человека есть недостатки и слабости. Дело только в том, чтобы стараться не проявлять их.

Конечно, не все поняли, что он хотел сказать. Особенно младшим было трудно тут разобраться.

— А я так думаю, лучше, если еще не пропал стыд,— проговорил тот же секунданер.

— И я — тоже... — тихо ответил Себастьян.

Себастьян был сегодня удивительно словоохотлив. Вероятно, виной тому был несчастный случай с Ули. А вообще-то, от него обычно можно было услышать лишь неприятные вещи, насмешки. У него не было друга. Товарищи всегда думали, что ему никого и не надо. Но теперь они почувствовали, что он все-таки страдает от своего одиночества. Он был определенно не особенно счастливый человек.

— Впрочем,— вдруг неожиданно холодно произнес он,— Впрочем, если кто-нибудь посмеет посмеяться над тем, что я недостаточно смел, я съезжу ему по физиономии в поддержку своего авторитета. Для этого у меня еще смелости хватит.

Так вот он каков! Только что они почти сочувствовали ему, а он уже снова показывает им спину.

— Тише вы! — крикнул старший по комнате, он было вздремнул и тут проснулся.

Себастьян принялся писать пятьдесят раз предложение о безобразиях и виноватых. Потом, попозже, он пошел к Джонни.

— Кто же будет завтра вечером играть роль вместо Ули? — спросил он.

Джонни так и ахнул. Он и не подумал о том, что представление «Летающего класса» оказалось под вопросом из-за несчастья с Ули.

— Роль ведь не так уж и велика,— сказал Себастьян.— Нам только надо найти кого-нибудь, кто бы завтра к обеду ее выучил. И этот достойный сожаления еще должен ведь сойти за маленькую белобрысую девочку!..

Наконец они остановились на квартинере Штёкере. Прежде чем спросить его согласия, они пошли в девятую комнату, чтобы обсудить это дело с Марином.

В комнате номер девять царил уныние. Матиас побывал у Юстуса и попросил разрешения остаться на каникулы в школе, чтобы Ули не оставаться тут совсем одному. Но Юстус ответил, что не разрешит этого ни в каком случае. Матиас вполне может ехать к своим, которые будут ему очень рады. В школе, кроме Ули, остаётся ещё Джонни. И родители Ули сообщили по телефону, что в сочельник приедут на несколько дней в Кирхберг. Вот Матиас и сидел задумавшись и был зол, что ему надо на Новый год ехать домой.

А через две парты позади него сидел Мартин. Он был глубоко опечален тем, что вынужден на каникулы оставаться в школе. Он, правда, на протяжении целого урока успокаивал себя тем, что остаются ещё Ули и Джонни. Но это было все-таки что-то совсем другое. Ведь что делать Джонни у сестры своего капитана? Тут не надо никакого особенного искусства, чтобы остаться в школе, если отец у тебя никудышный человек, да к тому же ещё в Америке. А Ули... Так его родители навестят в школе. И это уже кое-что. Кроме того, если сломана нога, так самостоятельно и не поедешь.

«А я,— думал Мартин,— я же здоров! У меня не сломана нога. И, несмотря на это, я не могу уехать. Я очень люблю своих родителей, а они любят меня, и, несмотря на это, мы не можем в Новый год быть вместе. И почему, собственно, не можем? Из-за денег. Отчего же у нас их нет? Разве отец у меня не такой трудолюбивый, как другие? Разве я не такой же старательный, как другие? Нет и нет. В чем же тогда дело? Дело в несправедливости, которая приносит так много страданий. Есть, правда, славные люди, которые хотят это изменить. Но послезавтра сочельник. До этого времени они ничего не сделают».

Мартин подумал даже, не отправиться ли ему до дому пешком. На это потребуется три дня. Среди зимы. На второй день праздника рано утром он может быть дома. Хватит ли пяти марок на еду и ночлег? А после каникул ведь надо возвращаться в школу! У родителей опять не окажется денег на дорогу!

Нет, не годится. Как ни верти, оставаться ему в этот раз в школе...

Когда Джонни и Себастьян вошли в комнату и спросили его, согласен ли он на замену Ули квартинером Штёкером, он их даже сначала не услышал. Тогда Джонни пот-

ряс его за плечи и оторвал от мрачных мыслей. Себастьян повторил вопрос.

— Конечно,— безучастно сказал Мартин, и все.

Мальчики удивленно посмотрели на него.

— Что с тобой? — спросил Себастьян.— Это ты из-за несчастья с Ули? Тут тебе нечего раздумывать. Все могло кончиться во много раз хуже.

— Конечно,— сказал Мартин.

Джонни наклонился к нему и зашептал:

— Где ты витаешь? Тебе плохо? Ты заболел? Или еще что-нибудь?

— Конечно,— настойчиво повторил Мартин, как будто бы не находя других слов. Он с треском откинул крышку парты и достал письмо.

Тогда они отправились дальше.

— Что же это такое? — озабоченно спросил Джонни Тротц в коридоре.

— Ничего не пойму,— сказал Себастьян.— Наверное, разболелась голова.

Они поговорили с квартанером Штёкером. Мальчик был очень обрадован. Однако, когда он услышал, что ему придется надеть девчоночье платье и парик с косичками, восторг его угас. Но они сказали ему, что не годится оставлять тертианеров в беде. Джонни сунул ему рукопись «Летающего класса», а Себастьян распорядился:

— Завтра к обеду выучи роли!

Тут уж малышу некуда было деться.

Матиас долго не выдержал и, воспользовавшись случаем, улизнул. Старший по комнате Красавчик Теодор все еще находился под впечатлением вчерашнего рассказа доктора Бёка и был снисходителен. И вот Матиас спрятался недалеко от лазарета, в проходе за колонной, и прислушивался.

Ему повезло. Прошло всего несколько минут, и сестра вышла из комнаты и поднялась по лестнице наверх что-то приготовить на кухне. Матиас осторожно огляделся.

Момент — и вот он уже у постели Ули. Мальчик спал. Пахло лекарствами. Матиасу от волнения сдавило горло. С умилением смотрел он на бледное лицо своего маленького друга.

Тут Ули раскрыл глаза. Слабая усталая улыбка засветилась в его взоре.

Матиас кивнул. В горле у него совсем пересохло.

— Это было не особенно больно,— сказал Ули.—

Правда, не особенно. А мои родители приедут послезавтра.

Матиас снова кивнул. Потом сказал:

— Я хотел остаться на каникулы здесь. Но Юстус не разрешил.

— Спасибо тебе,— прошептал Ули.— Но только ты поезжай домой. А когда вернешься, я уже буду почти здоров.

— Я так и думаю,— проговорил Мартин.— А это верно, что не очень больно?

— Железно! — прошептал Ули.— А что там говорят обо мне?

— Да они все просто остолбенели,— сказал Матиас.— И они тебя жутко зауважали.

— Ты видишь,— прошептал Ули.— Ты же был совершенно прав. Страх вылечился.

— Но, малыш, вчера я бы уже так не говорил,— сказал Матиас.— Ведь это могло кончиться намного хуже. Я-то ведь, ты же знаешь, что никакой не трус. Но ты мне обещаешь хоть миллион, я все равно не спрыгну с лестницы.

Ули засиял от радости, от гордости.

— Не спрыгнешь?

— Полностью исключено,— сказал Матиас.— По мне, так уж пусть меня лучше ругают паршивой собакой.

Ули был теперь доволен собой и всем на свете. Несмотря на боль. Несмотря на перспективу четырехнедельного постельного режима.

— На тумбочке лежит шоколад,— прошептал он.— От самого Грюнкера. Возьми его себе.

— Нет, спасибо,— сказал Матиас.— Я не голоден.

Ули чуть не рассмеялся. Но грудь у него болела.

— Ты не голоден? — прошептал он.— Но Мацик! Я приказываю тебе — съешь шоколад! Иначе я буду волноваться. А Некурящий запретил мне всякое волнение.

Тут уж Матиас побыстрее схватил шоколад. А Ули так и сохранял строгое лицо, пока Матиас не сунул несколько кусочков в рот. Тогда он умиротворенно улыбнулся.

В этот момент отворилась дверь, и вошла сестра.

— Что за безобразие! Сейчас же уходи! — крикнула она.— Ну это же невозможно: такая дубина, съел у маленького больного мальчугана шоколад!

Матиас краснел все больше и больше.

— Он же мне приказал,— сказал он, жуя.

— Убирайся вон! — крикнула сестра.

Мальчики кивнули друг другу.

— Всего хорошего, Ули! — сказал Матиас и вышел.

В дополнение к вечерней молитве Юстус произнес перед собравшимися учениками небольшую речь:

— Мы должны быть бесконечно благодарны случаю, что эксперимент, который маленький Ули счел необходимым, остался несчастным случаем, а не обернулся большим несчастьем,— сказал он.— Это могло кончиться гораздо хуже. Для предупреждения подобных вещей я прошу присутствующих, чтобы подобный вид проявления храбрости не превратился в какую-то моду. Я прошу всех не уделять такого внимания как смелости, так и недостатку ее. Мы должны дорожить репутацией школы, как своей собственной. Переломы ног — это аргументы, которые я как воспитатель решительно отвергаю. И чтобы мне впредь больше не говорить вам об этом. Вот так...

Ну ладно, довольно! Сегодня вечером я уйду. Я хочу выпить кружку пива. Приманер Хенкель остается за меня. Слушайте его. Помните, что, если вы сегодня устроите скандал, мне потом нельзя будет уходить. Итак, позвольте мне все же кружку пива. Ну а теперь спокойной ночи!

— Спокойной ночи, господин доктор! — крикнули все.

Доктор Иоганн Бёк пошел вниз, в город. Путь был неблизкий. Кабачок «У последнего порога» находился за чертой города, в предместье. Некурящий рассказал ему, что он там играет на пианино.

«Музыка и танцы, вино — необязательно» — стояло на двери. Юстус вошел. Заведение было не из шикарных. И публика держала себя достаточно вольно. Некурящий сидел за расстроенным пианино и играл шлягер за шлягером.

Бёк уселся за маленький столик, заказал кружку пива и закурил сигару. Некурящий заметил его и кивнул. Пока Некурящий колотил по клавишам, Юстус основательно ко всему пригляделся. Это было действительно довольно сомнительное заведение! Мужчины танцевали в шляпах. Вот это да!

Прошло с полчаса, и Некурящий подсел к столику Бёка.

— Большая перемена! — сказал он и довольно усмехнулся.

Кельнер принес ему бифштекс по-немецки с жареным картофелем и маленькую кружку пива.

— Горячий ужин! — сказал Некурящий и принялся с аппетитом есть.

— Пойми меня правильно, Роберт,— сказал Юстус,— но это же не профессия для тебя. Не хочешь ли ты попы-

таться снова приобщиться к добропорядочной жизни? — И так как друг не ответил, Бёк сказал: — Сделай это, по крайней мере, ради меня!

Некурящий покачал головой.

— Чего же ты хочешь, Иоганн? — сказал он. — Я достаточно хорошо чувствую себя в своем нелепом железнодорожном вагоне. Весной у меня снова расцветут цветы. Денег мне много не надо. И никогда у меня еще не было столько времени для раздумий и чтения, как в эти последние годы, которые ты считаешь потерянными. Несчастье, которое я тогда пережил, сыграло свою роль. Оно и должно было сделать из меня такого чудака, каким я стал. Мне надо было быть не врачом, а садовником. Однако перестраиваться уже слишком поздно. И здесь, в этом шумном и заурядном заведении, я чувствую себя так удивительно, как будто сижу один где-нибудь в лесу.

— Послушай-ка, Роберт, — сказал Юстус, — наш школьный врач, советник медицины Гартвиг, уже изрядно стар. Он имеет обширную практику. Я не думаю, что это будет для него большой потерей, если он предложит тебе стать его преемником в нашей школе. Ты заработаешь не меньше, чем игрой на пианино. Ты можешь даже остаться жить в своем вагоне. Хм-м? Что ты думаешь об этом? Не поговорить ли мне со стариком Гартвигом?

— Как хочешь, — ответил Некурящий. — Если это тебя забавляет, поговори. Но, дорогой мой, я не верю, что буду веселее, когда стану снова прописывать аспирин. И не приставай ко мне с уговорами, не убеждай, что нельзя быть совершенно лишенным честолюбия. Слишком мало людей, которые живут так, как я. Я не хочу, конечно, сказать, что все они должны играть на пианино в сомнительных заведениях. Но я хотел бы, чтобы больше людей имело время для воспоминаний, что очень важно. Деньги, карьера, слава — все это пустяки! Детские игрушки, и больше ничего! Как этого, в самом деле, взрослые люди не могут понять. Ну, прав я, старина? — Некоторое время он помолчал. — Ну, конечно, заботиться о твоих гимназистах, чтобы они были здоровы... это было бы не такое плохое занятие. И не надо будет лазить через забор, если кто-нибудь заболеет. А кроме того, я же еще могу выращивать цветы и читать книги... Ладно, дружище, по рукам! Поговори-ка с этим дедом — советником медицины! И если он скажет да, я бросаю колотить тут по клавишам. И, прежде чем Мартин и Джонни, Матиас, Ули и Себастьян не сдадут своих экзаменов на аттестат зрелости, я уж из своего садика не уйду.

— А я из своей комнаты в башне,— сказал Юстус.— Это же великолепные парни!

И тут они выпили друг за друга.

— Чтобы малыш Ули скорее поправился! — воскликнул Некурящий, и они чокнулись кружками.

Потом они рассказали друг другу все, что знали про войну с реалистами. Юстус улыбнулся своему другу.

— Мы оба им нравимся, этим пострелам,— сказал он.

Некурящий радостно кивнул и сказал:

— Разве они так уж не правы?

Тут ему пришлось снова идти к своему расстроенному пианино. Господа посетители хотели танцевать.

После полуночи они шли домой, пересекая весь город. Много историй юности вспоминалось им. Как давно это было! Но это происходило здесь! На этих самых улицах, по которым они сегодня совершали ночную прогулку! А что стало с теми, кто двадцать лет назад сидел с ними на школьной скамье? О некоторых они кое-что знали. Ну а что с остальными?.. Над ними мерцали звезды. Это были те же самые звезды, что и тогда.

На углу Нордштрассе почтальон опустошал почтовый ящик.

— Как часто тогда мы бегали к этому ящику! — сказал Юстус.

— По крайней мере, два раза в неделю,— задумчиво сказал Некурящий.— Если я писал реже, мама думала, что со мной что-то случилось.

Между прочим, в почтовом ящике, от которого отошел почтальон, было письмо к господину и фрау Талер в Хермсдорф. На обратной стороне стояло: «Отправитель Мартин Талер, Кирхберг, гимназия».

— Почтовый ящик остался старый,— сказал Юстус.— Но почтальон уже не тот.

В письме, о котором только что шла речь, было написано следующее:

Моя дорогая, милая мамочка!

Ты знаешь, сперва мне стало страшно. Но тут уж ничего не изменишь, ничего не поделаешь. Я тоже нисколько не плакал. Ни единой слезинки. И обещаю тебе и отцу не плакать. Пирожные и шоколад я куплю у булочника Шерфа. Это страшно дорого, говорит Матиас. Кататься на санках, раз вам этого хочется, я тоже буду. Ты можешь быть в этом уверена. И большое, большое спасибо за деньги. Я пойду в сочельник на почту и обменяю их.

Это будет первое рождество, в которое мы не увидимся, и это, конечно, очень печально. Но вы же знаете меня. Если я не хочу поддаваться, так я и не поддамся. Что же такое, наконец, мужчина! Я очень рад завтрашней посылке. Я поставлю себе на парту несколько еловых веточек, и свечка у меня есть. Кроме меня здесь еще остается Джонни. Вы знаете почему. А еще — Ули, который сломал правую ногу. Это ведь гораздо неприятнее, верно? Джонни говорит, что это даже совсем не так плохо, если взять себя в руки. Вот так!

Дорогая мамочка, ты же знаешь, что я ни тебе, ни отцу в этот раз ничего не могу подарить. В будущем году я, наверное, буду давать одному из новых секстанеров дополнительные уроки, и у меня будет тогда много денег. Великолепно, верно?

Но я нарисовал вам картину. Она называется: «Через десять лет», и вы уж сами тут все поймете. На ней видно, как я везу вас в голубом экипаже через Альпы. Я вкладываю ее в письмо, и мне приходится сложить ее два раза, иначе она не входит в конверт. Надеюсь, она вам понравится. Пожалуй, красивее мне и не нарисовать, и я потратил на нее четырнадцать дней. А сейчас, дорогая моя мамочка, надо заканчивать, потому что звонят на ужин. А мне надо еще — одна нога здесь, другая там — сбегать к почтовому ящику.

Не разлюбите же меня из-за того, что я не могу на рождество быть дома. И не горюйте! И я тоже не буду. Уверю тебя! Я буду кататься на санках и постоянно думать о вас. Это определенно будет очень весело.

Большой, большой, большой привет тебе и отцу!

В а ш п о с л у ш н ы й с ы н М а р т и н »

Почтальон, который вынимал письма, не знал, сколько вздохов плюхнулось в его большую сумку. И доктор Бёк и Некурящий тоже об этом не догадывались.

Глава десятая

содержит последний день занятий перед каникулами; прогулку по Кирхбергу и множество встреч; еще одну шоколадку для Матиаса; новогодний вечер в гимнастическом зале; непредвиденного зрителя; что он получает в подарок; что он говорит и один момент у кровати Мартина

Следующий день был последним днем занятий. Двадцать третьего декабря ни один учитель не может по-

требовать от своих учеников, чтобы они уделили должное внимание возникновению электричества или неопределенным формам глагола, вычислению процентов или кайзеру Генриху в Каноссе¹. Ни один учитель в мире не может потребовать этого!

Да никто и не требует. Так было это и в гимназии Иоганна-Сигизмунда в Кирхберге. Большинство интернатских уже начали укладывать чемоданы. Они радовались предстоящему новогоднему вечеру в гимнастическом зале. Они радовались предстоящему на завтра путешествию по железной дороге. Они радовались подаркам, которые получают дома. Они радовались подаркам, которые собирались везти своим родителям, братьям и сестрам. Они не помнили себя от радости, они так и сияли и должны были как следует держать себя в руках, чтобы не взорваться среди урока на скамейки и не приняться там плясать.

Учителя вынуждены были принять во внимание восторженную протрацию своих питомцев и заставляли читать вслух сказки и саги или сами рассказывали истории, если только они приходили им в голову.

На самом последнем уроке у тертианеров была география с доктором Бёком. Он принес с собой книгу, в которой были собраны лучшие басни мировой литературы, и заставил по очереди читать вслух некоторые из этих небольших глубокомысленных историй, в которых почти всегда речь идет о животных и почти всегда подразумеваются люди.

Дошла очередь и до Мартина. Он стал заикаться. Он оговаривался. Он перепрыгнул две строчки и не заметил этого. Он читал так, как будто только вчера научился читать. Некоторые стали смеяться. Джонни обеспокоенно взглянул на него.

— Где же наше высокое мастерство? — сказал Юстус. — Видно, ты мыслями уже в своем Хермсдорфе, под новогодней елкой. Подожди немножко. Ты еще слишком рано приехал к своим родителям!

Мартин опустил голову и сказал себе: «Плакать строго запрещено! Плакать строго запрещено! Плакать строго запрещено!» Еще вчера вечером, когда он долго не мог

¹ Генрих IV (1056—1106) — германский император, при нем началась борьба между императором и папой за господство над церковью и церковное землевладение. В 1077 году вынужден был пойти на тяжелое унижение перед папой Григорием VII, явился к нему с покаянием в замок Каноссу. Отсюда выражение «идти в Каноссу» — согласиться на унижительную капитуляцию.

заснуть, он повторял и повторял про себя эту фразу. По меньшей мере раз сто.

Юстус передал книгу басен следующему, до конца урока часто посматривал на первого ученика и был, по всей видимости, удивлен.

Мартин уставился на свою скамейку и не осмеливался поднять глаз.

В обед почтальон доставил посылку, о которой мать писала в письме. Посылку с новогодними подарками!

Мартин не стал ее вскрывать, взял под мышку и понес в гардеробную. Как раз когда он открыл шкаф, мимо проходил Матиас. Он тащил большой чемодан. Он соби-
рался его упаковывать.

— Ну и ну! Откуда же ты получил сегодня посылку? — спросил он.

— Из дома, — ответил Мартин.

— Для чего же они еще шлют тебе посылку, за день до того, как ты к ним приедешь?

— Мама прислала мне чистое белье, чтобы мне на обратном пути в январе не пришлось много тащить с собой, — солгал Мартин.

— Собственно, довольно практично, — сказал Матиас. — Ну вот, пожалуй, буду укладывать свой чемодан. Правда, я с удовольствием бы остался здесь. Но Юстус почему-то против. Он считает, что я все-таки должен доставить радость своим дорогим родственникам и поставить себя у Зельбманов во Франкенштайне под новогоднюю елку. Так и быть. Этот Новый год всегда дома — такая смехота, верно? У вас тоже?

— Конечно, — сказал Мартин. — Даже очень смешно.

— Ты поедешь тоже полуденным поездом?

— Нет, я поеду позднее.

— В 17.12.?

— Ага, 17.12.

— Слушай, да поезжай тоже полуденным! — предложил Матиас. — Не меньше пятидесяти мальчиков едут в полдень в этом направлении. Тут мы завладеем целым вагоном. Вот наделаем шороху! Это будет замечательно! А? Давай со мной?

Мартин больше не выдержал. Он захлопнул дверцу шкафа, крикнул:

— Нет! — и выбежал из комнаты.

Матиас покачал головой и сказал:

— Прямо совсем обалдел...

После обеда большинство школьников отправилось вниз, в город, чтобы сделать еще покупки или даже только постоять перед игрушечным магазином. С утра шел снег, а сейчас щеки пощипывал мороз. Продавцы елок на углу улицы старались сбыть последние елки и сосенки. С ними можно было торговаться.

Мартин пошел на почту и попросил служащего в окошке обменять ему почтовые марки на деньги. Тот хотя и рыкнул на него, как лев, но в конце концов выдал ему две двухмарочные монеты и монету в одну марку.

На Вильгельмплатц он повстречал Эгерланда, бывшего предводителя реалистов. Они приветствовали друг друга, как враждовавшие генералы, встретившиеся после войны на Ривьере. Непримиримо, но почтительно.

А на Кайзерштрассе Мартин столкнулся с Себастьяном Франком. Себастьян смутился. Он показал на несколько пакетиков, которые держал в руках.

— Что поделаешь, — сказал он. — Раз уж существует такой обычай... Ты тоже делаешь покупки?

— Нет, — ответил Мартин.

— Я все оттягивал до последней минуты, — сказал Себастьян. — Всякий раз хочу оставить это дело. Ведь это, собственно, довольно допотопный обычай, верно? А потом каждый раз я все-таки снова мчусь со всех ног. Так уж это получается. И потом, вот еще удовольствие — дарить что-то другим. Ты тоже так считаешь?

— Отчего же. Это даже очень неплохой обычай, — сказал Мартин и тут же прикусил нижнюю губу: еще слово, и он бы разревелся.

«Плакать строго запрещено!» — сказал он себе, кивнул Себастьяну и быстро пошел дальше. Он почти бежал. Только вперед! Только вон из этой новогодней атмосферы. На углу Нордштрассе он остановился и принялся обозревать витрину булочника Шерфа.

Значит, здесь ему завтра после обеда, может быть, пить шоколад и есть пирожные. Это, должно быть, ужасно. Но мать хочет этого, а он ей твердо обещал.

«Господи, боже мой! Как же это я продержусь четырнадцать дней, чтобы ни разу не разреветься?» — подумал он и зашагал к школе.

Две двухмарочные и одномарочная монеты звенели у него в кармане.

Генеральная репетиция «Летающего класса» проходила в костюмах. Мальчики боялись, что маленький

Штёкер не справится. Они были приятно удивлены. Квартанер играл, как дьявол! Ну и выглядел же он с болтающимися белобрысыми косичками от парихмахера Крюгера и в платье из шкафа Ули! Всякий, кто не знал о переодевании, должен был признать его за девочку.

— Приманер безнадежно в тебя влюбился,— крикнул Себастьян.

Только Матиас нашел, что Ули был все-таки немножко лучше. Да и как могло быть иначе? Он был все-таки виноват перед своим другом.

Дважды прорепетировали они пьесу. Труднее всех тут пришлось Матцу. Слишком короткие паузы для переодевания, которые были между четвертым и пятым актом, это было сущее наказание. Ведь за минуту превратиться из белого медведя в святого Петра — это же не шутка! Но и это, кажется, стало у него получаться.

— Хватит,— сказал Джонни Тротц.— Ни пуха ни пера сегодня вечером! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!

А потом они еще один за другим поплевали на костюмы. Себастьян сказал, что актеры всегда так делают.

Джонни подошел к Мартину.

— Что такое с тобой случилось? — спросил он.— Роль свою ты, конечно, знаешь, но говоришь ты еле-еле, как будто думаешь о чем-то совсем другом.

— К вечеру все будет хорошо,— сказал Мартин.— Я плохо спал ночь.

Они снова переоделись, уложили костюмы, косу и бороду в шкаф, в котором стояли подкидные доски. Потом они пошли в школьное здание и поднялись наверх, в лазарет. Им разрешили посетить Ули.

Сначала они осведомились, как он себя чувствует, потом рассказали, что спектакль определенно удался. Матиас заметил, что квартанер Штёкер далеко не то, что нужно. С Ули, конечно, не сравнится. Но все-таки... Остальные кивнули.

— Это радует меня,— сказал Ули.— А завтра вы все уезжаете! Кроме Джонни и меня. Только вам придется делать много подарков.

Потом он поманил Матиаса к кровати и украдкой сунул ему в руку шоколадку.

— Грюнкерн уже опять был у меня,— прошептал он.— Как обстоит дело с аппетитом?

— Порядок,— сказал Матц.

— Ну смотри,— сказал Ули.— Всегда как следует ешь!

— Дома с этим у меня гораздо хуже,— пояснил Матис и спрятал шоколадку в карман.— Моя родительница балдеет от изумления. Она говорит, что лопать так, как я, запрещено полицией.

— Не обращай на это внимания,— сказал Себастьян; он был сегодня терпимее, чем обычно.— Что человеку требуется, он должен получить! — Потом он повернулся к Ули и покровительственно покачал головой: — Ай да приятель! Это просто счастье, что ты был на спортивной площадке, а не на церковной колокольне. Ты, наверное, и оттуда бы сиганул.

Они стояли вокруг постели больного и, хотя понимали, что говорить всем сразу тут не полагается, знали, что должны говорить. Мальчик в постели оставался для них тем же самым маленьким Ули, которого они знали уже несколько лет.

— Жаль, что тебя сегодня вечером не будет,— сказал Джонни.— Ну я тебе завтра расскажу все подробно, как это было.

Мартин стоял у окна. Он, собственно, хотел сообщить им, что тоже остается. Но не решился. Несмотря на то что с ним были товарищи, ему казалось, что он одинок. Совершенно одинок.

Новогодний рождественский вечер превзошел все ожидания. Для начала два приманера играли на рояле. Вариации на тему рождественской песни. Потом выступил директор школы профессор, доктор Б. Грюнкерн. И хотя его небольшая речь походила на все его рождественские речи, которые он произнес за свою жизнь, но в заключение он сказал несколько новых фраз, которые тронули мальчиков. Он сказал:

— Я сам себе кажусь иногда рождественским дедом. Несмотря на мой черный сюртук, несмотря на то, что у меня не привязана какая-нибудь седая окладистая борода. Мне почти столько же лет, сколько и ему. Я появляюсь каждый год. Я тот, над кем даже смеются, если он грозит розгой. И наконец, я, как и он, человек, который любит детей. Прошу, не забывайте этого никогда! А ведь такое — многое извиняет.

Он уселся и принялся протирать очки носовым платком. А секунданеры опустили головы. Им было стыдно, потому что они частенько посмеивались над старым человеком. А большая новогодняя елка сияла бесчисленными электрическими лампочками так прекрасно,

что у всех присутствующих было очень праздничное настроение.

Наступило время представления «Летающего класса». Можно было сказать, что спектакль удался на славу. При словах: «Это обучение — света представление» учителя, как и ожидал Себастьян, рассмеялись. Мартин был, правда, не в ударе. Особенно большое впечатление произвел квартанер Штёкер. Кроме квартанеров и тертианеров, его никто не узнал. Его всерьез приняли за маленькую прелестную девочку и только не могли понять, каким образом сюда попало существо женского пола. Штёкер, правда, вылез из своего облака в последнем акте несколько раньше времени. Но рождественская песня, которая следовала сразу за этой сценой и которую все громко подхватили, сгладила этот промах. Был дикий восторг.

Грюнкерн с развешивающимися полами сюртука направился к исполнителям и каждому персонально пожал руку. А Джонни Тротцу восторженно заявил:

— Да ты же настоящий поэт, мой мальчик! Нет, как я рад, как я рад!

И художник-декоратор — Мартин — тоже был очень расхвален.

— А кто же такая ты, маленькая девочка? — спросил директор маленькую артистку.

Зрители внимательно прислушивались.

Тут маленькая девочка сняла парик с косами, и в следующий момент более чем две сотни школяров так хохотали, что закачались стены.

— Штёкер! — кричали они и все никак не могли успокоиться.

Вдруг Себастьян сказал товарищам:

— Ну а что вы на это скажете? Знаете, кто сидит с учителями? Вон, рядом с Юстусом? Некурящий!

Себастьян был прав. Некурящий сидел в своем синем костюме среди учителей! Только Мартин и Джонни знали, с чем это связано. И тут Джонни вдруг выбежал из гимнастического зала.

Доктор Бёк поднялся и вышел на середину зала. Стало тихо.

— На стуле, который стоит там, рядом с моим стулом, сидит человек, которого большинство из вас не знает, — сказал Юстус. — Этот человек — мой единственный друг. Еще двадцать лет назад мы оба сидели рядом в этом зале. Конечно, не среди учителей, а на скамьях, на которых сидите вы. Несколько лет назад я

потерял своего друга из виду. Вчера я его наконец снова нашел! Два ваших мальчика свели нас с ним. За всю свою жизнь я не получал такого прекрасного новогоднего подарка. Моего друга зовут Роберт Утхофт, и он — врач. А так как я хочу, чтобы он и я — мы оставались бы в будущем вместе, я переговорил сегодня с нашим почтенным советником медицины Гартвигом.

Некурящий сидел прямой как палка.

А Юстус продолжал:

— Я спросил советника медицины Гартвига, не замолвит ли он перед магистратом Кирхберга словечко, чтобы сделать моего друга доктора Утхофта школьным врачом в нашей гимназии. Тогда, в этой школе, в которой мы стали друзьями, мы могли бы в будущем снова быть вместе: он — как ваш врач, а я — как ваш учитель. Мы оба принадлежим этой школе, как краеугольные камни здания, как старые деревья в этом занесенном снегом парке. Мы принадлежим этим местам. Мы принадлежим вам. И если вы любите нас хотя бы наполовину, как мы вас, то это уже хорошо. Большого мы и не требуем. Верно я говорю, Роберт?

Некурящий поднялся, подошел к Юстусу и хотел сказать несколько подходящих слов. Но он только пожал другу руку. Большого он не в состоянии был сделать.

Тут примчался Джонни. В руках у него было несколько свертков. Он подбежал к Некурящему, низко поклонился ему и сказал:

— Дорогой господин Некурящий, или как вас еще зовут по-настоящему! Мы и не подозревали, что вы сегодня будете присутствовать на нашем школьном вечере. Мартин, Ули, Матиас и Себастьян поручили мне завтра, в сочельник, вручить вам подарки в вашем железнодорожном вагоне. Теперь же вы и вообще навсегда с нами, так что я могу вручить вам подарки здесь сегодня.

Джонни отдал доктору Утхофту носки, сигареты, табак и свитер.

— Если свитер не подойдет, — сказал мальчик, — это нестрашно. Мы договорились о замене, и чек из магазина приложен.

Некурящий прижал к себе подарки.

— Спасибо тебе, Джонни, — сказал он. — И спасибо твоим четырем друзьям, которые и мои друзья. Другие, кто меня еще не знает, ко мне привыкнут. Это меня не

страшит.— Он осмотрелся вокруг, потом сказал: — Иоганн Бёк, ваш Юстус, и я многому вместе научились. Здесь, в стенах школы, и вне ее, в жизни. Вместе с тем мы ничего не забыли. Юность жива в нашей памяти, и это — главное. Извините, я немножко взволнован. Надеюсь, вы это понимаете. Я надеюсь также, что и вас это немножко волнует. Это пройдет. А вот при переломах ног и воспалениях легких я почти не волнуюсь. Это вы еще увидите. Ни при каких условиях нельзя себе ломать ноги. Ни при каких!

Некурящий взял под руку Юстуса.

— Главное — не забывайте! Не забывайте о своей юности! — сказал он.— Не забывайте о ней! — прошу я вас в этот, надеюсь, памятный час. Сейчас, когда вы еще дети, это кажется ненужным, излишним. Но это не излишне. Поверьте нам! Мы стали старше и, несмотря на это, остаемся юными. Мы чувствуем это, чувствуем оба!

Доктор Бёк и доктор Утхофт посмотрели друг на друга.

И мальчики внутренне поклялись никогда не забывать этого взгляда.

Было уже поздно, когда Юстус совершал обход по спальням. Он шел на цыпочках. Пол тихо поскрипывал. А пламя маленьких настенных лампочек мерцало при каждом его шаге.

В спальне номер два он остановился у постели Мартина. Что же такое случилось с этим мальчуганом?

Мартин Талер спал беспокойно. Он метался в постели и беспрестанно бормотал какую-то фразу.

Доктор Бёк наклонился к нему, получше прислушался.

Что такое бормочет мальчик? «Плакать строго запрещено»?

Юстус сдержал дыхание.

— Плакать строго запрещено! Плакать строго запрещено! — и снова и снова одно и то же: — Плакать строго запрещено!

Это, должно быть, какой-то особенный сон. Сон, в котором строго запрещено плакать!

Доктор Бёк медленно и тихо вышел из спальни.

Глава одиннадцатая

содержит веселый вокзал; школу без учеников; открытие у кегельбана; учителя, тайком перелезающего через забор; посещение Ули; утверждение Джонни о том, что родителей не выбирают, и во второй раз ту же самую необходимую ложь

Двадцать четвертое декабря началось в гимназии Иоганна-Сигизмунда адским шумом. Мальчики, как дикари, носились по лестницам вверх и вниз. Один оставил в умывалке зубную щетку. Другой, словно булавку, отыскивал ключ от чемодана. Третий забыл упаковать коньки. Четвертый звал на помощь, потому что чемодан у него был слишком полон и закрыть его можно было только усадив на него, по крайней мере, трех человек.

Приманеры хотя и старались показать, что они совсем не суетятся, но, если за ними никто не наблюдал, они, точно так же, как и малыши, носились по коридорам.

К десяти часам утра школа была наполовину пуста. Оставшиеся, те, что ехали позже, правда, тоже поднимали порядочный галдеж, но знающему человеку уже было понятно, что разъезд начался.

Около полудня через широко распахнутые двери двинулась последняя группа. Шапочки набекрень. Тяжелые чемоданы волокли по снегу.

Матиас вышел на несколько минут позже ковыляющих в арьергарде. Он задержался у Ули. Джонни стоял у ворот и протянул ему руку.

— Приглядывай тут за малышом! — сказал Матиас. — Я буду ему часто писать. И всего тебе хорошего!

— Также и тебе, — сказал Джонни Тротц. — Я уж пригляжу. Но бери же ноги в руки. Себастьян уже далеко впереди.

— Это нелегко, — простонал Матц. — Мне ведь надо побывать еще у булочника Шерфа, иначе я в поезде проголодаюсь. А предков своих я огорчать не могу. Послушай-ка, князь поэтов, а где же наш Мартин Талер, именуемый еще Драймаркштюк? ¹ Я хотел с ним попрощаться, но нигде не обнаружил. А без него это невозможно. Ну так привет ему и всего наилучшего! И пусть напишет мне

¹ Драймаркштюк (нем.) — монета в три марки, на самом деле не существующая, т а л е р — название денежного знака, приравненного к трем маркам.

открытку, чтобы я знал, каким поездом он возвращается в наш «университет».

— Ладно,— сказал Джонни.— Я об этом позабочусь. А теперь закрой рот и отправляйся.

Матц поднял чемодан на левое плечо и крикнул:

— Человек! Я получил грушу! — и потащился прочь, как стажирующийся носильщик.

Вокзал кишел гимназистами. Одни ехали на север, другие — на восток. Два поезда, которых они ждали, проходили через Кирхберг с небольшим интервалом один за другим.

Приманеры прогуливались с «дамами для уроков танцев» по платформе и вели светские беседы. Подносили друг другу цветы и пряники. Красавчик Теодор получил от своей партнерши по танго, некой фрейлейн Мальвины Шнайдиг, настоящую сигаретницу. Он с гордостью показал ее другим приманерам. Те пожелтели от зависти.

Себастьян, который стоял неподалеку, собрал вокруг себя кучку младшекласников, отпускал шуточки по поводу расходов приманеров и имел шумный успех. Наконец приплелся и Матиас. Он уселся на свой чемодан и съел шесть штук пирожков.

И вот подошел первый из двух поездов. Гимназисты, которые отправлялись на север, овладели им штурмом, как вражеской твердыней. Затем они повысовывались из окон купе и во весь голос болтали с теми, кто еще оставался ждать. Один из секунданеров выставил из окна дощечку. На дощечке стояло: «Пароль — родина!» Один секстанер с воем вылез из поезда. Маленький дурачок оставил свой чемодан на платформе. Он нашел его и еще успел сесть в поезд.

Когда поезд тронулся, все замахали шапками. А «дамы для уроков танцев» замахали своими крохотными носовыми платочками, кричали: «Веселого, рождества!» Им в ответ орали: «С Новым годом!» А Себастьян кричал: «Веселой пасхи!» Затем пришел поезд из Галле.

И дальше продолжалось такое же веселье. И у всех было хорошее настроение. Кроме начальника станции. Он легко вздохнул, только когда и второй поезд потащился прочь и когда вокруг уже больше не было никаких гимназистов. Со своей точки зрения он, конечно, был прав.

Школьное здание словно вымерло. Дюжины учеников, которые уезжали только после обеда, даже и не чувствовались.

Тут Юстус надел свое зимнее пальто и вышел вниз, в тихий белый парк. Садовые дорожки были запорошены снегом. Нетронутые лежали они. Пропал гвалт и грохот. Иоганн Бёк остановился и прислушался к шороху падающего с веток снега. Итак, его ждало полное спокойствие и совершенное одиночество!

Он свернул в одну из боковых дорожек и обнаружил следы. Это были следы пары мальчиговых ботинок. Кто же это тут один разгуливал по парку?

Он пошел по следам. Они вели вниз, к кегельбану. Юстус на цыпочках проскользнул по снегу вдоль длинной стороны навеса и осторожно заглянул за угол.

На барьере сидел мальчик. Он прислонился головой к деревянному столбику и уставился наверх, на небо, где собирались тяжелые снеговые тучи.

— Алло! — крикнул Юстус.

Мальчик вздрогнул и испуганно обернулся. Это был Мартин Талер. Он спрыгнул с барьера. Учитель подошел ближе.

— Что ты тут делаешь?

— Я хотел побыть один, — сказал мальчик.

— Тогда извини, что побеспокоил, — сказал Юстус. — Но это очень хорошо, что я тебя встретил. Х-м, почему ты вчера утром так скверно читал?

— Я думал совсем о другом, — смущенно ответил Мартин.

— И ты считаешь это достаточным основанием? А почему ты вчера вечером так плохо играл в спектакле? А почему ты вчера и сегодня почти ничего не ел в столовой?

— Должно быть, я тоже думал о чем-нибудь другом, — ответил Мартин и готов был провалиться сквозь землю от стыда.

— Так. О чем же ты думал? О рождестве?

— Да, господин доктор.

— Ну, особенно радостным ты не выглядел.

— Да, это так, господин доктор.

— Когда же ты едешь домой? С послеобеденным поездом?

И тут из глаз первого ученика терции выкатились две большие слезинки. А потом — еще две. Но он стиснул зубы и больше слез не появилось. Наконец он сказал:

— Я не еду домой, господин доктор.

— Да ну! — удивился доктор. — Ты остаешься на каникулы в школе?

Мартин кивнул и тыльной стороной руки смахнул четыре слезинки.

— Твои родители не хотят, чтобы ты приезжал?

— Нет, господин доктор, родители хотят.

— А ты? Ты-то хочешь?

— Да, господин доктор, я тоже хочу.

— Ну и ну, вот еще какой скандал! — воскликнул Юстус. — Что же это значит? Они — хотят! Ты — хочешь! И, несмотря на это, остаешься здесь? В чем же дело?

— Лучше уж не говорить об этом, господин доктор, — сказал Мартин. — Разрешите идти? — Он повернулся и хотел убежать.

Но учитель удержал его.

— Минуточку, сынок! — сказал он, потом наклонился к мальчику и спросил его тихо-тихо, будто боялся, что его услышат деревья: — Может быть, у тебя нету денег на поезд?

Тут мужество окончательно покинуло Мартина. Он кивнул. Потом положил голову на покрытый снегом барьер кегельбана и беспомощно заплакал. Горе прямо навалилось на мальчика, судорожно затрясло его.

Юстус испуганно стоял рядом. Он подождал некоторое время. Он знал, что не следует спешить с утешениями. Потом он достал свой носовой платок, привлек мальчика к себе, вытер ему лицо.

— Ну-ну, — сказал он. — Ну-ну. (Он и сам немало в жизни перенес.) И сколько стоит это удовольствие?

— Восемь марок.

Юстус вытащил свой бумажник, достал ассигнацию и сказал:

— Так вот тебе двадцать. Этого хватит на поездку домой и обратно.

Мартин растерянно посмотрел на деньги. Потом затряс головой:

— Нет, это не годится, господин доктор.

Юстус сунул ему в карман бумажку в двадцать марок и сказал:

— Может быть, ты сейчас же и отправишься, ты, шалопай?

— Но у меня у самого еще есть пять марок, — пробормотал Мартин.

— Но разве ты не хочешь что-нибудь подарить родителям?

— Да, конечно, хочу... Но...

— Ну так давай же! — сказал воспитатель.

Мартин боролся с собой.

— Большое, большое спасибо, господин доктор. Но я не знаю, когда мои родители смогут вам вернуть деньги. Ведь отец у меня без места. Надеюсь, я на пасху найду секстанера, которому я смогу давать уроки. Пройдет так много времени...

— Не закроешь ли ты рот? — строго спросил доктор Бёк. — Если я тебе в сочельник дарю деньги на поездку, ты не должен мне их возвращать! Вот еще!

Мартин Талер стоял рядом со своим учителем и не знал, что ему делать, как благодарить. Наконец он нерешительно взял его руку и тихо пожал ее.

— Ну-ну, пакуй же свой чемодан! — сказал Юстус. — И передай от меня привет родителям. Прежде всего — матери. С ней-то ведь я уже знаком.

Мальчик кивнул. Потом он сказал:

— И вы, пожалуйста, тоже передайте большой привет вашей маме!

— Жаль, но это невозможно, — сказал доктор Бёк. — Моя мама уже шесть лет как умерла.

Мартин дернулся было вперед. Казалось, он хотел броситься на шею своему учителю. Но конечно же этого он не сделал, а, как воспитанный человек, немного отступил и посмотрел на Юстуса долгим, сочувствующим взглядом.

— Полно, — сказал доктор Бёк. — Ведь вы подарили мне Некурящего, с которым мы сегодня будем праздновать рождество. Там, в его железнодорожной вилле. И об Ули, и о его родителях, и о Джонни мне тоже надо немного позаботиться. Как видишь, особенно скучать мне не придется. — Он похлопал мальчика по плечу, дружески кивнул ему: — Счастливого пути, Мартин!

— Еще раз большое спасибо, — тихо сказал мальчик.

Он повернулся и побежал прочь. Наверх, к школе. В гардеробную.

А Юстус продолжил свою прогулку по тихому заснеженному парку. До ограды. Там он осторожно осмотрелся по сторонам. А потом перелез через ограду, точно так, как когда-то, когда был мальчишкой. Это у него получилось еще неплохо.

— Хорошо выученное не забывается,— сказал он замерзшему воробью, который удивленно посмотрел на него.

Затем он пришел к Некурящему. Тот раздобыл маленькую елочку. Они вместе украсили ее дождем и золочеными орехами.

Когда Мартин укладывал свой чемодан, в гардеробную пришел Джонни.

— Ты еще тут! — воскликнул он.— А Матц хотел с тобой попрощаться. Ты должен написать ему домой и сообщить, каким поездом поедешь обратно.

— Будет сделано,— с довольной улыбкой ответил Мартин.

— Ну, кажется, ты приходишь в норму,— обрадовано сказал Джонни.— Я уже думал, что ты совсем спятил. Что же с тобой было?

— Не спрашивай,— сказал Мартин. (Ведь не мог же он Джонни, у которого никакого дома не было и в помине, рассказывать о своих заботах!) Я только одно скажу: Юстус — вот это человек! Такого больше не встретишь.

— И ты считаешь, что сделал открытие?..

Собирая вещи, Мартин обнаружил «Отшельника», картинку, которую он нарисовал для Некурящего.

— Господи,— сказал он.— Многое, что изображено здесь, уже потеряло смысл. Ведь он же теперь никакой не отшельник, а наш школьный врач. Но все-таки это, наверное, будет ему приятно, а?

— Наверное,— сказал Джонни.— Это же для него воспоминание о годах уединения. Я отдам ее ему сегодня вечером.

А потом они поднялись вверх, к Ули. У малыша были посетители. Он, счастливо улыбаясь, лежал в кровати, а возле него сидели родители.

— Ничего себе история! — сказал господин Зиммерн.

— Он уж наверняка больше такого не сделает,— заявил Мартин.

Мама Ули только всплеснула руками:

— У него еще малость не хватает!

— Бывают скверные события, которых не миновать,— сказал Джонни Тротц.— Ведь если бы Ули не сломал ногу, он был бы, наверное, еще более больным.

Родители недоуменно взглянули на Джонни.

— Он у нас поэт,— объяснил Ули.

— А-а,— произнес отец.— Тогда, конечно, другое дело.

Мальчики поскорее откланялись. Ули пообещал Мартину как можно скорее поправиться.

Джонни и Мартин расстались у садовых ворот. Джонни почувствовал, что Мартин хотел что-то спросить у него, но не решился.

— Все дело в привычке,— сказал Джонни.— Родителей не выбирают. Когда я иногда представляю себе, что они могли бы тут появиться и забрать меня, только тогда я понимаю, как хорошо, что я могу оставаться один. Впрочем, третьего января в Гамбург приходит капитан. Он приедет сюда и съездит со мной на два дня в Берлин. Это будет здорово.— Он кивнул товарищу.— Не беспокойся. Большого счастья я не испытываю. Но и особенно несчастным я себя не считаю...

— Что у тебя в пакете? — спросил Джонни: ведь Мартин не смог поместить в чемодан свою рождественскую посылку.

— Белье,— ответил Мартин.

Это был тот же самый ответ, который он вчера дал Матиасу. Не мог же он сказать Джонни, что он берет с собой домой свои собственные рождественские подарки! Что он берет их с собой из Кирхберга, вместо того чтобы найти их в Хермсдорфе под елкой!

Внизу, в городе, он купил коробочку сигар для отца. Двадцать пять штук, каждая опоясана бумажной ленточкой с маркой фирмы: «Гавана». А маме он купил в трикотажном магазине пару теплых вязаных домашних туфель. Ведь ее старые из верблюжьей шерсти уже давно пора выбросить. А она все говорит: «Они выдержат еще лет десять». Потом, тяжело нагруженный, он отправился на вокзал.

Он сказал в окошко кассы:

— Один третьего класса до Хермсдорфа.

Кассир выдал ему билет, дал ему и сдачу. Мартин все бережно спрятал в карман. Потом сказал:

— Большое вам спасибо! — и радостно взглянул на служащего.

— Чему ты так радуешься? — спросил кассир.

— Рождеству,— ответил мальчик.

Глава двенадцатая

содержит много красивых рождественских елок и одну маленькую сосну; апельсины, которые весят по четыре фунта штука; очень много слез; повторившийся звонок; слезы и смех одновременно; новые цветные карандаши и их первое применение; хермсдорфский ночной почтовый ящик и падающую звезду

Это было в сочельник в двадцать часов. Служба погоды обещала сильные снегопады по всей Средней Европе. И вот небо доказало, как хорошо была информирована служба погоды. Действительно по всей Средней Европе шел снег.

Значит, шел снег и в Хермсдорфе. Господин Герман Талер стоял в гостиной у окна. В комнате было темно. Ведь освещение стоило денег. А Талерам приходилось экономить.

— Уже много лет не выпадало так много снега на рождество,— заметил он.

Фрау Талер сидела на диване. Она только кивнула. Да ее муж и не ждал никакого ответа. Он говорил лишь для того, чтобы только не было этой тишины.

— У Нейманов уже одевают подарками,— сказал он.— Ах, и у Мильдесов тоже зажигают свечи! Красивая, большая елка у них. Ну, конечно, он теперь снова хорошо зарабатывает.

Господин Талер посмотрел вдоль улицы. Число светящихся окон росло с каждой минутой. А снежинки кружились в воздухе словно бабочки.

Фрау Талер пошевелилась. Старый плюшевый диван заскрипел.

— Что же он там теперь поделявает в этой большой, неприятной, пустой школе? — спросила она.

Муж недовольно фыркнул.

— Ты напрасно себя расстраиваешь,— сказал он.— Во-первых, там Джон Тротц, с которым, кажется, он очень дружен. А потом там же еще один, маленький дворянин, который сломал ногу. Наверняка они сидят у его постели и всю веселятся.

— Ты и сам в это не веришь,— сказала жена.— Ты так же хорошо, как и я, знаешь, что наш мальчик сейчас не веселится. Скорее всего, он забился в какой-нибудь угол и льет слезы в три ручья.

— Вот уж наверняка он этого не делает,— возразил

муж.— Он же обещал, что не будет плакать. А такой мальчик, как он, держит слово.

В общем-то, господин Талер не был так уверен в своем утверждении, как хотел показать. Но что было ему еще говорить?

— Обещал! Обещал! — сказала мать Мартина.— Я тоже ему обещала, и, несмотря на это, я зарыдала, еще не дописав ему письма.

Господин Талер повернулся к окну спиной. Сияющие елки действовали ему на нервы. Он посмотрел в темную комнату и сказал:

— Пойди зажги свет.

Жена поднялась и зажгла лампу. Глаза у нее были красны от слез. На круглом столе стояла маленькая, очень маленькая сосенка. Фрау Ридель, вдова, которая продавала на верхнем рынке елки, подарила ее им. «Для вашего Мартина»,— сказала она. И вот у Талеров была настоящая рождественская елочка, а мальчика не было дома!

Господин Талер пошел на кухню, долго возился там и наконец вернулся с маленьким ящичком.

— Тут прошлогодние свечки,— сказал он.— Они у нас сгорели только наполовину.

Он закрепил двенадцать половинок рождественских свечек на ветках сосенки. В конце концов, деревце и в самом деле стало красиво. Но родители Мартина стали еще печальнее.

Они уселись рядышком на диване. Фрау Талер стала в пятый раз перечитывать письмо Мартина. В одном месте она остановилась и вытерла глаза, а когда закончила чтение, достала носовой платок и как следует высморкалась.

— И чего, спрашивается, нам еще ждать от судьбы, если уж такому малышу приходится на себе почувствовать, как плохо, когда нет денег. Надеюсь, он не упрекнет родителей, что они были так беспомощны и стали такими бедными!

— Не говори глупостей! — сказала жена.— Как тебе только в голову может такое прийти! Мартин, правда, еще ребенок, но он отлично знает, что трудолюбие и богатство это совсем не одно и то же.

Потом они взяли картинку с голубым экипажем и шестеркой лошадей со столика для шитья и осторожно поставили ее под маленьким деревцем.

— Я, конечно, ничего не понимаю в искусстве,— сказал отец,— но картинка эта мне очень нравится. Навер-

ное, он когда-нибудь станет знаменитым художником! Тогда мы и в самом деле сможем с ним попутешествовать по Италии. Или это, может быть, Испания?

— Главное, чтобы он был здоров,— заявила мама.— Ты только взгляни, какие усы он нарисовал себе под носом!

Родители устало улыбнулись.

Мать сказала:

— Мне кажется, это очень хорошо, что он нарисовал нас не в каком-нибудь помпезном авто, а в голубом экипаже с шестеркой лошадей. Это гораздо поэтичнее.

— А эти апельсины! — сказал отец.— Таких больших, пожалуй, и не бывает. Каждый весит по меньшей мере четыре фунта.

— А как он размахнулся кнутом! — сказала мама.

Потом они снова помолчали, внимательно разглядывая картину, которая называлась «Через десять лет», и думая о маленьком художнике.

Отец закашлялся.

— Через десять лет! За это время многое может произойти.

Он достал из кармана спички, зажег двенадцать свечек и потушил лампу. Гостиная Талеров по-рождественски озарилась.

— Моя добрая верная подруга! — сказал муж жене.— Мы ничего в этот раз не можем друг другу подарить. Тем более мы можем желать друг другу.— И он поцеловал ее в щеку.— Радостного рождества!

— Радостного рождества! — сказала и она и заплакала; и плакала так, словно ей уже больше никогда и не остановиться.

Кто знает, сколько времени они сидели так на старом плюшевом диване... Стеариновые свечечки становились все меньше и меньше. В соседней квартире запели:

Тихая ночь...

И все еще кружились снежинки перед окном.

И вдруг звонок.

Оба не пошевелились. Они не хотели тревожить свою печаль.

Однако позвонили еще раз. Громче и нетерпеливее.

Фрау Талер поднялась и медленно пошла в коридор. Даже в сочельник не хотят оставить в покое! Она отворила дверь квартиры, да так и осталась стоять, не в силах сдвинуться с места от изумления. Потом вскрикнула:

— Мартин! (Эхом откликнулась лестничная клетка.) Мартин!.. Да как же это?..

Отец бросился в переднюю и отпрянул, не поверил глазам своим. Мать опустилась у порога на колени и крепко обхватила Мартина обеими руками. Тут на глазах господина Талера даже рискнули выступить слезинки. Он негодуя смехнулся их прочь, поднял оставленный на полу чемодан и сказал:

— Мальчик мой, ради всего святого, как же тебе удалось выбраться сюда?

Прошло еще некоторое время, прежде чем они оказались в гостиной. Мать и мальчик смеялись и плакали, глядя друг на друга. А отец без конца лепетал что-то невнятное:

— Вот так так... Вот так так...

Потом он кинулся обратно, в переднюю. Ведь они от волнения, конечно, забыли запереть дверь.

Первое, что произнес Мартин, было:

— Деньги на обратный проезд у меня тоже есть.

Наконец все трое настолько успокоились, что мальчик смог рассказать, как это получилось, что он оказался здесь, а не в Кирхберге.

— Я действительно как следует взял себя в руки. Я даже не плакал. Вернее, плакал, но уже потом, позже. Но доктор Бёк, наш воспитатель, все равно заметил, что что-то не в порядке. Вот. И он дал мне тогда двадцать марок. Внизу, в парке. У кегельбана. Это мне в подарок. И я должен передать вам от него большой, большой привет.

— Спасибо,— в один голос сказали родители.

— И я даже купил несколько подарков,— с гордостью заявил Мартин и протянул отцу сигары с фирменной ленточкой «Гавана», а матери — вязанные туфли. И она была так рада!

— А своих я еще не видел,— признался Мартин.

И он раскрыл посылку, которую получил в Кирхберге. Он обнаружил в ней великолепные вещи: новую ночную рубашку, которую ему мама сшила сама, две пары шерстяных носков, коробку пряников, облитых шоколадом, увлекательную книгу о южных морях, тетрадь для рисования и, что самое прекрасное, коробку лучших цветных карандашей.

Мартин был в восторге и расцеловал родителей.

Это был настоящий сочельник, прекраснее он не мог себе и представить. Правда, свечи на маленькой елочке-сосенке очень скоро догорели, но зажгли лампу. Мама



сварила кофе. Отец закурил рождественскую сигару. Потом они угостились пряниками и почувствовали себя счастливее, чем все вместе взятые живущие на свете и уже умершие миллиардеры. Мама примерила новые туфли и сказала, что таких чудесных домашних туфель у нее еще никогда не было.

После всего этого Мартин уселся как следует, достал из кармана обыкновенную почтовую открытку, которую он купил на вокзале, и принялся рисовать. Конечно, новыми цветными карандашами.

Родители, улыбаясь, посмотрели друг на друга, потом — на сына. Он нарисовал молодого господина, у которого сзади, из пиджака, торчали два ангельских крыла. Этот необыкновенный господин спускался из заоблачных высот. А внизу стоял маленький мальчик, из глаз у которого капали огромные слезы. Господин с крыльями держал в руках толстый бумажник и протягивал его мальчику.

Мартин откинулся назад, профессионально прищурил глаза, подумал немного и нарисовал еще много-много снежинок, а на заднем плане — железную дорогу, на которой вырос локомотив, украшенный елочками. Около поезда стоял с поднятой рукой станционный служащий, давая сигнал к отправлению. Внизу мальчик

вывел печатными буквами: «Рождественский ангел по имени Бёк».

На оборотной стороне открытки написали несколько строк родители.

«Глубокоуважаемый господин доктор! — написала фрау Талер.— Наш мальчик, наверное, прав, изобразив Вас в виде ангела. Я не умею рисовать. Я могу отблагодарить Вас только словами. Большое, большое спасибо за живой новогодний подарок, который вы нам преподнесли! Вы добрый человек. Вы заслуживаете того, чтобы все Ваши ученики стали порядочными людьми! Этого и желает Вам благодарная М а р г а р е т Т а л е р».

Отец пробурчал:

— Ты же мне совсем не оставила места!

И ему не осталось ничего другого, как только приписать свое имя. В заключение Мартин надписал адрес.

Затем они надели свои пальто и все вместе пошли на вокзал. Там они опустили открытку в ночной почтовый ящик, чтобы Юстус обязательно получил ее в первый день праздника. А потом они снова прогулялись домой. Мальчик шел посредине и держал обоих родителей под руки.

Это была такая чудесная прогулка! Небо сверкало, как бескрайний ювелирный магазин. Снег больше не шел. И во всех домах сияли нарядные елки.

Мартин остановился и показал наверх, на небо:

— Свету звезд, который мы видим, много, много тысяч лет,— сказал он.— Эти лучи так долго добираются до нас. Может быть, многие из этих звезд потухли еще до рождества Христова, а их свет еще путешествует. Значит, они еще светят нам, хотя на самом деле уже давно остыли.

— Ого,— сказал отец, мать тоже выразила удивление, и они пошли дальше.

Снег поскрипывал у них под ногами. Мартин крепко прижимал к себе руку матери и руку отца. Он был счастлив.

Когда они остановились перед домом и отец стал отпирать дверь, Мартин еще раз взглянул наверх. И как раз в этот момент с небосвода сорвалась и в тишине понеслась к горизонту звездочка. А Мартин успел, пока она еще не погасла у края неба, задумать желание: «Пусть моя мама и отец, Юстус и Некурящий, Джонни, Матц, Ули и Себастьян будут очень, очень счастливы в жизни! И я — тоже!» Правда, это было довольно широкое желание, но

Мартин мог надеяться на его исполнение. Ведь пока звездочка падала, он не спускал с нее глаз.

А это же, как известно, самое главное.

Послесловие

*содержит автобусы и трамваи; грустные воспоминания о бабочке Фриде и теленке по имени Эдуард; встречу с Джонни и капитаном; множество приветов Юстусу и Не-
курящему, а также конец книги*

Ну вот я и рассказал вам мою новогоднюю историю. Вы помните, что, когда я ее начал писать, я сидел на широком лугу? На деревянной скамейке, за качающимся столом, помните? И если мне становилось жарко, я смотрел наверх, на скалистые уступы и расселины Цугшпитце.

Но время течет...

И вот послесловие я пишу уже снова в Берлине. Именно здесь у меня маленькая квартирka. В пятиэтажном доме, окруженном садом. Кстати, у меня гостит мама, и к обеду я должен быть дома без опозданий. Сегодня макароны с ветчиной. Это мое любимое блюдо.

И вот я сижу перед кафе на Курфюрстендам¹. Наступила осень. Когда поднимается ветер, на асфальт падают желтые и бурые листья.

Куда улетела яркая бабочка по имени Фрида, которая на протяжении пяти недель навещала меня чуть ли не каждый день? Бабочки не стареют. Фрида, должно быть, умерла. Она была такая приветливая и преданная. Мир праху ее!

А что-то поделывает бурый теленок, который каждый вечер заходил за мной и провожал меня до отеля на озере? Может быть, он уже стал быком? Или его пустили на телячьи котлеты? Ах, Эдуард был такой симпатичный! Если бы он сейчас пересек Курфюрстендам, остановился перед моим плетеным стулом, весело взглянул на меня да подтолкнул своими маленькими рожками, я бы запел от радости на тирольский лад. И я бы определенно взял его к себе. Он мог бы, наверное, жить у меня на балконе. Я бы кормил его матрасом из морской травы, а вечерами прогуливался бы с ним по Грюневальду²...

¹ Курфюрстендам — улица в Берлине (теперь Западном Берлине).

² Грюневальд — парк в Берлине (теперь Западном Берлине).

Но тут, где я сейчас сижу, не проходит ни один теле-нок. В лучшем случае — несколько ослов или бегемот.

И звенят трамваи. Катят мимо, ворча и фыркая, автобусы. Воют машины, будто их режут. И все это торопится, спешит. Ну да, ведь я же снова в большом городе.

У подножия Цугшпитце пахло полевыми цветами. Здесь воняет автомобильной резиной и отработанным бензином. И все-таки если это или фабричные трубы, многоэтажные дома или горы с вечными снегами, хлебные нивы или станции метро, бабье лето или телеграфные провода, переполненные кинозалы или зеленые озера — словом, город или деревня, я люблю и то и другое. И то и другое заслуживают, чтобы их любили. И чем бы то было одно без другого?..

Прежде чем поставить точку, я должен вам рассказать о только что состоявшейся встрече. Среди множества людей, что проходили мимо, повстречался также и офицер торгового флота. Пожилой господин в великолепной синей форме с золотыми нашивками и звездами. А с ним мальчик в гимнастической шапочке. Ошибка исключалась. Это были Джонатан Тротц и капитан.

— Джонни! — крикнул я.

Мальчик повернулся. Капитан остановился. Я подошел к ним и поклонился капитану.

— Ты ведь Джонни Тротц из кирхбергерской гимназии Иоганна-Сигизмунда? — обратился я к мальчику.

— Да, конечно, — ответил он.

— Я очень рад, — сказал я в ответ. — А вы тот самый капитан, который как отец заботится о Джонни? — спросил я господина в морской форме.

Он приветливо кивнул, и мы протянули друг другу руки.

— Я написал о вас книгу, — сказал я гимназисту. — Правда, о тех удивительных событиях, которые произошли с вами два года назад под Новый год. Теперь-то ты уж, собственно, наверное, секунданер, и мне бы надо называть тебя на «вы». Но я не делаю этого. И ты этого тоже не потребуешь. Помнишь ли ты о том времени, когда реалисты сожгли у Эгерланда в подвале ваши тетрадки для диктантов?

— О, я все это помню еще очень хорошо, — сказал Джонни. — И вы об этом написали?

Я кивнул.

— И о прыжке с зонтиком, — добавил я, — когда Ули сломал ногу.

— Вам и это известно? — удивился Джонни.

— Разумеется,— ответил я.— И это, и еще многое-многое другое. Как поживают остальные? У Матиаса все еще такой же хороший аппетит?

— Он не ест,— сказал Джонни.— Он пожирает! И во-вторых, два раза в неделю он занимается боксом в спортивной школе.

— Превосходно! А что поделявает Себастьян?

— Он вдруг увлекся химией. Он читает толстые тяжелые книги об электронной теории, о кинетической теории, о квантовой теории и о прочих подобных вещах. Он хочет стать ученым и узнать, что находится внутри атомов.

— А что делает твой друг?

— Мартин? Он все еще первый ученик в классе и все еще приходит в ярость, когда совершается какая-нибудь несправедливость. А в остальное время он рисует. Это же вам тоже, конечно, хорошо известно. Его картины очень красивы, и профессор из Академии искусств пишет, что ему надо стать художником. А отец у Мартина снова нашел работу.

— Это меня определенно радует,— сказал я.— А Ули?

— Ули — чудесный парень,— сказал Джонни.— Он все еще самый маленький в классе. Но он уже совсем не тот, что раньше. Матиас целиком под его каблуком. И мы — остальные, пожалуй, тоже. Ули хоть и остался маленьким, но в нем обнаружилась такая сила, которой никто не может противиться. Ули сам-то этого совсем и не хочет. Но если он на кого взглянет, он сразу его покоряет.

— Он же тогда преодолел самого себя,— задумчиво сказал капитан.— А уж все остальное — это пустяки.

— Конечно, это так.— Я снова повернулся к Джонни: — А ты все продолжаешь писать стихи?

Капитан улыбнулся:

— Да, он пишет и сказки, и драмы, и стихи. Может быть, ему можно послать что-нибудь вам на проверку? Не могли бы вы посмотреть?

— Железно! — сказал я.— Но я могу определить только результат, а не талант. Я только смогу сказать, можешь ли ты писать, а не сможешь ли ты когда-нибудь стать писателем. Это уже покажет будущее.

— Я буду ждать,— тихо проговорил Джонни.

«Терпеливый мальчик»,— подумал я. Потом я сказал:

— А когда будешь в Кирхберге, прежде всего передай привет Юстусу и Некурящему.

— Так вы и их знаете? — озадаченно спросил Джонни Тротц.— И от кого же мне передать привет?

— От их берлинского друга,— сказал я.— Тут уж они сразу поймут. И мальчишкам — тоже привет!

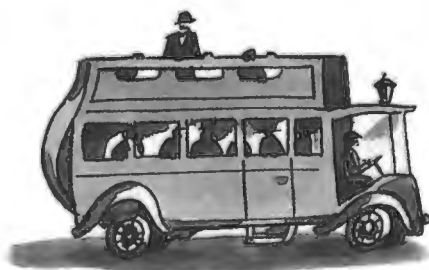
— С удовольствием передам всем приветы! А вы пришлете нам книгу, если она напечатана?

— Я пошлю ее доктору Бёку,— сказал я.— А он, если сочтет это нужным, даст вам. Или только Мартину Талеру.

Затем мы протянули друг другу на прощание руки. И капитан со своим приемным сыном поспешили дальше. Джонни повернулся еще раз и помахал мне.

Теперь мне все-таки надо успеть на автобус номер один и добраться домой. Иначе макароны станут совсем холодными.

Мама моя немало удивится, если я расскажу ей, что повстречал Джонни Тротца с его капитаном!



КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ





НИ ОДНОЙ КНИГИ БЕЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

ДОРОГИЕ ДЕТИ И НЕ ДЕТИ!

Друзья давно уже посмеиваются над тем, что ни одна моя книга, мол, не выходит в свет без предисловия. Мало того, были книги, к которым я ухитрялся писать по два и даже по три предисловия! Тут я, прямо сказать, не утомим. Пусть даже это дурная привычка — меня от нее не отучить. Во-первых, от дурных привычек всего труднее отучаешься, а во-вторых, я вовсе не считаю это дурной привычкой.

Предисловие для книги все равно что палисадник перед домом: оно одно из главных ее украшений. Конечно, существуют дома и без палисадничков и книги без предисловиц... простите, без предисловий. Но книги с палисадником... тьфу, с предисловием мне куда милей. Я совсем не желаю, чтобы посетители с бухты-барахты вваливались ко мне в дом. Ничего хорошего в том нет ни для посетителей, ни для дома.

Никогда не поверю, будто разбивать палисадник с цветочными рабатками, скажем, с пестрыми-препестрыми анютиными глазками, коротенькой дорожкой к

крыльцу в две-три ступеньки, по которым поднимаешься к двери и к звонку,— такая уж дурная привычка! Не спорю, многолюдные дома, даже семидесятиэтажные небоскребы, стали с течением времени необходимостью. Да и толстые книги, эдакие увесистые кирпичи, как видно, тоже. И все-таки, грешным делом, я по-прежнему всей душой привязан к маленьким уютным домикам с цветущими анютиными глазками и георгинами в палисаднике. И к тоненьким удобным книжкам с предисловием.

Может, все дело в том, что сам я рос именно в густонаселенных домах. Без всякого палисадничка. Мне палисадником был задний двор, а перекладина для выбивания ковров заменяла липу. Незачем над этим проливать слезы, да слез и не было пролито. Дворы и перекладки для выбивания ковров прекрасная штука. И я редко плакал и часто смеялся. Однако кусты сирени и ветки бузины лучше и прекраснее, по-другому прекраснее. Это я понимал, еще когда был маленьким. А сейчас понимаю, пожалуй, и того лучше. Потому что сейчас у меня наконец появился палисадничек, а за домом — лужайка. Есть у меня и розы, и фиалки, и тюльпаны, и подснежники, и нарциссы, и лютики, и синеголовник, и колокольчики, и высоченная цветущая трава, которую поглаживает летний ветерок. А еще у меня черемуха, и кусты сирени, и два рослых ясеня, и старая, совсем трухлявая ольха. Даже лазоревки, синицы, коноплянки, поползни, снегири, дрозды, сороки и дятлы — и те у меня имеются. Иной раз я готов сам себе завидовать!

В этой книжке я собираюсь рассказать детям кое-что о своем детстве. Только кое-что, а не все. Иначе получится толстенная книга, какие я не слишком жалую, эдакий увесистый кирпич, а мой письменный стол, в конце концов, не кирпичный завод; и потом, не все, что выпадает на долю детей, годится для детского чтения. Звучит это странно, но тем не менее так. Уж вы мне поверьте на слово.

Пятьдесят лет минуло с тех пор, как я был маленьким, а пятьдесят лет — худо-бедно целых полвека (надеюсь, я не ошибся!). И вот в один прекрасный день я подумал: может быть, вам будет интересно узнать, как жили маленькие мальчики полвека назад (надеюсь, что и тут я не ошибаюсь).

Тогда очень многое отличалось от того, что мы видим сейчас! Я еще застал конку. Вагоны бежали по рельсам, но тянули их лошади, а вожатый был заодно кучером и пощелкивал бичом. Едва горожане освоились с трамваем, в моду вошли юбки-ковыляшки. Дамы стали носить длинные-предлинные и узкие-преузкие юбки. В них они могли только семенить мелкими шажками, а влезть в трамвай уж вовсе не могли. Кондуктор и пассажиры поздравовее под общий смех подсаживали их на площадку, причем дамам приходилось к тому же наклонять голову, потому что носили они огромные, с колесо, шляпы с исполинскими перьями и аршинными шляпными булавками, на которые по особому распоряжению полиции для безопасности надевались защитные колпачки!

Тогда Германией еще правил кайзер. У него были круто закрученные вверх усы, и его берлинский придворный парикмахер рекламировал в газетах и журналах излюбленные кайзером наусники. Поэтому по всей Германии мужчины утром после бритья повязывали себе над верхней губой широкие наусники, что придавало им дурацкий вид, и целых полчаса не разговаривали, а мычали.

Кроме того, у нас в Саксонии был еще король. В честь кайзера каждый год устраивались кайзерские маневры, а для нашего короля, по случаю дня его рождения, — королевский парад. Мундиры гренадеров и стрелков, не говоря уж о кавалерийских полках, ярко горели всеми красками. И когда по Алаунплатц в Дрездене мимо королевской трибуны дефилировали конногвардейцы в блестящих касках, гроссенхайнские и бауценские гусары в отороченных ментиках и коричневых меховых шапках, ошакские и рохлицкие уланы в уланках и киверах, конные егеря, все верхом, с саблями наголо и поднятыми пиками, зрители не помнили себя от восторга и дружно кричали «ура». Трубили трубы. Звенели бунчуки. Литаврщики били в литавры так, что все дрожало. Эти парады были самыми великолепными и впечатляющими «цирковыми представлениями и опереттами», какие я только видел в жизни.

Монарх, чье рождение так шумно и красочно праздновалось, носил имя Фридрих Август. Он был последним саксонским королем. Но тогда он этого еще не подозревал. Иногда король с детьми проезжал по городу. Рядом с кучером, в шляпе с разноцветным плюмажем, скрестив руки на груди, сидел лейб-егерь. А из открытого экипажа нам, детям, махали маленькие принцы и прин-

цессы. Король тоже махал и при этом приветливо улыбался. Мы махали в ответ и чуточку его жалели. Потому что нам, как всем и каждому, было известно, что от него сбежала жена, королева саксонская. Сбежала с синьором Тоселли, итальянским скрипачом! Так король сделался всеобщим посмешищем, а маленькие принцы и принцессы остались без матери.

Перед рождеством, подобно другим офицерам, король, высоко подняв воротник, прогуливался в одиночку по сияющей огнями Прагерштрассе и останавливался в раздумье перед ярко освещенными витринами. Больше всего он интересовался детским платьем и игрушками. Шел снег. В магазинах сверкали наряженные елки. Прохожие, подталкивая друг друга, шептали: «Король!» — и спешили дальше, чтобы его не смущать. Он был очень одинок. Он любил своих детей. И за это его любили дрезденцы. Если б он зашел в мясную Рариша и сказал одной из продавщиц: «Парочку горячих сосисок и побольше горчицы, я съем тут!» — та наверняка не опустила бы на колени и уж конечно не ответила бы: «Это для нас большая честь, ваше величество». Она бы просто спросила: «С булочкой или без?» А мы все, в том числе и я с матушкой, отвернулись бы, не желая портить ему аппетит. Но король, видимо, не решался. Он не заворачивал к Раришу, а шел по Зеештрассе, останавливался перед лучшей в городе гастрономией Лемана и Лейхсенринга, затем пересекал площадь Альтмаркт, брел по Шлосштрассе, где в витрине Цейнера долго разглядывал выстроенных в боевом порядке нюрнбергских оловянных солдатиков, и на том его праздничное гулянье и кончалось! Потому что на противоположной стороне улицы стоял замок. Короля уже заметили. Выскакивали часовые. Гремели слова команды. Винтовки брались на караул. И последний саксонский король, приложив руку к козырьку, исчезал в своей чересчур просторной квартире.

Да, полвека — срок немалый. Но иногда думаешь: это было вчера. Чего только не перевидали мы за это время! Войны и электрическое освещение, революции и инфляции, дирижабли и Лига Наций, расшифровка клинописи и сверхзвуковые самолеты... Однако времена года и заданные на дом уроки как были, так и остались. Матушка еще обращалась к своим родителям на «вы». Но любовь родителей к детям и детей к родителям по-

прежнему неизменна. Отец в школе еще писал «хлеб» по старой орфографии. Но так или этак пишется «хлеб», ели и едят его всегда с удовольствием. Почти всё изменилось, и почти всё осталось прежним.

Было это лишь вчера или в самом деле прошло полвека, как я решал арифметические задачи под коптящей керосиновой лампой? И вдруг с тонким «дзинь» лопнуло стекло, и его пришлось осторожно, с помощью тряпки, заменить. В наши дни перегорают пробки, и, чиркнув спичкой, ищешь и вворачиваешь новые. Такая ли уж большая тут разница? Конечно, свет сейчас горит ярче, и электрический ток не покупаешь в бидоне. Многие стало удобнее. Но стало ли от того лучше? Не уверен. Может быть. А может быть, и нет.

Когда я был маленьким, я утром, еще до школы, мчался в лавку потребительского общества на Гренадерштрассе. «Полтора литра керосина и четырехфунтовый свежий хлеб второго сорта», — говорил я продавщице. Затем со сдачей, талонами на скидку, хлебом и полным бидоном бежал дальше. Вокруг мигающих газовых фонарей плясали снежинки. Мороз колкими стежками зашивал мне ноздри. Мой путь лежал к мяснику Кислингу: «Четверть фунта домашней кровяной и ливерной колбасы, пожалуйста; той и другой пополам!» Оттуда — к зеленщице фрау Клетш: «Брусочек масла и шесть фунтов картофеля. Матушка велела кланяться и передать, что последний был подморожен!» А теперь домой! С хлебом, керосином, колбасой, маслом и картофелем! Дыхание, будто дым эльбского парохода, вырывается изо рта белыми клубами. Зажатый под мышкой теплый четырехфунтовый хлеб вот-вот выскользнет. Сдача в кармане позвякивает. Керосин в бидоне плещется. Сетка с картофелем бьет по колену. Скрипучая дверь парадной. Вверх по лестнице через две ступеньки. Звонок на четвертом этаже, но как позвонишь, если руки заняты? Колочу в дверь носком башмака. Дверь распаивается. «Не мог позвонить?» — «Нет, мамочка, сама видишь!» Она смеется. «Ничего не забыл?» — «Как это так — забыл?» — «Ну, входите, входите, молодой человек!» А потом, за кухонным столом, — чашка ячменного кофе с примесью винных ягод и ломоть, непременно горбушка, теплого еще хлеба со свежим маслом. Меж тем как уложенный ранец ждет в передней, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

«С тех пор прошло более пятидесяти лет», — сухо заявляет календарь, этот закоснелый лысый бухгалтер в канцелярии Истории, ведущий счет времени и чернилами и линейкой, подчеркивающий синим високосные года и красным — каждое начало столетия. «Нет! — кричит воспоминание и встряхивает кудрями. — Это было вчера! — И с чуть лукавой улыбкой шепотом добавляет: — Ну, самое большое, позавчера». Кто же прав?

Оба правы. Есть два времени. Одно можно мерить на обыкновенный аршин, мерить секстантом и буссолью. Как измеряют улицы и земельные участки. Но воспоминание наше, это другое времяизмерение, знать не знает никаких метров и месяцев, никаких десятилетий и гектаров. Старо то, что позабыто. А незабываемое было лишь вчера. Масштабом служат не часы, а ценность. И самое драгоценное, все равно, радостное оно или печальное, — это детство. Не забывайте незабываемое! Этот совет, кажется мне, никогда не будет преждевременным.

И вот вступление закончено. На следующей странице начинается первая глава. Так положено. Ибо если правило: «Ни одной книжки без предисловия» — в какой-то мере оправданно, то обратное уж бесспорно справедливо. А именно:

НИ ОДНОГО ПРЕДИСЛОВИЯ БЕЗ КНИЖКИ.

Глава первая

КЕСТНЕРЫ И АВГУСТИНЫ

Кто начинает рассказывать о себе, начинает обычно с совершенно других людей. С людей, которых никогда не видел и не мог увидеть. С людей, которых никогда не встречал и никогда не встретит. С людей, которые давно умерли и о которых почти ничего не знает. Кто начинает рассказывать о себе, начинает обычно со своих предков.

И это вполне понятно. Без предков каждый из нас оказался бы в океане времени, как потерпевший кораблекрушение — на крохотном необитаемом островке, в полнейшем одиночестве. Сирота сиротой. Без отца-матери. Дедов-прадедов. Роду-племени. Через своих предков мы связаны с прошедшим и уже столетия как все состоим в родстве и свойстве. А придет время, и мы в свою очередь станем предками. Предками для людей, которые сегодня еще не родились и тем не менее нам уже родня.

В былые времена китайцы воздвигали своим предкам домашние алтари, становились перед ними на колени и не забывали об этой связи. Император и мандарин, купец и кули — каждый помнил, что он не только император или кули, но есть и останется даже после своей смерти звеном единой, неразрывной цепи. И будь цепь из золота, из жемчуга или из простого стекла, будь предки сынами неба, рыцарями или всего лишь привратниками, никто не оставался в одиночестве. Столь гордым или столь нищим не был никто.

Но оставим торжественный тон. Хотим мы того или нет, мы не китайцы. Поэтому я не собираюсь поднимать своих предков на пьедестал, а хочу о них только немножко рассказать.

...«Только немножко рассказать» о предках моего отца не представляет ни малейшего труда. Потому что я о них ничего не знаю. Или почти ничего. День свадьбы и год смерти, их имена и даты рождения добросовестно занесены протестантскими пасторами в саксонские церковные книги. Мужчины были ремесленниками, имели по многу детей и переживали своих жен, большей частью умиравших после родов. И многие новорожденные умирали вместе с матерями. Но так было не только у Кестнеров, так было во всей Европе и Америке. Перемена к лучшему наступила лишь после того, как доктор Игнац Филипп Земмельвайс¹ покончил с родильной горячкой. Случилось это лет сто назад. Доктора Земмельвайса называли «спасителем матерей» и на радостях позабыли воздвигнуть ему памятник. Впрочем, это к делу не относится.

Отец моего отца, Кристиан Готлиб Кестнер, столяр по профессии, жил в Пениге, маленьком саксонском городке, стоящем на речушке под названием Мульде, и с женой Лорой, урожденной Эйдам, народил одиннадцать человек детей, пятеро из которых умерли, еще не научившись ходить. Двое сыновей пошли по стопам отца, сделавшись столярами. Третий, дядя Карл, стал кузнецом. А Эмиль Кестнер, мой отец, обучился седельному и шорному делу.

Возможно, они-то и их предки завещали мне ту чисто ремесленную добросовестность, с какой я отношусь к своей работе. Возможно, своим гимнастическим талантом — со временем, правда, несколько заржавевшим — я обязан дяде Герману, который в возрасте семидесяти пяти лет все еще лидировал в команде гимнастов-ветеранов. И не подлежит сомнению, что именно от Кестнеров я унаследовал фамильную особенность, не перестающую удивлять, а частенько и злить большинство моих друзей: глубокое и неискоренимое отвращение ко всяким путешествиям.

¹ Игнац Филипп Земмельвайс (1818—1865) — венгерский врач, разработавший метод борьбы с инфекцией, которая была причиной родильной горячки. Его открытие по-настоящему оценили лишь после его смерти. В 1906 году в Будапеште поставили памятник Земмельвайсу с надписью: «Спаситель матерей».

Нас, Кестнеров, не влечет белый свет, мы не испытываем к нему особого любопытства. Мы тоскуем не по дальним странам, а по дому. Зачем нам в Шварцвальд, на Эверест или Трафальгарскую площадь? Когда каштан перед домом, дрезденский Волчий холм и площадь Альтмаркт вполне их нам заменяют. Вот ежели б прихватить свою кровать и окно гостиной, еще можно подумать! Но отправиться в чужие края и бросить дома обжитой угол? Увольте! Нет на земле такой высокой вершины и манящего оазиса, такой экзотической гавани и грохочущей Ниагары, чтобы мы уверовали в необходимость их увидеть! Еще куда ни шло, если бы уснуть дома и проснуться в Буэнос-Айресе. Пребывание там можно бы ненадолго вынести, но путешествие туда? Да ни за что на свете! Боюсь, мы страстные почитатели привычки и уюта. Но, помимо этих сомнительных свойств, у нас есть одно достоинство: мы неспособны скучать. Какая-нибудь божья коровка на оконном стекле занимает нас целиком и полностью. Нам вовсе не требуется лев в пустыне.

Тем не менее мои деды и прадеды и даже еще отец хоть раз в жизни, да путешествовали. На своих на двоих. Как странствующие подмастерья. С цеховым свидетельством в кармане. Но делали это не по доброй воле. Того требовали цеховые правила и установления. Кто не поработал в других городах и у чужих мастеров, не мог стать мастером. Сперва поработай на чужбине подмастерьем, если хочешь дома стать мастером. А этого все Кестнеры хотели во что бы то ни стало, будь они столярами, кузнецами, портными, печниками или седельниками! Но чаще всего странствие это оказывалось первым и последним путешествием в их жизни. Ставши мастерами, они больше не путешествовали.

Когда отец прошлым августом вылез из дрезденского автомобиля перед моим мюнхенским домом, вылез кряхтя и порядком уставший — как-никак ему девяносто лет, — он приехал только затем, чтобы узнать, как я живу, и взглянуть из моего окна на лужайку. Если бы не беспокойство обо мне, его клещами бы не оттащить от его дрезденского окошка. И там он смотрит на лужайку. И там есть синицы, зяблики, дрозды и сороки. К тому же куда больше воробьев, чем в Баварии! Так чего ему, спрашивается, если не ради меня, было пускаться в путь?

Я лично на своем веку несколько больше поездил по свету, нежели он и наши предки. Я уже побывал в Копенгагене и Стокгольме, в Москве и Петербурге, в Париже и Лондоне, в Вене и Женеве, в Эдинбурге и Ницце, в

Праге и Венеции, в Дублине и Амстердаме, в Радебойле и Лугано, в Белфасте и Гармиш-Партенкирхене. Но путешествовать я неохотно. Только и в моем ремесле необходимо поколесить по свету, если желаешь у себя дома когда-нибудь стать мастером. А стать мастером у меня большое желание. Впрочем, это к делу не относится.

Моя матушка, Ида Амалия Кестнер, родом из саксонской семьи Августингов. В XVI веке эти мои предки носили имя Авгстен, или Авгстин, или Августен. И лишь в 1650 году фамилия Августин появляется в церковных книгах и годовых регистрах городского казначейства Дёбельна.

Откуда я это знаю? А существует хроника семьи Августингов. Она восходит к 1568 году. Году весьма знаменательному! Именно в тот год Елизавета Английская заточила в тюрьму шотландскую королеву Марию Стюарт, а король Филипп Испанский проделал то же самое со своим сыном доном Карлосом. Герцог Альба казнил в Брюсселе графов Эгмонта и Горна. Питер Брейгель написал свою картину «Крестьянская свадьба». А моего предка Ганса Августина городской казначей в Дёбельне оштрафовал за то, что он выпекал хлеба меньше положенного размера. Лишь благодаря этому он угодил в годовую ведомость города Дёбельна и тем самым вместе с Марией Стюарт, доном Карлосом, графом Эгмонтом и Питером Брейгелем вошел в историю. Если б он тогда не попался, мы бы о нем ничего не знали. Во всяком случае, вплоть до 1577 года. Тогда он вновь попался в выпечке хлебов и булок-недомерков, был уличен, оштрафован и занесен в ведомость! То же самое повторилось в 1578, 1580, 1587 и в последний раз в 1605 году. Стало быть, если хочешь прославиться, надо выпекать хлеба-недомерки и попасться! Или, напротив, хлеба-перемерки. Но этого еще никто не делал! Во всяком случае, я никогда о таком не слыхал и не читал.

Сын его, Каспар Августин, фигурирует в моей хронике как Каспар I. Он тоже был булочником и трижды упоминается в анналах Дёбельна: в 1613, 1621 и 1629 годах. А почему? Вы, конечно, уже догадываетесь. Каспар I тоже пек хлеба-недомерки! Да, из рода в род Августины были неустрашимы! Но это им не очень-то помогло. Хоть они приобретали амбары, сады, луга, разводили хмель и не только пекли хлеб, но и варили пиво. Сперва на город обрушилась чума и унесла половину семьи.



В 1636 году маленький саксонский городок разграбили хорваты, а в 1645 году — шведы. Ибо шла Тридцатилетняя война¹, солдаты забили всю скотину, сожрали урожай, погрузили подушки и перины и всю медную утварь на подводу Каспара Августина, что не могли увезти — сожгли, и укатили с добычей, заранее радуясь поживе в следующем городке.

Сына Каспара Августина тоже звали Каспар. В хронике он поэтому именуется Каспаром II. Он тоже был булочником, правил семьей до 1652 года и умер с горя. Потому что брат его Иоганн, живший в Данциге, явился по окончании войны и потребовал свою долю наслед-

¹ Тридцатилетняя война (1618—1648), в которой столкнулись интересы крупнейших держав Европы, проходила в основном на территории Германии, разоренной и опустошенной как немецкими, так и иностранными армиями.

ства, которую, как известно, прихватили шведы. Более того, поскольку он не пожелал трогаться с места в военное время, то запросил еще и солидные проценты! Дошло до тяжбы, закончившейся мировой. Мировая была аккуратнейшим образом занесена городским казначеем в книгу, и тем самым мои предки опять вошли в анналы истории. На сей раз не из-за хлебов-недомерков, а из-за семейной тяжбы. Если на то пошло, и раздор между братьями на что-то может сгодиться!

Я замечаю, что мне надо рассказывать покороче, если хочу когда-нибудь добраться до основного предмета этой книжки — до самого себя. Итак, буду краток. Да и что тут особенно распространяться? Августины опять встали на ноги, и все: будь то Вольфганг Августин или Иоганн Георг I, Иоганн Георг II или Иоганн Георг III, — все решительно были булочниками. В 1730 году город сгорел дотла. В Семилетнюю войну, когда Дёбельн только-только отстроился, пришли пруссаки. Они стали в городе на зимние квартиры. Воины позволяли себе тогда большие зимние каникулы. Тут уж сам Фридрих Великий не мог ничего поделывать. Полки располагались как у себя дома и уничтожали вражеские города и деревни не порохом и свинцом, а непомерным аппетитом. Только жители немножко пришли в себя, явился Наполеон со своей великой армией, а когда его наголову разбили в «битве народов» под Лейпцигом, то и Августины были при последнем издыхании. Потому что, во-первых, Дёбельн лежит вблизи от Лейпцига. И во-вторых, саксонский король являлся союзником Наполеона. Стало быть, тоже принадлежал к проигравшим. Что подданные его, в том числе и в Дёбельне, ощущали куда чувствительнее, нежели он сам.

Однако Августины не сдавались. Они снова достигли известного достатка. Снова как булочники и снова с решением варить и продавать пиво. Уже триста лет они были булочниками. Невзирая на чуму, пожары и войны. Но тут, в 1847 году, произошел великий и решающий перелом: булочник Иоганн Карл Фридрих Августин занялся извозным промыслом! И с этой исторической даты предки моей матери занимаются лошадьми. Не их вина, что лошади, эти благороднейшие животные, обречены на вымирание, а с лошадьми — извозный промысел и барышничество.

Третьего ребенка Иоганна Фридриха Августа при крещении нарекли Карлом Фридрихом Луисом. Позднее в Клейнпельзене возле Дёбельна он стал кузне-

цом и барышником. Барышниками стали и все семь его сыновей. Двое сделались даже миллионерами. На торговле лошадьми больше можно нажить, чем на хлебе да булочках, даже если те почему-то получаются недомерками. К тому же лошадей, пусть даже их покупаешь, продаешь и наживаешься на них, можно любить. А с булочками это значительно тяжелей. Наконец-то Августины нашли свое истинное призвание!

Кузнец из Клейнпельзена стал моим дедушкой. Его барышники-сыновья — моими дядьями. А его дочь Ида Амалия — моей матерью. Впрочем, это к делу не относится. Так как моя мать — это особая статья или в данном случае — глава.

Глава вторая

МАЛЕНЬКАЯ ИДА И ЕЕ БРАТЬЯ

Моя матушка появилась на свет 9 апреля 1871 года в Клейнпельзене. И тогда тоже, как частенько в жизни, шла война. Потому-то место ее рождения куда менее знаменито, чем прогремевшее в том же году Вильгельмсхейе возле Касселя, где был интернирован французский император Наполеон III, или Версаль возле Парижа, где прусский король Вильгельм был провозглашен германским императором.

Французского императора заключили в немецкий замок, а германского — провозгласили императором во французском замке. По существу, куда проще и значительно дешевле было бы поступить наоборот. Но на всемирную историю денег не жалеют! Если б бакалейщик в своей маленькой лавчонке совершил столько глупостей и ошибок, сколько творят государственные мужи и генералы в своих больших странах, он бы через месяц обанкротился. И не только не вошел в золотую книгу истории, а угодил бы в каталажку. Впрочем, это опять-таки к делу не относится.

Маленькая Ида Августин, моя будущая мама, выросла в крестьянском доме. А в деревне к дому много чего прилагается: сарай, палисадничек с анютиными глазками и астрами, орава братьев и сестер, двор с копошащимися курами, старый плодовый сад с вишнями и сливами, хлев, много работы и дальний путь в школу. Потому что школа находилась в соседней деревне. И не больно-то многому можно было научиться в этой школе. Был там

один-единственный учитель и имелось всего два класса. В одном сидели дети с шестилетнего до девятилетнего возраста, а в другом — с десятилетнего до конфирмации. Учили только чтению, письму и счету, и дети посмышленнее умирали со скуки. Четыре года просидеть в одном классе, да это сбеситься можно!

Тогда зимы были холоднее, чем теперь, а лета — жарче. Отчего это так было, не знаю. Есть люди, которые утверждают, будто знают. Но я лично подозреваю, что они просто бахвалятся.

Зимой, случалось, снегу навалит столько, что дверь из дому не откроешь! И дети, если хотели попасть в школу (или дед считал, что они обязаны хотеть), вылезали в окошко. Если же дверь, несмотря на снег, все же удавалось открыть, приходилось сперва еще лопатами прокопать туннель, по которому дети чуть ли не ползком выбирались на волю! Хоть это было очень весело, но веселье длилось недолго. Потому что над полями завывал ледяной ветер. На каждом шагу ребятишки по пояс проваливались в снег. Руки, ноги, уши до того стыли, что на глаза наворачивались слезы. А когда, промокшие до нитки и вконец промерзшие, они с опозданием приходили в школу, ничего занимательного и стоящего там нельзя было узнать!

Все это не отпугнуло маленькую Иду. Она вылезала из окна. Она ползла на карачках по снежному туннелю. Она мерзла и потихоньку плакала по дороге в школу. Ей это было нипочем, ибо она жаждала и алкала знаний. Она стремилась узнать все, что знал сам старый учитель. И хоть знал он не так-то много, но все-таки побольше маленькой Иды!

Ее старшие братья, особенно Франц, Роберт и Пауль, совсем по-другому относились к школе и занятиям. Они считали сидение в классе пустой тратой времени. Те «азы» чтения и письма, которые могли им пригодиться в будущем, они усвоили очень быстро. А счет? Я склонен думать, что эти трое мальчишек умели считать еще в колыбели, прежде чем научились выговаривать «мама» и «папа». Умение считать было у них врожденным. Все равно что дыхание, слух, зрение.

Поэтому школа, правда, давала им повод уйти из дому, но попадали они частенько отнюдь не в школу. Где же сорванцы околачивались и что вытворяли? Может, играли в мяч на какой-нибудь укромной лужайке? Или

разбивали оконные стекла? Или дразнили рвущегося с цепи злого пса? Конечно, и такое случалось. Но главным образом, вместо того чтобы сидеть в сельской школе, они занимались одним: торговали кроликами!

Разумеется, они и тогда предпочли бы торговать лошадьми. Но лошади — животные привередливые и чресчур велики, их не упрячешь в деревянный ящик. Кроме того, кролики, как известно, и плодятся, «как кролики». То и дело производят на свет потомство. Достаточно разжиться пучком моркови, репы, кочанчиком-другим салата, чтобы милые зверьки были сыты и приносили отличный приплод.

Так вот, трое братцев разживались нужным кормом. Подозреваю, что им не приходилось даже за него платить. А кто дешево покупает, может дешево продавать. Дело процветало. Братья Августины долго и бесперебойно поставляли всему Клейнпельзену с округой кроликов, пока слух о знаменитой фирме не достиг дедушкиных ушей. Он вовсе не так уж гордился коммерческим размахом сыновей, как можно было бы предположить. И поскольку, призванные к ответу, они упорно молчали и продолжали молчать, хотя дедушка лупил их, пока у самого руки не заныли, он взялся за маленькую Иду. И та рассказала ему, что знала. А знала она не так уж мало.

Роберту, Францу и Паулю это отнюдь не понравилось. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, они втихомолку побеседовали с сестрицей, и после этой беседы Ида надолго разукрасилась синими пятнами, которые сперва позеленели, потом пожелтели и только тогда уж исчезли окончательно.

По существу, беседа, если не считать синяков, закончилась безрезультатно. Почти как международная конференция. Сестра заявила, что отец хотел знать правду, а правду надо говорить при любых обстоятельствах. Этому учат дома и в школе. Однако братья слишком редко бывали дома и в школе, чтобы разделять подобные воззрения. Они утверждали, что Ида просто наядбедничала. Она плохой товарищ и никудышняя сестра. Постыдилась бы лучше!

Кто тут прав, решить трудно, и спор этот древнее всех Августинов. Он стар, как мир! Допустимо ли из любви к братьям лгать родителям? Или же надо из любви к родителям чернить братьев?

Если бы дед лучше присматривал за своими сорванцами, ему бы не пришлось допрашивать маленькую Иду.

Но он часто отлучался, чтобы купить или продать лошадь. Так в чем же его вина?

Будь трое сорванцов честными, примерными мальчиками, маленькой Иде не пришлось бы ябедничать. Но дух предпринимательства сидел у них в крови. Отец торговал лошадьми. Они, вместо того чтобы ходить в школу, торговали кроликами. Так в чем их вина?

Единственный человек, терзавшийся угрызениями совести, была маленькая Ида! А почему, собственно? Она честно ходила в школу. Усердно помогала дома по хозяйству, присматривала за меньшими братишками и сестренками и, когда ее спросили, сказала правду. Так в чем же тут вина?

Дорогие дети, не пропустите без внимания эти строки! То, о чем здесь идет речь, возможно, менее интересно, чем франко-германская война 1870—1871 годов или недозволенная торговля кроликами, но не в пример важнее того и другого, вместе взятых! Поэтому я повторю все три пункта снова.

Первое: отец, стараясь заработать достаточно денег на содержание семьи, уделяет ей слишком мало времени, уличает и порет трех из своих двенадцати детей, после чего считает, что все снова в полном порядке. Второе: трое мальчишек пропускают занятия в школе, отец порет их, они колотят сестренку, после чего считают, что все снова в порядке. И третье: маленькая, на редкость честная девочка любит родителей и братьев, должна сказать правду и говорит ее. После чего все приходит для нее в полнейший беспорядок!

Так случилось, и это очень дурно. Моя мать всю жизнь — а она дожила до восьмидесяти лет — страдала от того, что она, тогдашняя маленькая Ида, сказала правду! Не совершила ли она предательства? Не следовало ли ей солгать? Сколько вопросов! И никакого разумительного ответа.

Много-много лет спустя, когда юный кроликовод Франц уже давно превратился в барышника-богатея Августина, с виллой, автомобилем и шофером, оказалось, что он отнюдь ничего не забыл. Так же не забыл, как и моя мать. Даже если мы и навещали их на рождество и мирно сидели под елкой, попивая глинтвейн и закусывая дрезденской рождественской коврижкой с изюмом... Впрочем, это к делу пока не относится.

Жизнь в Клейнпельзене шла своим чередом. Скончалась мать моей матери. В доме появилась мачеха, роди-

ла кузнецу и барышнику Карлу Фридриху Луису Августину троих детей и привязалась к детям от первого брака не менее горячо, чем к своим собственным. Это была добрая и благородная женщина. Я еще застал ее в живых. Когда я был маленьким, дочь ее Альма, сводная сестра моей матери, держала в Дёбельне на Банхофштрассе табачную лавку.

Как бы часто ни звякал колокольчик на двери лавки, пожилая седовласая женщина поднималась с кресла и, по-молодому прямая, шла в лавку обслуживать покупателей. Флотского табаку крупной резки. Плитку жевательного. Пачку десятипфенниговых сигарет. Десяток сигарет и еще одну, чтобы закурить тут же. Вся лавка была пропитана удивительным ароматом. И пожилая женщина, рядом с которой я стоял за прилавком, была настоящей дамой. С таким достоинством могла бы держаться императрица Мария-Терезия, торгуй она в Дёбельне табаком! Впрочем, это к делу не относится.

Мы пока что все еще в Клейнпельзене! Старшие сестры и братья маленькой Иды, которая тем временем тоже подросла, расстались со школой. И с родительским домом. Лина и Эмма пошли, как это тогда называлось, «в люди». Стали служанками. И служанками очень сноровистыми, потому что дома их основательно приучили к труду.

А братья? Разоблаченный тайный союз торговцев кроликами? Чему обучились братья? Торговле лошадьми? Для этого требовались две вещи: так называемое чутье лошади и так называемый капитал. Ну что касается чутья лошади, то оно у них имелось в избытке! Они выросли на конюшне, как другие дети вырастают в детском саду или в церковном хоре. Но денег, которые требовались, у их отца, моего деда, не было. Покупка или продажа хотя бы одной лошади представляли для него и для всей семьи целое событие. А когда лошадь в его конюшне заболела мýтом или погибала от колик, это уже была катастрофа.

Если б дедушке тогда сказали, что его сыновья Роберт и Франц когда-нибудь будут покупать на крупнейших европейских конских ярмарках в Гольштейне, Дании, Голландии, Бельгии по сотне, какое там — по две сотни лошадей!.. Что целые товарные составы, нагруженные топчущими лошадьми, покатятся в Дрезден и Дёбельн в адрес конюшен известнейших фирм Августинов!.. Что ремонтёры кавалерийских полков и генеральные директора пивоваренных заводов чуть не дойдут до

драки, когда Роберт в Дёбельне и Франц в Дрездене будут выводить на круг свежих лошадей!

Если б дедушке тогда это сказали, он, несмотря на начинавшуюся астму, громко бы расхохотался. Он не поверил бы ни слову. Он, правда, не поверил бы и тому, что эти самые достигшие благосостояния сыновья, когда сам он обеднеет и будет смертельно болен, о нем и не вспомнят. Впрочем, это к делу не относится. Пока что нет.

Дедушка отдал их в учение к мяснику, что их устраивало. Деды и прадеды триста лет оставались булочниками. Внуки стали мясниками. Почему бы и нет? Быки и свиньи хоть не лошади, но все же четвероногие. И если не один год забивать свиней, овец, быков и делать из них котлеты и ливерную колбасу, может, в один прекрасный день все же удастся купить себе лошадей! Настоящую, большую, живую лошадь, а заодно овес и солому!

А если дешево купил первую лошадь, хорошо ее кормил, чистил скребницей, холил и выгодно перепродал, уже легче купить двух лошадей и, походив за ними на совесть, с прибылью перепродать. Удача, сноровка и усердие помогли. Три лошади. Четыре лошади. Пять лошадей. Сперва у чужих людей на конюшне. Потом в глубине заднего двора своя первая собственная конюшня! Собственные стойла, собственные кормушки, собственная сбруя!

И при всем этом еще мясная лавка! В пять часов утра ехать на бойню, в холодильный зал, потом в убойную, готовить свежую колбасу и сосиски, укладывать в бочки с рассолом свинину, потом в белоснежном фартуке и с напыленным пробором в лавку, улыбаться покупательницам и, взвешивая мясо, украдкой надавливать большим пальцем на чашку весов, потом на конюшню к лошадям, с арендатором фабричного буфета в пивную в надежде добыть контракт на поставку, потом по дешевке выторговать партию овса и сбыть шестилетку за трехлетку, потом нафаршировать шесть батонов чесночной колбасы, опять встать за прилавок, к колоде для рубки мяса и по окончании торговли подсчитать выручку, затем на конюшню, опять в трактир, где надо умаслить владельца ломового двора мебельно-транспортной фирмы, и, наконец, в кровать, все еще во сне считая и торгуя лошадьми, а утром в пять часов на бойню и в холодильню. И так далее. Год за годом. Надрываясь от работы. И молодым фрау Августин доставалось не меньше.

Лошадей они, правда, не касались, но зато с утра до вечера, улыбаясь, простаивали за прилавком и растили двух, а то и трех детей. Но вот в один прекрасный день мясная лавка либо продавалась, либо сдавалась в аренду. И тут торговля лошадьми разворачивалась полным ходом.

Таким путем трое братьев матушки добились своего. Трое торговцев кроликами! Роберт, Франц и Пауль тоже. Только Пауль специализировался на упряжных и верховых лошадях и, сам правя, важный, будто граф какой, разъезжал по дрезденским улицам в кабриолете. Роберт и Франц, крепыши с железной хваткой, достигли еще большего.

Остальные братья — Бруно, Райнхольд, Арно и Хуго — пытались было идти по их стопам. Они тоже стали мясниками и довели дело до двух-трех лошадей. Но потом их покидала удача. Или покидали силы. Или покидало мужество. Они своего не добились.

Райнхольд умер молодым. Арно стал трактирщиком. Бруно помогал своему брату Францу, он был у него за управляющего. Лошадь раздробила ему подбородок, другая перешибла ногу. И вот он ковылял по конюшне, безропотно сносил рывканье своего братца и хозяина и в свою очередь рывкал на конюхов. А любимый мой дядя Хуго, после многих неудачных вылазок в страну лошадей, как был, так и остался на всю жизнь мясником. И сыновья его мясники. И дочери вышли замуж за мясников. И внуки стали мясниками. Все они любят лошадей. Но лошади вымирают, и потому чутье лошадиников теперь Августинам уже ни к чему. Торговать преемником лошади, автомобилем, у них нет ни малейшей охоты. Автомобили ведь не живые. Они только притворяются.

Мой племянник Манфред еще желторотым юнцом попробовал было нечто новое. Он стал борцом-профессионалом! В конце концов, и борец имеет дело с живыми существами. Пусть не с быками и уж тем более не с лошадьми, но как-никак с живыми тварями. Однако со временем дело это ему разонравилось. Причем он отнюдь не был плохим борцом! Я его неоднократно видел на арене мюнхенского цирка Кроне. Зрителям и особенно зрительницам он очень пришелся по душе. Даже если иной раз, схватив противника за горло или зажав его обеими ногами, вынужден бывал прекращать борьбу.

Конечно, легче перенести через двор из убойной в лавку половину туши телят, чем положить на обе лопатки весом полтора центнера «быка пампасов», особенно если сам едва дотягиваешь до ста килограммов!

Так или иначе, но теперь и Манфред стал дипломированным мясником. И он тоже! Как-нибудь, когда у меня появится много свободного времени, я подсчитаю, сколько же всего у нас в семье мясников. Да их десятки! Кузнецов, барышников, мясников хоть отбавляй, и лишь один-единственный из всех стал писателем — маленький Эрих, единственный ребенок маленькой Иды...

И когда мы встречаемся и сидим все вместе, они всякий раз наново бывают немного удивлены. И я тоже немножко удивляюсь. Не столько им, сколько себе. Потому что если я больше понимаю в сервелатах и телячьих филе, чем большинство простых смертных, и даже обладаю известным чутьем лошаdnика, все же я всегда кажусь себе каким-то пасынком среди Августинов.

С другой стороны, ведь и писание книг вроде бы тоже связано с живыми существами. И даже с тем, что делаешь себе из жизни профессию и перерабатываешь ее в гуляши и свиные рулеты! Впрочем, это, дорогой читатель, уж действительно вовсе к делу не относится!

Глава третья

МОИ БУДУЩИЕ РОДИТЕЛИ НАКОНЕЦ ЗНАКОМЯТСЯ

Когда маленькая Ида превратилась в хорошенькую шестнадцатилетнюю девушку, она тоже стала «жить в людях». Ее младшие сестры Марта и Альма настолько подросли, что могли помогать матери. Дом по сравнению с прежними временами, казалось, совсем опустел. Ида оставила родителей и всего-навсего пятерых братьев и сестер. А новых крестин не справляли. Она устроилась горничной. В поместье близ Лейснига. Прислуживала за столом. Гладила тонкое белье. Перетирала посуду на кухне. Вышивала монограммы на скатертях и салфетках. Работа ей нравилась. И она нравилась господам. Пока однажды вечером чересчур не понравилась помещику, блестящему кавалерийскому офицеру! Он пристал к ней с нежностями, и она, вне себя от страха, бросилась вон из дому. Бежала в потемках через

страшный лес и по сжатым полям. И только далеко за полночь, вся в слезах, прибежала к родителям. На следующий же день дедушка отправился на подводе за сундучком дочери. Молодцеватый офицер, на свое счастье, не показывался.

Немного погодя Ида нашла себе новое место. На этот раз в Дёбельне. У старой парализованной дамы. Она поступила к ней чтицей, компаньонкой и сиделкой. Кавалерийских офицеров, которым она могла бы чересчур понравиться, здесь поблизости не было.

Зато поблизости оказались старшие сестры — Лина и Эмма! Они тем временем вышли замуж и жили в Дёбельне. Обе в одном и том же доме: на Нижней мельнице. Это была самая настоящая мельница с большим водяным колесом и деревянными запрудами. Крестьяне привозили мельнику пшеницу и рожь, а увозили белую муку в мешках и продавали булочникам и бакалейщикам.

Тетя Лина вышла замуж за двоюродного брата, который извозничал, а потому и после замужества по-прежнему носила ту же фамилию — Августин. Тетя Эмма, жившая этажом выше, именовалась теперь Эмма Ханс. Ее муж торговал фруктами. Он арендовал бесконечные аллеи слив и вишен, соединявшие между собой окрестные деревни. И, когда деревья сгибались под тяжестью спелых вишен и слив, нанимал множество поденщиков и поденщиц на сбор урожая. Фрукты поступали в больших плетеных корзинах и продавались на дёбельнском рынке в базарные дни.

В одни годы урожай выдавался хороший. В другие — плохой. Засуха, дожди и град были дядюшкиными злейшими врагами. Частенько вся выручка не покрывала даже стоимости аренды. Тогда дяде Хансу приходилось занимать деньги, и часть этих денег он с горя пропивал в трактирах.

В такие дни тетя Эмма спускалась вниз к тете Лине плакаться на судьбу. А поскольку извозный промысел тоже не слишком процветал, и тетя Лина плакалась на свое горе. Так что они плакались в унисон. А ползавшим по комнате малышам только того и надо было. Они тут же принимались хором реветь. И если сестрица Ида, моя будущая мама, оказывалась у них в гостях и слышала печальный концерт, то поневоле задумывалась. И продолжала думать на обратном пути к дому парализованной старой дамы, которой обязана была допоздна читать вслух глупейшие романы. Иной раз Ида от

усталости засыпала над книжкой и просыпалась до смерти напуганная, только когда старая дама злобно стучала по полу клюкой и бранила позабывшую свои обязанности особу!

Что лучше избрать красивой, но бедной девушке? Бежать от офицеров? Читать вслух парализованным дамам глупейшие романы, засыпая над книжкой? Или выйти замуж и сменить старые горести на новые? Град ведь выпадает всюду. Не только там, где вдоль проселков тянутся шпалеры вишен.

В наши дни молодая трудолюбивая девушка, если у нее нет денег для получения высшего образования, становится секретаршей, администратором в гостинице или универмаге, медицинской сестрой, агентом по продаже холодильников или приданого для новорожденных, переводчицей, банковской служащей, манекенщицей, натурщицей, может даже по прошествии многих лет стать заведующей отделением в обувном магазине или уполномоченной какого-нибудь филиала коммерческого банка, но всего этого тогда еще не было и в помине. А тем более в маленьком провинциальном городке. Ныне, читал я в газете, насчитывают сто восемьдесят пять женских профессий. А тогда либо девушка оставалась стареющей горничной, либо выходила замуж. Чем стирать, шить, стряпать в чужом доме и на чужих людей, не лучше ли делать то же самое в собственной квартире и для собственного мужа?

Сестры на Нижней мельнице долго о том судили и рядили. И в конце концов пришли к заключению, что свои заботы все же чуточку легче чужих забот. После чего, несмотря на свои горести и печали, несмотря на домашние хлопоты и детский плач, стали в свободное время подыскивать сестрице Иде жениха!

И так как искали они вдвоем и весьма энергично, то вскоре нашли претендента, который показался им подходящим. Ему было двадцать четыре года, работал он у дёбельнского седельника, жил поблизости, снимая комнату от жильцов, был старательным и трудолюбивым, пил, но знал меру, мечтал открыть собственное дело, для чего берег каждый грош, был родом из Пеннга на Мульде и присматривал себе мастерскую, лавку и молодую жену; звали его Эмиль Кестнер.

Тетя Лина стала приглашать его по воскресеньям на Нижнюю мельницу выпить чашечку кофе с домашним пирогом. Так он познакомился с сестрицей Идой, и она



ему чрезвычайно понравилась. Раз два или три он водил ее на танцы. Но он был плохим танцором, и они эту затею скоро оставили, что несколько его не огорчило. Он ведь искал не танцовщицу, а работающую жену для семейной жизни и для будущей лавки! А для этой цели двадцатилетняя Ида Августин казалась ему как нельзя более подходящей.

Для Иды дело обстояло не так просто.

«Я же его совсем не люблю!» — твердила она старшим сестрам.

Но Лина и Эмма ни в грош не ставили любовь, какую описывают в романах. Да и что может понимать молоденькая девушка в любви! Любовь приходит с замужеством. А если нет, тоже не беда, потому что замужество — это прежде всего работа, экономия, стряпня и дети. Любовь не важнее воскресной шляпки. А без лишней шляпки на воскресенье можно прекрасно прожить!

Итак, 31 июля 1892 года Ида Августин и Эмиль Кестнер венчались в протестантской церкви деревни Берте-

виц. Свадьбу играли в доме моего деда в Клейнпельзене. Присутствовали родители, сестры и братья невесты и родители и родня жениха. Пировали вовсю. Отец невесты не поскупился. Он поставил жаркое из свинины с клецками, вино, домашние пироги с корицей и с творогом и настоящий кофе! В честь молодых произносились бесчисленные тосты. Им желали счастья, много денег и здоровых детей. Все чокались и были растроганы. Как и водится на таких семейных торжествах.

...Подумать только, от каких случайностей зависит, будешь ли ты когда-нибудь лежать в колыбели, орать во всю глотку и представлять собой «себя».

Если б молодой седельник из Пенига перебрался не в Дёбельн, а, скажем, в Лейпциг или Хемниц или если б горничная Ида вышла не за него, а, к примеру, за какого-нибудь жестянщика Шанце или бухгалтера Питша, никогда бы я не появился на белый свет! Такого вот Эриха Кестнера, который сейчас сидит за своим письменным столом и рассказывает вам о своем детстве, просто бы не существовало! Вообще не существовало!

И, если разобраться, мне бы это было очень даже жаль. С другой стороны, если бы меня не существовало, я никак не мог бы сожалеть о том, что меня нет на свете! Но я существую и, в общем и целом, весьма этому рад.

Жизнь приносит нам немало радостей. Правда, и достаточно огорчений. Ну, а если б совсем не жить, что бы у нас было тогда? Никаких радостей. И даже никаких огорчений. Ничего! Ровным счетом ничего! Тогда уж, по мне, пусть лучше будут огорчения.

Молодая чета открыла на Риттерштрассе в Дёбельне седельную мастерскую. Ида Кестнер, урожденная Августин, когда звенел колокольчик, выходила в лавку и продавала кошельки, бумажники, школьные ранцы, портфели и собачьи поводки. Эмиль Кестнер сидел в мастерской и работал. Больше всего любил он делать седла, уздечки, хомуты, дорожные сумки, сапоги для верховой езды, плетки и вообще всякие изделия из кожи, необходимые верховым, упряжным и рабочим лошадям.

Мастером он был превосходным. Артистом своего дела! К тому же девяностые годы прошлого столетия благоприятствовали начинаниям молодого седельника. Это была эпоха промышленного подъема, и многие богачи имели собственные выезды или держали верховых лошадей. Пивоварни, фабрики, строительные фирмы,

конторы по перевозке мебели, крестьяне, торговцы-оптовики и помещики — все нуждались в лошадях, а лошади нуждались в шорных изделиях. В окрестных городках гарнизоном стояли кавалерийские полки — в Борне, в Гримме, в Ошаце. Гусары, уланы, конная артиллерия и егерская конница! Все верхами! А лейтенанты, а командиры эскадронов, сплошь фанфароны, на собственных скакунах с особо изысканной седельной сбруей. И повсюду бега, скачки, конские выставки. В наши дни — засилье грузовиков, спортивных автомобилей, танков, а тогда были одни лошади, лошади и лошади!

Мой будущий отец, хоть и первоклассный мастер, артист во всем, что касалось кожи, был плохим дельцом. А ведь одно тесно связано с другим. Школьный ранец, который он стачал мне в 1906 году, в 1913-м, когда я пошел на конфирмацию, оставался все таким же новеньким, как в мой первый школьный день. Его потом подарили какому-то малышу из нашей родни, и ранец затем так и передавался дальше по наследству, когда очередной его владелец покидал школу. Не знаю, где и у кого теперь мой добрый старый коричневый ранец. Но вполне допускаю, что он и сейчас еще отправляется в школу на спине какого-нибудь маленького Кестнера или Августина! Впрочем, это к делу не относится. Мы пока дошли только до 1892 года. (И должны еще семь лет ждать, пока я появлюсь на свет!)

Во всяком случае, тот, кто тачает не знающие износу ранцы, хоть и достоин величайшей похвалы, но работает в убыток себе и своим собратьям по ремеслу. Если ребенку требуется три ранца, сбывается больше товара, чем когда трем ребятам требуется всего один ранец. В первом случае троим детям потребовалось бы девять ранцев, во втором — один-единственный. Это все же некоторая разница.

Итак, седельник Кестнер изготавливал несокрушимые ранцы, нервущиеся портфели и вечные мужские и дамские седла. Естественно, его изделия стоили дороже, чем у других. Он употреблял самую лучшую кожу, самый лучший войлок, самую лучшую дратву и все свое умение. Покупателям его изделия нравились несравненно больше его цен, и многие уходили из лавки, так ничего и не купив.

Однажды ротмистр гусарского полка будто бы все же решил приобрести особенно красивое седло, несмотря на его дороговизну. И вдруг отец уперся, отказался отдать седло. Уж очень оно ему самому нрави-

лось! А ведь он не умел ездить верхом, и лошади у него не было — просто с ним случилось то же, что с художником, которому представилась возможность продать лучшую свою картину, а он предпочитает голодать, лишь бы не отдать ее постороннему за деньги! Ремесленники и художники, видимо, в чем-то друг другу сродни.

Историю с ротмистром рассказала мне матушка. А отец, когда я прошлым летом его об этом спросил, утверждал, что тут нет ни слова правды. Тем не менее я готов биться об заклад, что история правдива.

Во всяком случае, правда то, что отец был чересчур хорошим седельником и плохим коммерсантом и потому не мог преуспеть. Торговля шла неважно. Оборот оставался низким. Издержки высокими. Из маленьких долгов выросли большие. Матушка забрала все свои деньги из сберегательной кассы. Но и этих денег хватило ненадолго.

В 1895 году двадцативосьмилетний седельник Эмиль Кестнер с убытком продал свою лавку и мастерскую, и молодая чета стала раздумывать, что же предпринять. А тут пришло письмо из Дрездена. От родственника отца. Все звали его дядюшкой Риделем. Когда-то он был плотником и долго работал на стройке, пока ему не пришла в голову удачная мысль. Он, правда, не изобрел талей, но зато надумал применять тали на строительстве домов. Если хотите, дядюшка Ридель предвосхитил массовое применение талей. Он напрокат поставлял тали и прочие механизмы строительным фирмам и подрядчикам и нажил на этом кое-какое состояние.

Что такое тали, пусть лучше объяснит вам ваш отец или учитель. На худой конец, и я бы смог, но мне требуется уйма бумаги и времени на размышления. А суть заключалась в том, что каменщики и плотники, вместо того чтобы таскать на собственном горбу по лесам каждый кирпич и балку, могли теперь поднимать их на стройку посредством системы блоков и троса на нужный этаж и там сгружать.

Таким путем дядюшка Ридель зарабатывал немалые деньги и впоследствии не раз дарил мне к рождеству или на день рождения десяти- а то и двадцатимарковый золотой! Да-да, дядюшка Ридель с его талями был славным и достойным стариком! И тетушка Ридель тоже. То есть тетушка Ридель была, конечно, не славным стари-

ком, а славной старушкой. У них в гостиной на камине стоял большой фарфоровый пудель. И еще у них было кресло-качалка.

Итак, дядюшка Ридель написал своему племяннику Эмилю: пусть, мол, переезжает в Дрезден, столицу Саксонии. С собственным делом и широкими планами, как видно, придется надолго распрощаться. Но для умелого седельника открываются другие возможности. Так, например, отжили свой век большие вышитые дорожные саки и бесформенные плетеные корзины. Будущее — возможно, также будущее умелого племянника — принадлежит кожаным чемоданам. В Дрездене уже открылось несколько чемоданных фабрик!

И вот мои будущие родители со всем своим скарбом переехали в столицу Саксонии Дрезден, королевскую резиденцию. В город, где мне суждено было родиться. Но с этим я еще четыре года повременил.

Глава четвертая

ЧЕМОДАНЫ, НАБРЮШНИКИ И БЕЛОКУРЫЕ ЛОКОНЫ

Дрезден был изумительным городом, сокровищницей искусства и истории и тем не менее отнюдь не музеем, случайно заселенным шестью с половиной сотнями тысяч дрезденцев. Прошрое и настоящее уживались рядом. Собственно, даже составляли дуэт. А вместе с ландшафтом, с Эльбой, мостами, береговыми откосами, лесами и цепью гор на горизонте получался даже терцет. История, искусство и красота самой природы осеняли город и долину от Мейсенского собора до Гроссзедлицкого дворцового парка, слитые в единый, будто завоженный собственной гармонией аккорд.

Когда я был маленьким и отец однажды светлым летним вечером повел меня гулять к Вальдшлосхен, потому что там играл обожаемый мною кукольный театр с петрушкой, он вдруг остановился.

— Здесь, — сказал он, — раньше стоял трактир. Странное у него было название: «В тиши музыки».

Я взглянул на отца с удивлением. «В тиши музыки»? И в самом деле странное название! Оно звучало так удивительно и так чарующе безмятежно, что я его навсегда запомнил. Тогда же я подумал: «Либо в трактире

играет музыка, либо там тишина. Но тишина музыки — такого ведь не бывает».

Однако когда мне впоследствии случалось останавливаться на том же месте и глядеть на раскинувшийся внизу город, в сторону Вилиша и в сторону Бабиснауэр Паппель и вверх по Эльбе к замку Кенигсштейн, я от года к году все больше понимал этого трактирщика, хоть он давно уже умер, да и харчевня его давно исчезла. Один философ — это я знал и тогда — назвал архитектуру, соборы и дворцы «застывшей музыкой». Этот саксонский философ был, по существу, поэт. Ну а трактирщик, любуясь на серебряную реку и золотой Дрезден, назвал свой трактир «В тиши музыки». Что ж, и мой саксонский трактирщик тоже, видно, был, по существу, поэтом.

Если я действительно обладаю даром распознавать не только дурное и безобразное, но также и прекрасное, то потому лишь, что мне выпало счастье вырасти в Дрездене. Не из книг узнавал я, что такое красота. Не в школе и не в университете. Мне дано было дышать красотой, как детям лесника — напоенным сосной воздухом.

Хофкирхе, Фрауэнкирхе работы Георга Бера, Цвингер, Пильницкий ансамбль, Японский дворец, Еврейское подворье и дом Динглингера, Рампишештрассе с ее барочными фасадами, ренессансный эркер на Шлосштрассе, дворец Коссель, дворец в Гроссер-Гартен с маленькими кавалерскими павильонами и, наконец, с Лохвицких высот общий вид на силуэт города с его изящно-благородными башнями — но какой смысл отбарабаривать всю эту красоту, будто таблицу умножения!

Словами даже стула не опишешь так, чтобы столяр Кунце мог воспроизвести его в своей мастерской! Что же говорить тогда о замке Морицбург с четырьмя круглыми башнями, отражающимися в водной глади! Или о вазе итальянца Коррадини у дворцового пруда, почти напротив кафе Поллендера! Или о коронных воротах в Цвингере! Нет, я уже предвижу, мне придется просить художника-иллюстратора изготовить для этой главы побольше рисунков. Чтобы вы, глядя на них, хоть немножко представили себе и почувствовали, насколько прекрасен был мой родной город!

Может быть, я даже попрошу художника, если у него хватит времени, нарисовать один из кавалерских павильонов, стоявших по обе стороны дворца в Гроссер-Гар-

тен! «Много бы ты дал,— думал я в юности,— чтобы жить в одном из этих павильонов! Кто знает, может, ты когда-нибудь станешь знаменитым, и тогда к тебе явится бургомистр с золотой цепью на шее и презентует тебе его от имени города». И тогда я бы въехал туда со своей библиотекой. Утром я ходил бы завтракать в Дворцовое кафе и кормил лебедей. Потом шел бы прогуляться по старым аллеям, цветущей рододендровой роще и вокруг озера Каролы. В полдень кавалер жарил бы себе глазунью из двух яиц, а вслед за тем мог бы часок соснуть с открытым окном. Позднее — это же оттуда в двух шагах — отправился бы в зоологический сад. Или на большую цветочную выставку. Или еще в Музей гигиены. Или на бега в Рейк. А ночью, тоже с открытым окном, чудесно спал бы. Единственная живая душа в большом старинном парке. И снились бы мне Август Сильный¹, Аврора фон Кенигсмарк и столь же красивая, сколь несчастная графиня Коссель².

Когда бы я тогда работал, хотите вы знать? Нельзя быть такими любопытными! За меня работу справляли бы гномы! Потомки придворных карликов королей польских и курфюрстов саксонских! Крохотные и очень трудолюбивые созданыца! Следуя кратким моим указаниям, они бы за меня писали на малюсеньких пишущих машинках стихи и романы, а я тем временем, оседлав своего любимого серого в яблоках коня Альмансора, скакал бы по широким темно-коричневым дорожкам для верховой езды. До «Пикардии». Там бы мы с Альмансором выпивали кофе и съедали по куску пирога с корицей. Однако придворные карлики, пишущие стихи, и кони, лакомящиеся пирожным, никак к делу не относятся, и здесь им не место.

Да, Дрезден был изумительным городом. Можете мне поверить. И должны будете мне поверить! Никто из вас, каким бы богатым ни был ваш отец, не в состоянии поехать туда по железной дороге и посмотреть, прав ли я. Ибо города Дрездена более не существует. Он, за малым исключением, исчез с лица земли. Его стерла вто-

¹ Август Сильный — курфюрст Саксонский (1694—1733); разорил страну войнами и расходами на содержание блестящего двора.

² Аврора фон Кенигсмарк и графиня Коссель — фаворитки Августа Сильного. Графиня Коссель была заточена им в крепость на долгие годы.

рая мировая война за одну ночь и одним мановением руки. Сотнями лет создавалась его ни с чем не сравнимая красота. Всего несколько часов потребовалось, чтобы обратить все в прах. Это произошло 13 февраля 1945 года¹. Восемьсот самолетов сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы. И осталась пустыня. С полдюжиной торчащих в небе огромных остовов, похожих на опрокинутые кверху килем океанские лайнеры.

Два года спустя я стоял среди этой необозримой пустыни и не понимал, где я. Между кирпичной крошкой и обломками валялась табличка с названием улицы. «Прагерштрассе», — с трудом разобрал я. Значит, я на Прагерштрассе? На всемирно известной Прагерштрассе? На роскошнейшей улице моего детства? На улице с самыми красочными витринами? Самой притягательной для детворы улице перед рождеством? Я стоял среди тянувшейся на километры в длину и ширину пустоты. В степи битого кирпича. В изначальном Ничто.

И по сей день спорят, погребены ли под этим Ничто пятьдесят, сто или двести тысяч мертвецов. Открещиваются, перелагают вину друг на друга. Бесполезный спор! Этим Дрездена не воскресишь. Ни красоты его, ни мертвых! В будущем карайте правительства, а не народы! И карайте не задним числом, а немедленно! Это проще сказать, чем сделать? Нет. Проще это сделать.

Итак, в 1895 году мои родители со всем скарбом переехали в Дрезден. Эмиль Кестнер, которому очень хотелось остаться независимым ремесленником, стал фабричным рабочим. Век машин танком прошелся по ремеслу и независимости. Обувные фабрики победили башмачников, мебельные фабрики — столяров, текстильные фабрики — ткачей, фарфоровые фабрики — гончаров и фабрики чемоданов — седельников. Машины работали быстрее и дешевле. Появились уже хлебозаводы и колбасные фабрики, шляпные фабрики, мармеладные фабрики, бумажные фабрики, уксусные фабрики, пуговичные фабрики, фабрики маринованных огурчиков и фабрики искусственных цветов. Ремесленники вели упорные арьергардные бои и теперь все еще отбиваются. Достойная восхищения, но безнадежная борьба.

В Америке вопрос давно решен. Там к мужскому пошлостному, который обстоятельно снимет мерку и заставит

¹ В эту ночь Дрезден был разрушен англо-американской авиацией.

вас прийти два-три раза, обращаются разве что миллионеры. Остальные представители мужского пола входят в магазин готового платья, снимают старый костюм, надевают новый с иголки, платят деньги в кассу и спустя минуту уже на улице. Костюмы пекутся, как блины. Но как блины, которые пекутся не по-кустарному, а на блинной фабрике.

Прогресс имеет свои преимущества. Сберегаешь время, сберегаешь деньги. Но я лично предпочитаю обращаться к портному. Он знает, что мне нравится, я знаю, что ему нравится, а господин Шмиц, его закройщик, знает, что нравится нам обоим. Это хлопотно, дорого и старомодно. Но нам, троим мужчинам, по душе. И во время примерок мы много хохочем. Я был там только позавчера. Шью себе светло-синий летний костюм, легкий, как пушинка, материал называется «фреска», свободный пиджак, двубортный, всего пара пуговиц и одна внутренняя, чтобы не обвисал, ширина брюк внизу сорок четыре сантиметра... Бог ты мой, чуть не забыл, да мне же на примерку! А я вместо того сижу за пишущей машинкой! Когда мне давно пора к портному!

Уф! Вот я и вернулся. Костюм получится отличный. Мы все трое очень довольны. Так на чем же я остановился? Да, на моем будущем отце. На несбывшейся мечте Эриха Кестнера. Старая поговорка «Ремесло — золотое дно» больше не соответствовала действительности. Собственной мастерской рядом с жильем не существовало больше. Годы учения и голода, годы голода и странствий, три года самостоятельной работы и лишений пошли насмарку. Мечта разлетелась в прах. Деньги пропали. Надо было платить по долгам. Машины победили.

В шесть утра трещал будильник. Бегом по мосту Альберта, бегом через весь Дрезден до Тринитатиштрассе. Чтобы добраться до чемоданной фабрики Липольда, молодому человеку требовалось полчаса. Здесь он с другими бывшими ремесленниками заготавливал кожаные части, которые затем стачивались или склепывались в чемоданы, похожие один на другой как две капли воды. А вечером, усталый, возвращался домой к жене. По субботам он приносил получку. Новое обзаведение, старые долги, денег не хватало.

Пришлось Иде Кестнер, урожденной Августин, тоже подыскивать себе работу. Но работу домашнюю. Она не навидела фабрики, для нее они были хуже тюрьмы. До-

статочно того, что муж вынужден работать на фабрике. Тут уж ничего не поделаешь. Ему пришлось пойти в рабство к машине. Но она? Ни за что! Даже если придется не разгибая спины работать дома по шестнадцати часов вместо восьми на фабрике, она это предпочтет! И предпочла.

Она стала сдельно шить для одной фирмы набрюшники. Плотные, широкие, похожие на корсеты набрюшники из холста для толстых женщин. Таскала на себе домой тяжелые, громоздкие тюки со скроенными кусками. Допоздна сидела за швейной машинкой с ножным приводом. То привод соскакивал с колеса, то ломались иголки. За жалкие гроши из нее все жилы вытягивали. Но сотня набрюшников как-никак приносила несколько марок. Хоть какая-то помощь. Лучше, чем ничего.

Поздней осенью 1898 года Ида Кестнер перестала брать надомную работу и вместо того стала шить детские распашонки и чепчики. Она всегда мечтала иметь ребенка. И ни минуты не сомневалась, что родится мальчик. И так как она всю жизнь любила настоять на своем, то и на сей раз на своем настояла.

23 февраля 1899 года, около четырех часов утра, на Кенигсбрюкерштрассе, 66, она на седьмом году замужества произвела на свет мальчика, вся головенка которого была в золотисто-белокурых кудряшках. На что акушерка, фрау Шредер, весьма решительная дама, не преминула с одобрением заявить: «Какой красавчик!»

Правда, белокурые локоны продержались недолго. Но у меня и поныне хранится пожелтевшая фотография, относящаяся к первым дням моей жизни; на ней будущий автор известных и любимых читателями книг запечатлен лежащим в коротенькой распашонке на шкуре полярного медведя, и на голове новорожденного в самом деле выются шелковистые белокурые кудряшки! А поскольку фотографии не лгут, снимок может служить бесспорным доказательством. С другой стороны, вы не обращали внимания, что у всех людей на фотографиях, у всех до одного, без исключения, огромнейшие уши? Куда большие, чем в жизни. Уж такие, такие лопухи, что, кажется, они могли бы ими ночью накрываться. Не значит ли это, что фотографии тоже могут при случае прилгнуть?

Так или иначе, блондин ли, брюнет, меня вскоре затем по-протестантски окрестили в прекрасной старой

церкви Трех Волхвов на Хауптштрассе и торжественно нарекли Эмилем Эрихом. И в той же церкви, тот же пастор Винтер в вербное воскресенье 1913 года меня конфирмовал. А еще несколько лет спустя я по праздничным утрам работал там младшим преподавателем в воскресной школе.

Впрочем, это к делу не относится.

Глава пятая

КЕНИГСБРЮКЕРШТРАССЕ И Я

Кенигсбрюкерштрассе, являвшаяся продолжением оси Прагерштрассе, Шлосштрассе, моста Августа, Хауптштрассе и площади Альберта, начиналась вполне благопристойно и мирно. По одну ее сторону стоял за палисадником старый трактир «У зеленой ели», по другую — частный пансион «для благородных девиц». Тогда еще существовали «благородные» девицы! То есть девицы высокого происхождения. Их отцы либо были дворянами, либо зашибали кучу денег. Высокородные девицы высоко задирали нос. Но еще выше были гимназии, а еще выше гимназий — высшие школы.

Тогда мало кто отличался скромностью. На парадных дверях богатых домов можно было прочесть: «Только для господ», а на двери черного хода: «Для поставщиков и посыльных». У господ была своя лестница, устланная мягкими ковравыми дорожками. А поставщики и посыльные должны были пользоваться черной лестницей. Иначе швейцар в ливрее бранился и поворачивал их обратно. На дверях барских особняков барственные таблички сурово и непреклонно возвещали: «Нищим и разносчикам вход воспрещен!» Другие таблички обращались к вам более вежливо и замечали: «Просьба вытирать ноги». Я и по сей день не знаю, как это делается. Не стану же я в самом деле разуваться, пусть даже это самая барская-разбарская вилла!

В таких случаях отец обычно говорит: «Есть вещи, которых и нет вовсе».

Что ж, почти все эти дощечки со временем исчезли. Отжили свой век. Так же, как обнаженные богини и нимфы из бронзы и мрамора, сконфуженно и неприкаянно стоявшие на площадках лестниц. Благородные девицы и высокородные господа, правда, есть и сейчас. Только называются они иначе. И об этом на табличках не провозглашают.

В трех домах моего детства не было ни мраморных богинь, ни бронзовых нимф, ни благородных девиц. Чем дальше от Эльбы, тем невзрачнее и беднее становилась Кенигсбрюкерштрассе. Палисадники встречались все реже, да и то самые крохотные. Дома были выше, по большей части пятиэтажные, а квартирная плата была ниже. Там стоял Народный дом, благотворительное учреждение, с народной столовой, народной библиотекой и площадкой для игр, которую зимой заливали водой, превращая в каток. Затем следовали лавка потребительского общества, булочные, мясные и овощные лавки, мастерская часовщика, обувной магазин и закупочная контора герлицкого потребительского союза.

В этом-то квартале стояли три дома моего детства. Под номерами 66, 48 и 38. Родился я на пятом этаже. В доме № 48 мы жили на четвертом этаже, а в доме № 38 — на третьем. Мы спускались все ниже, по мере того как шли в гору. Приблизились даже к домам с палисадниками, но так до них и не добрались.

Чем ближе к городской окраине, тем больше преобразалась наша улица. Она пересекала район казарм. По соседству, на небольших пригорках, располагались казармы стрелков, обе гренадерские казармы, казарма 177-го пехотного полка, казарма конногвардейцев, казарма обозных войск и две казармы артиллеристов. А на самой Кенигсбрюкерштрассе стояли казармы саперов, военная пекарня, военная тюрьма и арсенал, складу боеприпасов которого однажды суждено было взлететь на воздух.

«Арсенал горит!» Крик этот по сей день стоит у меня в ушах. Пламя и дым заволокли все небо. Пожарные, полиция и санитарные кареты города и окрестностей мчались колоннами в сторону пламени и дыма, а за ними, задыхаясь, бежали мы с матерью. Шла война, и отец работал там поблизости в военных мастерских. Огонь распространялся, и взрывались всё новые склады боеприпасов и груженные составы. Район был оцеплен. Дальше нас не пустили. К счастью, вечером, хоть и закопченный, но здоровый и невредимый, отец возвратился домой.

А горящий и взрывающийся арсенал, собственно говоря, не имеет никакого отношения к этой книжке. Потому что тогда я уже принял конфирмацию и не был маленьким. Да, а еще чуть попозже, новобранцем, с карабином за плечом, я стоял на часах перед казармой саперов. И конечно, на той же Кенигсбрюкерштрассе! Эта улица и я — мы были просто неразлучны.

Расстались мы, только когда я переехал в Лейпциг. Причем я ничуть бы не удивился, если б она последовала за мной туда. Такая она была привязчивая. Да и сам я, кем бы я там ни сделался, был и остался мальчишкой с Кенигсбрюкерштрассе. Этой диковинно расчлененной на три части улицы, с палисадниками в начале, доходными домами посредине и казармами, арсеналом и Хеллером, песчаным учебным плацем, в самом ее конце, уже на окраине города. Здесь, на Хеллере, я мальчишкой играл, а новобранцем не в очередь упражнялся в строевой подготовке. Приходилось ли вам когда-нибудь, держа перед собой карабин образца 98 года, делать по двести пятьдесят приседаний? Нет? Так благодарите бога! После того за всю жизнь не отдышишься. Некоторые мои товарищи валились на землю после пятидесяти приседаний. Они были поумнее меня.

Квартиру на пятом этаже по Кенигсбрюкерштрассе, 66, я совершенно не помню. Всякий раз, как мне случалось проходить мимо этого дома, я говорил себе: «Вот где ты, значит, появился на свет». Иногда я даже входил в подъезд и с любопытством озирался. Но ничто не откликалось. Чужой, незнакомый дом. А ведь матушка сотни и сотни раз втаскивала меня вместе с коляской на пятый этаж! Мне это было заведомо известно. Но ничего не помогало. Дом так и оставался для меня чужим. Обычное казарменного вида здание, как тысячи других.

Зато я прекрасно помню дом под номером 48. Лестничную площадку. Подоконник, сидя на котором я глядел на задний двор. Ступеньки, на которых играл. Потому что лестница служила мне местом для игр. Здесь я строил свой рыцарский замок. Замок с бойницами, островерхими башнями и подвижным подъемным мостом. Здесь происходили ожесточеннейшие сражения. Здесь после смелого обходного маневра через две лестничные ступеньки французские кирасиры ударяли с тыла по егерям Холька и аркебузникам Валленштейна¹. Санитары с красным крестом на рукаве стояли наготове с носилками, чтобы выносить с поля боя раненых. Они всем желали помочь, будь то шведы и императорские войска семнадцатого века, будь то французская кавалерия девятнадцатого. Моим санитарам была хороша любая нация и

¹ А ль б р е х т В а л л е н ш т е й н — верховный главнокомандующий германского императора Фердинанда II во время Тридцатилетней войны. Х о л ь к — фельдмаршал, соратник Валленштейна.

любой век. Но сперва должна была решиться жаркая схватка за средневековый подъемный мост.

Потери в боях были огромные. Одним мановением руки я уничтожал по несколько полков сразу. И наполеоновская старая гвардия умирала, но не сдавалась. Еще во внутреннем дворе после взятия приступом подъемного моста бой продолжался. Нюрнбергские оловянные солдаты отличались необыкновенной стойкостью. Почтальон и маленькая фрау Вильке с пятого этажа вынуждены были, переступая по-журавлиному, делать гигантские шаги, дабы не помешать победе или поражению. Они осторожно перешагивали через друга и недруга, а я ничего не замечал. Ибо был главнокомандующим и начальником генерального штаба обеих армий. От меня одного зависела участь всех столетий и народов. Так неужто мне помешает какой-то почтальон из Дрезден-Нейштадта! Да я на него и не посмотрю! Или миниатюрная фрау Вильке из-за того, что ей, видите ли, нужно купить себе пяток кольраби и немножко соли и сахару!

А когда исход битвы был решен, я укладывал убитых, раненых и невредимых оловянных солдатиков в нюрнбергские деревянные коробки между слоями тонкой древесной стружки, разбирал гордый рыцарский замок и тащил весь этот игрушечный мир и игрушечную мировую историю в нашу крохотную квартиру.

...Кенигсбрюкерштрассе, 48,— второй дом моего детства. Стоит мне сейчас, в Мюнхене, и, как говорится, пожилым уже человеком, закрыть глаза, как я тотчас ощущаю под ногами лестничные ступени, а сидалищем — край ступенек, на которых сидел, хотя по прошествии более полувека сидалище мое весьма отличается от тогдашнего. А когда я представляю себе набитую доверху продуктовую сумку коричневой кожи, которую тащил вверх по лестнице, то мне сначала оттягивает левую и лишь потом правую руку. Потому что до третьего этажа я нес сумку в левой руке, чтобы не задевать стенку, и потом уже перекладывал сумку в правую и левой рукой крепко держался за перила. А под конец я с облегчением перевожу дух, совсем как тогда в детстве, когда, поставив сумку перед дверью, я нажимал кнопку звонка.

Память и воспоминание — таинственные силы. При чем наиболее таинственная и загадочная из них обеих — воспоминание. Память касается только нашей головы. Сколько будет семью пятнадцать? И вот уже Паульхен кричит: «Сто пять!» Он это учил. И это удержалось в го-

лове. Или забылось. Или же Паульхен восторженно восклицает: «Сто пятнадцать!» Правильно или неправильно мы запомнили или позабыли и должны заново сосчитать — и хорошая и плохая память обитают в голове. Здесь помещаются ящички для всего, что мы учили. Они похожи, как мне кажется, на ящики шкафа или комода. Иногда ящик заедает. Иногда в них ничего не лежит, иногда лежит шиворот-навыворот. А иногда ящики вовсе не открываются. И тогда и они и мы — ни с места. Бывают большие и малые комоды памяти. Например, у меня в голове комод довольно маленький. Ящики лишь наполовину заполнены, но в них относительный порядок. Когда я был маленьким, все обстояло иначе. Тогда мой чердачок был все равно что пустая гардеробная!

Воспоминания лежат не в ящиках, не в шкафах, не в голове. Они обитают в нас самих. Обычно воспоминания дремлют, но они живы, дышат и время от времени открывают глаза. Они обитают, живут, дышат и дремлют повсюду. В наших ладонях, в ступнях ног, в ноздрях, в сердце и в заду брюк. Что мы однажды в прошлом пережили, спустя годы и десятилетия вдруг возвращается и глядит на нас. И мы чувствуем: оно и не уходило вовсе. А только спало. И когда воспоминание пробуждается и спросонок протирает глаза, бывает, что оно будит другие воспоминания. Тогда поднимается такая кутерьма, как по утрам в дортуаре.

Особенно загадочны самые ранние воспоминания. Почему я вспоминаю что-то, приключившееся со мной в двухлетнем возрасте, и ничего не помню о себе в возрасте трех-четырёх лет? Отчего мне запомнился тайный советник Хэнель, заботливая медицинская сестра и садик частной клиники? Мне оперировали ногу. Перевязанная рана горела как в огне. И матушка, хотя я тогда уже умел ходить, несла меня домой на руках. Я всхлипывал. Она меня утешала. Я и сейчас чувствую, каким я был гажелым и как у нее устали руки. У боли и страха хорошая память.

Ладно, но почему же тогда мне вспоминается господин Патиц и его Ателье художественной фотографии на Баутценштрассе? На мне матросский костюмчик с белым пикейным воротником, черные кусачие чулки и башмачки на шнурках. (В наши дни маленькие девочки ходят в брюках. Тогда маленькие мальчики ходили в юбочках!) Я стою возле низенького резного столика, а на столике



стоит ярко раскрашенный парусник. Господин Патиц — он за фотоаппаратом на высоких ножках — прячет свою художническую голову под черную тряпку и велит мне улыбаться. Но так как ничего не получается, он достает из кармана игрушечного паяца, несколько раз взмахивает им в воздухе и, очень довольный собой, радостно кричит: «Ку-ку! Ку-ку!» Господин Патиц кажется мне ужасно глупым, но тем не менее в угоду ему и ради стоящей поблизости матушки я заставляю себя стеснительно улыбнуться. Артист-фотограф нажимает на резиновую грушу, принимается медленно и сосредоточенно считать вслух, закрывает кассету и помечает заказ: «Двенадцать карточек визитного формата».

Одна из этих двенадцати карточек хранится у меня и поныне. На обороте — надпись поблекшими чернилами: «Мой Эрих в три года». Это написала матушка в 1902 году. И когда я смотрю на малыша в юбочке, на круглое, стеснительно улыбающееся детское личико под аккуратно подстриженной челкой и нерешительно задержавшуюся на уровне пояса правую пухлую ручонку, у меня и сейчас зудят подколенки. Они вспоминают тогдашние шерстяные чулки. Почему? Как они этого не забыли? Неужели посещение художественной фотографии Альбер-

та Патица было настолько уж важно? Неужели оно составляло для трехлетнего ребенка целое событие? Не думаю... не знаю. А сами воспоминания? Они живут, и они умирают по им и нам неизвестным причинам.

Иногда мы думаем и гадаем, бьемся над этим вопросом. Пытаемся приподнять краешек занавесы и увидеть причины. Пытаются это делать и ученые и неученые, но в большей части загадка так и остается загадкой. И мы с матерью однажды пробовали. На примере жившего по соседству мальчика, моего сверстника, некоего Рихарда Наумана. Он был на целую голову выше меня, хороший малый и терпеть меня не мог. Не терпит так не терпит, я бы с этим, на худой конец, примирился. Но я не понимал за что. И это сбивало меня с толку.

Наши матери, когда мы еще лежали в детских колясках, сидели рядом на зеленых скамейках в саду Японского дворца на берегу Эльбы. Несколько позже мы с ним, сидя на корточках в ящике с песком, пекли в формочках куличики. Мы вместе ходили в гимнастическое общество Ней- и Антонштадта на Алаунштрассе и в четвертую городскую школу. И при всяком удобном случае он старался мне всыпать.

Он кидал в меня камнями. Он подставлял мне ножку. Налетал на меня сзади, сбивая с ног. Подстерегал идущего, ничего не подозревая, своей дорогой в подворотне, давал по шее и с торжествующим хохотом пускался наутек. Я бежал за ним, и, если мне удавалось его догнать, ему было уже не до смеха. Я не трусил. Но я его не понимал. Почему он меня преследует? Почему не оставляет в покое? Я же ему ничего плохого не сделал. Он мне, скорее, нравился. Так чего же он задирается?

Как-то матушка, которой я об этом рассказал, заметила:

— Он тебя царапал, когда вы оба еще сидели в детских колясках.

— Но почему же? — в недоумении спросил я.

Она задумалась. Потом ответила:

— Может быть, потому, что все тобой восхищались. Старухи, садовники, бонны, проходя мимо нашей скамейки, заглядывали в обе коляски и находили тебя не в пример красивее его. Ахали и охали, превозносили тебя до небес!

— И ты думаешь, он это понимал? Годовалый ребенок?

— Не слова. Но смысл. И тон, которым это говорилось.

— И он это вспоминает? Хотя ничего не смыслил?

— Может быть,— сказала матушка.— А теперь садись готовить уроки.

— Я давно приготовил,— ответил я.— Пойду играть.

И только вышел из дому, как споткнулся: Рихард Наман подставил мне ножку. Я помчался за ним, догнал его и дал ему в ухо. Вполне возможно, что он ненавидит меня еще со времени наших прогулок в детских колясках. Что он это вспоминает. И вовсе не задирает первый, как я думал, а только защищается. Однако это еще не значит, что я позволю подставлять себе ножку.

Глава шестая

УЧИТЕЛЕМ, ТОЛЬКО УЧИТЕЛЕМ

Я лежал в колыбели и рос. Я сидел в детской коляске и рос. Я учился ходить и рос. Детскую коляску продали. Колыбель получила новое назначение: ее стали именовать бельевой корзиной. Отец по-прежнему работал на чемоданной фабрике Липольда. Мать по-прежнему шила набрюшники. Из своей детской кровати, предусмотрительно снабженной деревянной решеткой, я за ней наблюдал.

Она шила до глубокой ночи. От певучего жужжания швейной машинки я, естественно, просыпался. Мне это даже, в общем, нравилось. А вот матушке совсем не нравилось. Потому что главная цель жизни маленьких детей, по мнению родителей, состоит в том, чтобы возможно больше спать. И поскольку домашний врач, санитарный советник, доктор медицины Циммерман с Радебергштрассе, придерживался того же взгляда, матушка покончила с шитьем набрюшников. Прихлопнула зингеровскую швейную машинку полированной крышкой и недолго думая решила сдать комнату.

Квартира была маленькая, а денег было и того меньше. Без приработка, объявила она отцу, не вытянем. Папа, по обыкновению, с ней согласился. Мебель сдвинули теснее. Освободившуюся комнату обставили. И на двери дома повесили купленную в писчебумажном магазине Винтера картонную дощечку: «Сдается хорошая, солнечная комната. Можно с завтраком. Справиться у Кестне-ров, 4-й этаж».

Первый наш жилец носил фамилию Франке и был учителем народной школы. Что его звали Франке, не имело существенного влияния на мою дальнейшую судьбу. Но то, что он был учителем, оказалось для меня весьма важным. Конечно, родители тогда не могли этого знать. Это была случайность. Хорошую, солнечную комнату вполне мог бы снять и бухгалтер. Или продавщица. Но туда въехал учитель. И эта случайность, как выяснилось потом, была с закорючкой.

Учитель Франке был молодой и веселый. Комната ему нравилась. Завтрак был по вкусу. Он много смеялся. Маленький Эрих его забавлял. Вечерами он сидел у нас на кухне. Рассказывал о школе. Проверял тетради. В гости к нему приходили молодые коллеги. Было весело, шумно. Отец стоял, ухмыляясь, у теплой плиты. Матушка говорила: «Опять Эмиль печь подпирает». Все чувствовали себя превосходно. И господин Франке заявлял: «Никогда я от вас не уеду». Он твердил это несколько лет кряду, а потом взял и уехал.

Он надумал жениться, и ему потребовалась собственная квартира. Повод съехать с квартиры скорее радостный. Однако мы все почему-то грустили. Он перебрался в пригород, именуемый Трахенберге, и увез с собой не только чемоданы, но и свой задорный смех. Иногда он приходил с фрау Франке и своим смехом к нам в гости. Мы слышали его смех, когда он только еще входил в дом. И слышали его смех, когда на прощание махали ему и его жене из окна.

Когда он предупредил, что съедет, матушка хотела было вновь вывесить на двери объявление: «Сдается хорошая, солнечная комната». Но он сказал, что это совершенно излишне. Он сам позаботится о преемнике. И позаботился. Правда, преемник оказался преемницей. Учительницей французского языка из Женевы. Она куда реже смеялась, чем он, и в один прекрасный день родила ребенка. Что вызвало некоторый переполох. А помимо того, немало огорчений и неприятностей. Впрочем, это к делу не относится.

Мадемуазель Т., учительница французского, вскоре затем съехала от нас со своим маленьким сыном. Матушка отправилась в Трахенберге и рассказала господину Франке, что наша хорошая, солнечная комната опять пустует. Он рассмеялся и пообещал на этот раз быть осмотрительнее. И прислал нам в качестве следующего

жильца уже не преемницу, а преемника. Учителя? Ну разумеется, учителя! Своего коллегу из той же школы на Шанценштрассе. Очень рослого, очень белокурого, очень юного молодого человека, которого звали Пауль Шуриг и который все еще у нас жил, когда я сдавал экзамен на аттестат зрелости. Он и переехал с нами вместе. Долгое время он даже занимал две комнаты в нашей трехкомнатной квартире, так что на троих Кестнеров оставалось не слишком много места. Но в его отсутствие мне разрешалось у него в кабинете читать, писать и упражняться на рояле.

Со временем он сделался для меня как бы дядей. Первое сравнительно большое путешествие я совершил вместе с ним. В свои первые же школьные каникулы. В его родную деревню Фалькенхайн возле Вурцена под Лейпцигом. У его родителей была там лавка скобяных изделий и великолепнейший из всех мною виденных до того плодовый сад. Мне разрешали влезать на стремянку и наравне с другими снимать урожай. Все эти золотые пармены, добрые луизы, боскопы, графенштейнеры, александры и как там еще называются лучшие сорта яблок и груш.

Были осенние каникулы, и мы до боли в поясице собирали в лесу грибы. Мы совершили пешеходную экскурсию в Шильду, где, как известно, живут шильдбюргеры, давно служащие нарицательным именем для простофиль. И в мансарде я пролил первые слезы тоски по дому. Там я написал первую в своей жизни открытку и успокаивал матушку. Ей незачем за меня тревожиться. В Фалькенхайне нет трамваев, разве что изредка проедет навозница, а уж ее-то я как-нибудь поберегусь.

Итак, с годами Пауль Шуриг стал мне своего рода дядей. И чуть было не стал также своего рода двоюродным братом! Потому что чуть было не женился на моей кузине Доре. Ей этого очень хотелось. Ему этого очень хотелось. Но отцу Доры этого вовсе не хотелось. Дело в том, что отец Доры, Франц Августин, был одним из бывших торговцев кроликами и ни в грош не ставил учителей народных школ и всяких там «голодранцев».

Когда во время большой конской выставки в Рейке, понадеявшись на благотворное действие золотых и серебряных медалей, наш жилец подошел к облюбованному тестю и представился: «Моя фамилия Шуриг», дядя Франц, сдвинув коричневый котелок на затылок, сверху

донизу оглядел рослого, красивого белокурого претендента в женихи и произнес знаменательные слова: «По мне, можете называться хоть Муриг!», повернулся к нему и к нам спиной и направился к своим премированным лошадям.

Сватовство провалилось. Против дяди Франца и разрыв-трава была бы бессильна. И так как дядя подозревал, что брачные планы вынашивались не без матушкиного участия, ей в будущем пришлось от него всякого наслышаться. Дядя Франц был деспот, тиран, конский Наполеон. А по сути, великолепный малый. Что никто не осмеливался ему прекословить — не его вина. Может, он был бы в восторге, если б кто-нибудь наконец его хорошенько осадил. Может, он всю жизнь этого дожидался! Но никто не оказал ему такого одолжения. Он рывкал, а окружающие трепетали. Они трепетали и тогда, когда он шутил. Они трепетали, даже когда под рождественской елкой он оглушительно пел: «Тихая ночь!..»

Он упивался этим и сожалел. Повторяю, на случай, если вы при чтении пропустили: не его вина, что никто ему не прекословил. И тут я покидаю дядю Франца и вновь обращаюсь к основному предмету шестой главы — к учителям. А с дядей Францем мы еще встретимся. И остановимся на нем несколько подробнее. Его не отнесешь к второстепенным персонажам. В этом он схож с другими великими людьми. Например, с Бисмарком, основателем Германской империи.

Когда Бисмарк созвал международную конференцию и собирался вместе с другими государственными деятелями сесть за стол переговоров, все участники перепугались. Стол, хоть и очень большой, оказался круглым! А за круглым столом, при всем желании, не разместишься согласно положению и рангу. Но Бисмарк усмехнулся, сел и сказал: «Где сижу я, там и верх». То же самое вполне мог бы сказать и дядя Франц. Будь к столу придвинут всего один стул, его бы и это не смутило. Уж дядюшка место бы себе нашел.

Итак, я рос среди учителей. Не в школе встретился я с ними впервые. Они у меня были дома. Я наглядился на синие школьные тетради и красные чернила задолго до того, как сам стал писать и мог делать ошибки. Синие горы тетрадей с диктантами, тетрадей с задачами, тетрадей с сочинениями. А перед осенними и весенними каникулами — коричневые горы табелей. И везде и всю-

ду — разбросанные хрестоматии, учебники, учительские журналы, журналы по педагогике, психологии, отечествоведению и саксонской истории. Когда господина Шурига не было дома, я незаметно проскальзывал в его комнату, садился на зеленый диван и боязливо и вместе с тем восхищенно тарасил глаза на красочный ландшафт из исписанной и печатной бумаги. Передо мной, так близко, что рукой подать, лежал неизвестный континент, а я все еще его не открыл. И когда взрослые, как они это любят делать, спрашивали меня: «Кем же ты хочешь стать?», я от всего сердца отвечал: «Учителем!»

Еще не умея читать и писать, я уже хотел стать учителем. Никем другим. И все-таки я заблуждался. Это была, пожалуй, величайшая в моей жизни ошибка. И выяснилось это в самую последнюю минуту. Выяснилось, когда я семнадцатилетним юношей стоял перед классом и, поскольку старшие семинаристы все воевали на фронте, должен был вести урок. Профессора, присутствовавшие в качестве моих педагогов на занятии, ничего не заметили, не заметили и того, что я сам наконец тут понял, как ошибся, и у меня оборвалось сердце. Зато ребята за партами почувствовали это не хуже меня. Они смотрели на меня с недоумением. Они молодцом отвечали. Поднимали руку. Вставали. Сиделись. Все шло как по маслу. Профессора благожелательно кивали. И тем не менее все было не так. Дети это понимали. «Этот малец на кафедре,— думали они,— никакой не учитель и никогда настоящим учителем не станет». И они были правы.

Я был не учителем, а учащимся. Я не учить хотел, а учиться. И захотел стать учителем лишь для того, чтобы возможно дольше оставаться учеником. Вбирать и вбирать в себя новое, а вовсе не делиться и делиться все тем же старым. Голодный, а не булочник. Жаждающий, а не трактирщик. Нетерпеливый и неуравновешенный, а не будущий воспитатель. Потому что учителя и воспитатели должны быть уравновешенны и терпеливы. Они обязаны думать не о себе, а о детях. И не вправе путать терпение с любовью к покойной жизни. Учителей, любителей покойной жизни, предостаточно. Подлинные, призванные, прирожденные учителя встречаются почти так же редко, как герои и святые.

Несколько лет назад я беседовал с одним базельским университетским профессором, знаменитым специалистом-ученым. Он недавно вышел на пенсию, и я спросил его, что он сейчас делает. В глазах его засвети-

лось блаженство, и он воскликнул: «Учусь! Наконец-то у меня есть время!» Семидесятилетний старик каждый день проводил в аудиториях и узнавал новое. Он ходил к отцу доцентам, чьи лекции слушал, и к деду студентам, с которыми вместе сидел. Он был членом многих академий. Имя его произносилось с уважением во всем мире. Всю свою жизнь он учил других тому, что знал. И вот наконец мог сам учиться тому, чего не знал. Он был на седьмом небе. Пусть другие над ним посмеивались и считали его чудачком — я-то понимал его, словно он приходился мне старшим братом.

Я понимал старика, как тридцать лет до того меня поняла матушка, когда, не сняв еще военной шинели, я предстал перед ней и, подавленный, сознавая свою вину, сказал: «Я не могу быть учителем!» Она была простая женщина и прекрасная мать. Ей было уже под пятьдесят, и она долгие годы работала не покладая рук и сэкономила, чтобы я мог стать учителем. И вот цель почти достигнута. Остается один лишь экзамен, который я через две-три недели, конечно, играючи и с блеском сдам. Тогда ей можно будет наконец передохнуть. Можно будет посидеть сложа руки. Тогда уж я сам смогу о себе позаботиться. А я вдруг говорю: «Я не могу быть учителем!»

Это было в нашей большой комнате. То есть в одной из двух комнат, занимаемых учителем Шуригом. Пауль Шуриг молча сидел на зеленом диване. Отец молча прислонился к кафельной печи. Матушка стояла под лампой с зеленым шелковым абажуром, отделанным бисерной бахромой, и спросила:

— А что бы ты хотел делать?

— Получить в гимназии аттестат зрелости и учиться в университете, — выпалил я.

Матушка на миг задумалась. Потом улыбнулась, кивнула и сказала:

— Хорошо, мой мальчик! Учись!

Но тут я опять самоуправствую с колесом времени. Со спицами будущего. Опять опережаю календарь. И опять мне следовало бы написать: «Впрочем, это к делу пока не относится!» Но это было бы неверно. Многое из того, что пережил в детстве, обретает смысл лишь годы спустя. И многое, что случается с нами потом, осталось бы вовсе непонятным без наших детских воспоминаний. Годы и десятилетия нашей жизни переплетаются, как пальцы сцепленных рук. Все друг с другом связано.

Попытка рассказать историю своего детства обращается в танцевальную процессию. Скачешь вперед и на-

зад, вперед и назад. И читателям, бедняжкам, тоже приходится скакать вместе со мной. Но я не могу иначе. И скачки в сторону неизбежны. Вот так вот. А теперь скакнем снова на два шага назад. Вернемся к тому времени, когда я еще не ходил в школу и тем не менее уже хотел стать учителем.

В те времена, если мальчик был смышленный, но не сын врача, адвоката, священника, офицера, купца или директора фабрики, а ремесленника, рабочего или служащего, то родители не определяли его в гимназию или реальное училище и затем в университет — это стоило слишком дорого. Они определяли его в учительскую семинарию. Что было намного дешевле. Мальчик до конфирмации ходил в народную школу и лишь затем держал вступительный экзамен. Провалится, так станет служащим или бухгалтером, как его отец. Выдержит, так спустя шесть лет он помощник учителя, получает жалование, в состоянии поддерживать родителей и имеет «должность с правом на пенсию».

Тетя Марта, младшая сестра матушки, из всех тетушек самая мною любимая, тоже высказалась за семинарию. Она вышла замуж за старшего рабочего на сигарной фабрике, некоего Рихтера, за него и двух его дочерей от первого брака, родила ребенка, имела садовый участок, пятók кур и была веселой, жизнерадостной женщиной. Ей всегда приходилось туго, и никогда она не унывала. Две из трех ее дочерей умерли в первый год после первой мировой войны от голодного тифа. А у нас в родне было столько мясников! Умерла одна из падчериц и ее собственная дочь, белокурая Элене. Но вот я опять скакнул на два шага вперед!

Итак, тетя Марта тоже сказала:

— Пусть Эрих будет учителем. Учителям хорошо живется. Сами видите. Взгляните хоть на своих жильцов. На Франке и на Шурига. А его друзья Тишендорфы!

Тишендорфы были друзьями Пауля Шурига и, как он, учителя. Они часто приходили к нам в гости. Сидели на кухне или в большой комнате, склонившись над картами, обсуждали втроем маршруты на летние каникулы. На один месяц в году они становились отважными альпинистами. В башмаках на триконах, с ледорубами, кошками, связкой веревок, аптечкой и невероятными рюкзаками они каждый год отправлялись в Альпы совершать восхождения на Мон-Сени, Монте-Розу, Мармоладу или Вильден Кайзера. И слали на Кенигсбрюкерштрассе великолепные цветные открытки с видами. А когда по

окончании каникул возвращались домой, то походили на светловолосых негров. Темно-коричневые от загара, здоровущие, веселые, голодные как волки. Под их башмаками на триконах прогибались половицы. Стол гнулся под тарелками с колбасой, фруктами и сыром. А когда они рассказывали о своих траверсах, прохождении снежных каминов и ледовых трещин, то и сами напропалую загибали.

— Кроме того,— добавила тетя Марта,— учителя отдыхают еще в рождественские каникулы, в пасхальные каникулы и в картофельные каникулы. В промежутках дадут десяток-другой уроков, всегда одно и то же, всегда ребятишкам одного возраста, поправят красными чернилами тридцать тетрадей, сводят класс в зоологический сад, где расскажут детям, что у жирафа длинная шея, а каждое первое число получают себе жалованье и покойненько готовятся уйти на покой.

Ну, разумеется, работа учителя отнюдь не такая легкая и приятная. И в те времена она не была сплошным удовольствием. Но тетя Марта была не единственной, кто так думал. Так думали очень многие. В том числе немало учителей. Не каждому дано быть Песталоцци¹.

Итак, я хотел стать учителем. Не только потому, что алкал знаний. У меня вообще был хороший аппетит. И когда я по вечерам помогал матери накрывать стол к ужину для господина Шурига, когда, балансируя подносом, приносил в нашу лучшую комнату тарелку с глазуньей из трех яиц с колбасой или ветчиной, я думал: «Ведь учителям неплохо живется».

А белокурый великан Шуриг даже не замечал, как охотно я променял бы свой ужин на его.

Глава седьмая

«СОЛНЦЕ» И ФУНТИКИ С КОНФЕТАМИ

И со мной и с нашей книжкой дело подвигается. Я уже появился на свет. Это основное. Меня уже сфотографировали, я переехал с родителями на новую квартиру и с той поры окружен учителями. В школу я не

¹ Песталоцци (1746—1827) — выдающийся швейцарский педагог.

хожу еще. У меня учителя на дому. Но это не домашние учителя. Они не приносят мне свечка знаний в виде таблицы умножения или даже счета до десяти. Это я приношу им на подогретых тарелках скворчащую глазунью в лучшую нашу комнату, которая вовсе не наша, а их лучшая комната. «Когда вырасту,— думаю я,— буду учителем. Тогда прочитаю все книжки и съем все глазуньи, какие только есть на свете!»

За год до того, как пойти в школу, я шести лет от роду стал самым юным членом гимнастического общества Ней- и Антонштадта. Я долго упрашивал матушку. Она была решительно против. Я, мол, еще слишком мал. Но я приставал, кланчил, канючил, терзал ее. «Подожди, пока тебе не исполнится семь»,— неизменно отвечала она.

И все-таки в один прекрасный день мы стояли в меньшем из двух гимнастических залов перед господином Захариасом. Мальчики как раз делали вольные упражнения. Он спросил:

— Сколько же годков вашему сыну?

— Шесть,— отвечала она.

Он сказал:

— Придется подождать, пока тебе не исполнится семь.

Тогда, приставив, как полагается, сжатые в кулак руки к груди, я прыгнул ноги врозь и продемонстрировал ему целый набор гимнастических упражнений! Он смеялся. Смеялась вся группа. Зал сотрясаясь от веселого смеха. И господин Захариас сказал моей опешившей матушке:

— Ладно уж, купите ему пару гимнастических тапочек. В среду к трем первый урок.

Я не помнил себя от счастья. Мы зашли в ближайший обувной магазин. Вечером я порывался лечь в постель в тапочках. А в среду еще за час до занятий был в зале. И кем же, думаете вы, оказался господин Захариас по профессии? Учителем, конечно. Учителем в семинарии. Впоследствии, будучи семинаристом, я у него учился. И он не раз еще хохотал, вспоминая нашу первую встречу.

Я очень любил гимнастику и стал недурным гимнастом. Упражнялся и с железными гантелями, и с деревянными булавами, на шесте, на кольцах, на брусках, на турнике, на кобыле и, наконец, на высокой перекладине. Высокая перекладина стала моим любимым снарядом.

Но это позже, много позже. Я наслаждался всеми этими махами, подъемами разгибом, висами, перемахами, оборотами, боковыми соскоками и полетом в воздухе после вращения на подколенках с завершающим приземлением в стойку на кокосовом мате. Чудесно, когда твое тело с каждым ритмическим взмахом делается все легче и легче, пока не станет совсем невесомым и, удерживаемое одними лишь послушными руками, описывая изящные и замысловатые круги, пляшет вокруг упругой стальной штанги!

Я стал недурным гимнастом. Я блистал на показательных выступлениях. Считался лучшим гимнастом команды. Но очень хорошим гимнастом так и не стал. Потому что боялся «солнца». И знал, почему боялся. Однажды я присутствовал при том, как другой гимнаст, крутя «солнце», сорвался и кувырком полетел с перекладины. Подстраховывавшие товарищи не успели его подхватить. И его отвезли в больницу. С тех пор «солнце» и я стали друг друга избегать. Конечно, это был срам, и кому же охота срамиться? Но я ничего не мог с собой поделать. Страх перед «солнцем» меня преследовал. И я решил, что срам пусть на чуточку, но предпочтительнее проломленного черепа. Прав ли я был? Да, прав.

Я хотел заниматься гимнастикой и занимался гимнастикой ради собственного удовольствия. Я вовсе не хотел и не собирался стать героем. Да и не стал им. Ни ложным героем, ни героем настоящим. А вы знаете разницу? Ложные герои не боятся, потому что лишены воображения. Они тупы, и у них нет нервов. Настоящие герои боятся, но преодолевают свой страх. Много раз в жизни мне бывало страшно, и, видит бог, не всякий раз я свой страх преодолевал. Иначе я сейчас, возможно, был бы настоящим и уж наверняка мертвым героем. Однако я также вовсе не намерен изображать себя хуже, чем я есть. Подчас я держался молодцом, а это временами было совсем не так легко. Но героизм как основная профессия не для меня.

Я занимался гимнастикой, потому что моя грудная клетка, мои мускулы, мои руки и ноги хотели двигаться и развиваться. Тело хотело развиваться так же, как и ум. Оба в один голос нетерпеливо требовали того же самого: расти гибкими и, подобно здоровым близнецам, стать одинаково большими и сильными. Мне было жаль детей, которые охотно учились и неохотно занимались гимнастикой. И я жалел детей, которые охотно занима-

лись гимнастикой и неохотно учились. А были и такие, которые не желали ни учиться, ни заниматься гимнастикой! Этих я всех больше жалел. Я страстно хотел и того и другого! И заранее радовался дню, когда наконец пойду в школу. Этот день настал, а я плакал.

Четвертая городская школа на Тикштрассе, неподалеку от Эльбы, помещалась во внушительного вида мрачном здании с отдельным подъездом для девочек и отдельным — для мальчиков. В те времена все школы выглядели мрачными: все почему-то темно-красные или грязно-серые, казенные и зловещие. Вероятно, они были построены теми же архитекторами, что строили казармы. Школы походили на детские казармы. Почему архитекторы не придумали школ поприветливее, не знаю. Может, фасады, лестницы и коридоры призваны были наводить на нас такой же трепет, что и трость на кафедре. Видно, хотели еще в детстве посредством страха воспитать из нас покорных граждан. Посредством страха и запугивания, а это было, конечно, совершенно неправильно.

Меня школа не испугала. Веселых школьных зданий я не видывал. Должно быть, им полагается быть такими. А кругленький, добродушный учитель Бремзер, встречавший матерей, отцов и будущих школьников, тем более не мог меня испугать. Мой домашний опыт говорил мне, что и учителя умеют смеяться, едят глазуньи, мечтают о каникулах и после обеда не прочь часок вздремнуть. Чего ж дрожать?

Господин Бремзер усадил нас всех по росту за парты и записал наши имена. Родители толпились у стен и в проходах, ободряюще кивали сыновьям и охраняли фунтики со сладостями. Это было их главной задачей. Они держали в руках маленькие, средние и большущие конусообразные кульки со сладостями, сравнивали их объемы и, смотря по результатам, завидовали или гордились. Посмотрели бы вы на мой фунтище! Ярko раскрашенный, будто сотня видовых открыток, тяжелый, как ведро с углем, и такой большой, что он доходил мне до кончика носа! Я сидел очень довольный на своем месте, подмигивал матушке и чувствовал себя своего рода чемпионом. Два-три мальчика громко разрыдались и бросились к своим взволнованным матерям.

Но все быстро кончилось. Господин Бремзер нас отпустил, и родители, дети и фунтики со сладостями заша-

гали, оживленно болтая, домой. Я нес свой фунтище перед собой, будто древко знамени. Время от времени я, кряхтя, опускал его на тротуар. Время от времени меня сменяла матушка. Мы вспотели, как грузчики. Даже сладкая ноша остается ношей.

Так, объединенными усилиями, мы одолели Глассисштрассе, Баутценштрассе, пересекли площадь Альберта и вышли на Кенигсбрюкерштрассе. От угла Луизенштрассе я уже не выпускал своего трофея из рук. Это было триумфальное шествие. Прохожие и соседи дивились. Дети останавливались и бежали за нами следом. Они слетались, будто пчелы на мед.

— А теперь к фрейлейн Хаубольд! — сказал я из-за объемистого конуса.

Фрейлейн Хаубольд заведовала помещавшимся у нас в доме отделением известной всему городу красильни Меркша, и я проводил немало часов в тихом, чистеньком магазинчике. Там пахло свежeweыстиранным бельем, химически очищенными лайковыми перчатками и накрахмаленными блузками. Фрейлейн Хаубольд была старой девой, и мы друг другу очень симпатизировали. Пусть на меня полюбуется. Она всех больше достойна увидеть это великолепие.

Матушка отворила дверь. Держа перед собой громоздкое сооружение с бантом, я поднимался по ступенькам к магазинчику, но так как за бантом и кульком ничего не видел, то споткнулся, и, уж не знаю как, кончик бумажного конуса оторвался! Я превратился в соляной столп. В соляной столп, судорожно обхвативший кулек со сладостями. На мои башмаки со шнурками что-то струилось, хлопалось, сыпалось. Я поднял кулек как можно выше. Это было не тяжело, потому что он становился все легче. Под конец у меня остался в руках только пестро раскрашенный усеченный конус из плотной бумаги; я опустил его и взглянул на пол. Я стоял по щиколотку в конфетах, пралине, финиках, шоколадных зайцах, винных ягодах, апельсинах, пряниках, вафлях и обернутых в золотую фольгу майских жуках. Дети ржали. Матушка закрыла лицо руками. Фрейлейн Хаубольд держалась за прилавок, чтобы не упасть. Настоящий потоп! А я стоял посередине.

Из-за шоколада тоже можно плакать. Даже если он принадлежит тебе... Мы запихали уцелевшие после кораблекрушения сласти и паданцы в прекрасный новый коричневый ранец и малодушно бежали через магазин и черный ход на лестничную площадку и вверх по лестни-



це к себе на квартиру. Слезы омрачили безоблачный детский небосклон. Содержимое кулька лежало клейким месивом в ранце. Из двух подарков стал один. Расписной кулек для сладостей купила и наполнила матушка. Ранец стабал отец. Когда отец вечером вернулся с работы, он старательно его отмыл. Потом взял свой острый, как бритва, нож седельника и вырезал мне сумку. Из той же несокрушимой кожи, что пошла на ранец. Сумку на длинном ремешке, который можно было по желанию укорачивать и удлинять. Чтобы носить через плечо. Для завтрака. Для школы.

...Самой большой проблемой была не сама школа, а дорога туда. В классную комнату допускался лишь единственный взрослый — учитель Бремзер. Он мог там находиться, потому что должен был там находиться. Как бы мы без него выучили буквы и цифры, азбуку и умножение до десяти? Но чтобы мать взяла тебя за руку и довела до школьного подъезда — это было просто нестерпимо. В семь лет ты, в конце концов, уже не ребенок! Или кто-нибудь осмелится утверждать обратное? Фрау Кестнер осмелилась. Она была храбрая женщина.

Но осмеливалась только в течение недели. Потому что она была умная мать. Она уступила. И, вооружившись ранцем и сумкой с завтраком, гордый и независимый, мужчина с головы до пят, я один отправлялся утром на Тикштрассе и один возвращался днем домой. Я победил, ура!

Много лет спустя матушка мне рассказала, что тогда происходило в действительности. Она ждала, пока я не уйду из дому. Потом быстро надевала шляпку и тайком бежала за мной следом. Она ужасно боялась, как бы со мной по дороге чего не случилось, и в то же время не хотела препятствовать моей тяге к самостоятельности. И вот она надумала провожать меня в школу так, чтобы я об этом ничего не знал. Когда она опасалась, что я обернусь, она ныряла в подъезд или укрывалась за афишную тумбу. Она пряталась за высокими, толстыми прохожими, которые шли в ту же сторону, и выглядывала из-за них, ни на миг не теряя меня из виду. Больше всего ее страшила площадь Альберта с трамваями и ломовыми фургонами. Но окончательно она успокаивалась, лишь когда с угла Курфюрстенштрассе видела, как я исчезаю в подъезде школы. Тут она переводила дух, поправляла шляпку и уже вполне благопристойно и безо всяких индейских повадок шла домой. Спустя несколько дней она отказалась от своей утренней уловки. Страх, что я могу зазеваться, пропал.

Зато у нее осталась другая, правда, меньшая забота: рано утром вовремя вытащить меня из постели. Это была нелегкая задача, особенно зимой, когда на улице еще темно. Матушка придумала мелодичную побудку. Она пела: «Э-ри-их, вста-ва-ать, пора в шко-о-о-лу!» И пела это до тех пор, пока я, ворча и зевая, не сдавался. Стоит мне сейчас закрыть глаза, как я слышу этот сперва ласковый, а затем все более грозный напев. Впрочем, песенка не помогла. Я и сейчас с трудом встаю.

Мне только что пришло в голову: а что бы я подумал, если б рано утром вышел прогуляться по городу и на моих глазах привлекательная молодая женщина вдруг юркнула за афишную тумбу? И если б, из любопытства последовав за ней, я увидел, как она, то замедляя, то убыстряя шаг, крадется за толстыми прохожими, прячется в подворотни и выглядывает из-за угла? И что бы подумал, обнаружив, что преследует она маленького мальчика, который пайнкой, оглядываясь налево и направо, переходит улицы и площади? Подумал бы я: «Бедняжка рехнулась?» Или: «Неужели я стану оче-

видцем трагедии?» Или: «Может, это снимают кинофильм?»

Нет, я бы тотчас догадался. Но бывает ли такое сейчас? Представления не имею. Я ведь не любитель рано вставать.

...В самой школе трудностей не было. Кроме одной-единственной. Я был ужасно невнимателен. По мне, дело шло слишком медленно. Я скучал. Поэтому я затевал оживленные беседы со своими соседями сбоку, спереди и сзади. Молодым людям семилетнего возраста, понятно, есть о чем друг другу порассказать. Добрейшему, в сущности, господину Бремзеру моя болтливость чрезвычайно мешала. Его усилия сделать из тридцати маленьких дрезденцев к чему-то пригодных грамотеев в значительной мере пропадали даром, оттого что треть класса вела частные разговоры, а зачинщиком был я. В один прекрасный день у него лопнуло терпение, и он рассерженно заявил, что, если я не исправлюсь, он напишет письмо моим родителям.

Вернувшись в полдень домой, я тотчас поделился интересной новостью.

— Если это не прекратится,— доложил я, снимая ранец, еще из коридора,— он напишет письмо. У него истекло терпение.

Матушку ужаснуло и мое сообщение и невозмутимость, с какой я его преподнес. Она старалась всячески меня усовестить. Я обещал ей исправиться. Поручиться, что сразу же и всегда буду теперь внимательным, я не мог, но твердо обещал впредь не отвлекать других учеников. Разве не честное предложение?

На следующий день матушка тайком от меня отправилась к господину Бремзеру. Когда она ему все рассказала, он рассмеялся.

— Ну и ну! — воскликнул он.— Забавный мальчонка! Всякий другой бы помалкивал, пока родители не получат письма!

— Эрих ничего от меня не скрывает,— с гордостью отвечала фрау Кестнер.

Господин Бремзер покачал головой и произнес только:

— Так-так.— А потом спросил: — Он уже решил, кем станет в будущем?

— О да,— заверила матушка.— Учителем!

Тут он кивнул и сказал:

— Что ж, он у вас смывленный.

Конечно, об этом разговоре в учительской я тогда ничего не узнал. Я сдержал свое слово. Больше не мешал на уроках и даже сам изо всех сил старался быть повнимательнее, хотя никакого твердого обязательства в этом смысле на себя не брал. Тут мне пришло в голову, что я и сейчас поступаю точно так же. Предпочитаю обещать меньше, чем обещать слишком много. И предпочитаю выполнить больше, чем обещал. Как, бывало, говорила матушка: «Всяк блажит по-своему».

Когда ребенок научился читать и охотно читает, он открывает и завоевывает новый мир, царство букв. Страна чтения — чудесный и бескрайний континент. Из типографской краски возникают предметы, люди, духи и боги, которых иначе ты никогда бы не увидел. Кто еще не умеет читать, видит только то, что у него под носом лежит или торчит: отца, дверной звонок, фонарщика, велосипед, букет цветов, а из окна, может быть, колокольню. Кто умеет читать, сидит над книгой, и перед ним вдруг возникает Килиманджаро, или Карл Великий, или Гекльберри Финн в кустах, или Зевс в виде быка, уносящий на спине прекрасную Европу. У того, кто умеет читать, вторая пара глаз, и он должен только следить, чтобы при чтении не испортить себе первую.

Я читал, читал и читал. Ни одной букровке не было от меня спасения. Я читал книги и тетради, афиши, вывески с названиями фирм, фамилии на дверных дощечках, проспекты, правила пользования, надгробные надписи, альманахи Общества защиты животных, преysкурaнты блюд, матушкину поваренную книгу, поздравления на открытках, учительские журналы Пауля Шурига, «Красочные пейзажи Саксонии» и мокрые обрывки газеты, в которых нес домой три кочана салата.

Я читал, словно вбирал в себя воздух. Словно иначе бы задохнулся. Это стало почти опасной страстью. Я читал и то, что понимал, и то, чего не понимал. «Это тебе еще рано,— говорила матушка.— Этого ты не поймешь!» А я все равно читал. И думал: «А понимают ли взрослые всё, что читают?» Сейчас я сам взрослый и могу со знанием дела ответить: и взрослые не всё понимают. А если б они читали лишь то, что понимают, и рабочие книгоиздательств и наборщики газетных типографий перешли бы на неполную неделю.

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ПРИМЕРНОГО ВОСЬМИЛЕТНЕГО

И пятьдесят лет назад в сутках было всего двадцать четыре часа, из которых десять мне полагалось спать. Остальное время было заполнено не хуже, чем заполнен настольный календарь какого-нибудь генерального директора. Я бежал на Тикштрассе и учился. Я шел на Алаунштрассе и занимался гимнастикой. Я сидел на кухне и готовил уроки, следя за тем, чтобы не переварилась картошка. Я ел днем с матушкой, вечером — с обоими родителями и должен был учиться держать вилку в левой руке, а нож — в правой, что представляло известную трудность, поскольку я был и остался левшой. Я ходил за покупками и должен был подолгу ждать, пока мне отпустят, потому что был маленьким и не лез вперед. Я сопровождал матушку в город и должен был останавливаться с ней перед витринами и разглядывать товары, которые меня совсем не интересовали. Я играл с Фрицем Форстером и Эрной Гросхенниг на задних дворах. Играл с ними и с Густавом Кислингом на краю Хеллера, среди сосен, песка и вереска, в разбойников и сыщиков или в индейцев и бледнолицых. На площади Бишофа я держал сторону Кенигсбрюкерштрассе против Хехтштрассе, где главенствовала орава жаждущих подраться переростков, которых все боялись. И я читал, читал и читал.

Взрослым никогда столько не успеть. Когда я пишу книгу, у меня не остается времени читать книги. Если же я все-таки пытаюсь, то недосыпаю. А высыпаюсь, так опаздываю на деловое свидание в гостиницу «Четыре времени года». И тогда сдвигаются все остальные дела на этот день. Секретарше приходится целых полчаса меня дожидаться в моем любимом кафе, чтобы я продиктовал ей самые неотложные письма. А когда я разделался или хотя бы наполовину разделался с письмами, то опаздываю в кино. Или уже вообще туда не иду. Время и я перестали жить в ладу. Оно съежилось, укоротилось, будто простыня, севшая после стирки.

Дети куда больше успевают. И между делом успевают еще расти! Некоторые тянутся вверх, будто спаржа. Ну, этого сказать про меня нельзя. Мои успехи в учебе, чтении, гимнастике, хозяйственных покупках и чистке

картофеля намного превышали мои способности к росту. Когда я в последний — покамест — раз стоял у мерной рейки, ефрейтор медицинской службы сказал фельдфебелю медицинской службы, который и занес мой рост в военный билет: «Один шестьдесят восемь! Мелюзга». Но ведь и Цезарь, Наполеон и Гёте были маленького роста. А Адольф Менцель, великий художник и рисовальщик, был и того меньше! Когда он сидел, думали, что он стоит. А когда вставал, думали, что он садится. Среди великих мужей очень много людей маленьких, так что нечего отчаиваться.

Я очень охотно ходил в школу и за все школьные годы не пропустил ни одного дня. Будто ставил себе целью установить рекорд. Каждое утро с ранцем за плечами я выходил из дому независимо от того, был ли я здоров или охрип, болели у меня гланды или зубы, крутило ли в животе или выскочил на задугу фурункул. Я хотел учиться и не потерять ни одного дня. Более серьезные заболевания я откладывал до каникул. Один-единственный раз я чуть было не капитулировал. В этом виноват был несчастный случай, а произошел он вот как.

В субботу я был на гимнастике, по пути домой забежал к крохотной фрау Штамниц купить воскресный букетик цветов и, войдя в подъезд, услышал, что двумя-тремя этажами выше шваброй моют лестницу. Зная, что очередь на уборку матушки, я, прыгая через две ступеньки, ринулся вверх, громко и радостно крича: «Мама! Мама!», поскользнулся и, все еще крича и потому с открытым ртом, трахнулся подбородком о ступеньку. Ступеньки были каменные. А мой язык — нет.

Это была ужасная история. Я прокусил себе края языка. Большого санитарный советник Циммерман, наш добрейший домашний доктор с бородкой клином, не мог пока ничего сказать, потому что язык у меня ужасно раздулся и забил всю полость рта, будто большущая клетка. Но клетка адски болезненная и вовсе не вкусная. Не исключено, сказал доктор Циммерман, что раны придется зашивать, ибо язык — мышечный орган, безусловно необходимый как для речи, так и для еды и питья. Зашивать язык! Родители и я чуть не упали в обморок. Да и доктор Циммерман чувствовал себя неважно. Он знал меня с самого рождения и, вероятно, предпочел бы, чтобы вместо меня ему самому залатывали язык иголкой с ниткой. Для начала он предписал по-

стельный режим и настой ромашки. Ночь прошла мучительно. Во рту едва умещался какой-нибудь десяток капель настоя. Глотать я совсем не мог. А о том, чтобы уснуть, и говорить нечего. Облегчения не наступило и в воскресенье.

Однако в понедельник утром, с подгибающимися коленками и против воли родителей и врача, я отправился в школу! Никто не мог меня удержать. Встревоженная и измученная матушка бежала рядом; в школе она рассказала учителю, что произошло, и просила не спускать с меня глаз, после чего, бросив последний взгляд на мою распухшую физиономию, покинула онемевший от изумления класс.

Язык заживал полтора месяца. Три недели я питался молоком, которое сосал через стеклянную трубочку. И еще три недели питался молоком с крошенными в него сухарями. В большую перемену я сидел один в классной комнате, морщась, глотал и прислушивался к доносившемуся ко мне со школьного двора шуму и смеху. На уроках я оставался нем. Иногда, когда никто не вызывался отвечать, я писал ответ на бумажке и относил записку на кафедру.

Язык не пришлось зашивать. Опухоль постепенно спала. Спустя полтора месяца я снова мог есть и разговаривать. Остались два рубца, слева и справа, они у меня сохранились и сейчас. По прошествии десятилетий они сделались меньше и придвинулись ближе к корню языка. Только не требуйте, чтобы я продемонстрировал вам рубцы! Я не показываю язык своим читателям.

Путь к Хеллеру, где мы летом играли, был недалек, и тем не менее путь этот уводил нас от уличной суеты в другой мир. Мы собирали чернику. Благоухал вереск. Бесшумно покачивались вершины сосен. Усталый ветер доносил к нам из военной пекарни запах свежего, еще теплого солдатского хлеба. Изредка мимо громыхал по рельсам пригородный поезд в Клоцше. Или двое вооруженных солдат вели с работ в военную тюрьму команду угрюмых арестантов. Они все были в тиковых кителях, фуражках без кокард, и под их неуклюжими сапожищами хрустел песок.

Мы видели, как они переходили полотно у переезда и исчезали в воротах тюрьмы. Некоторые тюремные окна были забраны решетками, другие заколочены темно-коричневыми досками, так что в камеры лишь сверху

едва просачивался дневной свет. За обшитыми окнами, как мы знали понаслышке, сидели особо опасные преступники. Они не видели солнца, не видели сосен и не видели нас, уставших от игры в индейцев детей среди цветущего вереска. Но, как и мы, они слышали, когда перед будкой путевого сторожа раздавались сигнальные гудки паровозов. Какое такое преступление могли они совершить? Мы никак себе этого не представляли.

Колокольчики вереска и солдатский хлеб благоухали. Но вот раздавался сигнальный гудок паровоза. Поливавший свои цветы путевой сторож надевал служебную фуражку и, став навытяжку, ждал поезда. Поезд пыхтел мимо. Мы махали, пока он не исчезал за поворотом. Потом шли домой. Назад в наши дома-казармы. Нас ждали родители, Кенигсбрюкерштрассе и ужин.

Чаще мы играли на задних дворах, упражнялись на перекладине для выбивания ковров и требовали, чтобы бутерброды к полднику нам бросали из кухонного окна. Это было как в сказке: обернутые в бумагу, они летели штопором вниз и шмякались о деревянную брусчатку. И хотя это были самые обыкновенные бутерброды с ливерной колбасой или свиным смальцем, нам казалось, будто падает манна небесная. Ах, до чего же они были вкусны! В жизни не ел я ничего лучше ни у «Баур о лак» в Цюрихе, ни у Рица в Лондоне. Но ничего не получится, даже если я попрошу шеф-повара впредь бросать мне паштет из гусиной печенки с трюфелями из окна кухни на террасу гостиницы. Потому что, даже если он за солидные чаевые согласится, все равно паштету далеко до тех бутербродов со свиным смальцем.

В дождливую погоду мы играли в подъезде или на сеновале над конюшней мясника Кислинга, где пахло соломенной сечкой, сеном и отрубями. Или мы забирались на козлы развозочной фуры и, щелкая бичом, с гиканьем и грохотом мчались по прерии. А не то беседовали с бьющим копытом жеребцом в деннике. Иногда мы навещали также отца моего приятеля Густава, владельца мясной лавки, в убойной, где он с подмастерьями орудовал среди деревянных корыт, свиных кишок и чанов для варки колбас. Из всех дней мы предпочитали пятницу. В этот день варили, замешивали и фаршировали свежую кровяную и ливерную колбасу, и нам как знатокам и ценителям разрешалось ее пробовать. Наша оценка, разумеется, гласила: превосходно! Это касалось в рав-

ной мере и такой специальной области, как «горячая чесночная колбаса».

И сейчас еще за пишущей машинкой у меня слюнки текут. Да что толку. Чесночной колбасы не стало. Она отжила свой век. Даже в Саксонии. Может, мясники моего детства, запрятав рецепт в карманы черных сюртуков, унесли его с собой в могилу? Это было бы великой потерей для цивилизации.

Одно время я увлекался бильярдом. Отец одного моего школьного товарища неподалеку от Иоханштедтской набережной имел пивную. В послеобеденное время там было пусто, отец товарища спал наверху в квартире, а на случай, если какой-нибудь заблудший странник все же зайдет промочить горло, оставалась официантка. Она полоскала за стойкой стаканы, готовила нам сладкое пиво или к простому пиву добавляла малиновый сок и вручала каждому из нас по длинной деревянной ложке-мешалке, после чего мы скромно удалялись в зал для собраний. Там стоял бильярд!

Мы вешали наши курточки на спинки стульев: до крючков нам было не дотянуться. Выискивали себе у стойки самые маленькие кии и, натирая их мелом, становились на цыпочки. Потому что кии были слишком длинными, не говоря уж о том, что они были и слишком толстыми и слишком тяжелыми. Нелегкое это было занятие. Бильярд был слишком высок и слишком широк. Костяные шары не получали нужного разгона. Если же предстояло особенно тонко срезать шар, мы ложились животом на борт, а ноги у нас болтались в воздухе. Кто желал записать результат на доске, должен был лезть на стул. Мы мучились, как Гулливер в стране великанов, а, по существу, должны бы над собой смеяться. Однако мы отнюдь не смеялись, а, напротив, держались и двигались серьезно и степенно, как взрослые мужчины на среднегерманском чемпионате по бильярду. В этой серьезности и заключалась для нас главная потеха.

Пока в один прекрасный день мы не продырявили зеленое сукно! Не помню уже, кто из нас оказался этим несчастливцем, но что в дорогом сукне зияла большущая треугольная дыра, это я хорошо помню. Тише воды ниже травы, я потихоньку оттуда смылся. А школьный товарищ в тот же вечер, как и следовало ожидать, был собственноручно выпорот прозорливым отцом. Так с нашими бильярдными турнирами и сладким пивом бы-

ло раз и навсегда покончено. Названия пивной и улицы, даже имя своего школьного товарища я начисто забыл. Оно проскочило сквозь знакомое всем большое решето. Куда? В пустоту, которая остается пустой, сколько бы туда ни проскакивало. Память несправедлива.

...Дети очень любят представлять. Маленькие девочки пеленают своих кукол и бранят их. Маленькие мальчики нахлобучивают на головы алюминиевые кастрюли, стараются говорить басом и мгновенно обращаются в храбрых рыцарей и могущественных императоров. Да и взрослые любят всякие переодевания и маскарады. Особенно в феврале. Тогда они покупают, берут напрокат или шьют себе костюмы, пляшут в виде одалисок, марсиан, негров, апашей и цыганок в бальных залах и ведут себя совсем-совсем по-другому, чем бывает всегда и есть на самом деле.

Этот счастливый дар целиком мне чужд. Как бы я из кожи вон ни лез, мне ее не скинуть. Я могу выдумывать персонажи, но не способен их представлять. Я всей душой люблю театр, но лишь в роли зрителя. И если, собираясь на карнавал, чтобы не портить другим удовольствие, я наклеиваю себе усы под императора Вильгельма, то лишь стою или сижу в бальном зале как истукан и не участвую в игре, а лишь наблюдаю. То ли я чересчур робок? То ли чересчур трезв? Я и сам не знаю.

Но в конце-то концов должны же существовать и зрители! Если никто не будет сидеть в партере, актерам вообще незачем надевать свои парики и короны. Пусть сразу несут коробки с гримом в ломбард и ищут себе другую работу, где без зрителей можно обойтись. Так что поистине счастье, что существую я и мне подобные!

Моя карьера зрителя началась очень рано и по чистой случайности. Мне было не то семь, не то восемь лет, когда матушка у своей модистки, фрау Венер, познакомилась с некой фрау Ганс и с ней подружилась. Фрау Ганс была очень импозантной дамой. Наперекор своей фамилии¹ она скорее напоминала лебедя или паву, дружила с одним театральным деятелем и имела двух маленьких дочерей. Старшая была кроткой и на редкость красивой, все больше лежала больная в постели и умерла, кроткая и красивая, еще в детстве. Другую звали Хильдой, она не была ни красивой, ни кроткой, но зато

¹ G a n s — по-немецки «гусь».

темперамент у нее был, как гигантский праздничный фейерверк. Этот бешеный темперамент прямо-таки распирает ее, он был неукротим и рвался, словно огороженный двумя высокими стенами, к одной-единственной цели: представлять на сцене.

Маленькая Хильда только и делала, что представляла. Есть публика, нет публики — все равно. Публика, когда мы приходили в гости на Курфюрстенштрассе, состояла из четырех лиц: из ее и моей матери, меня и больной сестры. Представление начиналось с того, что Хильда сперва играла кассиршу и продавала нам билеты. Повязав голову платком, она садилась в проеме двери между спальней и гостиной и выдавала нам за соответствующую плату исчерченные каракулями обрезки бумаги. Первые места стоили два пфеннига, вторые — один пфенниг.

Никакой разницы в цене, в сущности, не требовалось. Так как сестра все равно лежала в постели, а остальные трое зрителей никак не могли быть уж настолько неловкими, чтобы друг другу что-то загородить. Но порядок превыше всего, и, выступая в роли билетерши, Хильда неумолимо отсылала каждого заплатившего только один пфенниг во второй ряд. Как билетерша она выступала уже не в платке, а с белым бантом в волосах.

Как только мы рассаживались, начиналось представление. Труппа состояла всего из одной актрисы — Хильды Ганс. Но это ровно ничего не значило. Она выступала во всех амплуа. Она играла старух, детей, ведьм, фей, убийц и наивных девушек. Все переодевания и превращения происходили на открытой сцене. Она пела, прыгала, плясала, смеялась, кричала и плакала так, что в гостиной все дрожало. Нет, билеты не стоили слишком дорого! Потраченные нами деньги окупались с лихвой! И время от времени к нам из спальни доносился сбивающийся на кашель ломкий смех кроткой больной сестры.

Друживший с фрау Ганс, матерью молодой артистки, театральный деятель, в прошлом сам известный артист, был связан с дирекцией обеих сцен дрезденского Народного дома. Одна сцена называлась «Зеленым театром» и, огороженная высоким некрашеным деревянным забором, находилась под открытым небом в лесу. Тут играли три вечера в неделю. Зрители сидели полукругом на грубых деревянных скамьях и наслаждались сказками, грубоватыми пьесами из народного быта, комедиями и фарсами. Пахло сосновой хвоей. По чулкам взби-

рались муравьи. Безбилетники высовывали носы поверх ограды. Лето мурлыкало на солнце, как кошка.

Иногда надвигались черные тучи, и мы озабоченно поглядывали на небо. Иногда ворчал гром, и актеры возвышали голос против подло громогласного и все громче заявлявшего о себе конкурента. А иногда тучи разрывались, сверкали языкастые молнии, и в последнем акте хлестал дождь. Тогда мы спасались бегством, да и актеры спешили сами укрыться и укрыть свои костюмы. Природа одерживала верх над искусством.

Набросив на голову плащи, мы стояли под раскидистыми деревьями. Они гнулись от ветра. Я прижимался к матушке, пытался угадать, чем кончается пьеса, которую по злобе не дала нам досмотреть гроза, мок и становился всё мокрей.

Другая сцена Народного дома, не зависящий от гроз и погоды закрытый зал, находилась в Трабантенгассе. И здесь мы были завсегдатаями. И здесь регулярно шли представления. И здесь-то маленькая Хильда Ганс впервые вышла сама на подмостки! В сценической переработке замечательной сказки Гауфа «Карлик Нос» она играла заглавную роль! Играла в красном парике, с огромным наклеенным носом, горбом на спине, голосом-фистулой и таким темпераментом, что покорила публику. Да и мы с матушкой, давние поклонники Хильды Ганс, были в восторге. Что ж говорить о гусыне, то бишь мамаше Ганс!

Этот триумф окончательно и бесповоротно решил судьбу моей подружки Хильды. Еще ребенком она сделалась профессиональной актрисой, училась петь и выступала в ролях субреток. И так как, особенно для певицы, фамилия Ганс звучала не слишком привлекательно, то с того времени она стала именоваться Инге фон дер Страатен. Почему она не сделалась знаменитой, не знаю. Жизнь своенравна.

Вскоре дрезденские театры стали мне родным домом. И отец часто садился ужинать один, потому что мы с матушкой, как правило на стоячих местах, поклонялись музе Талии. Сами мы ужинали во время большого антракта. Где-нибудь в уголке на лестнице. Там мы разворачивали булочки с колбасой. А потом аккуратно сложенная бумага из-под бутербродов опять исчезала в матушкиной коричневой сумке.

Мы ходили в Альберттеатр, в Королевский драматический и в оперу. Часами стояли на улице, дожидаясь

открытия кассы, чтобы достать самые дешевые билеты. Если нам это не удавалось, мы шли домой как побитые, будто проиграв сражение. Но мы проигрывали немного сражений. Мы завоевывали наши места на галерке ловкостью и терпением. И держались стойко. Кто в буквальном смысле слова выстоял однажды всего «Фауста»¹ или оперу Рихарда Вагнера, тот не откажет нам в признании. Один-единственный раз матушке сделалось дурно, это случилось в жаркий летний вечер на представлении «Мейстерзингеров»². Так неожиданно-негаданно нам достались два сидячих места на ступеньках последнего яруса, и мы хотя бы услышали торжество на праздничном лугу.

Моя любовь к театру была любовью с первого взгляда и останется любовью до последнего вздоха. А в промежутке я писал театральные рецензии, иногда пьесы, причем мнения по поводу этих моих попыток вполне могут расходиться. Но от одного я никогда не отступлюсь: как зритель со мной никто не сравнится.

Глава девятая

ОБ АРИФМЕТИКЕ ЖИЗНИ

Первые школьные годы текли тихо и мирно. Учителю Бремзеру не приходилось чересчур на нас сердиться, да и мы были им вполне довольны. Перед пасхальными каникулами торжественно вручались табеля с отметками. Родителям разрешалось при этом присутствовать, и, чтобы их порадовать, мы пели детские песенки и декламировали стихи из хрестоматии. Поскольку я тогда в особо парадных случаях надевал бархатный костюмчик и как мастер художественного чтения, по-видимому, был незаменим, взрослые, лишь только я вставал и шел на середину зала, улыбаясь, кивали друг другу и перешептывались: «Бархатные штанишки опять тут как тут». Бархатные штанишки — это был я. А фрау Кестнер, которую распирала гордость, сидела, неестественно выпрямив спину. В отличие от меня она нисколько не волновалась и даже мысли не допускала, что я могу сбиться. И, как всегда, оказывалась права. Я не сбивался. Отметки были,

¹ «Фауст» — опера французского композитора Ш. Гуно (1818—1893).

² «Нюрнбергские мейстерзингеры» — опера немецкого композитора Р. Вагнера (1813—1883).

как всегда, отличные. И по пути домой мы заходили в кондитерскую, и матушка угощала меня миндальным пирожным, слойкой и горячим шоколадом. (Знаете, что такое слойка? Не знаете? Эх вы, бедняги!)

Поскольку я собирался и должен был стать учителем, предстояло заблаговременно о многом подумать. И было заблаговременно подумано. За подготовку придется платить. За годы пребывания в интернате придется платить. За школу придется платить. За уроки музыки придется платить. И за сам рояль тоже придется платить. Рояль стоил тогда, я и сейчас еще помню, «подержанный из первых рук», восемьсот марок. Целое состояние!

Отец давно уже начал дома, после работы, чинить родным и соседям сумки и портфели, ставить подметки, латать ранцы и чемоданы и, к восторгу своих клиентов, тачать нервущиеся кошельки и бумажники. С сигарой в зубах он сидел на табуретке возле кухонного окна и без усталости орудовал железными и деревянными гвоздиками, шкуркой, дратвой, потягом, воском, шилом, иглой, молотком, клещами, лапой, сантиметром и ножом, а на плите рядом с супом грелся в горшке клей. Знаете ли вы, как пахнет кипящий и булькающий сапожный клей? Вдобавок еще на кухне? Для седельника или обивщика он, может, ароматнее розовой воды, но для хозяйки, которая стоит у плиты и вечером стряпает обед на завтра, он воняет, как тысяча немытых чертей! Суп с лапшой, говядина, белые бобы, чечевица — что бы она ни готовила, заявила матушка, все пахнет и на вкус отдает клеем. Нет, с нее хватит!

Так отца изгнали из кухонного рая. Он отправился в ссылку. С того времени, в вязаной кофте и толстых войлочных туфлях, он по вечерам сидел внизу в подвале, в дощатом закутке, где у нас хранились уголь, брикеты и картошка. Здесь помещалась теперь его мастерская. Здесь вился теперь дымок его сигары. И здесь же, внизу, с того времени грелся и пузырился на спиртовке клей. И клей и отец с той поры чувствовали себя куда свободней.

Здесь же, внизу, отец уже на восьмом десятке, пустив в ход дюжины горшков с клеем, смастерил натуральной величины лошадь! Лошадь со стеклянными глазами, но с настоящей гривой и настоящим хвостом, а уж на седло и наборную уздечку приходили с благоговени-

ем любоваться все соседи. На этой лошади — ниже холки ею можно было управлять, так как, скрытые под попоной, у благородного животного были две пары колес на резиновом ходу, — на этом гордом скакуне отец намеревался участвовать в карнавальной шествии. К сожалению, ничего из его затеи не получилось. Потому что мотор этой лошади — тоже уже семидесятилетний давний отцовский приятель, который, спрятанный под попоной, должен был катить лошадь и всадника, — захворал гриппом. Так прекрасный план сорвался. Но отец и это разочарование перенес со свойственным ему терпением. В его исполненной терпения жизни у него лопалось терпение в редчайших случаях. Он всегда мастерски работал и почти всегда мастерски улыбался. Причем не утратил этой способности и по сей день.

Когда я был маленьким, отец и не думал мастерить лошадей в натуральную величину. Он думал лишь о том, как бы побольше заработать денег, чтобы я мог стать учителем. И он работал и зарабатывал сколько мог, но денег все равно не доставало.

Поэтому матушка решила обучиться какому-нибудь ремеслу. А уж если матушка что решала, никто не осмеливался становиться ей поперек дороги. Ни случай, ни судьба не дерзнули бы на такое! Ида Кестнер, ей тогда было уже под сорок, решила овладеть ремеслом и овладела им. Ни она, ни судьба даже глазом не моргнули. Величие человека не зависит от величия его дел. Это элементарнейшее и основное правило арифметики жизни. Только в школах о нем редко упоминают.

Матушка хотела, несмотря на свой возраст, пойти в ученицы, выучиться парикмахерскому ремеслу и стать самостоятельным парикмахером. Не с собственным заведением, это встало бы слишком дорого. Но получить право причесывать, завивать, мыть голову и делать шведский массаж на дому. Старшина цеха, к которому она обратилась, возражал и привел кучу доводов. Но она ни одного не признала и тем самым отмела все. Кончилось тем, что ее направили к господину Шуберту, известному дамскому парикмахеру на Штреленерштрассе. Тут она с жаром и талантом обучалась всему, чему следовало обучиться, и неделями приходила домой лишь вечером, после закрытия парикмахерской. Приходила усталая и счастливая.



В ту пору я был почти целиком предоставлен самому себе. В полдень я за пятьдесят пфеннигов обедал в Народном доме. Там было самообслуживание, и столовый прибор, который полагалось приносить с собой, я извлекал из ранца. Вернувшись, я, бренча матушкиной связкой ключей, изображал хозяина дома: приготовив уроки, шел за покупками, приносил из подвала дрова и уголь, накладывал в печь брикеты, заваривал и пил с учителем Шуригом кофе, когда тот возвращался домой, а пока он, улегшись на зеленый диван, похрапывал, шел гулять во двор. После его ухода я мыл и чистил картошку, всякий раз ухитряясь немножко порезаться, и читал до наступления темноты.

Или я отправлялся через весь город к Шуберту за матушкой. Если, боясь опоздать, я приходил слишком рано, то наблюдал, как она крутила в воздухе щипцами для завивки и пробовала их сперва на клочке папиросной бумаги, а затем уже на метровых волосах клиенток. Женщины тогда еще носили длинные волосы, у иных они доходили до колен! В парикмахерской пахло духами и березовой водой. Клиентки не отрываясь смотрели в

зеркало и следили за прической, которая под матушкиными ловкими руками с помощью накладок, бриллиантина и шпилек-невидимок вырастала на глазах. Иногда мастер Шуберт в белом халате останавливался возле ученицы и ее жертвы, хвалил или что-то подправлял, с каждым днем все более и более довольный ею.

Наконец он уведомил цех, что практикантка обучилась у него всему, что требуется, проявила в своей работе много вкуса и изобретательности и что он, как мастер и обладатель золотых и серебряных медалей, рекомендует допустить заявительницу к работе. А вслед за тем фрау Ида Амалия Кестнер, урожденная Августин, получила свидетельство, в котором «вышепоименованной» разрешалось называться и самостоятельно работать парикмахером. В тот же вечер я принес из ресторации «Встреча сивилл» на Иорданштрассе два литра простого пива, и мы на славу отпраздновали победу.

Под парикмахерскую за неимением другого места приспособили левый передний угол спальни. Оборудовали его стенным зеркалом, лампой, раковиной, подключением для сушильного аппарата и кронштейнами, чтобы нагревать щипцы для завивки. От горячей воды мужественно пришлось отказаться: это обошлось бы слишком дорого. Обеспечение горячей водой для мытья головы — она грелась на газу в кухне — лежало на мне, и в последующие годы я, наверно, перетаскал из кухни в спальню тысячи кувшинов.

Надо было приобрести щетки и гребни, махровые и ручные полотенца, жидкое мыло, туалетную воду, бриллиантин, шпильки, заколки, сетки для волос, накладки и помаду для массажа. Раздавались проспекты. На двери дома прибили фарфоровую вывеску. Отпечатали абонементы на прическу и массаж головы. Да, много о чем пришлось подумать!

А в заключение на день-два тете Марте еще пришлось подставить голову: старшая сестра завивала, массировала, причесывала младшую, пока обе от усердия и смеха едва дышали. У одной болели руки, у другой — голова. Но такая генеральная репетиция была необходима. Премьер без генеральной репетиции не бывает. Лишь после того может являться публика. И публика явилась.

Булочница фрау Вирт и булочница фрау Цише, супруга мясника фрау Кислинг и зеленщица фрау Клетш, жены жестянщика, торговца велосипедами и столяра, владельцев цветочного, аптекарского и писчебумажного

магазинов, дражайшие половины портного Гросхеннига, торговца бельем и галантереей Кюне, ресторатора, фотографа, провизора, виноторговца, угольщика, собственника прачечной Бауэра, а также владелица молочной, дочери всех этих дам, заведующие отделениями и продавщицы — все валом повалили к нам. Во-первых, им полагалось хорошо выглядеть за прилавком. Во-вторых, в нашем районе было мало дамских парикмахерских. В-третьих, мы сами у них покупали, и, в-четвертых, матушка работала отлично и брала недорого.

Работы у матушки было сверх головы. Дело процветало. И сплошь и рядом мне приходилось следить, чтобы обед на плите окончательно не выкипел. «Ешь, не жди меня, Эрих!» — кричала она из спальни. Но я ждал, прикручивал пониже пламя горелок, подливал в кипящие кастрюли воды, готовил сковороду, накрывал в кухне на стол и читал, пока после нескончаемых разговоров клиентки и многоуважаемой парикмахерши не хлопала наконец в коридоре входная дверь.

Многоуважаемая парикмахерша работала и вне дома. Тогда она укладывала свои инструменты вместе со спиртовкой в портфель и беглым шагом отправлялась, если нужно, в самые отдаленные концы города. Эти служебные форсированные марши совершались в первую очередь ради клиенток, имевших «постоянный абонемент». Они заслуживали особого внимания, так как на них, в конечном счете, держалось все дело. Они ведь платили вперед сразу за десять—двадцать причесок или массажей! Среди абоненток числилась супруга богатого ювелира, но также совсем бедная разносчица, она-то мне и запомнилась всех лучше.

Звали ее фрейлейн Иенихен, жила она на Турнервег, в неприютной комнате над трактиром, и не могла сама причесаться, потому что была калекой. Руки у нее, как, впрочем, и ноги да и все тело, были скрючены, искривлены, скособочены. Никто не заботился о несчастной. И вот с тяжелым коробом за спиной, опираясь на короткий и длинный костыли, она, хромая, ковыляла по деревьям. Стучала в крестьянские дома и предлагала всякие нужные в хозяйстве мелочи: пуговицы, ленты, английские булавы, тесемку, шнурки для ботинок, фартуки, оселки, зажигалки, шелковые нитки, шерстяную пряжу, вязаные скатерки, перочинные ножики, карандаши и многое другое. И именно потому, что бедняжка так отпугивающе выглядела, она особенно старалась быть всегда красиво причесанной.

Уже в шесть утра матушка выходила из дому. Я часто сопровождал ее, словно ей оттого легче будет вынести затхлый воздух комнатенки и вид этой злосчастной калекки. Полчаса спустя мы помогали фрейлейн Иенихен взвалить на плечи тяжелый короб на широких кожаных ляшках. И, опираясь на свои разные костыли, она вперевалку тащилась на Нейштадтский вокзал, откуда в пригородных поездах ездила в деревню. Мы видели, как, сгорбленная, раскачиваясь из стороны в сторону, она ковыляла вдоль железнодорожной насыпи в свежести раннего утра — ей требовалось в десять раз больше времени, чем другим людям, которые ее обгоняли. Издали казалось, что хромоножка топчется на одном месте.

...Очень важны были также для нас, если говорить о доходе, свадьбы. Тут уж предстояло причесать на квартире родителей невесты десять, двенадцать, а то и пятнадцать особ женского пола: подружку невесты, ее мать, свекровь, сестер, теток, приятельниц, бабушку и золовок и прежде всего, конечно, саму счастливую невесту. Квартиры были маленькие. Кутерьма — большой. Пили сладкое южное вино. На кухне пригорал пирог с творогом. Портниха с подвенечным платьем являлась поздно. Невеста рыдала. Жених являлся рано. Невеста рыдала еще пуще. Отец невесты чертыхался, он никак не мог найти шкатулку с запонками. Разодетые в тафту и шелк дамы без умолку трещали. «Фрау Кестнер!» — звали из одного угла. «Фрау Кестнер!» — звали из другого. А фрау Кестнер тем временем прилаживала фату и, так как фата оказывалась чересчур длинной, ножницами отхватывала полметра белого тюля.

Перед домом останавливались свадебные кареты. Жених с дружкой, грохоча, спускались по лестнице с бутылками пива, чтобы кучера не соскучились ждать. Но и это был не лучший выход. Господин пастор у брачного алтаря дожидаться не станет. Свадьбы играют не только у Мюллеров, но и у Шульцев, Мейеров и Грундманов. Где букеты и корзиночки с цветами, которые будут разбрасывать дети, и куда подевались сами дети? Конечно, они на кухне и, конечно, все перемазались какао! Где жидкость для выведения пятен? Где картонка с цилиндром? Где миртовые бутоньерки? Где молитвенники?

Наконец входная дверь захлопывается. Наконец кареты едут в церковь. Наконец в квартире пусто. Почти пусто! Соседка, обещавшая присмотреть за жарким, начинает составлять столы и стулья и накрывать к свадебному пиру. Камчатные скатерти. Мейсенский с голубой

рописью фарфор. (Я называл его «фанфор».) Серебрo-альпака¹. Цветные хрустальные бокалы дудочкой. И по скатерти искусно разбросанные цветы.

А тем временем матушка, сидя за кухонным столом — ноги и руки у нее гудели от усталости, — выпивала чашку настоящего кофе, пробовала пирог, заворачивала кусок для меня, совала в свою большую сумку и подсчитывала заработанные деньги и чаевые. Все кости ломило. В голове шум и звон. Но свадьба стоила того. Можно уплатить следующий взнос за рояль. А также за следующий урок у фрейлейн Курцхальц.

Фрейлейн Курцхальц жила со своими родителями в том же доме, что и мы, но двумя этажами выше. И к сожалению, была очень мною недовольна. И к сожалению, вполне справедливо. Дорогая, отделанная золотом звучащая махина стояла ведь в кабинете учителя Шурига! Когда он находился в своей школе, я находился в моей школе. Когда я был дома, и он большей частью бывал дома. Когда же, спрашивается, мне было по-настоящему упражняться? С другой стороны, если я хотел стать учителем, мне, кровь из носу, надо было обучиться таинственной черно-белой магии клавиш!

В тяжелые минуты у меня оставалось одно слабое утешение. Пауль Шуриг тоже отвратительно играл на рояле. И тем не менее он стал учителем, так что вот!

Глава десятая

ДВЕ РОКОВЫЕ СВАДЬБЫ

Самая странная свадьба, какую я помню, запечатлелась у меня в памяти потому, что она вообще не состоялась. И вовсе не оттого, что жених перед алтарем уперся или улизнул из церкви. А оттого, что никакого жениха и не было вовсе! Но лучше я расскажу все по порядку.

Однажды к нам явилась старая дева по фамилии Штремпель, рассказала, что в ближайшую субботу венчается в церкви Сант-Паули, и просила матушку прийти к восьми часам утра. На Оппельштрассе, дом 27, третий этаж, слева. Предстоит причесать к торжеству десять голов. Свадебная карета и пять пролетов уже заказаны. Угощение доставит ресторан гостиницы «Бельвю» с пломбирной бомбой на десерт и официантом во фраке.

¹ А л ь п а к а — сплав меди, цинка и никеля, похожий на серебро.

Фрейлейн Штремпель закатывала глаза и восторгалась, как гимназистка. Мы поздравили ее, а когда она ушла, поздравляли себя. Однако поздравлять было рано.

Когда в субботу я вернулся из школы, матушка сидела на кухне убитая и с заплаканными глазами. Она ровно в восемь позвонила на третьем этаже слева в доме 27 на Оппельштрассе, там на нее в недоумении уставились и раздраженно отчитали. Никакая фрейлейн Штремпель здесь не проживает и в церкви Сант-Паули никто в полдень венчаться не собирается!

Может, матушка неправильно пометила себе номер дома? Она спрашивала в соседних лавках. Звонила в другие двери. Перевернула вверх дном всю Оппельштрассе. Никто такой знать не знал. И никто не собирался причесываться, а тем более в полдень венчаться. Среди тех, кого она расспрашивала, попадались и люди услужливые, но настолько любезным не оказался никто.

И вот мы сидели на кухне и терялись в догадках. Что нас провели, мы понимали. Но почему эта особа нас надула? Почему? Она навредила матушке, но какая ей-то от этого польза?

Недели две спустя я ее встретил! Мы шли с Густавом Кислингом из школы, и она прошла мимо, не узнав меня. Она, видимо, торопилась. Нельзя было терять ни минуты. Сейчас или никогда! Я скинул с себя ранец, отдал его товарищу, шепнул: «Отнеси моей матери, скажешь, что я сегодня запоздаю!» — и помчался за ней. Густав, вытаращив глаза, посмотрел мне вслед, пожал плечами и, как верный друг, отнес ранец к Кестнерам. «Эрих сегодня запоздает», — передал он. «Это почему еще?» — спросила матушка. «Право, не знаю», — ответил Густав.

А я тем временем изображал из себя сыщика. Поскольку фрейлейн Штремпель, которую, по всей вероятности, вовсе не звали Штремпель, меня не узнала, это не представляло труда. Мне незачем было прятаться. Незачем было подвязывать себе фальшивую бороду. Да и откуда бы я ее взял? Надо было только следить за тем, чтобы от нее не отстать. Но даже это оказалось не такой простой задачей, потому что фрейлейн Штремпель или Нештремпель торопилась, шла ходким шагом, а ноги у нее были длинные. Мы быстро продвигались.

Площадь Альберта, Хауптштрассе, Нейштадтский рынок, мост Августа, Шлоссплатц, Георгентор, Шлосштрассе — да когда же этому будет конец! И вдруг конец наступил. Обманщица повернула налево, на Альтмаркт, и исчезла за стеклянными дверьми Шлезингера

и К⁰, фирмы готового дамского платья. Набравшись духу, я последовал за ней. Я и представления не имел, как поступлю. Директор, заведующие и продавщицы на меня уставились, и я чувствовал себя страшно неловко. А главное, что толку? Обманщица пересекла зал нижнего этажа, отдел верхнего платья. Я за ней. Поднялась по лестнице на второй этаж, отдел костюмов, прошла и этот зал насквозь, стала опять подниматься. Я за ней. Она ступила на третий этаж, отдел летнего и детского платья, подошла к стенному зеркалу, отодвинула его... и исчезла! Зеркало, пропустив ее, стало на старое место. Прямо как в «Тысяче и одной ночи!»

А я так и остался стоять среди прилавков, зеркал, передвижных гардеробов и незанятых продавщиц, от страха и сознания ответственности не двигаясь с места. Если б, по крайней мере, тут находились покупательницы, что-то мерили, выбирали! Но время было обеденное, и все они дома, а не у Шлезингера. Продавщицы начали уже подсмеиваться. Одна ко мне подошла и озорно спросила:

— Как насчет элегантного летнего платьица для молодого человека? У нас сейчас в продаже чудесных рисунков крепдешин. Не соблаговолите ли пройти в примерочную кабину?

Остальные девушки, прикрыв рот рукой, давились со смеху. Дуры такие! Но как это фрейлейн Нештремпель исчезла за зеркалом? И где она сейчас? Я стоял как на углях. Минута может тянуться бесконечно.

А ко мне уже приближалась новая мучительница! Она сняла с вешалки цветастое платье, приложила его мне под подбородок и, оценивающе прищулив глаза, проговорила:

— Вырез отлично подчеркивает вашу прекрасную фигуру!

Девушки покатывались с хохоту. Я обозлился, покраснел. Тут появилась пожилая дама, и на этаже разом воцарилась мертвая тишина.

— Что ты здесь делаешь? — строго спросила она.

Так как ничего лучшего мне не пришло в голову, я ответил:

— Ищу свою маму.

Одна из девушек воскликнула:

— Среди нас ее нет! — И смех возобновился.

Даже старая дама осклбила лицо.

В этот миг зеркало бесшумно отошло в сторону, и из-за него выступила фрейлейн Нештремпель. Без паль-

то и шляпы. Она пригладила волосы, сказала остальным: «Добрый день!», и встала за прилавок — она служила у Шлезингера на третьем этаже продавщицей! Я кинулся вниз по лестнице. Надо разыскать директора. Предстоял мужской разговор!

Выслушав мой рассказ, директор велел мне подождать, поднялся на третий этаж и несколько минут спустя вернулся с фрейлейн Нештремпель. Она снова была в пальто и шляпе. И смотрела сквозь меня, словно я был из стекла.

— Слушай меня внимательно,— сказал директор.— Фрейлейн Ницше сейчас вместе с тобой отправится к вам. Она договорится с твоей матерью и в рассрочку возместит ей нанесенный ущерб. Здесь на записке адрес фрейлейн Ницше, спрячь его и передай матери. В случае чего, она может в любое время обратиться ко мне. Всего доброго!

Стеклянные двери качнулись вперед-назад, и мы с фрейлейн Штремпель, которую звали Ницше, очутились на площади Альтмаркт. Не удостоив меня взглядом, она свернула на Шлосштрассе, и я повернул следом за ней. Это был ужасный путь. Я победил, но чувствовал себя премерзко. Я казался себе одним из тех вооруженных солдат, которые на Хеллере конвоировали заключенных. Я и гордился и стыдился. То и другое одновременно. Такое бывает. Шлосштрассе, Шлоссплатц, мост Августа, Нейштадтский рынок, Хауптштрассе, площадь Альберта, Кенигсбрюкерштрассе — и все время она шла, прямая как палка, передо мной. А я все время держался за ней на расстоянии пяти шагов. Даже на лестнице. Перед нашей дверью она отвернулась к стене. Я трижды позвонил. Мать бросилась к двери, распахнула ее и закричала:

— Хотела бы я знать, почему ты...— Но тут она заметила, что я не один, и увидела, кого я привел.— Прощу, фрейлейн Штремпель,— сказала она.

— Фрейлейн Ницше,— поправил я.

Они пришли к соглашению. Договорились, что фрейлейн Ницше расплатится частями в трехмесячный срок, и со справкой матушки в сумке она возвратилась к Шлезингеру и К⁰. Она держалась стойко. Потерю денег еще можно бы вынести. И все-таки это была катастрофа. Мы

узнали об этом впоследствии. Со всех сторон являлись кредиторы. Ресторан, виноторговец, прокатная контора, приславшая карету, цветочный и бельевой магазины — все считали, что понесли убытки, и все требовали хотя бы частичного их возмещения. И фрейлейн Ницше всем выплачивала. Выплачивала месяцами.

К счастью, она сохранила свое место у Шлезингера. Она была хорошей продавщицей. И потом, управляющий понял то, чего я еще понять не мог. Стареющая девица не находит себе мужа и хочет замуж, и, так как ничего у нее не получается, она выдумывает себе свадьбу. Дорого стоившая мечта. И мечта напрасная. И когда фрейлейн Ницше пробудилась, то долгие месяцы за нее расплачивалась, с каждым месячным взносом старясь на целый год. Иногда мы встречались с ней на улице. И отводили взгляд. Мы оба были правы и не правы. Но я был в лучшем положении. Она расплачивалась за развеянную мечту, ну а я был маленьким мальчиком.

Другая свадьба, которая мне запомнилась, принесла нам еще бóльшую беду, хоть и не была неудавшейся мечтой, а состоялась по всем правилам. На этот раз жених был не выдуманный. Он действительно существовал и не предпринял никаких попыток к бегству. Но дом родителей невесты и церковь находились в Нидерпойрице, далеко за городом, в долине Эльбы, а зимний день между рождеством и Новым годом выдался неприветливый, суровый и люто холодный.

Я ждал в трактире. Сидел, ел, читал, и часы отнюдь не бежали. Они вяло ползли, еле кружась вокруг раскаленной печурки. За окном расстилалась серо-белая голая равнина, и ветер мел поля, будто пьяный батрак. Швырял старый, заледенелый снег из одного угла в другой. Поднимал его пылью в воздух и выл и гоготал так, что дребезжали стекла. Время от времени я смотрел в окно и думал: «Так должно быть в Сибири!» Но это было всего-навсего в Нидерпойрице возле Дрездена на Эльбе.

Когда часов через пять матушка зашла за мной, она до того устала, что не решилась даже присесть отдохнуть. Она торопила с отъездом. Хотела скорей домой. И мы тут же пустились в дорогу. В дорогу без дорог. Среди бела дня — без света. Мы проваливались в сугробы. Вьюга набрасывалась на нас со всех сторон, сбивала с ног. Мы держались друг за дружку. Промерзли до



костей. Руки онемели. Ноги стали как деревянные. Нос и уши белые.

Мы были уже у самой остановки, как у нас из-под носа ушел трамвай, хоть мы и кричали и махали. Следующий подошел лишь через двадцать минут. Вагон был не топлёный и весь залеплен снегом. Всю долгую поездку мы молча и неподвижно сидели друг подле друга и стучали зубами. Дома матушка слегла в постель и два месяца не вставала. У нее были сильные боли в коленных суставах. Санитарный советник Циммерман говорил что-то о воспалении слизистой сумки и предписал горячие, только что не на крутом кипятке компрессы.

На эти два месяца я превратился в сиделку, ошпарил себе руки и присыпал их картофельной мукой. Превратился в повара и днем, вернувшись из школы, готовил омлеты, рубленые бифштексы, жареную картошку, рисовые и лапшовые супы с мясом, почками и кореньями, чечевичу с сосисками и даже тушеную говядину в горчичной, с изюмом подливе. Превратился в официанта и гордо и неуклюже подавал матушке в кровать свои пересоленные, переваренные и пригоревшие творения. Вечером я накрывал учителю Шуригу на стол, ставя все больше холодные закуски, и, случалось, тайком отхватывал себе кусочек колбасы. Нам самим на ужин я приносил в судках еду из Народного дома, и, когда отец возвращался с чемоданной фабрики, мы ее подогрева-

ли. Поужинав, мы мыли посуду, и Пауль Шуриг помогал нам вытирать. Тарелки и чашки так звенели и громыхали, что матушка в спальне то и дело подскакивала.

Иногда мы даже брались стирать и вешали белье на протянутую через всю кухню веревку. Потом, пригнувшись, как индейцы на военной тропе, пролезали под и между сочащимися платками, рубашками, простынями, полотенцами и подштанниками, каждые четверть часа щупая, не просохло ли наконец белье. Но оно не давало себя подгонять, и нам то и дело приходилось тряпкой подтирать лужи, чтобы на линолеуме не осталось пятен.

Это было настоящее холостяцкое хозяйство. И матушка страдала не только от боли в коленках, но также и за нас. Она боялась за посуду. Боялась, что клиентки изменят ей и уйдут к конкурентам. Это третье опасение было не лишено оснований. На Эшенштрассе открылась дамская парикмахерская, и парикмахер уже начал обходить окрестные лавки с визитами. Нельзя было мешкать.

Санитарный советник Циммерман заявил, что пациентка еще больна. Пациентка утверждала, что здорова. И тут уж не могло быть сомнений относительно того, кто из двух окажется прав. Матушка, стиснув зубы, встала с постели, передвигалась по комнате, незаметно держась за столы и стулья, и была здорова. Я побежал из лавки в лавку сообщить радостную весть. Конкуренцию отбили. Хозяйство опять пришло в порядок. И жизнь потекла по-старому.

Глава одиннадцатая

У РЕБЕНКА ГОРЕ

На свете много умных людей, и порой они бывают правы. Но правы ли они, утверждая, будто ребенок непременно должен иметь братьев и сестер, иначе, вырастая в одиночестве, он избаловывается и на всю жизнь делается нелюдимым, я не уверен. И умным людям следует остерегаться обобщений. Дважды два всегда и всюду четыре: в Джакарте, на острове Рюген, даже на Северном полюсе; и было четыре еще при императоре Фридрихе Барбароссе. Но со многими другими утверждениями дело обстоит по-другому. Человек не арифметический пример. Что верно для маленького Фрица, не обязательно правильно для маленького Карла.

Я был единственным ребенком в семье, и меня это вполне устраивало. Я не избаловался и не чувствовал се-

бя одиноким. У меня же были друзья! Мог бы я любить брата больше, чем любил Густава Кислинга, или сестру нежнее, чем свою кузину Дору? Друзей мы находим себе сами, а братьев и сестер — нет. Друзей мы выбираем по своей воле и если видим, что ошиблись, то можем и расстаться. Отсекать привязанность очень больно, и для этого не существует наркоза. Но сама операция возможна и заживление сердечной раны тоже.

С братьями и сестрами обстоит иначе. Мы их себе не выбираем. Их доставляют на дом. Они прибывают налоговым платежом, и обратно их не отошлешь. Судьба не присылает нам братьев и сестер на пробу. Но, к счастью, они могут стать и друзьями. Часто они остаются только братьями и сестрами. Иногда становятся врагами. На эту тему жизнь и романы рассказывают немало прекрасных и трогательных, но также печальных и страшных историй. Об иных я слышал, другие читал. Но судить не берусь, потому что был, как сказано, единственным ребенком и меня это устраивало.

Лишь раз в году я жаждал иметь братьев и сестер: в сочельник. А на первый день рождества, по мне, пусть бы улетали, но, так уж и быть, после жареного гуся с клецками, красной капустой и салатом из сельдерея. Я даже уступил бы им собственную порцию и сам ел гусятину, лишь бы в вечер 24 декабря не быть одному! Половину подарков бы им отвалил, а подарки в самом деле были прекрасные!

Но почему именно в этот вечер, самый лучший для ребят вечер в году, я не хотел оставаться один и быть единственным ребенком? Я боялся. Меня страшила раздача подарков! И страх свой я к тому же не должен был показывать. Немудрено, что вам это пока непонятно. Я долго раздумывал, говорить об этом или нет. И я решил сказать! Значит, мне надо объяснить вам.

Мои родители из любви ко мне меня друг к другу ревновали. Они старались это скрывать, и часто им это удавалось. Но в лучший день в году им это удавалось плохо. Обычно ради меня они, насколько могли, держали себя в руках, но в сочельник они не очень-то могли. Это было выше их сил. Я все это знал и должен был ради нас всех делать вид, будто ничего не замечаю.

Неделями подряд отец полночи просиживал в подвале, сооружая, например, чудо-конюшню. Он вырезал и

приколачивал, клеил и красил, вырисовывал надписи, тачал и шил крохотные уздечки, вплетал ленты в конские гривы, наполнял кормушки сеном, но постоянно при свете коптящей керосиновой лампы ему приходило в голову что-то новое — еще какая-нибудь щеколда, еще какой-нибудь крючок, еще какая-нибудь метла, какой-нибудь ларь с овсом, пока он наконец с довольной ухмылкой не решал: «Ну, такого никому больше не сделать!»

В другой раз он смастерил фуру с пивными бочками, складной лесенкой, колесами со ступицами и железными ободьями — заправскую надежную повозку с осями и сменяемым дышлом, на тот случай, если я вздумаю запрячь не пару, а только одну лошадь, с кожаной подушкой для выгрузки бочек, с кнутом и тормозами на козлах. И эта игрушка представляла собой тоже верх мастерства и искусства!

При виде таких подарков даже принцы запрыгали бы и захлопали в ладоши, но принцам отец никогда бы их не подарил.

Неделями подряд матушка полдня бегала по городу, рыская по магазинам. Каждый год она покупала столько подарков, что комод, куда она их до времени прятала, буквально ломился. Она покупала ролики, ящики-конструкторы, цветные карандаши, тюбики акварельных красок, альбомы для рисования, гантели и булавы для занятий гимнастикой, кожаные мячи для игры во дворе, коньки, норвежские санки, туристские башмаки, однажды дорогую готовальню с циркулями и рейсфедерами на синем бархате, игрушечные лавки, волшебные шкапулки с фокусами, музыкальные волчки, калейдоскопы, оловянных солдатиков, маленькие типографии с наборной кассой и литерами и, по совету Пауля Шурига и рекомендации Саксонского учительского союза, много-много хороших детских книжек. А о носовых платках, чулках, гимнастических брюках, вязаных шапочках, шерстяных перчатках, свитерах, матросках, купальных трусиках, рубашках и подобных нужных вещах и говорить нечего.

Это была конкурентная борьба из любви ко мне, и борьба ожесточенная. Драма с тремя действующими лицами, последний акт которой разыгрывался каждый год в сочельник. Главную роль играл маленький мальчик. И от его таланта импровизатора зависело, обернется ли пьеса комедией или трагедией. Еще и сейчас, когда я об этом вспоминаю, у меня начинает колотиться сердце.

Я сидел на кухне и ждал, чтобы меня позвали в лучшую нашу комнату, под сверкающую елку, для раздачи подарков. Собственные подарки я держал наготове: для отца — ящичек с десятком, а то и двумя десятками сигар, для матушки — шаль, акварель своей работы или, когда однажды от всех моих сбережений оставалось всего шестьдесят пять пфеннигов, купленный в галантерее у Кюне красиво уложенный в картоночку швейный набор. Набор? Шпулька белого и шпулька черного шелка, книжечка с булавками и книжечка с иголками, катушка белых ниток, катушка черных ниток и дюжина среднего размера черных кнопок — целых семь предметов за шестьдесят пять пфеннигов! На мой взгляд, рекордное достижение! И я очень бы им гордился, если бы меня не одолевал страх.

Итак, я стоял у кухонного окна и смотрел на дом напротив. Тут и там уже зажигали свечи. В свете фонарей блестел на улице снег. Звучали рождественские песни. В печи трещало пламя, но я зяб. Дивно пахло коврижкой с изюмом, ванильным сахаром и цедрой. А у меня кошки на душе скребли. Сейчас придется улыбаться, тогда как хочется плакать.

Но тут до меня доносился голос матушки: «Теперь можешь идти!» Я брал красиво завернутые подарки для обоих и входил в переднюю. Дверь в комнату открыта настежь. Елка сияет. Отец и матушка стоят слева и справа от стола, каждый — у своих подарков, словно комната вместе с праздником разделена пополам. «Ой,— восхищался я,— какая красота!» — имея в виду обе половины. Я держался еще возле двери, так что не могло быть сомнений, что моя насильственная счастливая улыбка относится к ним обоим. Отец с погасшей сигарой в зубах ухмылялся на сверкающую лаком конюшню. Матушка торжественно оглядывала гору подарков справа от себя. Мы все трое улыбались, прикрывая улыбками общую всем троим тревогу. Но ведь нельзя же бесконечно топтаться у двери!

Я решительно приближался к великолепию разделенного пополам стола, и с каждым шагом во мне росли сознание ответственности, страх и решимость спасти положение в эти будущие четверть часа. Ах, если бы остаться одному, наедине со своими подарками и с райским чувством, что вдвойне одарен их общей любовью! Как бы я блаженствовал и каким бы был счастливецом! Но чтобы

рождественское представление окончилось благополучно, мне надо было разыгрывать роль. И, становясь дипломатом, взрослее и искушеннее своих родителей, я заботился о том, чтобы наша торжественная тройственная конференция под рождественской елкой прошла в духе согласия. Уже в возрасте пяти-шести лет, а позже тем более, я в сочельник являлся церемониймейстером и выполнял эту трудную обязанность с большим искусством.

Я стоял у стола и радовался, уподобляясь маятнику. Радовался направо — к радости матушки. Радовался на левую половину стола, восхищаясь отцовской конюшней в целом. Потом снова радовался направо, на сей раз любясь санками, и снова налево, особенно выделяя уздечки. И еще раз направо, и еще раз налево, и ни тут, ни там чересчур долго, и ни тут, ни там чересчур коротко. Я радовался искренне, а вынужден был свою радость отмерять и унижать. Я целовал обоих по одному разу в щеку. Сперва матушку. Я раздавал свои подарки и начинал с сигар. Так мне удавалось, пока папа перочинным ножом открывал ящик и нюхал сигары, постоять рядом с матушкой чуть подольше. Она любовалась моим подарком, а я исподтишка прижимал ее к себе, исподтишка, словно это был невесть какой грех. Неужели он все-таки заметил? И неужели огорчится?

Рядом у Грютнеров пели: «О ты, радостная, о ты, благостная рождественская ночь!» Отец доставал из кармана кошелек, который стачал и сшил в подвале, и протягивал его матушке со словами: «Ну вот, чуть не забыл!» Она указывала на свою сторону стола, где для него лежали носки, теплые подштанники и галстук. Но случалось, только за сосисками с картофельным салатом их вдруг осеняло, что они позабыли преподнести друг другу подарки. И матушка говорила: «Это не к спеху, сперва поедим».

Затем мы шли к дяде Францу. Пить кофе с коврижкой. Дора показывала мне свои подарки. Тетя Лина, по обыкновению, жаловалась на вены. Дядя дотягивался до ящичка с гаванами, совал его под нос отцу и говорил: «Вот, Эмиль! Запали-ка лучше порядочную сигару!» Папа слегка обиженно заявлял: «У меня свои есть!» Но дядя Франц раздраженно настаивал: «Да бери же! Такую ты ведь не каждый день куришь!» На что отец говорил: «Тогда, с твоего разрешения...»

Фрида, экономка и добрая душа, приносила коврижку, мятные пряники, рейнвейн или, если зима выдава-

лась холодная, горячий пунш и тоже садилась с нами за стол. Мы с Дорой пытались в четыре руки играть на рояле рождественские песни, «Петербургскую тройку» и «Вальс конькобежцев». А дядя Франц принимался дразнить матушку, рассказывая истории из времен торговли кроликами. Матушка, как могла, защищалась. Но дядю Франца с его голосищем трудно было переспорить. «Старая сплетница и ябеда, вот ты кто! — кричал он во все горло и, обращаясь к отцу, категорически заявлял: — Эмиль, твоя жена, когда еще пешком под стол ходила, задирала нос, словно барыня!» Отец удовлетворенно помаргивал поверх очков, отпивал глоток вина и вытирал усы, всей душой наслаждаясь тем, что наконец-то последнее слово останется не за матушкой. Для него это был лучший рождественский подарок! А у нее от вина разгорались щеки. «А вы, вы были подлыми, мерзкими, ленивыми мужланами!» — ядовито кричала она. Дядя Франц радовался, что она злится. «Ну и что, ваше сиятельство? — отвечал он. — Тем не менее мы вышли в люди!» И принимался так хохотать, что звенели стеклянные шары на елке.

...Квадрат не круг, а человек не ангел. Квадраты, по-видимому, смирились с тем, что они не круглы. Во всяком случае, до сегодняшнего дня мы обратного не слышали. Так что можно предположить, они довольны своими четырьмя прямыми углами и четырьмя равно длинными сторонами. Они самые совершенные четырехугольники, какие только можно себе представить. Этим их честолюбие удовлетворено.

У людей дело обстоит по-другому, по крайней мере у тех, кто стремится превзойти самих себя. Они не просто хотят быть совершенными людьми, что представляло бы собой прекрасную и посильную цель, а хотят быть ангелами. Они стремятся, если вообще что-то реально делают, к ложному идеалу. Несовершенная фрау Леман не хочет стать совершенной фрау Леман, а своего рода святой Цецилией. К счастью, она не достигает ложной цели, иначе господину Леману и его детям было бы не до смеха. Толку от святой или ангела им никакого. А вот от совершенной фрау Леман толк был бы. Но ее-то они не получают. Потому что совершенной фрау Леман не желает быть. И в конечном итоге она походит на кривой, перекошенный на сторону четырехугольник, пожелавший стать кругом. Зрелище не из приятных.

Матушка не была ангелом и не собиралась им стать. Ее идеал был куда более земным. Ее цель хоть и лежала вдалеке, но не в заоблачных высях. И была достижимой. И поскольку никто не мог сравниться с матушкой в энергии и она не позволяла никому вмешиваться, то своего достигла. Ида Кестнер хотела стать совершеннейшей из матерей для своего сына. И поскольку она этого по-настоящему хотела, то не считалась ни с кем, даже с собой, и действительно стала совершеннейшей из матерей. Всю свою любовь и фантазию, все свои силы, каждую минуту времени и каждую свою мысль, само существование свое она с азартом страстного игрока поставила на одну-единственную карту — на меня. Ставкой была вся жизнь ее целиком, без остатка!

Картой в игре был я. Поэтому я обязан был выиграть. Поэтому я не смел ее разочаровать. Поэтому я стал первым учеником и хорошим сыном. Если бы она проиграла свою крупную игру, я бы этого не вынес. И так как она хотела стать совершеннейшей из матерей и ею стала, для меня, ее карты в этой игре, оставалось лишь одно: я должен стать совершеннейшим из сыновей. Стал ли я им? Во всяком случае, я старался. Я унаследовал ее качества: упорство, честолюбие и сообразительность. С этим уже кое-что можно было начать. И когда я, ее капитал и ставка в игре, случалось, по-настоящему уставал от обязанности всегда только выигрывать, в поддержку у меня оставался последний резерв: я ведь любил свою совершеннейшую из матерей. Я ее очень любил.

Достижимые цели особенны тем и тем особенно изматывают, что мы хотим их достичь. Они как бы бросают нам вызов, и мы, не оглядываясь по сторонам, устремляемся в путь. Матушка не оглядывалась по сторонам. Она любила меня и никого больше. Она была добра ко мне, и этим доброта ее исчерпывалась. Она дарила мне свою веселость, и окружающим ничего не оставалось. Она думала только обо мне, и других дум у нее не было. Матушка жила и дышала только мной.

Потому-то она и казалась всем холодной, строгой, высокомерной, властной, нетерпимой, эгоистичной. Она отдавала мне всю себя и все, что имела, и представала перед окружающими с пустыми руками, гордая, несгибаемая и все-таки нищая душой. Это ее удручало. Делало ее несчастной. А порой доводило до отчаяния. Я говорю это неспроста, и это не пустые слова. Я знаю, что

говорю. Ведь это при мне у нее темнели глаза. Еще тогда, когда я был маленьким. И именно я, вернувшись из школы, находил эти наспех нацарапанные записки! Они лежали на кухонном столе. «Я больше не могу!» — стояло там. «Не ищите меня!» — стояло там. «Будь счастлив, мой дорогой мальчик!» — стояло там. А в квартире было пусто и мертво.

Тогда, подгоняемый и подхлестываемый невыносимым ужасом, громко плача и почти ослепший от слез, я бежал по улицам в сторону Эльбы, к ее каменным мостам. В висках стучало. В голове гудело. Сердце бешено колотилось. Я наталкивался на прохожих, они ругались, а я мчался дальше. Задыхаясь от бега, я шатался, обливаясь потом и леденел, падал, вставал на ноги, не замечая, что расшибся в кровь, и мчался дальше. Где она может быть? Найду ли я ее? Неужели она что-то с собой сделала? Спасли ее или нет? Поспею я еще или уже поздно? «Мамочка, мамочка, мамочка! — бормотал я без конца. — Мамочка, мамочка, мамочка!» Ничего другого не приходило мне на ум. Это было единственной и нескончаемой моей молитвой в беге наперегонки со смертью.

Почти всякий раз я ее находил. И почти всякий раз на одном из мостов. Она стояла там неподвижно, смотрела вниз на реку и была похожа на восковую фигуру. «Мамочка, мамочка, мамочка!» — теперь я кричал это громко и все громче. Из последних сил я бросался к ней. Хватал ее, тащил, обнимал, кричал и плакал и теребил ее, как будто она была большой бледной куклой, и тогда она внезапно пробуждалась, словно спала с открытыми глазами. Тут только она меня узнавала. Тут только замечала, где мы находимся. Тут только пугалась. Тут только давала волю слезам и, крепко прижимая меня к себе, хрипло, через силу говорила: «Пойдем, мой мальчик, отведи меня домой!» И после первых нетвердых шагов шептала: «Все уже хорошо».

Иногда я ее не находил. Тогда я в смятении блуждал от моста к мосту, бежал домой проверить, не вернулась ли она тем временем, опять спешил к реке, спускался по ступенькам моста к краю воды и шел вдоль Нейштадтской набережной, всхлипывая и трепеща от страха, что вдруг увижу лодки, с которых баграми вылавливают кого-то спрыгнувшего с моста. Потом, еле волоча ноги, брел домой и, трясясь в ознобе надежды и отчаяния, бросался на ее кровать. И тут же, обессилив, почти в беспамятстве, засыпал. А когда просыпался, она сидела рядом со мной и крепко прижимала меня к себе. «Где

же ты была?» — ничего не понимая, счастливый, спрашивал я. Она не знала. Сама в недоумении качала головой. Потом, сию же улыбку, шептала, как и всегда: «Все уже хорошо».

Однажды после обеда, вместо того чтобы пойти играть, я тайком отправился к санитарному советнику Циммерману в часы приема и выложил ему то, что меня мучило. Покрутив коричневыми от никотина пальцами свою клинообразную бородку, он ласково взглянул на меня и сказал:

— Твоя матушка слишком много работает. У нее больны нервы. Это припадки — сильные и короткие, как летние грозы. Они необходимы, чтобы природа вновь пришла в равновесие. Потом воздух становится намного свежее и чище.

Я с сомнением на него посмотрел.

— Ведь и люди, — сказал он, — часть природы.

— Но не всех людей тянет бросаться с мостов, — возразил я.

— Нет, — согласился он, — к счастью, нет. — Он погладил меня по голове. — Матушке твоей надо бы месяца два хорошо отдохнуть. Где-нибудь поблизости. В Тарандте, в Вейксдорфе, в Лангебрюке. А ты прямо из школы мог бы туда ездить и оставаться с ней до вечера. Уроки можно готовить и в Вейксдорфе.

— Она не согласится, — возразил я. — Из-за клиентуры. Два месяца — это слишком долго.

— А меньше — слишком мало, — ответил он. — Но ты прав, она не согласится.

Я виновато произнес:

— Она из-за меня не согласится. Она из-за меня выводится из сил. Из-за меня ей нужны деньги.

Проводив меня до двери, он похлопал меня по плечу:

— Не вини себя. Если б у нее не было тебя, было б много хуже.

— Вы ей не скажете, что я к вам приходил?

— Ну что ты! Разумеется, нет!

— Так вы не считаете, что она в самом деле может... когда-нибудь... с моста?..

— Нет, — сказал он, — не считаю. Даже если она позабудет все на свете, сердце ее будет думать о тебе. — Он улыбнулся: — Ты ее ангел-хранитель!

Эти его последние слова я в своей жизни часто потом вспоминал. Они меня и утешали и печалили! И я вновь их припомнил, когда пятидесятилетним мужчиной пришел навестить матушку в санаторий. За это время много чего произошло. Дрезден лежал в развалинах. Родители пережили бомбежку. Мы долго были разлучены. Почта и железные дороги долгое время не работали. И вот наконец мы встретились. В санатории. Потому что матушка — ей было под восемьдесят, — истощенная жизнью, в которой знала лишь труд и заботы, страдала потерей памяти и нуждалась в уходе и присмотре.

Она держала на коленях платок и безостановочно, без устали то расстилала его, то складывала, с растерянной улыбкой подняла на меня глаза, словно бы меня узнала, кивнула и вдруг спросила:

— А где же Эрих?

Она спрашивала меня о своем сыне! У меня сердце перевернулось. Как раньше, когда она с отсутствующим взглядом стояла на мосту.

«Даже если она позабудет все на свете, сердце ее будет думать о тебе». Теперь и глаза ее меня забыли, свою единственную цель и радость! Но только глаза. Не сердце.

Глава двенадцатая

ДЯДЯ ФРАНЦ СТАНОВИТСЯ МИЛЛИОНЕРОМ

Предыдущая глава звучала не слишком весело. У ребенка горе, и этим ребенком был я сам. Может, не следовало вам этого рассказывать? Нет, это было бы неверно. Горе существует, думается мне, как существуют град и лесные пожары. Конечно, можно представить себе более счастливый мир, чем наш. Мир, в котором никто не голодает и никому не надо идти на войну. Но даже и тогда останется достаточно горя, которое даже самым разумным правительствам и самыми решительными мерами никак не искоренить. И умалчивать об этом горе — значит лгать.

Сквозь розовые очки мир кажется розовым. Картина, может, и привлекательная, однако тут оптический обман. Дело в очках, а не в мире. Кто смешивает одно с другим, здорово удивится, когда жизнь снимет у него с носа очки.

Существуют и такие оптики — я, собственно, имею в виду писателей и философов,— которые продают людям черные стекла, и вот уже наш мир — юдоль скорби и безнадежно померкшая звезда. Кто рекомендует нам темные очки, чтобы солнце не слишком нам глаза резало, честный торговец. А кто их нам насаживает, чтобы мы поверили, будто солнце не светит, тот мошенник.

Жизнь не сплошь розовая и не сплошь черная, она пестрая. Есть добрые люди и злые люди, и добрые времена бывают злыми, а злые — иной раз добрыми. Мы смеемся и плачем, и порой плачем так, будто никогда уже больше не засмеемся, или от души смеемся, будто никогда и не плакали. Иногда нам приваливает счастье, иногда — несчастье, а бывает, что не было бы счастья, да несчастье помогло. А кто думает, что знает лучше, тот зазнайка. Кто строит из себя умника и утверждает, будто дважды два пять, правда, выделяется среди прочих, но это и всё. Он недалеко уедет со своей оригинальностью. Старые истины не бывают и не выглядят оригинальными, но тем не менее они есть и остаются истинами, а это главное.

Я плакал так, будто никогда уже больше не засмеюсь. И снова смеялся, будто никогда и не плакал. «Все уже хорошо»,— говорила матушка, и все было хорошо. Или почти хорошо.

Хехтштрассе была узкой, неприглядной и густо заселенной улицей. И здесь-то, потому что лавки стоили дешевле, дядя Франц и дядя Пауль молодыми мясниками начали свою карьеру. И хотя обе тесные, в одно окно, мясные, разделенные лишь мостовой, помещались прямо друг против друга и их владельцы носили одну фамилию Августин, братья не ссорились. Оба ловкие, расторопные, жизнерадостные, они пользовались в квартале симпатией; их куртки и фартуки отличались белоснежной чистотой, колбасы, мясные салаты и заливные были превосходны. Тетя Лина и тетя Мари с утра до вечера стояли за прилавком и время от времени весело друг другу махали через улицу.

У тети Мари было четверо детей, в том числе слепой от рождения Ханс. Всегда веселый, он и ел и смеялся с удовольствием, но после смерти тети Мари, своей матери, попал в приют для слепых. Там его обучили плести корзины и настраивать рояли, и дядя Пауль женил его совсем еще молодым на бедной девушке, чтобы было

кому о нем заботиться. Отцу не доставало времени на сына с пустыми, незрячими глазами.

Все трое бывших торговцев кроликами — также старший, живший в Дёбельне, Роберт Августин — были здоровяками. Они о себе-то не думали, а о других не думали и подавно. Они думали только о торговле. Будь в сутках сорок восемь часов, может, они были бы помягче. Тогда, может, у них осталось бы немного времени на посторонние вещи и на такую мелочь, как жены, дети, братья, сестры и собственное здоровье.

Но в сутках всего двадцать четыре часа, и потому они не считались ни с кем. Даже с собственным отцом. Он страдал астмой, обеднел и знал, что скоро умрет. Но из гордости не просил старших сыновей о помощи. Он, видно, помнил пословицу: отцу легче прокормить дюжину детей, чем дюжине детей единственного отца.

Дёбельнские сестры — что та, что другая были бедны, как церковные мыши, — написали матушке, как плохо обстоит дело с моим дедом. Матушка побежала на Хехтштрассе и молила брата Франца что-то предпринять. Он обещал и сдержал слово. Послал почтовым переводом несколько марок и открытку с сердечным приветом и пожеланиями быстреешего выздоровления. Нет, не подумайте, чего доброго, что открытку он написал сам! Это сделала за него жена. У сына не нашлось времени послать привет отцу. Но на похороны старика, вскоре вслед за тем, он отправился самолично. Тут уж он не скупился.

Ибо в семействе свадьбы, серебряные свадьбы и в первую очередь похороны составляли исключение. На это находилось время. На кладбище, у гроба, тут и встречались. В сюртуках и цилиндрах. С носовыми платками, чтобы утирать слезы. Глаза и кончики носов краснели. И слезы-то были самые настоящие.

Потом еще сидели все вместе на поминках. За обедом, как и подобает, в удрученном молчании. Но за кофе с пирогами уже смеялись. А за коньяком отставные торговцы кроликами украдкой доставали из черных жилеток золотые часы. Им уже было недосуг. «Прощайте!», «Заглядывайте!», «Жаль, так приятно сидели!»

Только на собственных похоронах они оставались дольше.

Франц Августин и Пауль Августин продолжали жить на Хехтштрассе и после того, как выгодно перепродали свои мясные лавки и окончательно сделались барышни-

ками. В задних дворах было достаточно места под конюшни, в особенности для дяди Пауля, который покупал и продавал только легковых и чистокровных лошадей, только упряжных и верховых и только лучших из лучших. Уже спустя несколько лет он вправе был именовать себя «поставщиком двора его величества». Он велел вписать этот титул в фирменную вывеску над воротами и мог теперь потягаться в благородстве с придворным ювелиром. Тот торговал лишь самым отборным жемчугом и брильянтами чистейшей воды, а дядя Пауль выставлял на продажу коней лишь самой чистой крови. Для этого ему было достаточно и десяти стойл. Иногда король приезжал самолично! Можете себе представить! На узкую, захудалую Хехтштрассе! С принцами, гофмаршалом и лейб-егерем! К моему дяде Паулю!

И все же я куда охотнее и несравненно чаще крутился во дворе и на конюшне по другую сторону улицы. Хоть дядя Франц и был по-мужицки груб и, конечно, никак не годился в поставщики двора. Кто знает, что бы он еще наговорил Фридриху Августу III Саксонскому и как по-свойски хлопал бы его величество могучей пятерней по плечу. Уж гофмаршал и адъютант из свиты наверняка упали бы в обморок. Но по-мужицки грубый дядя Франц нравился мне больше, чем шибко благородный дядя Пауль, которого родные братья и сестры в шутку прозвали «господин барон». И среди конюхов и лошадей дяди Франца я чувствовал себя как дома.

В коричневых деревянных стойлах, тянувшихся по обе стороны глубокого узкого двора, помещалось до тридцати лошадей датской и восточнопрусской породы, ольденбургской и гольдштинской, фламандские тяжело-возы и брабансоны с мясистыми крупами и длинными светлыми гривами. Конюхи едва успевали центнерами подтаскивать сено, овес и сечку и гектолитрами, ведро за ведром, свежую воду. Лошади столько съедали и выпивали, что я просто диву давался. Они били здоровенными копытами, хлестали себя по спине хвостом, сгоняя полчища мух, и ржали из конца в конец конюшни, дружески обмениваясь приветствиями. Когда я подходил поближе, они поворачивали морды и отчужденно и снисходительно смотрели на меня из глубины своих непроницаемых глаз. После чего иногда кивали, а иногда покачивали огромными головами. Но я не понимал, что они хотят сказать. Расмус, сухопарый старший конюх из Дании, не выговаривавший букву «с», для проверки, обходил стойло за стойлом. А дядя Бруно, прихрамывая по

булыжнику двора, деловито сопровождал ветеринара. Толстый ветеринар был здесь частым гостем.

У лошадей те же болезни, что и у нас. Многие, как инфлюэнца и кишечные колики, даже называются одинаково, другие именуются «мыт», «мокрец», «сап», «шпат» — и все одна другой опасней. Мы не умираем от кашля, насморка, боли в горле, свинки и рези в животе. А у лошадей, этих древнейших вегетарианцев, бабушка еще надвое сказала. Стоит им наестся мокрого сена, и вот уже у них раздувается живот, как воздушный шар, уже боль ножом режет внутренности, уже может случиться заворот кишок, и смерть стучится в дверь конюшни. Стоит им, разгоряченным, напиться воды чуть похолодней, и сразу же они начинают кашлять, железы распухают, из ноздрей течет, температура поднимается, в бронхах хрипы, глаза мутнеют, и опять курносая тут как тут. Иногда толстый ветеринар поспевал вовремя. Иногда опаздывал. Тогда во двор с грохотом въезжал фургон живодера и увозил павшую лошадь. Кожу, копыта и волос еще можно было пустить в дело.

Самым огорчительным в смерти лошади был понесенный убыток. А в остальном не очень-то печалились, да это и понятно. Лошади не входили в семью. Скорее, они напоминали четвероногих гостиничных постояльцев, остановившихся в Дрездене на несколько дней и живущих тут на всем готовом. А затем путешествие продолжалось — в какое-нибудь поместье, на пивоваренный завод, в казарму, когда как. А иной раз и на живодерню. Владельцы гостиниц не плачут, когда умирает постоялец. Они тайком выносят его по черной лестнице.

Неуютная, мещански обставленная квартира находилась над мясной лавкой, где давно уже рубил и отбивал обухом котлеты другой мясник. В квартире распоряжалась Фрида, худенькая девушка из Рудных гор, молчаливая и энергичная служанка. Фрида стряпала, стирала, убирала комнаты и заменяла моей кузине Доре мать. У самой матери, тети Лины, не было времени заниматься своим ребенком.

Не имея никакого коммерческого образования и подготовки, она сделалась управляющей фирмы и с утра до вечера сидела в конторе. Чеками, счетами поставщиков, налогами, жалованьем, пролонгацией вексе-

лей, взносами в больничную кассу, текущим счетом в банке и всякими подобными мелочами дядя Франц заниматься не желал. Он сказал ей: «Это будешь делать ты!» — и она делала. Скажи он ей: «Спрыгни сегодня в шесть вечера с башни Кройцкирхе» — и она бы спрыгнула. Разве что оставила бы там, на башне, записку: «Дорогой Франц! Прости, что прыгаю с опозданием на восемь минут, но меня задержал бухгалтер-ревизор. Любящая тебя жена Лина». По счастью, подобная мысль не пришла ему в голову. Не то он бы лишился своей уполномоченной. Что было бы с его стороны глупо, а он был совсем не глуп, мой дядя Франц.

Контора, называвшаяся еще бюро, помещалась в глубине двора между двумя рядами стоил, в нижнем этаже небольшого флигелька. Здесь прислуживала и царила тетя Лина. Здесь за письменным столом она торговалась с поставщиками. Здесь по субботам выдавала конюхам жалованье. Здесь выписывала чеки. Здесь вела книги. Здесь ревизор проверял ее записи. У задней стенки стоял несгораемый шкаф, и только у тети был от него ключ. Связка ключей и кошелек с деньгами брнчали у нее в кармане фартука. Карандаш она засовывала себе наискось в прическу. Она была весьма решительна, и никому не давала себя провести. Лишь один-единственный человек на свете вызывал у нее сердцебие — «хозяин». Так она его за глаза называла. Если же он находился в комнате или у телефона, то она говорила: «Франц», «Да, Франц», «Конечно, Франц», «Разумеется, Франц», «Непременно, Франц». И ее обычный напористый голос звучал как голосок школьницы.

Когда она была ему нужна, он орал во всю глотку, где бы ни находился, одно лишь слово: «Жена!» И она мгновенно откликалась: «Да, Франц?» — и опрометью неслась к нему, будто дело шло о спасении жизни. Тогда ему оставалось только добавить: «Сегодня в ночь я еду с Расмусом на ярмарку во Фленсбург. Дашь мне с собой двадцать тысяч марок. Купюрами по сто!» Убегая, она на ходу развязывала фартук. И через час, побывав в банке, была уже дома. С двумястами сотенных бумажек. Позднее, когда они жили на «вилле», я за нее бегал в банк. Но моя пора банковского посыльного к делу пока не относится.

По возвращении с ярмарок и аукционов, после того как лошадей выгружали у наклонной платформы Нейштадт-Товарная и нанятые для сопровождения конюхи отводили их вдоль железнодорожной насыпи и через



Бишофплац на Хехтштрассе, для дядюшки начиналась самая ответственная пора. Сперва коням надо было откормиться, потому что поездка в теплушках и перемена климата дурно отзывались на живом товаре.

Но уже спустя несколько дней клиенты толклись во дворе, как на ярмарке. Все важные персоны с чутьем лошадиников и толстыми бумажниками. Офицеры со своими вахмистрами, помещики, зажиточные крестьяне, директора пивоварен, владельцы экспедиционных контор, господа из городского отдела мусороуборки и представители фирмы Пфунд «Торговля молочными продуктами» — создавалось впечатление, что здесь торгуют не лошадьми, а толстяками! Дядя Бруно с ящичком сигар, прихрамывая, обходил одного за другим, предлагая гаваны. Из окон домов, выходивших на задний двор, высовывались любопытные женщины

и дети, наслаждались даровым спектаклем и ждали главного исполнителя — Франца Августина, хозяина лошадей. А когда он наконец появлялся, когда, улыбаясь, входил в ворота с сигарой в зубах, покручивая толстой бамбуковой тростью, в ловко, чуть набок надетом коричневом котелке, даже те, кто никогда его в глаза не видел, тотчас понимали: «Это он! Такой тебя вмиг облапошит, а ты еще будешь думать, что он тебе рыжего мерина задарма отдал!» Против этого человека, против такой самоуверенной силы и веселого простодушия и разрыв-трава была бы бессильна. Где бы он после нескольких рукопожатий и похлопываний по спине уверенно и неуклюже ни становился, там и был центр, и все слушались его команды: конюхи, лошади и покупатели!

Лошадей одну за другой прогоняли во всех аллюрах. Конюхи держали их за недоуздки и бегали с ними взад и вперед по двору. Особенно норовистых выводил Расмус. У него даже самые тугоуздые глодуны бежали рысью, как кроткие овечки. Иногда дядя Франц щелкал бичом. Но большей частью просто махал белым своим большим носовым платком. У него это выходило, как у артиста варьете. Платок хлопал, будто флаг на ветру, и взбадривал самых ленивых одров.

После вывода очередной лошади заинтересованные покупатели подходили ближе и осматривали у нее зубы и бабки. Дядя называл свою цену и не давал с собой долго торговаться. Покупка скреплялась тем, что, оглушительно хлопая, ударяли по рукам. У меня от одного звука болели ладони. Тетя Лина доставала из прически карандаш и записывала покупателя. Это, собственно, было излишне: ударив по рукам, покупатель все равно что давал клятву. Кто такой уговор нарушал, был как коммерсант конченым человеком. А этого никто не мог себе позволить.

Иногда дядя привозил столько лошадей, что был вынужден больше половины размещать по чужим конюшням: у своего брата Пауля и своего приятеля, коммерции советника Геблера. Тогда выводка лошадей продолжалась неделями, а в выходившем на Хехтштрассе трактирчике, не прекращаясь, шел пир горой. Дым от сигар и духота были такие, что хоть топор вешай. Крик и хохот слышались даже на улице. Дядя Франц пил как сапожник и сохранял ясную голову. Дядя Бруно после четвертой рюмки был пьян в стельку. А тетя Лина вообще не пила, а молча и усердно принимала деньги. Сотенны-

ми, пятисотенными и тысячными бумажками. Толстые бумажники вокруг худели на глазах. Тетя выписывала квитанции, засовывала химический карандаш обратно в прическу и шла складывать пачки денег в несгораемый шкаф. В бюро в глубине двора.

«Наш-то Франц Августин,— говорили люди,— так все и будет деньги лопатой грести до одурения!» До одурения? Плохо же они его знали. Впрочем, они не понимали это так буквально. Втайне они даже очень им гордились. Как же, он доказал миру, что и на Хехтштрассе можно сделаться миллионером! Они это ставили ему в большую заслугу. Его успех был сказкой, которой они тешились. И они складывали ее продолжение. «Кто так разбогател,— говорили они,— обязан свое богатство показывать! Ему нужен дворец. Пусть с Хехтштрассе съезжает, это его долг перед Хехтштрассе». — «Какой вздор! — ворчал дядя Франц.— Мне вполне достаточно моей квартиры над мясной. Да меня и дома почти не бывает». Но Хехтштрассе была сильнее его. И в конце концов он сдался.

Он купил дом на Антонштрассе под номером 1. «Дом», собственно, не то слово. Это была трехэтажная, просторная вилла с тенистым садом, почти парком, узкой стороной граничившим с площадью Альберта. Той самой площадью Альберта, через которую я каждый день ходил в школу. Оживленнейшей и вместе с тем наряднейшей площадью с театром и двумя большими фонтанами, носившими название «Тихие струи» и «Бурные волны».

Во владение, помимо большойвиллы и маленького парка, помимо высоченных старых деревьев, входили еще оранжерея, две беседки и надворное строение с конюшней, каретным сараем и квартирой для кучера. В квартиру кучера въехала Фрида, эта жемчужина, получившая звание экономки. Ей дали в подмогу горничную и садовника, и она взяла в свои руки бразды правления. С первого же дня она прекрасно управлялась со своими новыми обязанностями, словно выросла в трехэтажной вилле. Тетя Лина привыкала много хуже. Она не желала быть барыней и так ею и не стала. И она и Фрида — обе родились и провели юность в Рудных горах, отцы их работали на одной шахте забойщиками.

Глава тринадцатая

ВИЛЛА НА ПЛОЩАДИ АЛЬБЕРТА

С Кенигсбрюкерштрассе, 48, до Антонштрассе, 1, было рукой подать. И поскольку тетя Лина никак не могла освоиться на своей новой вилле, она радовалась, когда мы ее навещали. В хорошую погоду я приходил сразу же после обеда. Дядя сидел в купе какого-нибудь скорого поезда. Тетя за письменным столом на Хехтштрассе выписывала счета и квитанции. Дора, моя двоюродная сестра, пропадала в гостях у школьной подруги. Так что дом и сад принадлежали мне.

Больше всего я любил, взобравшись на садовую ограду, наблюдать кипучую жизнь площади. Трамваи, ходившие в Альтштадт, в Вейссен Хирш, на Нейштадтский вокзал, в Клоцше и Хеллерау, останавливались прямо передо мной, словно делали это исключительно ради меня. Сотни пассажиров выходили, входили, пересаживались, чтобы мне было на что посмотреть. Фуры, пролетки, автомобили и пешеходы тоже для меня старались как могли. Оба фонтана показывали свои водные искусства. Мимо с грохотом, отчаянно сигналив рожком и звеня в колокол, проносились пожарные. Потные гренадеры, шагая в ногу, с песней возвращались с учения в казармы. Чинно проезжала по мостовой королевская карета. Мороженщики в белых фартуках продавали на углах вафли по пять и десять пфеннигов. С пивной фуры скатывался бочонок, и тут же его окружала толпа любопытных. Площадь Альберта была сценой, а я, среди деревьев и кустов жасмина, сидел в ложе, смотрел и не мог наглядеться.

Спустя час-другой Фрида трогала меня за плечо и говорила: «Я тебе принесла кофе!» Тогда я усаживался в тенистую, из решетчатого чугуна сквозную беседку и полдничал как принц. Потом шел осматривать смородину и вишни или осенью длинным бельевым шестом сбивал орехи с дерева. Или еще бегал для Фриды в зеленую лавку напротив. За укропом, пиленным сахаром, репчатым и зеленым луком или еще за чем. Рядом с лавкой, почти скрытый в саду, стоял маленький домик, и возле калитки была прибита дощечка: «Здесь жил и умер Густав Нириц». Он был учителем и школьным инспектором, написал множество детских книжек, и все эти книжки я прочитал. В 1876 году он скончался в этом домике на Антонштрассе не менее знаменитым, чем его

дрезденский современник — рисовальщик и художник Людвиг Рихтер. Людвиг Рихтера любят и почитают поныне. А Густав Нириц всеми забыт. Время решает, чему оставаться и продолжать жить. И большей частью оно решает правильно.

Мы и вечерами заходили на виллу. В особенности когда дядя Франц был в отъезде. Без него тетя Лина, хоть с ней оставалась Дора, чувствовала себя такой одинокой и покинутой, что была счастлива, если мы составляли им компанию за ужином в гостиной. Фрида щедрой рукой и с большим искусством готовила бутерброды, и мы бы кровно оскорбили ее, оставив на блюде даже один-единственный ломтик хлеба с деревенской ливерной колбасой или копченой ветчиной. Никто, конечно, не желал ее обижать, и мы всю налегали на угощение.

Это были уютные вечера. Над диваном висела точная копия картины из художественной галереи. На ней изображен был старик извозчик; он стоит рядом с лошадыю и только что засветил фонарь на хомуте. Скопировал картину в Цвингере художник Хофман из Трахау; он, собственно, был импрессионист, но хотел заработать немного денег, и тетя Лина преподнесла ее дяде Францу по случаю новоселья. «Картина? — презрительно наморщил нос дядя. — Да уж ладно, как-никак лошадь нарисована!»

Менее уютно проходили вечера, когда дядя не был в отъезде. Не то чтобы он оставался дома, боже упаси! Он сидел в пивной или в винном погребе, закладывал за воротник с другими мужчинами, любезничал с официантками и продавал лошадей... Но... ведь он мог, против всякого ожидания, внезапно вернуться домой! На свете нет ничего невозможного. И потому мы сидели на кухне.

Кухня была чистой и просторной. Чего ж тут особенного? У себя дома мы всегда вечерами сидели на кухне. А Фридины бутерброды были так же аппетитны на вид и хороши на вкус, как в гостиной. И однако, что-то тут было не так. Заразившись страхом тети Лины, мы все теснились за кухонным столом, когда весь большой дом стоял пустой, и у тети был такой вид, словно она сама находилась у себя в гостях. И вот мы сидели и ели, но при этом прижимали уши, как кролики. Придет он или не придет? Еще неизвестно. И вообще-то маловероятно. Но изредка он приходил.

Сначала мы слышали, как в саду кто-то с силой хлопывал калитку, и Фрида говорила: «Хозяин идет». Вслед за тем входная дверь с таким грохотом распахивалась, что дребезжали цветные стекла в свинцовых переплетах, и, обуреваемая страхом и радостью, тетя вскрикивала: «Хозяин идет!» Потом из коридора слышался львиный рык: «Жена!» И с возгласом: «Да, Франц!» — тетя, а за ней Фрида и Дора бросались в переднюю, где хозяин лошадей, начиная уже терять терпение, протягивал им навстречу шляпу и трость. Они поспешно вырывали эти предметы у него из рук, втроем помогали ему снять пальто, уносили трость, шляпу и пальто на вешалку и, обгоняя его, бежали вперед по коридору, чтобы открыть дверь в гостиную и зажечь свет.

Он, кряхтя, садился на диван и протягивал одну ногу. Тетя Лина опускалась перед ним на колени и снимала ему штиблет. Фрида, став на колени рядом с ней, нащаривала под диваном шлепанцы. Пока тетя снимала второй штиблет, а Фрида натягивала ему на ногу первый шлепанец, он бурчал: «Сигару!» Дора бежала в кабинет, поспешно возвращалась с ящиком сигар и спичками, открывала ящик и, когда сигара была выбрана, ставила ящик на стол и держала наготове спичку. А лишь только он откусывал у сигары кончик и выплевывал на ковер, она давала ему закурить.

Все трое окружали его и стояли перед ним на коленях, как невольницы перед султаном, смотрели ему в рот и ждали дальнейших приказаний. Сначала он молчал, а они продолжали благоговейно его окружать и стоять перед ним на коленях. Он попыхивал сигарой, поглаживал белокурые усы, в которых уже поблескивала седина, и походил на сытого разбойника. Потом он спрашивал: «Что нового?» Тетя Лина докладывала. Он бурчал что-то. «Не желаете ли закусить?» — спрашивала Фрида. «Уже, — бурчал он, — с Геблером в „Грозди“». — «Стаканчик вина?» — спрашивала дочь. «Пожалуй, — милостиво соглашался он, — только быстро! Я снова ухожу». И все трое вскакивали и кидались к серванту и в погреб.

...Мы между тем сидели, притаившись, на кухне. Матушка иронически улыбалась, отец злился, а я время от времени уплетал бутерброд. То, что разыгрывалось в гостиной, было нам давно известно. Оставалось лишь узнать, какой из трех возможных концовок завершится комедия сегодня.

Либо дядя Франц в самом деле уйдет и три рабыни вернутся на кухню, весьма вероятно, с початой бутылкой

вина и мы побудем еще часик, либо дядя останется дома. В этом, втором случае на сцене появится одна Фрида и, несколько смущенная, выпроводит нас через черный ход. Мы, крадучись, как грабители, пройдем по гравийной дорожке и вздрогнем, если скрипнет калитка. Но всего драматичней была третья концовка комедии, которая тоже имела место не так уж редко.

Случалось, что дядя искося подозрительно глядел на тетю и с намеренным безразличием спрашивал: «А в доме больше никого нет?» Тогда нос тети Лины белел и заострялся. Следовавшее затем молчание само по себе служило ответом, и он продолжал допытываться: «Кто у тебя? Отвечай!» — «Ах,— шептала тетя, бледно улыбаясь,— это всего-навсего Кестнеры». — «А где ж они? — угрожающе вопрошал он и пригибался. — Где они, я спрашиваю!» — «На кухне, Франц». И тут раздражалась буря. Дядя выходил из себя. «На кухне? — ревел он. — Всего-навсего Кестнеры? Ты прячешь наших родственников на кухне? Вы что, вовсе все сдурели?» Он вскакивал, швырял сигару на стол, стонал от бешенства и, топая, тяжело шел по коридору. К великому сожалению, он был в шлепанцах. В сапогах вся сцена получилась бы несравненно эффектнее.

Дядя с размаху открывал кухонную дверь, мерил нас взглядом с головы до ног, подбочивался, набирал воздуха и возмущенно орал: «И вы такое терпите?» Матушка хладнокровно и тихо отвечала: «Мы не хотели тебе мешать, Франц». Одним мановением руки он отметал ее замечание. «Кто,— кричал он,— кто в этом доме рассказывает, что мне мешают мои родственники? Это же неслыханно!» Затем повелительно протягивал руку, подобно полководцу, посылающему в бой резервы: «Вы сейчас же перейдете в гостиную! Ну! Нельзя ли побыстрей? Или вы ждете письменного приглашения? Ида! Эмиль! Эрих! Живо! Да шевелитесь же!»

Он, тяжело шагая, шел впереди. Мы робко за ним следовали. Как приговоренные к смерти, которым предстоит взойти на костер. «Жена! — гаркал он. — Фрида! Дора! — гаркал он. — Две бутылки вина! Сигары. И чего-нибудь закусить!» Три рабыни рассыпались в разные стороны. «Мы уже поели на кухне», — говорила матушка. «Значит, поедите еще раз! — раздраженно отрезал он. — Да садитесь же наконец! Эмиль, сигару?» — «Благодарю,— говорил отец,— но у меня свои есть». Обычная их игра. «Бери! — приказывал дядя. — Такие хорошие ты не каждый день куришь!» — «Тогда с твоего раз-

решения...» — говорил отец и двумя пальцами осторожно извлекал сигару из ящика.

Когда все сидели под лампой перед едой и питьем, дядя Франц потирал руки. «Ну вот,— говорил он с удовлетворением,— теперь можно и уютненько посидеть! Угощайся, мой мальчик! Ты же ничего не ешь». К счастью, я мог тогда есть куда больше, чем сейчас. И ради мира и согласия жевал один бутерброд за другим. Дора, глядя на меня, плутовски прищуривала один глаз. Фрида подливала вина. Дядя принимался вспоминать Клейнпельзен, торговлю кроликами и, по обыкновению, поворачивал на то, какой ябедой была матушка, и чем больше она злилась, тем веселее становился он. Но, доведя матушку до белого каления, он постепенно утрачивал интерес к этой теме и начинал обсуждать с тетей всякие свои дела. Потом вдруг поднимался, громко зевал и объявлял, что отправляется в постель. «Сидите-сидите»,— буркал он и исчезал за дверью. Иной раз он высказывался еще прямой и преспокойно говорил: «Так. А теперь можете отправляться домой». Да, дядя Франц был редкий экземпляр. И нервы у него были во лопыи.

...Поскольку я и днем крутился на вилле и в саду, меня, как и следовало ожидать, стали использовать при случае в качестве посыльного. Я выполнял самые различные поручения одинаково аккуратно и неизменно добросовестно. Так получилось, что девяти лет от роду я сделался левой рукой тети Лины, и можно даже сказать, ее левой ногой! От долгих лет стояния за прилавком мясной и позднее в конюшне и на дворе у тети Лины стали тяжелеть и быстро уставать ноги. Она предпочитала сидеть, а не ходить, и на меня легли обязанности, которые обычно маленьким мальчикам не доверяют. Я приносил нотариусу договоры для засвидетельствования и векселя, которые надо было опротестовать. И относил после продажи больших партий лошадей деньги в банк.

Никогда не забуду изумленных глаз посетителей, когда я в филиале Дрезденского банка подходил к кассе, открывал толстый портфель и выкладывал пачки денег, которые мы с тетей предварительно пересчитывали. Теперь очередь была за кассиром. Он считал, считал и считал. Наклеивал вокруг пачек печатные бандерольки и делал себе пометки, которые я тщательно сверял со своими. Пять тысяч марок, десять тысяч марок, пятнадцать тысяч, двадцать тысяч, двадцать пять тысяч, трид-

цать тысяч и даже, случалось, сорок тысяч марок и больше! Посетители, стоявшие за мной и возле меня, ожидая, когда их обслужат, бывали до того поражены, что даже забывали терять терпение.

И если у кассира под конец получался на записке другой итог, чем у меня, он знал, кто ошибся. Он сам, конечно. У меня при сложении сумма всегда сходилась. И он начинал считать сначала. В конце концов я гордо удалялся с квитанцией и пустым портфелем.

Тетя меня хвалила, запирала квитанцию в письменный стол и дарила мне пять марок. А иногда даже десять. Да она и просто так часто совала мне какую-нибудь монетку. Тетя Лина была славная и добрая женщина. И не только тогда, когда дарила мне деньги.

Однажды, сколько тетя ни пересчитывала, у нее все недоставало двухсот марок. Подсчет правильный, а денег нет. И неизвестно, куда они девались. Неизвестно куда? Такого не бывает. Где же они? И вот уже из-за угла навязчиво высовывался следующий вопрос. Кто эти двести марок украл? Кто вор? Кого можно вообще заподозрить? Дядя Франц и тетя Лина обсудили дело с глазу на глаз и для начала установили, кто в доме не мог этого сделать. Метод старый и испытанный. Если повезет, преступник окажется в остатке.

По кратком размышлении под сомнение были взяты два лица: горничная Мета и я. Мета, которую допрашивали первой, клялась и божилась, что это не она, и, поскольку пришлось ей поверить, тете не оставалось ничего другого, как призвать меня к ответу. Разговор был недолог. Тетя и договорить не успела, как меня и след простыл. Матушка, выслушав мой рассказ, проронила: «Жаль. В общем-то они славные люди были». И на этом все для нас было покончено.

...Несколько дней спустя тетя случайно нашла деньги в ящике комода. Она, видимо, сама их туда положила и за более важными делами совсем забыла о них. Первой посланкой к нам явилась и позвонила у дверей кузина Дора. Она рассказала, что произошло, и передала сердечные приветы.

— Ты, конечно, тут ни при чем, — сказала ей матушка, — но лучше всего тебе сейчас же уйти.

На другой день наведальась Фрида, эта жемчужина, но и она очень быстро очутилась на улице.

На следующий день, несмотря на расширение вен, тетя Лина, кряхтя, взобралась к нам по лестнице.

— Полно, Лина,— сказала матушка.— Я тебя всегда любила, ты это знаешь. Но кто может заподозрить, что мой сын вор, того я больше знать не желаю,— и захлопнула дверь перед тетушкиным носом.

Еще через день перед домом остановилась коляска, и из нее вышел дядя Франц! Он проверил, этот ли номер дома, исчез в воротах и вскоре за тем впервые в жизни стоял перед нашей дверью.

— Ты?! — изумилась матушка.— Чего тебе здесь надо?

— Взглянуть, как вы живете,— пробурчал он.— Ты что ж, не хочешь меня впустить?

— Нет! — отрезала матушка.

Но он отстранил ее и вошел. Она опять попыталась загородить ему дорогу.

— Не глупи, Ида! — неловко пробормотал он, подталкивая ее перед собой, как паровой каток.

Беседа брата и сестры в комнате Пауля Шурига велась достаточно громко. Я сидел на кухне и слышал, как они кричали. Это был исполненный страсти дуэт-перебранка, в котором разгневанный голос матушки получал все больший перевес. Уходя, дядя утирал лоб своим большим носовым платком. Однако было заметно, что он чувствует облегчение. В двери он остановился и сказал:

— А у вас тут хорошо!

И ушел.

— Он извинился,— сказала матушка.— Просил нас все это забыть и бывать у них по-прежнему.

Она подошла к кухонному окну и выглянула наружу. Дядя внизу как раз садился на козлы, он освободил тормоз, подобрал вожжи, прищелкнул языком и укатил.

— Как ты считаешь,— спросила матушка,— забудем?

— Да уж, забудем,— сказал я.

— Ну и хорошо,— сказала она.— Наверное, это самое правильное. Как-никак он брат мне.

И все снова пошло по-старому. Я снова смотрел с садовой ограды на площадь Альберта, снова пил в беседке кофе и снова носил крупные суммы в банк. Портфель, в котором я таскал денежные купюры и чеки, становился раз от разу все толще, и старик садовник говорил мне: «Хотел бы я знать, что он с того имеет!



Больше одного шницеля он все равно не съест. Больше одной шляпы на голову все равно не наденет. А в могиле на что ему деньги? Черви его и так съедят, за дарма». — «Это все честолюбие», — утверждал я. Садовник скривил лицо: «Честолюбие! Даже слышать не хочу! Да он в собственной вилле живет, как последний бродяга-ночлежник. Он даже не знает, что у него при вилле сад имеется. В жизни отгульного дня себе не брал. Нет, он не успокоится, пока не будет лежать в земле и из него лопух не вырастет». — «Вы что-то много говорите о смерти», — заметил я. Он швырнул окурок сигары на грядку, размельчил его лопатой и сказал: «Ничего удивительного. Я всю жизнь был кладбищенским садовником».

Конечно, он был прав. Что могло быть нелепей жизни дяди Франца и тети Лины? Им некогда былодохнуть. Некогда было полюбоваться цветами в собственном саду. Они только богатели. Но ради чего? Однажды доктор предписал тете курс лечения в Бад-Эльстере. Не прошло и десяти дней, как она вернулась. Она места себе там не находила, ей мерещились хворые лошади и дутые векселя. В каникулы Дора ездила и путешествовала с матушкой и со мной, причем дядя считал это

пустым баловством. «Разве мы детьми ездили на море? — раздраженно спрашивал он. — Какие-то все новомодные фокусы!» И когда в пятнадцать лет подошла пора отдавать Дору в пансион, он отправил ее отнюдь не в Лозанну, Женеву или Гренобль, а в Гернгут в Саксонии, в закрытое учебное заведение для девиц при Гернгутской общине, где девочек держали в такой строгости и благочестии, что бедняжка вернулась оттуда совсем бледненькая, исчахшая и запуганная.

Двадцати лет она вышла замуж за дельца, который понравился дяде Францу, и умерла в первых же родах, произведя на свет мальчика. Его окрестили Францем и воспитывали дед с бабкой. Инфляция их разорила. Однако дядя Франц не сдался. Он еще раз составил себе состояние. Но тут ему пришел конец. Он рухнул, как подрубленное под корень дерево, чтобы уже не подняться. Денег он оставил достаточно, так что тетя Лина могла по-прежнему жить на вилле и вместе с Фридой хорошо воспитывать внука. Внука с белокурыми кудрями и голубыми глазами, до самой смерти напоминавшего ей Дору!

Не до ее смерти, а до его смерти. Студент-медик и лекарский помощник, он погиб в 1945 году, незадолго до разгрома, при отступлении из Венгрии, оставив молодую жену и маленького белокурого и голубоглазого сына, напоминавшего тете теперь уже две пары навсегда закрывшихся голубых глаз. Но тут умерла и сама тетя Лина.

Изменило бы что-либо, если б, скажем, в 1910 году ночью в скором поезде, идущем в Голландию, сосед по купе сказал дяде Францу: «Простите, что я вас тревожу, господин Августин, но я архангел Михаил, и мне велено вам передать, что вы очень неправильно поступаете!» В самом деле, изменило бы это что-либо? «Я попросил бы вас оставить меня в покое!» — буркнул бы дядя Франц. И если б его визави вздумал настаивать, что поручение его чрезвычайно важно и он действительно архангел Михаил, дядя Франц только надвинул бы котелок на глаза и сказал: «По мне, можете быть хоть самым господом богом!»

Глава четырнадцатая

ДВА ГОСПОДИНА ЛЕМАНА

После первых четырех лет учения чуть ли не половина моих одноклассников распрощались со школой, исчезли с Тикштрассе и после пасхи, гордые, в разноцветных фуражках, вынырнули вновь уже в шестых классах классических и реальных гимназий, высших реальных и просто реальных училищ. Это была отнюдь не лучшая половина, но самые глупые среди них так о себе воображали. А мы, хоть и застряли на Тикштрассе, по умственному своему развитию никак не остались позади. И те и другие понимали, что вопрос «гимназия или нет» решался не нами, а отцовским кошельком. Это было решением не с того конца. И в детском сердце оно неизбежно оставляло осадок горечи. Жизнь несправедлива и не ждала конфирмации, чтобы нам это показать.

Поскольку из параллельного класса тоже много мальчиков ушло в страну цветных гимназических фуражек, остатки двух классов слили в один. Нашего нового учителя, которому предшествовала грозная слава, звали Леман. Нам сообщили, что у него за год проходят больше, чем у других учителей за два, и сообщения эти, как мы вскоре убедились, не были преувеличены. Кроме того, нам рассказали, что каждую неделю он расходует одну камышовую трость, и эти рассказы тоже примерно подтвердились. Мы тряслись еще до того, как его узнали, а узнав и узнавая все лучше, тряслись еще больше. Он учил нас так, что у нас пухли головы и зады!

Учитель Леман не шутил и не понимал шуток. Он до потери сознания загружал нас домашними заданиями. Потчевал нас таким обилием учебного материала, диктантами и контрольными, что даже самые бойкие и лучшие ученики начинали нервничать. Когда он входил в класс и невозмутимо говорил: «Достаньте тетради!», каждый рад был бы забиться в мышиную нору. Только где ее было взять, да еще на тридцать мальчиков. А то, что он расходовал по трости в неделю, оказалось верно лишь наполовину: он расходовал две.

Не было дня, чтобы господин Леман не выходил из себя. Его выводили из себя ленивые ученики, дерзкие ученики, глупые ученики, молчащие ученики, трусливые ученики, упрямые ученики, запинаящиеся ученики, хнычущие ученики, отчаявшиеся ученики. А кто из нас вре-

мя от времени не бывал тем или другим? Так что у гнева учителя Лемана был широкий выбор.

Он раздавал нам пощечины, от которых вздувались щеки. Брал трость, приказывал нам протянуть руку и хлестал пять или десять раз по открытой ладони, пока она не становилась багрово-красной, не вспухала, как тесто, и не начинала зверски болеть. А затем, поскольку у человека с самого детства две руки, наступала очередь второй. Кто со страху сжимал руку, того он бил по пальцам и костяшкам. Он приказывал шестерке учеников лечь друг подле друга на первый ряд парт и обрабатывал шесть поджатых задов в справедливом чередовании и быстрой последовательности, пока ужасающий шестиголосый мальчишеский хор не оглашал воздух и все остальные не зажимали себе уши. Кто у доски слишком долго думал, того он бил по икрам и подколенкам, а кто поворачивался лицом, тому доставалось еще больней. Иногда камышовая трость расщеплялась вдоль. Иногда раскалывалась поперек. Куски со свистом пролетали по воздуху и мимо наших голов. Тогда до перемены сыпались оплеухи. Руки Лемана на куски не разлетались! А к другому уроку он приносил новую трость.

Тогда встречались учителя, сладострастно выбиравшие трость у швейцара, как знатоки-курильщики сигару. Находились и такие, которые перед наказанием вымачивали трость в умывальнике, чтобы было больней. Это были негодяи, которым доставляло удовольствие пороть. Учитель Леман к этой пакостной разновидности скотов не относился. Он был менее зауряден, но куда более опасен. Он дрался не потому, что хотел насладиться нашей болью. Он дрался, доведенный до отчаяния. Он не понимал, как это мы не понимаем того, что понимает он. До него не доходило, что его объяснения могут до нас не дойти. Вот что приводило его в бешенство. Вот отчего он терял голову и самообладание и кидался на всех как помешанный. Временами класс походил на сумасшедший дом.

Родители беспрестанно бегали к директору с жалобами, угрожали, плакали. Они приносили врачебные свидетельства, где говорилось о телесных и душевных травмах, нанесенных тому или другому мальчику. Предупреждали, что будут через суд требовать денежного возмещения. Директор ломал руки. Все это он и сам знал, задолго до нас и наших родителей. Он давал обе-

щение серьезно побеседовать с коллегой. И всякий раз директор заканчивал разговор одной и той же фразой: «Это просто ужасно, ведь, по существу, он наш лучший учитель». Но это, конечно, было неверно.

Господин Леман был человеком знающим, человеком старательным, человеком толковым, который хотел сделать из нас знающих, старательных и толковых учеников. Цель была прекрасна. А путь к ней отвратителен. Знающий, старательный, толковый человек был не только не лучшим, а никаким не учителем. Ему недоставало главной добродетели воспитателя — терпения. Я имею в виду не то терпение, что граничит с равнодушием и ведет к рутине, а другое, настоящее терпение, слагающееся из понимания, юмора и твердости. Он был не учителем, а укротителем с пистолетом и хлыстом. И превратил классную комнату в клетку с хищными зверями.

Когда он не стоял в клетке перед тридцатью молодыми и ленивыми, скрытными и упрямыми хищниками, он был другим человеком. Тогда обнаруживался истинный господин Леман, и в один прекрасный день мне привелось с ним познакомиться. Этот прекрасный день мы провели вместе, до самого вечера. Тогда уж стало ясно, что за целый год до конфирмации трое его учеников ускользнут от нагоняющей страх камышовой трости: Иоганнес Мюллер, мой лучший друг Ганс Людвиг и я сам.

Мы с честью и даже блеском выдержали приемные испытания на подготовительное отделение в учительскую семинарию. Господа профессора явно поражались нашим знаниям. Они не ведали, какому укротителю мы были обязаны своими курбетами, и потому их похвалы обращались не по адресу: к питомцам вместо дрессировщика. Тем не менее и он, видимо, гордился результатами, и с тех пор его трость обходила нас троих.

Как-то во время большой перемены он на школьном дворе подошел ко мне и небрежно спросил:

— Хочешь в воскресенье поехать со мной в Саксонскую Швейцарию?

Я опешил.

— Мы к вечеру вернемся, — пояснил он. — Кланяйся родителям и спроси у них разрешения! Встретимся ровно в восемь в купольном зале главного вокзала.

— С удовольствием, — смущенно ответил я.

- И захвати тапочки!
- Тапочки?
- Мы немного полазаем.
- Полазаем?
- Да, по скальным столбам. Это неопасно.

Он кивнул мне, откусил от своего бутерброда и отошел. Дети расступались перед ним, словно перед ледоколом.

— Чего он хотел? — спросил мой друг Людвиг. И, когда я ему рассказал, покачал головой, потом усмехнулся: — Ничего себе! У тебя в рюкзаке тапочки, а у него — трость!

Ползли ли вы когда-нибудь вверх по более или менее отвесной песчаниковой скале? Как муха по обоям? Прижимаясь к стенке. Цепляясь пальцами рук и носками ног за узкие желобки и бороздки. Нашаривая над собой следующий карнизик или выступ. Ваша левая рука нашла новую точку опоры, и вы начинаете подтягивать левую ногу, пока носком не нащупаете новый бугорок. Затем, перенеся вес на левую половину тела, повторяете тот же маневр с правой рукой и с правой ногой. Сантиметр за сантиметром вы карабкаетесь все выше, метров на десять — пятнадцать, пока на выступе скалы не найдете наконец место и время передохнуть. А затем с таким же самообладанием и осторожностью опять лезете вверх на следующую отвесную стенку. Вы этого никогда еще не пробовали? Так я предостерегаю любопытных.

На самой вершинке, где уцепилась крохотная кривая сосна, мы отдыхали. Долина Эльбы раскинулась перед нами в пронизанной солнцем дымке. Призрачно-причудливые скалы, циклопы с чудовищными головами великанов, выстроились, словно стража, на горизонте. Пекло немилосердно. Где-то в долине лежали наши башмаки, куртки и рюкзаки. И туда нам предстояло спуститься, мне было себя искренне жаль.

Хотя учитель Леман, чего я раньше не подозревал, был мастером по лазанию и знал окрестные скалы как свои пять пальцев, все наперечет, а кроме того, помогал мне тактическими указаниями и раза два связывался со мной веревкой, все же, если не считать перехода по уютному карнизу, я ничего хорошего не нашел в таком лазании по фасадам на лоне природы. Страх, который я испытывал, не доставлял мне ни малейшего удоволь-

ствия. И даже вид с вершины, как ни был он великолепен, не так уж меня радовал. Втайне я все время думал об обратном пути и опасался, что он будет еще тяжелее подъема. Я не ошибся.

Комнатным мухам, во всяком случае, на вертикальной стенке приходится лучше, чем людям, в особенности при спуске. Они спускаются головой вперед. А человек этого не может. Даже когда он ползет вниз по отвесной скале, голова у него поднята кверху. И все внимание его перенесено на ноги, которые слепо сантиметр за сантиметром нащупывают путь вниз и ищут следующей опоры. И когда этот следующий узкий выступ из рыхлого, выветренного песчаника под тобой осыпается и нога повисает в воздухе, у тебя на миг, к счастью только на миг, останавливается сердце. В такие мгновения глаза невольно хотят помочь ноге, и тебе грозит опасность опустить голову. Последнее весьма не рекомендуется.

И по сей день помню, что со мной случилось, когда я взглянул вдоль отвесной стены вниз. Прямо подо мной на огромной глубине, крохотные, будто игрушечные, лежали наши куртки и рюкзаки на тонюсенькой ниточке дороги, и я в ужасе зажмурился. Голова пошла кругом. В ушах поднялся звон. Сердце остановилось. Наконец оно вспомнило о своих обязанностях и снова заработало. Что я все же спустился к нашим рюкзакам жив и невредим, видно, в частности, из того, что сейчас, в 1957 году, я об этом рассказываю. Утверждать, что моя жизнь тогда висела на волоске, не вполне соответствовало бы действительности. И волоска никакого не было.

Когда мы у подножия скалы переобулись и надели куртки, господин Леман показал мне по карте, на какие вершины он еще не взбирался. Таких было раз, два и обчелся. Здесь риск слишком велик, пояснил он, нельзя играть жизнью. Мы вскинули на плечи рюкзаки.

— А обычно,— спросил я,— вы странствуете всегда один?

Он попытался улыбнулся. Это далось ему нелегко, у него не было навыка.

— Да,— подтвердил он,— я одинокий странник.

Вторая половина дня прошла куда приятней. Тапочки оставались в рюкзаке. Скалы не представляли более гимнастических снарядов, а были первозданными отло-

жениями мелового периода, диловинными свидетелями того, что у нас под ногами древнее морское дно, бесчисленные тысячелетия назад поднявшееся к свету. Об этом рассказали отпечатки ракушек в песчанике. Скалы хранили увлекательнейшие истории о воде, льдах и огне, и учитель Леман умел к ним прислушиваться. Он разбирал говоры птиц. Изучил следы зверей. Показал мне фонарики со спорами мха в маленьких остроконечных колпачках, которые потом отлетают. Он знал все травы по именам, и, полдничая на лугу, мы восхищались их зеленым многообразием и нежным цветением. Природа раскрывалась перед ним, как книга, и он читал мне из нее вслух.

На борту колесного пароходика, спустившегося из Боденбаха-Дечина, на котором мы преудобно поплыли домой, он листал книгу истории. Рассказал о Богемии, стране чехов, где всего час назад стоял на причале наш пароход, о короле Оттокаре и Карле IV, о гуситах¹, о злосчастных религиозных войнах, о гибельном и роковом соперничестве Пруссии и Австрии, о младочехах и грозящем распаде Дунайской монархии². Европа вновь и вновь пытается с собой покончить, с грустью сказал он. А тех, кто знает нечто лучшее, обзывают зазнайками. Поэтому горячий план Европы истребить самое себя когда-нибудь да удастся. Он показал на Дрезден: возникшие перед нами башни горели золотом в вечернем солнце. «Там лежит Европа!» — тихо произнес он.

Когда я на мосту Августа благодарил его за чудесно проведенный день, он снова попытался улыбнуться, и на сей раз это ему почти удалось.

— Из меня бы вышел неплохой домашний учитель, — сказал он. — Воспитатель и гувернер для трех-четырех детей. С ними бы я сладил. Но тридцать учеников — это на двадцать пять больше, чем мне нужно, — затем повернулся и пошел.

Я смотрел ему вслед.

Вдруг он замедлил шаг и воротился обратно.

¹ Оттокар, Пржемысл II — чешский король (XIII век), сыгравший важную роль в национальной истории. Карл IV — под этим именем вступил на престол Священной Римской империи чешский король Карл I (1346—1378). При нем Прага стала столицей империи. Гуситы — участники национально-освободительного и антикатолического движения в Чехии в XV веке.

² Дунайская монархия — Австро-Венгрия, в состав которой входила Чехия.

— Мы напрасно поднимались на скалу,— сказал он.— Я больше боялся за тебя, чем ты сам.

— Все-таки мы чудесно провели день, господин Леман!

— Если так, очень рад, мой мальчик.

И пошел, уже не оборачиваясь. Одиноким странник. Ушел один. Он и квартировал один. И жил один. И у него было на двадцать пять учеников больше, чем нужно.

Глава пятнадцатая

МАТУШКА НА СУШЕ И НА МОРЕ

И снова — раз уж зашла речь о скалах, реке и лугах — я хочу приложить фанфару к губам и протрубить хвалу моей матери так громогласно, чтобы отозвались горы. Со всех концов земли отвечает эхо, и кажется, будто сотни валторн и труб подхватывают мой гимн в честь фрау Кестнер. И вот уже включаются в концерт ручьи и водопады, гуси на деревенских улицах, молоты перед кузницами, пчелы в клевере, коровы на косогоре, мельничные колеса и лесопилки, гром над долиной, петухи на навозных кучах и церковных шпилях и под вечер бьющие в кружки струи пива в трактирах. Утки в лужах, крикая, аплодируют, лягушки квакают браво, кукушка-похвальбишка издали знает выкрикивает свое имя. Даже впряженные в плуг лошади, отрываясь от пахоты, вскидывают головы и звонким ржанием желают неравной парочке на проселке счастливого пути.

Кто же эти двое, что, коричневые от загара, с песнями разгуливают по всей стране? Что, ни дать ни взять два подмастерья, поочередно пьют из булькающей фляги? Что, забравшись высоко над холмами и долами, на привале едят к завтраку крутые яйца и на сладкое пожирают глазами чарующую панораму? Что, не глядя на дождь и ветер, в пелеринах и капюшонах, упрямые и неунывающие, шагают по лесу? Что вечером за столом деревенской гостиницы хлебают горячий суп и затем с приятной усталостью валяются на клетчатые крестьянские перины?

Ради меня фрау Кестнер полюбила пешеходные путешествия и взялась за это полезное для души и тела занятие своевременно и всерьез. Так, например, когда мне было еще восемь лет, она, к удивлению своей портнихи, заказала ей непромокаемый костюм из осо-



бого, неваленого, зеленого сукна. Купить костюм в магазине обошлось бы намного дешевле, но в магазинах таких костюмов не продавали. Женщины тогда не путешествовали пешком, такой моды еще не завелось. Юбка, согласно тогдашним требованиям, доходила ей почти до щиколоток! Модистка фрау Венер по матушкиным указаниям соорудила ей из того же непромокаемого сукна широкополую зеленую шляпу, намертво прикреплявшуюся к шиньону двумя раздвоенными, как вилки, патентованными шляпными булавками. Заказу этому немало удивилась и фрау Венер. Затем были приобретены две зеленые дождевые пелерины. Отец, который давно отвык удивляться, с истым рвением изготовил в своей подвальной мастерской два нервущихся рюкзака, меньший предназначался мне. Так что вскоре мы были наилучшим и наизеленейшим образом экипированы.

Ничего не было забыто. Все необходимое матушка заготовила: два альпенштока с железными наконечниками, дорожная фляга, банки под масло и колбасу, яйца, соль, сахар и перец, кастрюля для гороховой кол-

басы Кнорра и супов магги, спиртовка и два легких прибора. К крепким башмакам полагалась банка с жиром, и лишь один-единственный раз на пикнике где-то в Лужицких горах ее перепутали с банкой масла. Достаточно было только надкусить бутерброд, чтобы нам стало ясно: сапожной мазью мазать хлеб не рекомендуется. Правда, говорят, о вкусах не спорят. Но на вопрос о том, причислять ли сапожную мазь к гастрономическим продуктам, может быть лишь один ответ. Во всяком случае, это мое вполне обоснованное с тех пор мнение. И противоположные утверждения я вынужден был бы категорически отвергнуть.

Мы были целиком и полностью готовы к странствиям, нам оставалось только научиться странствовать. Наши годы странствий стали годами учения. Вначале мы, например, верили, что даже на перепутье человек всегда выберет правильный путь, ведущий к правильной цели. Но после того как мы неоднократно через пять, даже шесть часов, совершенно ошарашенные, попадали туда, откуда утром вышли в дорогу, мы начали сомневаться в инстинкте европейцев. Нет, до индейцев нам было далеко. Ничего у нас не выходило, и когда мы пробовали определять направление по солнцу. Особенно если из-за леса или облаков его не было видно!

Поэтому мы взяли себе за правило не кидаться очертя голову в путь, а сверяться с обзорными и крупномасштабными картами, что со временем привело нас к почти безошибочным результатам. Волдыри на ногах, одышку и боль в пояснице мы быстро одолели. Мы не сдавались. Шаг за шагом мы шли вперед. И наконец постигли все тонкости пешеходных странствий. Отмахивали за день сорок, даже пятьдесят километров, не очень даже уставая, и обошли таким манером всю Тюрингию, Саксонию, Богемию и частично Силезию. Мы медленным шагом всходили на горы высотой в 1200 метров и, без сомнения, одолели б куда более высокие вершины, если бы таковые имелись. Где нам особенно нравилось, мы разрешали себе дневку и лодырничали, мурлыча, как кошки. А затем продолжали путь неделю, а то и две, иногда с моей двоюродной сестрой Дорой, но большей частью и чуть ли не охотнее без нее. Длиннейшие переходы были для наших ученых теперь ног прогулками. В наших отношениях с природой исчезла напряженность. Реки, ветер, облака и мы жили в едином ритме. Это было изумительно. И здорово к тому же. С ног до голо-

вы и с головы до ног. *Mens sana in corpore sana*¹, как говорим мы, латинисты.

Так мы покорили Тюрингский лес и Лужицкие горы, Саксонскую Швейцарию и Богемское среднегорье, Рудные горы и Изер² и при этом пели: «О доли, о вершины, зеленый лес — краса!»³. От Иешкена⁴ до Фихтельберга и от Росстраппе до Миллешауера мы поднялись на все вершины и вершинки. На нашем пути лежали развалины и монастыри, замки и музеи, соборы и дворцы, церкви, посещаемые паломниками, и сады в стиле рококо, и все это мы торжественно обозревали. А затем парикмахерша в зеленом непромокаемом сукне и ее сын продолжали свой путь вдоль и поперек по стране. Иногда я брал с собой украшенную яркими лентами лютню, тогда пелось еще лучше. «Там в городе, обманут, хлопочет мир дельцов», — пели мы, и господин фон Эйхендорф, сочинивший эту песнь, поразился бы, глядя на нас, если б давно не умер. Двух более счастливых наследников романтизма он вряд ли бы сыскал.

По-видимому, такого или сходного мнения оказался также другой господин, еще здравствующий. Мы с матушкой после многодневного странствия по Саксонской Швейцарии зашли в «Линковы купальни», сад-ресторан на берегу Эльбы, прославившийся благодаря советнику апелляционного суда Э. Т. А. Гофману⁵, тоже романтику, коллеге Эйхендорфа. До Кенигсбрюкерштрассе было рукой подать, но нам хотелось пить и еще не хотелось домой. Поэтому мы не спешили, пили прохладный лимонад, а когда рассчитались с официанткой, так и покатались со смеху. Весь наш капитал, сколько мы ни рылись в кошельке, составляла одна-единственная монета — медный пфенниг! И это в «Золотом горшке!» (Последнее замечание предназначается только людям начитанным.)

Господин за соседним столом пожелал узнать причину столь бурного веселья. И когда мы ему объяснили,

¹ В здоровом теле — здоровый дух (лат.).

² И з е р — теперь Йизерские горы в ЧССР.

³ Здесь и ниже — строки из стихотворения «Прощание» немецкого поэта Йозефа фон Эйхендорфа (1788—1875).

⁴ И е ш к е н — теперь гора Ештед в ЧССР.

⁵ Э р н с т Т е о д о р А м а д е й Г о ф м а н (1776—1822) — великий немецкий писатель-романтик. «Линковы купальни» упоминаются в его повести «Золотой горшок».

он сделал матушке предложение по всей форме. Господин рассказал, что он немец, разбогател в Соединенных Штатах и подыскивает себе туда жену. Матушка, как он сразу понял, именно то, что ему нужно, и, если к такому счастливому приобретению он получит в придачумышленного и забавного сынка, это будет необыкновенной удачей. Наш безудержный смех, вместо того чтобы охладить его пыл, лишь подогревал его. Наличие мужа и отца нисколько его не смущало. Такие вещи при больших деньгах и некоторой доброй воле решаются очень просто, самонадеянно утверждал он. Что бы мы ему ни говорили, намерение его жениться на нас обоих и увезти в Америку было непоколебимым. И в конце концов нам оставался лишь один выход — бежать. Бывалые путешественники, мы были лучшие ходоки, чем он. Американец скоро потерял нас из виду, и нам удалось спастись и сохранить себя для Германской империи.

Если бы мы с матушкой не умели так быстро бегать, то, может быть, я был бы сейчас американским писателем или, если учесть мое знание немецкого с колыбели, главным представителем кока-колы, Крайслера или Парамаунта в земле Северный Рейн-Вестфалия или Баварии! И в 1917 году мне не пришлось бы стоять на часах в постовой будке как раз напротив только что упомянутого ресторана «Линковы купальни». Но вместо того я, может, был бы американским солдатом! Потому что в этом безумном мире, как быстро и как далеко ни бегай, где-нибудь тебя уж непременно забреют в солдаты! Впрочем, это к делу не относится.

Отец был едва ли не более придирчивой хозяйкой, чем матушка. Перед нашим возвращением из дебрей отец начинал расходовать ядровое мыло, соду и мастику для пола в несметном количестве. Как безумный бросался он с веником, половой тряпкой, щеткой, замшей, скоблить, мыть, чистить, натирать нашу квартиру. Гонялся за каждой пылинкой. И громыхал до поздней ночи. Днем он работал на чемоданной фабрике и не мог наводить красоту в комнатах. Грюцнеры и Стефаны, жившие с нами стенка в стенку, не могли уснуть и говорили: «Ага, наши два путешественника возвращаются завтра!»

И всякий раз повторялось то же самое. Мы входили в коридор и вдруг казались себе вдвое более пыльными и грязными, чем были на самом деле. Дверные ручки, плита, печные дверцы горели как жар. Оконные

стекла сверкали безукоризненной чистотой. В линолеум при желании можно было глядеться, как в зеркало. Но мы отнюдь не желали. Мы знали и без того, что похожи на бродяг. И тут оставалось одно — нырнуть в ванну.

Едва мы начинали сколько-нибудь походить на цивилизованных горожан, меня отряжали герольдом, и я обходил улицы, возвещая клиенткам, что парикмахерша Ида Кестнер возвратилась с каникул и жаждет женских голов. А в следующие дни шла усиленная прическа, завивка, массаж голов и головомойка, покуда все торговки и продавщицы за прилавками опять не становились как новенькие. Они оставались верны своей парикмахерше. Однажды даже, из-за того что мы путешествовали, была отложена свадьба. На этом настояла невеста, продавщица в лавке потребительского общества.

Вечером, в день нашего приезда, отец, убрав велосипед в подвал, входил в кухню и с удовлетворением говорил: «Ну, вот вы и дома!» Больше он ничего не говорил, да больше и не требовалось. Зато наперебой рассказывали мы.

Как правило, из-за матушкиной клиентуры наши бродяжничества больше двух недель не длились. Но летние каникулы длились дольше. И мы проводили полдня, а бывало, и целые дни из оставшихся каникул на лесных прудах поблизости от Дрездена или в купальне короля Фридриха-Августа в Клоцше-Кенигсвальде. Хотя мне ровно ничего не дали ни уроки плавания на удочке под глупейшие команды, ни барахтанье с пробковым поясом вокруг живота, я мало-помалу, самоучкой, стал довольно приличным пловцом.

Матушка, конечно, не могла смириться с тем, чтобы с берега или из лягушатника в полной беспомощности следить за моим только и выступавшим из воды чубом, и решила научиться плавать. Знаете, как тогда выглядели дамские купальные костюмы? Нет? Ваше счастье! Они походили на мешки из-под картошки, только что были пестрые и с длинными штанами. И вместо плотно прилегающих купальных шапочек женский пол носил пышные поварские колпаки из красной резины. Глядя на это, сердце обливало кровью.

В таком клоунском и неудобном костюме матушка опустилась в струи Вейксдорфского пруда, легла плашмя на водную гладь, сделала несколько энергичных движений, раскрыла рот, чтобы что-то сказать, и пошла ко

дну! Что она собиралась сказать, не знаю, но, конечно, совсем не то, что она спустя несколько секунд, яростно вынырнув, произнесла на самом деле. Сыновний долг и приличия не велят мне повторять ее слова. Грядущие поколения примерно представляют себе, что было сказано. А грядущие поколения, как известно, всегда правы. Одно лишь твердо установлено: не приводимые здесь заявления были сделаны уже после того, как матушка выплюнула порядочную долю идиллически расположенного в лесу пруда и, поддерживаемая мною, шатаясь, пошла к берегу.

Дальнейших попыток плавать матушка не предпринимала. Стихия, о которой говорят: «на воде ноги тонки», ей не покорилась. Пусть пеняет на себя. Последнее с самого начала было ясно всем, кто коротко знал матушку. В своей жизни она справлялась и не с такими элементами! Вода не повинуетя? Ида Кестнер перестала здороваться с ней.

В купальне короля Фридриха-Августа, помимо украшенной саксонской короной кабины для монаршего переодевания, которой король, впрочем, редко пользовался и которая при большом наплыве посетителей за небольшую доплату сдавалась и не королевским особам, существовала долгие годы еще одна не меньшая достопримечательность. Господин Мюллер. Несмотря на свою фамилию, родом из Швеции, он был изобретателем гимнастики на открытом воздухе, которую в свою честь окрестил «мюллеровской» с производным отсюда глаголом: «мюллерить». Господин Мюллер носил маленькие черные усики и маленькие белые плавки, был атлетически сложен, с головы до пят покрыт бронзовым загаром, и в наше время, сохранись он в тогдашней своей форме, непременно был бы избран «мистером Универсумом».

Господин Мюллер был бесспорно самым красивым мужчиной девятнадцатого столетия. При всей своей скандинавской скромности это считал даже он сам. Мужская купальня — купальни были строжайшим образом друг от друга отделены, и встретиться со своей матушкой можно было только в «ресторане» (о тюрингские жареные сардельки с картофельным салатом!), — мужская купальня безоговорочно разделяла мнение господина Мюллера о господине Мюллере, и так как гимнастика среди зелени, по-видимому, являлась прекрасным косме-

тическим средством, все мы, мужчины, с восторгом и надеждой «мюллерили». У меня сохранилась фотография, где мы запечатлены в купальных костюмах и выстроены друг за дружкой. Господин Мюллер замыкает ряд. А я стою первым. Уже почти такой же красавец, как наш швед. Только без усов и значительно меньше ростом.

Что дамская купальня не хотела да и не могла восхищаться шведом меньше нашего, понятно само собой. В качестве изобретателя и инструктора господин Мюллер был единственным мужчиной, допущенным в женский рай, и дрезденские дамы «мюллерили», облаченные в некие воздушные сорочки, так, что сотрясалась вся лужайка. Тем не менее швед оставался красавцем, и, когда ему удавалось вырваться от дочерей и матерей Евы, он ради отдыха делал гимнастику с нами, мужчинами.

С плаванием матушка рассорилась. А вот с велосипедом поладила. Тетя Лина подарила Доре велосипед. Я научился ездить на отцовской машине. И так как возникла мысль, что велосипедными поездками можно будет внести большее разнообразие в программу каникул, матушка приобрела себе у Зейделя и Наумана новешенький, прямо с фабрики, дамский велосипед и тут же, исполненная любопытства, на него села. Отец держал велосипед за седло, бежал возле своей описывающей зигзаги супруги и, запыхавшись, подавал советы. Не только он, но и успех сопутствовал этим попыткам, поэтому ничто вроде бы не препятствовало нашим велосипедным экскурсиям. Отец одолжил мне свой, опустив седло возможно ниже, и пожелал нам удачи.

Удача всегда может сгодиться. Ровная дорога и легкие подъемы не представляли достойных упоминания трудностей, а от моста Мордгрунд до Вейсен Хирш, где дорога очень круто идет в гору, мы велосипеды вели. Потом снова сели на свои машины, покатали в Бюлау и свернули в лес. Мы собирались на Улерсдорфской мельнице выпить кофе с ватрушками. Или с айершеке (айершеке — это саксонское пирожное, которое, к несчастью человечества, совершенно неизвестно на остальной части нашей планеты). А может, мы собирались полакомиться и тем и другим — айершеке и ватрушками, — что мы затем и сделали, кроме матушки, которая сидела мрачная и пила настой ромашки. Почти у цели и прямо напротив мельницы она въехала в чей-то палисадник. При этом палисадник и безрассудно смелая велосипедистка слегка пострадали. Матушка не столько ушиблась, сколько испуга-

лась, но это отбило у нее охоту к кофе и вкус к ватрушкам. Спускаясь с горы, она забыла притормозить и не могла этого простить ни себе, ни тормозу.

Что сперва представлялось случаем, невезением и простой неопытностью, со временем оказалось законом. Матушка неизменно забывала нажимать на тормоз! Лишь только дорога шла под гору, она вырывалась вперед, словно гонщики на велогонке вокруг Франции, спускаясь с Пиренеев. Мы с Дорой мчались за ней, и, когда у подножия горы наконец ее настигали, матушка стояла возле велосипеда бледная и говорила: «Опять забыла!» Это становилось опасно для жизни.

От замка Августа она пролетела по крутой дороге вниз к Эрдмансдорфу так, что мы, дети, похолодели. Но и тут все обошлось благополучно. Видно, с ней, как на тандеме, ехал ангел-хранитель. Однако наши велосипедные прогулки все больше превращались из увеселительных в устрашающие. Такое могло привидеться в кошмаре. Иногда она посреди спуска соскакивала, и падал велосипед. Иногда заворачивала велосипед в канаву и падала сама. Кончалось всё всегда хорошо. Но ее и наши нервы были на пределе. Какой уж тут отдых и удовольствие! И вот мы навсегда расстались с колесами и колесили только на своих двоих. Дамский велосипед отправился в подвал, а мы, как раньше, отправлялись пешочком. Тут не было тормоза, о котором можно позабыть...

Все мы вздохнули с облегчением, когда эти устрашающие прогулки кончились, и к тому же кончились благополучно. Всех больше радовался отец. Велосипед снова вернулся в его распоряжение, и ему больше не надо было во время школьных каникул ездить на фабрику в трамвае.

Глава шестнадцатая

1914 ГОД

Я становился старше, а матушка не становилась моложе. Двоюродная сестра Дора рассталась со школой, а я стал подростком. Она начала высоко подкалывать волосы, а я начал презирать женщин, этих коротконогих каракатиц. Дора сохранила новую прическу, я же позднее отказался от своего нового мировоззрения. Но на несколько лет мы отделились друг от друга.

Лишь позже, когда я уже не был маленьким, наша дружба возобновилась; это было, когда она, давась от смеха, помогала мне переодеться девушкой. Я задумал разыграть преподавателей и семинаристов на вечере в учительской семинарии, и затея моя удалась на славу. Никогда уже впоследствии у меня не было такого числа почитателей, как в празднично украшенном гимнастическом зале учительской семинарии барона фон Флешера, куда я явился, наряженный девушкой-подростком! Лишь когда я со своей белокурой косой и в набитой ватой блузке подбежал к турнику и, подтянувшись, закружился так, что взлетела юбка, поклонники отстали. Впрочем, это к делу не относится.

Когда Дору конфирмировали, матушку пригласили ее опекать и вывозить, поскольку у тети Лины не было на это времени, и матушка неоднократно ездила с племянницей на Балтийское море. Курортное местечко называлось Мюриц¹, и они усердно присылали оттуда открытки с видами и групповые снимки, сделанные пляжным фотографом.

В отсутствие матушки я проводил свободные от школы часы на вилле возле площади Альберта. Вечером туда же с фабрики прикатывал на велосипеде отец. Мы ужинали с Фридой и тетей на кухне и шли домой, лишь когда нас выпроваживали. Дядя Франц лаконично заявлял, что все эти поездки дочери и сестры на Балтийское море — чистейший идиотизм. Однако тут тетя перед ним не пасовала. Если б дело касалось ее, она вряд ли выказала бы такую твердость. Но ради Доры она, в известных границах, могла быть мужественной. Пауль Шуриг, учитель и жилец, не менее, чем я с отцом, чувствовал отсутствие в доме хозяйки. В доме недоставало женщины. А мне недоставало матери. Но когда мальчик становится подростком, он в этом ни за что не признается. Скорее язык проглотит.

Однако школьные каникулы по-прежнему посвящались мне, тут ничего не изменилось. Иногда к нам присоединялась и фрейлейн Дора в своей высокой прическе. Но достославные времена пешеходных путешествий в Богемию и ожесточенных сражений подушками перед сном в маленьких деревенских гостиничках безвозвратно канули в прошлое. Золотой век уступил место серебряному, тоже не лишенному своего блеска.

¹ Теперь Остзебад-Граль-Мюриц.

Матушке исполнилось сорок, а тогда в сорок лет люди были намного старше, чем в наши дни. Сейчас и молодость удлинилась. И жизнь удлинилась. И люди удлинились. Прогресс человечества, по-видимому, происходит в длину. Это довольно-таки односторонний рост, как приходится признать и ежедневно убеждаешься. Длиннейшая плотина, длиннейшая воздушная линия, длиннейшая жизнь, длиннейшая торговая улица, длиннейшая рождественская коврижка, длиннейшие искусственные волокна, длиннейший фильм и длиннейшая конференция — тут может лопнуть человеческое «длиннотерпение».

Матушка становилась старше, и путешествия становились короче. Мы ограничивались однодневными вылазками, но и они дарили нам в избытке красоту и радость. В какую бы сторону света мы ни поехали на трамвае и на какой бы конечной станции ни вышли из вагона: в Пильнице или Вейнбёла, в Хайнсберге или Вейсиге, в Клоцше или Плауэншен Грунде — всюду мы оказывались на природе и были счастливы. С любым местным поездом можно было за полчаса так далеко уйти от большого города, словно ты находился в пути неделю. Велен, Кенигштейн, Кипсдорф, Лангебрюк, Росвейн, Готлейба, Тарандт, Фрейберг, Мейсен — где бы мы ни выходили, всюду был праздник. Семимильные сапоги не сказка.

Конечно, ступив за порог маленькой станции, мы должны были пользоваться уже собственными сапогами. Но ведь мы учились странствовать из первых рук. И нас ноги не подводили. Там, где отдыхающие горожане кряхтели и потели, мы прогуливались. Большой из двух рюкзаков нес теперь я! Так уж получилось. И матушка не возражала.

В летние каникулы 1914 года тетя Лина раскошелась. Она отправила не только матушку с Дорой, но и меня на Балтийское море. Это было мое первое большое путешествие, и вместо рюкзака я впервые нес два чемодана. Не могу сказать, чтобы такая замена доставила мне особое удовольствие. Терпеть не могу носить чемоданы. У меня при этом всегда жуткое ощущение, будто руки удлиняются, а на что мне длинные руки? Они достаточно длинны и так, даже мальчишкой я не желал, чтобы они у меня были длинней.

От Ангальтского до Штеттинского вокзала мы позволили себе нанять извозчицью пролетку «второго разряда», и, выглядывая из-за чемоданов, я впервые увидел ку-

сочек столицы империи Берлина. А проезжая через мекленбургские пшеничные поля и луга клевера, я из окна вагона в первый раз увидел край без гор и холмов. Горизонт казался вычерченным по линейке. Земля была плоская, как стол, и на ней паслись коровы. Вот уж где бы мне не хотелось путешествовать пешком!

Росток с его гаванью, судами, шлюпками, мачтами, доками и кранами понравился мне несравненно больше. А когда, выйдя на железнодорожной станции, носившей название Реверсхаген, мы пошли темно-зеленым бором, где нам дорогу перебежали олени и косули, а раз даже чета кабанов с выводком розовых пятнистых кабанят, я окончательно примирился с Северогерманской низменностью. Я впервые увидел растущий прямо в лесу можжевельник, и мне не оттягивали руки чемоданы. Мы сдали их возчику. Он обещал доставить их к вечеру в рыбацкий трактир в Восточном Мюрице. Ветер, колебавший вершины сосен, уже имел запах и вкус моря. Мир был другим, чем дома, и не менее прекрасен.

Час спустя, весь исцарапанный песчаным камышом, я уже стоял среди дюн и глядел на море. На это захватывающее дух бескрайнее зеркало бутылочного стекла с оттенками синего и в серебряных блесках. Глазам было страшно, но то был благоговейный страх, и их первый взгляд в беспредельное, которое само глаз не имеет, туманила слеза. Море было огромным и слепым, жутким и исполненным тайны. На дне его лежали затонувшие корабли и мертвые матросы с запутавшимися в волосах водорослями. И погрузившийся в волны город Винета лежал там внизу, город, по улицам которого плавают русалки и заглядывают в витрины шляпных и обувных магазинов, хотя вряд ли нуждаются в шляпках, а в обуви тем более. Далеко на горизонте показался дымок, потом труба и лишь вслед за тем пароход, потому что земля ведь круглая, и даже вода. Однообразно и мокро шлепались о берег отороченные белыми кружевами волны. Они выплевывали на берег радужных медуз, которые обращались на песке в бесцветный студень. Приносили глухо шумящие раковины и золотисто-желтый янтарь, где покоились, словно в стеклянных саркофагах, пролежавшие там десятки тысяч лет мухи и мошки, крохотные свидетели далекого прошлого.

Все это в качестве сувениров продавалось в киоске возле мола вместе со сливами, детскими совочками, резиновыми мячиками, соломенными шляпками и вчерашними газетами. С великим соприкасается смешное. Люди бежали из городов и сидели тут, перед лицом беспредельности, скученные еще тесней, чем в Гамбурге, Дрездене или Берлине. Горланя и обливаясь потом, все теснились на клочочке пляжа, будто в телячьем вагоне. Справа и слева пляж пустовал. Пустовали дюны. Леса и вересковая степь пустовали. На время каникул дома-казармы лежали у моря. У них не было крыш, что было хорошо. У них не было дверей, что было плохо. И соседи были новые, что для жаждущих новизны истинная находка. Люди походили на баранов и собирались стадом.

Мы ходили на пляж купаться и сидели на молу, когда стадо обедало или ужинало в своих пансионах. А в остальное время гуляли и делали вылазки, как у себя в Дрездене. Вдоль по берегу в Граль и Арендзе. В леса, мимо тлеющих угольных куч, к одиноким домикам лесников, где можно было получить свежее молоко и чернику. Мы брали напрокат велосипеды и как-то раз даже проехали через ростокскую вересковую степь в Варнемюнде, где человеческое стадо на курортном пастбище было еще куда многочисленнее, чем в Мюрице. Тут тысячи людей жарились на солнце, словно стадо закололи, разделали и оно лежало теперь на гигантской сковороде. Иногда они перевортывались. Как добровольные отбивные. На целых два километра стоял запах человеческого жаркого. Тогда мы повернули велосипеды и опять углубились в пустынную вересковую степь. (Здесь, в Мекленбурге, матушка наконец снова отважилась сесть на велосипед. Берег Балтийского моря не горист. Здесь проклятый тормоз излишен.)

Всего лучше было на море в звездные ночи. Над нами искрилось и мигало намного больше звезд, чем дома, и горели они ярче. Лунный свет лежал на воде, как серебряный половичок. Волны отбивали о берег свой извечный такт. С Гесера нам подмаргивал световой сигнал маяка. Это был привет из Дании, которую я тогда еще не знал. Мы сидели на молу. Столько было здесь для нас нового, и мы хранили молчание. Вдруг вдалеке зазвучала опереточная музыка и стала медленно приближаться. Украшенный разноцветными фонариками катер возвращался с очередной «незабываемой прогулки в открытое море

при луне». Он, раскачиваясь, привалил к оконечности мола. С катера сошло несколько десятков отдыхающих. Громко хохоча и разговаривая, они протопали мимо нашей скамейки. Вскоре смех затерялся за дюнами, и мы снова остались наедине с морем, луной и звездами.

1 августа 1914 года, в самый разгар счастливых каникул, германский кайзер отдал приказ о мобилизации. Смерть надела каску. Война схватилась за факел. Всадники Апокалипсиса¹ вывели коней из конюшни. И рок ткнул сапогом в европейский муравейник. Тут уже было не до прогулок при луне, и никто уже не расслаживался в своей пляжной кабинке. Все уложили чемоданы. Все хотели домой. И как можно скорей!

В один миг все повозки, вплоть до последней тачки, расхватили. Нам пришлось тащить наши чемоданы пешком через лес. На этот раз ни косули, ни кабаны не перебегали песчаной дороги. Они все попрятались. Целыми семьями, с детьми, чемоданами, тюками, корзинами поток людей устремился прочь. Мы бежали, будто спасаясь от землетрясения. И лес походил на зеленый вокзальный перрон, на котором теснятся и толкуются тысячи отъезжающих. Только бы уехать!

Поезд был переполнен. Все поезда были переполнены. В Берлине столпотворение. Первые резервисты уже маршировали с цветами и картонками в казармы. Они махали¹ и пели: «Победить хотим француза, храбро голову сложить!» Газетчики выкрикивали специальные выпуски. Приказ о мобилизации и последние известия были расклеены на всех углах, и каждый вступал с каждым в разговор. Муравейник взбудоражился, и полиция его регулировала.

На Ангальтском вокзале под парами стояли специальные поезда. Мы пропихнули матушку и чемоданы в окно купе и сами влезли следом. По пути нам навстречу шли воинские эшелоны, войска переправляли на восток. Солдаты размахивали транспарантами и пели: «Верна и незыблема стража стоит, стража на Рейне!» Курортные беженцы махали им. А Дора сказала: «Теперь папа будет продавать куда больше лошадей». Когда мы, потные и до смерти усталые, прибыли в Дрезден, мы как раз

¹ Всадники Апокалипсиса — три всадника: Голод, Чума и Смерть — из библейской книги «Апокалипсис», мистического пророчества о «конец света».

еще успели попрощаться с Паулем Шуригом. Ему тоже предстояло отправиться в казармы.

Началась мировая война, и кончилось мое детство.

И ПОД КОНЕЦ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Работа сделана, книга готова. Получилось ли у меня то, что я задумал, не знаю. Ни один человек, только что написавший слово «конец», не может знать, получился ли его замысел. Он еще слишком близко стоит к выстроенному дому. Ему недостает дистанции. А будет ли хорошо постояльцам в его словесной постройке, он тем более не знает. Я хотел рассказать, как жили маленькие мальчики полвека назад, и я это рассказал. Я хотел вытащить свое детство из царства воспоминаний на свет. Когда Орфей в Гадесе взял свою Эвридику за руку, ему заказано было на нее смотреть. Но заказано ли мне обратное? Должен ли я был только оглядываться назад и ни разу не взглянуть вперед? Но я бы этого все равно не смог, да вовсе к этому и не стремился.

Пока я сидел у окна и писал свою книжку, по саду проходили времена года и месяцы. Иногда они стучали в стекло, тогда я выходил из дому и беседовал с ними. Мы говорили о погоде. Времена года любят эту тему. Говорили о подснежниках и поздних заморозках, замерзшем крыжовнике и плохо распускающейся сирени, о розах и дожде. Всегда находилось, о чем поговорить.

Вчера в окно постучал август. Он был весел, немного поругивал июль — это повторяется почти каждый год — и очень торопился. Вытаскивая из грядки редиску, он раскритиковал мой бобовый цвет, тут нет его вины, и похвалил георгины и помидоры. Потом с аппетитом откусил большой кусок редиски и тут же выплюнул. Она совсем одревеснела. «Попробуйте другую!» — предложил я. Но он уже перескочил через забор, и я только услышал, как он крикнул: «Привет от меня сентябрю! Пусть меня не подводит!» — «Я передам ему!» — крикнул я ему вдогонку. Месяцы спешат. Годы — те вовсе бегут. А десятилетия мчатся. Лишь воспоминания могут терпеливо ждать. Особенно если мы с ними терпеливы.

Есть воспоминания, которые, будто клад в военное время, зарываешь так глубоко, что их и сам не отыщешь.

И есть воспоминания, которые, подобно счастливому медному грошику, всегда носишь с собой. Они ценны только нам. И тот, кому мы их с гордостью и тайком показываем, возможно, скажет: «Пф, грош! И вы такое бережете? Чего собирать медяки?» Между нашими воспоминаниями и чужими ушами всегда могут быть недоразумения. Я недавно в этом убедился, когда вечером вздумал прочесть на террасе своим четырем кошкам одну-две главки.

Впрочем, Анна, самая молоденькая, в черном фраке с белой манишкой, не стала долго слушать. Она еще не понимает читаемого вслух. Она забралась на ясень и усеялась в развилке ветвей, ни дать ни взять миниатюрный метрдотель, решивший выиграть дурацкое пари.

Пола, Буччи и Лолло слушали с несравненно большим терпением. Иногда они мурлыкали. Иногда зевали, к сожалению, не прикрываясь лапкой. Пола раза два почесала за ухом. А когда я, слегка нервничая, свернул рукопись и положил на стол, сказала: «Кусок с прачечной, развешиванием белья и бельевым катком у булочника Цише вам надо убрать».

«Это почему же?» — осведомился я. В голосе у меня явно прозвучало раздражение. Мне всегда был дорог весь ритуал превращения грязного белья в свежее, гладкое, благоухающее. Как часто помогал я матушке почти во всех работах! Бельевые веревки, бельевые защипки, бельевая корзина, солнце и ветер на сушильной площадке угольщика Вендта на Шенхофштрассе, опрыскивание простыней перед тем, как наворачивать их на скалку, визг и скрипение слоноподобного гладильного катка, отдача и ловля рукоятки — и я должен уничтожить весь этот белоснежный мир белья! И все из-за черной ангорской кошки?

«Пола совершенно права, — сказал Буччи, большой четырнадцатифунтовый седовласый кот, — уберите белое белье! Не то мы на него уляжемся, и вы будете ругаться». — «Или опять нас отстегаете за милую душу», — обиженно добавила Лолло, красавица персианка. «Это я вас стегаю за милую душу?» — возмутился я. «Нет, — отвечала Пола, — но вы всегда грозитесь, а это ничуть не лучше». — «Уберите вы это белоснежное белье!» — сказал Буччи и решительно заколотил хвостом по кирпичному полу террасы. «Не то опять выйдет неприятность, — пояснила Лолло, — как недавно из-за ваших новых белых рубашек. В конце концов, мы не виноваты, что дверцу шкафа оставили открытой и на улице шел дождь!»

«Ради всего святого! — воскликнул я. — Ведь есть же разница между настоящим и написанным бельем! Настоящие кошки, какими бы грязными они ни пришли с дождя, все же не могут улечься на написанное белье!» — «Это все казуистика», — бросила Пола и начала умываться. Лолло посмотрела на меня из глубины своих золотисто-желтых глаз и скучающе проронила: «Типичный человек! Белье — это белье. А побои — это побои. Нас, кошек, вы не проведете!» Потом все трое потянулись и отправились на лужайку. Буччи напоследок обернулся и сказал: «Если б в вашей книжке хоть попадались мыши! Я и написанных ем! Люди милы, но о других они не думают. Для нас, котов, это не новость». На полпути он опять обернулся. «Сегодня ночью я вернусь попозже, — сообщил он мне. — Сейчас полная луна. Так что обо мне напрасно не беспокойтесь!» После чего и он исчез. Только шевелившиеся метелочки травы поведали мне, куда он направился. Через два дома живет его лучший в настоящее время друг.

Что ж, главу о стирке белья я вычеркнул. Не по приведенным ими причинам, но в данном случае кошки, может быть, и правы. Я показал им один из своих счастливых грошей, и вот я его снова прячу в карман. Мне было чуточку жаль, и я был чуточку обижен, но огорчения неизбежны в любом деле. Вместо стирки белья я мог бы без особого труда в угоду коту ввести двух-трех мышей, но так далеко моя любовь не заходит. Ибо, когда пишешь воспоминания, надо руководствоваться двумя правилами. Первое: можно и должно многое опускать. А второе гласит: нельзя ничего добавлять, даже мышку.

...Только что я не спеша прогуливался по лужайке и остановился у забора. Пастух и его черный шпиц гнали мимо стадо блеющих овец. Крохотные пасхальные ягнятки буквально за несколько месяцев превратились в довольно-таки больших баранов. У нас, людей, это продолжается значительно дольше. У дороги стоял маленький мальчик, глядел на стадо, на неуклюжую трусцу и скачки овец и при этом подтягивал чулки. Потом весело побежал с ними рядом.

Шагов через двадцать он вдруг остановился. У него снова спустились чулки, и ему опять надо было их подтянуть. Перегнувшись через забор, я с любопытством стал смотреть ему вслед. Овцы ушли вперед, и он хотел их догнать. Они хоть и поставляют нам чулки, однако сами

их не носят. Возможно, они умнее, чем кажутся. Кто не носит чулок, у тех они не спускаются.

Возле парников садоводства мальчик опять стал. Он дернул вверх чулки и на этот раз очень обозлился. Потом, торопясь, бегом завернул за угол. По моим расчетам, он мог добраться до Геллертштрассе, пока все не повторится сначала. По этой части я кое-что да смыслю. Ох, эти чулки, ох, эти воспоминания! Когда я был маленьким, матушка дарила мне вместе с чулками круглые резинки, но они...

Не пугайся, любезный читатель, я умолкаю. Главы о чулках не последует, как не последует и главы о резинках. Работа сделана. Книга готова. Все, конец, точка!



СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЬЧИК ИЗ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ

Перевод К. Богатырева

Г л а в а 1. Моя первая встреча с Маленьким Человеком. Пихельштейн и Пихельштейнеры. Родители Максика отправляются в дальние странствия. Ву Фу и Чин Чин. Место рождения — Стокгольм. Похороны двух китайских косичек. Профессор Йокус фон Покус держит речь	5
Г л а в а 2. Спичечная коробка на ночном столике. Минна, Эмма и Альба. Шестьдесят граммов живого веса, но крепкое здоровье. Маленький Человек поступает в школу. Неприятности в Афинах и Брюсселе. Занятия на стремянке. Книги величиной с почтовую марку	9
Г л а в а 3. Он хочет стать артистом. Высокие люди и великие люди не одно и то же. Разговор в Страсбурге. О профессии переводчика. План профессора разбивается об упрямство Максика . . .	13
Г л а в а 4. Маленький Человек хочет стать укротителем. Разве львы не кошки? Максик в стакане. Отчет о необыкновенном футбольном матче. Йокус прыгает сквозь горящий обруч	16
Г л а в а 5. Прогулка мимо витрины с манекенами. Продавец падает в обморок. Магазин мужской одежды, в конце концов, не больница. Разница между государственным мужем и мужем молочницы . . .	20
Г л а в а 6. Волнение в гостинице «Кемпинский». Кем был Йокус, прежде чем стал фокусником? И зачем он купил манекен?	24
Г л а в а 7. Об учениках булочников и мясников, об ананасном торте и об учениках фокусников. Манекен зовут Вольдемар Чурбани. Песня о Невидимке Верхолазе	29
Г л а в а 8. «Максик-альпинист». Перепутанные фраки. Три сестры Марципан. Что такое батут? Галопинский — фокусник на коне. Йокус фон Покус отказывается выступить	33
Г л а в а 9. Директор Грозоветтер успокаивает публику. «Большой вор и Маленький Человек». Ограбление толстого господина Тонки и доктора Горибостеля. Коричневые и черные шнурки. Максик раскланивается перед двумя тысячами зрителей	39
Г л а в а 10. Вмешательство полицейской машины. Маленькому Человеку присвоено звание подмастерья. Галопинскому нужен новый хлыст. Роза Марципан кидается на шею профессору	49
Г л а в а 11. Максик в цветочном горшке. Фрау Хольцер чихает. У специалиста по недовольным. Маленький Человек вырастает и становится великаном. Он видит себя в зеркале. Второй волшебный напиток. Самый обыкновенный мальчик	53
Г л а в а 12. «Ну и осел!» Станные плакаты в городе. Директор Грозоветтер называется Громовержцем, Галопинский — Рысаковским. Йокус его не узнает. Макс и Максик. Это был всего лишь сон	60
Г л а в а 13. Это был всего лишь сон. Разговор об изобретателе застежки-«молнии». Отчаянные ребята и закадычные друзья	66

Глава 14. Слава в первую половину дня. Телефонные звонки. Первый посетитель — директор Грозоветтер. Деньги не главное дело, но важнейшее из второстепенных. Крольчиха в чужом цилиндре. Заголовки и слухи	69
Глава 15. Второе представление и вторая сенсация: Максик в роли летчика. Архив «Стильке». Предложение из Голливуда. Переписка с деревней Пихельштейн. Королевский подарок из королевства Бреганзона	73
Глава 16. Маленький Человек у собственной плиты. Слава утомляет. И слава усыпляет. Второе письмо из Пихельштейна. Нюрнбергская игрушка. Об одной популярной песенке. Страшное открытие Йюкуса. Пропал Максик!	79
Глава 17. Волнение в гостинице. Появление полицейского комиссара Штейнбайса. Пробуждение Максика. Важное сообщение по радио. Отто и Бернгард. Маленький Человек просит вызвать такси. Приступ смеха у Отто	83
Глава 18. Кто купил белый китель? Переполюх в «Золотом око-роке». Статья в вечерней газете. Лысый Отто громко рычит. Пустой дом. Бернгард опаснее, чем Отто. Максик изучает комнату	88
Глава 19. Подробный отчет о сеньоре Лопесе. Крепость в Южной Америке. Картины Трибрата и Инкассо. Билеты на пятницу. Колики в желудке. Лысый Отто мчится в аптеку. Максик стоит на за-боре	94
Глава 20. Мальчик, по имени Эрих, плюется вишневыми косточ-ками и злится. Максик разговаривает по телефону и ждет развития событий. Машины 1, 2, 3. Лысый Отто едет в машине. Максик едет в машине. Эрих едет в машине. Тихая улица опять стала тихой	99
Глава 21. Волнение в «Кривом кубке». Эрих предпочитает те-лячью отбивную. Слезы или тренировки? Острая горчица. Кто полу-чит награду? Максик изображает лысого Отто. Самое маленькое пятизначное число	106
Глава 22. Почему парадное представление затянулось на двад-цать семь минут. Директор Грозоветтер оглашает три телеграммы. Эрих сердится. Полиция раскланивается. Выступление главных дей-ствующих лиц. Восторг без конца. Конец	111

ЭМИЛЬ И СЫЩИКИ

Перевод Л. Лукгиной

Это еще не начало	117
Глава первая. Эмиль помогает мыть голову	127
Глава вторая. Сержант Йешке молчит	131
Глава третья. Эмиль едет в Берлин	134
Глава четвертая. Сон, в котором много беготни	138
Глава пятая. Эмиль сходит не на той остановке	142
Глава шестая. Трамвай 177	145
Глава седьмая. На Шуманштрассе волнение	149
Глава восьмая. Появляется мальчик с клаксоном	151
Глава девятая. Сыщики совещаются	156
Глава десятая. Погоня за такси	161
Глава одиннадцатая. В гостиницу прокрадывается шпион	167
Глава двенадцатая. Мальчишка-лифтер в зеленой лив-рее	170

Глава тринадцатая. Господина Грундайса сопровождает почетный эскорт	174
Глава четырнадцатая. Булавки тоже приносят пользу	179
Глава пятнадцатая. Эмиля вызывают в главное управление полиции	184
Глава шестнадцатая. Комиссар полиции передает привет	191
Глава семнадцатая. Фрау Тышбайн волнуется	195
Глава восемнадцатая. Какой урок из этого можно извлечь?	200

КНОПКА И АНТОН

Перевод А. Девеля

Предисловие, насколько возможно краткое	205
Глава первая. Кнопка играет в театр	207
Глава вторая. Антон даже готовить умеет	213
Глава третья. Бритье собаки	220
Глава четвертая. Некоторые разногласия	226
Глава пятая. Каждый сам себе зубной врач	231
Глава шестая. Дети идут в ночную смену	235
Глава седьмая. Фрейлейн Андахт «под мухой»	239
Глава восьмая. Господин Бремзер прозревает	243
Глава девятая. Фрау Гаст разочарована	247
Глава десятая. Все может провалиться	251
Глава одиннадцатая. Господин Погге учится шпионить	256
Глава двенадцатая. Клеппербайн зарабатывает десять марок и пощечину	260
Глава тринадцатая. Толстуха Берта размахивает дубиной	263
Глава четырнадцатая. Испачканное вечернее платье	267
Глава пятнадцатая. Полицейский танцует танго	271
Глава шестнадцатая. Все хорошо, что хорошо кончается	276
Маленькое послесловие	282

ДВОЙНАЯ ЛОТТХЕН

Перевод А. Девеля и И. Ломан

Глава первая. Зеебюль на Бюльзее. Детские пансионаты, как пчелиные ульи. Автобус с двадцатью новенькими. Локоны и косы. Может ли ребенок откусить другому нос? Английский король и его астрологический близнец. Как тяжело достается улыбка	285
Глава вторая. О разнице между перемирием и миром. Умывальная комната — салон причесок. Две Лоттхен. Труда получает пощечину. Фотограф Айпельдауэр и жена лесника. Моя мама — наша мама. Даже фрейлейн Ульрика что-то подозревает	292
Глава третья. Открываются новые континенты. Загадка за загадкой. Разделенное имя. Серьезная фотография и веселое письмо. Родители Стефи разводятся. Можно ли ребенка разделить пополам?	300

Глава четвертая. Омлет — это ужасно! Таинственная тетрадь. Дорога в школу и поцелуй перед сном. Заговор в действии. Праздник в саду — генеральная репетиция. Прощай, Зеебюль на Бюльзее	303
Глава пятая. Ребенок на чемодане. Одинокие дяденьки в «Империаде». О Пеперле и безошибочном чутье животных. «Луиза» спрашивает, можно ли ей в Опере помахать рукой. Счетная ошибка в книге зоомки. Ширли Тэмпл не имеет права увидеть себя в фильме. Сложная жизнь дирижера господина Пальфи	306
Глава шестая. Где же лавка фрау Вагенталер? Но разучиться готовить — это же невозможно! Лотта машет рукой в Опере. Дождь из шоколада. Первая ночь в Мюнхене и первая ночь в Вене. Необыкновенный сон, в котором фрейлейн Герлях является в образе ведьмы. Родители могут всё. Мюнхен, 18, до востребования, Незабудке!	314
Глава седьмая. Прошли недели. Пеперль примирился. В омлете нет костей. Все изменились, особенно Резн. Дирижер Пальфи дает уроки музыки. Фрау Кёрнер разговаривает с фрейлейн Линнекогель. Анни Хаберзетцер получает пощечину. Прекраснейший на свете конец недели	323
Глава восьмая. У господина Габеле слишком маленькое окно. Кофе на Кернтнерринг. Дипломатический разговор. Отец должен быть строгим. Песенка до минор. Планы замужества. Кобенцаллея, 43. Фрейлейн Герлях вся внимание. Доктор Штробл серьезно озабочен. Дирижер гладит куклу	329
Глава девятая. Фото господина Айпельдауэра порождает смутнение. А Лотта ли это? Фрейлейн Линнекогель удостоена доверия. Подгоревшая свиная грудка и разбитые тарелки. Лунза исповедуется почти во всем. Почему Лотта больше не отвечает?	342
Глава десятая. Телефонный разговор с Мюнхеном. Спасительное слово. Рези ничего не может понять. Два места в самолете на Вену. Пеперль словно громом поражен. Кто подслушивает под дверь, получает по лбу. Господин дирижер ночует вне дома, у него непрощенный гость	347
Глава одиннадцатая. Двойной день рождения и единственное желание. Родители снова совещаются. Держи большой палец! Возня у замочной скважины. Несогласие и согласие . . .	356
Глава двенадцатая. Господин Гравундер удивляется. Забавный рассказ директора Килиана. Планы замужества Лунзы и Лотты. Обложка журнала «Мюнхнер иллюстриерте». Новая табличка на старой двери. «Счастливого соседства, господин дирижер!» Потерянное счастье можно наверстать. Детский смех и детская песенка. «И только близнецов!»	359

ЛЕТАЮЩИЙ КЛАСС

Перевод А. Девеля

Предисловие, часть первая, содержит дебаты между фрау Кестнер и ее сыном; взгляд на Цугшпитце; бабочку по имени Фрида; черно-белую кошку; немного вечного снега; гармоничное завершение рабочего дня и справедливое замечание о том, что телята иногда становятся быками	369
Предисловие, часть вторая, содержит потерю зеленого карандаша; кое-что о величине детских слез; путешествие через океан малень-	

кого Джонатана Тротца; причину, по которой бабушка с дедушкой не встретили своего внука; хвалебный гимн человеческим мозолям и настоятельное требование согласовывать смелость с благородием	372
Глава первая содержит путешествие по фасаду; несколько занятых уроком танцев юношей; примуса, способного страшно возмущаться; большую седую привязную бороду; рассказ о приключениях «Летающего класса» и неожиданно прерванную театральную репетицию со стихами	378
Глава вторая содержит подробности о Некурящем; три орфографические ошибки; Ули, уstraшенного страхом; военный совет в железнодорожном вагоне; донесение разведчика Фридолина; причину нападения на Крейцкамма и бег на длинную дистанцию впятром	387
Глава третья содержит возвращение Фридолина; разговор о самом забавном примусе Европы; новое огорчение фрау Эгерланд; спешившегося конного курьера; неприемлемые условия; дельный план сражения и еще более дельное предложение Некурящего	394
Глава четвертая содержит единоборство с техничным нокаутом; вероломство реалистов; душевный конфликт Эгерланда; полный таинственности план битвы Мартина; множество пощечин в подвале; горсточку пепла; разрешение побеждать и отступление Эгерланда	399
Глава пятая содержит встречу с Красавчиком Теодором; дебаты о правилах внутреннего распорядка; неожиданную похвалу; справедливое наказание; очень длинный рассказ воспитателя и суждение о нем мальчиков	409
Глава шестая содержит картину с запряженным шестеркой экипажем; много веселья благодаря старой шутке; имя Балдуин; мокрый сюрприз; процессию привидений; животное, которое сыплет чесоточный порошок; Джонни на подоконнике и его планы на будущее	417
Глава седьмая содержит кое-что о профессоре Крейцкамме; возмутительнейшее происшествие; предложение, которое мальчикам пришлось написать по пять раз; интригующее объявление на перемене; прогулка с доктором Бёком; встречу на садовом участке и рукопожатие у забора	425
Глава восьмая содержит очень много пряников; следующую репетицию «Летающего класса»; причину появления Ули с зонтиком; ужасное волнение на спортивной площадке и в здании школы; утешительную сентенцию доктора Бёка и роляную комнату	433
Глава девятая содержит основополагающие положения Себастьяна о страхе; замену исполнителя; тайное посещение лазарета; ресторан «У последнего порога» с горячим ужином; встречу с почтальоном и письмо Мартина домой	439
Глава десятая содержит последний день занятий перед каникулами; прогулку по Кирхбергу и множество встреч; еще одну шоколадку для Матиаса; новогодний вечер в гимнастическом зале; непредвиденного зрителя; что он получает в подарок; что он говорит и один момент у кровати Мартина	447
Глава одиннадцатая содержит веселый вокзал; школу без учеников; открытие у кегельбана; учителя, тайком перелезающего через забор; посещение Ули; утверждение Джонни о том, что родителей не выбирают, и во второй раз ту же самую необходимую ложь	456

Глава двенадцатая содержит много красивых рождественских елок и одну маленькую сосну; апельсины, которые весят по четыре фунта штука; очень много слез; повторившийся звонок; слезы и смех одновременно; новые цветные карандаши и их первое применение; хермсдорфский ночной почтовый ящик и падающую звезду	463
Послесловие содержит автобусы и трамваи; грустные воспоминания о бабочке Фриде и теленке по имени Эдуард; встречу с Джонни и капитаном; множество приветов Юстусу и Некурящему, а также конец книги	469

КОГДА
Я БЫЛ
МАЛЕНЬКИМ

Перевод В. Курелла

Ни одной книги без предисловия	475
Глава первая. Кестнеры и Августины	481
Глава вторая. Маленькая Ида и ее братья	487
Глава третья. Мои будущие родители наконец знакомятся . .	494
Глава четвертая. Чемоданы, набрюшники и белокурые локны	501
Глава пятая. Кенигсбрюкерштрассе и я	507
Глава шестая. Учителем, только учителем	514
Глава седьмая. «Солнце» и фунтики с конфетами	521
Глава восьмая. Примерный распорядок дня примерного восьмилетнего	530
Глава девятая. Об арифметике жизни	538
Глава десятая. Две роковые свадьбы	545
Глава одиннадцатая. У ребенка горе	551
Глава двенадцатая. Дядя Франц становится миллионером	560
Глава тринадцатая. Вилла на площади Альберта	569
Глава четырнадцатая. Два господина Лемана	578
Глава пятнадцатая. Матушка на суше и на море	584
Глава шестнадцатая. 1914 год	592
И под конец послесловие	598

Кестнер Э.

**К36 Летающий класс: Повести / Сост. А. А. Девель.—
Л.: Лениздат, 1988.— 607 с.**

В книгу известного немецкого писателя-антифашиста кроме повести, давшей название сборнику, вошли: «Мальчик из спичечной коробки», «Эмиль и сыщики», «Киопка и Антон», «Двойная Лоттхен», «Когда я был маленьким». Главное качество прозы Кестнера для детей — добрая улыбка. Он был уверен, что доброта необходима ребенку, что она — тоже активное оружие. Повести Кестнера полны оптимизма, веры в человека, в торжество справедливости.

**К 4803020000—004 217—88
М171(03)—88**

84.98(4Ф)

*Для среднего
школьного возраста*

**Эрих Кестнер
ЛЕТАЮЩИЙ
КЛАСС
Повести**

Составитель

Александр Александрович Девель

Заведующий редакцией А. И. Белинский

Редактор В. М. Шевелева

Младший редактор Б. Г. Смирнов

Художественный редактор Н. С. Елисеева

**Технические редакторы В. И. Демьяненко
и Л. П. Никитина**

Корректор Н. Б. Абалакова

ИБ № 4594

Сдано в набор 13.08.87. Подписано к печати 01.02.88. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Гарн. журн. рубл. Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92.
Усл. кр.-отт. 33,18. Уч.-изд. л. 34,07. Тираж 100 000 экз. Заказ № 265.
Цена 1 р. 60 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.



